Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

том 8

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Тоно Бенге

КНИГА ПЕРВАЯ

ДНИ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ ТОНО БЕНГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ДОМЕ БЛЕЙДСОВЕР И МОЕЙ МАТЕРИ, А ТАКЖЕ О СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

I

Большинство людей, по-видимому, разыгрывают в жизни какую-то роль. Выражаясь театральным языком, у каждого из них есть свое амплуа. В их жизни есть начало, середина и конец, и в каждый из этих периодов, тесно связанных между собой, они поступают так, как подсказывает характер исполняемой ими роли. Вы можете говорить о них как о людях того или иного типа. Они принадлежат к определенному классу, занимают определенное место в обществе, знают, чего хотят и что им положено, а когда умирают, соответствующих размеров надгробие показывает, насколько хорошо они сыграли свою роль.

Но бывает жизнь другого рода, когда человек не столько живет, сколько испытывает на себе все многообразие жизни. У одного это происходит в силу неудачного стечения обстоятельств; другой сбивается со своего обычного пути и весь остаток жизни живет не так, как ему хотелось бы, перенося одно испытание за другим.

Вот такая жизнь выпала мне на долю, и это побудило меня написать нечто вроде романа. Моя память хранит множество необычных впечатлений, и мне не терпится как можно скорее поведать их читателю.

Довольно близко я познакомился с жизнью самых различных слоев общества. Меня считали своим человеком люди, стоявшие на различных ступенях общественной лестницы. Я был незваным гостем своего двоюродного дяди — пекаря, впоследствии умершего в чатамской больнице. Я утолял голод кусками, которые тайком приносили мне лакеи из барской кухни. Меня презирала за отсутствие внешнего лоска дочь конторщика газового завода. Она вышла за меня замуж, а затем развелась со мной. Однажды (уж если говорить о другом полюсе моей карьеры) я был — о блестящие дни! — на приеме в доме графини. Правда, она приобрела этот титул за деньги, но все же, знаете, это была графиня. Я видел этих людей в самых разнообразных обстоятельствах. Мне доводилось сидеть за обеденным столом не просто с титулованными особами, но даже с великими людьми. Как-то раз (это — самое дорогое мое воспоминание) в пылу взаимного восхищения я опрокинул бокал шампанского на брюки величайшего государственного деятеля империи — не назову его имени, чтобы, упаси бог, не прослыть хвастуном.

А однажды (хотя это чистейшая случайность) я убил человека...

Да, я видел жизнь во всем ее многообразии и встречал уйму разных людей. И великие и малые — весьма любопытный народ; по своей сущности они удивительно похожи друг на друга, но до курьеза разнятся по внешнему виду. Я сожалею, что, завязав столь многочисленные знакомства, не поднялся в самые высокие сферы и не спустился в самые низы. Было бы презабавно, например, сблизиться с особами королевского дома. Однако мое знакомство с принцами ограничивалось лишь тем, что я лицезрел их на публичных торжествах. Нельзя назвать тесным и мое общение с теми запыленными, но симпатичными людьми, что шатаются летом по большим дорогам, пьяные, но en famille[1] (искупая таким образом свои маленькие грешки), с детскими колясками, кучей загорелых ребятишек, с подозрительными узлами, вид которых наводит на некоторые размышления, и продают лаванду. Землекопы, батраки, матросы, ко-

[1] По-семейному, в кругу своей семьи (*франц.*).

чегары и другие завсегдатаи пивных остались вне поля моего зрения, и я, думаю, никогда теперь их не узнаю. Мои отношения с особами герцогского звания тоже носили случайный характер. Однажды я отправился на охоту с одним герцогом и, по всей вероятности, в припадке снобизма изо всех сил старался прострелить ему ногу. Но промахнулся. Я сожалею, однако, что мое знакомство ограничилось лишь этим эпизодом, хотя...

Вы спросите, благодаря каким личным достоинствам я смог проникнуть в столь различные слои общества и увидеть в поперечном разрезе британский социальный организм? Благодаря среде, в которой я родился. Так всегда бывает в Англии. Впрочем, так бывает везде, если я могу себе позволить столь широкое обобщение. Но это между прочим.

Я племянник своего дяди, а мой дядя не кто иной, как Эдуард Пондерво, который, словно комета, появился на финансовом небосклоне — да, теперь уже десять лет назад! Вы помните карьеру Пондерво — я имею в виду дни славы Пондерво? Быть может, вы имели даже какой-нибудь пустячный вклад в одном из его грандиозных предприятий? Тогда вы знаете его очень хорошо. Оседлав Тоно Бенге, он, подобно комете или, скорее, как гигантская ракета, взлетел в небесный простор, и вкладчики с благоговейным страхом заговорили о новой звезде. Достигнув зенита, он взорвался и рассыпался созвездием новых удивительных предприятий. Что за время это было! В этой сфере он был прямо-таки Наполеоном!..

Я был его любимым племянником и доверенным лицом и в продолжение всего фантастического пути дядюшки крепко держался за фалды его сюртука. Еще до того как он начал свою головокружительную карьеру, я помогал ему изготовлять пилюли в аптекарской лавочке в Уимблхерсте. Можете считать меня тем трамплином, с которого устремилась ввысь его ракета. После нашего молниеносного взлета, после того как дядя играл миллионами и сыпался с небес золотой дождь, после того как мне довелось осмотреть с высоты птичьего полета весь современный мир, я очутился на берегу Темзы — в царстве палящего жара печей и грохота молотов, среди подлинной железной реальности; я упал сюда, утративший юность, постаревший на двадцать два года, воз-

можно, слегка напуганный и потрясенный, но зато обогащенный жизненным опытом, и намерен теперь поразмыслить над всем пережитым, разобраться в своих наблюдениях и набросать эти беглые заметки. Все, что я пишу о взлете, не только плод моей фантазии. Апогеем моей и дядиной карьеры явился, как известно, наш полет через Ла-Манш на «Лорде Робертсе Бета».

Я хочу предупредить читателя, что моя книга не будет отличаться стройностью и последовательностью изложения. Я задался целью проследить траекторию своего (а также и дядиного) полета по небосклону нашего общества, и, поскольку это мой первый роман (и почти наверняка последний), я намерен включить в него все, что поражало и забавляло меня, все свои пестрые впечатления, хотя они и не имеют прямого отношения к рассказу. Я хочу рассказать и о своих любовных переживаниях, пусть даже несколько странных, ибо они принесли мне немало беспокойства, угнетали меня, заставили изрядно поволноваться; в них я и до сих пор нахожу много нелепого и спорного, и мне кажется, что они станут понятнее, если я изложу все на бумаге. Возможно, я возьму на себя смелость описать людей, с которыми встречался лишь мимоходом, так как нахожу интересным припоминать, что они говорили и делали для нас, а особенно как вели себя в дни кратковременного, но ослепительного сияния Тоно Бенге и его еще более блестящих отпрысков. Могу заверить вас, что кое-кого из этих людей блеск Тоно Бенге осветил с ног до головы!

По существу, мне хочется написать в своей книге чуть ли не обо всем. Я рассматриваю роман как нечто всеобъемлющее...

О Тоно Бенге все еще кричат многочисленные рекламные щиты, на полках аптекарских магазинов все еще красуются ряды флаконов с этим бальзамом, он все еще успокаивает старческий кашель, зажигает в глазах огонь жизни и делает старцев остроумными, как в юности, но его всеобщая известность, его финансовый блеск угасли навсегда. А я —единственный, хотя и сильно опаленный человек, но все же уцелевший после пожара,— сижу здесь, в никогда не смолкающем лязге и грохоте машин, за столом, покрытым чертежами, частями моде-

лей, заметками с вычислениями скоростей, воздушного и водяного давления и траекторий, но все это уже не имеет никакого отношения к Тоно Бенге.

II

Перечитав написанное, я задаю себе вопрос: правильно ли я изложил все то, о чем собираюсь сказать? Не создается ли впечатление, что я намерен сделать нечто вроде винегрета из анекдотов и своих воспоминаний, где дядя будет самым заманчивым куском? Признаюсь, что только теперь, приступив к своему повествованию, я понял, с каким обилием ярких впечатлений, бурных переживаний, укоренившихся точек зрения мне придется иметь дело и что моя попытка создать книгу окажется в известном смысле безнадежной. Я полагаю, что в действительности пытаюсь описать не более, не менее, как самое Жизнь, жизнь, увиденную глазами одного человека. Мне хочется написать о самом себе, о своих впечатлениях, о жизни вообще, рассказать, как остро воспринимал я законы, традиции и привычки, господствующие в обществе, о том, как нас, несчастных одиночек, гонят силой или заманивают на пронизываемые ветрами отмели и запутанные каналы, а потом бросают на произвол судьбы. Полагаю, что я вступил в тот период жизни, когда окружающее перестает быть только материалом для мечтаний, а начинает приобретать некую реальность и становится интересным само по себе. Я достиг того возраста, когда человек тянется к перу, когда в нем пробуждается критический дух, и вот я взялся за роман, пишу свой собственный роман, не обладая той опытностью, которая, как мне кажется, помогает профессиональному писателю безошибочно избегать повторений и излишних подробностей.

Я прочел довольно много романов, пробовал писать сам и обнаружил, что не могу подчиняться законам этого искусства, как я их себе представляю. Я люблю писать, меня очень увлекает это занятие, но это совсем не то, что моя техника. Я инженер, автор нескольких запатентованных изобретений и открытий. У меня своя система идей. Если у меня и есть какой-то талант, то я почти целиком посвятил его работе над турбинами, кораблестро-

ению и решению проблемы полетов, и, несмотря на все мои усилия, мне ясно, что я рискую оказаться слишком многословным и неумелым рассказчиком. Боюсь, что я потону в море фактов, если буду останавливаться на мелочах или путаться в деталях, давать пояснения или рассуждать, тем более что мне придется рассказывать о действительных событиях, а не о чем-то вымышленном. Мою любовную историю, например, нельзя уложить в рамки обычного повествования, но если я до конца сохраню свою теперешнюю решимость быть правдивым, то вы узнаете эту историю полностью. В ней замешаны три женщины, и она тесно переплетается с другими обстоятельствами моей жизни...

Надеюсь, что всего сказанного достаточно и читатель примирится с моим методом повествования или с отсутствием его, и теперь я могу без промедления перейти к рассказу о своем детстве и о ранних впечатлениях под сенью дома Блейдсовер.

Наступило время, когда я понял, что Блейдсовер — это совсем не то, чем он мне казался, но в детстве я совершенно искренне считал, что он представляет в миниатюре вселенную. Я верил, что блейдсоверская система является маленькой действующей моделью — кстати, не такой уж маленькой — всего мира.

С вашего разрешения, я попытаюсь охарактеризовать значение Блейдсовера.

Блейдсовер находится на Кентской возвышенности, примерно милях в восьми от Ашборо. Из его деревянной старенькой беседки — маленькой копии храма Весты в Тибуре,— построенной на вершине холма, открывается (правда, скорее теоретически, чем в действительности) вид на Ла-Манш к югу и на Темзу — к северо-востоку. Его парк — второй по величине в Кенте; он состоит из эффектно рассаженных буков, вязов и каштанов, изобилует небольшими лужайками и заросшими папоротником ложбинками, где текут ручьи и вьется небольшая речка; в нем имеется три прекрасных пруда, а в зарослях бродит множество ланей. Дом из светло-красного кирпича построен в восемнадцатом веке в стиле французского château [1]; все его сто семнадцать окон выходят

---

[1] За́мок *(франц.)*.

на обширную и благоустроенную территорию усадьбы, и только с башни видны между вершинами холмов голубые просторы, далекие, увитые хмелем фермы, зеленые заросли и поля пшеницы, среди которых кое-где поблескивает вода. Полукруглая стена огромных буков заслоняет церковь и деревню, живописно расположенную вдоль большой дороги, на опушке старого парка. К северу, в самом дальнем углу поместья, находится вторая деревня — Ропдин. Жизнь в этой деревне была более тяжкой не только из-за отдаленности от поместья, но и по вине ее священника. Этот духовный отец был богатым человеком, но наводил суровую экономию, так как церковные сборы все уменьшались и поступали неаккуратно. Он употреблял слово «евхаристия» вместо «тайная вечеря» и в результате потерял расположение высокопоставленных дам Блейдсовера. Вот почему Ропдин в годы моего детства находился как бы в опале.

Огромный парк и красивый большой дом, занимавшие господствующее положение над церковью, деревней и всей окружающей местностью, невольно внушали мысль о том, что они самое главное в этом мире, а все остальное существует лишь, поскольку существуют они. Этот парк и дом олицетворяли дворянство, господ, которые милостиво позволяли дышать, работать и существовать всему остальному миру, фермерам и рабочему люду, торговцам Ашборо, старшим и младшим слугам и всем служащим поместья. Господа делали это с таким естественным и непринужденным видом, величественный дом настолько казался неотъемлемой частью всего окружающего, а контраст между его обширным холлом, гостиными, галереями, просторными комнатами экономки, служебными помещениями и претенциозным, но жалким жилищем священника, тесными и душными домиками почтовых служащих и бакалейщика был так велик, что иного предположения не могло возникнуть. Лишь когда мне исполнилось тринадцать-четырнадцать лет и наследственный скептицизм заставил усомниться в том, что священник Бартлетт действительно знает о боге решительно все, я мало-помалу начал подвергать сомнению и право дворянства на его особое положение и его необходимость для окружающего мира. Пробудившийся скептицизм быстро завел

меня довольно далеко. К четырнадцати годам я совершил несколько ужасных кощунств и святотатств: решил жениться на дочери виконта и, взбунтовавшись, поставил синяк под левым глазом,— думаю, что это был левый глаз,— ее сводному брату.

Но об этом в свое время.

Огромный дом, церковь, деревня, работники и слуги всевозможных разрядов и положений — все это казалось мне, как я сказал, вполне законченной социальной системой. Вокруг нас были расположены другие деревни и обширные поместья, куда постоянно наезжали, навещая друг друга, тесно связанные между собой, породнившиеся великолепные олимпийцы — дворяне. Провинциальные города представлялись мне простым скоплением магазинов и рынков, предназначенных для господских арендаторов, центрами, где они получали необходимое образование, причем существование этих городов еще в большей мере зависело от дворянства, чем существование деревень. Я думал, что и Лондон — это всего лишь большой провинциальный город, в котором дворянство имеет свои городские дома и производит необходимые закупки под августейшей сенью величайшей из дворянок — королевы.

Таким, казалось мне, был порядок, установленный на земле самим господом богом.

Даже в то время, когда Тоно Бенге получил широкую известность во всем мире, мне и в голову не приходило, что весь этот великолепный порядок вещей уже подточен в корне, что уже действуют враждебные силы, способные скоро отправить в преисподнюю всю эту сложную социальную систему, в которой я должен был, как настойчиво внушала мне мать, осознать свое «место».

Еще и сейчас в Англии есть немало людей, предпочитающих не задумываться над этим. Иной раз я сомневаюсь, отдает ли себе отчет кто-нибудь из англичан, насколько существующий ныне социальный строй уже изжил себя. В парках по-прежнему стоят огромные дома, а коттеджи, до самых карнизов увитые хмелем, располагаются на почтительном расстоянии. Английская провинция — вы можете убедиться в этом, пройдя по Кенту на север от Блейдсовера,— упрямо настаивает, что она и в самом деле такая, какой кажется. Это напомина-

ет погожий день в начале октября. Лежащая на всем неощутимая и незримая рука будущих перемен словно отдыхает, прежде чем начать свою сокрушительную работу. Но стоит ударить морозу, и все вокруг обнажится, и пышная мишура нашего лицемерия будет лежать, рдея, подобно опавшим листьям, в грязи.

Но это время пока еще не наступило. Контуры нового порядка, возможно, уже в значительной мере обозначились, но подобно тому, как при показе «туманных картин» (так называли в деревне проекционный фонарь) прежнее изображение еще отчетливо сохраняется в вашей памяти, а новое некоторое время еще не совсем определилось, несмотря на свои яркие и резкие линии, новая Англия, Англия наших внуков, пока остается загадкой для меня. Англичанин никогда серьезно не думал о демократии, равенстве и тем более о всеобщем братстве. Но о чем же он думает? Я надеюсь, что моя книга в какой-то мере ответит на этот вопрос. Наш народ не тратит слов на формулы — он бережет их для острот и насмешек. А между тем старые отношения остались, они лишь слегка видоизменились и продолжают меняться, прикрывая нелепые пережитки.

После смерти престарелой леди Дрю блейдсоверский дом перешел вместе со всей обстановкой к сэру Рубену Лихтенштейну. В те дни, когда дядя в результате операций с Тоно Бенге был в зените своей карьеры, мне захотелось посетить этот дом, где моя мать столько лет прослужила экономкой, и я испытал странные ощущения. Нельзя было не заметить некоторых курьезных изменений, происшедших в доме с появлением новых владельцев. Заимствуя образ из своей минералогической практики, замечу, что эти евреи являлись не столько новым английским дворянством, сколько «псевдоморфозой» [1] дворянства. Евреи — очень хитрый народ, но им не хватает ума, чтобы скрыть свою хитрость. Я сожалею, что мне не удалось побывать внизу и выяснить, каковы настроения на кухне. Можно допустить, что они резко отличались от того настроения, которое там цари-

---

[1] Псевдоморфоза — ложная форма, минеральное образование, внешняя форма которого не отвечает его составу и внутреннему строению.

ло раньше. Я обнаружил, что находившееся по соседству поместье ХауксReferences также имело своего псевдоморфа: это поместье приобрел издатель газеты, из тех, что бросаются с ворованными идеями от одного шумного и рискованного предприятия к другому. Редгрейв был в руках пивоваров.

Но люди в деревнях, насколько я мог заметить, не ощущали изменений в своем мире. Когда я проходил по деревне, две маленькие девочки неуклюже присели, а старый рабочий поспешил притронуться к шляпе. Он все еще воображал, что знает и мое и свое место. Я не знал этого рабочего, но мне бы очень хотелось спросить его, помнит ли он мою мать и отнесся бы с таким же почтением к моему дяде и старику Лихтенштейну, если бы они появились на улице.

В английской провинции в пору моего детства каждое человеческое существо имело свое «место». Оно принадлежало вам от рождения, подобно цвету глаз, и определяло ваше положение в жизни. Над вами стояли высшие, под вами — низшие; кроме того, имелось несколько сомнительных фигур, положение которых было весьма спорным, но в повседневной жизни мы считали их равными себе.

Главой и центром нашей системы была «ее милость» леди Дрю, старая-престарая, сморщенная и болтливая, но прекрасно помнившая все родословные. Ее неразлучной спутницей была такая же древняя мисс Соммервиль — ее кузина и компаньонка. Эти старухи жили, подобно двум высохшим зернам, в огромной скорлупе Блейдсовера, некогда переполненного веселыми щеголями, изящными, напудренными дамами с мушками и изысканными джентльменами при шпагах. Если не было гостей, старухи целые дни проводили в угловой гостиной, как раз над комнатой экономки, посвящая свое время чтению, сну и уходу за двумя комнатными собачками. В детстве эти старенькие дамы представлялись мне какими-то высшими существами, обитающими, подобно богу, где-то над потолком. Иногда они производили легкий шум, а по временам даже слышались их голоса, и это придавало им некоторую реальность, не лишая их, конечно, превосходства над нами. Изредка мне удавалось видеть их. Конечно, если я встречал их в парке или в кустарнике

(где занимался браконьерством), я прятался или, охваченный священным трепетом, убегал подальше, но случалось, что меня призывали «предстать перед старой леди». Я запомнил, что «ее милость» была в платье из черного шелка, с золотой цепочкой на груди, запомнил ее дрожащий голос, которым она внушала мне быть «хорошим мальчиком», ее сморщенные, с обвислой кожей лицо и шею и липкую руку, сунувшую мне полкроны. Позади «ее милости» выступала мисс Соммервиль—еще менее заметное создание в платье лилового цвета с черной и белой отделкой. Ее прищуренные глаза были прикрыты рыжеватыми ресницами. У нее были желтые волосы и яркий цвет лица. Зимними вечерами, когда мы грелись у камина в комнате экономки и попивали настойку бузины, горничная мисс Соммервиль выдавала нам несложные секреты этого запоздалого румянца... После драки с молодым Гервеллом я, разумеется, был изгнан и никогда больше не видел этих старых крашеных богинь.

В апартаментах старух над нашими смиренными головами время от времени собиралось избранное общество. Я редко лицезрел самих гостей, но имел о них отчетливое представление, так как встречался в комнатах экономки и дворецкого с их горничными и лакеями, а они в точности копировали манеры и привычки своих господ. Я понял, что никто в этом обществе не был ровней леди Дрю: одни занимали более высокое положение, чем она, другие — более низкое, как вообще бывает в этом мире.

Я помню, что однажды Блейдсовер посетил принц, которому прислуживал настоящий джентльмен. Принц занимал в обществе несколько более высокое положение, чем наши обычные гости, и это взволновало нас и, возможно, породило какие-то чересчур радужные ожидания. Но вскоре дворецкий Реббитс появился в комнате моей матери со слезами на глазах, весь красный от негодования.

— Взгляните-ка на это! — задыхаясь от негодования, воскликнул Реббитс.

Мать онемела от ужаса. Это оказалось совереном, всего только совереном, который вы можете получить и от простого смертного!

Мне припоминается, что после разъезда гостей в доме наступали беспокойные дни: несчастные старухи наверху, утомленные своими великосветскими обязанностями, становились сердитыми и придирчивыми, переживали упадок физических и духовных сил...

К олимпийцам, занимавшим низшее положение, непосредственно примыкало духовенство, а за ним шли сомнительные существа — не господа, но и не слуги. Духовенство, несомненно, занимает самостоятельное место в английской общественной системе, и в этом отношении церковь за последние двести лет достигла прямо-таки удивительного прогресса. В начале восемнадцатого столетия священник считался, пожалуй, ниже дворецкого и рассматривался как подходящая пара для экономки или какой-нибудь не слишком опустившейся особы. В литературе восемнадцатого столетия священник нередко сетует, что его лишают места за столом и не дают отведать воскресного пирога. Обилие младших сыновей позволило ему подняться над всеми унижениями. Именно такие мысли приходят мне на ум, когда я встречаюсь с высокомерностью современного священнослужителя. Интересно, что в настоящее время школьный учитель, это угнетенное создание, играющее в деревенской церкви на органе, занимает, по существу, то же самое положение, какое занимал приходский священник в семнадцатом столетии. Доктор в Блейдсовере стоял ниже священника, но выше ветеринара; артисты и случайные визитеры размещались где-то выше или ниже этого уровня — в зависимости от их внешности и кошелька; за ними в строгом порядке шли арендаторы, дворецкий и экономка, деревенский лавочник, старший сторож, повар, трактирщик, младший сторож, кузнец (положение которого осложнялось у нас тем, что его дочь заведовала почтовой конторой, где она беззастенчиво перевирала телеграммы), старший сын лавочника, старший ливрейный лакей, младшие сыновья лавочника, его старший помощник и т. д.

Все эти представления об иерархии и многое другое я впитал в себя в Блейдсовере, слушая болтовню лакеев, горничных, Реббитса и моей матери в чисто выбеленной, с панелями из лощеного ситца, заставленной шкафами комнате экономки, где собирались старшие слуги;

я слыхал обо всем этом также от ливрейных лакеев, Реббитса и других слуг в обитой зеленым сукном и обставленной виндзорскими креслами буфетной, где Реббитс, считая себя выше закона, без разрешения и без зазрения совести торговал пивом; от служанок и кладовщиц в мрачной кладовке, где пол был устлан циновками, или от кухарки, ее товарок и судомоек в кухне, среди блестящей медной посуды, отражающей пламя очага.

Конечно, в разговоре они не касались своих собственных званий и мест, которые они занимали, это лишь подразумевалось; речь шла преимущественно о чинах и положении олимпийцев. На маленьком туалетном столике, что стоял у стены между шкафами в комнате моей матери, вместе с кулинарными книгами лежала «Книга пэров», «Крокфорд», «Альманах Уайтэкера», «Альманах Старого Мавра» и словарь восемнадцатого века; в буфетной валялась другая «Книга пэров» с оторванной обложкой, а в бильярдной комнате — еще одна «Книга пэров». Помнится, такая же книга была и в той комнате самой нелепой формы, где старшие слуги играли в багатель и после званых обедов отдавали должное остаткам сластей. И если бы вы спросили любого из этих старших слуг, в какой степени родства находится принц Баттенбергский, скажем, с мистером Каннингемом Грэхэмом или герцогом Аргильским, вы получили бы исчерпывающий ответ. В детстве я слыхал множество подобных разговоров, и если все еще не слишком твердо усвоил, когда и как нужно правильно употреблять настоящие и присваиваемые из вежливости титулы и звания, то лишь потому, что питаю отвращение ко всему этому, ибо, уверяю вас, имел полную возможность в совершенстве изучить столь «важные» детали.

Образ моей матери ярче всего сохранился у меня в памяти; мать не любила меня, так как я с каждым днем все больше и больше походил на отца, и хорошо знала свое место, как и место всякого другого человека, исключая моего отца и до некоторой степени меня самого. К ее помощи прибегали, когда требовалось решить какой-нибудь сложный и тонкий вопрос. Я и сейчас слышу, как она говорит: «Нет, мисс Файзон, пэры Англии идут впереди пэров Соединенного королевства, а он всего лишь

пэр Соединенного королевства». Она обладала большим опытом в размещении слуг вокруг своего чайного стола, где этикет соблюдался очень строго. Иногда я спрашиваю себя: придерживаются ли такого же строгого этикета в комнатах современных экономок и как моя мать отнеслась бы, например, к шоферу?

В общем, я рад, что так глубоко изучил Блейдсовер, рад хотя бы потому, что, поверив на первых порах по своей наивности во все увиденное, позднее я разобрался в этом, и мне открылось в структуре английского общества много такого, что иначе оставалось бы для меня совершенно непостижимым. Я убежден, что Блейдсовер — это ключ ко всему истинно английскому и загадочному для стороннего наблюдателя. Твердо уясните себе, что двести лет назад вся Англия представляла собой один сплошной Блейдсовер; страна за это время не пережила настоящей революции, если не считать кое-каких избирательных и других реформ, оставивших нетронутыми основы блейдсоверской системы, а все новое, отличающееся от прежнего, рассматривалось как дерзкое посягательство на старые устои или же воспринималось с преувеличенной восторженностью, хотя, в сущности, представляло собой лишь лакировку старого быта.

Если вы уясните себе все это, вам станет понятно, в силу какой необходимости возник и развился тот снобизм, который является отличительным свойством англичанина. Каждый, кто фактически не находится под сенью какого-нибудь Блейдсовера, постоянно как бы разыскивает потерянные ориентиры. Мы никогда не рвали со своими традициями, никогда, даже символически, не потрясали их, как это сделали французы в период террора. Но все наши организующие идеи обветшали, старые, привычные связи ослабли или полностью распались. И Америку можно назвать оторвавшейся и удаленной частью этого столь своеобразного разросшегося поместья. Георг Вашингтон, эсквайр, происходил из дворянского рода и чуть было не стал королем. Знаете ли вы, что стать королем Вашингтону помешал Плутарх, а вовсе не то обстоятельство, что он был американцем?

III

Больше всего в Блейдсовере я ненавидел вечернее чаепитие в комнате экономки. Особенно ненавистна была мне эта церемония в те дни, когда у нас гостили миссис Мекридж, миссис Буч и миссис Лейтюд-Ферней. Некогда все трое были служанками, а теперь жили на пенсию. Так старые друзья леди Дрю посмертно награждали своих верных слуг за длительные заботы об их житейских удобствах; миссис Буч, кроме того, была опекуншей любимого скайтерьера своих покойных господ.

Ежегодно леди Дрю посылала этим особам приглашение на чай в качестве поощрения за добродетель и в виде назидания моей матери и служанке мисс Файзон. Они сидели вокруг стола в черных, блестящих, с оборками платьях, украшенных гипюром и бисером, поддерживали с важным видом разговор и поглощали огромное количество кекса и чая.

Память рисует мне этих женщин существами весьма внушительных размеров. В действительности они не отличались высоким ростом, но тогда казались мне просто великаншами, так как сам я был маленьким. Они угрожающе вырастали на моих глазах, неимоверно разбухали, надвигались на меня.

Миссис Мекридж была рослой смуглой женщиной. Со своей головой она проделывала поистине чудеса: будучи лысой, она носила величественный чепец, а на лбу, над бровями, у нее были нарисованы волосы. Ничего подобного я с тех пор никогда больше не видел. Она служила у вдовы сэра Родерика Блендерхессета Импи — не то бывшего губернатора, не то какой-то другой высокопоставленной персоны в Ост-Индии. Леди Импи, судя по тому, что восприняла от нее миссис Мекридж, была крайне высокомерным созданием. Леди Импи обладала внешностью Юноны. Это была надменная, недоступная женщина с язвительным складом ума, склонная к злой иронии. Миссис Мекридж не отличалась ее остроумием, но вместе со старым атласом и отделкой платьев своей госпожи унаследовала язвительный тон и изысканные манеры. Сообщая, что утро нынче чудесное, она, казалось, говорила вам, что вы дурак, дурак с головы до пят. Когда к ней обращались, она отвечала на ваш жалкий писк

таким громогласным и презрительным «как?», что у вас появлялось желание сжечь ее заживо. Особенно неприятное впечатление производила ее манера изрекать «девствительно!», прищуривая при этом глаза.

Миссис Буч была миниатюрнее. У нее были каштановые волосы, свисавшие забавными кудряшками по обеим сторонам лица, большие голубые глаза и небольшой запас стереотипных фраз, свидетельствовавших о ее ограниченности.

Как это ни странно, но от миссис Лейтюд-Ферней у меня в памяти не осталось ничего, за исключением ее фамилии и серо-зеленого шелкового платья со множеством синих с золотом пуговиц. Мне помнится также, что она была довольно полной блондинкой.

Назову еще мисс Файзон — горничную, обслуживающую леди Дрю и мисс Соммервиль. В конце стола, напротив моей матери, сидел обычно дворецкий Реббитс. Несмотря на свое положение в доме, он был человек скромный, хотя являлся к чаю не в обычной ливрее, а в визитке и черном галстуке с синими крапинками. Это был крупный мужчина с бакенбардами, с маленьким слабовольным ртом и тщательно выбритым подбородком.

Я сидел среди этих людей на высоком жестком креслице раннего грегорианского стиля и казался слабой травинкой среди огромных скал. Мать ни на минуту не спускала с меня глаз, готовая немедленно пресечь малейшее проявление живости с моей стороны. Мне приходилось трудно, но, вероятно, не легче было и этим людям — откормленным, стареющим, мнящим себя невесть чем,— не легче потому, что в моем лице сама мятежная и неугомонная юность с ее неверием вторгалась в узкий мирок их мнимого величия.

Чаепитие продолжалось почти три четверти часа, и я должен был волей-неволей высиживать все это время; изо дня в день за чаем велся один и тот же разговор.

— Не угодно ли сахару, миссис Мекридж? — спрашивала мать.— И вам не угодно ли, миссис Лейтюд-Ферней?

Слово «сахар» действовало, как видно, возбуждающе на миссис Мекридж.

— Говорят,— начинала она тоном торжественной декларации (по крайней мере половина ее фраз начиналась

словом «говорят»),— говорят, от сахара полнеют. Многие знатные люди вовсе не употребляют его.

— Даже с чаем, мэм,— авторитетно подтверждал Реббитс.

— И вообще ни с чем,— добавляла, отпивая чай, миссис Мекридж таким тоном, словно это был верх остроумия.

— Что они еще говорят? — спрашивала мисс Файзон.

— И чего они только не говорят! — вставляла свое слово миссис Буч.

— Они говорят,— неукоснительно продолжала миссис Мекридж,— что доктора теперь не ре-ко-мен-ду-ют его.

Моя мать. В самом деле, мэм?

Миссис Мекридж. В самом деле, мэм.— И, обращаясь ко всем сидящим за столом, добавляла: — Бедный сэр Родерик до самой своей смерти употреблял много сахара. Мне иной раз приходит в голову: уж не это ли ускорило его конец?

Тут разговор прерывался. Наступала торжественная пауза — в знак уважения к блаженной памяти сэра Родерика.

— Джордж! — восклицала мать.— Да не колоти ты о кресло ногами!

Мне вспоминается, что после этого миссис Буч выступала с любимым номером своего репертуара.

— Как хорошо, что вечера становятся короче,— говорила она или, если дни уменьшались:— А ведь вечера становятся длиннее.

Это «открытие» представляло для нее огромную важность; не знаю, как бы она существовала, не рассказывая о нем присутствующим.

Моя мать, сидевшая обычно спиной к окну, считала нужным в таких случаях из уважения к миссис Буч повернуться, посмотреть на улицу и определить, убывает день или прибывает — в зависимости от того, в какое время года все это происходило. Затем возникала оживленная дискуссия по поводу того, сколько времени еще остается до наступления самого длинного или, наоборот, самого короткого дня.

Исчерпав тему, все замолкали.

Миссис Мекридж обычно возобновляла разговор. У нее было немало утонченных привычек, в частности, она читала «Морнинг пост». Другие леди тоже иногда брали в руки эту газету, но только для того, чтобы прочитать на первой странице сообщение о свадьбах, рождениях и похоронах. Конечно, это был старый «Морнинг пост» ценою в три пенса, а не современный — газета крикливая и беспокойная.

— Говорят,— начинала миссис Мекридж,— что лорд Твидемс собирается в Канаду.

— А! — восклицал мистер Реббитс.— Так они, значит, едут?

— Не приходится ли он,— спрашивала мать,— кузеном графу Сламголду?

Она знала, что это так, и ее вопрос был совершенно излишним и праздным, но ведь нужно же было поддержать разговор!

— Он самый, мэм,— отвечала миссис Мекридж.— Говорят, он был очень популярен в Новом Южном Уэльсе. Там к нему относились с исключительным почтением. Я знала его, мэм, еще юношей. Весьма приятный молодой человек.

И вновь наступала почтительная пауза.

— У его предшественника были неприятности в Сиднее,— заявлял Реббитс, перенявший от какого-то церковнослужителя манеру говорить с пафосом и отчеканивая слова, но не усвоивший при этом привычки к придыханию, которое облагораживало бы его речь.

— Да, да! — презрительно бросала миссис Мекридж,— я об этом уже наслышана.

— Он приезжал в Темплмортон после своего возвращения, и я помню, что о нем говорили после того, как он уехал обратно.

— Как? — восклицала миссис Мекридж.

— Он надоел всем своим пристрастием к стихам, мэм. Он говорил... что же он говорил?.. Ах, да: «Они покинули свою страну на благо ей». Он намекал на то, что в свое время они были каторжниками, но потом исправились. Все, с кем я разговаривал, уверяли, что он вел себя нетактично.

— Сэр Родерик обычно говорил,— заявляла миссис Мекридж,— что, во-первых (здесь миссис Мекридж

делала паузу и бросала на меня уничтожающий взгляд), во-вторых (она вновь дарила меня зловещим взглядом) и в-третьих (теперь уже она не обращала на меня внимания), колониальному губернатору нужен такт.

Почувствовав, что я с недоверием отношусь к ее словам, она категорически добавляла:

— Это замечание всегда казалось мне исключительно справедливым.

Я решил про себя, что если когда-нибудь у меня в душе начнет разрастаться полип такта, я вырву его с корнями и растопчу.

— Люди из колоний — странные люди,— снова заговорил Реббитс.— Очень странные. В бытность мою в Темплмортоне я насмотрелся на них. Среди них есть чудные какие-то. Они, конечно, очень вежливы, нередко сорят деньгами, но... Признаюсь, некоторые из них подчас заставляли меня нервничать. Они неотступно следят за вами, когда вы обслуживаете их. Они не сводят с вас глаз, когда вы подаете им...

Мать не принимала участия в этой дискуссии. Слово «колонии» всегда расстраивало ее. По-моему, мать боялась, что если она начнет об этом думать, то мой заблудший отец может, к ее стыду, внезапно объявиться, оказавшись многоженцем, бунтовщиком и вообще подозрительной личностью. Ей вовсе не хотелось, чтобы мой отец вдруг отыскался.

Любопытно, что в те годы, когда я был маленьким мальчиком, которому полагалось только слушать, у меня уже было свое, совершенно иное представление о колонистах, и в душе я потешался над тем зловещим смыслом, какой вкладывала в это слово миссис Мекридж. Я был уверен, что мужественные англичане, обожженные солнцем широких просторов, терпят аристократических пришельцев из Англии только в качестве ходячего анахронизма, что же касается их признательности, то...

Сейчас я уже не потешаюсь. Сейчас я не так в этом уверен.

IV

Трудно объяснить, почему я не пошел по пути, вполне естественному для человека в моем положении, и не принял мир таким, какой он есть. Это объясняется скорее

всего известным врожденным скептицизмом и недоверчивостью. Мой отец был, несомненно, скептиком, а мать — суровой женщиной.

Я был единственным ребенком у родителей и до сих пор не знаю, жив ли мой отец. Он бежал от добродетелей моей матери еще до того, как я начал отчетливо помнить себя. Он бесследно исчез, и мать в порыве возмущения уничтожила все, что осталось после него. Я никогда не видел ни его фотографий, ни даже клочка бумаги с его почерком. Не сомневаюсь, что только общепринятый кодекс морали и благоразумие помешали ей уничтожить брачное свидетельство, а заодно и меня и таким образом полностью избавиться от пережитого унижения. Мне кажется, я частично унаследовал от матери ту добродетельную глупость, которая заставила ее уничтожить личные вещи отца. Ведь у нее, несомненно, были его подарки, полученные в те далекие дни, когда он за ней ухаживал: книги с трогательными надписями, письма, засохший цветок, кольцо и другие сувениры в таком же роде. Она сохранила только свое обручальное кольцо, а все остальное уничтожила. Она даже не сказала мне, как его зовут, и вообще не говорила о нем ни слова, хотя чувствовала иногда, что мне не терпится спросить об отце. Все, что я знаю о нем, известно мне от его брата — моего героя, дядюшки Пондерво.

Мать носила обручальное кольцо, хранила свое брачное свидетельство в запечатанном конверте на дне самого большого сундука и поместила меня в частную школу, расположенную среди холмов Кента. Не думайте, что я всегда находился в Блейдсовере — даже во время каникул. Если в дни приближения каникул леди Дрю испытывала раздражение после очередного визита гостей или по каким-нибудь другим причинам хотела причинить неприятность матери, она пропускала мимо ушей ее обычное напоминание, и я оставался в школе.

Но это случалось редко, в возрасте от десяти до четырнадцати лет я ежегодно проводил в Блейдсовере в среднем дней пятьдесят.

Не думайте, что эти дни не дали мне ничего хорошего. Хотя мрачная тень Блейдсовера и простерлась над всей окружающей сельской местностью, ему нельзя было отказать в некотором величии. Блейдсоверская система

имела по меньшей мере одно хорошее последствие для Англии: она уничтожила патриархальный склад крестьянского мышления. Если многие из нас все еще живут и дышат воздухом буфетной и комнаты экономки, то все же мы ныне отнюдь не стремимся к тому дремотному и тусклому существованию, когда разведение кур и свиней — единственный источник ваших скудных доходов.

Уже сам парк вносил в мою жизнь что-то новое и свежее. Там была огромная лужайка, ее не заваливали удобрениями и не возделывали под овощи; она сохраняла свою таинственность, давала широкий простор моему воображению. В парке водились олени, и я наблюдал жизнь этих пятнистых созданий, слышал трубный рев самцов, любовался молодыми животными, скакавшими в зарослях папоротника, натыкался в глухих уголках на кости, черепа и рога. Здесь были места, где вы начинали понимать, что такое лес, где природа раскрывалась перед вами во всем своем нетронутом великолепии. В западной части леса под молодыми, залитыми солнцем буками приютилось множество колокольчиков; воспоминание о них, как драгоценный сапфир, я храню и доныне.

Здесь я впервые познал красоту.

В доме имелись книги. Леди Дрю читала всякую чепуху, но я не видел ее книг. Позднее я понял, что она находила особое очарование в такой ерунде, как «Мария Монк». В давние времена в Блейдсовере жил сэр Катберт Дрю (сын сэра Мэтью, построившего дом) — человек с интеллектуальными наклонностями. В ветхой мансарде валялись, заброшенные и забытые, его книги и другие сокровища. Как-то раз во время зимней распутицы мать разрешила мне порыться в них. Сидя у слухового окна над запасами чая и пряностей, я познакомился с репродукциями картин Хоггарта, хранившимися в объемистом портфеле, с альбомом гравюр, воспроизводивших фрески Рафаэля в Ватикане, а в больших, с металлическими застежками книгах я любовался видами различных столиц Европы, как они выглядели в 1780 году. Полезным для меня оказалось знакомство с подробным атласом восемнадцатого века, хотя его карты не отличались точностью. Названия стран были украшены чудесными изображениями: на карте Голландии красовался рыбак с лодкой, Россия была представлена каза-

ком, Япония — удивительными людьми в одежде, похожей на пагоды (я не ошибаюсь: именно на пагоды).

В те времена каждый континент имел свою Terrae Incognitae[1], были Польша и Сарматия и забытые позднее страны. Вооружившись тупой булавкой, я совершал увлекательные путешествия в огромном, величественном мире.

Книги, хранившиеся в тесной ветхой мансарде, были, очевидно, изгнаны из салона в период викторианского возрождения хорошего вкуса и изощренной ортодоксальности, и моя мать не имела о них ни малейшего представления. Именно поэтому мне удалось ознакомиться с замечательной риторикой «Прав человека» и «Здравого смысла» Тома Пейна — отличных книг, подвергшихся злобным нападкам, хотя до этого их хвалили епископы. Здесь был «Гулливер» без всяких сокращений; читать эту книгу в полном виде мальчику, пожалуй и не следовало бы, но особого вреда в этом я не вижу и впоследствии никогда не жалел об отсутствии у меня щепетильности в подобных вопросах. Прочтя Свифта, я очень разозлился на него за гуингномов и лошадей, а потом не особенно долюбливал.

Затем, припоминаю, я прочел перевод вольтеровского «Кандида», прочел «Расселаса»[2] и вполне убежден, что, несмотря на огромный объем, от корки до корки — правда, в каком-то одурении, заглядывая по временам в атлас,— осилил весь двенадцатитомный труд Гиббона[3].

Я разохотился читать и стал тайком совершать налеты на книжные шкафы в большой гостиной. Я успел прочитать немало книг, прежде чем мое кощунственное безрассудство было обнаружено престарелой старшей горничной Энн. Помнится, в числе других книг я пытался осилить перевод «Республики» Платона, но нашел его неинтересным, так как был слишком молод. Зато «Ватек» меня очаровал. Например, этот эпизод с пинками, когда каждый обязан был пинать.

---

[1] Неведомая земля *(лат.)*.

[2] Философская повесть английского просветителя Сэмюэля Джонсона (1709—1784).

[3] Речь идет о книге английского историка эпохи Просвещения Эдуарда Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи».

«Ватек» всегда вызывает у меня в памяти детские впечатления о большой гостиной в Блейдсовере.

Это была высокая, длинная комната, выходившая окнами в парк; на окнах — их было больше дюжины, причем высотой чуть ли не от пола до потолка — под ламбрекенами (кажется, это так называется?) висели замысловатые занавеси из шелка или атласа, с тяжелой бахромой. Сложной конструкции белые ставни складывались в глубокой нише, устроенной в толще стены. По обеим сторонам этой тихой комнаты находились два огромных мраморных камина. На стене, у которой стоял книжный шкаф, бросалось в глаза изображение волчицы, Ромула и Рема в компании с Гомером и Вергилием. Изображения, украшавшего противоположную стену, я не помню. Фредерик, принц Уэльский, важно шествовал по третьей стене; художник изобразил его в два человеческих роста, но удачные тона масляных красок несколько смягчали очертания слишком крупной фигуры. Наконец, четвертой стеной завладела целая группа гигантов — покинувших сей мир Дрю; они были изображены на фоне грозового неба в виде лесных богов, почти лишенных одеяния.

Из центра расписанного красками потолка спускались три люстры с сотнями хрустальных подвесок. На бесконечном ковре, казавшемся мне таким же огромным, как Сарматия из географического атласа, который я рассматривал в мансарде, разместились островки и целые архипелаги из кресел и кушеток, обитых лощеным ситцем, столы, огромные севрские вазы на подставках, бронзовая фигура всадника. Припоминаю еще, что где-то в этих необозримых пространствах затерялись рояль и арфа с пюпитром для нот в форме лиры...

Каждый рейд за книгами был сопряжен с большим риском и требовал исключительной смелости. Нужно было спуститься по главной служебной лестнице, но это еще не представляло трудности, так как дозволялось законом. Беззаконие начиналось на маленькой лестничной площадке, откуда предстояло очень осторожно проскользнуть через дверь, обитую красной байкой. Небольшой коридор вел в холл, и здесь надлежало произвести рекогносцировку, чтобы установить местонахождение старой служанки Энн (молодые поддерживали со

мной дружественные отношения и в счет не шли). Выяснив, что Энн находилась где-нибудь в безопасном для меня отдалении, я стрелой мчался через открытое пространство к подножию огромной лестницы, которой никто не пользовался с тех пор, как пудра вышла из моды, а оттуда — к двери большой гостиной. Устрашающего вида фарфоровый китаец в натуральную величину принимался гримасничать и трясти головой, отзываясь даже на самые легкие шаги. Наибольшую опасность таила сама дверь: двойная, толстенная, как стена, она поглощала звуки, так что услышать, не работает ли кто-нибудь в комнате метелкой из перьев, было невозможно.

Со страхом блуждая по огромным помещениям в поисках жалких крох знаний, разве я не напоминал чем-то крысу?

Я помню, что среди книг в кладовой обнаружил и Плутарха в переводе Лангхорна. Сейчас мне кажется удивительным, что именно так я приобрел гордость и самоуважение, получил представление о государстве и понял, что такое общественное устройство; удивительно также, что учить меня этому пришлось старому греку, умершему восемнадцать веков назад.

V

Школа, где я учился, была того типа, который допускался блейдсоверской системой. Привилегированные учебные заведения, появившиеся в короткий блестящий период Ренессанса, были в руках правящего класса. Считалось, что низшие классы не нуждаются в образовании, а наш средний слой получил, как это ему полагалось, частные школы, которые мог открыть любой человек, если даже он не обладал соответствующими знаниями и опытом. Нашу школу содержал человек, у которого в свое время хватило энергии получить диплом колледжа наставников. Принимая во внимание невысокую плату за обучение, я должен признать, что его школа могла быть и хуже, чем была в действительности. Пансион находился за деревней, в грязном здании из желтого кирпича, а классная комната помещалась в деревянном флигеле.

Я не могу сказать про свои школьные дни, что они были несчастливыми; наоборот, мы проводили время до-

вольно весело — в играх и забавах, хотя нас нельзя было назвать милыми и благовоспитанными детьми. Мы часто затевали драки, и это были не обычные среди мальчишек потасовки, когда соблюдаются даже известные правила, а самые настоящие, свирепые побоища, где пускались в ход не только руки, но и ноги, что, во всяком случае, приучало нас к стойкости. Вместе с нами учились несколько сыновей лондонских трактирщиков; они знали, чем отличается беспорядочная драка, когда стремятся нанести противнику увечье, от настоящего бокса, но на практике применяли оба вида искусства. Во время драки они не стеснялись в выборе выражений, показывая свои преждевременно развившиеся лингвистические способности.

Наша крикетная площадка с вытоптанной у ворот травой была оборудована плохо. Игре нас кое-как обучал девятнадцатилетний деревенский парень в мешковатом, купленном в магазине костюме. Играли мы без всякого стиля и пререкались с судьей.

Директор школы, он же ее владелец, преподавал нам арифметику, алгебру и Эвклида, а старшим ученикам — даже тригонометрию. Он имел склонность к математике, и сейчас я считаю, что он дал нам не меньше, чем могла бы дать английская народная школа.

У нас было одно неоценимое преимущество: в нашей школе пренебрегали духовным развитием учащихся. Мы относились друг к другу с грубой простотой истинных детей природы: ругались, озорничали, дрались; мы воображали себя то краснокожими индейцами, то ковбоями, то еще кем-нибудь в этом роде, но никогда — юными английскими джентльменами. Мы не испытывали благочестивого волнения, заслышав гимн «Вперед, воины Христа», и холодная дубовая скамья в церкви не пробуждала в нас во время воскресных молитв религиозного рвения. Редко звеневшие в наших карманах пенни мы тратили на покупку запретных книжек в лавке одной деревенской старухи, на «Английских юношей», на сенсационные грошовые романы, предвосхитившие Хаггарда и Стивенсона; они были небрежно изданы, скверно иллюстрированы, но от этого не теряли в наших глазах своей неотразимой прелести.

В редкие дни отдыха нам предоставлялась полная

свобода бродить по окрестностям парами и по трое, болтать напропалую и предаваться фантастическим мечтаниям. Сколько привлекательного было в этих прогулках! Еще и сейчас, помимо ощущения красоты, волнует меня дух приключений, который пробуждался во мне при одном взгляде на неповторимый пейзаж Кента с его лугами, золотистыми полями пшеницы, засаженными хмелем огородами, сушилками и квадратными колокольнями церквей на фоне поросших лесом холмов.

Иногда мы курили, но никогда не подстрекали друг друга на еще более дурные поступки; например, мы не «обчистили» ни одного фруктового сада, хотя садов кругом было много, мы считали воровство грехом, а если иногда и крали несколько яблок из сада или клубнику и репу с полей, то потом эти преступные, бесславные действия вызывали у нас мучительные укоры совести.

Случались с нами и приключения, но, пожалуй, мы сами придумывали их. Однажды в жаркий день, когда мы направлялись к Мейдстону, дьявол внушил нам ненависть к имбирному лимонаду, и мы изрядно одурманили себя элем. В те дни наши юные головы были так забиты легендами о диком Западе, что мы загорелись желанием обзавестись пистолетами. Вскоре молодой Рутс из Хайбэри появился с револьвером и патронами, и както в праздничный день мы, шестеро смелых, решили уйти, чтобы зажить свободной, дикой жизнью. От первого выстрела, произведенного в старой шахте в Чизлстеде, у нас едва не лопнули барабанные перепонки; наш второй выстрел прозвучал около Пикторн Грина, в лесу, где росло множество примул. Со страху я поднял фальшивую тревогу, крикнув: «Сторож!»— и мы без оглядки мчались целую милю. После этого на большой дороге близ Чизлстеда Рутс неожиданно выстрелил в фазана, но когда молодой Баркер напугал Рутса своими россказнями о том, как строго закон карает браконьерство, мы спрятали пистолет в высохшей канаве за школьным огородом. Впрочем, уже на следующий день мы извлекли револьвер из тайника и, не обращая внимания на ржавчину в стволе и набившуюся туда грязь, попытались убить кролика, пробегавшего в трехстах ярдах от нас. Угодив в нарытую кротом кучку земли в нескольких шагах от себя, Рутс превратил ее в облачко пыли,

обжег себе пальцы и опалил лицо. После этого мы и в руки не брали оружие, проявившее столь странную склонность поражать самого стрелка.

Одним из наших любимых развлечений были перебранки с проезжими на Гудхерстской дороге. Не изгладились у меня из памяти также дни, когда в меловых шахтах за деревней я превращался в белое пугало, а затем в результате купания в костюме Адама в речушке, которая бежала через хиксонские луга, в компании с тремя другими адамитами и со стариной Юартом во главе заболевал желтухой.

О эти вольные, чудесные дни! Чем они были для нас! Как много они нам давали! В ту пору все ручьи текли из неведомых тогда еще «источников Нила», все заросли превращались в индийские джунгли, а нашу лучшую игру — я заявляю об этом с гордостью — изобрел я. Мы нашли лес, где надписи на щитах гласили: «Посторонним ходить воспрещается»; и вот здесь через весь лес мы проводили «отступление десяти тысяч», мужественно продираясь через заросли крапивы, а когда выходили к «морю», иначе к большой дороге, то, к изумлению прохожих и проезжих, преклоняли колена и начинали рыдать от радости, как об этом говорилось в книгах. Обычно я играл роль знаменитого полководца Ксено-о-фонта. Обратите внимание, как протяжно произношу я звук «о», так я произношу все классические имена. Со-крат рифмуется у меня со «сто крат», и я все еще придерживаюсь этого милого мне старого неправильного произношения, за исключением тех случаев, когда меня парализует холодный взгляд какого-нибудь педанта. Мое кратковременное бултыхание в латыни в те дни, когда я был аптекарем, не смыло этой привычки.

В общем, школа дала мне немало хорошего, и прежде всего она дала мне друга на всю жизнь.

Это был Юарт, тот самый, что сейчас, изведав все превратности судьбы, делает надгробные памятники в Уокинге. Милый Юарт! Я припоминаю, что его костюмы всегда были слишком тесны для него. Это был долговязый, нескладный мальчик, до смешного высокий рядом с моей хрупкой детской фигуркой. Если не считать усов, чернеющих ныне у него на верхней губе, его облик остался прежним: то же круглое, шишковатое лицо, те же жи-

вые темно-карие глаза; как раньше, так и теперь, он впадает порой в задумчивость и способен ошарашить вас двусмысленным ответом.

Ни один мальчик в школе не умел так дурачиться, как Боб Юарт, ни один не обладал такой способностью открывать в окружающем мире самые неожиданные, чудесные вещи. Все обыденное отступало перед Юартом, и после его объяснений все становилось редкостным и замечательным. От него я впервые услыхал о любви, но уже после того, как ее стрелы пронзили мое сердце. Теперь я знаю, что он был незаконным сыном великого, но беспутного художника Рикмана Юарта, и это он внес в мое смятенное сознание представление о том мире свободных нравов, который по крайней мере не поворачивается спиной к подлинной красоте.

Я покорил его сердце своим вариантом «Ватека», и мы стали неразлучными, закадычными друзьями. Наши мысли, запросы и представления были так схожи, что иной раз мне трудно было определить, где думал за меня Юарт и где это делал я сам.

VI

В четырнадцать лет я пережил трагическое потрясение.

Произошло это во время летних каникул, и виновницей всему была благородная Беатриса Норманди. Она, как говорится, «вошла в мою жизнь», когда мне не было еще двенадцати лет.

Она внезапно спустилась в наш мир во время тихой интермедии, которая начиналась у нас каждый год после отъезда трех важных персон. Поселилась она в старой детской наверху и ежедневно пила с нами чай в комнате экономки. Ей было восемь лет, и она появилась с няней по имени Ненни; вначале я терпеть не мог ее.

Вторжение этих двух особ в комнату нижнего этажа никому не нравилось — они доставляли лишние хлопоты. Из-за своей питомицы Ненни то и дело осаждала мою мать разными просьбами. Требование яиц в неурочное время, просьба заново вскипятить молоко, отказ ее питомицы от превосходного молочного пудинга — все это излагалось далеко не почтительно, а в категорической форме, словно на основании какого-то права. Ненни

была смуглая, длиннолицая, молчаливая женщина в сером платье. В ней было что-то в конце концов пугавшее, сокрушавшее и побеждавшее вас. Она давала понять, что действует по велению «свыше», как героиня греческой трагедии.

Это было странное порождение старых времен — преданная, верная служанка. Всю свою гордость и волю она отдала знатным и богатым людям, на которых работала, в обмен на пожизненную обеспеченность рабыни, и эта молчаливая сделка полностью связала ее. В конце концов ей предстояло получить пенсию и закончить свой жизненный путь ценимой и одновременно ненавидимой обитательницей какого-нибудь пансиона. Она усвоила неискоренимую привычку смотреть на все глазами своих господ и научилась подавлять возмущение, иногда возникавшее у нее в душе; все ее инстинкты были извращены или вовсе утеряны ею, она стала бесполой, забыла о том, что имела личную гордость, и воспитывала ребенка другой женщины с суровой, безрадостной преданностью, которую можно было сравнить только с ее стоической отрешенностью от всего остального мира. Нас она рассматривала как ничтожных людей, созданных лишь для того, чтобы прислуживать ее питомице и ухаживать за ней.

Но сама Беатриса была снисходительнее.

Бурные события позднейших лет изгладили из моей памяти ее детское лицо. Когда я думаю о Беатрисе, передо мной встает образ девушки, которую я узнал значительно позже, узнал настолько хорошо, что мог бы описать сейчас ее облик со всеми мельчайшими подробностями, недоступными для других. Еще в Блейдсовере я заметил — и надолго запомнил,— что у нее бархатистая кожа и тонкие брови, более нежные, чем самый нежный пушок на груди у птицы. Она походила на эльфа, эта часто красневшая, преждевременно развившаяся девочка с темно-каштановыми локонами — волосы вились у нее от природы,— порой в беспорядке падавшими на глаза; эти глаза темнели, когда она злилась, или становились светло-карими, если она была в безмятежном настроении.

Реббитс лишь ненадолго привлек ее внимание. Она решила, что единственная интересная личность за чайным столом — это я.

Старшие вели обычный скучный разговор, сообщая Ненни банальные подробности о парке и деревне, которыми надоедали каждому новому человеку, а Беатриса наблюдала за мной через стол с беспощадным детским любопытством, и под ее безжалостным взглядом я чувствовал себя не в своей тарелке.

— Ненни,— сказала она, показывая на меня, и Ненни оставила без ответа какой-то вопрос моей матери, чтобы выслушать Беатрису.— Ненни, этот мальчик — слуга?

— Ш-ш...— ответила Ненни.— Это мастер Пондерво.

— Он слуга? — повторила Беатриса.

— Нет, он школьник,— ответила моя мать.

— Тогда я могу поговорить с ним, Ненни?

Ненни окинула меня ледяным взглядом.

— Только недолго,— сказала она своей питомице, разрезая для нее кекс на узкие ломтики. Но, когда Беатриса попыталась заговорить со мной, Ненни вдруг отрезала: — Нет!

Потемневшие от раздражения глаза Беатрисы изучали меня с откровенной враждебностью.

— У него грязные руки,— заявила она, упрямо продолжая меня рассматривать,— и воротник протерся.

После этого она занялась кексом с таким видом, словно забыла о моем существовании, и это зажгло во мне ненависть к ней и в то же время страстное желание заставить ее восхищаться мною...

И на следующий день впервые в жизни добровольно, без всякого принуждения я вымыл перед чаем руки.

Так началось наше знакомство, которое по ее прихоти стало вскоре более близким. Легкая простуда заставила Беатрису сидеть дома, и девочка поставила Ненни перед выбором: или она, Беатриса, начнет капризничать и терзать слух своей трясущейся от старости богатой тетки нескончаемым пронзительным визгом, или меня приведут в детскую играть с ней всю вторую половину дня. Ненни спустилась вниз и со страдальческим видом взяла меня напрокат у матери, после чего я был вручен маленькому созданию, словно редкостной породы котенок. До этого мне никогда не приходилось иметь дело с маленькими девочками, и я решил, что в мире нет ничего более прекрасного и чудесного. Беатриса нашла во мне самого

покорного из рабов, хотя я сразу дал ей почувствовать свою силу.

Ненни была поражена, как быстро и весело пролетел день. Она похвалила мои манеры леди Дрю и моей матери, которая ответила, что рада слышать хорошие отзывы обо мне. После этого я еще несколько раз играл с Беатрисой. Я и сейчас помню ее огромные, роскошные игрушки; ничего подобного мне не приходилось видеть раньше. Мы даже побывали украдкой в большом кукольном домике на лестничной площадке возле детской; этот кукольный домик с восемьюдесятью пятью куклами представлял собой недурную копию Блейдсовера; он обошелся в сотни фунтов и был подарен принцем-регентом первенцу Гарри Дрю (который умер пяти лет). Под властным руководством Беатрисы мне посчастливилось поиграть этой великолепной игрушкой.

Я вернулся в школу после каникул, мечтая о всяких прекрасных вещах, и вызвал Юарта на разговор о любви. Мой рассказ о кукольном домике звучал как чудесная сказка, и стараниями Юарта домик превратился впоследствии в целый кукольный городок на придуманном нами острове.

Про себя я решил, что одна из кукол в этом городе похожа на Беатрису.

Во время следующих каникул я видел Беатрису лишь мельком; об этих вторых каникулах, во время которых я изредка встречался с ней, у меня сохранились лишь смутные воспоминания; затем я не видел ее целый год, а когда судьба нас снова свела, произошли события, вызвавшие мою опалу.

VII

Сейчас, когда я решил написать историю своей жизни, я впервые убеждаюсь, как непоследовательна и ненадежна человеческая память. Можно воскресить в памяти те или иные поступки, но нельзя вспомнить их мотивы; можно ясно представить себе те или иные события или отдельные эпизоды, но трудно объяснить, чем они вызваны и к чему привели. Мне кажется, во время последних каникул в Блейдсовере я не раз видел Беатрису и ее сводного брата, но никак не могу вспомнить, при каких обстоятельствах. Сам по себе великий перелом в моем детстве сохранился у меня в памяти очень отчетливо, но

когда я пытаюсь припомнить подробности, особенно подробности обстоятельств, которые привели к этому перелому, то чувствую, что вообще не могу их восстановить в сколько-нибудь последовательном порядке.

Появление сводного брата Беатрисы Арчи Гервелла внесло неожиданное изменение в обстановку.

Ясно помню, что этот светловолосый, надменный, тощий мальчик был значительно выше меня, но, думаю, лишь чуточку тяжелее. Я совсем не помню, как произошла наша первая встреча, но мы инстинктивно возненавидели друг друга с самого начала.

Оглядываясь на прошлое (это все равно, что рыться на заброшенном чердаке, где второпях побывал какой-то вор), я не могу объяснить, почему эти дети появились в Блейдсовере. Они принадлежали к бесчисленным родственникам леди Дрю и, если верить теории, высказанной в комнатах нижнего этажа, являлись претендентами на владение Блейдсовером. Если это было так, то их кандидатуру нельзя было назвать удачной. Огромный дом с его прекрасной мебелью, поблекшей роскошью и вековыми традициями полностью принадлежал престарелой леди Дрю, и я склонен думать, что она использовала это обстоятельство, чтобы мучить и держать в подчинении всех своих родственников — претендентов на наследство — и безгранично властвовать над ними. В их числе был и лорд Оспри. Леди Дрю относилась доброжелательно к его ребенку, потерявшему мать, и к его приемному сыну, отчасти, несомненно, потому, что лорд Оспри был беден, а может быть, как мне кажется сейчас, она питала слабую надежду на искреннюю или воображаемую привязанность с их стороны.

Когда я в последний раз приехал на каникулы, Ненни уже не было, а Беатриса находилась на попечении какой-то очень добродушной, слабохарактерной молодой женщины из военной среды: ее имени я так никогда и не узнал. По-моему, дети были на редкость непослушны и изобретательны на всякие проказы. Я помню, что меня считали неподходящим компаньоном для них, и нам приходилось встречаться как бы невзначай. Именно Беатриса настаивала на наших встречах.

В свои четырнадцать лет я, несомненно, знал о любви довольно много и любил Беатрису со страстью взрослого

человека. Мне казалось, что и Беатриса по-своему любит меня. Приятным и полезным в нашем мире самообманом является предположение взрослых о том, что дети того возраста, в котором были мы, ничего не чувствуют, ничего не думают и ничего не знают о любви. Даже такие реалисты, как англичане, поддерживают это заблуждение. Но я не стану скрывать, что мы с Беатрисой не только говорили о любви, но и обнимались и целовались.

Мне припоминается наш разговор под сводом зеленых ветвей кустарника. Я стоял у каменной стены парка, а моя божественная дама не совсем изящно восседала верхом на стене. Я сказал — не совсем изящно! Но если бы вы видели эту милую баловницу так, как видел я! Я так живо сейчас представляю ее себе среди густо переплетенных ветвей, на которые я не смел взобраться, боясь осквернить их, а вдали, высоко над ней, неясные, но величественные очертания фасада огромного Блейдсовера, вздымавшегося на фоне облачного неба.

Наш разговор носил серьезный и деловой характер: мы обсуждали мое положение в обществе.

— Я не люблю Арчи,— сказала она между прочим, а затем наклонилась ко мне так, что волосы упали ей на лицо, и прошептала: — Я люблю тебя.

Она настойчиво пыталась добиться от меня ясного ответа, что я не слуга и не должен быть слугой.

— Ты никогда не будешь слугой, никогда!

Я охотно поклялся в этом и сдержал свою клятву.

— Кем же ты будешь? — спросила она.

Я поспешно перебрал в уме все известные мне профессии.

— Может быть, ты станешь солдатом? — допытывалась она.

— Чтобы на меня орали всякие олухи? Ни за что! Предоставим это крестьянским парням.

— Ну, а офицером?

— Не знаю,— ответил я, уклоняясь от прямого ответа.— Скорее всего я пойду во флот.

— Тебе хотелось бы сражаться?

— Да, хотелось бы. Но не простым солдатом... Мало чести, когда тебе приказывают драться да еще смотрят, хорошо ли ты это делаешь... А как я могу стать офицером?

— Ты не можешь? — спросила она и с сомнением посмотрела на меня.

И тут разверзлась разделявшая нас пропасть.

Впрочем, как и полагается настоящему мужчине, я вскоре преодолел это препятствие при помощи хвастовства и лжи. Я заявил, что беден, а бедные люди идут во флот, что я знаю математику, в которой ничего не смыслят армейские офицеры. Затем, пустив в ход Нельсона и ссылаясь на него, стал доказывать, как много обещает мне морская служба.

— Нельсон любил леди Гамильтон, хотя она и была леди,— сказал я,— а я буду любить тебя.

Как раз в этот момент раздался резкий голос гувернантки.

— Беат-ри-са, Бе-е-а-триса! — кричала она.

— Вынюхивает, бестия! — сказала моя леди и попыталась продолжать разговор, но ей помешала гувернантка.

— Подойди сюда,— внезапно заявила Беатриса, протягивая мне свою запачканную ручку.

Я подошел поближе. Она наклонила свою головку так низко, что ее темно-каштановые густые волосы стали щекотать мне щеки.

— Ты мой покорный, верный возлюбленный? — шепотом спросила она, почти касаясь моего лица теплым раскрасневшимся личиком, на котором заблистали вдруг потемневшие глаза.

— Да, я твой покорный, верный возлюбленный,— прошептал я в ответ.

Она обхватила мою голову руками, протянула мне губы, и мы поцеловались. Я весь дрожал от страсти, хотя был еще мальчишкой.

Так мы поцеловались впервые.

— Бе-е-е-а-триса! — послышалось уже совсем рядом.

В воздухе мелькнули маленькие ножки в черных чулках, и моя дама мигом исчезла. Через минуту я услышал, как она в ответ на упреки гувернантки с восхитительным самообладанием и непринужденностью объясняла ей, почему не могла откликнуться вовремя.

Я понял, что мое присутствие излишне, и виновато скрылся в Западном лесу, чтобы помечтать о любви и поиграть в одиночестве в извилистом, заросшем папоротни-

ком овраге блейдсоверского парка. В тот день и еще долго потом поцелуй Беатрисы горел у меня на губах, как сладостная печать, а по ночам рождал у меня поэтические сны.

Припоминаю вылазку в Западный лес, совершенную вместе с Беатрисой и ее сводным братом (предполагалось, что они играют в кустах); мы были индейцами, а штабель буковых бревен — нашим вигвамом; мы выслеживали оленя, подползали к поляне, наблюдали, как кормятся кролики, и чуть не поймали белку. Между мною и юным Гервеллом поминутно возникал спор о том, кому руководить игрой, но так как я прочитал в десять раз больше книг, чем он, то в конце концов первенство оставалось за мной. Мое превосходство стало еще более очевидным, когда выяснилось, что я знаю, как отыскать орлиное гнездо в зарослях папоротника. Не помню, как случилось, что мы с Беатрисой, разгоряченные и растрепанные, спрятались от Гервелла в высоком папоротнике. Огромные резные листья поднимались над нами на несколько футов. Я полз впереди, ибо умел пробираться в траве так, что ее зеленые верхушки почти не шевелились и не выдавали меня. Почва, где растет папоротник, бывает обычно удивительно чистой, а в теплую погоду даже можно уловить слабое благоухание. Среди высоких стеблей, черных у основания и зеленых поближе к вершине, чувствуешь себя так, словно пробираешься сквозь тропические заросли.

Итак, я полз впереди, а Беатриса за мной, и, когда перед нами открылась поляна, мы остановились. Беатриса подползла ко мне, и я почувствовал на своей щеке ее горячее дыхание. Она огляделась по сторонам, внезапно обняла меня за шею, притянула к себе и стала целовать. Мы целовались, обнимались и снова безудержно целовались — молча, без единого слова. Наконец, мы пришли в себя, пристально посмотрели друг на друга, и настроение у нас вдруг упало. Смущенные и удивленные, мы поползли дальше, но вскоре Арчи без труда обнаружил и поймал нас.

Эту сцену я запомнил очень хорошо. Мне на ум приходят другие смутные воспоминания о наших совместных приключениях. Не знаю, каким образом, но в них фигурирует старина Холл с его ружьем и охота за галка-

ми, но вот драка в Уоррене[1] сохранилась у меня в памяти очень четко и занимает особое место в моих воспоминаниях.

Уоррен, как и большинство других мест в Англии с этим названием, не оправдывал своего имени. Это был заросший шиповником и буками длинный склон, по которому извивалась тропинка, позволявшая пройти из Блейдсовера в Ропдин в стороне от большой дороги. Не припомню сейчас, как наша троица очутилась там, но мне кажется, что это было связано с визитом гувернантки в ропдинский приход. Обсуждая с Арчи детали игры, мы заспорили из-за Беатрисы. Я честно предлагал распределить роли так: я испанский гранд, Беатриса — моя жена, а сам Арчи — племя враждебных индейцев, собирающихся ее похитить. Мне казалось, что ни один уважающий себя мальчишка не откажется от такого заманчивого предложения — изображать целое индейское племя и заполучить такую бесценную добычу, как Беатриса.

Но Арчи внезапно обиделся.

— Нет,— сказал он,— это не выйдет.

— Что не выйдет?

— Ты не можешь быть джентльменом, ведь ты не джентльмен. Беатрисе не полагается быть твоей женой. Это... это наглость...

— Но...— сказал я и бросил взгляд на Беатрису.

Видимо, я чем-то обидел Арчи в этот день, и теперь он сводил со мной счеты.

— Мы разрешили тебе играть с нами,— сказал Арчи,— но ты не забывайся и не допускай подобных вещей.

— Какой вздор! — воскликнула Беатриса.— Он может делать все, что ему нравится!

Но Арчи настаивал на своем, я уступил ему и начал сердиться только минуты через три-четыре. Мы обсуждали в это время одну игру, затем подняли спор из-за другой. Все нам казалось неправильным.

— Мы вообще не хотим с тобой играть,— заявил Арчи.

---

[1] Уоррен (Warren) — означает кроличий садок; название многих мест в Англии.

— Нет, хотим,— отрезала Беатриса.

— Он неправильно произносит: вместо «нет» говорит «не».

— Не, я говорю правильно,— ответил я, разгорячившись.

— Ну вот, пожалуйста! — воскликнул Арчи и показал на меня пальцем.— Он сказал «не», «не», «не»!

В ответ на эту обиду я стремительно бросился на него.

— Ах так! — крикнул Арчи при моем неожиданном нападении.

Он стал в позицию, напоминавшую стойку боксера, парировал мой удар и, в свою очередь, ударил меня по лицу; этот успех так обрадовал его, что он даже рассмеялся. Я рассвирепел. Он боксировал не хуже, а возможно, лучше меня (на что, по-видимому, он и рассчитывал), но я дважды дрался до победы по-настоящему, голыми кулаками, и научился получать и наносить самые безжалостные удары; вряд ли Арчи когда-нибудь участвовал в подобных драках. И действительно, уже через десять секунд я почувствовал, что он выдохся; его подвела изнеженность — характерная черта людей того класса, который кичится своей честью, спорит о ее правилах и тем мельчит это понятие, но не способен отстаивать ее до конца. Арчи, должно быть, надеялся, что после его удачных ударов, когда из моей рассеченной губы закапала кровь, я запрошу пощады. Но вскоре он сам прекратил всякое сопротивление. Я принялся яростно избивать его и время от времени, задыхаясь, осведомлялся, как это делалось у нас в школе, хватит ли с него. Но изнеженность не позволяла ему встать и поколотить меня, а врожденная гордость — сдаться на милость победителя.

У меня сохранилось отчетливое впечатление, что во время этой драки Беатриса прыгала вокруг нас с восторгом, не подобающим леди, и что-то кричала, однако я был слишком увлечен, чтобы прислушиваться к ее словам. Она, несомненно, подбадривала нас обоих, но, теперь я склонен думать (если это только не результат разочарований позднейших лет моей жизни), особенно того, кто, по ее мнению, побеждал противника.

Потом молодой Гервелл, отступая под моими ударами, споткнулся о камень и упал, а я, следуя традициям

своего класса и своей школы, немедленно бросился на него, чтобы окончательно разделаться с ним. Мы все еще катались по земле, когда почувствовали чье-то властное вмешательство.

— Перестань ты, дурак! — закричал Арчи.

— О, леди Дрю! — услышал я голос Беатрисы.— Они дерутся! Как ужасно они дерутся!

Я оглянулся. Арчи пытался встать, и я не помешал ему, так как мой воинственный пыл внезапно погас.

Рядом с нами стояли обе старые леди в блестящем черном и пурпурном шелку, отделанном мехом; они направлялись в Уоррен пешком, так как лошадям тяжело было подниматься в гору, и неожиданно наткнулись на нас. Беатриса, делая вид, что спасается от преследования, мигом укрылась за их спиной. Мы оба растерянно поднялись с земли.

Ошеломленные старухи с испугом разглядывали нас своими подслеповатыми глазами. Я никогда раньше не видел, чтобы лорнетка леди Дрю дрожала так сильно.

— Вы скажете, пожалуй, что не дрались? — спросила леди Дрю.— Нет, вы дрались.

— Он дрался не по правилам,— проворчал Арчи и с укором посмотрел на меня.

— И это Джордж, сын миссис Пондерво! — заявила мисс Соммервиль, обвиняя меня таким образом не только в святотатственном поступке, но еще и в неблагодарности.

— Как он посмел? — воскликнула леди Дрю с искаженным от гнева лицом.

— Он нарушил все правила! — закричал Арчи и всхлипнул.— Я поскользнулся, и... он бил меня лежачего. Он стал мне коленкой на грудь.

— Как ты смел? — снова воскликнула леди Дрю.

Я вытащил из кармана скомканный, затасканный носовой платок и вытер с подбородка кровь, но не стал давать никаких объяснений. Не говоря о других причинах, лишавших меня возможности объясниться, я просто задыхался от усталости и напряжения.

— Он дрался нечестно,— хныкал Арчи.

Беатриса с любопытством рассматривала меня из-за спин старых дам. Поврежденная губа изменила мое лицо, и, как мне кажется, именно это заинтересовало

Беатрису. Я еще не пришел в себя окончательно и плохо соображал, но все же не проговорился, что Арчи и Беатриса играли со мной. Это было бы не по правилам. В эту трудную минуту я решил угрюмо молчать и взять на себя все последствия этого неприятного происшествия.

VIII

Блейдсоверское правосудие крайне запутало мое дело.

С грустью я должен признать, что десятилетняя благородная Беатриса Норманди предала и обманула меня, не останавливаясь перед самой бессовестной ложью. Видимо, она очень боялась за меня, но в то же время испытывала некоторые угрызения совести и содрогалась при одной мысли о том, что я был ее обрученным возлюбленным и целовал ее. В общем, она поступила постыдно, но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь другой поступил на ее месте иначе. Беатриса и ее сводный брат лгали очень дружно, и я оказался злодеем, который без всякой причины напал на людей, занимающих более высокое общественное положение. Они сочинили версию о том, что поджидали обеих леди в Уоррене, когда я заметил их, заговорил с ними и т. д.

Как я сейчас понимаю, если бы все произошло так, как они объяснили, то приговор леди Дрю следовало бы признать разумным и даже мягким.

Этот приговор объявила мне мать, по моему искреннему убеждению, еще больше потрясенная моей непочтительностью к знатным особам, чем сама леди Дрю. Она долго распространялась о доброте леди Дрю, о бесстыдстве и гнусности моего поступка, а затем изложила условия наложенной на меня эпитимии.

— Ты должен,— заявила мать,— подняться наверх и попросить прощения у молодого мистера Гервелла.

— Я не стану просить у него прощения,— ответил я, прерывая свое затянувшееся молчание.

Мать не верила своим ушам.

Я положил руки на стол и категорически заявил:

— Ни за что не буду просить у него прощения. Понимаешь?

— Тогда тебе придется уехать к дяде Фреппу в Чатам.

— Мне все равно, куда ехать и зачем, но просить прощения я не стану,— упрямо сказал я.

И я не стал просить прощения.

После этого я оказался один против всего мира. Возможно, что в глубине души мать жалела меня, но не показывала этого. Она приняла сторону молодого джентльмена; она пыталась, всеми силами пыталась заставить меня извиниться перед ним. Извиниться! Разве я мог объяснить ей все?

Так началось мое изгнание. На станцию Редвуд меня отвез в кабриолете молчаливый кучер Джукс; все мои личные вещи легко уместились в маленьком парусиновом саквояже под задним сиденьем экипажа.

Я понимал, что имею право возмущаться, что со мной поступили несправедливо, противозаконно, вопреки всем правилам. Но больше всего меня возмущала благородная Беатриса Норманди: она не только отреклась от меня, не только отшатнулась, словно от прокаженного, но даже не сделала попытки попрощаться со мной. А ведь это не стоило ей никакого труда! А что, если бы я выдал ее? Но сын слуги — сам слуга. Беатриса ненадолго забыла об этом, а теперь вспомнила...

Я утешал себя фантастическими мечтами о том, что когда-нибудь вернусь в Блейдсовер — суровый и могущественный, как Кориолан. Я не помню сейчас всех подробностей своего возвращения, но не сомневаюсь, что проявлял большое великодушие.

Мне остается добавить, что я не сожалел тогда об избиении молодого Гервелла и не сожалею об этом до сегодняшнего дня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я ВСТУПАЮ В СВЕТ И В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИЖУ БЛЕЙДСОВЕР

I

После моего окончательного, как предполагалось, изгнания из Блейдсовера разгневанная мать сначала отправила меня к своему двоюродному брату Никодиму

Фреппу, а когда я сбежал из-под его надзора обратно в Блейдсовер, отдала в учение к дяде Пондерво.

Мой дядя Никодим Фрепп был пекарем, проживал он на глухой улочке, в настоящей трущобе, возле разбитой, узкой дороги, на которой расположены, подобно бусинам на нитке, Рочестер и Чатам. Фрепп был под башмаком у своей жены — молодой, пышной, удивительно плодовитой и склонной к притворству особы —и, должен признаться, неприятно поразил меня. Это был согбенный, вялый, угрюмый и замкнутый человек. Его одежда всегда была в муке; мука была и в волосах, и на ресницах, и даже в морщинах его лица. Мне не пришлось изменить свое первое впечатление о нем, и Фрепп в моей памяти остался как смешной, безвольный простачок. Он был лишен чувства собственного достоинства, носить хорошие костюмы было ему «не по нутру», причесываться он не любил, и жена его, которая вовсе не была мастером этого дела, время от времени кое-как подрезала ему волосы; ногти он запускал до того, что они вызывали гримасу даже у не слишком брезгливого человека. Своим делом он не гордился и никогда не проявлял особенной инициативы. Единственная добродетель Фреппа заключалась в том, что он не предавался порокам и не гнушался самой тяжелой работой. «На твоего дядю,— говорила мать (в викторианскую эпоху у людей средних классов было принято всех старших родственников называть из вежливости дядями),— не очень приятно смотреть, да и поговорить с ним не о чем, но зато он хороший, работящий человек». В блейдсоверской системе морали, где все было шиворот-навыворот, своеобразным было и понятие о чести трудового человека. Одно из ее требований состояло в том, чтобы подняться еще до рассвета и проваландаться как-нибудь до вечера. Однако не считалось предосудительным, если у «хорошего, работящего человека» не было носового платка.

Бедный старый Фрепп — растоптанная, искалеченная жертва Блейдсовера! Он не протестовал, не боролся с заведенным порядком вещей, он барахтался в мелких долгах, впрочем, таких ли уж мелких, раз они в конце концов одолели его. Если ему приходилось особенно туго и требовалась помощь жены, она начинала жаловаться на боли и на свое «положение». Бог послал им

много детей, но большинство из них умерло, давая повод Фреппу и его жене всякий раз, когда дети рождались и умирали, твердить о своей покорности судьбе. Покорностью воле божьей эти люди объясняли все: и чрезвычайные стечения обстоятельств и свои поступки в тех или иных случаях.

Книг в доме не было. Я сомневаюсь, способны ли были дядя и тетя просидеть за чтением одну-две минуты. На их обеденном столе всегда царил хаотический беспорядок, валялись куски черствого хлеба, к неубранным объедкам день ото дня добавлялись новые и новые.

Если бы они не искали утешения, можно было бы утверждать, что им нравится это убогое, беспросветное существование. Но они искали утешения и находили его по воскресным дням — не в крепком вине и сквернословии, а в воображаемом утолении духовной жажды. Они и десятка два других жалких, нечистоплотных людей, одетых во все темное, чтобы не так бросалась в глаза грязь на платье, собирались в маленькой кирпичной молельне, где хрипела разбитая фисгармония, и утешали себя мыслями о том, что все прекрасное и свободное в жизни, все, что способно дерзать и творить, что делает жизнь гордой, честной и красивой, безвозвратно осуждено на вечные муки. Они присваивали себе право бога издеваться над его собственными творениями.

Такими они сохранились у меня в памяти. Еще более туманным и не менее смехотворным было их представление об уготованной им свыше награде. Свою уверенность в ней они выражали в насмешках по адресу тех, кто смело боролся за свое счастье. «Ну и умники!», «Источник, полный крови, из вен Эммануила»,— повторяли они слова своего гимна. Я до сих пор слышу это заунывное, хриплое пение. Я ненавидел их со всей беспощадной ненавистью, на какую способна лишь юность, и это чувство еще не погасло во мне до сих пор. Вот я пишу эти строки, и в памяти моей под звуки мрачного пения проносится одна картина за другой: я вижу этих темных, жалких людей — жирную женщину, страдавшую астмой, старого торговца молоком из Уэльса с шишкой на лысине — духовного вождя секты, громогласного галантерейщика с большой черной бородой, чудаковатую беременную женщину с бледным лицом — его жену, сгорбленно-

го сборщика налогов в очках... Я слышу разговоры о душе, странные слова, произнесенные впервые сотни лет назад в портах выжженного солнцем Леванта, избитые фразы о благовонном ладане, о манне небесной и о смоковницах, дающих тень и влагу в безводной пустыне. Я припоминаю, как после окончания богослужения болтовня, по-прежнему благочестивая по форме, переходила на другие, отнюдь не благочестивые темы, как женщины шептались о своих интимных делах, не стесняясь присутствием подростка...

Если Блейдсовер является ключом к пониманию Англии, то я твердо убежден, что Фрепп и его друзья помогли мне составить представление о России...

Я спал в грязной постели вместе с двумя старшими из числа выживших отпрысков плодовитой четы Фреппов. Свои рабочие дни я проводил в беспорядочной сутолоке лавки и пекарни; мне то и дело приходилось доставлять покупателям хлеб и выполнять другие поручения, увертываться от прямого ответа при расспросах дяди о моих религиозных убеждениях, выслушивать его постоянные жалобы на то, что десяти шиллингов в неделю, которые он получал на мое содержание от матери, слишком мало. Он не хотел расставаться с этими деньгами, но предпочел бы получать больше.

Во всем доме, повторяю, не только не было книг, но и угла, где можно было бы почитать. Газеты не нарушали благочестивого уединения этой обители суетой земных дел. Чувствуя, что день ото дня мне становится все труднее и труднее жить в этой обстановке, я при каждом удобном случае спасался бегством и бродил по улицам Чатама. Особенно привлекали меня газетные киоски. Здесь я мог рассматривать скверно иллюстрированные листки, в частности «Полицейские новости», с грубыми картинками, изображающими зверские преступления: зарезанная и спрятанная в ящике под полом женщина, старик, убитый ночью дубинкой, люди, выброшенные из поезда, счастливые любовники, из ревности застреленные или облитые купоросом,— все это было способно потрясти самое тупое воображение. Первое представление о жизни жуиров я получил из плохих иллюстраций, изображавших полицейские налеты на шулерские и увеселительные притоны. В других листках мне встречался Сло-

пер—столичный Джон Буль — с большим зонтиком, восседающий за стаканом джина, мелькали добродушные, ничего не выражающие лица членов королевской фамилии, которые отправлялись с визитом туда-то, присутствовали на открытии чего-то, женились, рождали детей, величественно лежали в гробу — одним словом, умудрялись делать все и в то же время ничего — удивительные, благосклонные, но непонятные люди...

С тех пор я никогда больше не был в Чатаме; он запечатлелся в моем сознании как некая отвратительная опухоль, которой пока не грозило вмешательство скальпеля. Чатам был порождением Блейдсовера, но стал его противоположностью, усиливая и подкрепляя своим существованием все, что означал Блейдсовер. Блейдсовер утверждал, что он представляет собой всю страну и олицетворяет Англию. Я уже отмечал, что, раздувшись от собственного величия, он как бы вытеснял деревню, церковь и приход на задворки жизни, делая их существование второстепенным и условным. В Чатаме можно было видеть, к чему это приводило. Все обширное графство Кент сплошь состояло из Блейдсоверов и предназначалось для господ, а избыток населения — все, кто не сумел стать хорошим арендатором, послушным батраком или добрым англиканцем, кто не проявил покорности и почтительности,— изгонялся с глаз долой гнить в Чатам, который не только окраской, но и запахом напоминал ящик для отбросов. Изгнанные должны были благодарить и за это.

Такова истинная теория происхождения Чатама.

Глядя на мир широко раскрытыми, жадными глазами юности, очутившись здесь в результате благословения (или проклятия) какой-то своей волшебницы-крестной, я слонялся по этой грязной многолюдной пустыне и вновь и вновь задавался вопросом: «Но в конце концов почему?..»

Как-то, шатаясь по Рочестеру, я мельком взглянул на раскинувшуюся за городом долину Стоура; ее цементные заводы, трубы которых изрыгали зловонный дым, ряды безобразных, закопченных, неудобных домишек, где ютились рабочие, произвели на меня удручающее впечатление. Так я получил первое представление о том, к чему приводит индустриализм в стране помещиков.

Привлеченный запахом моря, я провел несколько часов на улицах, которые тянутся к реке. Но я увидел обычные баржи и корабли, лишенные ореола романтики и занятые преимущественно перевозкой цемента, льда, леса и угля. Матросы показались мне грубыми и ленивыми, а их корабли — неуклюжими и грязными, ветхими посудинами. Я обнаружил, что в большинстве случаев гордые белоснежные паруса не соответствуют убогому виду кораблей и что корабль, как и человек, порой не в силах скрыть своей отвратительной нищеты. Я видел, как матросы разгружают уголь, как рабочие насыпают уголь в небольшие мешки, а черные от угольной пыли полуобнаженные люди сбегают с ними на берег и подымаются обратно на судно по доске, повисшей на высоте тридцати футов над зловонной, грязной водой. Вначале меня восхитила их смелость и выносливость, но затем возник все тот же вопрос: «Но в конце концов почему?..» И я понял, что они напрасно тратят свои силы и энергию... Кроме того, такая работа приводила к потерям и порче угля.

А я-то так мечтал о море! Но теперь моим мечтам хотя бы на время пришел конец.

Вот какими впечатлениями обогащался я в свободное время, об избытке которого у меня не могло быть и речи. Бо́льшую часть дня я помогал дяде Фреппу, а вечера и ночи проводил волей-неволей в обществе двух моих старших кузенов. Один из них — пламенно религиозный — работал на побегушках в керосиновой лавке, и я видел его только по вечерам и за обеденным столом; другой без особого удовольствия проводил у родителей летние каникулы. Это было удивительно тощее, несчастное и низкорослое создание; его любимым занятием было изображать из себя обезьяну. Я убежден сейчас, что он страдал тайным детским недугом, который лишал его сил и энергии. Теперь бы я отнесся к нему как к маленькому забитому существу, достойному жалости. Но в те дни он вызывал у меня лишь смутное чувство отвращения. Он громко сопел носом, уставал даже после непродолжительной ходьбы, не затевал сам никаких разговоров и, видимо, избегал меня, предпочитая проводить время в одиночестве. Его мать (бедная женщина!) называла его «задумчивым ребенком».

Однажды вечером, когда мы уже легли спать, между нами произошел разговор, который неожиданно повлек за собой большие неприятности. Меня глубоко возмутила какая-то особенно благочестивая фраза моего старшего кузена, и я со всей резкостью заявил, что вообще не верю в догматы христианской религии. До этого я никому и никогда не говорил о своем неверии, за исключением Юарта, когда он первым высказал подобные мысли и даже не пытался обосновать свои сомнения. Но в тот момент мне стало ясно, что путь к спасению, избранный Фреппами, не только сомнителен, но и просто невозможен, и все это я, не задумываясь, выпалил кузенам.

Мое решительное отрицание того, во что они верили, повергло моих кузенов в трепет.

Они не сразу поняли, о чем я говорю, а когда наконец сообразили, то, не сомневаюсь, стали ожидать, что небеса тут же поразят меня громом и молнией. Они даже отодвинулись от меня, а затем старший сел в кровати и выразил свое глубокое убеждение, что я совершил страшный грех. Я уже начал пугаться собственной дерзости, но когда он категорически потребовал от меня взять свои слова обратно, я неукоснительно повторил все сказанное.

— Нет никакого ада,—заявил я,— нет и вечных мук! Бог не такой уж глупец.

Старший кузен вскрикнул от ужаса, а младший, испуганный и растерянный, молча прислушивался к нашему разговору.

— Ты говоришь,— начал старший, несколько успокоившись,— что можешь делать все, что захочешь?

— Да, если позволяет совесть,— ответил я.

Мы увлеклись, наш спор затянулся. Но вот кузен вскочил с постели, поднял брата и, упав на колени, начал в ночной темноте молиться за меня. Мне был не по душе его поступок, но я мужественно выдержал и это испытание.

— Прости ему, господи,— громко шептал кузен,— он сам не знает, что говорит.

— Можешь молиться сколько угодно,— вскипел я,— но если ты будешь оскорблять меня в своих молитвах, я положу этому конец!

Последнее, что запомнилось мне из нашего продолжительного диспута,— это высказанное кузеном сожаление, что ему «приходится спать в одной постели с язычником».

На следующий день, к моему немалому удивлению, он донес о случившемся отцу, что совсем не вязалось с моими представлениями о порядочности. За обедом дядя Никодим обрушился на меня.

— Ты болтаешь всякую чепуху, Джордж,— буркнул он.— Надо думать, прежде чем говорить.

— Что он такое сказал, отец? — полюбопытствовала миссис Фрепп.

— Я не могу повторить его слова.

— Какие это слова? — запальчиво крикнул я.

— Спроси вот у него,— ответил дядя и указал ножом на доносчика, дабы я припомнил и глубже осознал свое преступление. Тетка посмотрела на свидетеля.

— Так он не...? — Она не договорила.

— Хуже! Он богохульник,— ответил дядя.

После этого тетка уже не могла прикоснуться к еде. В глубине души я начал уже немного сожалеть о своей дерзости, сознавая, что вступил на гибельный путь, но все же продолжал стоять на своем:

— Я рассуждал вполне разумно.

Вскоре мне пришлось пережить еще более неприятные минуты, когда я встретил двоюродного брата в узеньком, мощенном кирпичом переулке, который вел к бакалейной лавке.

— Ябеда! — крикнул я и изо всех сил ударил его по щеке.— А ну-ка...

Он отскочил назад, удивленный и испуганный. В этот момент его глаза встретились с моими, и я уловил в них блеск внезапной решимости. Он подставил мне другую щеку и сказал:

— Бей! Бей! Я прощу тебя!

Никогда еще я не встречал более подлого способа увильнуть от заслуженной взбучки. Я отшвырнул его к стене и, предоставив ему прощать меня сколько угодно, направился домой.

— Лучше тебе не разговаривать с двоюродными братьями, Джордж,— заметила тетка,— пока ты не возьмешься за ум.

Так я стал отщепенцем.

В тот же вечер за ужином кузен нарушил воцарившееся между нами ледяное молчание.

— Он ударил меня,— заявил он матери,— за то, что я в прошлый раз все рассказал отцу. А я подставил ему другую щеку.

— Дьявол попутал его,— торжественно провозгласила тетка, не на шутку перепугав старшую дочь, сидевшую рядом со мной.

После ужина дядя сбивчиво и нескладно начал уговаривать меня покаяться, прежде чем я лягу спать.

— А что, если ты умрешь во время сна, Джордж? — устрашал он меня.— Куда ты тогда попадешь, а? Подумай-ка об этом, мой мальчик.

Я был уже достаточно напуган, чувствовал себя глубоко несчастным, и слова дяди совсем обескуражили меня, но я по-прежнему держался вызывающе.

— Ты проснешься в аду,— вкрадчиво продолжал дядя Никодим.— Разве ты хотел бы, Джордж, проснуться в аду, гореть в вечном огне и стонать? Разве тебе это будет по вкусу, а?

Он уговаривал меня «только взглянуть на огонь в печи у него в пекарне», перед тем как ложиться спать.

— Это, пожалуй, тебя образумит,— добавил он.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Братья спали сном праведников справа и слева от меня. Я начал было шептать молитву, но тут же умолк: мне стало стыдно и пришло в голову, что бога все равно этим не задобришь.

— Нет,— твердо сказал я себе.— Будь ты проклят, если ты трус!.. Но ты не трус. Нет! Ты не можешь быть трусом!

Я бесцеремонно растолкал братьев, торжественно заявил им об этом и, успокоив свою совесть, мирно уснул.

Я безмятежно спал не только эту, но и все последующие ночи. Страх перед наказанием свыше ничуть не мешал мне спать на славу, и я убежден, что не помешает до конца дней моих. Это открытие составило целую эпоху в моей духовной жизни.

11

Я никак не ожидал, что все завсегдатаи воскресных богослужений ополчатся против меня. Но так имен-

но и случилось. Я очень хорошо помню, как все это происходило, вижу десятки глаз, направленных на меня, слышу кислый запах кожи, чувствую, как о мою руку трется шершавый рукав черного платья тетки, сидевшей рядом. Вижу старого торговца молоком из Уэльса, который «боролся» со мной,— все они боролись со мной, прибегая к молитвам и увещеваниям. Но я упорно сопротивлялся, хотя был подавлен их единодушным приговором, сознавая, что своим упорством обрекаю себя на вечное проклятие. Я чувствовал, что они правы, что бог, вероятно, на их стороне, но убеждал себя, что это мне безразлично. Чтобы скорее от них отвязаться, я заявил, что вообще ни во что не верю. Они пытались рассеять мое заблуждение цитатами из священного писания, что теперь мне кажется совершенно недопустимым полемическим приемом.

Я вернулся домой все тем же нераскаявшимся грешником, но в душе чувствовал себя одиноким, несчастным и навеки погибшим. Дядя Никодим лишил меня воскресного пудинга.

Только одно существо заговорило со мной по-человечески в этот день гнева — младший Фрепп. Он поднялся после обеда наверх в комнату, где меня заперли наедине с библией и моими мыслями.

— Послушай,— неуверенно начал он.— Ты хочешь сказать, что нет... никого...— Он замялся, не решаясь выговорить роковое слово.

— То есть как это нет никого?

— Ну, никого, кто бы всегда следил за тобой?

— А почему должен кто-то быть? — спросил я.

— Но ведь ты не можешь так думать,— продолжал брат. — Ведь не станешь ты говорить, что... — Он снова осекся.— Пожалуй, мне лучше не разговаривать с тобой.

С минуту он стоял в нерешительности, потом повернулся и зашагал прочь, озираясь с явно виноватым видом.

С этого дня жизнь стала для меня совершенно невыносимой; эти люди навязали мне такой атеизм, который ужасал даже меня самого. И когда я узнал, что в следующее воскресенье «борьба» возобновится, мужество покинуло меня.

В субботу я случайно увидел в окне писчебумажного магазина карту Кента, и она подсказала мне мысль о бегстве. Добрых полчаса я стоял перед ней, добросовестно ее изучая, хорошенько запомнил все деревни на пути, который мне предстояло проделать. В воскресенье я встал около пяти часов утра, когда мои товарищи по кровати еще спали сном праведников, и пешком пустился в Блейдсовер.

III

Смутно припоминаю это долгое, утомительное путешествие. От Чатама до Блейдсовера ровно семнадцать миль, и я добрался туда только к часу дня. В пути я встретил немало увлекательного и даже не слишком устал, хотя один башмак невыносимо жал мне ногу.

Утро в тот день было, по всей вероятности, ясное, так как помню, что где-то возле Ичинстоу-Холла я оглянулся и увидел устье Темзы — реки, сыгравшей впоследствии огромную роль в моей жизни. Но тогда я не знал, что это широкое водное пространство грязно-бурого цвета и есть Темза, и принял ее за море, которого никогда еще не видел. По воде сновали разного рода суда, парусники и даже пароходы; одни поднимались вверх по течению, направляясь к Лондону, другие спускались вниз, к морским просторам. Я долго следил за ними взглядом и думал: уж не отправиться ли мне вслед за ними к морю?

Приближаясь к Блейдсоверу, я начал сомневаться, хорошо ли меня там примут, и уже раскаивался, что вздумал вернуться сюда. Быть может, неказистый вид судов, которые мне удалось как следует разглядеть, положил конец моим мечтам о море.

Я выбрал кратчайший путь—через Уоррен—и решил пересечь парк, чтобы избежать встречи с возвращающимися из церкви прихожанами. Мне не хотелось попадаться им на глаза, пока я не повидаюсь с матерью, и в том месте, где тропинка вьется между холмов, я свернул с дорожки и не то чтобы спрятался, а просто встал за кустами. Здесь, помимо всего прочего, я не рисковал наткнуться на леди Дрю, которая обычно ездила по проезжей дороге.

Странное чувство испытывал я, стоя в своей засаде. Я воображал себя дерзким разбойником, отчаянным бан-

дитом, замыслившим налет на эти мирные места. Впервые я так остро почувствовал себя отщепенцем, и в дальнейшем это чувство сыграло большую роль в моей жизни. Я осознал, что для меня нет и не будет места в этом мире, если я сам не завоюю его.

Вскоре на холме появились слуги, которые шли небольшими группами: впереди — садовники и жена дворецкого, за ними две смешные неразлучные старухи-прачки, потом первый ливрейный лакей, что-то объяснявший маленькой дочке дворецкого, и, наконец, моя мать в черном платье; с суровым видом шагала она рядом со старой Энн и мисс Файзон.

С мальчишеским легкомыслием я решил превратить все в шутку. Выскочив из кустов, я крикнул:

— Ку-ку, мама! Ку-ку!

Мать глянула на меня, смертельно побледнела и схватилась рукой за сердце.

Нужно ли говорить, какой переполох вызвало мое появление. Разумеется, я не стал им докладывать, что́ заставило меня возвратиться в Блейдсовер, но держался стойко и упрямо твердил:

— Ни за что не вернусь в Чатам... Скорее утоплюсь, чем вернусь в Чатам...

На следующий день разгневанная мать повезла меня в Уимблхерст, сердито заявив, что отдаст меня дяде, о котором я никогда не слыхал, хотя он жил неподалеку. Она не сказала мне, что меня ожидает, и на меня так подействовало ее негодование и тот факт, что я причинил ей крупную неприятность, что я не стал ее расспрашивать. Я знал, что мне не приходится рассчитывать на милость леди Дрю. Мое окончательное изгнание было решено и подписано. Я уже начал сожалеть, что не бежал к морю, разочарованный видом облака угольной пыли и безобразных судов, на которые глядел в Рочестере. Море открыло бы передо мной широкую дорогу в мир.

IV

Наша поездка в Уимблхерст не слишком хорошо запечатлелась в моей памяти. Я помню только, что мать сидела рядом со мной в напряженной и надменной позе; казалось, она презирала вагон третьего класса, в ко-

тором мы ехали. Помню также, как она отворачивалась от меня к окну всякий раз, когда начинала разговор о дяде.

— Я помню твоего дядю мальчиком, с тех пор мне не приходилось его видеть,— сказала она.— Про него говорили, что он очень смышленый,— прибавила она явно неодобрительным тоном.

Моя мать не слишком-то ценила в человеке ум.

— Года три назад он женился и обосновался в Уимблхерсте. Думаю, у его жены водились кое-какие деньжонки.

Она замолчала, перебирая в памяти давно забытые эпизоды.

— Медвежонок...— сказала она наконец, что-то вспомнив.— Когда он был твоих лет, его называли Медвежонком... Сейчас ему должно быть лет двадцать шесть — двадцать семь.

С первого же взгляда на дядю я вспомнил о Медвежонке. Мать оказалась права: внешностью и повадками он действительно чем-то напоминал медвежонка. Трудно было найти для него более меткое прозвище. Он был довольно ловок, но не отличался изяществом манер и обладал живым, но неглубоким умом.

Из лавки стремительно вышел на тротуар низкорослый человечек в сером костюме и комнатных туфлях из серого сукна. Его молодое, слегка одутловатое лицо украшали очки в золотой оправе. Я успел заметить также жесткие, взъерошенные волосы, неправильный, крючковатый нос, в иные моменты казавшийся орлиным, и уже намечавшееся брюшко, круглое, как бочонок.

Он буквально выскочил из лавки и остановился на тротуаре, с нескрываемым восторгом созерцая что-то на витрине; потом с довольным видом почесал подбородок и вдруг юркнул бочком в дверь, словно его втянула туда чья-то рука.

— Это, вероятно, он,— сказала мать прерывающимся от волнения голосом.

Мы прошли мимо витрины, причем я и не подозревал, что вскоре мне придется до тонкостей ознакомиться со всеми выставленными там предметами. Это была обыкновенная витрина аптеки, если не считать фрикционной электрической машины, воздушного насоса, двух-

трех треног и реторт. Все это заменяло привычные синие, желтые и красные бутыли, красовавшиеся в витринах других аптек. Среди этой лабораторной утвари стояла гипсовая статуэтка лошади — в знак того, что имеются лекарства для животных, а у ее ног были разложены пакеты с душистыми травами, стояли пульверизаторы, сифоны с содовой водой и другие предметы. В центре витрины висело объявление, тщательно написанное от руки красными буквами:

Покупайте заблаговременно пилюли Пондерво от кашля.
Купите сегодня же!
Почему?
На два пенса дешевле, чем зимой.
Вы запасаетесь яблоками. Почему же вам не купить лекарство, которое непременно понадобится?

Впоследствии я убедился, что это объявление, его тон как нельзя лучше характеризовали моего изобретательного дядю.

В стеклянной двери, над рекламой, восхвалявшей детские соски, появилось лицо дяди. Я разглядел, что у него карие глаза, а от очков на носу пролегла полоска. Видно было, что дядя не знает, кто мы такие. Он осмотрел нас с головы до ног, затем с профессиональной любезностью широко распахнул перед нами дверь.

— Вы не узнаете меня? — задыхаясь, спросила мать.

Дядя не решился признаться в этом, но не смог скрыть своего любопытства. Мать опустилась на маленький стул возле прилавка, заваленного мылом и патентованными лекарствами; она беззвучно шевелила губами.

— Стакан воды, мадам? — предложил дядя и, описав рукой широкую кривую, прыгнул куда-то в сторону.

Отхлебнув из стакана, мать проговорила:

— Этот мальчик похож на своего отца. С каждым днем он становится все больше и больше похож на него... И вот я привезла его к вам.

— На своего отца, мадам?

— На Джорджа.

Несколько мгновений лицо дяди по-прежнему выражало полнейшее недоумение. Он стоял за прилавком, держа в руке стакан, который отдала ему мать. Но понемногу он начал догадываться.

— Черт возьми! — воскликнул дядя, потом еще громче: — Господи боже мой!

При этом восклицании у него свалились с носа очки. Поднимая их, он на мгновение скрылся за ящиками с какой-то кроваво-красной микстурой.

— Десять тысяч чертей! — гаркнул он и стукнул стаканом по прилавку.— Боги Востока! — С этими словами он бросился к замаскированной в стене двери, и уже из другой комнаты донесся его возбужденный голос: — Сьюзен! Сьюзен! — Потом он снова появился перед нами и протянул нам руку.— Ну, как вы поживаете?— спросил он.— Никогда в жизни я не был так потрясен. Подумать только... Вы! — Он горячо потряс вялую руку моей матери, а затем и мою, придерживая при этом очки указательным пальцем левой руки.— Заходите! — спохватился он.— Заходите же. Лучше поздно, чем никогда.— И он увлек нас в гостиную, находившуюся позади аптеки.

После Блейдсовера эта комната показалась мне маленькой и душной, но куда более уютной, чем логово Фреппов. Слабый запах некогда поглощенных здесь блюд носился в воздухе, и с первого же взгляда создавалось впечатление, что все здесь подвешено, обернуто или задрапировано. Газовый рожок в центре комнаты и зеркало над камином были украшены муслином ярких тонов; камин и доска над ним обрамлены каким-то материалом с бахромой в виде пушистых шариков (я впервые увидел такую бахрому), даже абажур на лампе, стоявшей на маленьком письменном столе, напоминал большую муслиновую шляпу. На скатерти и оконных занавесках я заметил все ту же бахрому в виде шариков, а на ковре были вытканы розы. По обеим сторонам камина стояли небольшие шкафы, и в нише виднелись грубо сколоченные полки, устланные розовой клеенкой и заваленные книгами. На столе, корешком вверх, лежал словарь, на раскрытом бюро валялись исписанные листы бумаги и другие доказательства внезапно прерванной работы. На одном из листов я успел прочитать круп-

но и отчетливо выведенные слова: «Патентованная машина Пондерво. Эта машина облегчит вам жизнь».

Дядя открыл в углу комнаты маленькую дверь, похожую на дверцу шкафа, и за ней оказалась узенькая лестница. Таких узких лестниц я в жизни никогда еще не видел.

— Сьюзен! — закричал дядя опять.— Ты нужна здесь. Кое-кто хочет тебя видеть. Просто удивительно!

В ответ раздались какие-то невнятные слова, затем над нашими головами что-то загремело, словно кто-то с раздражением швырнул на пол тяжелый предмет; после этого вступления на лестнице послышались осторожные шаги, и в дверях показалась моя тетка, держась рукой за косяк.

— Это тетушка Пондерво! — объявил дядя.— А это жена Джорджа, и она привезла к нам своего сына.

Он окинул комнату быстрым взглядом, потом метнулся к письменному столу и перевернул белой стороной кверху объявление о патентованной машине. Затем указал на нас очками:

— Ты ведь знаешь, Сьюзен, что у меня есть старший брат Джордж. Я не раз говорил тебе о нем.

Он порывисто отошел в глубину комнаты, остановился на коврике перед камином, надел очки и кашлянул.

Тетушка Сьюзен с любопытством рассматривала нас. Это была довольно хорошенькая стройная женщина лет двадцати трех — двадцати четырех. Я помню, как меня поразили ее необыкновенно голубые глаза и нежный румянец. У нее были мелкие черты лица, нос пуговкой, круглый подбородок и длинная гибкая шея, выступавшая из воротника светло-голубого капота. Ее лицо выражало откровенное недоумение, а маленькая вопросительная морщинка на лбу свидетельствовала о несколько ироническом желании понять, к чему клонит дядя; видимо, она уже раз навсегда убедилась в тщетности такого рода стараний и примирилась с этим. Всем своим видом она, казалось, говорила: «О боже! Что он еще мне преподносит?» Впоследствии, узнав ее поближе, я обнаружил, что ее попытки понять мужа постоянно осложнялись вопросом: «Что это он еще надумал?» В переводе на наш школьный жаргон это прозвучало бы: «Что это ему еще втемяшилось?»

Тетушка поглядела на меня и на мать, потом снова повернулась к мужу.

— Ты ведь слыхала о Джордже,— повторил он.

— Милости просим,— произнесла тетушка, спустившись с лестницы и протягивая нам руку.— Милости просим. Правда, это такая неожиданность... Я не смогу вас ничем угостить, в доме ничего нет.— Она улыбнулась, с добродушной усмешкой бросила взгляд на мужа и добавила: — Если только он не соорудит какое-нибудь снадобье. На это он вполне способен.

Мать церемонно пожала ей руку и велела мне поцеловать тетю.

— Ну, а теперь давайте сядем,— проговорил дядя с каким-то неожиданным присвистом и деловито потер руки. Он придвинул стул матери, поднял и сейчас же снова опустил штору на маленьком окне и возвратился на свое прежнее место перед камином.

— Честное слово,— сказал он, как человек, принявший окончательное решение,— я очень рад вас видеть.

V

Пока взрослые разговаривали, я внимательно разглядывал дядю. Мне удалось подметить в его внешности немало любопытных черточек.

На подбородке у него я заметил небольшой порез; его жилетка была застегнута не на все пуговицы, словно в тот момент, когда он одевался, что-то отвлекло его. Мне понравился насмешливый огонек, порой вспыхивавший у него в глазах. Я следил, словно зачарованный, за движением его губ, несколько изогнутых книзу, и с удивлением отмечал, что в очертаниях его рта есть какая-то неправильность, губы двигались как-то «кособоко», если можно так выразиться, отчего он начинал порой шепелявить и присвистывать. Не ускользнуло от меня и то, что во время разговора на лице у него то появлялось, то исчезало выражение какого-то торжества. Он то и дело поправлял очки, которые, по-видимому, были неудобны ему, нервно шарил в карманах жилетки, прятал руки за спину и начинал смотреть куда-то поверх наших голов; иногда он привставал на носки и тут же круто опускался на пятки. У него была привычка

время от времени с силой втягивать воздух сквозь зубы, и тогда раздавался какой-то жужжащий звук. Я могу изобразить его только как мягкое «з-з-з»...

Больше всех говорил дядя. Мать повторила все, что она уже сказала в начале нашей встречи: «Я привезла к вам Джорджа...» — но почему-то умалчивала о цели нашего приезда.

— Вы довольны своим жилищем? — спросила она и, получив утвердительный ответ, продолжала: — У вас очень уютно. Дом невелик и не требует особенных хлопот. Вам, кажется, неплохо в Уимблхерсте?

Дядя, в свою очередь, засыпал ее вопросами о высокопоставленных обитателях Блейдсовера. Мать отвечала так, будто она была близкой подругой леди Дрю. Тема вскоре истощилась, и на минуту все замолчали, а затем дядя пустился в рассуждения об Уимблхерсте.

— Это место,— начал он,— совсем не по мне.

Мать кивнула головой, словно ей это было уже известно.

— Я не могу здесь развернуться,— продолжал дядя.— Здесь мертвечина. Никогда ничего не случается.

— Он вечно ждет каких-то событий,— отозвалась тетушка Сьюзен.— Когда-нибудь все эти события обрушатся на него лавиной, и он сам будет не рад.

— А вот и наоборот! — весело ответил дядя.

— Вы хотите сказать, что торговля идет вяло? — спросила мать.

— О! Еле-еле. Здесь нет роста, нет развития. Люди здесь приходят за пилюлями, когда заболеют сами, или за каким-нибудь лекарством для лошади, если она заболеет. Но поди дожидайся, пока это случится. Вот ведь какие здесь люди! Вы не можете заставить их раскошелиться и купить какое-нибудь новое средство. К примеру сказать, как я убеждал их покупать лекарства заранее, да побольше! Слушать не хотят! Затем я пытался распространить среди них свое маленькое изобретение — систему страхования от простуды: вы платите по уговору каждую неделю, а когда простудитесь, то получаете таблетки от кашля до тех пор, пока не перестанете чихать и кашлять. Понимаете? Но боже мой! Они не способны воспринимать никакие новшества, они отстали от

века. Они не живут — какое там! — просто проз-зябают и других вынуждают прозябать... Э-з-э...

— Ах! — воскликнула мать.

— Меня такая жизнь не устраивает,— добавил дядя.— Жизнь должна бурлить вокруг меня, как водопад.

— Вот и Джордж был такой же,— промолвила мать, немного подумав.

— Он все время старается оживить свою торговлю,— заговорила тетушка Сьюзен, бросая нежный взгляд на мужа.— Он выставляет в окне все новые объявления, дня не проходит, чтобы он что-то не придумал. Вы просто не поверите. Я частенько нервничаю из-за его затей.

— И все это ни к чему,— сказал дядя.

— Да, и все это ни к чему,— согласилась жена.— Он не в своих силах. (Она хотела сказать: «Не в своей стихии».)

Наступила долгая пауза.

Этой паузы я ожидал с самого начала разговора и сразу же навострил уши. Я знал, что будет дальше: речь пойдет о моем отце. Я окончательно убедился в этом, когда глаза матери задумчиво остановились на мне. В свою очередь, дядя и тетушка окинули меня взглядом. Тщетно пытался я придать своему лицу выражение благоглупости.

— Мне кажется,— промолвил дядя,— для Джорджа будет интереснее побывать на рыночной площади, чем сидеть здесь и болтать с нами. Там есть памятник старины — любопытная штучка, позорный столб с колодками.

— Я не прочь посидеть и с вами,— сказал я.

Дядя поднялся и с самым добродушным видом повел меня через аптеку. На пороге он остановился и довольно дружелюбно выразил некоторые свои мысли:

— Ну, разве это не сонное царство, Джордж, а? Вон посмотри, на дороге спит собака мясника, а ведь до полудня еще полчаса! Я уверен, что ее не разбудит даже трубный глас в день Страшного суда. Поверь, никто здесь и не проснется! Даже покойники на кладбище — и те только повернутся на другой бок и скажут: «Не тревожьте вы нас лучше!» Понимаешь?.. Ну, хоро-

шо. А позорный столб с колодками сразу вон за тем углом.

Он смотрел мне вслед, пока я не скрылся из виду.

Так мне и не пришлось услышать, что они говорили о моем отце.

VI

Когда я вернулся, мне показалось, что дядя каким-то чудесным образом стал больше в мое отсутствие и возвышался над всеми остальными.

— Это ты, Джордж? — крикнул он, когда звякнул колокольчик двери.— Заходи!

Я вошел в комнату и увидел его на председательском месте перед задрапированным камином.

Все трое повернулись в мою сторону.

— Мы тут говорили, что не худо бы сделать из тебя аптекаря, Джордж,— сказал дядя.

Мать быстро взглянула на меня.

— Я надеялась,— заявила она,— что леди Дрю сделает что-нибудь для него...— И она снова замолчала.

— Что же именно? — спросил дядя.

— Она могла бы замолвить о нем словечко кому-нибудь, возможно, пристроить его куда-нибудь...— Как все служанки, мать была твердо убеждена, что все хорошее на этом свете достигается только протекцией.— Он не из тех, для кого можно что-нибудь сделать,— добавила она, отказываясь от своей мечты.— Он не умеет приспосабливаться. Стоит только сказать, что леди Дрю хочет помочь ему, и он становится на дыбы. Он так же непочтительно относился к мистеру Редгрэйву, как и его отец.

— Кто этот мистер Редгрэйв?

— Священник.

— Хочет быть чуточку независимым? — живо спросил дядя.

— Непокорным,— ответила мать.— Он не знает своего места и думает, что сможет добиться чего-нибудь в жизни, насмехаясь над людьми и пренебрегая ими. Может быть, он поймет свою ошибку, пока еще не слишком поздно.

Дядя почесал свой порезанный подбородок и взглянул на меня.

— Ты знаешь хоть немного латынь? — отрывисто спросил он.

Я ответил отрицательно.

— Ему придется немного заняться латынью, чтобы сдать экзамен,— пояснил дядя матери.— Хм... Он мог бы брать уроки у преподавателя нашей школы — ее недавно открыло благотворительное общество.

— Как! Я буду учить латынь? — взволнованно воскликнул я.

— Немножко,— ответил дядя.

— Я всегда хотел изучать латынь! — заявил я с жаром.

Меня давно мучила мысль, что в этом мире трудно жить, не зная латыни, и Арчи Гервелл убедил меня в этом. Это подтверждала и литература, прочитанная мною в Блейдсовере. С латынью я связывал какую-то не совсем осознанную мною мысль об освобождении. И вот теперь, когда, казалось, я уже и мечтать не мог об учении, мне преподнесли такую приятную новость.

— Латынь тебе, конечно, ни к чему,— сказал дядя,— но ее нужно знать, чтобы выдержать экзамены. Ничего не поделаешь!

— Ты займешься латынью потому, что так нужно,— заявила мать,— а вовсе не потому, что ты этого хочешь. Кроме того, тебе придется изучать еще и многое другое...

Одна мысль о том, что я не только смогу продолжать учение и читать книги, но что это даже будет моей непременной обязанностью, подавляла во мне все другие чувства. Я давно уже считал, что для меня навсегда потеряна такая возможность. Вот почему слова дяди так взволновали меня.

— Значит, я буду жить с вами? — спросил я.— Учиться и работать в аптеке?

— Выходит, что так,— отозвался дядя.

Словно во сне я прощался в тот же день с матерью — до того ошеломил меня неожиданный поворот судьбы. Я буду изучать латынь! Мать гордилась этим не меньше меня; унижение, которое она испытывала из-за меня в Блейдсовере, теперь отошло в прошлое; к тому же она преодолела отвращение, с каким относилась к своему вынужденному визиту к дяде, и считала, что устроила мое

будущее. Все это внесло в наше прощание оттенок искренней нежности, которой никогда не бывало раньше, когда мы расставались.

Я помню, как усадил мать в вагон и стоял в открытых дверях ее купе. Мы и не подозревали тогда, что скоро навсегда перестанем огорчать друг друга.

— Будь хорошим мальчиком, Джордж,— сказала она.— Учись. Не ставь себя на одну доску с теми, кто выше и лучше тебя, и... не завидуй им.

— Не буду, мама.

Я беззаботно дал это обещание и, пока она пристально смотрела на меня, все размышлял, не смогу ли сегодня же вечером засесть за латынь.

Внезапно что-то кольнуло ее в сердце — не то какая-то мысль, не то воспоминание, а может быть, и предчувствие... Когда кондуктор с шумом начал закрывать двери вагонов, она торопливо, словно стыдясь своего порыва, сказала:

— Поцелуй меня, Джордж.

Я вошел в купе. Она потянулась ко мне, жадно схватила в свои объятия и крепко прижала к себе. Это было так непохоже на нее! Я успел заметить, как заблестели ее глаза и по щекам вдруг покатились слезы.

В первый и в последний раз в жизни я видел, что мать плачет. И вот она уехала, а я остался, расстроенный и недоумевающий, забыв на время даже о латыни, и все еще видел перед собой новый для меня, необычный образ матери, какой она была в минуту нашего расставания.

Мысль о ней не покидала меня и позже, хотя я старался отогнать ее, пока наконец не понял, что мать представляла собой. Бедное, гордое, ограниченное создание! Бедный, строптивый, непослушный сын! Впервые я осознал, что и моей матери были присущи человеческие чувства.

VII

Следующей весной моя мать неожиданно и к великому недовольству леди Дрю умерла. Ее милость, прихватив с собой мисс Соммервиль и Файзон, немедленно сбежала в Фолкстон, чтобы вернуться после похорон, когда на место моей матери водворится уже другая экономка.

На похороны меня привез дядя. Помнится, накануне поездки ему пришлось пережить неожиданную неприятность. Узнав о смерти матери, он послал в мастерскую Джадкинса в Лондон свои клетчатые брюки с наказом выкрасить их в черный цвет, но мастерская своевременно не прислала брюки обратно. На третий день взволнованный дядя послал, без всякого, правда, результата, несколько телеграмм — одну резче другой. На следующее утро ему пришлось нехотя уступить настояниям тетушки Сьюзен и облачиться во фрак, сшитый, несомненно, в те дни, когда дядя был стройным юношей. На фоне других воспоминаний о наших сборах на похороны матери над всем остальным высится, подобно колоссу Родосскому, фигура дяди в брюках из тонкого глянцевитого черного сукна.

А у меня были свои неприятности. Дядя купил мне цилиндр с такой же траурной лентой, как у него; это был мой первый цилиндр, и в нем я чувствовал себя чрезвычайно стеснительно.

Смутно вспоминаю комнату матери с белой панелью и странное чувство, охватившее меня при мысли о том, что ее больше нет здесь и никогда уже не будет; в памяти всплывают знакомые люди, такие непохожие на себя в траурной одежде, и неловкость, какую я испытывал оттого, что был центром всеобщего внимания. И все же душевное смятение не мешало мне чувствовать у себя на голове новый цилиндр — это ощущение то исчезало, то появлялось вновь.

Но все эти мелочи отступают на задний план перед одним особенно отчетливым и печальным воспоминанием, властно завладевшим моей душой. Я иду во главе печальной процессии по кладбищенской дорожке за гробом матери к месту ее погребения; слышу медлительный голос старого священника, его торжественные, скорбные, но не тронувшие мою душу слова:

— Я есмь воскресение и живот, глаголет господь. Верующий в меня, иже и умрет, жив будет и не умрет во веки веков...

Не умрет вовек! Было чудесное весеннее утро, на деревьях набухали и распускались почки. Все в природе цвело и ликовало, груши и вишни в саду церковного сторожа стояли, словно осыпанные снегом. На могильных

холмиках кивали своими головками нарциссы, ранние тюльпаны и множество маргариток. Звенели птичьи голоса. И на фоне этой радостной картины на плечах у мужчин медленно плыл коричневый гроб, наполовину скрытый от меня капюшоном священника.

Так мы подошли к открытой могиле...

Несколько минут я стоял в оцепенении, наблюдая, как гроб с прахом матери готовятся опустить в землю, и прислушиваясь к словам молитв. Мне даже казалось, что происходит нечто весьма интригующее.

Но незадолго до конца погребения я вдруг почувствовал, что ведь я так и не сказал матери то самое главное, что должен был сказать; она ушла молча, не простив меня и не выслушав моих ненужных теперь оправданий. Внезапно я понял все, чего до сих пор не мог уяснить, и посмотрел на нее с нежностью. Я вспомнил не ее добрые дела, а ее добрые намерения, которые ей не удалось осуществить по моей же вине. Теперь я понял, что под маской строгости и суровости она скрывала свою материнскую любовь, что я был единственным существом, которое она когда-либо любила, и что до этого печального дня я по-настоящему ее не любил. И вот она лежит в гробу, немая и холодная, и умерла она с сознанием, что я обманул все ее надежды, и теперь она уже больше ничего обо мне не узнает...

Я судорожно сжал кулаки, так, что ногти впились в ладони, и стиснул зубы; слезы застилали мне глаза, и если бы я и хотел что-нибудь сказать, то задохнулся бы от рыданий. Старый священник продолжал читать молитву, и присутствующие отвечали ему невнятным бормотанием; так продолжалось до конца похорон. Я тихонько плакал про себя, и только когда мы ушли с кладбища, снова обрел способность думать и говорить.

Последнее воспоминание об этом скорбном дне — черные фигурки дяди и Реббитса, говоривших Эвбери, церковному сторожу и могильщику: «Все прошло удачно, весьма удачно».

VIII

Теперь я в последний раз расскажу кое-что о Блейдсовере. Затем занавес опустится, и Блейдсовер больше не будет фигурировать в моем романе. Правда, я был

там еще раз, но при обстоятельствах, не имеющих никакого отношения к моему повествованию. И все же в известном смысле Блейдсовер навсегда остался со мной. Как я уже говорил вначале, Блейдсовер был одним из важных факторов, повлиявших на формирование моих взглядов на жизнь. Он позволяет понять Англию в целом; более того, он является символом старой Англии с ее живучими вековыми традициями, претенциозностью и глубокой консервативностью. Блейдсовер стал для меня своего рода социальным критерием. Вот почему я и рассказал о нем так подробно.

Когда я впоследствии случайно побывал в Блейдсовере, здесь все показалось мне и мельче и бледнее, чем раньше. Казалось, все кругом словно сморщилось от прикосновения Лихтенштейнов По-прежнему в большой гостиной стояла арфа, но рояль был другой — с разрисованной крышкой; там же находилась и механическая пианола; повсюду в беспорядке были разбросаны всевозможные безделушки. Все это наводило на мысль о витринах Бонд-стрит. Мебель по-прежнему была обтянута лощеным бумажным материалом, но это был уже другой материал, хотя и с претензией на стильность. Не застал я и люстр с хрустальными звенящими подвесками. Книги леди Лихтенштейн заменили те коричневые тома, которые я некогда украдкой читал. Томики современных романов, преподнесенные авторами хозяйке дома, журналы «Национальное обозрение», «Имперское обозрение», «Девятнадцатое столетие и будущее» в живописном беспорядке валялись на столах вперемешку с новейшими английскими книгами в ярких дешевых «художественных» переплетах, с французскими и итальянскими романами в желтых обложках и с немецкими справочниками по искусству, оформленными с чудовищным безвкусием. Видно было, что «ее милость» увлекалась кельтским ренессансом: она «коллекционировала» фарфоровых и глиняных кошек, которые красовались повсюду — смешные и уродливые, самой неправдоподобной расцветки и в самых неожиданных позах.

Смешно было бы утверждать, что новые аристократы, появившиеся на свет в результате удачных финансовых операций, лучше прежних, существовавших на доходы с поместий. Только знания, гордость, воспитание

и меч делают человека аристократом. Новые владельцы оказались ничуть не лучше Дрю. Никак нельзя сказать, что энергичные интеллигенты пришли на смену косным, невежественным дворянам. Просто-напросто предприимчивая и самоуверенная тупость водворилась там, где царили прежде косность и чванство. Мне думается, что в период между семидесятыми годами и началом нового столетия Блейдсовер претерпел те же изменения, что и милый старый «Таймс» да, пожалуй, и все благопристойное английское общество. Лихтенштейны и им подобные, как видно, не в состоянии влить новые жизненные силы в дряхлеющее общество. Я не верю ни в их ум, ни в их могущество. Нет у них и творческих сил, способных вызвать возрождение страны, ничего, кроме грубого инстинкта стяжательства. Их появление и засилье являются одной из фаз медленного разложения великого общественного организма Англии. Они не могли бы создать Блейдсовер, не могут и по-настоящему им владеть; они просто расплодились там, как бактерии в гниющей среде.

Таково было мое последнее впечатление от Блейдсовера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

УЧЕНИЧЕСТВО В УИМБЛХЕРСТЕ

I

Все описанные события, за исключением похорон матери, я пережил довольно легко. С детской беззаботностью расстался я со своим прежним миром, забыл о школьной рутине и отогнал воспоминания о Блейдсовере, чтобы вернуться к ним позднее. Я вступил в новый для меня мир Уимблхерста, центром которого стала для меня аптека, занялся латынью и медикаментами и со всем пылом отдался своим занятиям. Уимблхерст — это очень тихий и скучный городок в Сэссексе, где большинство домов выстроено из камня, что редко встречается в Южной Англии. Мне нравились его живописные, чистенькие улички, вымощенные булыжником, неожиданные перекрестки и закоулки, уютный парк, примыкавший к городу.

Всей этой местностью владела семья Истри. Именно благодаря ее высокому положению и влиянию железнодорожную станцию построили всего в каких-нибудь двух милях от Уимблхерста. Дом Истри, расположенный за городской чертой, возвышается над Уимблхерстом. Вы пересекаете рынок, где высится старинное здание тюрьмы и позорный столб, минуете огромную церковь, построенную еще до реформации и напоминающую пустую скорлупу или безжизненный череп, и вы очутитесь перед массивными чугунными воротами. Если вы заглянете в них, то в конце длинной тисовой аллеи увидите величавый фасад красивого дома. Поместье Истри было значительно крупнее Блейдсовера, оно еще в большей мере олицетворяло собой социальную структуру восемнадцатого века. Роду Истри были подвластны не какие-нибудь две деревни, а целый избирательный округ, и их сыновья и родичи без хлопот попадали в парламент до тех самых пор, пока система таких «карманных округов» не была уничтожена. В этих местах все и каждый зависели от Истри, за исключением моего дяди. Он стоял особняком и... выражал недовольство.

Дядя нанес первый удар, сделавший брешь в величественном фасаде Блейдсовера, который в детстве был для меня целым миром. Чатам же нельзя было назвать брешью, он всецело подтверждал существование блейдсоверского мира. Дядя не питал ни малейшего почтения ни к Блейдсоверу, ни к Истри. Он не верил в них. Они просто для него не существовали. Об Истри и Блейдсовере он выражался весьма туманно, развивая какие-то новые, невероятные идеи, и охотно распространялся на эту тему.

— Этот городишко надо разбудить,— заявил дядя тихим летним днем, стоя на пороге своей аптеки и глядя на улицу. В это время я разбирал в углу патентованные лекарства.

— Хорошо было бы напустить на него дюжину молодых американцев,— добавил он.— Вот тогда бы мы посмотрели!

Я делал отметку на «Снотворном сиропе матушки Шиптон» (мы выбирали из наших запасов товары для продажи в первую очередь).

— Ведь в других местах происходят какие-то события,— с нарастающим раздражением продолжал дядя, входя в аптеку.

Он принялся нервно переставлять с места на место яркие коробки с туалетным мылом, флаконы духов и другие товары, украшавшие прилавок, потом возбужденно повернулся ко мне, засунул руки поглубже в карманы, но тут же вынул одну руку и почесал себе затылок.

— Я должен что-то предпринять,— сказал он.— Такая жизнь прямо невыносима. Должен что-то изобрести... И пропихнуть... Или написать пьесу. На пьесе можно заработать кучу денег, Джордж. Как, по-твоему, стоит писать пьесу, а?.. Да мало ли что можно сделать! Например, заняться игрой на бирже...

Он замолчал и принялся задумчиво насвистывать.

— Черт возьми! — вдруг воскликнул он раздраженно.— Застывшее баранье сало — вот что такое Уимблхерст! Холодное, застывшее баранье сало! И я завяз в нем по самое горло. Здесь не происходит никаких событий и никто не хочет, чтобы они происходили, кроме меня! Вот в Лондоне, Джордж, другое дело. Америка! Ей-богу, Джордж, мне хотелось бы родиться американцем — там-то уж делаются дела! А что можно сделать тут? Как тут можно встать на ноги? Пока мы спим здесь, пока наши капиталы текут в карманы лорда Истри в виде арендной платы,— люди там...— Тут он показал рукой куда-то вдаль, выше прилавка, за которым изготовлялись и отпускались лекарства, и, поясняя, какая бурная деятельность кипит «там», помахал рукой и подмигнул мне с многозначительной улыбкой.

— Что же они там делают? — полюбопытствовал я.

— Действуют,— сказал он.— Обделывают дела. Замечательные дела! Существует, например, такая спекуляция с фиктивным покрытием. Ты когда-нибудь слышал об этом? — И он сквозь зубы втянул воздух.— Ты вкладываешь, скажем, сотню фунтов и покупаешь товаров на десять тысяч. Понимаешь? Это покрытие в один процент. Цены растут, ты продаешь и выручаешь сто на сто. Ну, а если цены падают, тогда фьюить — все летит к черту. Начинай сначала! Сто на сто — и так ежедневно, Джордж. За какой-нибудь час человек может или разбогатеть, или

разориться. А сколько шума! З-з-з-з... Так вот, это один способ, Джордж. Есть и другой, еще почище.

— Что же это, крупные операции? — отважился я спросить.

— О да, если ты займешься пшеницей или сталью. Но предположим, Джордж, что ты занимаешься какой-нибудь мелочью и тебе нужно всего несколько тысяч. Какое-нибудь лекарство, например. Ты вкладываешь все, что у тебя есть, ставишь на карту, так сказать, свою печенку. Возьмем какое-нибудь лекарство, ну, к примеру, рвотный корень. Закупи его побольше. Скупи все запасы его, все, что есть! Понимаешь? Вот так-то! Неограниченных запасов рвотного корня нет и не может быть, а людям-то он нужен! Или хинин. Наблюдай за обстановкой, выжидай. Начнется, скажем, война в тропиках — сразу же скупай весь хинин. Что им делать? Ведь хинин им понадобится. А? З-з-з-з... Боже мой! Да таких мелочей сколько угодно. Возьмем укропную водичку... Все младенцы с ревом требуют ее. Или еще эвкалипт, всякие слабительные, плакучий орешник, ментол — все лекарства от зубной боли... Затем есть еще антисептики, кураре, кокаин...

— Для врачей это, должно быть, не очень-то приятно,— задумчиво сказал я.

— Ну, они сами пускай о себе думают. Клянусь богом! Они норовят обмануть тебя, а ты обманываешь их. Совсем как в лесу, где гнездятся разбойники. В этом есть своя романтика. Романтика коммерции, Джордж. Как будто ты сидишь в засаде где-нибудь в горах! Вообрази, что ты завладел всем хинином в мире, и вот какая-нибудь помпадурша — жена миллионера — заболевает малярией. Ничего себе положеньице, Джордж! А? Миллионер приезжает к тебе в своем автомобиле и предлагает за хинин любую цену — сколько ты запросишь. Это могло бы встряхнуть даже Уимблхерст... Боже мой! Да разве здесь что-нибудь понимают в таких делах? Куда там! З-з-з-з...

Он погрузился в какие-то сладостные мечты и лишь время от времени восклицал:

— Пятьдесят процентов задатка, сэр! Гарантия завтра. З-з-з-з...

Мысль о том, что можно скупить все запасы какого-нибудь лекарства во всем мире, показалась мне тогда ди-

кой и совершенно неосуществимой. О такой чепухе стоило бы рассказать Юарту, чтобы рассмешить его и вдохновить на какую-нибудь еще более нелепую выдумку. Рассуждения дяди представлялись мне пустыми бреднями — и только. Но позже я убедился, что в действительности дело обстоит иначе. Вся современная система наживы состоит в том, чтобы предугадать спрос на какой-нибудь товар, скупить этот товар, а затем наживаться, сбывая его. Вы скупаете землю, которая в скором времени понадобится для постройки домов, вы заблаговременно заручаетесь правом диктовать свои условия, когда начнется строительство каких-нибудь жизненно важных предприятий, и т. д., и т. п. Конечно, мальчику с его наивным мышлением трудно разобраться во всех оттенках человеческой подлости. Он начинает жизнь, веря в мудрость взрослых. Он даже не может себе представить, сколько случайного и фальшивого содержится в законах и традициях. Он думает, что где-то в государстве есть сила, такая же всемогущая, как директор школы, чтобы пресекать всякого рода злонамеренные и безрассудные авантюры. Признаюсь, что, когда дядя живописал, как искусственно создать недостаток хинина, мне пришло в голову, что человек, который попытается этим заняться, неизбежно попадет в тюрьму. Теперь-то я знаю, что скорее всего ему уготовано место в палате лордов.

Несколько минут дядя внимательно рассматривал позолоченные этикетки на бутылках и ящиках, словно соображая, какое бы из этих лекарств использовать для спекуляции. Затем мысли его вернулись к Уимблхерсту.

— Надо ехать в Лондон — там все в твоих руках. А здесь... Господи боже мой! — воскликнул он.— И зачем только я похоронил себя в этой дыре! Здесь все в прошлом, уже ничего не сделаешь. Здесь царит лорд Истри, и он получает все, за исключением того, что причитается его адвокатам. Нужно сперва взорвать его, а вместе с ним и адвокатов, чтобы изменить здесь обстановку! Он не желает никаких перемен. Да и зачем они ему? От любой перемены он только проиграет. Он хочет, чтобы жизнь здесь текла по старинке и все оставалось бы без перемен еще десять тысяч лет: Истри приходит на смену Истри, умрет священник — появится новый, не станет бакалейщика — его место займет другой. Человеку

с размахом здесь лучше не жить. Да такие люди и не живут здесь. Посмотри на жителей этого богоспасаемого городка. Все они крепко спят, а если и занимаются по привычке своими делами, то словно сонные мухи. Клянусь, куклы могли бы делать то же самое! Эти людишки словно приросли к своему месту. Они и сами не хотят никаких перемен. Они конченые люди. Вот тебе и весь сказ-з! И зачем только они на свете живут...

Почему они не заведут себе механического аптекаря?

Он закончил так, как обычно заканчивал такого рода разговоры:

— Я должен что-то изобрести, и я это сделаю. З-з-з-з... Какое-нибудь полезное приспособление. Надо придумать... Ты не знаешь, Джордж, в чем нуждаются люди и чего у них покамест еще нет?.. Я имею в виду что-нибудь подходящее для розничной торговли стоимостью не дороже шиллинга, а? Подумай-ка на досуге. Понимаешь?

II

Таким мне запомнился дядя в ту пору — еще молодым, но уже полнеющим, неугомонным, раздражительным и болтливым. Он пытался набить мне голову всякими сумасбродными идеями. Признаюсь, он оказал на меня несомненное влияние...

Годы жизни в Уимблхерсте сыграли довольно значительную роль в моем развитии. Большую часть своего досуга, а нередко и за работой в аптеке, я учился. Мне удалось быстро усвоить те начатки латыни, которые требовались для сдачи экзамена. Посещал я и учебное заведение, а именно курсы при классической средней школе, где продолжал заниматься математикой. С жадностью изучал я физику, химию и обучался черчению. Для отдыха я много гулял. В городе имелись клубы молодежи, которые существовали на средства, полученные путем вымогательства у богатых людей, а также у члена парламента, представлявшего наш район. Летом они устраивали состязания в крикет, а зимой в футбол, но я никогда не увлекался этими играми.

У меня не было близких друзей среди молодежи Уимблхерста. После моих школьных товарищей, типич-

ных «кокни» [1], здешние молодые люди казались мне то грубыми и скучными, то угодливыми и скрытными, то злобными и пошлыми. И мы в свое время любили пофорсить, но эти провинциалы усвоили себе привычку как-то по-особенному волочить ноги и презирали всех, кто не подражал им. Мы в школе громко выражали свои мысли, а здесь самые мелкие мыслишки, достойные Уимблхерста, высказывались лишь многозначительным шепотом. Впрочем, и мыслишек-то у них было маловато.

Нет, мне не по душе были эти молодые провинциалы, и я не верю, что английская провинция при блейдсоверской системе может воспитать честных людей. Немало приходится слышать всяких небылиц о том, как бедствуют сельские жители, переселившиеся в города, об их вырождении в условиях городской жизни. Я нахожу, что английский горожанин, даже обитатель трущоб, несравненно богаче в духовном отношении, смелее, нравственнее и обладает более развитым воображением, чем его деревенский собрат. Я смею это утверждать, ибо видел и тех и других в такие моменты, когда они и не подозревали, что за ними наблюдают. Мои товарищи из Уимблхерста были мне отвратительны — другого слова не подберешь. Правда, и мы в нашем убогом пансионе в Гудхерсте не блистали хорошими манерами. Но подросткам Уимблхерста не хватало нашей выдумки и нашей смелости — разве могли они сравниться с нами хотя бы в искусстве сквернословить? Зато они постоянно проявляли распущенность и вкус ко всему непристойному (именно к непристойному) и видели в жизни только ее низменную сторону. Все, что мы, провинившиеся горожане, вытворяли в Гудхерсте, было окрашено романтикой, хотя бы и грубоватой. Мы зачитывались «Английскими юношами» и рассказывали друг другу всякие небылицы. В английской провинции нет ни книг, ни песен, она не знает ни потрясающих душу драм, ни сладости дерзкого греха. Все это или вовсе не проникло сюда, или было изъято из употребления и выкорчевано уже много лет назад; поэтому воображение этих людей остается бесплодным и пробуждает низкие инстинкты. Я думаю, что именно

---

[1] Кокни — пренебрежительно-насмешливое прозвище лондонского обывателя.

этим и объясняется различие между горожанином и жителем английской деревни. Вот почему я не разделяю общего страха за судьбу наших сельских жителей, попавших в горнило большого города. Да, верно, люди из деревни бедствуют и голодают в городе, но зато они выходят из этих испытаний закаленными и одухотворенными...

Когда наступал вечер, уимблхерстовский парень, с вымытой до блеска физиономией, нацепив какое-нибудь кричащее украшение, в цветном жилете и ярком галстуке, появлялся в бильярдной «Герба Истри» или в захудалом трактирчике, где режутся в «наполеон» [1]. Свежему человеку скоро становилась невыносимой его тупая ограниченность, животная хитрость, сквозившая в его тусклых глазах, многозначительность, с какой он, всякий раз вполголоса, рассказывал вам «веселенькую историю» (несчастный, жалкий червяк!), всевозможные ухищрения, к которым он прибегал, чтобы выпить на даровщинку, и т. п.

Когда я пишу эти строки, передо мной встает фигура молодого Хопли Додда, сына местного аукционера; он был красой и гордостью Уимблхерста. Я вижу его в меховом жилете, с трубкой в зубах, в бриджах (хотя лошади у него не было) и в гетрах. Бывало, он сидел в своей излюбленной позе — подавшись всем корпусом вперед — и из-под полей залихватски заломленной набекрень шляпы наблюдал за бильярдным столом. Весь его разговор состоял из десятка избитых фраз, которые он изрекал мычащим басом: «Дрянь дело!», «Здорово запузыривают!» и т. п. Когда он хотел поиздеваться над кем-нибудь, он протяжно и негромко подсвистывал. Он бывал здесь из вечера в вечер...

Он ни за что не хотел признать, что я тоже умею играть на бильярде, и каждый мой хороший удар считал простой случайностью. Мне казалось, что для новичка я играю совсем неплохо. Сейчас я не так уверен в этом, как в ту пору. Но все же скептицизм молодого Додда и его дурацкие насмешки сделали свое дело, и я перестал посещать «Герб Истри»,— таким образом знакомство с Доддом пошло мне на пользу.

---

[1] «Наполеон», или «нап»,— карточная игра.

Итак, я не завел друзей в Уимблхерсте и, несмотря на свой юношеский возраст, не пережил сколько-нибудь серьезных любовных увлечений, о которых стоило бы рассказать. Но уже тогда я почувствовал интерес к этой стороне жизни. Мне удалось без особых трудностей завязать случайное знакомство с несколькими девушками из Уимблхерста. Мои отношения с маленькой ученицей портнихи ограничились робкими разговорами. С учительницей городской школы дело зашло несколько дальше, и ее имя связывалось с моим. И все же я не испытал глубокого чувства ни к одной из них; о любви я мог только мечтать. Раза два я целовал этих девушек, и они скорее охладили мои мечты, чем подогрели их. Не к таким девушкам стремилось мое сердце. В своем повествовании мне придется немало говорить о любви, но могу заранее сообщить читателю, что я неудачно играл роль любовника. Я хорошо знал, что такое физическое влечение, пожалуй, даже слишком хорошо, но с девушками был крайне застенчив. Во всех своих юношеских любовных делах я метался между низменными инстинктами и романтическим воображением, которое требовало, чтобы каждая фаза любовного приключения была благородной и красивой. К тому же меня настойчиво преследовали воспоминания о Беатрисе, о ее поцелуях в густых зарослях папоротника и особенно о поцелуе на стене в парке, и это заставляло меня предъявлять слишком высокие требования к девушкам Уимблхерста. Не стану отрицать, что в Уимблхерсте я сделал несколько по-мальчишески робких и грубых попыток начать любовную интригу, но воспоминания о прошлом удерживали меня от опрометчивых шагов. Я не испытал в Уимблхерсте бурных страстей и не заслужил блестящей репутации. Я уехал отсюда по-прежнему неискушенным, но слегка разочарованным юношей с пробудившимся интересом ко всему, что касалось интимной стороны во взаимоотношениях полов.

Единственно, в кого я влюбился в Уимблхерсте,— это в мою тетушку. Она была со мной ласкова, правда, не совсем по-матерински, следила за чистотой моих книг и тетрадей, интересовалась моими отметками на курсах, подтрунивала надо мной, заставляя биться мое сердце. Сам того не сознавая, я влюбился в нее...

Мои юношеские годы в Уимблхерсте были заполнены кропотливым, спокойным трудом; я приехал туда в короткой детской курточке, а уехал почти мужчиной. Это были спокойные годы, без особых событий, настолько спокойные, что мне запомнилась только одна зима, и то потому, что я занимался тогда вариационным исчислением. Сдача экзамена по физике на получение почетного диплома ознаменовала собою целую эпоху. Меня раздирали противоречивые желания, но основным была суровая юношеская решимость работать и учиться, чтобы потом каким-нибудь путем — я еще не представлял себе, каким именно,— выбраться из тесного мирка Уимблхерста. Довольно часто я писал Юарту, правда, не очень складные, но далеко не безграмотные письма, датированные по-латыни, с латинскими цитатами. Юарт остроумно пародировал мои послания. В те дни я не лишен был некоторого самодовольства. Но справедливости ради должен отметить, что приобретенные мною знания не заставили меня удариться в мелкое чванство. У меня было обостренное чувство долга и ненасытная жажда все знать, и мне приятно вспоминать об этом. Я был серьезен, много серьезнее, чем сейчас, пожалуй, серьезнее, чем любой взрослый. Тогда я был способен к благородным порывам...

Сейчас это все позади. Но хотя мне уже сорок лет, я не стыжусь признаться, что уважаю свою собственную молодость. Я и сам не заметил, как перестал быть мальчишкой. Мне все казалось, что скоро я вступлю в огромный и сложный мир и сделаю что-то очень значительное. Мне казалось, что я призван к грандиозным свершениям, которые будут иметь серьезные последствия для судеб мира. Тогда еще я не понимал, но теперь мне вполне ясно, что не столько мы влияем на окружающий нас мир, сколько мир влияет на нас. Молодежь, видимо, никогда не поймет этого.

Как я уже говорил, дядя, сам того не ведая, сыграл важную роль в моем воспитании. По-видимому, прежде всего он вызвал у меня острое недовольство Уимблхерстом и желание бежать из этой опрятной и живописной дыры. Надежда на бегство делала меня терпеливым. «Скоро я уеду в Лондон»,—твердил я себе, повторяя слова дяди.

Мне вспоминается, что в те дни он вел со мной бесконечные разговоры. Он толковал о теологии и о политике, о чудесах науки и искусства, о человеческих чувствах, о бессмертии души и об особых свойствах того или иного лекарства. Но больше всего он разглагольствовал о прогрессе, о грандиозных начинаниях, об изобретениях и огромных состояниях, о Ротшильдах и серебряных королях, Вандербильтах и Гульдах, о выпуске акций и их реализации, о том, какие судьба иной раз преподносит чудеса людям в тех местах, которые еще не превратились в застывшее баранье сало.

Вспоминая наши разговоры, я всегда вижу дядю в одном из трех положений. Либо он работает за перегородкой у столика и, изготовляя лекарства, толчет что-то в ступке, а я раскатываю тесто для пилюль длинными полосками и разрезаю на куски широким ножом с желобком; либо стоит у дверей аптеки, облокотившись на ящик с губками и пульверизаторами, и смотрит на улицу, а я наблюдаю за ним из-за прилавка; либо в задумчивости прислонился к шкафу с выдвижными ящичками, а я занимаюсь уборкой аптеки.

Когда я думаю об этой поре моей жизни, мне вспоминается легкий аромат духов, смешанный с запахом лекарств, ряды узких бутылок с позолоченными этикетками, отражавшимися в зеркале за спиной дяди. Когда тетушка была в воинственном настроении, она совершала шумные налеты на аптеку и от души потешалась над изувеченной латынью на этих позолоченных этикетках.

— «Ol Amjig»,— читала она ироническим тоном,— и он выдает это за миндальное масло! Раз, два, три — и перед вами горчица! Ты никогда не проделывал этого, Джордж? Посмотри, Джордж, какой у него важный вид. Мне хочется налепить на него, как на бутылку, этикетку с надписью «Ol Pondo». Ведь по-латыни это значит «обманщик». Во всяком случае, должно означать. Не правда ли, как бы замечательно он выглядел... с пробкой.

— Пробка нужна тебе,— отзывался дядя, важно выпячивая подбородок.

Моя тетушка — добрая душа — в те дни была худенькой и изящной, с нежным цветом лица. Она любила подтрунивать над супругом и добродушно высмеивала его. Тетушка слегка шепелявила, и это очень ей шло. Она об-

ладала удивительным чувством юмора. Впоследствии, когда она перестала стесняться меня, я обнаружил, что она вносила в свои семейные отношения озорную игривость и не могла прожить без этого ни одного дня. Ко всему на свете она относилась с насмешкой и весьма своеобразно применяла эпитет «старый».

— Вот старая газета,— говорила она дяде.— Не запачкай ее в масле, ты, старая глупая сардина.

— Какой у нас сегодня день, Сьюзен?— спрашивал дядя.

— Старый понедельник, сосиска,— обычно отвечала она и добавляла:— Мне еще нужно возиться со старой стиркой. Как она мне надоела!

В свое время она была, очевидно, самой остроумной и веселой среди своих школьных подруг, и привычка вышучивать всех и вся стала ее второй натурой. Это придавало ей в моих глазах неотразимое очарование. Даже ее походка меня пленяла. Мне кажется, ее основным занятием было смешить дядю, и когда она изобретала новое уморительное прозвище или выкидывала новый эксцентричный трюк и дядя катался от хохота, она была счастливейшей из женщин, хотя сама изо всех сил старалась не смеяться. Надо сказать, что если уж на дядю нападал такой стих, то смех его, как выражается Бедекер, «стоил затраченных усилий». Начинался он с порывистых вздохов и фырканья, потом переходил в откровенное «Ха-ха-ха!» В то время дядя еще обладал способностью хохотать до упаду, до слез, до судорог, до стонов и колик в животе. Я ни разу не слыхал, чтобы дядя от души хохотал, кроме тех случаев, когда его смешила тетушка; в обычное же время он был даже слишком серьезен и, насколько мне известно, в последующие годы вообще смеялся очень мало. Чтобы разогнать нависшую над Уимблхерстом скуку, тетушка швыряла в дядю всевозможные предметы: губки, диванные подушки, бумажные шарики, снятое с веревки белье, ломтики хлеба. Однажды, предполагая, что меня, мальчишки-посыльного и служанки нет дома, она напала во дворе на дядю, орудуя новым пышным веником, и разбила целую кучу пузырьков, оставленных мною там для просушки. Иногда, правда, не так часто, она швыряла вещами и в меня. Казалось, она излучала веселье, и порой мы все трое хохота-

ли до истерики. Как-то раз супруги вернулись из церкви очень сконфуженные. Оказывается, во время проповеди они едва могли удержаться от смеха. Дело в том, что священник по рассеянности высморкался в черную перчатку, которую вытащил из кармана вместе с носовым платком. И когда, придя домой, тетушка схватила свою перчатку за палец и поднесла к лицу с невинным видом, скосив мило глазки, дядюшка захлебывался от смеха. За обедом она повторила эту же выходку.

— Но если мы смеемся из-за такого пустяка,— внезапно помрачнев, воскликнул дядя,— то, значит, до чего же мы дожили в этой дыре! И ведь хихикали не мы одни. Куда там! Бог ты мой! Но в самом деле было ужасно смешно.

Дядя и тетушка держались особняком от местных жителей. В таких городках, как Уимблхерст, не принято, чтобы жены торговцев общались между собой, разве лишь с родственницами и близкими подругами; что до их мужей, то они встречались в трактирах или в бильярдной вроде «Герба Истри». Но дядя, как правило, проводил вечера дома. Я предполагаю, что, появившись в Уимблхерсте, он слишком решительно принялся распространять свои идеи и обнаружил чрезмерную предприимчивость. Уимблхерст сперва был подавлен, потом восстал и постарался превратить дядю в посмешище. При его появлении в трактире смолкали все разговоры.

— Вы, верно, зашли рассказать нам что-нибудь, мистер Пондерво? — любезно справлялся кто-нибудь из посетителей.

— Как же, дождетесь от меня! — раздраженно отвечал дядя и погружался в мрачное молчание.

Бывало и так, что один из посетителей трактира, обращаясь к остальным, с притворным равнодушием заявлял:

— Слыхал я, что разговоры идут о коренной перестройке Уимблхерста. Может, кто-нибудь из вас знает об этом? Хотят сделать из него модное доходное заведение, вроде «Кристалл-Паласа».

— Скорее здесь произойдет землетрясение или вспыхнет эпидемия,— к величайшему удовольствию присутствующих бормотал дядя и сквозь зубы прибавлял что-то о «застывшем бараньем сале»...

III

Нас разлучил с дядей финансовый крах, значение которого я даже не сразу постиг. С некоторых пор дядя ударился в сложные вычисления; мне казалось, что это какое-то невинное развлечение, хотя он уверял, что занимается биржевой метеорологией. Думается, я сам натолкнул его на это понятие, когда вычерчивал кривые вариационного исчисления. Он запасся у меня бумагой в клетку и, поразмыслив, решил проследить за повышением и падением акций некоторых шахт и железных дорог...

— Тут что-то есть, Джордж,— говорил он, и мне даже и во сне не снилось, что это невинное «что-то» проглотит все его сбережения и большую часть моих денег, оставленных ему матерью.

— Ясно как день,— продолжал он.— Посмотри: вот кривые одного типа, а вот совсем другого! Эта кривая показывает колебание цен на акции «Юнион Пасифик» в течение месяца. На следующей неделе — запомни мои слова — они упадут на целое деление. Мы опять приближаемся к точке отвесного падения кривой. Понимаешь? Это абсолютно научно. Можешь сам проверить. Теперь надо действовать. Ты покупаешь акции по самой низкой цене и в нужный момент продаешь по самой высокой. Только и всего!

Это занятие казалось мне таким невинным, что я был прямо потрясен, узнав, к каким катастрофическим последствиям привело дядю его увлечение. Все открылось во время продолжительной прогулки, на которую пригласил меня дядя. Миновав холмы, мы направились к Иэру через огромную, заросшую дроком пустошь, что простиралась до самого Хезлброу.

— В жизни бывают взлеты и падения, Джордж,— сказал дядя, когда мы шли по узкой тропинке, пересекая широкую пустошь. Голос дяди оборвался, и он поднял глаза к небу.— В анализе цен на акции «Юнион Пасифик» я не учел одного обстоятельства.

— Да? — спросил я, пораженный внезапной переменой его голоса.— Ты хочешь сказать...

Я невольно остановился и повернулся к нему; дядя тоже остановился.

— Да, Джордж,— промолвил он наконец.— Я как раз это и хотел сказать. Меня постигла неудача: я обанкротился.

— Так, значит...

— С аптекой все кончено. Я вынужден бросить это дело.

— Ну, а я?

— О, ты! Ну, с тобой все в порядке. Перейдешь учеником в другую аптеку... А я... гм... я не такой человек, чтобы рисковать чужими деньгами, можешь не сомневаться. Я и это предусмотрел. Кое-что из твоих денег уцелело, Джордж, поверь мне, довольно-таки кругленькая сумма.

— А как же вы с тетушкой?

— Нам придется уехать из Уимблхерста, Джордж. Правда, не совсем так, как мы предполагали, но все же придется. Распродажа... На всех предметах налеплены ярлыки... Брр! А все-таки славный был у нас домик. Наш первый домик... Мы сами обставляли его... Стоило немалых денег. Были очень счастливы...— От какого-то воспоминания лицо у него вдруг передернулось.— Идем, Джордж,— поспешно сказал он, и я заметил, что он задыхается от волнения.

Я отвернулся от дяди и некоторое время не смотрел на него.

— Вот какие дела, Джордж,— сказал он немного погодя.

Когда мы вышли на большую дорогу, дядя догнал меня, и мы молча зашагали бок о бок.

— Смотри не проговорись дома,— вдруг сказал дядя.— Военное счастье переменчиво! Необходимо выбрать подходящий момент для разговора с Сьюзен, а не то она расстроится. Хотя вообще-то она у меня молодчина.

— Ладно,— пообещал я.— Буду держать язык за зубами.

Я подумал, что было бы бестактно сейчас напоминать дяде об ответственности, какую он несет в качестве моего опекуна.

Он с облегчением вздохнул и вскоре довольно оживленно заговорил о своих планах на будущее. Но затем снова настроение у него внезапно омрачилось.

— О, эти люди! — воскликнул он с негодованием и изумлением, словно сделал необычайное открытие.

— Какие люди? — спросил я.

— Будь они прокляты! — ответил он.

— Но кто эти люди?

— Все эти проклятые сиволапые лавочники — мясник Рэк, бакалейщик Марбл, Снейп, Герд!.. Воображаю, как они будут хихикать!..

Прошло две-три недели; все это время я напряженно думал о том, что случилось с дядей, и хорошо помню наш последний разговор накануне передачи магазина, а вместе с ним и меня преемнику дяди. Ему посчастливилось продать аптеку со всем «инвентарем» (моя особа представляла собой одну из инвентарных статей). Таким образом удалось избегнуть распродажи имущества с молотка.

Мне вспоминается, что в этот день мы имели удовольствие видеть мясника Рэка. Он намеревался куда-то идти или только что вернулся и теперь, стоя у дверей своей лавки, смотрел на нас с ухмылкой, обнажавшей его лошадиные зубы.

— Тупоумная ты свинья,— пробормотал себе под нос дядя.— Гиена полосатая,— и тут же громко добавил: — Добрый день, мистер Рэк.

— Ну что же, едете в Лондон наживать состояние? — не без злорадства спросил мистер Рэк.

Это была наша последняя прогулка; мы прошли по дамбе до Бичинга, а затем через холмы почти до самого Стидхерста и только тогда вернулись домой. Меня всю дорогу обуревали самые противоречивые настроения. Теперь я уже понимал, что дядя, попросту говоря, обокрал меня. Маленьких сбережений матери — шестисот с чем-то фунтов,— на которые я должен был получить образование и начать собственное дело, теперь уже не было и в помине, большая часть их погибла при катастрофе с акциями «Юнион Пасифик», которые неожиданно упали, вместо того чтобы взлететь кверху, а о том, что уцелело, дядя упорно молчал. Я был слишком молод и неопытен и не знал, как от него добиться признания. Но при мысли об этой потере во мне вскипало острое негодование. И все-таки — представьте себе! — мне было очень жалко дядю, почти так же, как и тетушку Сьюзен. Но уже то-

гда я раскусил его. Он до конца дней оставался все тем же неисправимым, безответственным чудаком, которому все можно было простить за его детскую наивность. Как это ни странно, я был склонен оправдывать его и винить свою несчастную старую мать за то, что она оставила деньги в таких ненадежных руках. Думается, я великодушно простил бы ему все, если бы он обнаружил раскаяние, но он был далек от этого. Он продолжал успокаивать меня, и это меня раздражало. Он был озабочен лишь участью тетушки Сьюзен и своей собственной.

— В таких вот кризисах, Джордж,— сказал он,— испытывается характер человека. Твоя тетка, мой мальчик, мужественно перенесла испытание.

Он замолчал и тяжело вздохнул.

— Конечно, всплакнула,— продолжал он, хотя я знал это и без него — ее покрасневшие глаза и распухшее лицо тронули меня до глубины души.— Да и кто бы не заплакал на ее месте? Но сейчас она опять повеселела. Какой замечательный человек!.. Не спорю, жалко покидать наш маленький домик. Знаешь, мы чувствовали себя здесь совсем как Адам и Ева. Боже! Что за молодец был старик Мильтон!

Пред ними юный мир. Он даст приют
Изгнанникам. Ведет их провиденье.

Как это звучит, Джордж! «Ведет их провиденье»! Ну, слава богу, у нас нет в перспективе ни Каина, ни Авеля!.. В конце концов там будет не так уж плохо. Там, пожалуй, не будет такого пейзажа и такого чистого воздуха, каким мы дышим здесь, но зато ключом кипит жизнь! Мы сняли маленькие, уютные комнатки, о лучших в нашем положении мечтать не приходится. И я, вот попомни, опять всплыву на поверхность! Мы еще не погибли, мы еще не разбиты, пожалуйста, не думай этого, Джордж. Будь спокоен, я полностью расплачусь с тобой — по двадцати шиллингов за фунт, запомни мои слова, Джордж... Даже по двадцати пяти шиллингов... Это место я получил в первый же день, а были и другие предложения. Фирма солидная, одна из лучших в Лондоне. Я все выяснил и могу назвать ее: «Куортерс». В других местах я мог бы получить на четыре-пять шиллин-

гов в неделю больше. Здесь же я прямо заявил, что жалованье жалованьем, но самое главное для меня—это размах, возможность расти. Мы поняли друг друга.

Он выпятил грудь, и его круглые глазки вспыхнули отвагой: сквозь стекла очков он мысленно созерцал владельцев фирмы.

Несколько минут он шагал молча, видимо, переживая в памяти свою встречу с этими людьми, потом вдруг разразился банальными сентенциями.

— Битва за жизнь, Джордж, мой мальчик!— воскликнул он.— Взлеты и падения!..

Несколько раз я делал робкие попытки выяснить свое положение, но он либо пропускал мимо ушей мои слова, либо попросту отмахивался от них.

— Все в порядке,— уверял он.— Предоставь это мне. Я обо всем позабочусь.

Тут он начал философствовать и ударился в мораль. Что мне оставалось делать?

— Смотри, Джордж, никогда не ставь всех своих сбережений на одну карту,— вот чему меня научила эта катастрофа. Необходимо оставлять кое-что про запас. У меня было девяносто девять шансов выиграть, Джордж, пойми, девяносто девять шансов! Потом я все хорошенько обдумал. Нас подвела совершенно нелепая случайность. Если бы я еще немного подождал и поставил на «Юнион Пасифик» на следующий день, я выиграл бы. Вот так-то!

Затем его мысли приняли совсем другой оборот.

— Только когда нарвешься в жизни на такую роковую случайность, начинаешь испытывать потребность в вере. Все эти Спенсеры и Хаксли, все эти ученые, для которых существуют одни голые факты, не понимают этого. А я вот понимаю. За последнее время я много об этом думал — и днем и лежа в постели. Думал об этом и сегодня утром, когда брился. Надеюсь, меня нельзя упрекнуть в недостатке благочестия, но бог и дает о себе знать в таких вот случаях, Джордж. Понимаешь? Не надо быть слишком самоуверенным — ни при хороших, ни при дурных обстоятельствах. Вот какой я сделал вывод из всего этого. Готов поклясться, что дело обстоит именно так. Неужели ты думаешь, что я — такой осторожный человек — связался бы с акциями «Юнион Пасифик» и

вложил бы в них доверенные мне деньги, если бы не считал, что дело без сучка и задоринки? А ведь оно скверно обернулось. Для меня это хороший урок. Ты начинаешь дело, рассчитывая получить сто процентов, и вот тебе результат! Это, можно сказать, урок для гордецов! Я думал об этом, Джордж, в мои бессонные ночи. Я размышлял сегодня во время бритья и пришел к поучительным выводам. В таких вопросах без мистики не обойдешься. Ты намереваешься взяться за то или за другое дело, но, по существу говоря, разве человек знает, что он делает? Тебе кажется, будто ты делаешь что-то, а в действительности все происходит как-то само собой. Можно сказать, что тобой играют, как мячиком. И безразлично, сколько у тебя шансов на успех — девяносто девять или только один. Все равно ты зависишь от какой-то высшей силы.

Странное дело, в то время я относился к дядиным рассуждениям с величайшим презрением, но сейчас я задаю себе вопрос: приходилось ли мне слышать в жизни что-нибудь более мудрое?

— Мне хотелось бы, дядя,— на миг осмелев, воскликнул я,— чтобы эта высшая сила заставила тебя отчитаться в моих деньгах!

— К сожалению, у меня сейчас нет под рукой ни клочка бумаги, даже не на чем подсчитать, Джордж. Но ты верь мне и ничего не бойся. Верь мне!

В конце концов я вынужден был последовать его совету.

Банкротство тяжело отозвалось на тетушке. Она сразу же потеряла вкус к шаловливым выходкам и шуткам, перестала вихрем носиться по дому. Но она держала себя в руках, и только покрасневшие глаза выдавали ее переживания. Она не плакала, расставаясь со мной, но я заметил по выражению ее лица, каких трудов ей стоило сохранять самообладание, и это на меня подействовало сильнее всяких слез.

— Ну,— сказала она, направляясь к дверям аптеки,— старая рыбка, Джордж! Рыбка мамы номер два! Прощай!

Она обняла меня, поцеловала и прижала к своей груди. Не успел я и слова вымолвить, как она выбежала из аптеки и шмыгнула прямо к кэбу!

Потом появился дядя — необычайно бледный и самоуверенный. Он, видимо, храбрился.

— Итак, мы поехали,— сказал он, обращаясь к своему преемнику, стоявшему за прилавком.— Один уходит, другой приходит. Вы скоро убедитесь, что дело это небольшое и спокойное, пока вы ведете его потихоньку... Маленькое, тихое дело. У вас есть ко мне вопросы? Нет? Ну, если захотите еще что-нибудь узнать, напишите мне. Я дам вам исчерпывающие сведения о деле, о городе, о людях. Между прочим, вы заметили, что слишком много припасено «Phil Antibil»? Позавчера я обнаружил, что у меня отдыхает голова, когда я делаю эти пилюли, и я готовил их целый день. Тысячи! Где же Джордж? А, вот ты! Я напишу тебе, Джордж, обо всем... Решительно обо всем!

И только теперь впервые я осознал, что расстаюсь с тетушкой Сьюзен. Я вышел на тротуар и увидел ее опущенную головку, ее нежное лицо и широко раскрытые голубые глаза. Она пристально смотрела на аптеку, в которой для нее сочеталось очарование игрушечного домика с уютом семейного очага.

— Прощай,— сказала она одновременно и домику и мне. Мы обменялись коротким растерянным взглядом. Дядя выскочил из аптеки, дал извозчику несколько совершенно ненужных указаний и уселся рядом с ней.

— Ну, теперь все? — спросил извозчик.

— Все,— ответил я, и он, щелкнув кнутом, разбудил лошадь. Взгляд тетушки снова остановился на мне.

— Не бросай свою старую науку, Джордж,— бодро сказала она.— Смотри, напиши мне, когда станешь профессором.

С вымученной улыбкой она опять посмотрела на меня, и в ее широко раскрытых глазах вспыхнул влажный блеск, затем кинула взгляд на аптеку, на вывеске которой по-прежнему красовалось: «Пондерво». Тут она поспешно откинулась на сиденье, и я уже не мог ее видеть. Когда кэб скрылся из виду, я заметил, что парикмахер Снейп с удовлетворением наблюдал из окна своего заведения за сценой отъезда и обменивался улыбочками и многозначительными рукопожатиями с мистером Марблем.

IV

Итак, я остался в Уимблхерсте вместе со всем аптечным инвентарем у нового хозяина мистера Ментелла. Он постарался начисто уничтожить в аптеке все, что напоминало о дяде,— и мне больше нечего сказать о нем в этом повествовании. Как только у меня иссяк интерес к этой новой личности, Уимблхерст показался мне унылым и глухим местом, и я затосковал по тетушке Сьюзен. Новый хозяин снял дядино объявление о пилюлях от кашля, водворил на прежние места бутыли с подкрашенной водой — красной, зеленой и желтой; в свое время дядя, насвистывая себе под нос, выкрасил гипсовую лошадь в витрине под масть своего любимого рысака на Гудвудских бегах, теперь новый аптекарь вернул ей первоначальную белую окраску. А я с еще большей настойчивостью, чем прежде, занялся латынью (и забросил ее сразу же, как только сдал экзамены), математикой и техническими предметами.

В школе мы изучали электричество и магнетизм. Я получил по этим дисциплинам маленькую награду за первый год обучения и медаль — за третий. Успешно изучал я и физиологию человека, химию и физику. Преподавали нам и более легкий, весьма увлекательный предмет под названием физиография: учащийся получал представление сразу о ряде наук; геология освещалась как процесс эволюции от Язона до дома Истри, астрономия — как летопись движения небесных светил, неизменных в своем суровом величии и великолепии. Мы почти не делали никаких лабораторных опытов, и учился я только по кратким, плохо написанным учебникам, но все же учился. Это было всего каких-нибудь тридцать лет назад, а, помнится, я учил, что электрический свет — дорогая, непрактичная забава, телефон — курьез, а электрическая тяга — полнейший абсурд. Никто не знал тогда (во всяком случае, у нас в школе) ни об аргоне, ни о радии, ни о фагоцитах, а алюминий считался дорогим, редким металлом. Самые быстроходные в мире суда делали тогда не больше девятнадцати узлов в час, и лишь безумцы воображали, что человек может летать.

Немало перемен произошло в мире с тех пор, но когда я два года назад посетил Уимблхерст, то не об-

наружил никаких существенных изменений в его мирном бытии. В городе не появилось ни одного нового дома, хотя около станции кое-какое строительство велось. И все же работать в этом тихом, захудалом местечке было неплохо. Вскоре я приобрел даже больше знаний, чем требовала программа Фармацевтического общества; однако к экзаменам допускались лишь кандидаты, достигшие двадцати одного года. Мне пришлось ждать год-два, и, чтобы не растерять полученных знаний и заполнить свой досуг, я начал готовиться к получению в Лондонском университете степени бакалавра наук: эта цель казалась мне тогда заманчивой, но почти недоступной. Особенно хотелось мне получить ученую степень по математике и химии, но я считал свое желание совершенно неосуществимым. Задумано — сделано. Добившись отпуска, я поехал в Лондон для поступления в университет, вновь встретился здесь с дядей и тетушкой, и эта новая встреча во многих отношениях была переломной в моей жизни.

Так состоялось мое первое знакомство с Лондоном. Мне едва исполнилось девятнадцать лет. Я не имел ни малейшего понятия о том, что представляет собой большой город. Чатам, где я прожил несколько месяцев, был самым крупным городом, какой мне довелось видеть до поездки в столицу. И когда Лондон внезапно открылся передо мной, я был ошеломлен, это было для меня своего рода откровением.

Я приехал в хмурый, туманный день по Юго-Восточной железной дороге. Поезд тащился медленно, то и дело останавливаясь, и прибыл с опозданием на полчаса. Я заметил, что за Чизлхерстом виллы стали встречаться все чаще и чаще. По мере того как поезд приближался к Лондону, домов становилось все больше и все меньше заросших сорняками пустырей и фруктовых садов.

Наконец мы очутились в густой паутине железнодорожных линий, среди больших заводов, резервуаров для газа, кругом теснились прокопченные, грязные домишки, настоящие трущобы — с каждой минутой они казались все грязнее и безобразнее. Кое-где виднелись внушительный трактир, муниципальная школа или длинные

фабричные корпуса; на востоке сквозь туман проступал причудливый лес мачт и снастей.

Вскоре тесно сгрудившиеся домишки сменились многоквартирными домами, и я поражался, как огромен мир, населенный бедняками. В вагон стали проникать запахи заводов, кожи, пива. Небо потемнело; поезд с грохотом промчался по мостам, над улицами, где теснились экипажи, и пересек Темзу. Я увидел обширные склады, мутную воду реки, бесчисленные баржи и невероятно загрязненные берега.

И вот я на станции Кеннон-стрит — в этой чудовищной закопченной пещере; она была забита несметным количеством поездов, а вдоль платформы сновало множество носильщиков.

Я вышел из вагона с саквояжем в руке и пробился кое-как к выходу, чувствуя себя таким маленьким и беспомощным. Мне стало ясно, что в этом огромном мире медаль, полученная мною за успехи в электротехнике и магнетизме, ровным счетом ничего не значит.

Потом я ехал в кэбе по шумной, похожей на каньон улице между огромными складами и с удивлением поглядывал вверх, на почерневшие стены собора св. Павла. Движение на Чипсайде (в те дни самым распространенным средством передвижения был конный омнибус) показалось мне невероятным, а шум — оглушающим. Я с удивлением размышлял, откуда берутся деньги, чтобы нанимать все эти кэбы, и на какие средства существует весь этот бесконечный поток людей в шелковых цилиндрах и сюртуках, которые толкались, шумели и куда-то спешили.

Вскоре я нашел за углом рекомендованную мне мистером Ментеллом гостиницу «Темперенс». Мне показалось, что швейцар в зеленой форме, которому я вручил свой саквояж, отнесся ко мне с нескрываемым презрением.

V

Хлопоты, связанные с поступлением в университет, отняли у меня четыре дня. В первый же свободный день я отправился на поиски Тотенхем-Корт-роуд, затерявшийся в лабиринте шумных и многолюдных улиц. О, как велик этот Лондон! Он представлялся мне прямо бес-

конечным. Казалось, весь мир состоял из одних только фасадов, реклам и площадей. Наконец я добрался до нужной мне улицы, навел справки и нашел дядю за прилавком аптеки, которой он заведовал. У меня не создалось впечатления, что дела аптеки идут блестяще.

— Боже! — воскликнул дядя, увидев меня.— Как я рад! Так давно не было никаких событий!

Он тепло поздоровался со мной. Я вырос, а он как-то стал ниже ростом и располнел, хотя в остальном не изменился. У дяди был несколько потрепанный вид, и он нахлобучил весьма поношенный цилиндр, когда в результате таинственных переговоров в конторе аптеки получил разрешение сопровождать меня. Однако дядя, как всегда, был весел и самоуверен.

— Ты приехал, чтобы спросить меня об «этом»? — воскликнул он.— А я тебе еще ничего не написал.

— О, об «этом» поговорим позже,— ответил я в приступе неуместной вежливости, отмахнувшись от щекотливой темы, и осведомился о тетушке Сьюзен.

— Мы вытащим ее,— неожиданно сказал дядя,— куда-нибудь закатимся все вместе. Ты у нас редкий гость.

— Я впервые в Лондоне,— заметил я,— и еще не видел его.

Он сразу же спросил, какое впечатление произвел на меня Лондон, и мы завели разговор о городе, не касаясь других тем.

Мы поднялись по Хэмпстед-роуд почти до статуи Кобдена, свернули влево, углубились в какие-то глухие улицы и наконец очутились перед бесконечным рядом облупленных дверей с веерообразными окошечками под ними и дощечками, где стояли фамилии жильцов. Одну из этих дверей — с американским замком — дядя открыл своим ключом. Мы очутились в коридоре со стенами унылого цвета, узком, грязном и совершенно пустом. Дядя открыл еще одну дверь, и тут я увидел тетушку. Она сидела за маленькой швейной машиной, установленной на небольшом бамбуковом столике у окна. «Работа», которой она занималась (насколько я мог понять — платье синего цвета для прогулок), была разбросана по всей комнате.

С первого взгляда мне показалось, что тетушка пополнела, но цвет лица у нее был таким же свежим, а

голубые глаза такими же блестящими. «Лондон,— говорила она позднее,— не закоптил меня — я не почернела».

Я с удовольствием заметил, что она по-прежнему не перестает «дерзить» дяде.

— Что это тебя принесло так рано, старая кочерга?— спросила она и привычным взглядом окинула дядю, выискивая что-нибудь смешное. Заметив меня за спиной дяди, она вскрикнула, вся просияла и вскочила со стула. Но тут же лицо ее приняло серьезное выражение.

Меня несколько удивило, что я был так взволнован встречей с ней. Она положила руки мне на плечи и несколько мгновений разглядывала меня с каким-то радостным изумлением. Потом, поборов минутное колебание, чмокнула меня в щеку.

— Ты стал мужчиной, Джордж,— сказала тетушка, отступая на шаг и продолжая разглядывать меня.

Они жили в типичной для Лондона обстановке. В маленьком доме они занимали этаж, где раньше находилась столовая, и пользовались крошечной, неудобной кухней в полуподвальном помещении, где прежде был чулан для мытья посуды. Две смежные комнаты — спальня и гостиная — отделялись створчатыми дверьми, которые никогда не закрывались, даже при гостях, бывавших очень редко. Разумеется, ванная комната и другие удобства в квартире отсутствовали, а вода была только в кухне, внизу. Всю домашнюю работу тетушка исполняла сама. Они могли бы нанять прислугу, но ее некуда было поместить, а приходящую служанку найти было невозможно. Обстановка принадлежала им; мебель частично была куплена уже подержанной, но имела вполне приличный вид, и склонность моей тетушки к яркому дешевому муслину проявилась здесь в полной мере. Квартира была тесной и во многих отношениях крайне неудобной, но с первого взгляда мне не бросились в глаза ее недостатки. Я не находил ничего нелепого в том, что даже людям, которые в состоянии аккуратно вносить арендную плату, приходится жить в тяжелых условиях, в безобразных домах, совершенно не приспособленных к нуждам жильцов.

Только сейчас, описывая все это, я ловлю себя на мысли, какой абсурд, что культурные люди вынуждены селиться в домах без всяких элементарных удобств и

построенных на скорую руку. По-моему, это так же дико, как и носить потрепанную одежду.

Таков результат системы, ключом к которой, как я утверждаю, является Блейдсовер. В Лондоне есть целые районы, тянутся милями улицы, тесно застроенные домами, которые, по-видимому, предназначались для средней процветающей буржуазии начала викторианской эпохи. В тридцатых, сороковых и пятидесятых годах происходила настоящая вакханалия такого рода строительства. В Кэмден-тауне, Пентонвиле, Бромтоне, Западном Кенсингтоне, в районе вокзала Виктория и во всех пригородах южной части Лондона, должно быть, лихорадочно строились и заселялись улица за улицей. Вряд ли такие дома долго могли быть в руках одной семьи. Скорее всего, владельцы с самого начала сдавали дом целому ряду квартирантов и субарендаторов. В домах были подвалы, где жили и работали слуги, покорные и забитые, слуги, безропотно принимавшие свое пещерное существование. В столовой со створчатыми дверьми, расположенной чуть повыше мостовой, истреблялось вареное и жареное мясо с тушеным картофелем и пироги; по вечерам здесь читали и работали многочисленные члены семьи. Позади столовой находилась гостиная (тоже со створчатыми дверьми), где принимали редких посетителей. Таково было устройство этих домов.

Подобные дома все еще продолжали возводить, а жизнь уже подготовляла полное исчезновение семей того типа, для которых они предназначались. Развивались и совершенствовались средства транспорта, и, пользуясь этим, средняя буржуазия расселялась за пределами Лондона. В связи с наплывом в город неотесанных, трудолюбивых девушек, готовых взяться за самую тяжелую и неблагодарную работу, происходила ломка в системе образования и фабричного найма. В жизнь вступали новые представители необеспеченного среднего сословия, вроде моего дяди и других служащих, для которых дома не строились. Ни у кого из них не было ни малейшего представления о своих классовых задачах, и они не имели никакого отношения к блейдсоверской системе, довлевшей над нашим сознанием. Никто и не думал создавать им культурные условия жизни, они были всецело во власти неумолимого закона спроса и предложения на жили-

ща и с трудом находили себе крышу над головой. Владельцы всеми средствами старались выжать из домов побольше дохода. С течением времени дома переходили преимущественно в руки семейных ремесленников, живущих в бедности вдов или престарелых слуг, накопивших кое-какие сбережения; все эти лица брали на себя ответственность за сбор квартирной платы и существовали, сдавая внаем меблированные или немеблированные квартиры.

Когда мы вышли на улицу, намереваясь под руководством дяди «осмотреть Лондон», нам повстречалась старая, седая женщина; можно было подумать, что она спала в мусорном ящике и ее только что разбудили. Арендуя весь дом, она сдавала его по частям, зарабатывая таким путем на кусок хлеба, а сама влачила жалкое существование где-нибудь на чердаке или в подвале. И если комнаты у нее пустовали, она впадала в глубочайшую нищету, а на ее место появлялся какой-нибудь предприниматель, такой же старый, голодный и неопрятный...

Я считаю нелепым общественное устройство, при котором многочисленный класс общественно полезных и честных людей вынужден ютиться в грязных и неблагоустроенных жилищах. Разве можно допустить, чтобы беспомощность старух, их жалкие сбережения использовали домовладельцы в своих корыстных целях! Если кто-нибудь сомневается, что такое положение существует и поныне, легко может убедиться в этом, если проведет полдня в поисках квартиры в любом из названных мною районов Лондона.

Однако на чем это я остановился? Как я уже сказал, дядя решил, что мне нужно показать Лондон, и едва только тетушка надела шляпу, наша троица отправилась на прогулку.

VI

Дядя весьма обрадовался, узнав, что я раньше никогда не видел Лондона. Он сразу почувствовал себя в роли хозяина всей столицы.

— Требуется немало времени, Джордж,—сказал он,— чтобы изучить Лондон. Он очень велик. Огромен! Это богатейший город мира, самый большой порт, крупней-

ший промышленный центр, столица империи, центр цивилизации, сердце мира! Взгляни на эти ходячие рекламы! Посмотри, какая шляпа у третьего из них! Боже милосердный! В Уимблхерсте ты не увидишь такой нищеты, Джордж. Многие из них блестяще окончили Оксфордский университет, но спились. Здесь чудесно! Лондон — это водоворот, мальстрем, который то поднимает тебя к небесам, то низвергает в бездну.

У меня остались смутные воспоминания об этом знакомстве с Лондоном. Рассеянно болтая, дядя таскал нас взад и вперед по избранному им маршруту. Порой мы шли пешком, порой ехали по бурлящим улицам на крыше огромного качающегося омнибуса, запряженного лошадьми, затем мы пили чай в каком-то дешевом кафе. Я хорошо помню, как под хмурым небом мы проезжали по Парк-Лейн и как дядя с нескрываемым восхищением указывал на особняки того или иного баловня фортуны.

Пока он болтал, тетушка то и дело поглядывала на меня, стараясь определить по выражению моего лица, согласен ли я с рассуждениями дяди.

— Ты уже был влюблен, Джордж? — внезапно спросила она в кафе, расправляясь со сдобной булочкой.

— У меня нет на это времени, тетя,— ответил я.

Тетушка откусила большой кусок и взмахнула булкой, показывая, что хочет еще что-то сказать.

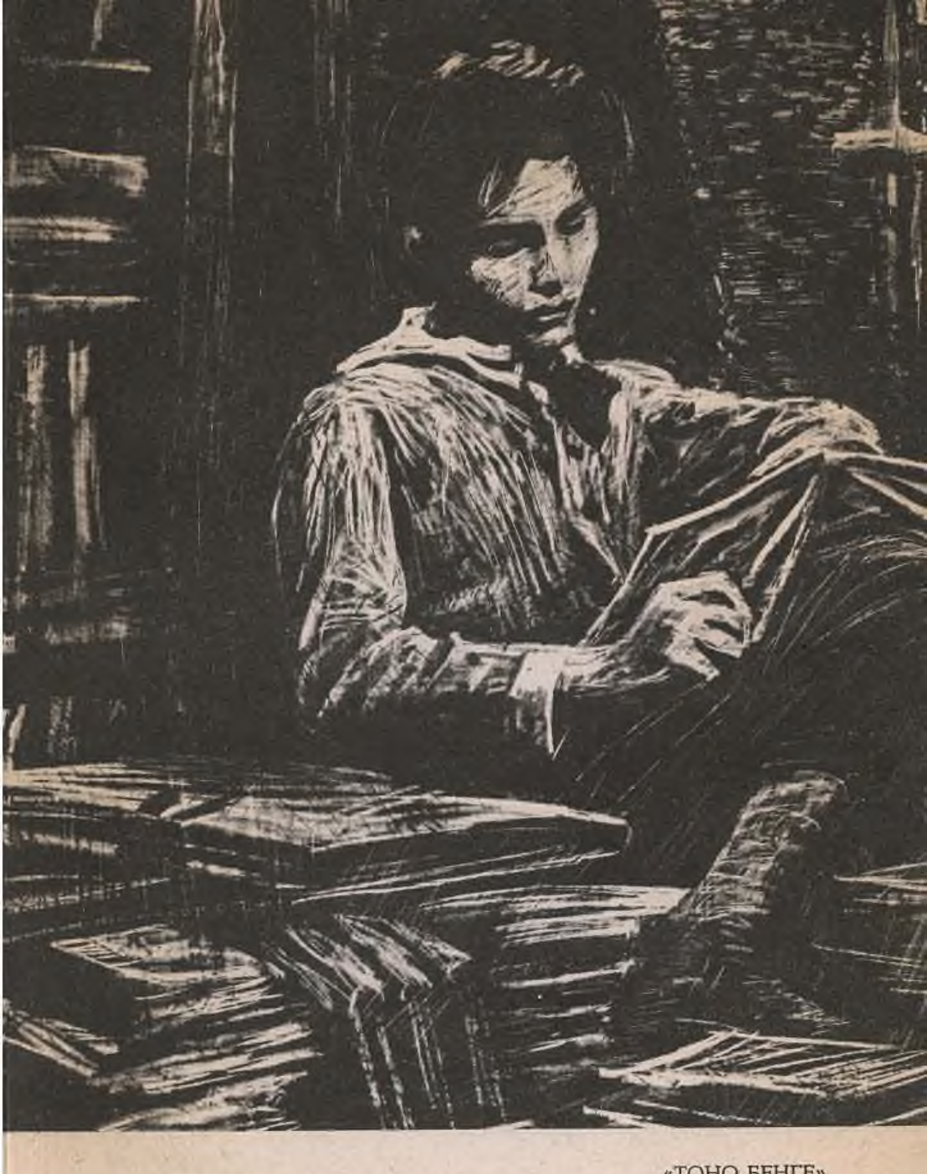
— Каким же путем ты намерен нажить состояние? — спросила она, прожевав кусок булочки.— Ты нам еще не сказал об этом.

— Лектричество,— заметил дядя, проглотив «э» вместе с чаем.

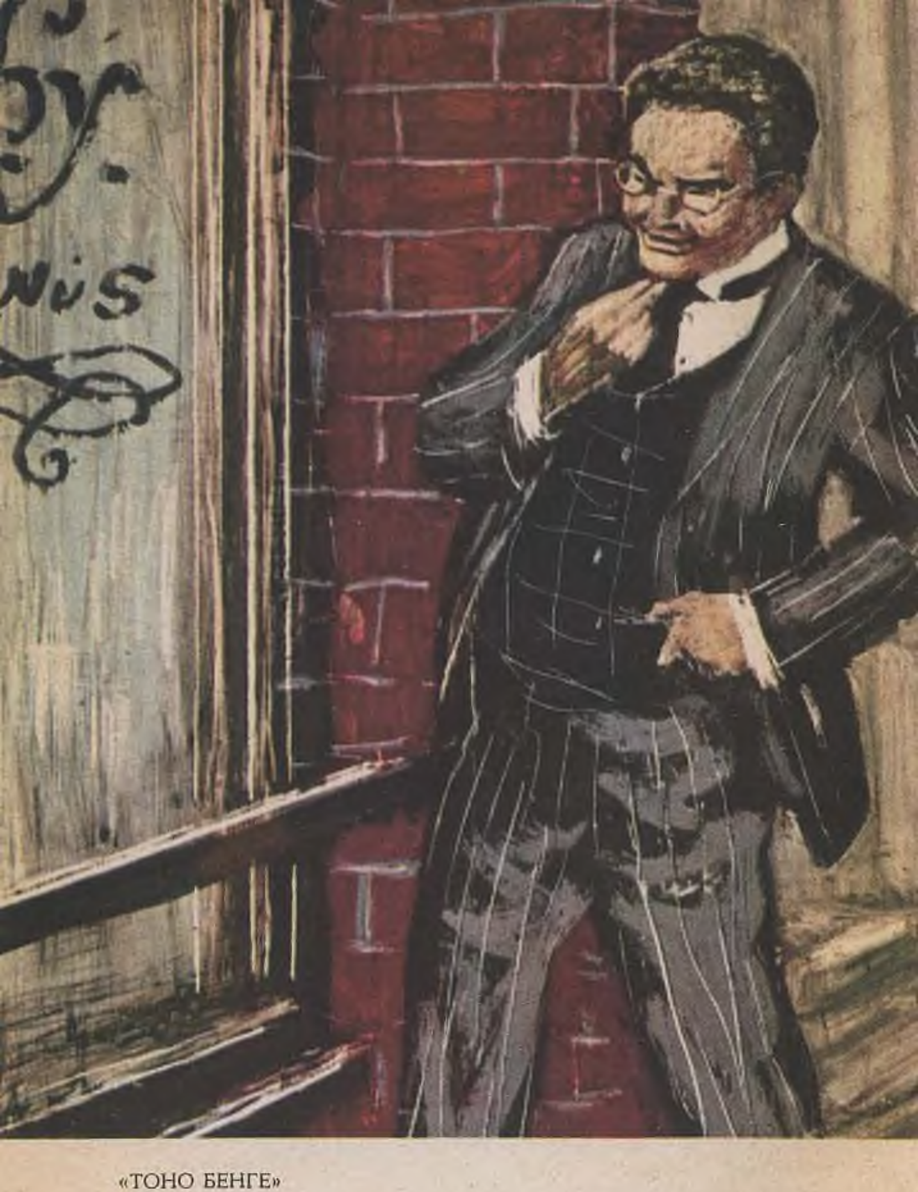
— Я и не собираюсь наживать состояние,— ответил я.— Как-нибудь обойдусь и без богатства.

— А вот нам деньги внезапно на голову свалятся,— сказала тетушка и резким кивком головы указала на дядю.— Так утверждает мой старик. Он не говорит мне, когда именно, но это непременно сбудется, и я боюсь, что не успею к этому подготовиться. Мы будем ездить в собственной карете; у нас будет свой сад. Сад, как у епископа!

Она покончила с булочкой и стала рассеянно катать хлебные шарики.



«ТОНО БЕНГЕ»



«ТОНО БЕНГЕ»

— Так хочется иметь сад,— проговорила она.— Это будет настоящий, большой сад — с розарием и всякими затеями. Фонтаны. Пампасная трава. Оранжереи.

— Все это у тебя будет,— пробурчал дядя, слегка покраснев.

— В карету будем запрягать серых лошадей, Джордж,— продолжала она.—Как приятно об этом думать, когда на тебя находит скука! Обеды в ресторанах чуть не всякий день... В театрах — места в партере... И деньги, деньги, деньги...

— У тебя все шуточки на уме,— вставил дядя и замурлыкал какую-то песенку, но тут же замолчал.

— Как будто этот старый попугай когда-нибудь наживет состояние,— ввернула тетушка, с нежностью поглядев на дядю.— Он горазд только болтать.

— Я еще покажу себя,— гордо заявил дядя.— Держу пари! З-з-з-з...— и постучал шиллингом по мраморной доске столика.

— Когда это произойдет, ты уж как-нибудь купи мне новые перчатки,— сказала тетушка,— а то мои уже невозможно починить. Посмотри, старый кочан! — Она сунула ему под нос продранную перчатку и состроила комически яростную гримаску.

Дядя посмеивался над остротами жены, но позднее, когда мы вернулись в аптеку (торговля в этом второразрядном заведении по вечерам шла лучше, поэтому аптека закрывалась поздно), счел нужным объяснить мне положение.

— Твоя тетушка чуточку нетерпелива, Джордж,— вполголоса начал дядя.— Она пробирает меня, и это вполне естественно... Женщина не может понять, сколько времени требуется, чтобы создать себе положение. Нет... Вот и сейчас я всячески стараюсь поправить свои дела. Я работаю вот в этой комнате. У меня три помощника. З-з-з-з... Если судить сейчас по моему доходу, положение, пожалуй, не такое уж завидное, я заслуживаю лучшего, но оно дает большие стратегические преимущества... Да, это именно то, что мне нужно. У меня разработан план. Я готовлю атаку.

— Что это за план? — спросил я.

— Знаешь, Джордж, у меня есть одна важная идея. Я ничего не делаю наспех. Я тщательно обдумываю свой

замысел и зря не болтаю. Есть... Нет, лучше я не буду тебе говорить. А впрочем, почему бы и не сказать?

Он встал и закрыл дверь в аптеку.

— Я никому еще не говорил ни слова,— заметил он, усаживаясь на прежнее место.— Кстати, я кое-что должен тебе.

Он слегка покраснел и нагнулся через столик ко мне.

— Слушай,— сказал он.

Я весь превратился в слух.

— Тоно Бенге,— проговорил дядя медленно и отчетливо.

Я не понял его. Мне показалось, будто он приглашает меня прислушаться к какому-то странному отдаленному звуку.

— Я ничего не слышу,— сказал я, с недоумением глядя на дядю, который нетерпеливо ждал ответа.

Дядя улыбнулся с видом превосходства.

— Попытайся еще разок,— сказал он и повторил: — Тоно Бенге.

— Ах, вот оно что! — воскликнул я, хотя опять решительно ничего не понял.

— Ну? — спросил он.

— Но что это такое?

— О! — с торжеством воскликнул дядя; в этот момент он как-то вырастал на моих глазах.—Что это такое? Ты хочешь знать? Что из этого получится? — Он толкнул меня в бок.— Джордж!— воскликнул он.— Джордж, не упускай нас из виду. Здесь что-то произойдет.

Это все, что я в тот вечер узнал от него.

Я полагаю, что слова «Тоно Бенге» в тот вечер впервые прозвучали на земле, если только дядя не произносил монологов в тиши своей комнаты, что вполне допустимо. Тогда они не показались мне сколько-нибудь значительными, способными ознаменовать целую эпоху. Если бы мне сказали в ту пору, что они являются своего рода «Сезам, отворись!» к любым удовольствиям, скрытым от нас за суровым фасадом Лондона, я бы просто расхохотался.

— Ну, а теперь о делах, — с трудом выдавил я из себя после небольшой паузы и спросил про деньги, оставленные ему на хранение.

Дядя со вздохом откинулся на спинку кресла.

— Как жаль, что ты пока еще ничего не знаешь,—сказал он.—Но все-таки... Я хочу, чтобы ты высказался.

VII

Расставшись с дядей в тот вечер, я впал в мрачное, унылое настроение. Мне казалось, что дядя с тетушкой ведут (я уже не раз употреблял это выражение) захудалую жизнь. Казалось, они плывут по течению в огромной толпе захудалых людей, которые носят потрепанную одежду, живут в неудобных, запущенных домах, ходят по тротуарам, покрытым жирной, скользкой грязью, и каждый день видят над своей головой все то же тусклое небо, ничего не обещающее, кроме нищеты и убожества до конца их дней. Я не сомневался, что мои деньги испарились и что рано или поздно я сам утону в мутном лондонском океане. Я уже не мечтал о Лондоне как о надежном убежище, куда можно сбежать от того жалкого существования, какое я вел в Уимблхерсте. Я снова видел, как дядя указывает рукой с порванной манжетой на дома по Парк-Лейн, слышал слова тетушки: «Я буду ездить в собственной карете. Так говорит мой старик».

Дядя вызвал во мне самые противоречивые чувства. Мне было глубоко жаль не только тетушку, но и дядю, так как я считал, что он не в силах выбиться из нужды. В то же время меня возмущало его болтливое тщеславие и глупость. Он не только лишил меня возможности учиться, но и замуровал тетушку в стенах этого грязного дома. Вернувшись в Уимблхерст, я не удержался и написал ему по-мальчишески ехидное и откровенно резкое письмо. Ответа не последовало. Тогда я с еще большим рвением, чем прежде, погрузился в занятия, полагая, что другого выхода у меня нет. После этого я написал дяде письмо уже в более сдержанном тоне. На этот раз он прислал уклончивый ответ. Я решил больше не думать о нем и ушел с головой в свою работу.

Да, мое первое посещение Лондона в тот сырой, холодный январский день произвело на меня огромное впечатление. Это было тяжелым разочарованием. Раньше Лондон мне представлялся огромным, свободным, при-

ветливым городом, где полным-полно всяких неожиданных приключений, а на деле он оказался неряшливым, черствым и суровым.

Я не представлял себе, что за люди живут в этих мрачных, угрюмых домах, какие пороки скрываются за их отталкивающими фасадами. Молодость всегда склонна сгущать краски, она хочет видеть в жизни то, чего в ней нет. Я еще не знал, что тягостное впечатление, которое производил Лондон, его грязь и запущенность объясняются очень просто: подобно старому, глупому великану, этот город слишком ленив, чтобы держать себя в порядке и хотя бы внешне казаться привлекательным. Нет! Я был во власти того же заблуждения, которое побуждало в семнадцатом веке сжигать ведьм. В обычном грязном хаосе Лондона я усматривал что-то преднамеренно дурное и зловещее.

Намеки и обещания дяди вызывали у меня сомнения и невольные опасения за него. Дядя казался мне маленьким, неразумным, потерянным существом, которое не умеет молчать в этом огромном аду жизни. Я испытывал жалость и нежность к тетушке Сьюзен, обманутой его пустыми обещаниями и обреченной следовать за его переменчивой судьбой.

Со временем я убедился, что был неправ. Но весь последний год, прожитый мною в Уимблхерсте, я находился под тягостным впечатлением от мрачной изнанки Лондона.

КНИГА ВТОРАЯ

ТОНО БЕНГЕ НА ПОДЪЕМЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК Я СТАЛ ЛОНДОНСКИМ СТУДЕНТОМ И СБИЛСЯ С ПУТИ ИСТИННОГО

I

Я переехал в Лондон, когда мне было почти двадцать два года. С этого времени Уимблхерст начинает мне казаться крохотным далеким местечком, а Блейдсовер всплывает в памяти лишь розовым пятнышком среди зеленых холмов Кента. Сцена расширяется до беспредельности, все вокруг меня приходит в движение.

Свой второй приезд в Лондон и связанные с ним впечатления я почему-то запомнил хуже, чем первый; припоминаю только. что в тот день серые громады домов были залиты мягкими янтарными лучами октябрьского солнца и что душа моя на этот раз была совершенно спокойна.

Мне кажется, я мог бы написать довольно увлекательную книгу о том, как начал постигать Лондон, как открывал в нем все новые неожиданные стороны, как завладевал моим сознанием этот необъятный город. Каждый день обогащал меня новыми впечатлениями. Они наслаивались одно на другое, одни запоминались навсегда, другие ускользали из памяти. Я начал знакомиться с Лондоном еще во время своего первого приезда и сейчас имею о нем полное представление, но даже и теперь я не изучил его до конца и постоянно открываю что-нибудь новое.

Лондон!

Вначале я видел в нем только запутанный лабиринт

улиц, нагромождение зданий, толпы бесцельно снующих людей. Я не старался во что бы то ни стало его понять, не изучал его систематически; мною руководило лишь простое любопытство и живой интерес к этому городу. И все же со временем у меня сложилась своя собственная теория. Мне кажется, я могу себе представить, как возник и постепенно развивался Лондон. Этот процесс был обусловлен не случайными причинами, а какими-то важными обстоятельствами, хотя их и нельзя назвать нормальными и естественными.

В начале этой повести я уже говорил, что рассматриваю Блейдсовер как ключ к пониманию всей Англии. Теперь я могу сказать, что он является ключом и к пониманию Лондона. С тех пор как в обществе заняло господствующее положение родовитое дворянство, примерно с 1688 года, когда возник Блейдсовер, в стране не происходило никаких революций, никто не дерзал посягать на установившиеся взгляды, а тем более выдвигать новые; правда, время от времени происходили коекакие перемены: одни классы уходили с общественной арены, другие появлялись, но основы социального устройства Англии оставались неизменными. В своих скитаниях по Лондону, переходя из района в район, я нередко думал, что вот этот дом — типичный Блейдсовер, а вот тот непосредственно связан с Блейдсовером. В самом деле, дворянство утратило свое значение и почти сошло на нет, богатые купцы, финансовые авантюристы и им подобные пришли ему на смену. Но это ничего не меняло, господствующей формой жизни по-прежнему оставался Блейдсовер.

Больше всего напоминают мне о Блейдсовере и Истри районы, примыкающие к паркам Вест-Энда, особенно же к частным паркам, среди которых расположены дворцы и знаменитые особняки. Дома на узких уличках Мейфейра, а также вокруг Сент-Джеймского парка по своему духу и по архитектуре похожи чем-то на Блейдсовер с его коридорами и дворами, хотя, по-видимому, построены позже. Они такие же чистые, просторные, и в них витает тот же запах; здесь всегда можно встретить настоящих олимпийцев и еще более типичных лакеев, дворецких и ливрейных слуг. Иной раз мне казалось, что если я загляну в какое-нибудь окно, то увижу

белые панели и лощеный ситец, каким были обтянуты стены комнаты моей матери.

Я могу показать на карте район, который я назвал бы районом знаменитых особняков: он тянется в юго-западном направлении, переходит в Белгравию, расширяется на западе и, снова суживаясь, заканчивается у Риджент-парка. Несмотря на свое откровенное безобразие, мне особенно нравится дом герцога Девонширского на Пикадилли, нравится потому, что он дает особенно яркое представление об этом районе. Дом Эпсли целиком подтверждает мою теорию. На Парк-Лейн расположены типичные для этого района большие особняки — они тянутся вдоль Грин-парка и Сент-Джеймского парка.

Как раз на Кромвель-роуд при взгляде на Музей естественной истории меня осенила внезапная догадка.

— Боже мой! — воскликнул я.— Да ведь это же коллекция чучел зверей и птиц, украшавшая лестницу Блейдсовера, только во много раз больше! А вон там Музей искусств, и это не что иное, как блейдсоверская коллекция редкостей и фарфора. А вот в этой маленькой обсерватории на Экзибишн-роуд уже, наверное, красуется старый телескоп сэра Катберта, который я в свое время нашел в кладовой и старательно собрал.

Под впечатлением этого открытия я поспешил в Музей искусств и очутился в маленьком читальном зале, где обнаружил, как и предполагал, старые книги в кожаных коричневых переплетах.

В тот день я проделал большую работу в области сравнительной социальной анатомии. Все эти музеи и библиотеки, разбросанные между Пикадилли и Западным Кенсингтоном, как и вообще музеи и библиотеки во всем мире, обязаны своим существованием досугу господ, обладающих утонченным вкусом. Им принадлежали первые библиотеки и другие культурные очаги. Благодаря этому я смог, совершая дерзкие налеты на гостиную Блейдсовера, познакомиться с великим Свифтом и стать его скромным почитателем. В настоящее время все предметы, о которых я говорил, покинули знаменитые особняки и зажили собственной, обособленной жизнью.

Стоит только подумать о вещах, исчезнувших из блейдсоверской системы семнадцатого столетия и переживших

ее, и вам легко будет понять не только Лондон, но и всю Англию в целом. Земельное дворянство, представлявшее Англию в эпоху цветущего Ренессанса, не заметило, как его переросли и вытеснили другие общественные силы. В первые годы моего пребывания в Лондоне на Ридджент-стрит, Бонд-стрит и Пикадилли еще можно было видеть магазины, предназначенные для удовлетворения потребностей Блейдсовера, причем они только начинали приспосабливаться к пошлому американскому вкусу. На Харли-стрит я видел дома врачей, мало отличающиеся от провинциальных, только покрупнее; дальше на восток, в особняках, покинутых дворянскими семьями, приютились конторы, принадлежавшие частным стряпчим (их были сотни и сотни); в Вестминстере, за внушительными фасадами, в огромных комнатах блейдсоверского типа, с окнами, выходящими в Сент-Джеймский парк, разместились правительственные учреждения. Парламент с его палатой лордов и палатой общин, потрясенный сто лет назад вторжением купцов и пивоваров, возвышается посреди сквера, увенчивая всю эту систему.

Чем больше я сравнивал все виденное мною в Лондоне со своим образцом — Блейдсовером-Истри, тем больше убеждался, что равновесие уже нарушено стихийным вторжением новых, неуклонно растущих сил. В северной части Лондона конечные железнодорожные станции расположены на границах поместий — так же далеко от центра города, как, по воле Истри, железнодорожная станция в Уимблхерсте. Зато Юго-Восточная дорога, которая пролегла в 1905 году через Темзу между Соммерсет-хаузом и Уайтхиллом, заканчивается вокзалом Черринг-Кросс, высоко поднимающим свою огромную железную, покрытую ржавчиной голову. С южной стороны Лондон не был защищен барьером поместий. Заводские трубы дымят как раз напротив Вестминстера, и создается впечатление, будто они делают это умышленно, бросая вызов старому городу. Индустриальный Лондон, как и весь город к востоку от Темпл-Бара и гигантского закопченного Лондонского порта, по контрасту с ярко выраженным социальным обликом изысканного Вест-Энда производит впечатление чего-то хаотичного, мрачного и зловещего, впечатление какой-то чудовищно разросшейся злокачественной опухоли. К югу, юго-востоку и

юго-западу от центра Лондона и вокруг холмов в северной его части есть такие же уродливые образования: здесь тянутся бесчисленные улицы, где теснятся унылые дома, неказистые промышленные предприятия, скромные, второразрядные магазины; здесь ютится разношерстная масса людей, о которых принято выражаться, что они не живут, а прозябают. Эти места представлялись мне тогда, да и сейчас кажутся струпьями, которые наросли на месте лопнувшего гнойника,— таковы мещанский Кройдон и Вест-Хэм, где происходит трагическое обнищание. Я нередко спрашиваю себя: примут ли когда-нибудь эти злокачественные образования благообразный вид, возникнет ли на их месте что-нибудь новое, или они навсегда останутся ракообразными наростами на теле Лондона?..

Одна из причин возникновения подобных районов — наплыв иностранцев, которые никогда не понимали и никогда не поймут великих английских традиций; иностранные кварталы вклиниваются в самое сердце бурно растущего Лондона. Однажды, в самом начале своей студенческой жизни, я из любопытства отправился в восточную часть города и попал в жалкий иностранный квартал. В витринах магазинов мне бросились в глаза надписи на еврейском языке и какие-то странные, незнакомые товары. Между двумя рядами магазинов, среди ручных тележек, запрудивших мостовую, суетились люди с блестящими глазами и орлиными носами, говорившие на каком-то тарабарском наречии.

Вскоре я познакомился с порочной, низкопробной и пошлой, но все же привлекательной экзотикой Сохо[1]. На его многолюдных улицах я отдыхал от скучного и тупого Бромтона, где жил и проводил большую часть времени. В Сохо же я впервые воочию убедился, какую пеструю смесь являет собой английское общество в результате процесса иммиграции (в этом отношении мы осколок Америки).

Даже в Вест-Энде, Мейфейре и в скверах вокруг Пэлл-Мэлл я обратил внимание на то, что сохранившееся аристократическое достоинство этих районов — все-

[1] Сохо — ряд кварталов в центре Лондона, пользующихся сомнительной репутацией; здесь много дешевых греческих, итальянских и других ресторанов и кафе.

го лишь приятная оболочка. Здесь жили актеры и актрисы, ростовщики и евреи, разбогатевшие финансовые выскочки. Я смотрел на них и невольно вспоминал рваные манжеты дяди в тот момент, когда он поднимал указующий перст на тот или иной дом на Парк-Лейн. Вот этот дом принадлежит человеку, нажившему состояние на скупке буры, а вот тем дворцом владеет король современных авантюристов Берментруд, бывший НСБ, то есть нелегальный скупщик брильянтов.

Город Блейдсоверов, столица королевства Блейдсоверов, теперь уже сильно потрепанных и переживавших глубокий упадок, был заселен паразитическими, чуждыми, отталкивающими элементами, нагло и незаметно вытеснившими его коренных обитателей. Вдобавок эта столица управляла стихийно возникшей и пестрой империей, занимавшей целую четверть мира. Следствием этого были сложные законы, запутанные общественные отношения и самые противоречивые стремления и интересы.

Таков был тот мир, в который я пришел, чтобы занять там свое место, найти применение своим силам и патриотическим стремлениям, мир, к которому я должен был приспособить свои моральные инстинкты, свои желания и честолюбивые мечты.

Лондон! Я приехал сюда желторотым, наивным юнцом, и у меня не было советчиков; я с доверием, широко открытыми глазами смотрел вокруг и еще сохранял душевную чистоту, которую давно утратили окружавшие меня люди (это характерно для юности, и я говорю об этом без ложной скромности). Я не хотел просто плыть по течению, жить счастливо или богато. Я жаждал какого-то высокого служения, хотел трудиться и созидать. Эти стремления владели мною, как владеют они большинством молодых людей во всем мире.

II

Я приехал в Лондон стипендиатом Фармацевтического общества. Мне выплачивалась стипендия имени Винцента Брэдли, но вскоре я отказался от нее, так как узнал, что за успехи в математике, физике и химии мне присуждена небольшая стипендия Высшего технического училища в Южном Кенсингтоне. Она предназначалась

для студентов, намеревающихся специализироваться по механике и металлургии, и я не без колебаний решился принять ее. Стипендия имени Винцента Брэдли составляла семьдесят фунтов в год, что было вполне достаточно для начинающего фармацевта. Стипендия же Технического училища равнялась только двадцати двум шиллингам в неделю и не открывала почти никаких перспектив. Но зато она позволяла мне заниматься техникой гораздо серьезнее и основательнее, чем стипендия Фармацевтического общества, а я все еще испытывал огромную жажду знаний, подобно большинству юношей моего типа. Более того, я надеялся, что эта стипендия поможет мне стать инженером, то есть получить специальность, которую я всегда считал особенно полезной для общества. Однако все это было весьма неопределенно; я отлично понимал, что риск неизбежен, но пылал рвением и надеялся, что настойчивость и трудолюбие, которые так помогали мне в Уимблхерсте, придут мне на помощь и в новой обстановке.

Но, увы, мои надежды не оправдались...

Возвращаясь мысленно к моим дням в Уимблхерсте, я все еще удивляюсь, как усердно я занимался, какой суровой самодисциплине подвергал себя в годы ученичества. Я смело могу назвать этот период самым светлым в моей жизни. Должен сказать, что мною руководили серьезные и благородные побуждения. Я обладал здоровой любознательностью, страстью к умственным упражнениям и стремился овладеть техническими знаниями. И все же вряд ли бы я трудился с такой упорной, непреклонной настойчивостью, не будь Уимблхерст таким скучным, беспросветным и затхлым местечком. Как только я окунулся в лондонскую атмосферу, вкусил все прелести свободы и полнейшей безответственности, почувствовал новые влияния, дисциплина соскользнула с меня, как одежда. Уимблхерст не мог предложить такому, как я, подростку ни сладких соблазнов, ни искушений, способных отвлечь его от занятий, ни встреч, заставляющих забывать о времени; даже пороки в Уимблхерсте были наперечет: грубое пьянство, откровенное, бесстыдное распутство, лишенное всякого романтического покрова. Сколько-нибудь трудолюбивый, поставивший себе определенную цель молодой человек на-

чинал испытывать в подобной обстановке еще большее уважение к самому себе. Ему не стоило особого труда прослыть «умницей» — так резко бросались в глаза его маленькие достижения в этом уютном заповеднике невежества. С невероятно занятым видом пробегал он по рыночной площади, совершал в определенные дни моцион, подобно оксфордскому профессору, до поздней ночи засиживался за книгами, вызывая почтительное изумление у запоздалых прохожих. О его годовом урожае отметок с благоговением сообщала местная газета. Таким образом, в те дни я был не только ревностным студентом, но отчасти снобом и позером, и позер помогал студенту, как стало ясно для меня позднее в Лондоне. Это, собственно, все, что я получил в Уимблхерсте.

Но в Лондоне я не сразу оценил преимущества своей уимблхерстской жизни, не заметил, как лондонская атмосфера начала постепенно расслаблять меня, парализовать мою энергию. Во-первых, я стал совершенно незаметной фигурой. Если я целый день болтался без дела, никто не замечал этого, кроме моих коллег-студентов, относившихся ко мне без всякой почтительности. Никто не обращал внимания на мои ночные бдения, а когда я переходил улицу, никто не указывал на меня, как на поразительный интеллектуальный феномен. Во-вторых, выяснилось, что я почти ничего не знаю. В Уимблхерсте мне казалось, что я напичкан знаниями, поскольку там никто не знал больше моего. В Лондоне же, среди огромной массы людей, я чувствовал себя невеждой; мои товарищи-студенты, особенно из центральной и северной части страны, оказались подготовленными гораздо лучше меня. Только ценой огромного напряжения сил мне удалось бы занять среди них лишь второстепенное положение. И, наконец, в-третьих, меня увлекли новые, волнующие интересы. Лондон всецело захватил меня. До сих пор наука была для меня всем, теперь она сократилась до размеров маленькой надоевшей формулы из учебника.

Я приехал в Лондон в конце сентября, и он показался мне совсем другим городом, совершенно непохожим на грязно-серое море закопченных домов, как это было при первом знакомстве с ним. На этот раз я прибыл с вокзала Виктория, а не с Кеннон-стрит и оказался в

том районе города, центром которого была Экзибишн-роуд. Под прозрачным осенним небом раскинулся, переливаясь чудесными красками, нарядный город со строгими перспективами широких улиц, убегающих в голубоватую даль, город величественных и красивых зданий, город садов и внушительных музеев, город старых деревьев, уединенных дворцов, прудов и фонтанов. Я остановился в Западном Бромтоне, в домике, расположенном среди небольшого сквера.

Так встретил меня Лондон на этот раз, заставив на время забыть его серый, неприглядный облик, неприятно поразивший меня в мой первый приезд.

Я устроился и начал посещать лекции и лабораторию. Сначала я целиком отдался занятиям, но малу-помалу меня начало одолевать любопытство к этому огромному городу-провинции, желание узнать не только машины, с которыми придется иметь дело, но и нечто другое, чем одни науки. На это толкало меня и растущее чувство одиночества, жажда приключений и общения с людьми. И вот по вечерам, вместо того чтобы переписывать заметки, сделанные на лекциях, я стал изучать купленную мною карту Лондона. По воскресеньям я предпринимал на омнибусах вылазки во все концы города, ближе знакомился с различными его районами и всюду видел бесчисленные толпы людей, к которым не имел никакого отношения и о которых ничего не знал...

Этот город-гигант соблазнял заманчивыми предложениями, сулил открыть пока еще неясные, но полные тайного значения великолепные возможности.

Путешествия по городу не только помогли мне составить представление о его величине, населении, перспективах, какие открываются здесь перед человеком; я стал понимать многие, ранее неизвестные мне вещи, увидел, словно их осветили ярким светом, новые стороны жизни, до сих пор скрытые от меня какой-то завесой и недоступные моему восприятию. В Музее искусств я впервые оценил выставленную для всеобщего обозрения красоту обнаженного тела, которую относил до этого к разряду позорных тайн. Я понял, что эта красота не только позволительна, но желанна и что она нередко встречается в жизни. Познакомился я и со многим другим, о чем раньше даже не подозревал. Однажды вечером на верх-

ней галерее Альберт-Холла я с восторгом услышал величавую музыку — это была, как я думаю сейчас, Девятая симфония Бетховена...

Впечатление грандиозности и многообразия города усиливалось при взгляде на толпу, снующую по улицам и площадям Лондона. Когда я направлялся к Пикадилли, навстречу мне лился нескончаемый людской поток; женщины, проходя мимо меня, о чем-то шептались и по моей мальчишеской неопытности казались мне шикарными и соблазнительными, их глаза встречались с моими, бросали мне вызов и исчезали, хотя мне так хотелось, чтобы они долго-долго смотрели на меня.

Перед вами открывалась удивительная жизнь. Даже рекламы как-то странно действовали на чувства человека. Вы могли купить памфлеты и брошюры, где проповедовались незнакомые, смелые идеи, превосходящие даже самые рискованные ваши мысли. В парках вы слушали, как обсуждается вопрос о существовании самого бога, как отрицается право собственности, как дебатируются сотни вопросов, о которых даже думать возбранялось в Уимблхерсте. А когда после мрачного утра и серого дня наступали сумерки, Лондон превращался в сказочное море огней; вспыхивало золотистое зарево иллюминации, создававшее причудливую, таинственную игру теней, мерцали, подобно разноцветным драгоценным камням, светящиеся рекламы.

И уже не было истощенных и жалких людей — только непрерывное, загадочное шествие каких-то фантастических существ...

Я постоянно сталкивался с самыми непонятными и новыми для себя явлениями. Как-то в субботу поздно вечером я очутился среди огромной толпы; она медленно двигалась по Гарроу-роуд мимо ярко освещенных магазинов, среди ручных тележек, на которых тускло мигали лампы. Я увидел в этой толпе двух девушек с озорными глазами, разговорился с ними и купил для каждой по коробке шоколада; девушки познакомили меня со своим отцом, матерью, младшими братьями и сестрами, а затем мы весело провели время в трактире, где угощались и пили за здоровье друг друга. Лишь поздно ночью я расстался со своими новыми знакомыми у дверей их дома, чтобы никогда больше не встретиться с ними.

В другой раз в каком-то парке на митинге Армии спасения ко мне подошел молодой человек в цилиндре и завязал со мной горячий продолжительный спор, осуждая мой скептицизм. Он пригласил меня на чашку чая в свою добропорядочную и жизнерадостную семью, и я очутился среди его братьев, сестер и друзей. Здесь за пением гимнов под аккомпанемент фисгармонии, напоминавшей мне полузабытый Чатам, я провел вечер, в душе сожалея, что все до одной сестры слишком уж явно выглядят помолвленными...

Затем где-то на окраине этого беспредельного города я разыскал Юарта.

III

Как хорошо я помню солнечное воскресное утро в первых числах октября, когда я ворвался к Юарту! Я застал своего школьного товарища еще в постели. Он жил на глухой улице у подножия Хайгет-хилла, в комнате над керосиновой лавкой. Его квартирная хозяйка — милая, но очень неряшливая молодая особа с добрыми карими глазами — пригласила меня подняться к Юарту. Комната была просторная, с весьма любопытной обстановкой, но на редкость запущенная. Стены были оклеены коричневыми обоями, вдоль одной стены тянулась полка, где стояли запыленные гипсовые формы для отливки и дешевая модель лошади. На столе, заваленном всевозможными набросками, возвышалась какая-то фигура из темного воска, накрытая тряпкой. В углу я заметил газовую печь и кое-какую эмалированную посуду, в которой, видимо, пища готовилась с вечера. Линолеум на полу был весь в характерной белой пыли.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел, была четырехстворчатая, затянутая парусиной ширма, из-за которой невидимый Юарт крикнул мне: «Входи! Входи!» Затем из-за ширмы показалась голова с жесткими черными взъерошенными волосами, любопытные рыжевато-карие глаза и пуговка носа.

— А, старина Пондерво! — воскликнул он.— Вот ранняя пташка! Черт побери, как сегодня холодно! Входи и усаживайся ко мне на кровать.

Я вошел, крепко пожал ему руку, и мы принялись рассматривать друг друга.

Юарт лежал на низенькой складной кровати под тонким одеялом, поверх которого были наброcаны пальто и потрепанные, но еще приличные клетчатые брюки. На Юарте красовалась пижама ядовито-зеленого цвета с красной отделкой. Шея у него как-то вытянулась, стала длиннее и жилистее, чем в наши школьные дни, а на верхней губе появились колючие черные усы. Все остальное — его румяное шишковатое лицо, его взъерошенная шевелюра и худая волосатая грудь — совершенно не изменилось.

— Черт побери! — воскликнул он.— Ты недурно выглядишь, Пондерво! А что ты скажешь обо мне?

— Ты выглядишь хорошо. Чем ты занимаешься здесь?

— Искусством, сын мой, скульптурой! И между прочим...— он замялся,— я торгую. Передай мне, пожалуйста, трубку и курительные принадлежности. Отлично. Ты умеешь варить кофе, а? А ну-ка, попытайся. Убери эту ширму... Нет, просто сложи ее, и мы окажемся в другой комнате. Я пока полежу. Зажги газовую печь. Так. Да смотри не стучи, когда будешь зажигать, сегодня я не переношу никакого шума. Не хочешь ли закурить? Как я рад снова видеть тебя, Пондерво! Расскажи, что ты делаешь и как живешь?

Выполнив под его руководством все, что ему по закону гостеприимства полагалось бы сделать самому, я присел на кровать и улыбнулся Юарту. Он лежал, закинув руки за голову, с наслаждением покуривал и разглядывал меня.

— Как чувствуешь себя на заре своей жизни, Пондерво? Черт побери, ведь прошло уже около шести лет после нашей последней встречи! У нас выросли усы! Мы чуточку пополнели, а? Что же ты...

Я почувствовал, что в конце концов следует закурить трубку, и, посасывая ее, обрисовал ему свою карьеру в довольно благоприятном для себя свете.

— Наука! И ты так корпел! А я в это время выполнял дурацкую работу для каменщиков и всяких там людей и пытался заняться скульптурой. У меня было ощущение, что резец... Я начал с живописи, но оказалось, что страдаю дальтонизмом, цвета не умею различать, пришлось бросить ее. Я рисовал и все думал, больше,

конечно, думал. Сейчас я три дня в неделю занимаюсь искусством, а остальное время — своего рода торговлей, которая кормит меня. Мы с тобой — начинающая молодежь и находимся только на первой ступени своей карьеры... Помнишь прежние времена в Гудхерсте, кукольный домик на острове, «Отступление десяти тысяч», молодого Холмса и кроликов, а? Удивительно, что мы все еще молоды. А наши мечты о будущем, разговоры о любви! Теперь-то ты, наверное, имеешь опыт в этой области, Пондерво?

Я покраснел и в замешательстве стал подыскивать какой-нибудь уклончивый, неопределенный ответ.

— Да нет,— пробормотал я, немного стыдясь этой правды.— Я был слишком занят. Ну, а ты?

— Только начинаю, недалеко ушел с тех пор. Впрочем, иной раз случается...

Несколько минут он молча посасывал трубку, уставившись на гипсовый слепок руки на стене.

— Видишь ли, Пондерво, жизнь начинает казаться мне каким-то диким хаосом, несуразной мешаниной. Тебя тянет в разные стороны... Потребности... Половой вопрос... Какая-то бесконечная и бессмысленная паутина, из которой никогда не выберешься. Иной раз моя голова похожа на расписанный потолок в Хэмптон-Корт[1], целиком заполнена мыслями о нагом теле. Почему? Но бывает и так, что при встрече с женщиной меня охватывает ужасающая скука, и я удираю, спасаюсь, прячусь. Быть может, ты сумеешь как-то по-научному объяснить все это. К чему стремится в данном случае природа и вселенная?

— Я думаю, к тому, чтобы обеспечить продолжение рода человеческого.

— Но это ничего не обеспечивает,— возразил Юарт.— В том-то и дело, что нет! Я как-то распутничал неподалеку отсюда, в Юстон-роуд. Признаюсь, это было мерзко и гадко, и как я был противен сам себе! Продолжение рода человеческого... Боже мой! А почему природа создала человека с таким дьявольским тяготением к выпивке? Уж в этом-то нет никакого смысла.

---

[1] Хэмптон-Корт — дворец близ Лондона.

Юарт даже сел в кровати, так взволновали его собственные рассуждения.

— И почему природа наделила меня огромным влечением к скульптуре и столь же огромным желанием бросить работу, как только я приступаю к ней, а?.. Давай выпьем еще кофе. Уверяю тебя, Пондерво, эти вопросы сводят меня с ума. Приводят в уныние. Заставляют валяться в постели.

У него был такой вид, будто он давно уже приберегал эти вопросы специально для меня. Он сидел, уткнувшись подбородком в колени, и посасывал трубку.

— Вот это я и имел в виду,—продолжал он,— когда говорил, что жизнь начинает казаться мне удивительно странной штукой. Я не понимаю, зачем появился на свет, зачем живу. Все вокруг кажется мне непонятным. А ты что-нибудь понимаешь?

— Лондон,— начал я,— такой огромный!

— Ну, конечно! Но это ничего не значит. Ты можешь встретить людей, которые держат бакалейные лавки. Но для чего они, черт возьми, это делают, Пондерво? А ведь они ведут свое дело старательно, аккуратно, учитывают каждую мелочь. А сколько всякого другого люда толкается на улицах, и у каждого свое важное дело? Возьми хотя бы полицейских и воров. Они тоже серьезно занимаются каждый своим делом. А вот я не могу. Скажи, есть ли где-либо и в чем-либо какой-нибудь смысл?

— Безусловно, смысл должен быть,— ответил я.— Мы с тобой еще молоды!

— Да, мы еще молоды. Но человек должен интересоваться всем окружающим. Я полагаю, что бакалейщик потому и стал бакалейщиком, что нашел в бакалее свое призвание. Моя беда в том, что я не знаю своего призвания. А ты знаешь?

— Твое призвание?

— Нет, свое собственное.

— Пока еще нет. Но я хочу сделать для людей что-нибудь полезное. Мне кажется, моя работа в области техники... Впрочем, не знаю.

— Да,— задумчиво пробормотал Юарт.— А мне кажется, моя скульптура... Но какое отношение имеет она ко всему этому, я совершенно не представляю.— Он

крепко обхватил колени руками и несколько мгновений молчал.— Я зашел в тупик, Пондерво.

Внезапно он оживился.

— Послушай, если ты заглянешь в этот шкаф, то найдешь на тарелке черствую, но еще съедобную булочку, нож и масло в аптечной банке. Дай все это мне, и я позавтракаю. Затем я встану и, если ты не будешь возражать, при тебе помоюсь и займусь своим несложным туалетом. Потом мы отправимся погулять и продолжим наш разговор. Поговорим об искусстве, литературе и обо всем остальном... Да, это та самая банка. Что? В ней таракан? Уничтожь проклятого вора...

Так в течение каких-нибудь пяти минут нашего разговора старина Юарт задал тон всей нашей беседе в то утро...

Я хорошо запомнил эту беседу, потому что она открыла передо мной совершенно новые горизонты мысли. Юарт был в тот день настроен пессимистически, относился ко всему с каким-то особенным скепсисом. Под его влиянием я впервые понял, из каких случайностей и неожиданных превратностей складывается жизнь, особенно для людей нашего возраста, и как, в сущности, все бесцельно и неопределенно в жизни. Юарт дал мне почувствовать, что я слишком быстро соглашаюсь с банальными оценками явлений. Мне всегда казалось, что где-то в нашей социальной системе есть своего рода директор школы, и он обязательно вмешается, если человек зарвется. Так же твердо верил я, что у нас в Англии есть люди, которые понимают цели и стремления всей нации. Теперь, после разглагольствований Юарта, все это рухнуло в бездну неверия. Он подтвердил и мои смутные догадки о бесцельности всей лондонской суеты.

Мы возвращались домой через Хайгетское кладбище и парк Ватерлоо, и Юарт все продолжал рассуждать.

— Взгляни вон туда,— сказал он, останавливаясь и показывая на грандиозную панораму раскинувшегося перед нами Лондона.— Он, как море, и мы барахтаемся в нем. Наступит время, когда мы пойдем ко дну, и волны выбросят нас вот сюда.— И Юарт указал на бесчисленные ряды могил и надгробных памятников, теснившихся вокруг нас на отлогих склонах.

— Сейчас мы молоды, Пондерво. Но рано или поздно мы будем выброшены на один из таких берегов, и о нас будут напоминать только надгробия: «Джордж Пондерво Ч. К. Н. О», «Сидней Юарт Ч. К. О. С.» [1]. Посмотри. сколько здесь памятников с такими надписями.

Он на мгновение умолк, затем снова заговорил:

— Видишь вон ту руку? Простертую ввысь руку на вершине усеченного обелиска? Да, да... Это мое ремесло, я зарабатываю себе на кусок хлеба, когда не занимаюсь размышлениями, не пьянствую, не шатаюсь по городу, не флиртую и не выдаю себя за скульптора. Видишь эти пылающие сердца, этих задумчивых ангелов-хранителей с пальмовой ветвью? Это тоже моя работа. Я делаю их чертовски хорошо и чертовски дешево. Я жертва собственной потогонной системы, Пондерво...

Таков был общий смысл его рассуждений.

Наша беседа доставила мне большое удовольствие. Мы коснулись теологии, философии, и я впервые услыхал в этот день о социализме. Мне казалось, что все это время после разлуки с Юартом я жил, как немой, в какой-то заколдованной стране молчания. Заговорив о социализме, Юарт оживился.

— В конце концов,— заявил он,— с этой проклятой неразберихой, пожалуй, можно было бы справиться. Если бы только люди объединились, чтобы работать сообща...

Это был увлекательный разговор, и предметом его была вся вселенная. Я думал, что лишь освежаю свой ум, а в действительности обогащал его. Немало мыслей зародилось у меня в тот день в парке Ватерлоо, и сейчас, когда я вспоминаю нашу встречу с Юартом, он встает передо мною, как живой. К югу тянулись длинные ряды покрытых садами склонов, белели ряды надгробий, простирался безграничный Лондон. На первом плане этой картины высилась старая, нагретая солнцем кирпичная стена кладбища, покачивались астры среди поздних золотистых подсолнечников, и медленно падали пестрые и желтые листья. Мне казалось в тот день, что я поднялся на целую голову над окружающим меня

---

[1] Ч.К.Н.О.— член королевского научного общества.
Ч. К. О. С — член королевского общества скульпторов.

скучным миром и взглянул на жизнь новыми глазами... Зато я не выполнил своего намерения — посвятить вторую половину дня работе над лекциями.

Мы часто встречались с Юартом и по-прежнему много говорили. Но теперь я не только выслушивал его монологи, но иногда прерывал его и пускался в рассуждения сам. Он вызвал во мне такую бурю мыслей, что нередко я всю ночь напролет не закрывал глаз, обдумывая его слова; по утрам, направляясь в колледж, я продолжал мысленно беседовать с ним, спорил, возражал. По натуре я склонен скорее к действию, чем к критике. Философские рассуждения Юарта на тему о бесцельности и сумбурности жизни отвечали его врожденной лени, но меня побуждали к активному протесту.

— Жизнь так бессмысленна,— говорил я,— только потому, что люди тупы и ленивы, и еще потому, что мы на рубеже нового века. Но ты называешь себя социалистом. Так давай же действовать во имя социализма! Это и будет наша цель! Прекрасная цель!

Юарт дал мне первое представление о социализме. Вскоре я стал восторженным социалистом, но Юарт был пассивным и сопротивлялся, когда речь заходила о приложении на практике теорий, с которыми он сам же ознакомил меня.

— Нам необходимо присоединиться к какой-нибудь организации,— говорил я.— Мы должны что-то делать... Мы должны выступать на улицах и знакомить людей с нашим учением.

Представьте себе молодого человека в изрядно поношенном костюме, который стоит посреди жалкой студии Юарта и возбужденно провозглашает все эти истины, сопровождая свои громкие слова красноречивыми жестами, а Юарт, во фланелевой рубашке и таких же брюках, с измазанным глиной лицом, сидит у стола и, покуривая с философским видом свою трубку, возится с куском глины, из которого никогда ничего не выйдет.

— Да, пожалуй, все это интересно,— соглашался он,— а люди об этом даже знать не хотят...

И только со временем мне удалось определить истинную жизненную позицию Юарта: я понял, какой глубокий разрыв существовал между тем, что он действительно думал, и тем, что так решительно осуждал на сло-

вах. Его артистическая натура помогала ему находить красоту в том, что казалось мне непонятным и даже отвратительным.

У меня была склонность к самообману и к самопожертвованию, хотя в ту пору еще не наметилось четкой, определенной цели. Юарта в какой-то мере восхищали эти качества, но сам он не обладал ими. Как и все эксцентричные и болтливые люди, Юарт был человек скрытный, и мое общение с ним преподнесло мне немало интересных сюрпризов. Обнаружилось, например, что он не имеет ни малейшего желания бороться со злом, которое так горячо и красноречиво изобличал. Другое открытие было связано с неожиданным появлением некоей особы по имени Милли (ее фамилию я забыл), которую как-то вечером я застал у него в комнате. Она была в небрежно наброшенном на плечи голубом халате, а прочие принадлежности ее туалета валялись за ширмой. Оба они курили сигареты и распивали излюбленное Юартом очень дешевое и отвратительное вино из бакалейной лавки — он называл его канарским хересом.

— Привет! — воскликнул Юарт, как только я вошел.— Ты знаешь, это Милли. Она была натурщицей. Она и сейчас натурщица. (Спокойно, Пондерво!) Хочешь хереса?

Милли была женщина лет тридцати, с круглым, довольно хорошеньким личиком; кроме того, она обладала спокойным характером, плохим произношением и восхитительными белокурыми волосами, которые красиво спадали ей на плечи. Она с благоговейной улыбкой внимала каждому слову Юарта. Он не раз принимался рисовать ее волосы и лепить с нее статуэтку, но никогда не доводил работу до конца. Теперь мне известно, что Милли была уличной женщиной, что Юарт познакомился с нею случайно и она влюбилась в него, но в то время моя неопытность помешала мне понять все это, а Юарт уклонился от объяснений. Они бывали друг у друга, вместе проводили праздники за городом, и в таких случаях она брала на себя большую часть расходов. Сейчас я подозреваю, что он даже не стеснялся занимать у нее деньги. Чудно́й малый этот старина Юарт! Подобные отношения настолько не соответствовали моим понятиям о чести и требованиям, какие я предъяв-

лял к своим друзьям, что мне и в голову не приходило хорошенько присмотреться к окружающему; я не замечал, что происходит у меня под носом. Но теперь я как будто разбираюсь в такого рода делах...

В то время я еще не разгадал двойственность натуры Юарта и, захваченный грандиозными идеями социализма, пытался привлечь своего друга к активной работе.

— Мы должны присоединиться к другим социалистам,— настаивал я.— Они что-то делают...

— Пойдем сначала посмотрим.

Не без труда нам удалось разыскать канцелярию фабианского общества в каком-то подвале Клемент-Инна. Нас принял довольно надменный секретарь; он стоял, широко расставив ноги, перед камином и строго допрашивал нас, видимо, сомневаясь в серьезности наших намерений. Все же он посоветовал нам посетить ближайшее открытое собрание в Клиффорд-Инне и даже снабдил кое-какой литературой. Нам удалось побывать на этом собрании, выслушать там путаный, но острый доклад о трестах, а заодно и самую сумбурную дискуссию, какие только бывают на свете. Казалось, три четверти ораторов задались целью говорить как можно более витиевато и непонятно. Это напоминало любительский спектакль, и нам, людям посторонним, он не понравился...

Когда мы направлялись по узкому переулку из Клиффорд-Инна на Стрэнд, Юарт внезапно обратился к сморщенному человечку в очках, в широкополой фетровой шляпе и с большим галстуком оранжевого цвета.

— Сколько членов в этом вашем фабианском обществе? — спросил Юарт.

Человек сразу же насторожился

— Около семисот,— ответил он,— возможно, даже восемьсот.

— И все они похожи на этих?

— Думаю, что большинство такого же типа,— самодовольно хихикнул человечек и куда-то исчез.

Когда мы вышли на Стрэнд, Юарт сделал рукой красноречивый жест, словно соединяя воедино все расположенные здесь банки, предприятия, здание суда с часами на башне, рекламы, вывески в одну гигантскую, несокрушимую капиталистическую систему.

— У этих социалистов нет чувства меры,— заявил он.— Чего от них можно ожидать?

IV

Разглагольствования Юарта привели к тому, что я забросил свои занятия. Теория социализма в его самой чистой демократической форме все больше захватывала меня. В лаборатории я спорил с товарищем по работе до тех пор, пока мы не рассорились и перестали разговаривать.

В ту пору я влюбился.

Еще в Уимблхерсте во мне зародилось и стало расти, как морской прилив, желание обладать женщиной. Лондон разжег его; так ветер в открытом море вздымает и гонит высокие, могучие валы. Конечно, тут сказалось и влияние Юарта. Все более острое восприятие красоты, жажда приключений и встреч постепенно свелась к главному вопросу в жизни каждого человека: я должен был найти себе подругу.

Я начал робко влюбляться в девушек, которых встречал на улице, в женщин, которые оказывались в одном вагоне со мной, в студенток, в дам, проезжавших мимо меня в своих каретах, в уличных девиц, в ловких официанток в кафе, в продавщиц магазинов и даже в женщин, изображенных на картинках. Изредка посещая театры, я восторженно созерцал актрис, зрительниц и находил их таинственно-интересными и желанными. Во мне росло убеждение, что одна из многих мелькавших мимо женщин предназначена для меня. И, несмотря на все препятствия, какие могли встретиться мне на этом пути, какой-то голос в глубине души все время твердил: «Остановись! Взгляни вот сюда! Подумай о ней! Разве она не подойдет? Это не случайно, это что-то предвещает... Стой! Куда ты спешишь? Может быть, это она и есть!»

Странно, что я не помню, когда впервые встретил Марион, мою будущую жену, женщину, которую я сделал несчастной, как и она меня, женщину, которая низвела мое отвлеченное, но возвышенное представление о любви до пошлой ссоры двух озлобленных существ. Она бросилась мне в глаза среди многих других интересных девушек, которые встречались мне, отвечали мимолет-

ными взглядами на мои взгляды, проносились мимо с таким видом, будто призывали не обращать внимания на их недоступный вид. Я встречал ее, когда для сокращения расстояния до Бромтон-роуд проходил через Музей искусств, и не раз замечал, как мне казалось, за чтением в одной из наших публичных библиотек. Впоследствии выяснилось, что она никогда ничего не читала, а приходила сюда, чтобы съесть спокойно свою булочку. Это была скромно одетая, очень грациозная девушка, с темно-каштановыми волосами, собранными на затылке в пышный узел. Эта прическа придавала ее головке еще большее очарование и гармонировала с изящным овалом ее лица и строгой чистой линией рта и бровей.

В отличие от других девушек она не увлекалась яркими цветными платьями, не стремилась поразить вас модными шляпками, пышными бантами и т. д. Я всегда ненавидел кричащие цвета, вульгарность и уродство модных женских нарядов. Ее простое черное платье создавало впечатление какой-то строгости...

Тем не менее однажды меня поразил и взволновал ее облик. Как-то, после неудачных попыток сосредоточиться на своей работе, я ушел из лаборатории и направился в Музей искусств побродить среди картин. И тут, в одном из уголков галереи Шипсхенкса, я заметил ее; она старательно копировала картину, высоко висящую на стене. Я осматривал гипсовые слепки античных скульптур и все еще находился под впечатлением строгой красоты их линий. И вот теперь я увидел ее; она стояла, подняв кверху голову и слегка нагнувшись,— удивительно изящная и женственная...

С этого дня я всячески искал встреч с ней, волновался в ее присутствии, наделял ее в своих мечтах все новыми привлекательными чертами. Я не думал теперь о женщинах вообще. Единственной женщиной для меня была она.

Нас свел пустой случай. Однажды, в понедельник утром, я ехал в омнибусе с вокзала Виктория, возвращаясь из Уимблхерста, где по приглашению мистера Ментелла провел воскресенье. Кроме нас двоих, в омнибусе никого не было. Когда наступил момент расплачиваться за проезд, я увидел, как она смутилась, покрасне-

ла и стала лепетать что-то невнятное: оказывается, она забыла дома кошелек.

К счастью, у меня были с собой деньги.

Она робко взглянула на меня испуганными карими глазами и с какой-то неловкостью, смущаясь, разрешила заплатить кондуктору за проезд. Перед тем как выйти из омнибуса, она поблагодарила меня с напускной непринужденностью.

— Большое вам спасибо,— сказала она приятным мягким голосом, а затем добавила уже посмелее: — Это, право же, очень мило с вашей стороны.

Из вежливости я, кажется, что-то промычал. Но тогда я не был в состоянии завязать разговор, так взволновало меня ее присутствие. Проходя мимо меня, она подняла руку над моей головой, опираясь о стенку омнибуса, и вся ее изящная фигура оказалась рядом со мной. Мы обменялись какими-то совершенно незначащими словами. Я порывался выйти вслед за ней, но так и не решился.

Эта мимолетная встреча глубоко взволновала меня. Всю ночь я лежал с открытыми глазами, перебирая в памяти подробности нашего неожиданного знакомства, раздумывая, как бы поскорей нам снова встретиться. Поводом к этому послужило возвращение двух пенсов. Я сидел в научной библиотеке, выкапывая что-то из «Британской энциклопедии», когда она подошла ко мне и положила на открытую страницу книги тоненький изящный конверт с монетками,

— Это было так любезно с вашей стороны,— сказала она.— Прямо не знаю, что бы я стала делать, если бы не вы, мистер....

Я поспешил назвать себя.

— Я так и знал, что вы студентка,— заметил я.

— Не совсем. Я...

— Но, во всяком случае, я знаю, что вы часто бываете здесь. Сам я студент Высшего технического училища.

Я пустился излагать свою биографию, затем стал расспрашивать ее, и между нами завязалась беседа; из уважения к посетителям библиотеки мы беседовали вполголоса, и это вносило в нашу беседу какую-то интимность. Впрочем, насколько я помню, мы обменивались самыми банальными фразами. Мне кажется, что все на-

ши беседы вначале отличались невероятной банальностью. Мы встречались еще несколько раз — как бы случайно и неожиданно — и всегда испытывали некоторую неловкость. Я не понимал ее уже в то время и никогда не мог понять впоследствии. Сейчас мне ясно, что все ее суждения были поверхностны, надуманны и уклончивы. Правда, в ней не было ни тени вульгарности. Я заметил, что она умалчивает о своем общественном положении, хочет, чтобы ее принимали за студентку Художественного училища, и немного стыдится, что в действительности это не так. Она ходила в музей «делать копии» и таким образом кое-что зарабатывала на жизнь, ревниво оберегая свою маленькую тайну.

Я рассказал о себе, допуская кое-какие преувеличения; мне хотелось понравиться ей, но значительно позже я узнал, что с самого начала показался ей «зазнайкой». Мы говорили о книгах, но она избегала этой темы и больше отмалчивалась; о картинах она рассуждала гораздо свободнее. Картины ей «нравились». В скором времени я понял, что она не блещет оригинальным умом и является самым заурядным существом, но мне даже нравилось это; в ней было что-то возбуждавшее во мне чувственные желания и обещавшее возможность их удовлетворения; не ведая о том сама, она обладала физическими достоинствами, которые кружили мне голову, как крепкое вино.

Я стремился продолжать наше знакомство, каким бы скучным оно ни казалось. Вскоре нам предстояло миновать этот первый, неинтересный этап наших отношений, познать сущность любви.

Я видел ее в своих мечтах совсем иной, чем она была в действительности: ослепительно прекрасной, достойной обожания. Порой, когда во время наших встреч нам не о чем было говорить и мы замолкали, я откровенно и жадно любовался ею; в такие минуты словно спадал с нее покров, и она представала передо мной во всей своей прелести. Признаюсь, странно, удивительно странно, что такое неотразимое очарование таилось для меня в ее внешности, в матовой смуглости лица, в изящных очертаниях губ, в плавной линии плеч. Вероятно, многие не назвали бы ее красивой, но о вкусах не спорят. Конечно, в ее лице и фигуре были недостатки, но для

меня они не имели значения. У нее был дурной цвет лица, но даже если бы он был землисто-серым, я бы не замечал этого. Всеми силами я стремился к одной заветной цели: я страстно жаждал поцеловать ее в губы.

V

Я очень серьезно отнесся к нашему роману, он захватил меня целиком. Мне и в голову не приходило прекратить знакомство. Я видел, что Марион относится ко мне гораздо более критически, чем я к ней, что ей не нравится моя студенческая неряшливость, отсутствие так называемого «светского воспитания».

«Почему вы носите такие воротнички?» — спросила как-то она, и я немедля помчался разыскивать подходящий для джентльмена воротничок. Когда она неожиданно пригласила меня на чашку чая в следующее воскресенье, чтобы познакомить с отцом, матерью и теткой, я стал беспокоиться, что даже мой лучший костюм не произведет на ее родных должного впечатления. Я отложил визит на неделю и постарался принять приличный вид. Сшил визитку, купил цилиндр. Наградой мне послужил первый за все время восхищенный взгляд Марион. Интересно знать, много ли еще найдется таких глупцов? Должен сказать, я без всякого принуждения отказывался от всех своих принципов и взглядов, недостойным образом забывал самого себя. Я добровольно обрекал себя на позор. О том, что происходило со мной, не знала ни одна живая душа, даже Юарту я не сказал ни слова.

Ее отец, мать и тетка показались мне на редкость угрюмыми людьми. Они жили на Уолэм-Грин, и в их доме прежде всего бросалось в глаза преобладание черных и желтых тонов. Черными с желтым были ковры под гобелены, такой же расцветки — драпировки и скатерти. Другой особенностью обстановки были старые, случайно подобранные книги с выцветшим золотым тиснением на корешках. Дешевые кисейные занавески закрывали окна от любопытных глаз, на неустойчивом восьмиугольном столике стояли в горшках цветы. Стены были украшены рисунками Марион в рамках с похвальными надписями Кенсингтонского Художествен-

ного училища. На черном с позолотой пианино лежал сборник гимнов. Над каминами висели задрапированные зеркала, а над буфетом в столовой, где мы пили чай, я увидел безобразный, но очень похожий портрет ее отца. Я не находил у родителей и следа ее красоты, но в то же время у Марион было с ними какое-то неуловимое сходство.

Они были люди с претензиями на светскость и сразу же напомнили мне мою мать и ее приятельниц, но о светской жизни они имели куда меньше представления и потому разыгрывали свою роль без особого успеха. Я заметил, что они, выполняя свой долг гостеприимных хозяев, все время поглядывают на Марион. По их словам, они хотели поблагодарить меня за доброту: я так выручил их дочь тогда в омнибусе, поэтому считали, что с их стороны было вполне естественно меня пригласить. Они выдавали себя за скромных дворян, укрывшихся в этом тихом, уединенном уголке от грохота и сутолоки лондонской жизни.

Когда Марион вынула из буфета белую скатерть, чтобы накрыть стол к чаю, на пол упала карточка с надписью: «Сдаются комнаты». Я поднял ее и передал Марион. Она мгновенно покраснела, и тут только я сообразил, что совершил оплошность: вероятно, карточку сняли с окна по случаю моего прихода.

Во время разговора ее отец вскользь упомянул, что очень занят делами. Только значительно позже я узнал, что он служил внештатным конторщиком на газовом заводе Уолэм-Грин, а в свободное время выполнял всякую домашнюю работу. Это был крупный, неряшливо одетый, склонный к полноте мужчина, с неумными карими глазами, которые благодаря очкам казались большими. На нем был сюртук, сидевший мешком, и бумажный воротничок. С гордостью, как величайшее сокровище, он мне показал толстую библию с многочисленными фотографиями и картинками, вложенными между страницами. За домом у него был маленький огород и небольшой парник, где выращивались помидоры.

— Как бы мне хотелось наладить там отопление,— говорил он.— С отоплением чего только не сделаешь! Но в этом мире нельзя иметь все, что захочется.

Отец с матерью относились к Марион с уважением, которое я находил вполне естественным. Поведение Марион сразу резко изменилось, обычная робость исчезла, в манерах появилась какая-то суровость и властность. Я думаю, она командовала родителями и все делала по-своему. Это, по-видимому, она задрапировала зеркала и раздобыла подержанное пианино. В молодости ее мать — теперь худая и изможденная женщина — вероятно, была красивой: у нее были правильные черты лица и такие же, как у Марион, волосы, хотя и утратившие былой блеск. Тетка — мисс Рембот — очень крупная особа, отличалась прямо-таки неестественной застенчивостью и очень походила в этом отношении на брата. Я не припомню, вымолвила ли она во время моего визита хотя бы одно слово.

Вначале все мы чувствовали себя довольно стесненно. Марион заметно нервничала, а остальные вели себя так, словно их заставили играть какую-то незнакомую, малопонятную роль. Но все оживились, когда я принялся болтать о разных пустяках, рассказывать о школе, о своей жизни в Лондоне, об Уимблхерсте и о днях своего ученичества.

— Слишком много народа нынче занимается науками,— глубокомысленно заметил мистер Рембот.— Я иногда задаю себе вопрос: что в этом хорошего?

По своей молодости я дал втянуть себя в «маленький диспут», как он выразился, но Марион вовремя прервала его.

— Простите, что я вмешиваюсь,— сказала она,— но, на мой взгляд, вы оба по-своему правы.

Затем мать Марион поинтересовалась, какую церковь я посещаю. На этот вопрос я ответил уклончиво. После чая мы слушали музыку, а потом кто-то предложил петь гимны. Я сначала отказывался, ссылаясь на то, что у меня нет голоса, но мои возражения не были приняты во внимание, и пришлось петь. В конце концов я был вознагражден: сидел рядом с Марион и чувствовал прикосновение ее волос. Ее мать, усевшись в кресло, набитое конским волосом, бросала на нас умиленные взгляды.

Мы с Марион совершили прогулку к Путнийскому мосту, а затем все снова пели, потом ужинали — была

подана холодная ветчина и пирог,— после чего мы с мистером Ремботом закурили трубки. Во время прогулки Марион рассказывала мне, с какой целью она делала наброски и копии в музее. Родственница одной из ее подруг — какая-то Смити — имела небольшое предприятие: ее мастерская изготовляла так называемое «персидское одеяние» — одноцветные накидки с яркой вышивкой. Марион работала в мастерской, когда поступало много заказов. Если же мастерская не была загружена, она придумывала новые рисунки для вышивки. С этой целью она и посещала музей, выискивая подходящие узоры и делая наброски в записной книжке; дома она переводила скопированные орнаменты на материал.

— Я зарабатываю немного,— сказала Марион,— но это интересное занятие. Иногда мы работаем целые дни напролет. Конечно, работницы у нас страшно заурядны, но мы с ними почти не разговариваем. К тому же Смити способна говорить за десятерых.

Действительно, если судить по Марион, работницы в мастерской были личностями весьма заурядными.

Семейная обстановка в доме на Уолэм-Грин, его обитатели и то обстоятельство, что я увидел Марион в новом свете, не поколебали моей решимости жениться на ней. Родители не понравились мне. Но я принял их как неизбежность. Более того, Марион явно выигрывала в моих глазах при сравнении с ними; она властвовала над ними, она во всем была выше их и не скрывала этого.

Моя страсть росла с каждым днем. Я только и думал о том, как бы сделать приятное Марион, доказать ей свою преданность, каким роскошным подарком порадовать, как бы дать понять, насколько она мне желанна. И если иногда она обнаруживала свою ограниченность, если ее невежество теперь уже не вызывало у меня никаких сомнений, я говорил себе, что ее душевные качества для меня дороже самого утонченного ума и блестящего образования. И я сейчас еще думаю, что, по существу говоря, не ошибался. В ней было что-то прекрасное, что-то простое и вместе с тем возвышенное, порой проступавшее сквозь невежество, банальность и ограниченность, как мелькает язычок в пасти змеи...

Однажды вечером я удостоился чести проводить ее после концерта в институт Биркбека. Мы возвращались

подземкой в вагоне первого класса — лучшего вагона в поезде не имелось. Мы были одни, и я впервые рискнул обнять ее.

— Зачем это? — как-то неуверенно сказала она.

— Я люблю вас,— прошептал я, чувствуя, как бешено колотится мое сердце, привлек ее к себе и поцеловал в холодные, безжизненные губы.

— Любите меня? — спросила она, вырываясь из моих объятий.— Не надо! — Затем, когда поезд остановился на станции, она добавила: — Вы не должны никому говорить... Не знаю... Вам не следовало этого делать...

В вагон вошли еще два пассажира, и я вынужден был на время утихомириться. Когда мы остались снова наедине и проходили около Баттерси, Марион напустила на себя обиженный вид. Я расстался с ней, не добившись прощения и страшно расстроенный.

Когда мы с ней опять встретились, она потребовала, чтобы я никогда не повторял «подобных вещей».

Я думал, что поцелуй принесет мне величайшую радость. Но оказалось, что это лишь первый робкий шаг на пути любви. Я сказал ей, что хочу на ней жениться — это единственная цель моей жизни.

— Но вы же не в состоянии...— возразила она.— Какой смысл вести такие разговоры?

Я удивленно уставился на нее.

— Поверьте, я говорю серьезно.

— Вы не можете жениться. Это вопрос нескольких лет...

— Но я люблю вас,— настаивал я.

Ее милые губы, которые я уже целовал, были совсем близко от меня; стоило только протянуть руку, чтобы прикоснуться к холодной красоте, которую я хотел оживить, но я видел, что между нами разверзалась пропасть — годы труда, ожидания, разочарования, неопределенности.

— Я люблю вас,— повторил я.— А вы разве не любите меня?

Она посмотрела на меня суровыми, неумолимыми глазами.

— Не знаю,— ответила она.— Конечно, вы мне нравитесь... Но надо быть благоразумными...



«ТОНО БЕНГЕ»



«ТОНО БЕНГЕ»

Я помню еще и сейчас, как меня расстроил ее жесткий ответ. Мне следовало уже тогда понять, что она не разделяет моей страсти. Но разве я мог в то время это осознать? Я до безумия желал ее и наделял необыкновенными достоинствами. Мной владело нелепое и стихийное стремление обладать ею...

— Но... а любовь...— сказал я.

— Но надо быть благоразумными,—повторила она.— Мне нравится бывать с вами. Пусть все останется по-прежнему.

VI

Теперь вы поймете, почему я испытывал такой упадок духа. Причин было более чем достаточно. Я работал все хуже и хуже, от былого моего рвения и аккуратности не осталось и следа, я все больше отставал от своих коллег-студентов. Чуть ли не весь запас моей душевной энергии я отдавал служению Марион, и мало что оставалось на долю науки.

Я невероятно опустился и всячески избегал встречаться со своими товарищами-студентами. Не удивительно, что в конце концов эти хмурые, бледные, тупые, но усидчивые и трудолюбивые северяне перестали видеть во мне соперника и стали презирать меня. Даже девица по одному предмету получила лучшие отметки, чем я. После этого для меня стало вопросом чести публично игнорировать все школьные порядки, хотя и раньше я никогда не соблюдал их...

Однажды я сидел в саду Кенсингтонского дворца под впечатлением неприятного разговора с инспектором училища, во время которого я проявил больше дерзости, чем здравого смысла. Меня удивляло, что я так легко изменил своему твердому решению всецело отдаться науке и вообще всем идеалам, какие вывез из Уимблхерста. По словам инспектора, я показал себя «отъявленным бездельником». Я получил плохие отметки на письменных экзаменах и отвратительно выполнял практические работы.

— Я спрашиваю вас,— сказал инспектор,— что будет с вами, когда окончится ваша стипендия?

Несомненно, это был важный вопрос. Действительно, что станется со мной?

В училище мне нечего будет делать. Вряд ли я найду какую-нибудь работу, кроме жалкой должности помощника учителя в какой-нибудь провинциальной технической или классической школе. Я знал, что, не имея диплома и достаточной квалификации, человек зарабатывает гроши и не может надеяться на лучшее будущее. Будь у меня хотя бы фунтов пятьдесят, я мог бы остаться в Лондоне, получить степень бакалавра наук и на что-то надеяться в будущем. При этой мысли досада на дядю вновь охватила меня: ведь у него все еще оставалась часть моих денег, во всяком случае, должна была остаться. Почему бы мне не напомнить ему о своих правах и не пригрозить, что я «приму соответствующие меры»? Некоторое время я обдумывал эту мысль, потом зашел в научную библиотеку и написал ему большое, довольно-таки резкое письмо.

Это письмо знаменовало собой кульминационную точку моих неудач. Об удивительных последствиях этого письма, навсегда положивших конец моим студенческим дням, я расскажу в следующей главе.

Я сказал «моих неудач». И все же я по временам сомневаюсь, можно ли назвать этот период моей жизни неудачным; возможно, что я не сделал ошибки, когда волею обстоятельств бросил науки, которые грозили «иссушить мне мозг». Мой ум не бездействовал, он только питался запретной пищей. Я не изучил того, что могли бы мне дать профессора со своими ассистентами, но узнал многое другое, научился мыслить широко и при этом самостоятельно.

В конце концов мои товарищи, которые успешно сдали экзамены и считались у профессоров примерными студентами, не добились таких поразительных успехов, как я. Некоторые стали профессорами, другие техническими экспертами, но ни один из них не может похвастаться, что сделал столько для человечества, сколько я, работая во имя своих личных целей. Я построил суда, которые ходят с невиданной до сих пор скоростью,— никто до меня даже не мечтал о таких судах; в сокровенных тайниках природы я нашел три секрета и сделал открытия не только технического, но и научного значения. Я ближе всех подошел к решению проблемы воздухоплавания. Разве смог бы я столько сделать, если бы рабо-

тал под руководством посредственных профессоров колледжа, которые должны были дать мне научную тренировку? И если бы меня натренировали и я стал бы исследователем (как будто творческий процесс имеет что-нибудь общее с тренировкой!), я в лучшем случае написал бы несколько бездарных брошюр, увеличив груду научного хлама. В данном случае я не считаю нужным скромничать. Если сравнить мою карьеру с карьерой других студентов, то меня никак нельзя назвать неудачником. Я стал членом Королевского научного общества в возрасте тридцати семи лет; я не слишком богат, но нищета так же далека от меня, как и испанская инквизиция. Допустим, что я подавил бы в себе любопытство, не дал бы простора своему воображению, работал бы по давно испытанному методу одного и по указаниям другого,— кем бы я был сейчас?

Конечно, я могу ошибаться. Кто знает, может быть, я принес бы больше пользы обществу, если бы не расходовал свою энергию, преследуя столь разнообразные цели, если бы отказался от разрешения социальных проблем и примкнул к какой-нибудь дурацкой ходячей теории, расстался бы с Юартом, уклонился бы от встреч с Марион, вместо того чтобы добиваться ее. Но нет, я не верю в это!

Однако в то время я был во власти сомнений, и меня мучили угрызения совести, когда я сидел, мрачный и расстроенный, в саду Кенсингтонского дворца и под впечатлением неприятного разговора с инспектором критически пересматривал два последние года своей жизни, проведенные в Лондоне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАСТУПАЕТ РАССВЕТ, И ДЯДЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ В НОВОМ ЦИЛИНДРЕ

I

За годы моего студенчества я ни разу не побывал у дяди. Я сердился на него и не хотел видеть, хотя иногда и сожалел, что все больше отдаляюсь от тетушки Сьюзен. Кажется, ни разу мне не пришло в голову то таин-

ственное слово, с помощью которого дядя намеревался потрясти мир. Но все же оно сохранилось в каком-то уголке моей памяти. И когда однажды на рекламном щите я прочел новую надпись, у меня шевельнулось какое-то смутное воспоминание, какая-то неясная, вызывающая недоумение догадка: уж не касается ли это и меня лично?

СЕКРЕТ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ
ТОНО БЕНГЕ

Это было все. Просто, но вместе с тем внушительно. Я уже прошел мимо щита и только тогда заметил, что все еще повторяю это слово. Оно приковывало внимание, как далекий грохот пушек. «Тоно» — что это такое? Потом звучное, глубокое, торжественное: «Бенге»!

Вскоре после этого в ответ на мое резкое письмо дядя прислал следующую удивительную телеграмму: «Зайди ко мне немедленно. Ты нужен. Триста в год обеспечено. Тоно Бенге».

— Честное слово! — воскликнул я.— Так оно и есть! Но что же это такое?.. Патентованное лекарство! Интересно, чего он хочет от меня?

Верный своим наполеоновским замашкам, дядя не счел даже нужным сообщить адрес. Но его телеграмма была отправлена из почтово-телеграфного отделения на Феррингтон-роуд, и я по трезвому размышлению написал так: «Пондерво, Феррингтон-роуд»,— рассчитывая, что благодаря редкой фамилии его обязательно разыщут.

«Где ты?» — спрашивал я.

Ответ пришел очень быстро:

«Реггет-стрит, № 192 А».

На следующий день после утренней лекции я сам себе устроил однодневные каникулы. И вот снова предо мной предстал дядя. На голове у него красовался сдвинутый на затылок блестящий новый цилиндр — о великолепный цилиндр! — поля которого по последней моде были загнуты кверху. Единственный недостаток цилиндра заключался в том, что он был слишком велик. Дядя был в белом жилете, без сюртука.

Увидев меня, дядя уронил очки, и его круглые, невыразительные глаза заискрились. Судя по этой встрече, дядя решил предать великодушному забвению и мое не-

почтительное письмо и мое упорное нежелание видеть его. Протягивая мне свою пухлую, коротенькую руку, он воскликнул:

— Наконец-то, Джордж! Ну, что я тебе говорил? Теперь, мой мальчик, больше нечего по углам шептаться. Кричи об этом, да погромче! Кричи везде! Тверди всем и каждому: Тоно-Тоно-Тоно Бенге!

Следует пояснить, что Реггет-стрит — это большая проезжая улица, замусоренная капустными листьями и кочерыжками. Она начиналась у верхнего конца Феррингтон-стрит. В доме № 192. А помещался магазин с витриной, стекла которого были шоколадного цвета: на витрине красовались плакаты, которые я уже видел на рекламных щитах. Пол в магазине был весь затоптан и очень грязен. Трое энергичных парней хулиганского типа, с повязанными вокруг шеи шарфами и в кепках, суетились среди ворохов соломы, упаковывая в деревянные ящики какие-то флаконы с этикетками. Точно такие же флаконы в беспорядке стояли на прилавке; в то время их никто еще не знал — позднее они стали известны всему миру. На голубых наклейках был изображен ярко-розовый обнаженный гигант добродушного вида и напечатано наставление, как принимать Тоно Бенге; из наставления следовало, что, по существу, его можно применять во всех случаях жизни. За прилавком сбоку виднелась лестница, по которой спускалась девушка с флаконами в руках. На высокой шоколадного цвета перегородке белыми буквами было написано: «Временная лаборатория»,— а над прорубленной в ней дверью — «Контора».

Я постучал, но в помещении стоял такой шум и гам, что никто, по-видимому, не услышал моего стука. Не дождавшись ответа, я вошел и увидел дядю. Он был в костюме, который я уже описал, и что-то диктовал одной из трех ретиво трудившихся машинисток; в одной руке дядя держал пачку писем, а другой почесывал голову. Позади него была еще одна перегородка с дверью, над которой виднелась надпись: «Посторонним вход категорически воспрещается». Перегородка была деревянная, все того же шоколадного цвета и в футах восьми от пола застеклена. Я смутно разглядел сквозь стекло ряды тиглей и реторт, а также... боже мой!.. Да, это он — старый милый воздушный насос из Уимблхерста! При виде

насоса я даже взволновался. Рядом стояла электрическая машина, потерпевшая, видимо, какую-то серьезную аварию. Все эти приборы были расставлены на полках так, чтобы сразу же броситься в глаза каждому, кто войдет в магазин.

— Заходи прямо в мое святилище,— сказал дядя, закончив письмо уверениями «в совершенном почтении», и потащил меня в комнату, которая никак не оправдывала ожиданий, какие вызывали выставленные здесь приборы. Стены ее были оклеены грязными, местами отставшими обоями. В комнате был камин, мягкое кресло, стол, где стояли две-три больших бутыли. На каминной доске валялись сигарные коробки, стояла бутылка виски «Тантал» и несколько сифонов с содовой водой. Дядя плотно закрыл за мной дверь.

— Наконец-то! — сказал он.— Растем! Хочешь виски, Джордж? Нет? Молодец! Я тоже не хочу! Ты видишь, как я усердно работаю!

— Над чем ты работаешь?

— Прочти вот это,— и он сунул мне в руку этикетку Тоно Бенге.

Сейчас во всех аптеках вы увидите эту голубовато-зеленую этикетку в старомодной замысловатой рамке, с изображением гиганта на фоне вспыхивающих молний, с бросающимся в глаза, набранным черным шрифтом названием «Тоно Бенге» и двумя колонками беззастенчивой лжи, напечатанными красной краской.

— Дело на полном ходу,— сказал дядя, пока я с недоумением рассматривал этикетку.— В полном разгаре, и я выплываю.

Своим хриплым тенорком он вдруг запел:

Я плыву, я плыву над пучиной седой.
Домом стал океан, а корабль стал женой.

— Замечательная песня, Джордж! Корабль тут ни при чем, но в качестве объяснения годится! Мы на корабле... Да, между прочим! Одну секунду! Я забыл отдать одно распоряжение...

Он выскочил из комнаты, и снаружи послышался его голос, в котором уже можно было уловить властные нотки. Оставшись один, я огляделся по сторонам, и снова меня поразила необычная обстановка этой большой и

грязной комнаты. Мое внимание привлекли огромные бутыли, помеченные буквами А. В. С. и т. д., и столь милый моему сердцу старый насос. Я окончательно понял, что он стоит здесь, как некогда в Уимблхерсте, лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза. Я уселся в кресло, решив дождаться дядю и добиться от него разъяснений. За дверью висел сюртук с атласными отворотами, в углу стоял солидный зонтик; на круглом столике лежали платяная и шляпная щетки.

Минут через пять дядя вернулся, посматривая на свои часы — отличные золотые часы!

— Время идет к обеду, Джордж,— сказал он.— Пойдем-ка лучше, пообедаешь со мной.

— Как тетушка Сьюзен? — спросил я.

— Замечательно! Никогда еще не была она такой жизнерадостной. Все это удивительно встряхнуло ее.

— Что «все это»?

— Тоно Бенге.

— Но что за штука Тоно Бенге?— спросил я.

Дядя замялся.

— Я расскажу тебе потом, после обеда,— ответил он.— Идем.

И, закрыв за собой дверь, дядя повел меня по грязному узкому тротуару, вдоль которого длинной вереницей выстроились ручные тележки. Время от времени, подобно лавине, сметая все на своем пути, по тротуару двигались грузчики с тяжелой ношей, направляясь к фургонам на Феррингтон-стрит.

Дядя величественным жестом остановил проезжавший мимо кэб, причем кучер тут же проникся к нему беспредельным уважением.

— К Шефферсу,— приказал дядя, и мы помчались по направлению к Блэкфрайерскому мосту, где находился прославленный отель Шефферса — огромное здание с кружевными занавесками на венецианских окнах. Сидя рядом с дядей, я не мог прийти в себя от изумления: так поразило меня все происходившее на моих глазах.

Когда два рослых швейцара в светло-голубой, отделанной красным ливрее распахнули перед нами двери отеля Шефферса и подобострастно поклонились дяде, мне показалось, что с нами произошло какое-то волшебное изменение. Ростом я гораздо выше дяди, но в тот

момент почувствовал себя куда меньше и значительно тоньше его. Официанты, еще более угодливые, чем швейцары, освободили дядю от нового цилиндра и внушительного зонта и внимательно выслушали его властные распоряжения относительно обеда.

Кое-кому из официантов он важно кивнул головой.

— Здесь уже знают меня, Джордж,— сказал дядя.— Выделяют среди других. Славное это местечко! Здесь на примете многообещающие люди!

Некоторое время мы были поглощены сложной процедурой обеда, а затем, наклонившись над столом, я спросил:

— Ну, а теперь?

— Это секрет жизненной энергии. Разве ты не прочел на этикетке?

— Да, но...

— Покупают нарасхват, как горячие пирожки...

— Но что же это такое?

— Хорошо,— сказал дядя. Он нагнулся ко мне и, прикрывая рот рукой, продолжал шепотом:—Это не что иное, как...

(Но тут вмешивается моя чрезмерная щепетильность. В конце концов Тоно Бенге все еще продается и пользуется большим спросом; к тому же я и сам участвовал в его изготовлении и распространении. Нет! Я не смею выдавать его секрет!)

— Видишь ли,— прошептал дядя с видом заговорщика, широко открыв глаза и наморщив лоб,— оно приятно на вкус благодаря... (тут он назвал одно придающее вкус вещество и ароматический спирт); оно возбуждает, так как в нем имеется... (здесь он упомянул два тонических вещества, одно из которых сильно действует на почки); оно опьяняет (он назвал два других ингредиента), да так, что они поднимают хвост... Затем там имеются... (это и был главный секрет). Вот и все! Я разыскал этот состав в старой поваренной книге, где было все, за исключением... (тут дядя назвал ядовитое вещество, вредное для почек),— это придумал я сам. В духе времени! Так оно и получилось!

И дядя вернулся к прерванному обеду.

После обеда он повел меня в комнату отдыха. Это было роскошное помещение, с панелями, обтянутыми крас-

ным сафьяном, с диковинной желтой фаянсовой посудой на полках; здесь было множество всевозможных диванов, кушеток и другой мебели. Мы уселись в глубокие мягкие кресла перед мавританским столиком, на котором стоял кофейник и бутылка бенедиктина. Я впервые вкушал прелесть десятипенсовой сигары, дядя же курил ее с таким видом, словно делал это каждый день, и выглядел солидным, энергичным, понимающим толк в роскоши и на диво корректным человеком. Правда, мы потребовали хотя и дорогие, но слабые сигары, и это, вероятно, несколько повредило нашей репутации важных персон.

Дядя развалился в кресле и, подогнув свои коротенькие ножки, с таинственным видом наклонился к моему уху. Такую же позу принял и я, хотя справиться со своими длинными ногами мне было гораздо труднее. Посторонний человек, взглянув на меня и на дядю, наверняка принял бы нас за каких-нибудь темных дельцов, закоренелых аферистов.

— Джордж,— сказал дядя, докуривая свою сигару,— я хочу посвятить тебя в это дело — пуффф!— по ряду соображений.

Он еще понизил голос и заговорил еще более таинственным тоном. По своей неопытности я не все понял из его объяснений. Он говорил что-то о долгосрочных кредитах, предоставленных ему оптовой аптекарской фирмой, и об ее участии, о кредите, полученном у какой-то типографской фирмы, владельцы которой не отличались чистоплотностью в делах, и о том, какую долю придется им выделить, и, наконец, коснулся третьей доли, принадлежавшей владельцу влиятельной газеты и журнала.

— Я пустил в игру одного против всех и всех против одного,— сказал дядя.

Мне сразу же все стало ясно. Он посетил по очереди своих будущих компаньонов и сообщил каждому из них, что другие уже согласились войти в дело.

— Я объявил, что вкладываю четыреста фунтов,— продолжал дядя,— и вдобавок свою особу и все нужное оборудование. А знаешь...— Он поглядел мне в глаза как-то особенно доверчиво.— Ведь у меня не было и пятисот пенсов. Но как бы то ни было...— Он на секунду замялся, затем добавил:— Я все же добыл деньги. Ты

понимаешь... Это твои деньги. Если рассуждать строго формально, то мне следовало бы сначала обратиться к тебе. З-з-з-з...

— Я поступил рискованно,— сказал дядя, переходя от вопросов чести к проблеме личного мужества, и с характерным для него взрывом благочестия воскликнул: — Слава богу, все обошлось благополучно! Теперь ты, конечно, спросишь, какое это имеет отношение к тебе? Дело в том, что я всегда верил в тебя, Джордж. У тебя есть какая-то суровая выдержка. Раскачайся же, дерзай — и как з-здорово будет! Ты добьешься всего, чего захочешь. Поверь мне, Джордж, я немного разбираюсь в людях. У тебя есть...— Он стиснул кулаки, потом внезапно выбросил их вперед и энергично присвистнул:—Фьюит! Да! У тебя есть это! Я никогда не забуду, как ты взялся за латынь в Уимблхерсте!.. Р-раз! За свою технику и за все остальное! Р-раз! Я знаю свои возможности. Есть вещи, которые я могу делать (здесь он вдруг перешел на шепот, словно намекал на какое-то интимное обстоятельство своей жизни), но некоторые вещи мне совершенно недоступны. Вот я смог создать это дело, но не могу как следует развернуть его. Я слишком разбрасываюсь. Я могу вспыхнуть, но не в состоянии гореть медленно. А ты все накаляешься и накаляешься... Как Папйнов котел. Ты умеешь работать усидчиво, упорно, продуктивно, а затем — р-р-р-раз! Приходи и научи моих арапов, как нужно работать. Вот чего я добиваюсь. Ты нужен мне! Тебя все еще считают мальчишкой. Начни работать со мной и будь мужчиной. А, Джордж? Подумай, как это будет чудесно... Дело-то на ходу—настоящее, живое дело!.. Мы разведем пары! Заставим его гудеть и крутиться...— Дядя рукой описал в воздухе несколько широких кругов.— Ну, так как, а?

Предложение дяди, вновь перешедшего на конфиденциальный тон, приняло более определенную форму. Я должен был посвятить все свое время и всю свою энергию организации и расширению его дела.

— Тебе не придется писать объявлений или брать на себя какую-либо ответственность,— заявил он.— Все это я буду делать сам.

Дядя не преувеличивал в своей телеграмме: действительно, я должен был получить триста фунтов в год.

Три сотни в год! («Это мелочь,— сказал дядя.— Это только для начала, а потом ты будешь получать десятую часть дохода».)

Во всяком случае, три сотни в год обеспечено! Для меня это была такая чудовищная сумма, что я даже на мгновение растерялся. Да располагает ли его предприятие такой суммой? Я посмотрел на роскошную обстановку отеля Шефферс. Несомненно, подобные доходы не такая уж редкость.

Голова у меня кружилась от непривычного бенедиктина и бургундского.

— Давай вернемся, и я еще раз взгляну на твое дело,— предложил я.— Поднимусь наверх и обойду все.

Так мы и сделали.

— Что ты теперь думаешь? — спросил дядя.

— Прежде всего,— ответил я,— почему не устроить в этой комнате хорошую вентиляцию? Помимо других соображений, девушки работали бы тогда раза в два продуктивнее. Кроме того, пусть они сначала затыкают флаконы пробкой, а потом уже наклеивают этикетки...

— Почему?— спросил дядя.

— Да потому, что иногда с пробками случаются неудачи, и тогда этикетки пропадают зря.

— Переходи ко мне, Джордж, и заводи новые порядки! — с внезапным пылом воскликнул дядя.— Переходи сюда и добейся, чтобы наше предприятие работало как часы. Ты это можешь. Ты у меня горы своротишь! Ты сможешь. О! Я з-знаю — ты сможешь!

II

После обеда настроение у меня быстро изменилось. Возбуждение, вызванное непривычными крепкими напитками, прошло, и ко мне вернулась моя обычная трезвая проницательность. Не всегда мне удается сохранять ее; иной раз она покидает меня на недели, но в конце концов снова возвращается, подобно суду на выездной сессии, и мне приходится отдавать отчет во всех своих впечатлениях, иллюзиях, в умышленных или неумышленных поступках.

Мы спустились вниз, в ту комнату, которая благодаря частично застекленной перегородке называлась «тех-

нической лабораторией», а в действительности была убежищем дяди. Дядя предложил мне сигарету Я закурил и встал перед холодным камином. Дядя поставил зонтик в угол, положил на стол новенький цилиндр, который был немного велик ему, старательно высморкался и достал для себя сигару.

Присмотревшись к дяде, я нашел, что он как-то уменьшился со времен Уимблхерста. Проглоченное им пушечное ядро выпячивалось еще заметнее, чем раньше, кожа потеряла свою свежесть, нос, на котором очки по-прежнему держались плохо, покраснел еще больше. Мне показалось, что его мускулы стали дряблыми, а движения уже не так энергичны, как прежде. А он сидел передо мной — такой маленький в моих глазах — и даже не подозревал, какие удивительные перемены с ним произошли.

— Ну, Джордж,— сказал он, не догадываясь, к счастью, о моей молчаливой критике.— Что ты думаешь обо всем этом?

— Прежде всего,— ответил я,— это — гнусное надувательство.

— Ну! Ну! — воскликнул дядя.— Это просто... Это честная торговля!

— Тем хуже для торговли.

— Но все так делают. В конце концов ничего вредного в моем составе нет. Возможно, что он даже полезен. Он может принести немалую пользу, например, внушить людям уверенность во время эпидемии. Понимаешь? А почему бы и нет? Не понимаю, при чем тут надувательство?

— Гм! — пробормотал я.— Все зависит от того, как взглянуть на вещи.

— Хотел бы знать я, какая торговля не является своего рода обманом. Каждый старается так разрекламировать свой товар, чтобы самое обычное сошло за что-то необыкновенное. Вспомни Чиксона, которого сделали баронетом. Вспомни лорда Редмора, который получил титул за то, что сумел здорово расхвалить свое щелочное мыло. Между прочим, какая замечательная у него была реклама!

— Выходит, что ты делаешь честное дело, когда выдаешь эту дрянь в бутылочках за квинтэссенцию жиз-

ненной силы и заставляешь несчастных, поверивших тебе, покупать ее?

— А почему бы и нет? Откуда мы знаем, Джордж, что для них это не квинтэссенция, раз они верят в нее?

— Ого! — воскликнул я, пожимая плечами.

— Вера! Ты внушаешь им веру... Я согласен, что наши этикетки чуть-чуть преувеличивают. Прямо как в «Христианской науке» [1]. Нельзя восстанавливать людей против лекарства. Назови мне хотя бы одну отрасль торговли, которая может обойтись в наше время без кричащей рекламы. Таков современный способ торговли! Все понимают это и мирятся с этим!

— Но мир почувствовал бы себя не хуже, а даже, пожалуй, лучше, если бы всю твою дрянь спустить по канализационной трубе в Темзу.

— Ты так не говори, Джордж. Пойми, кроме всего прочего, наши люди остались бы без работы. Ты подумай, стали бы безработными! Я допускаю, что Тоно Бенге, возможно, не является таким же ценным для человечества открытием, как хинин, но все дело в том, Джордж, что им можно торговать! А мир живет торговлей! Коммерция! Романтический размах — превращение товаров в деньги. Романтика! Игра воображения! Понимаешь? Ты должен шире смотреть на жизнь. Надо видеть за деревьями лес! Черт побери, Джордж, мы обязаны этим заняться! Ты должен принять участие в моем деле — другого выхода нет. Между прочим, какие у тебя самого планы на будущее?

— Можно прожить без лжи и мошенничества,— ответил я.

— Ты чересчур щепетилен, Джордж. Я готов биться об заклад, что никакого мошенничества в этом деле нет. Но что же ты все-таки намерен делать? Поступить на должность фармацевта, получать жалованье и отказаться от тех доходов, которые предлагаю тебе я? Какой смысл? Ведь деньги всюду зарабатывают с помощью надувательства, как ты выражаешься.

---

[1] «Христианская наука» — одна из многочисленных христианских сект, основанная в 1866 году в США и существующая до сих пор. Согласно учению секты, все физические и духовные болезни человека излечиваются, если он полностью поймет «божественный принцип учения и врачевания Христа».

— Во всяком случае, некоторые фирмы ведут свои дела честно и благородно. Они продают действительно полезные товары и обходятся без разнузданной рекламы.

— Нет, Джордж. Ты отстал от века. Последняя такая фирма была продана с молотка около пяти лет назад.

— Ну что же, есть научно-исследовательская работа.

— А кто ее оплачивает? Кто построил это огромное здание городских гильдий в Южном Кенсингтоне? Предприимчивые дельцы! Они решили, что кому-нибудь надо на всякий случай подзаняться наукой, ведь со временем им может понадобиться покладистый эксперт. Вот в чем дело! А что ты получишь за свои исследования? Гроши, которых тебе едва хватит на полуголодное существование,— и никакой надежды на будущее! За эту жалкую подачку ты должен будешь совершать открытия, на которых наживутся дельцы.

— Можно стать учителем.

— Полно, Джордж, сколько это тебе даст в год? Сколько ты заработаешь в год? Я надеюсь, ты уважаешь Карлейля. Ну, возьми критерий платежеспособности по Карлейлю. (Боже! Какую он написал книгу о французской революции!) Сравни, сколько платит мир учителям и изобретателям и сколько платит деловым людям. Вот тогда ты увидишь, кто из них действительно нужен миру. В этой видимой несправедливости есть своя правда, Джордж; торговля — великий двигатель. Торговля заставляет мир вертеться!.. Корабли! Венеция! Империя!

Внезапно дядя вскочил на ноги.

— Обдумай все это, Джордж, хорошенько обдумай. А в воскресенье приходи к нам на новую квартиру — мы живем теперь на Гоуэр-стрит — повидать свою тетку. Она часто спрашивает о тебе, Джордж, очень часто, и все упрекает меня, зачем я взял твои деньги, хотя я всегда говорил и сейчас повторяю, что уплачу тебе по двадцати пяти шиллингов за каждый твой фунт, да еще с процентами. Подумай о моем предложении. Я прошу тебя помочь не мне. Самому себе. Твоей тетке Сьюзен. Всему предприятию. Всей промышленности твоей страны. Ты нам нужен до зарезу. Говорю тебе прямо: я знаю

свои возможности. А ты возьмешься за дело, и оно у тебя пойдет! Я уже представляю себе, как ты работаешь здесь, правда, с кислым видом...

Он ласково улыбнулся, но тут же на его лице появилось серьезное выражение.

— Мне нужно еще продиктовать одно письмо,— проговорил он и скрылся в соседней комнате.

III

Не без борьбы уступил я соблазнительным доводам дяди. Я стойко держался целую неделю, размышляя о своей жизни, о том, что ждет меня впереди. Мысли вихрем проносились у меня в голове. Напряженное раздумье порой не давало мне спать по ночам.

Я чувствовал, что надвигается кризис: разговор с инспектором колледжа, беседа с дядей, бесперспективность моей любви к Марион — все предвещало его. Как жить дальше?

Я хорошо помню свои переживания в ту пору, постоянную смену настроений.

Припоминаю, например, возвращение домой после разговора с дядей. Я спустился по Феррингтон-стрит к набережной, так как полагал, что на многолюдных Холборн-стрит и Оксфорд-стрит мне трудно будет собраться с мыслями. Набережная между мостами Блэкфрайерс и Вестминстер еще и теперь напоминает мне о пережитых мною сомнениях.

Вы ведь знаете, что я с самого начала трезво смотрел на дядину затею и сразу понял, что с точки зрения морали она не выдерживает критики. Ни разу, ни на секунду я не отказывался от своего убеждения, что продажа Тоно Бенге является с начала до конца бесчестным делом. Я понимал, какой вред может принести людям Тоно Бенге — это слегка возбуждающее, ароматичное и приятное на вкус снадобье. Его употребление могло войти в привычку и приучить человека к еще более сильным возбуждающим средствам, а для больных почками оно было просто очень опасно. Большой флакон Тоно Бенге должен был обходиться нам около семи пенсов, включая посуду, а продавать его мы намеревались за

полкроны[1] плюс стоимость марки, свидетельствующей о наличии патента.

Признаюсь, с самого начала меня не столько отталкивала мысль, что я буду принужден заниматься мошенничеством, сколько невероятная нелепость всей этой затеи, рассчитанной на человеческую глупость. Я все еще думал, что общество представляет собой или должно представлять здоровую и разумную организацию. Мне казалось диким и невероятным, что я, молодой человек в полном расцвете сил, приму участие в чудовищном предприятии, на складах которого будут разливать в бутылки заведомую дрянь и одурачивать доверчивых, павших духом людей. Я все еще придерживался своих юношеских убеждений и считал, что, как ни заманчивы перспективы легкой жизни и богатства, нарисованные дядей, в них кроется нечто недостойное. Во мне жила уверенность, что меня ждет поприще честного, полезного труда; пусть покамест это лишь тропинка, заросшая травой, но она маячит передо мной, и придет час, когда я решительно вступлю на нее.

В первые минуты, когда я шел по набережной, желание отвергнуть предложение дяди все нарастало. Я не мог сделать этого сразу же, потому что находился под его обаянием. Может быть, здесь играла роль моя давнишняя привязанность к дяде или мне было неловко так ответить на его радушный прием. Но больше всего тут мешала его способность убеждать — правда, ему не удалось внушить мне веру в его честность и особые дарования, но зато я лишний раз убедился, что мир сошел с ума. Я понимал, что дядя — вздорный человек, своего рода безумец, но ведь мы живем в таком же вздорном и безумном мире! А человек должен как-то существовать. Своей нерешительностью я удивил его да и самого себя.

— Нет,— заявил я,— мне необходимо поразмыслить.

И пока я шел по набережной, у меня складывалось о дяде нелестное впечатление. Он становился все ничтожнее и ничтожнее в моих глазах, пока не превратился в крошечного, жалкого человечка, обитателя грязной

---

[1] Полкроны — 2,5 шиллинга, то есть 30 пенсов.

глухой улицы, рассылающего доверчивым покупателям сотни флаконов своего снадобья. Вероятно, по контрасту с громадами зданий юридических корпораций, Совета школ (как он назывался тогда), Соммерсет-хауза, гостиниц, мостов, Вестминстера вдали дядя стал мне представляться каким-то тараканом, копающимся в грязи между половицами.

Но тут мой взгляд остановился на ярко сверкающих по ночам в южной части города рекламах «Пища Сорбера» и «Железистое вино Крекнелла», я подумал о том, как уместны они в этом мире и насколько явно стали частью общего целого.

Из Палас-ярда торопливо вышел какой-то человек, и полицейский, приветствуя его, прикоснулся рукой к козырьку шлема. Своим цилиндром и манерой держаться этот человек удивительно напомнил мне дядю. Ну что ж, разве Крекнелл не был членом парламента?..

Тоно Бенге кричал с рекламного щита около Адольфи-террас, затем я заметил его около Керфекс-стрит, а на Кенсингтон-хай-стрит он вновь привлек мое внимание. Я видел его рекламы еще раз шесть или семь, пока дошел до дому.

Да, видимо, Тоно Бенге — это нечто большее, чем дядина фантазия...

Я размышлял об этом, упорно размышлял... Торговля правит миром. Скорее богатство, чем торговля! Это верно. Но верно также и утверждение дяди, что кратчайшим путем к богатству является продажа самой дешевой дряни в самой дорогой упаковке. В конце концов он был совершенно прав. «Pecunia non olet» [1],— сказал один римский император. Возможно, что мои великие герои, о которых я читал у Плутарха, были заурядными людьми и казались великими только потому, что жили очень давно. Возможно, что и социализм, к которому меня влекло,—всего лишь наивная мечта, наивная еще и потому, что все его обещания лишь относительно справедливы. Моррис и другие утописты только забавлялись, создавая все эти теории. Им доставляло эстетическое удовольствие перестраивать в мечтах мир. У людей никогда не будет взаимного доверия, чтобы добиться перемен, которые

---

[1] «Деньги не пахнут» *(лат.)*.

сулит социализм. Это знали все, за исключением нескольких молодых глупцов.

В глубоком раздумье, переходя дорогу в Сент-Джеймском парке, я едва не попал под копыта вставших на дыбы серых рысаков. Полная и, судя по всему, не очень знатная, но с шиком одетая дама презрительно взглянула на меня из коляски. «Это, вероятно, жена какого-нибудь торговца пилюлями»,— подумал я.

В уме у меня все время звучала, преследуя, будто однообразный припев, фраза дяди — коварная, соблазнительно окрашенная лестью: «Добейся, чтобы предприятие работало, как часы. Ты сможешь это. О, я знаю, ты сможешь!»

IV

Юарт был совершенно неспособен оказать на меня благотворное моральное воздействие. И если я все же решил рассказать ему всю историю, то лишь для того, чтобы увидеть, как он ее примет, а заодно послушать, как она прозвучит в моей передаче. Я пригласил его пообедать в итальянском ресторанчике возле Пентон-стрит, где за восемнадцать пенсов можно было получить довольно своеобразный, но сытный обед. Юарт явился с основательным синяком под глазом, происхождение которого не захотел объяснить.

— Это не столько синяк,— сказал он,— сколько след от красной повязки... Что тебе нужно от меня?

— Расскажу за салатом,— ответил я.

Но мне не пришлось рассказывать. Я прикинулся, будто никак не могу решить, пойти ли мне по торговой части, или в связи с моей склонностью к социализму заняться учительством. Юарт, разомлевший от кьянти (еще бы, пятнадцать пенсов за бутылку!), сразу ухватился за эту тему, совершенно позабыв о моих сомнениях.

Его высказывания носили совершенно абстрактный, неопределенный характер.

Назидательным тоном, жестикулируя щипцами для орехов, он разглагольствовал:

— Реальность жизни, мой дорогой Пондерво,— это хроматический конфликт... и форма. Уясни себе это, и к черту все вопросы! Социалист скажет тебе, что вот этот цвет и эта форма соответствуют друг другу. А инди-

видуалист будет утверждать совсем другое. Что же это значит? Решительно ничего! Могу тебе лишь одно посоветовать — никогда ни о чем не жалей. Будь самим собой, ищи прекрасное там, где ты надеешься его найти, и не сетуй на головную боль по утрам... Ведь что такое утро, Пондерво? Утро — это совсем не то, что вечер!

Для большей важности он замолчал.

— Какой вздор! — воскликнул я, отчаявшись его понять.

— Вздор, говоришь? А ведь это основа моей мудрости. Ты можешь с этим либо соглашаться, дорогой Джордж, либо не соглашаться. Это твое дело...

Он положил щипцы для орехов подальше от меня и вытащил из кармана засаленный блокнот.

— Намереваюсь украсть эту горчичницу, — заявил он.

Я попытался остановить его.

— Мне она нужна только для образца. Я должен сделать памятник на могилу одной старой скотине. Бакалейщик-оптовик. Я поставлю четыре горчичницы по углам памятника. Смею думать, что бедняга был бы рад, если бы там, где он сейчас находится, ему поставили горчичные пластыри для охлаждения. Во всяком случае, горчичница тю-тю!

V

Как-то среди ночи мне пришло в голову, что только Марион могла бы разрешить обуреваемые меня сомнения. Лежа в постели, я обдумывал, как рассказать ей о своих затруднениях, представлял, как мы будем беседовать с ней, и она, прекрасная, словно богиня, вынесет простое, но мудрое решение.

— Вы понимаете, я должен стать рабом капиталистической системы,— мысленно говорил я ей, употребляя выражения, какие в ходу у социалистов,— отказаться от всех своих убеждений. Мы пойдем в гору, разбогатеем, но разве это даст нам моральное удовлетворение?

Она ответит:

— Нет, нет! Это недопустимо!

— Но тогда нам остается только ждать!

И вот тут-то она внезапно превратится в богиню. Си-

яющая, раскроет мне свои объятия и скажет благородно и честно:

— Нет, мы любим друг друга, и ничто низменное не должно коснуться нас. Мы любим друг друга. Зачем же нам ждать, дорогой? Разве имеет значение для нас, что мы бедны и останемся бедняками?..

Но в действительности наша беседа приняла совсем другой оборот. Как только я увидел ее, все мое ночное красноречие показалось мне смехотворным и все моральные ценности поблекли. Я дождался ее у дверей мастерской «персидского одеяния» на Кенсингтон-хай-стрит и проводил домой. Она появилась передо мной в сумерках теплого вечера. На ней была коричневая соломенная шляпка, в которой она выглядела не только хорошенькой, но даже красивой.

— Какая у вас чудесная шляпка! — сказал я, чтобы завязать разговор, и получил в награду редкий дар — ее очаровательную улыбку.

— Я люблю вас,— прошептал я, когда мы шли рядом по тротуару, пробираясь в толпе пешеходов.

Продолжая улыбаться, она укоризненно покачала головой и сказала:

— Будьте благоразумны!

На узких тротуарах людной улицы разговаривать было трудно. Некоторое время мы молча шли в западном направлении, пока не удалось наладить беседу.

— Я хочу, чтобы вы стали моей, Марион,— сказал я.— Разве вы не понимаете? Я не могу без вас.

— Опять? — одернула она меня.

Не знаю, поймет ли это читатель, но иной раз даже самое пылкое чувство, самое страстное обожание на мгновение уступает место чувству откровенной ненависти. Именно такую ненависть испытал я к Марион при этом высокомерном «опять?». Правда, эта вспышка тотчас же погасла, и я не успел осознать, что это было как бы предупреждением судьбы.

— Марион,— сказал я,— для меня это не пустяк. Я люблю вас. Я готов умереть — только бы вы были моей... Разве вам безразлично это?

— Какое это имеет значение?

— Вам это безразлично! — воскликнул я.— Совершенно безразлично!

— Вы знаете, что не безразлично,— ответила она.— Если бы я... если бы вы не нравились мне, разве я разрешала бы вам встречать меня, разве я была бы сейчас с вами?

— Тогда обещайте, что вы станете моей женой.

— Если я и пообещаю, разве это что-нибудь изменит?

Нас неожиданно разъединили двое рабочих, несших лестницу.

— Марион,— сказал я, когда мы снова очутились рядом,— я прошу вас быть моей женой.

— Мы не можем пожениться.

— Почему?

— Мы не можем жить на улице.

— Но отчего бы нам не рискнуть!

— Прекратим этот никчемный разговор.

Она внезапно помрачнела.

— Что хорошего в семейной жизни для нас? — сказала она.— Будешь чувствовать себя несчастной — только и всего. Я насмотрелась на замужних. Пока ты одна и у тебя есть карманные деньги, еще можно позволять себе кое-какие развлечения. Как подумаешь, что ты выйдешь замуж и у тебя не будет денег, появятся дети — разве можно избежать...

Она излагала эту житейскую философию людей своего класса отрывистыми фразами, нахмурив брови, рассеянно всматриваясь в зарево огней на западе, и, казалось, на мгновение даже забыла о моем присутствии.

— Послушайте, Марион,—прервал я ее.—При каких условиях вы согласились бы выйти за меня замуж?

— Зачем вы меня об этом спрашиваете? —удивилась она.

— Вы согласитесь выйти замуж за человека, который будет получать триста фунтов в год?

Марион быстро взглянула на меня.

— Шесть фунтов в неделю,— подсчитала она.— На эти деньги можно прожить без нужды. Брат Смити... Нет, он получает только двести пятьдесят фунтов. Он женился на машинистке.

— Пойдете вы за меня, если я буду получать триста фунтов в год?

Она снова посмотрела на меня, и в ее глазах вспыхнул огонек надежды.

— Если! — произнесла она с ударением.

Я протянул руку и поглядел ей прямо в глаза.

— По рукам! — воскликнул я.

Марион секунду колебалась, затем слабо пожала мне руку.

— Это глупо. Ведь это означает, что мы...— Она не договорила.

— Что? — спросил я.

— Помолвлены. Но тебе придется ждать годы и годы. Какой тебе от этого толк?

— Не так уж долго придется ждать,— ответил я.

Марион на минуту задумалась, потом посмотрела на меня с ласковой и грустной улыбкой, которая осталась в моей памяти навсегда.

— Ты нравишься мне,— сказала она,— и мне будет приятно думать, что я помолвлена с тобой.

Тихим шепотом она дерзнула добавить: «Мой дорогой».

Странно, что, описывая это, я забываю все последующие события и снова чувствую себя юным возлюбленным Марион, способным испытывать огромную радость даже вот от такой скупой, маленькой ласки.

VI

Наконец я все же отправился к дяде на Гоуэр-стрит. Здесь я застал только тетушку Сьюзен, которая ожидала мужа к чаю.

Мне сразу же бросилось в глаза, как и раньше, когда я увидел новый цилиндр дяди, что успех Тоно Бенге уже сказывается и здесь. Мебель была новая, почти роскошная. Кресла и диван были обиты лощеным ситцем, смутно напомнившим мне Блейдсовер. Каминная доска, карнизы, газовые рожки выглядели солиднее и наряднее, чем в других лондонских домах, где мне довелось бывать. Меня встретила настоящая горничная, с традиционными рожками на чепчике и пышными рыжими волосами. Тетушка казалась оживленной и хорошенькой. На ней была накидка с голубыми узорами, отделанная лентами, которую я воспринял как последний крик моды.

Она сидела в кресле у открытого окна, а на столике рядом с ней высилась стопка книг в желтых обложках. Перед внушительным камином стояла высокая ваза с печеньем различных сортов, а на столе в центре комнаты красовался на подносе чайный сервиз, но без чайника. На полу лежал толстый ковер и несколько крашеных овечьих шкур.

— Здравствуйте! — воскликнула тетушка при моем появлении.— Да ведь это Джордж!

— Прикажете подавать чай, мадам? — спросила горничная, холодно наблюдая за нашей встречей.

— Нет, Мегги, подождите, пока не придет мистер Пондерво,— ответила тетушка и, как только горничная повернулась к нам спиной, состроила ехидную гримаску.

— Она величает себя Мегги,— сказала тетушка, едва за девушкой закрылась дверь, и тем самым дала мне понять, что они обе не слишком симпатизируют друг другу.

— Ты чудесно выглядишь, тетя,— сказал я.

— Что ты думаешь об этом деле, которым он сейчас занимается? — спросила тетушка.

— Мне оно кажется многообещающим,— ответил я.

— Вероятно, у него есть контора?

— Разве ты еще не видела его предприятия?

— Боюсь, Джордж, что я навела бы критику, если бы увидела. Но он не пускает меня туда. Все это произошло как-то неожиданно. Он много размышлял, писал письма и порой ужасно шипел — как каштан на жаровне, который вот-вот лопнет. Как-то раз он вернулся домой и без конца твердил о Тоно Бенге, так что я подумала: уж не рехнулся ли он? И все напевал... Постой, что же он пел?

— «Я плыву, я плыву»,— подсказал я.

— Вот, вот! Ты, значит, уже слышал. Потом он сказал, что наше будущее обеспечено, и потащил меня обедать в Холборнский ресторан. Мы пили шампанское, которое щекочет в носу, и от него кружится голова. Он сказал, что наконец-то может создать вполне достойные меня условия, и на следующий день мы переехали сюда. Это замечательный дом, Джордж. Мы платим три фунта в неделю. И он уверяет, что его бюджет это выдержит.

Она с сомнением посмотрела на меня.

— Или выдержит, или лопнет,— глубокомысленно изрек я.

Некоторое время мы продолжали безмолвно, с помощью одних только взглядов обсуждать этот вопрос. Затем тетушка хлопнула рукой по пачке книг, взятых в библиотеке Мюди.

— Я так много читаю сейчас, Джордж! Ты никогда столько не читал.

— Что ты сама думаешь о дядином деле?—спросил я.

— Оно дает ему деньги,— задумчиво наморщив брови, сказала она.— Ну и времечко же это было! Сколько разговоров! Я сижу себе и ничего не делаю, а он все время носится и носится с быстротой ракеты. Он делает чудеса. Но ты ему нужен, Джордж, до зарезу нужен. Иногда он окрылен надеждами, мечтает, что мы войдем в общество и у нас будет своя карета. Когда он говорит, все кажется просто и в то же время выглядит так, словно поставлено дыбом. Иногда мне кажется, что я сама, слушая его, лечу кувырком. Потом он падает духом. Говорит, что его нужно сдерживать, что он может наделать глупостей. Говорит, если ты не войдешь в компанию, все рухнет... Но ведь ты же решил войти?

Она умолкла и взглянула на меня.

— Но...

— Ведь ты же не сказал, что не войдешь!

— Слушай, тетя,— сказал я,— ты понимаешь, о чем идет речь? Это же шарлатанское средство. Форменная дрянь!

— Но ведь нет никакого закона, который запрещал бы продавать шарлатанские лекарства,— сказала тетушка. Лицо ее стало серьезным, и она снова задумалась.— Это наш единственный шанс, Джордж. Если дело не пойдет...

В соседней комнате хлопнула входная дверь и послышался зычный голос дяди.

— Тим-бом-бом-бом! Тра-ля-ля!— напевал он.

— Глупая старая шарманка! Ты только послушай его, Джордж! — И она крикнула: — Не пой эту ерунду, старый морж! Пой лучше «Я плыву».

Дверь распахнулась, и появился дядя.

— Привет, Джордж! Наконец-то! Какое у тебя пе-

ченье к чаю, Сьюзен?.. Ты обдумал мое предложение, Джордж? — внезапно спросил он.

— Да,— ответил я.

— Ты входишь в компанию?

В последний раз я задумался на мгновение, но тут же утвердительно кивнул головой.

— О!— воскликнул дядя.— Но почему ты не сказал мне этого неделю назад?

— У меня были неправильные взгляды на жизнь,— сказал я.— Но теперь это неважно. Да, я буду участвовать в твоем деле, я решил рискнуть вместе с тобой и больше колебаться не буду.

И действительно, я больше не колебался. В течение семи долгих лет я не отступал от принятого решения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КАК МЫ СДЕЛАЛИ ТОНО БЕНГЕ ИЗВЕСТНЫМ

I

Так я помирился с дядей, и мы занялись продажей не совсем безвредной водички по одному шиллингу и полтора пенса и два шиллинга девять пенсов за флакон, включая налог. И мы сделали Тоно Бенге известным. Он принес нам богатство, влияние, уважение и доверие множества людей. Все обещания дяди полностью сбылись, успех даже превзошел наши ожидания. Тоно Бенге дал мне такую независимость и такие широкие возможности, каких я не добился бы за всю свою жизнь, занимаясь научно-исследовательской работой или ревностно служа человечеству.

Всем этим мы были обязаны дядиной гениальности. Он, конечно, нуждался во мне — не стану скрывать, что я был его правой рукой,— но все замыслы зарождались в его голове. Он сам придумывал рекламы, а для некоторых даже набрасывал рисунки. Надо помнить, что в то время «Таймс» еще не превратился в коммерческую газету, а старомодная «Британская энциклопедия» не продавалась вразнос горластыми торгашами. Тогда считался еще новостью нынешний броский стиль газетных

объявлений с выделением отдельных мест жирными буквами, тот современный газетный стиль, когда человека словно хватают за шиворот и говорят ему: «Спокойно. Мы только ознакомим вас с тем, что вам обязательно нужно знать».

Одно из первых дядиных объявлений начиналось так: «Большинство людей считают себя совершенно здоровыми...» И дальше крупными буквами: «Им не нужны лекарства — только правильный режим для поддержания своих жизненных сил». Затем следовало предупреждение не доверять аптекарям, «которые навязывают вашему вниманию беззастенчиво рекламируемые универсальные средства». Они приносят больше вреда, чем пользы. В действительности же человеку нужен только режим, ну и, конечно... Тоно Бенге!

В самом начале нашей деятельности мы обычно помещали в вечерних газетах на четверть колонки следующее объявление: «Тоно Бенге — это бодрость. Он освежает нашу кровь, как горный воздух». Затем следовали три настойчивых вопроса: «Вас утомили ваши дела? Вам приелись ваши обеды? Вам наскучила ваша жена?» Все это происходило в те дни, когда мы работали на Гоуэр-стрит. Оба эти объявления мы использовали во время нашей первой кампании, завоевывая юг, центр и запад Лондона. Затем мы выпустили наш первый красочный плакат «Здоровье, Сила, Красота — в одном». Мысль о плакате тоже принадлежала дяде; он же сделал первый набросок, который до сих пор хранится у меня.

Сам я занимался подобными делами только от случая к случаю. В мои обязанности входило окончательно отделывать дядины наброски, перед тем как передавать их художнику, затем сдавать в типографию и рассылать для расклейки готовые плакаты. После того как в газете «Дэйли Регюлэйтор» у дяди произошла с заведующим отделом объявлений бурная и совершенно ненужная ссора (дяде показалось, что газета выделила слишком мало места для одного из особенно удачных рекламных объявлений, придуманных им), я взял на себя и переговоры с газетами.

Все наши замыслы в области рекламы мы разрабатывали и обсуждали сообща — сначала в гостиной в доме на Гоуэр-стрит, причем тетушка иногда помогала нам

очень дельными советами, а затем, когда мы перешли на более дорогой сорт сигар и на виски высшего качества, в уютных комнатах их первого дома в Бекенхэме. Нередко мы засиживались до глубокой ночи, а порой и до рассвета.

Мы работали с дьявольским упорством и с подлинным энтузиазмом, который испытывал и я, не говоря уже о дяде. Это была глупая, но необычайно увлекательная игра, причем наш выигрыш выражался во все возрастающем количестве ящиков с флаконами Тоно Бенге. Некоторые думают, что можно разбогатеть на одной только удачной идее, не затратив на это упорного труда. Любой миллионер, за исключением нескольких счастливчиков, подтвердит, что это — заблуждение. Не думаю, чтобы сам Рокфеллер на заре «Стандарт Ойл» трудился больше нас. Мы сидели за работой до глубокой ночи, а потом продолжали работать весь день напролет. Мы взяли за правило неожиданно появляться на фабрике, чтобы посмотреть, как идут дела,— в то время нам было еще не под силу нанять ответственных помощников. Мы сами разъезжали по Лондону и вели всевозможные деловые переговоры, выдавая себя за представителей своей же собственной фирмы.

Но все это не входило в мои обязанности, и, как только мы смогли нанять помощников, я прекратил всякие разъезды; дядя же находил в них особую привлекательность и продолжал разъезжать еще в течение нескольких лет. «У меня веселее на душе, Джордж, когда вижу за прилавком таких же парней, каким был когда-то я сам»,— объяснял он. Мне приходилось следить за тем, чтобы Тоно Бенге бесперебойно появлялся на свет и имел соответствующее оформление, претворять в жизнь великие замыслы дяди — создавать ящик за ящиком заведомой дряни во флаконах с красивыми этикетками и обеспечивать аккуратную доставку нашей продукции по железным и грунтовым дорогам и пароходами к месту назначения — прямо в желудок потребителя. С точки зрения современной общественной морали наше дело, как сказал бы дядя, было вполне «bona fide»[1]. Мы продавали свой товар и честно расходовали заработанные

---

[1] Добросовестный (*лат.*).

деньги на расширение торговли с помощью лжи и шумихи. Мало-помалу мы распространили свою деятельность на все Британские острова. Сперва мы обработали буржуазные пригороды Лондона, затем отдаленные предместья, а вслед за ними расположенные вокруг столицы графства. После этого мы проникли (предварительно придав нашей рекламе более благочестивый тон) в Уэльс, который всегда являлся прекрасным рынком для новых патентованных лекарств, и, наконец, в Ланкашир.

В дядином кабинете висела большая карта Англии. Она красноречиво свидетельствовала о нашем победоносном шествии: мы отмечали флажками каждый новый район, где появлялись в газетах наши объявления, и подчеркивали красным карандашом названия мест, откуда поступали заказы на наш товар.

— Романтика современной коммерции, Джордж,— любил говорить дядя, потирая руки и втягивая воздух сквозь зубы.— Романтика современной коммерции, э? Завоевание. Провинция за провинцией! Мы те же полководцы!

Мы покорили Англию и Уэльс и появились в горной Шотландии. Для нее мы подготовили особый сорт Тоно Бенге под названием «Чертополоховый» (одиннадцать процентов чистого спирта!) и выпустили плакат с изображением британца в клетчатой юбочке на фоне туманных гор.

Не ограничиваясь нашим основным продуктом, мы вскоре начали выбрасывать на рынок под его маркой и некоторые разновидности. Первой такой разновидностью явился «Тоно Бенге — средство для ращения волос». Затем последовал «Концентрат Тоно Бенге — средство для улучшения зрения». Оно успеха не имело, зато «Средство для ращения волос» вызвало большой интерес. Мы предложили вниманию покупателя маленький вопросник: «Почему выпадают волосы? Потому что истощены фолликулы. Что такое фолликулы?..» Эти вопросы и ответы подводили к кульминационному утверждению, что «Средство для ращения волос» содержит все «основные элементы сильнодействующего тонического вещества Тоно Бенге, а также смягчающее и питательное масло, добытое из жира, содержащегося в копытах рогатого скота, путем рафинирования, сепарации и дезодорации. Для каж-

дого научно подготовленного человека совершенно ясно, что в жире, извлеченном из копыт и рогов скота, содержится естественная смазка для кожи и волос».

Мы обделали такое же блестящее дельце с «Пилюлями Тоно Бенге» и «Шоколадом Тоно Бенге». Мы уверяли публику, что эти средства представляют исключительную ценность благодаря своим питательным и укрепляющим свойствам. Об этом кричали плакаты и иллюстрированные объявления, на которых были изображены альпинисты, штурмующие неправдоподобно отвесные скалы, чемпионы велосипедного спорта, мчащиеся по треку, жокеи на бегах в Экс-Генте, солдаты, расположившиеся на бивуаках под палящими лучами солнца. «Вы можете без устали прошагать целые сутки,— утверждали мы,— питаясь только «Шоколадом Тоно Бенге». О том, сможете ли вы вернуться после этого назад с его помощью, мы, по правде говоря, умалчивали.

На одном из наших плакатов красовался типичный адвокат, этакая квинтэссенция адвокатуры, в парике, с бакенбардами и раскрытым ртом. Он произносил речь, стоя у стола, а подпись внизу гласила: «С помощью пилюль Тоно Бенге говорит уже четыре часа подряд — и ни малейших признаков усталости». Эта реклама привела к нам целую армию учителей, священников и политических деятелей. Я уверен, что возбуждающее действие этих пилюль, особенно приготовленных по нашей первоначальной формуле, объяснялось наличием в них стрихнина. Я упомянул о «нашей первоначальной формуле». Дело в том, что по мере увеличения спроса на нашу продукцию мы изменяли формулы, резко сокращая количество вредных веществ.

В скором времени мы завели своих коммивояжеров и завоевывали все новые районы Великобритании по сотне квадратных миль в день. Общую схему организации дела довольно запутанно и примитивно набросал дядя в порыве вдохновения, а я разрабатывал практические мероприятия и определял сумму расходов.

С трудом удалось нам подобрать коммивояжеров, зато среди них оказалось немало американцев ирландского присхождения, которые словно созданы самой природой для этой цели. Еще труднее было найти человека на должность директора фабрики, так как он мог при

желании овладеть нашими производственными секретами; но все же в конце концов нам удалось пригласить на это место некую миссис Хемптон Диггс. Она раньше заведовала большой мастерской дамских шляп и оказалась очень способным, честным и энергичным администратором. Мы были уверены, что она сможет поддерживать на фабрике должный порядок и не станет совать свой нос куда не следует. Миссис Диггс прониклась безграничным доверием к Тоно Бенге и все время, пока у нас работала, принимала его в огромном количестве и во всех видах. По-видимому, он не причинил ей ни малейшего вреда. К тому же она умела заставить наших девушек превосходно работать.

Последним «отпрыском» в многочисленной «семье» Тоно Бенге был зубной эликсир под тем же названием. Читатель, наверное, не раз созерцал на плакате многозначительный вопрос дяди по этому поводу: «Вы еще молоды, но уверены ли вы, что ваши десны не состарились?»

После этого мы взяли на себя представительство нескольких солидных американских фирм по продаже препаратов, не конкурировавших с нашими. Главными из них были «Техасское растирание» и «23 — для очистки желудка». Мы сбывали их вместе с Тоно Бенге...

Я привожу эти факты, так как в моем представлении они неразрывно связаны с дядей. В каком-то старом молитвеннике конца семнадцатого или начала восемнадцатого века в Блейдсовере я видел изображение деревянных фигур, изо рта которых развертывались длинные свитки. Мне очень хотелось бы написать эту главу моей повести на таком же свитке, но появляющемся изо рта дяди, показать, как этот свиток все разворачивается и разворачивается из недр низенького, полнеющего, коротконогого человечка с жесткими стрижеными волосами, в непослушных очках на самоуверенно вздернутом носике, сквозь которые поблескивают круглые глаза. Мне хотелось бы показать его в тот момент, когда он, посапывая носом, торопливо записывает какую-то новую нелепую идею для плаката или объявления, а затем писклявым голоском провозглашает торжественно: «Джордж, послушай! У меня родилась идея. У меня возникла мысль, Джордж!»

На этой картине я должен изобразить и себя. Думаю, что лучшим фоном для нас была бы уютная комната начала девяностых годов в доме в Бекенхэме, где мы работали особенно напряженно. Комната освещена лампой. Часы на камине показывают полночь или более позднее время. Мы сидим перед камином. Я — с трубкой, дядя — с сигарой или сигаретой. На полу у каминной решетки стоят стаканы. Лица наши озабочены. Дядя сидит в своей обычной позе — откинувшись на спинку кресла и подогнув ноги так, словно они набиты опилками и не имеют суставов и костей.

— Джордж, что ты думаешь о Тоно Бенге как средстве против морской болезни? — спрашивает дядя.

— Вряд ли получится что-нибудь путное.

— Гм... Но почему бы не попытаться, Джордж? Давай попытаемся!

Я продолжаю молча посасывать трубку.

— На пароходах трудно организовать продажу,— говорю я.— Может быть, попробовать в портах? Или открыть киоски при агентствах фирм «Кук» и «Континенталь Бредшау»?

— Тоно Бенге придаст пассажирам уверенность, что они не заболеют морской болезнью.

Дядя втягивает воздух сквозь зубы, и на стеклах его очков вспыхивают красные отблески тлеющих в камине углей.

— Нельзя держать светильник под спудом,— говорит он.

Так я никогда и не понял, считал ли дядя Тоно Бенге обманом, или же под конец сам уверовал в него, без конца повторяя свои измышления. Я думаю, что в общем он относился к нему с дружелюбной, почти отцовской снисходительностью. Как-то раз в ответ на мои слова: «Но ведь не хочешь же ты сказать, что эта дрянь принесла кому-нибудь хотя бы малейшую пользу?» — на его лице появилось выражение негодования, как у человека, осуждающего тупость и догматизм.

— Ты тяжелый человек, Джордж, ты слишком торопишься с пессимистическими выводами. Ну кто может это сказать? Кто посмеет это сказать?

В те годы меня могло заинтересовать любое творче-

ское начинание. Во всяком случае, я взялся за Тоно Бенге с таким же рвением, какое проявил бы молодой офицер, если бы его внезапно назначили командиром корабля. С увлечением подсчитывал я, какую выгоду получит наше предприятие, если упростить некоторые операции, и во сколько обойдется это новшество. Я сконструировал и запатентовал машинку для наклейки этикеток и до сих пор получаю за нее небольшие проценты. Мне удалось наладить изготовление наших микстур в концентрированном виде и значительно улучшить производственный процесс; флаконы двигались по наклонной плоскости, проходя под двумя кранами: из одного они наполнялись дистиллированной водой, из другого добавлялось несколько капель наших волшебных ингредиентов. Это приносило большую выгоду. Для наполнения флаконов потребовались специальные краны; я изобрел и запатентовал их.

При изготовлении микстур флаконы бесконечной лентой скользили по наклонному стеклянному желобу, по дну которого непрерывно протекала вода. Одна из работниц проверяла на свет и отставляла в сторону негодные флаконы. На противоположном конце желоба другая работница при помощи небольшой колотушки забивала пробки в автоматически наполнявшиеся флаконы. Оба резервуара—маленький для ингредиентов и большой для дистиллированной воды — были снабжены указателями уровней жидкости. Внутри резервуаров я поместил специальные поплавки, и если хотя бы один из них опускался ниже нужного уровня, движение флаконов прекращалось... Еще одна работница управляла моей машинкой для наклеивания этикеток. От нее флаконы поступали к трем упаковщицам; они завертывали их, помещали между каждой парой прокладку из гофрированной бумаги и ставили в маленький лоточек, по которому флаконы соскальзывали в наши стандартные упаковочные ящики. Быть может, мои слова покажутся вам хвастовством, но, мне кажется, я первый в Лондоне доказал, что патентованные лекарства целесообразнее укладывать в ящики, которые стоят во время упаковки на боку, а не как обычно. Упаковка в наши ящики производилась как бы сама собой — рабочие только придавали ящикам нужное положение на маленькой тележке, затем вкатывали в лифт

и опускали в нижнее помещение. Здесь другие рабочие заполняли пустые места в ящиках прокладками и забивали ящики гвоздями. Наши работницы применяли при упаковке гофрированную бумагу и прокладки из фанеры, предназначенной для изготовления ящиков, в какие упаковывают спичечные коробки. А на всех других предприятиях высокооплачиваемые рабочие упаковывали ящики сверху и применяли солому в качестве прокладки, что вызывало путаницу и высокий процент брака.

II

Быстро проходило время в лихорадочном труде; когда я оглядываюсь на прошлое, мне кажется, что все эти события разыгрались на протяжении каких-нибудь двух лет. После рискованного начала на Феррингтон-стрит, когда весь наш капитал, включая товар и полученные кредиты, едва ли достигал тысячи фунтов (с каким трудом удалось наскрести эту сумму!), наступил день, когда дядя от нашего имени и от имени негласных компаньонов (оптовые торговцы лекарствами, владельцы типографий, газет и журналов) с самыми честными намерениями предложил публике приобрести акции его предприятия на сумму в сто пятьдесят тысяч фунтов. Шумный успех этого предложения заставил наших компаньонов горько пожалеть, что они не взяли более крупных паев и не ссудили нас в свое время долгосрочным кредитом. Дядя располагал половиной этого капитала (включая и мою десятую долю).

Подумайте только — сто пятьдесят тысяч фунтов за право участвовать в неслыханном мошенничестве и в торговле дистиллированной водичкой! Вы представляете себе, до какого безумия мир дошел, чтобы санкционировать подобную дикость? Нет, вероятно, не представляете. По временам и на меня находило ослепление, и я не замечал, что вокруг меня творится нечто невероятное. Если бы не Юарт, я вряд ли догадался бы, что ожидает меня впереди, подобно дяде, принимал бы все как должное и окончательно освоился бы со всей фантастикой нашей жизни.

Дядя был очень горд, что ему удалось удачно разместить свои акции. «Уже добрых двенадцать лет публи-

ка не получала подобных ценностей за свои деньги»,— утверждал он. Но Юарт, исполнявший роль хора во всей этой драме, старался рассеять мое заблуждение, он один пытался доказать мне, что я сделал величайшую глупость, приняв участие в этой авантюре.

— Все это совершенно в стиле нашей эпохи,— говорил он, жестикулируя своими костлявыми волосатыми руками.— Пожалуйста, не воображай, что тут нечто необычное.

Мне хорошо запомнилась одна из наших бесед. Юарт только что вернулся из таинственной эскапады в Париж, где «подковывал» какого-то входившего в моду американского скульптора. Этот молодой человек получил заказ изготовить для здания конгресса в столице своего штата аллегорическую фигуру Истины (разумеется, задрапированную) и нуждался в помощнике. Юарт явился из Парижа с модной прической «бобрик» и в типичном французском костюме. На нем был, помнится, изрядно помятый кирпичного цвета спортивный пиджак, явно с чужого плеча, огромный черный бант на шее и декадентская мягкая шляпа. Вдобавок он привез с собой несколько отвратительных французских ругательств.

— Дурацкий костюм, не правда ли? — сказал он, заметив мой удивленный взгляд.— Право, не знаю, зачем я напялил его. Во Франции он казался мне вполне приличным.

Он пришел на Реггет-стрит в связи с моим благотворительным предложением нарисовать для нас плакат. Не смущаясь присутствием работниц — я надеюсь, что они ничего не слышали,— он разразился оригинальной речью:

— Мне потому это нравится, Пондерво, что здесь есть элемент поэзии... Именно в этом состоит наше преимущество перед животными. Ни одно из них не сможет управлять такой фабрикой. Подумай только!.. Ты, конечно, представляешь себе бобра. Возможно, что он сумеет наливать в бутылки твою водичку. Но сможет ли он наклеивать этикетки и продавать? Я согласен, что бобр — глупый мечтатель, но в конце концов он своими запрудами чего-то достигает, создает какую-то защиту для себя, хотя ему и приходится здорово покопаться в грязи... Своего рода поэтами являетесь не только вы, но и ваши

покупатели. Ответ поэта поэту — созвучие душ... Здоровье, Красота и Сила — в одном флаконе... Волшебное приворотное зелье! Совсем как в сказке... Подумай о людях, для которых предназначается ваше зелье! (То, что я называю ваш продукт зельем — величайшая для него похвала, заметил он в скобках.) Подумай о всех переутомленных людях — о маленьких клерках, об измученных женщинах! Все они мечтают что-то совершить, чем-то стать и страдают от сознания своего бессилия. Все люди, по существу говоря, чертовски переутомлены... Наша беда, Пондерво, вовсе не в том, что мы существуем — это вульгарное заблуждение,— а в том, что мы существуем не так, как нам хочется. Вот чем в конце концов объясняется появление на свет вашей дряни. Страстной жаждой людей хоть раз чувствовать себя по-настоящему, до кончика ногтей, живыми!.. Никто не хочет делать то, что он делает, и быть тем, что он есть,— решительно никто! Ты не хочешь руководить розливом этого... этих флаконов; я не хочу носить этот идиотский костюм и не желаю смотреть на эти вот занятия; никто не хочет всю жизнь наклеивать этикетки на эти нелепые флаконы по стольку-то фартингов за гросс. Разве это существование? Это... сус... субстрат! Никто из нас не хочет быть тем, что он есть, и заниматься тем, чем он занимается. Разве только для разгона. Чего же мы хотим? Ты знаешь. Я знаю. Но никто не признается. Все мы хотим быть вечно юными и вечно прекрасными — юными Юпитерами, Пондерво, преследующими в лесных дебрях робких, уже готовых отдаться нимф...— Голос Юарта звучал все громче, все резче, и в нем послышались патетические нотки.

Темп работы девушек слегка замедлился, и я догадался, что они прислушиваются к нашему разговору.

— Пойдем вниз,— прервал я Юарта,— там будет удобнее разговаривать.

— А мне и здесь удобно,— возразил Юарт.

Он хотел было продолжить, но, к счастью, из-за разливочных машин показалось строгое лицо миссис Хэмптон-Диггс.

— Ну, хорошо,— согласился он.— Идем.

Дядя отдыхал у себя в маленьком кабинете, переваривая свой сытный обед, и поэтому не мог проявить

особой живости. Раскуривая предложенную дядей превосходную сигару, Юарт завел разговор о современной коммерции. Он относился к дяде с подчеркнутым уважением, какое обычно нам внушает малознакомый крупный делец.

— Я обратил внимание вашего племянника, сэр,— сказал Юарт, поставив локти на стол,— на поэзию коммерции. По-моему, он не понимает этого.

Дядя, оживившись, одобрительно кивнул.

— Я говорю ему то же самое,— произнес он, не вынимая сигары изо рта.

— Вы ведь тоже художник, сэр. Если позволите, я буду разговаривать с вами, как художник с художником. Все достигнуто с помощью рекламы. Реклама внесла переворот в торговлю и промышленность, она перевернет весь мир. В прошлом купец только продавал товары, а сейчас он еще и создает их. Он берет что-нибудь ничего не стоящее или малоценное и делает из него нечто ценное. Берет, например, обыкновенную горчицу и принимается всюду говорить, петь, кричать, писать на стенах, в книгах — везде, где только возможно, что «Горчица Смита — лучшая в мире». Смотришь, она и в самом деле становится самой лучшей.

— Верно,— каким-то мечтательным тоном отозвался дядя, и на лице его отразился почти мистический восторг.— Совершенно верно!

— Совсем как скульптор. Он берет глыбу белого мрамора, высекает из нее статую и создает памятник себе и другим, памятник, который будет стоять века. Но вернемся к горчице, сэр... На днях мне довелось побывать на станции Клэпхем, и я заметил, что насыпь заросла хреном,— он пробрался из чьего-то огорода. Вы знаете, что хрен распространяется со сверхъестественной быстротой, совсем как лесной пожар. Я стоял на краю платформы, глядел на его заросли и думал: «Хрен можно уподобить славе. Он буйно разрастается там, где вовсе не нужен. Почему же другие, действительно нужные вещи не растут в жизни, как хрен?» Потом мне почему-то вспомнилось, что баночка горчицы стоит один пенс (незадолго перед тем я покупал горчицу к ветчине). И мне пришло в голову, что было бы чертовски выгодно подмешивать к горчице хрен. Я даже подумал, что мне самому недурно

было бы заняться этим делом, разбогатеть, а потом вернуться к скульптуре. Однако, поразмыслив, я сказал себе: «Но какой смысл подмешивать хрен? Ведь это будет фальсификация, а я не люблю никаких подделок».

— Скверное дело,— согласился дядя, кивая головой.— Наверняка обнаружат.

— Да и зачем подмешивать? Почему бы не сделать смесь: три четверти истолченного хрена и четверть горчицы, дать ей какое-нибудь причудливое название и продавать по цене, вдвое превышающей цену горчицы. Понимаете? Я уж совсем было взялся за это дело, но что-то мне помешало. А тут подошел мой поезд.

— Блестящая идея,— сказал дядя и поглядел на меня.— Это просто замечательная идея, Джордж.

— Или возьмем стружки. Вы знаете поэму Лонгфелло, сэр? Она звучит, как пример из грамматики. Как это? «Люди говорят, что человек — творец!»

Дядя снова кивнул и пробормотал цитату, которую я не расслышал.

— Замечательная поэма, Джордж,— сказал он вполголоса.

— Вы помните, там говорится о плотнике, о поэтически одаренном ребенке викторианской эпохи и о стружках. Ребенок наделал из стружек всякой всячины. То же самое можете сделать и вы. Стружки можно превратить во все, что угодно. Вымочите их в какой-нибудь кислоте — вот вам ксилотабак! Размельчите их, добавьте немного дегтя и скипидара для запаха — вот вам древесный порошок для горячих ванн, надежное средство против инфлюэнцы! Или эти патентованные блюда, которые американцы называют сухими завтраками из злаков... Думаю, что я не ошибаюсь, сэр, называя их опилками?

— Нет,— заявил дядя, вынимая сигару изо рта.— Насколько мне известно, это зерно, только подгнившее... Я сам собираюсь заняться этим.

— Ну вот, пожалуйста!—воскликнул Юарт.—Пусть это будет гнилое зерно. Все равно я прав. В вашей современной коммерции не больше купли и продажи, чем в скульптуре. Это — благое дело, это — спасение! Это само милосердие! Коммерция берет в свои руки погибающий продукт и спасает его. Ну совсем как в Кане Га-

лилейской. Только вы превращаете воду не в вино, а в Тоно Бенге.

— Тоно Бенге здесь ни при чем,— заявил дядя, внезапно нахмурившись.— Разговор идет не о Тоно Бенге.

— Ваш племянник, сэр,— тяжелый человек: он хочет, чтобы во всем была определенная цель. Он кальвинист в области коммерции. Покажите ему урну с мусором, он назовет это отбросами и обойдет стороной. А вы, сэр, способны даже золу заставить уважать самое себя.

Дядя подозрительно посмотрел на Юарта. Но его взгляд выражал вместе с тем и некоторое одобрение.

— Из нее можно сделать нечто вроде гигиенических кирпичей,— задумчиво пробормотал он, не вынимая сигары изо рта.

— Или рассыпчатое печенье. А почему бы и нет? Вы могли бы выпустить такое рекламное объявление: «Почему птицы так веселы? Потому что у них отличное пищеварение. Почему у них отличное пищеварение? Потому что у них есть зоб. Почему нет зоба у человека? Потому что он может купить содержащее золу, способствующее пищеварению рассыпчатое печенье Пондерво, которое позволяет обходиться без зоба...»

Последние слова Юарт почти прокричал, размахивая волосатой рукой...

— Чертовски умный парень,— заявил дядя после ухода Юарта.— Я с первого взгляда узнаю человека. Он далеко пойдет. Немного выпил, я бы сказал. Но от этого некоторые ребята делаются еще остроумней. Если он хочет рисовать этот плакат, пусть рисует. З-з-з-з. Вот эта его идея относительно хрена... В ней, право, что-то есть, Джордж. Надо подумать...

Должен сразу же сказать, что с плакатом ничего не вышло, хотя Юарт с жаром обсуждал этот вопрос целую неделю. Его подвела злополучная склонность к иронии. На своем плакате с надписью «Современная коммерция» он изобразил двух бобров, похожих на меня и на дядю и разливающих Тоно Бенге по флаконам. Сходство одного из бобров с дядей было столь очевидным, что с помощью такого плаката мы не продали бы ни одного ящика Тоно Бенге, хотя Юарт и уверял меня, что эта реклама «должна возбудить любопытство». Кроме того, он нарисовал совершенно возмутительную картинку, на кото-

рой человек, копия дяди, в костюме Адама демонстрировал, подобно Гаргантюа, чудеса своей силы перед аудиторией потрясенных, разбегающихся в ужасе дам. Надпись внизу — «Здоровье, Красота, Сила»—придавала пародии особую остроту. Юарт повесил эту картинку в своей мастерской и прикрыл листом коричневой бумаги, что лишний раз подчеркивало ее клеветнический характер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МАРИОН

I

Мысленно возвращаясь к тем дням, когда на фундаменте человеческих надежд и с помощью кредитов на покупку флаконов, аренду и типографские расходы мы создали огромное дело Тоно Бенге, я вижу свою жизнь как бы разделенной на две параллельные колонки: одна—более широкая — продолжает расширяться и полна всевозможными событиями — это моя деловая жизнь; другая — более узкая — покрыта мраком, в котором лишь изредка вспыхивают проблески счастья,— это моя жизнь с Марион. Разумеется, я женился на ней.

Я женился на Марион только через год после того, как Тоно Бенге пошел в гору, и после долгих неприятных споров и столкновений. Мне исполнилось тогда двадцать четыре года, но сейчас мне кажется, что в то время я едва вышел из детского возраста. В некоторых отношениях мы оба были до крайности невежественны и наивны, обладали совершенно разными характерами, не имели да и не могли иметь ни одной общей мысли. Марион была молода и весьма заурядна, напичкана понятиями и предрассудками своего класса и никогда не имела своих собственных мыслей. Я же был юн и полон скепсиса, предприимчив и страстен. Меня неудержимо влекла ее красота, а Марион понимала, как много значит она для меня; только это и связывало нас. Да, я страстно увлекся ею. Она была воплощением женщины, которую я так жаждал... Мне не забыть ночей, когда я лежал до утра, не смыкая глаз, когда меня сжигала лихорадка желания и я кусал свои руки...

Я уже рассказывал о том, как приобрел цилиндр и черный сюртук, желая понравиться ей в воскресенье (и навлек на себя насмешки случайно встретившихся коллег-студентов), как состоялась наша помолвка. Наши разногласия тогда еще только начинались. Мы изредка обменивались нежными словами, а иногда и поцелуями, и Марион бережно хранила эту маленькую и довольно приятную тайну. Такие отношения нисколько не мешали ей работать и сплетничать в мастерской Смити, и, пожалуй, Марион не возражала бы, если бы они тянулись еще годами. Я же связывал с ними надежду на наше полное духовное и физическое слияние в самое ближайшее время...

Возможно, что читателю покажется странным, что я так торжественно начинаю рассказ о своем необдуманном любовном увлечении и о своей неудачной женитьбе. Но дело в том, что я намерен коснуться гораздо более важных проблем, чем наше маленькое, личное дело. Я много размышлял над этим периодом своей жизни и не раз за последние годы пытался извлечь из него хотя бы крупицу мудрости. Особенно примечательным кажется мне, с каким легкомыслием и неосторожностью мы связали себя друг с другом. Не таким уж случайным является наш брак с Марион в обществе, оплетенном паутиной ложных понятий, нелепых предрассудков и отживших условностей, овладевающих человеком подобно ядовитому дурману. Мы разделили судьбу многих людей. Любовь не только занимает важное место в жизни каждого отдельного человека — она должна быть в центре внимания всего общества. Ведь от того, как представители молодого поколения выбирают себе спутников жизни, зависят судьбы народа. Все остальные дела по сравнению с этим являются второстепенными. А мы предоставляем нашей робкой и несведущей молодежи ощупью добираться до этой истины. Вместо того чтобы направлять молодежь, мы бросаем на нее удивленные взгляды, заставляем слушать нашу сентиментальную болтовню и двусмысленный шепот, подаем ей пример ханжества.

В предыдущей главе я пытался рассказать кое-что о своем половом развитии. На эту тему никто и никогда не говорил со мной правдиво и откровенно. Ни одна

из прочитанных книг не разъяснила мне, какова на самом деле жизнь и как следует поступать. Все, что я знал из этой области, было смутным, неопределенным, загадочным, все известные мне законы и традиции носили характер угроз и запрещений. Никто не предупреждал меня о возможных опасностях — я узнавал о них из бесстыдных разговоров со своими сверстниками в школе и Уимблхерсте. Мои познания складывались отчасти из того, что подсказывали мне инстинкт и романтическое воображение, отчасти из всевозможных намеков, которые случайно доходили до меня. Я много и беспорядочно читал. «Ватек», Шелли, Том Пейн, Плутарх, Карлейль, Геккель, Вильям Моррис, библия, «Свободомыслящий», «Кларион», «Женщина, которая сделала это» — вот первые пришедшие мне на память названия и имена. В голове у меня перемешались самые противоречивые идеи, и никто не помог мне разобраться в них. Я считал, что Шелли, например, был героической, светлой личностью и что всякий, кто пренебрег условностями и целиком отдался возвышенной страсти, достоин уважения и преклонения со стороны всех честных людей.

Марион была еще менее осведомлена в этом вопросе, и у нее были самые нелепые представления. Ее мировоззрение сложилось в среде, где основными методами воспитания являлись замалчивание и систематическое подавление желаний. Намеки, всякие недоговоренности, к которым так чутко прислушивается ребенок, оказали на нее свое действие и грубо извратили ее здоровые инстинкты. Все важное и естественное в интимной жизни людей она неизменно определяла одним словом «противно». Если бы не это воспитание, она стала бы милой, робкой возлюбленной, но теперь она была совершенно нестерпимой. Его дополнила литература, которой пользовалась Марион в публичной библиотеке, и болтовня в мастерской Смити. Из книг она получила представление о любви как о безграничном обожании со стороны мужчины и снисходительной благосклонности со стороны женщины. В такой любви не было ничего «противного». Мужчина делал подарки, выполнял все прихоти и капризы женщины и всячески старался ей угодить. Женщина «бывала с ним в свете», нежно ему улыбалась, позволяла целовать себя, разумеется, наедине и не нарушая установленных

приличий, а если он выходил за рамки, лишала его своего общества. Обычно она делала что-нибудь «для его блага»: заставляла посещать церковь, бросить курение или азартную игру, заботилась о его внешности. Роман заканчивался свадьбой, которая подводила всему желанный итог.

Таково было содержание книг, которые читала Марион, но разговоры в мастерской Смити вносили в них некоторые коррективы. Здесь, видимо, признавалось, что «парень» является желанной собственностью, что лучше быть помолвленной с «парнем», чем бывать с ним «так», что за «парня» нужно крепко держаться, а не то его можно потерять или он будет украден. Такой случай «умыкания» произошел однажды в мастерской Смити и заставил потерпевшую пролить море слез.

Со Смити я встречался еще до нашей свадьбы, а позднее она стала завсегдатаем в нашем доме в Илинге. Это была худощавая, горбоносая девушка лет тридцати с лишним; у нее были живые глаза, выступавшие вперед зубы, пронзительный голос и склонность к кричащим нарядам. Она носила пестрые, самых разнообразных фасонов, но всегда нелепые шляпы, болтала с какой-то лихорадочной торопливостью, сыпала визгливыми восклицаниями, вроде «О моя дорогая!» или «Да не может быть!». Она употребляла духи, что было для меня в диковинку. Милая, жалкая Смити! Каким добрым созданием она была в действительности, и как я ненавидел ее в то время! На свой заработок от «персидских одеяний» она содержала сестру с тремя детьми, помогала «падшему» брату и даже девушкам из мастерской, но в те трудные юношеские годы я не ценил подобного благородства. В нашей семейной жизни меня всегда раздражало, что пустая болтовня Смити оказывает на Марион большее влияние, чем все, что говорю я. Мне было досадно, что Смити имеет такую власть над Марион, и я готов был ей даже завидовать.

Насколько мне известно, в мастерской Смити обо мне говорили сдержанно, как об «известном лице». По слухам, которые там распространялись, я был отменным «ловкачом». Вместе с тем некоторые сомневались (надо сказать, не без оснований) в мягкости моего характера.

II

Это пространное объяснение, надеюсь, поможет читателю понять, в каком трудном положении мы оба очутились, когда я начал подготовлять почву для решительного объяснения и в разговорах с Марион упрямо и глупо мямлил что-то о своей страсти, об ее уме и других достоинствах. Я казался ей, наверное, каким-то умалишенным, вернее, «ловкачом». На языке Смити это понятие мало чем отличалось от слова «безумный» и означало, что человек ведет себя странно и необдуманно.

Любой пустяк мог оскорбить Марион. Она все как-то превратно истолковывала. В таких случаях она пускала в ход свое излюбленное оружие: сердито молчала, хмурила брови, морщила лоб и сразу становилась некрасивой.

«Ну что же, если мы никак не можем договориться, то уж лучше прекратить этот разговор»,— обычно говорила она. Это всякий раз выводило меня из себя. Или: «Боюсь, что я недостаточно умна, чтобы это понять».

Какими глупыми и ничтожными людьми были мы оба! Теперь мне это ясно, но ведь тогда я был не старше ее, ничего не понимал и мне ясно было только одно: что Марион по каким-то необъяснимым причинам не хочет стать живым человеком.

По воскресеньям мы совершали тайком прогулки и расставались молча, озлобленные, затаив необъяснимую обиду. Бедная Марион! Когда я пытался заговаривать с ней на волновавшие меня темы—о теологии, социализме, эстетике,— она приходила в ужас от одних только этих слов, находила в них что-то непристойное и несуразное. Я делал над собой огромное усилие и заводил разговор, который мог ее заинтересовать: о брате Смити, о новой девушке в мастерской, о доме, в котором мы будем вскоре жить. Но и тут не обходилось без разногласий. Мне хотелось жить поближе к собору св. Павла или к станции Кеннон-стрит, а она решительно настаивала на Илинге...

Понятно, мы ссорились далеко не всегда. Ей нравилось, когда я «мило» разыгрывал роль возлюбленного, она с удовольствием ходила со мной в рестораны, в

Эрлс-Корт[1], в ботанический сад, в театры и на концерты (концерты мы посещали редко, так как Марион хотя и нравилась музыка, но только когда было ее «не слишком много»), бывали в кино, на выставках, где я усвоил ту манеру наивной и пустой болтовни, которая как-то примиряла нас.

Меня особенно возмущали ее попытки подражать в своих нарядах испорченному вкусу Западного Кенсингтона, характерному для Смити. Она не понимала своей красоты, даже не догадывалась о красоте человеческого тела и могла изуродовать себя, напялив нелепую шляпку или нацепив на платье немыслимую отделку. Слава богу, врожденный вкус и скромность, а также тощий кошелек помешали ей развернуться в этом направлении! Бедная, наивная, прекрасная, добрая Марион! Сейчас, в свои сорок пять лет, бросив взгляд назад, я смотрю на нее без всякой горечи, но с прежним обожанием, без всякой страсти, но с новой симпатией; теперь я могу принять ее сторону в столкновениях с глупым, назойливым, чувственным интеллектуальным хлюпиком, каким я был в то время. Она вышла замуж за молодое животное. Я должен был понять ее и руководить ею, а я требовал дружбы и страсти...

Я уже говорил, что мы были помолвлены. Потом мы на время разошлись, а вскоре состоялась наша новая помолвка. Мы то ссорились, то снова мирились, и никто из нас не понимал, почему это происходит. После нашей официальной помолвки у нас с отцом Марион состоялась интересная беседа. Он напустил на себя серьезность, говорил напыщенным тоном, интересовался моим происхождением и весьма свысока (меня это взорвало) отнесся к тому обстоятельству, что моя мать была служанкой. Затем мамаша Марион облобызала меня, и я купил обручальное кольцо. Я догадывался, что безгласная тетка Марион не одобряла ее выбора, так как сомневалась в моей религиозности.

После каждой нашей ссоры мы не встречались по нескольку дней, и в первые дни я даже испытывал извест-

[1] Эрлс-Корт — огромное здание в Лондоне, где обычно устраиваются различные выставки, иногда выступает цирк и проч.

ное облегчение. Но вскоре вновь начинал стремиться к ней, и непреодолимая страсть снова овладевала мной, я опять мечтал о ее гибких руках, о мягких, очаровательных изгибах ее тела. И наяву, когда не спалось, и во сне я видел Марион другой — одухотворенной и пылкой. Я воображал, что мне нужна только она — в действительности это природа-мать слепо и безжалостно толкала меня к женщине... Я всякий раз возвращался к Марион, мирился с ней, шел на уступки, делал вид, что забыл, из-за чего мы поссорились, и все более горячо настаивал на женитьбе...

В конце концов мысль о браке превратилась у меня в навязчивую идею. Я был задет за живое, это стало для меня вопросом чести, и я твердил себе, что добьюсь своего. Я ожесточился. Мне кажется сейчас, что моя страсть к Марион начала остывать еще задолго до того, как мы стали мужем и женой,— она оттолкнула меня своей бесчувственностью. Когда уже не оставалось сомнений, что я действительно буду получать триста фунтов в год, она выговорила двенадцатимесячную отсрочку, чтобы «посмотреть, как пойдут дела». По временам она казалась мне врагом, который с раздражающим упорством мешает мне завершить то, что я задумал. К тому же меня отвлекали и порой целиком захватывали успехи Тоно Бенге, хлопоты, связанные с дальнейшим развитием и расширением нашего дела. Иногда по целым дням я не вспоминал о Марион, но затем меня с новой силой охватывала страсть. Наконец как-то в субботу, доведя себя тягостными размышлениями чуть не до бешенства, я решил немедленно покончить с дальнейшими отсрочками.

Я отправился в домик на Уолэм-Грин, чтобы уговорить Марион пойти со мной в Путни-Коммон, но не застал ее дома и некоторое время вынужден был поддерживать скучный разговор с ее отцом, который только что вернулся с работы и отдыхал в своей теплице.

— Я намерен ускорить наш брак с Марион,— начал я.— Мы ждали слишком долго.

— Я и сам не одобряю длительных отсрочек,— заявил папаша.— Но Марион все равно настоит на своем и поступит так, как найдет нужным... Вы видели этот новый порошок для удобрения?

Я пошел поговорить с матерью Марион.

— Да что вы, ведь надо как следует подготовиться,— сказала миссис Рембот.

Мы сидели с Марион на скамейке под деревьями на холме Путни, и я снова напрямик поставил вопрос.

— Послушай, Марион,— сказал я,— ты выйдешь за меня замуж или нет?

Она улыбнулась.

— Но разве мы не помолвлены?

— Так не может тянуться без конца. Ты согласна стать моей женой на будущей неделе?

Марион посмотрела на меня.

— Нет, это невозможно.

— Но ведь ты обещала выйти за меня замуж, когда я буду получать триста фунтов в год.

Она помолчала.

— Но разве нельзя еще немного повременить?— спросила она.— Конечно, нам хватило бы этих денег. Но тогда, значит, у нас будет очень маленький домик. Вот брат Смити. Они живут на двести пятьдесят фунтов в год, но это ужасно мало. У них только половина дома, да и стоит он чуть не у самой дороги. И садик крохотный. Стены такие тонкие, что слышно все, что делается у соседей. Когда ребенок плачет, соседи стучат им в стену. И люди стоят у забора и болтают... Разве мы не можем подождать? Ведь дела у тебя идут хорошо.

Горькое чувство охватило меня от этого вторжения практической рассудочности в поэтическую область любви. Едва сдерживая себя, я ответил:

— Хорошо бы иметь особняк в Илинге с двумя фасадами, с лужайкой перед домом и садом позади, с ванной комнатой, выложенной кафелем...

— Но за такой дом придется платить не менее шестидесяти фунтов в год.

— Это возможно только при жалованье в пятьсот фунтов... Видишь ли, я сказал об этом дяде и получил.

— Что получил?

— Пятьсот фунтов в год.

— Пятьсот фунтов?

Я рассмеялся, но в моем смехе прозвучали нотки ядовитой горечи.

— Да,— сказал я,— представь себе! Ну что ты теперь скажешь?

Она слегка покраснела.

— Но все-таки будь благоразумным! Ты не шутишь, ты в самом деле получил прибавку в двести фунтов в год?

— Да, для того, чтобы жениться.

Несколько мгновений она испытующе смотрела на меня.

— Ты сделал мне сюрприз.— Она засмеялась и вся засияла от радости, а глядя на нее, засиял и я.

— Да,— сказал я,— да,— и тоже засмеялся, но теперь уже в моем смехе не было горечи.

Она всплеснула руками и посмотрела мне в глаза. Радость ее была такой искренней, что я мгновенно забыл об отвращении, какое испытывал минуту назад. Я позабыл, что она повысила свою стоимость на двести фунтов в год и что я купил ее по этой повышенной цене.

— Пойдем!— сказал я и поднялся.— Пойдем, дорогая, вон туда, где садится солнце, и обо всем переговорим. Ты знаешь, в каком прекрасном мире мы живем, в каком изумительно прекрасном мире! В лучах заходящего солнца ты превратишься в сверкающее золото. Нет, не в золото — в позолоченный хрусталь... Во что-то еще более прекрасное, чем хрусталь и золото...

В этот вечер я предупреждал каждое ее желание, и она была в радужном настроении. Но время от времени к ней возвращались сомнения, и мне приходилось снова ее уверять, что я сказал ей правду.

В своих мечтах мы обставили свой дом с двойным фасадом от чердака (у него был и чердак) до подвала и разбили сад.

— Ты знаешь пампасную траву? — спросила Марион.— Мне очень нравится пампасная трава... Если бы для нее нашлось место...

— У тебя будет пампасная трава,— обещал я.

И пока мы мысленно бродили по нашему дому, я порой испытывал мучительное желание схватить ее в объятия, но сдерживал себя. Я почти не касался в наших разговорах интимной стороны нашей будущей

жизни, ибо сделал для себя кое-какие выводы из прошлого.

Марион пообещала стать моей женой через два месяца. Робко и нерешительно она назначила день нашей свадьбы, а на следующий вечер в пылу гнева мы снова — в последний раз — «разорвали» нашу помолвку. Мы разошлись во взглядах на брачную церемонию. Я наотрез отказался от обычной свадьбы — с традиционным тортом, белыми розетками, каретами и проч. Из разговора с Марион и ее матерью я понял, что именно о такой свадьбе идет речь, и сразу же выпалил свои возражения. Мы не просто разошлись во мнениях — вспыхнула самая настоящая ссора. Я не помню и четверти того, что мы наговорили друг другу. Припоминаю только, что мамаша то и дело повторяла тоном ласкового упрека:

— Но, дорогой Джордж, у вас должен быть обязательно торт, ведь надо обнести им гостей!

Собственно, все мы без конца повторяли одно и то же. Мне кажется, например, что я все время твердил:

— Брак — слишком святое и слишком интимное дело, чтобы превращать его в какую-то выставку.

Отец Марион вошел в комнату и прислонился к стене позади меня. Затем выплыла тетка; сложив руки, она встала около буфета и посматривала на нас; вид у нее был торжествующий, как у предсказательницы, пророчество которой сбылось. В то время я и не подозревал, как неприятно было Марион, что эти люди оказались очевидцами моего бунта.

— Однако, Джордж,— сказал папаша,— какая же свадьба вам нужна? Надеюсь, вы не собираетесь пойти в контору для регистрации браков?

— Именно этого я и хочу. Брак — слишком интимное дело...

— Я не считала бы это замужеством,— вскользь сказала миссис Рембот.

— Слушай, Марион,— заявил я,— мы вступим в гражданский брак. Я не верю во все эти... ленточки и суеверия и не потерплю их. Я уже и так со многим согласился, чтобы угодить тебе.

— А с чем он согласился? — спросил папаша, но никто не обратил на него внимания.

— Я не хочу заключать брак в конторе,— ответила Марион, и лицо ее приобрело какой-то мертвенно-желтоватый оттенок.

— Дело твое. А я нигде больше не стану заключать брак,— заявил я.

— Я не согласна на контору.

— Хорошо,— сказал я и поднялся, бледный и возбужденный, и с решимостью, удивившей меня самого, добавил: — Тогда вообще наш брак не состоится.

Марион облокотилась на стол и отсутствующим взглядом уставилась куда-то в пространство.

— Если наша свадьба должна быть такой,— тихо сказала она,— пусть ее лучше вообще не будет.

— Решай сама,— заявил я и несколько мгновений молча наблюдал за выражением мелочной обиды, исказившим ее красивое лицо.

— Ты сама должна сделать выбор,— повторил я и ушел, ни с кем не простившись и громко хлопнув дверью.

«Все кончено»,— сказал я себе на улице и почувствовал какое-то мрачное облегчение.

Но вскоре воспоминание о ней, о том, как она сидела за столом с безвольно повисшими руками и опущенной головой, с новой силой стало неотвязно преследовать меня.

III

На следующий день я совершил неслыханный поступок. Я послал дяде телеграмму: «На работу не приду — плохое настроение» — и отправился в Хайгет, к Юарту. Против обыкновения он был действительно занят — работал над бюстом Милли и, как мне показалось, был очень рад неожиданной помехе.

— Юарт, старый ты дурень,— воскликнул я,— бросай работу и пойдем поболтаем; закатимся куда-нибудь на весь день! У меня отвратительное настроение, а ты иногда можешь своими дурачествами рассмешить в лоск. Поедем в Стэйнс и прокатимся на лодке до Виндзора.

— Девушка?— спросил Юарт, откладывая резец.

— Да.

Это было все, что я сообщил ему о своем романе.

— У меня нет денег,— заметил он, чтобы поставить точки над «и».

Мы взяли с собой кувшин пива, кое-какие продукты, а в Стэйнсе по предложению Юарта — японские зонтики для защиты от солнца. На лодочной станции мы захватили две подушки, оставили лодку в тенистом месте по эту сторону от Виндзора и провели очень приятный день в беседе и размышлениях. Юарт лежал в таком положении, что со своего места я мог видеть из-за подушки только его ботинки, космы черных волос и зонтик на фоне ярко освещенных солнцем, задумчиво шелестящих деревьев и кустов.

— Не стоящее это дело,— изрек он.— Ты лучше заведи себе, Пондерво, какую-нибудь Милли, и, поверь, твое самочувствие улучшится.

— Нет,— решительно ответил я,— не могу.

Тонкая струйка дыма некоторое время клубилась над Юартом, как дым курений над алтарем...

— Всюду и везде царит хаос, а ты этого и не подозреваешь. Никто не знает, где мы, потому что, по существу говоря, мы нигде. Что такое женщина — подвластное нам существо, всемогущая богиня или такой же человек, как и мы? Очевидно, она такой же человек. Ты веришь в богинь?

— Нет,— ответил я,— не верю и не разделяю такого представления.

— А какое же представление у тебя?

— Как тебе сказать...

— Гм,— пробормотал Юарт, когда я замялся.

— Я мечтаю встретить женщину, которая будет принадлежать мне так же, как и я ей,— душой и телом. Никаких богинь! Я буду ее дожидаться. Хотя я не уверен, что она придет... Мы должны встретиться юными и чистыми.

— Чистых или нечистых вообще не существует... Каждый человек и чист и нечист.

Это было настолько справедливо, что я ничего не ответил.

— И если ты будешь принадлежать ей, а она тебе, то кто же из вас, Пондерво, будет играть ведущую роль?

Я промолчал и на этот раз, ограничившись невразумительным «О!».

Несколько минут мы молча курили трубки...

— Я рассказывал тебе, Пондерво, о своем замечательном открытии? — спросил затем Юарт.

— Нет. Что за открытие?

— Миссис Гранди[1] вообще не существует.

— Не существует?

— Практически нет. Я сейчас продумал все это. Она мальчик для битья, Пондерво, и принимала на себя вину. А виноват во всем ее муж — мистер Гранди. Я срываю с него маску. Вот его портрет. Довольно сухощав и нескладен. Начинает стареть. У него черная, растущая пучками борода и тревожный взгляд. До сих пор он вел себя хорошо, и это мучает его!.. Да еще как... Вот, например, Гранди в состоянии сексуальной паники: «Ради бога, прекратите это! Они встречаются, говорю вам, они встречаются! Это действует очень возбуждающе! Творятся самые ужасные дела!»

Гранди носится взад и вперед и размахивает длинными руками, как мельница: «Их нужно держать врозь...» Он высказывается за абсолютное запрещение всего на свете и за абсолютное разделение. Одна сторона дороги для мужчин, другая—для женщин, посередине между ними щиты, но без реклам. Все мальчики и девочки до двадцати одного года зашиваются в опечатанные мешки, из которых высовываются только голова, руки и ноги. Музыка отменяется; для низших животных — коленкоровые чехлы. Воробьи подлежат аб-со-лютному уничтожению.

Я громко рассмеялся.

— Таков мистер Гранди в одном настроении, и это очень беспокоит миссис Гранди. Она весьма зловредная особа, Пондерво, в душе развратница, и все эти разговоры ее чрезвычайно волнуют, прямо-таки разжигают. Но она сговорчива. Когда Гранди говорит ей, что его что-нибудь шокирует, она тоже чувствует себя шокированной. Она считает себя виновной в том, что произошло, но скрывает это под маской высокомерия.

Между тем Гранди дошел до остервенения. Он жестикулирует, размахивает своими длинными, худыми руками: «У них все еще на уме всякие непристойности, все еще на уме! Это ужасно! Они начитались всяких

[1] Миссис Гранди — персонаж английского драматурга Тортона — блюстительница «приличий», олицетворение ханжества.

гадостей. И откуда они только этого набираются? Я должен наблюдать. А вон там люди шепчутся! Никто не должен шептаться! В самом шепоте есть что-то непристойное. А эти картины в музеях! Они настолько ужасны, что прямо нет слов. Почему у нас нет чистого искусства, которое показывало бы человеческое тело без ненужных подробностей? Пусть это не соответствует анатомии, зато невинно и прелестно. Почему у нас нет чистой литературы, чистой поэзии вместо всей этой дряни, где на каждом шагу намеки, намеки... Прошу прощения! За этой закрытой дверью что-то происходит! Замочная скважина? В интересах общественной морали... Да, сэр, как порядочный человек я настаиваю... Я загляну... Мне это не повредит... Я настаиваю, я должен заглянуть в замочную скважину, это моя обязанность! Д-д-да. Скважина...»

Юарт нелепо лягнул ногами, и я опять засмеялся.

— Таков Гранди в одном настроении, Пондерво. Это вовсе не миссис Гранди. Мы клевещем на женщин. Они слишком просты. Да, женщины просты! Они верят тому, что им говорят мужчины...

Юарт на минуту задумался, а затем добавил:

— Берут на веру, что им преподносят,— и снова вернулся к мистеру Гранди.

— Затем мы видим старого Гранди в другом настроении. Ты ни разу не заставал его в тот момент, когда он что-то вынюхивает? Или в тот момент, когда он сходит с ума при мысли о таинственном, порочном и восхитительном? О неприличных вещах? Уф! О том, что запрещено.

...Любой человек знает обо всем этом. Всякий знает, что запретный плод притягивает и манит и о нем можно так же мечтать, как, скажем, о ветчине. Как славно ясным утром, когда ты здоров и голоден, позавтракать на свежем воздухе! И как противно даже думать о еде, когда тебе нездоровится! Но Гранди подсмотрел, воспринял все это с самой отвратительной стороны и все это будет держать в памяти, пока не забудет. Проходит некоторое время, он начинает припоминать, в голове у него поднимается брожение, и он борется со своими грязными мыслями... Затем ты можешь застукать Гранди, когда он подслушивает,— он всегда интересуется, о

чем шепчутся другие. Гранди, с его хриплым шепотком, бегающими глазками и судорожными движениями, сам плодит всякие неприличия,— лезет из кожи вон. Под прикрытием густого тумана он способствует распространению неприличия!..

Гранди грешит. О да, он лицемер. Оглядываясь, он прячется за углом и развратничает. Гранди и его темные уголки способствуют распространению пороков! У нас, художников, нет пороков.

Затем он испытывает безумное раскаяние. Он хочет быть жестоким к грешным женщинам и к честным безвредным скульпторам вроде меня, изображающим целомудренную наготу, и опять впадает в панику.

— Миссис Гранди, вероятно, не подозревает о его грешках? — спросил я.

— Я не уверен в этом... Но она женщина, черт возьми!.. Она женщина.

Но вот перед тобой Гранди с сальной улыбкой, физиономия его напоминает масленку без крышки. Сейчас он настроен либерально и антипуритански; сейчас он «пытается не видеть вреда в этом» и выдает себя за человека, одобряющего невинные удовольствия. Тебя начинает тошнить от его попыток «не видеть вреда в этом»...

Вот поэтому-то все на свете идет кувырком, Пондерво. Гранди, будь он проклят, заслоняет от нас свет, и мы, молодые люди, тычемся, как слепые. Его настроения отражаются на нас. Мы заражаемся его паникой, его привычкой совать нос не в свои дела, его сальностью. Мы не знаем, о чем можно думать и о чем следует говорить. Он принимает все меры к тому, чтобы мы не читали «об этом» и не вели на эту тему увлекательных разговоров, которые так естественно нам вести. Поэтому-то нам негде почерпнуть нужных знаний и приходится ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, добираться до истины в вопросах пола. Посмей только поступить так, как ты находишь нужным, посмей только — и он замарает тебя навсегда! Девушки молчат, так как страшно напуганы его представительными бакенбардами и многозначительным взглядом.

Внезапно Юарт, как чертик из коробочки, вскочил и сел.

— Он всюду, этот Гранди, он рядом с нами, Пондерво,— торжественно заявил он.— Иногда... иногда мне думается, что он у нас в крови... Во мне.

В ожидании моего ответа Юарт, зажав трубку в углу рта, уставился на меня.

— Ты самый дальний его родственник,— сказал я. Затем, подумав, спросил: — Послушай, Юарт, а как, по-твоему, должен быть устроен мир?

Посасывая трубку, как-то забавно сморщившись и глядя на реку, он погрузился в глубокое раздумье.

— Сложный вопрос. Мы выросли в страхе перед Гранди и его супругой — этой добродетельной, смиренной и все-таки отталкивающей дамой... Возможно, что мне еще много нужно узнать о женщинах... Мужчина вкусил от древа познания. Он потерял невинность. Один пирог два раза не съешь. Мы стоим за познание: давай скажем об этом прямо и откровенно. Я полагаю, что для начала следовало бы отменить установившиеся понятия о приличии и неприличии...

— С Гранди случится припадок!— отозвался я.

— Не мешало бы закатывать холодные души Гранди на глазах у всех по три раза в день,— правда, зрелище было бы омерзительное... Однако имей в виду, что я не разрешал бы свободного общения мужчин и женщин. Нет! Это общение прикрывало бы инстинкты пола. Нечего обманывать себя. Пол присутствует везде, даже в самой добропорядочной компании мужчин и женщин. Он все время дает о себе знать. И мужчины и женщины начинают пускать пыль в глаза или ссориться. А то скучают. Я думаю, что самцы соперничали из-за самок еще в те времена, когда и те и другие были прожорливыми, мелкими пресмыкающимися. Пройдет еще тысяча лет — ничего не изменится... Смешанные компании мужчин и женщин нужно запретить, за исключением тех случаев, когда в них будет только один мужчина или только одна женщина. Как ты на это смотришь?..

— Или же дуэты?..

— Но как это устроить? Может, ввести в этикет какое-нибудь новое правило?..

Юарт снова напустил на себя серьезный вид. Потом своей длинной рукой начал выделывать какие-то странные жесты.

— Мне кажется... Мне кажется, Пондерво, я вижу город женщин. Да... огромный сад, обнесенный каменной стеной, такой же высокой, как стены Рима. Сад в десятки квадратных миль... деревья... фонтаны... беседки... пруды. Лужайки, на которых женщины играют, аллеи, прогуливаясь по которым они сплетничают... лодки. Женщинам все это нравится. Любая женщина, которая провела детство и юность в хорошем пансионе, до конца своих дней будет жить воспоминаниями о нем. Это лучшие годы ее жизни, она никогда их не забудет. В этом городе-саду будут прекрасные концертные залы, мастерские очаровательных нарядов, комнаты для приятной работы. Там будет все, чего только может пожелать женщина. Ясли. Детские сады. Школы... И здесь не будет ни одного мужчины — за исключением тех, которым придется выполнять тяжелую работу. Мужчины останутся жить в том мире, где они смогут охотиться, заниматься техникой, изобретать, работать в шахтах и на заводах, плавать на кораблях, пьянствовать, заниматься искусством и воевать...

— Да,— заметил я,— но...

Жестом он заставил меня умолкнуть.

— Я подхожу к этому. Дома женщин, Пондерво, будут находиться в стенах города. Каждая женщина получит дом, обставленный по ее вкусу, с маленьким балконом с наружной стороны городской стены. Когда у нее появится соответствующее настроение, она будет выходить на балкон и посматривать. Вокруг города пройдет широкая дорога с огромными тенистыми деревьями и скамейками. Там будут разгуливать мужчины, когда почувствуют потребность в общении с женщиной, ну, когда, например, им захочется поговорить о своей душе или о своем характере, а может, и на другие темы, столь любезные для женщин... Со своих балконов женщины смотрят на мужчин, улыбаются им и говорят все, что им приходит на ум. У каждой женщины шелковая веревочная лестница. Она сбросит ее вниз, если найдет нужным, если захочет более интимной беседы...

— Мужчины все же начнут соперничать.

— Возможно. Но им придется покоряться решениям женщин.

Я коснулся некоторых трудностей, с какими придет-

ся столкнуться мужчинам и женщинам, и мы некоторое время забавлялись обсуждением этой темы.

— Юарт,— сказал я,— это похоже на остров кукол... Ну, а предположим, что неудачник будет осаждать балкон и не позволит своему более счастливому сопернику приблизиться к нему?

— Ввести специальное правило о насильственном удалении таких мужчин. Как удаляют, например, шарманщиков. Это проще простого. Кроме того, можно объявить такой поступок нарушением этикета. При отсутствии этикета жизнь не может быть пристойной... Люди охотнее повинуются правилам этикета, чем законам...

— Гм,— сказал я, и мне внезапно пришла в голову мысль, совершенно чуждая молодому человеку.

— А как же быть с детьми?— спросил я.— С девочками-то все просто. Ну, а с мальчиками? Ведь они же будут расти.

— О! — воскликнул Юарт.— Это я упустил. Они будут расти в городе до семи лет. А затем появится отец с маленьким пони, маленьким ружьем и с одеждой для мальчика и возьмет его с собой. Мальчик сможет приходить к балкону своей матери... Как, должно быть, хорошо иметь мать! Отец и сын...

— В своем роде все это очень красиво,— сказал я,— но это мечта. Вернемся к реальной жизни. Хотел бы я знать, что ты сейчас собираешься делать в Бромтоне или, скажем, в Уолэм-Грин?

— Ах, черт возьми! — вырвалось у него.— Уолэм-Грин! Вот ты какой, Пондерво! — Он резко оборвал свои рассуждения и некоторое время даже не отвечал на мои вопросы.

— Пока я говорил,— наконец заметил он,— у меня появилась совсем другая мысль.

— Какая?

— О шедевре. О серии шедевров, подобно бюстам цезарей. Но только, знаешь, не головы. Мы сейчас не замечаем людей, которые работают на нас...

— Что же ты тогда изобразишь?

— Руки... Серию рук. Руки двадцатого столетия. Я сделаю это. Наступит время, когда кто-нибудь придет туда и обнаружит, что я сделал и какую цель преследовал.

— Куда придет и что обнаружит?

— К гробницам. А почему бы и нет? Неизвестный мастер Хайгет-хилла! Маленькие, нежные женские ручки, нервные, безобразные руки мужчин, руки щеголей, руки жуликов. И на первом плане — сухая, длинная, с хищными пальцами рука кошмарного Гранди; каждую морщинку на ней вырежу! И в этой чудовищной лапе будут зажаты все остальные руки. Это будет что-то вроде руки, изваянной великим Роденом,— ты ведь видел ее!

IV

Я забыл, сколько времени прошло со дня нашего последнего разрыва с Марион до ее полной капитуляции. Но я хорошо помню, с каким волнением, едва сдерживая смех и слезы радости, читал неожиданно полученное от нее письмо: «Я все обдумала и поняла, что была эгоисткой...»

В тот же вечер я прилетел в Уолэм-Грин, чтобы не оставаться перед ней в долгу, доказать, что я еще более уступчив, чем она. Марион была на редкость кроткой и великодушной и на прощание ласково поцеловала меня.

И вот мы поженились.

Мы венчались с соблюдением всех обычных несуразностей. Теперь я шел на уступки, пожалуй, не так уж охотно, как вначале, но Марион принимала их с довольным видом. Одним словом, я стал благоразумным. В церковь все поехали в трех наемных каретах (в одной упряжке лошади были подобраны по масти). Надушенные кучера были в поношенных цилиндрах и с хлыстами, украшенными белыми бантиками. Свадебный завтрак состоялся в одном из ресторанов Хаммерсмита. С величественным видом на этом настоял дядя. Стол украшали хризантемы и флердоранж, а в самом центре его красовался чудесный торт. Мы разослали около двадцати кусков этого торта вместе с напечатанными серебром карточками, на которых фамилия Рембот, пронзенная стрелой, была заменена фамилией Пондерво. Наше маленькое сборище состояло преимущественно из родственников Марион. Несколько ее подруг из мастерской Смити со своими приятельницами появились еще в церкви и проплыли по направлению к ризнице. Я пригласил только те-

тушку и дядю. Оживленные гости переполнили маленький, невзрачный домишко. На буфете, в котором хранилась скатерть и объявление «сдаются комнаты», были выставлены свадебные подарки, а между ними валялись отпечатанные серебром лишние карточки.

Марион была в белом подвенечном платье из шелка и атласа. Этот наряд совсем не шел к ней, и она казалась мне в нем какой-то нескладной и незнакомой. Во время странного ритуала английской свадьбы она держалась с благочестивой серьезностью, совершенно непонятной мне по моей молодости и эгоистичности. Все, что казалось ей важным и необходимым, я считал наглым, оскорбительным вызовом со стороны того мира, который я уже в то время начинал резко осуждать. Что представляла собой вся эта суета? Просто-напросто неприличную рекламу моей страстной любви к Марион! Но сама Марион, по-видимому, не догадывалась, что меня уже начинает раздражать принятое решение вести себя «мило». Я добросовестно сыграл свою роль даже в выборе соответствующего костюма: на мне был прекрасно сшитый фрак, новый цилиндр, светлые брюки (светлее не бывают!), белый жилет, светлый галстук и белые перчатки. Марион, заметив мое подавленное состояние, проявила необычайную инициативу и шепнула мне, что я выгляжу прекрасно. Я-то отлично знал, что похож не на самого себя, а на картинку «Полный парадный костюм» из специального иллюстрированного приложения к журналам «Мужская одежда» или «Портной и закройщик». Меня злил даже непривычный воротничок. Я чувствовал себя так, словно оказался в чьем-то чужом теле, причем это впечатление только усилилось, когда я для самоуспокоения окинул взглядом свой обтянутый белым живот и незнакомые ноги.

Дядя был моим шафером и выглядел, как банкир,— маленький банкир в расцвете своей карьеры. В петлице его сюртука красовалась белая роза. Он почти не разговаривал. Во всяком случае, мне запомнились только некоторые его слова.

— Джордж,—повторил он раза два.— Это—большое событие в твоей жизни, очень большое.— По его тону я понял, что он сам не особенно уверен в истине своих слов.

Дело в том, что я сообщил ему о Марион только за неделю до свадьбы; это известие застало его и тетушку врасплох. До них сначала «не дошло», как принято говорить. Тетушка заинтересовалась этой новостью гораздо больше, чем дядя. Именно тогда я впервые понял, что не безразличен ей. Она ухитрилась остаться со мной наедине и сказала:

— Ну, а сейчас, Джордж, изволь рассказать мне о ней. Почему ты не сказал раньше, хотя бы только мне?

И тут выяснилось, как трудно мне говорить ей о Марион. Это привело тетушку в недоумение.

— Она красива? — спросила наконец тетушка.

— Я не знаю, какой она тебе покажется, когда ты увидишь ее,— промямлил я.— Мне думается...

— Да?

— Мне думается, что она, может быть, самая красивая девушка в мире.

— В самом деле? Для тебя?

— Конечно,— ответил я и кивнул головой.— Да. Она...

И хотя я забыл, что говорил и что делал дядя на моей свадьбе, зато хорошо запомнил, как пытливо и озабоченно посматривала на меня тетушка, сколько теплоты, а иногда и откровенной нежности было в ее взглядах. Мне внезапно пришло в голову, что я ничего не смогу утаить от нее.

Тетушка блистала элегантностью: на ней была большая шляпа с пером, отчего ее шея казалась более длинной и гибкой. И когда она прошла, как всегда, слегка вразвалочку между рядами скамеек, пристально разглядывая Марион, до крайности недоумевающая и смущенная, я и не подумал улыбнуться. Не сомневаюсь, что о моей женитьбе тетушка думала гораздо больше, чем я сам; ее беспокоило мое душевное состояние и слепота Марион, и в ее взгляде, устремленном на нас, можно было прочесть, что уж она-то знает, что значит любить ради любви.

Когда мы расписывались в ризнице, тетушка отвернулась и, кажется, заплакала, хотя я и по сей день не понимаю, что вызвало эти слезы. Потом, пожимая мне на прощание руку, она едва не разрыдалась, но не произ-

несла ни слова и даже не взглянула на меня, только крепко стиснула мне пальцы.

Если бы не отвратительное настроение, я нашел бы много комичного на своей свадьбе. Мне припоминаются нелепые мелочи, правда, не столь уж смешные, как это могло показаться с первого взгляда. Венчавший нас священник был простужен и вместо «н» произносил «д». Записывая в книгу наши фамилии, он отпустил глупый комплимент по поводу возраста невесты. Ему известно, сострил он, что у всех невест, которых ему приходилось венчать, обязательно был какой-нибудь возраст. В моей памяти запечатлелись двоюродные сестры Марион — две старые девы, работавшие портнихами в Беркинге. Они относились к мистеру Ремботу с особым почтением. На них были очень яркие веселые блузки и старые темные юбки. Они принесли на свадьбу мешочек с рисом, разбрасывали рис и пригоршнями раздавали у церковных дверей каким-то мальчишкам, так что вызвали маленькую свалку. Одна из этих особ собиралась запустить в нас ночной туфлей. Я разгадал ее намерение потому, что она случайно выронила из кармана эту теплую старую туфлю в проходе между скамейками, и мне пришлось поднять ее и вручить владелице. Непредвиденное обстоятельство помешало ей осуществить свой замысел: когда мы уезжали из церкви, я увидел, как она безуспешно старается вытащить туфлю из кармана; потом я заметил, что этот приносящий счастье метательный снаряд, или его пара, валяется в прихожей, за стойкой для зонтиков...

Свадебная церемония оказалась еще более нелепой и бессмысленной и в то же время еще более обыденной, чем я мог предполагать. Я был слишком молод и серьезен, чтобы найти ей какое-нибудь оправдание. Сейчас все это в прошлом, сейчас моя юность так далеко от меня, что я могу взглянуть на церемонию венчания беспристрастным оком, как на какую-то чудесную, не меняющуюся с годами картину. В то время я кипел от возмущения, а сейчас могу спокойно вникнуть в содержание этой картины, рассмотреть все ее детали, обсудить ее достоинства. Мне интересно, например, сравнить ее с моей блейдсоверской теорией английской социальной системы. В бурлящем хаосе Лондона под давлением традиций мы стараемся выполнять все свадебные обряды так, как это

сделал бы какой-нибудь блейдсоверский арендатор или круглолицый житель провинциального городка. Там свадьба — это событие в глазах всего общества. Церковь там — в значительной мере место, где встречается вся округа, и ваша свадьба вызовет интерес у всех, кто пройдет мимо. Это неизбежно заинтересует и всех живущих по соседству с вами. Но в Лондоне нет соседей, никто вас не знает, и никому нет до вас дела. Совершенно незнакомый человек в канцелярии принял от меня извещение о нашей предстоящей свадьбе, а оглашено оно было для сведения людей, которые понятия о нас не имели. Совершивший церемонию священник никогда нас не видел до этого и не выразил ни малейшего желания видеть в дальнейшем.

Соседи в Лондоне! Ремботы не знали даже фамилии людей, которые жили по соседству с ними. Когда я ожидал Марион, чтобы отправиться в наше свадебное путешествие, в комнату вошел мистер Рембот, встал рядом со мной и уставился в окно.

— Вчера там были похороны,— заметил он, пытаясь завязать разговор, и кивком головы указал на дом, находившийся напротив,— довольно торжественная церемония... Катафалк со стеклами...

Наша маленькая процессия из трех карет с украшенными белыми лентами лошадьми и кучерами затерялась в нескончаемом шумном потоке уличного движения, словно фарфоровая безделушка в угольной яме броненосца. Никто не уступал нам дороги, никто не проявлял к нам интереса, а кучер одного из омнибусов начал глумиться над нами; долгое время мы плелись за «благоухавшей» нам в нос мусорной повозкой. Грохот, шум и уличная сутолока вокруг нас придавали что-то непристойное этому публичному соединению двух влюбленных сердец. Создавалось впечатление, что мы бесстыдно выставляем сами себя на всеобщее обозрение. Собравшаяся у дверей церкви толпа с таким же жадным любопытством созерцала бы какое-нибудь уличное происшествие...

На станции Черринг-Кросс (мы ехали в Гастингс) проводник, опытным взглядом определив по нашим костюмам, что мы новобрачные, посадил нас в отдельное купе.

— Ну,— сказал я, когда поезд отошел от станции,— наконец-то все кончилось!

Я повернулся к Марион, все еще немного чужой в непривычном костюме, и улыбнулся.

Она посмотрела на меня застенчиво и вместе с тем серьезно.

— Ты не сердишься? — спросила она.

— Сержусь?! За что?

— За то, что все было, как положено.

— Моя дорогая Марион! — воскликнул я и вместо ответа поцеловал ее руку в белой, пахнувшей кожей перчатке.

Я плохо помню наше путешествие. В течение часа не произошло ничего, о чем бы стоило рассказать. Мы оба чувствовали себя утомленными и немного смущались друг друга. У Марион слегка болела голова, и она уклонилась от моих ласк. Я погрузился в мечты о тетушке и сделал неожиданное открытие, что она мне очень дорога. Теперь я очень сожалел, что не сказал ей раньше о своей предстоящей женитьбе...

.

Но вряд ли история моего медового месяца покажется вам интересной. Я уже рассказал все, что необходимо для моего повествования. Случилось так, что я оказался во власти обстоятельств. Я позволил увлечь себя непонятным и чуждым мне силам; я бросил научные занятия, отошел от прежних интересов и от работы, которой когда-то отдавался целиком; я с трудом прокладывал себе дорогу сквозь паутину традиций, нелепых привычек и условностей, переходил от ярости к смирению, занимался заведомо бесчестным и пустым делом... И все это для того, чтобы выполнить наконец веление слепой природы,— далекий от счастья, я держал в своих объятиях плачущую и отбивающуюся Марион.

V

Кто может рассказать, как мало-помалу происходит отчуждение между супругами, как постепенно начинает угасать физическое влечение, а затем исчезают и все другие чувства? Меньше всего — один из супругов. Еще и сейчас, спустя пятнадцать лет, я не могу разобраться в своих впечатлениях от Марион, таких же неясных,

сумбурных и противоречивых, как и сама жизнь. Я вспоминаю одно — и люблю Марион; вспоминаю другое — и ненавижу ее. Сотни раз я видел жену при обстоятельствах, в которых сейчас могу представить ее себе с какой-то спокойной симпатией. И пока я сижу, пытаясь найти объяснение этому сложному процессу, в памяти возникают то периоды внезапного и полного охлаждения, то моменты безоблачной нежной близости. Все происходившее в промежутках между ними давно забыто. В те дни, когда мы были «друзьями», у нас был свой особый язык: я был «Матни», а она «Минг». Мы были так озабочены показной стороной жизни, что до самого конца Смити считала нашу семейную жизнь образцовой.

Я не в силах передать, как Марион убивала все мои желания и как она отталкивала меня своей неспособностью понять интимную сторону любви—то, что составляет ее суть. Эта интимная сторона жизни складывается из мелочей. Различие в пропорциях, иногда почти неуловимое для глаза, делает одно лицо прекрасным, другое безобразным. Я пишу о мелочах, но они-то и выявили различие наших темпераментов и породили наши разногласия. Кое-кто из читателей поймет меня, другие же сочтут бесчувственным и грубым человеком, неспособным пойти на уступки... В моем теперешнем возрасте, когда семейная жизнь представляется сплошным компромиссом, житейским соглашением, требующим от нас терпимости, чем-то глупым и вздорным, как детская болтовня, легко проявлять уступчивость. Но уступчивость кажется ненужной в те годы, когда человек молод и пылок, когда заря его брачной жизни кажется ему изумительно прекрасной, полной волнующих тайн, когда он видит в ней цветущий сад, наполненный благоуханием роз.

Мне казалось,что каждый прочитанный мною любовный роман — насмешка над нашей унылой жизнью; каждая поэма, каждая прекрасная картина только оттеняли скуку и серость длинной вереницы часов, которые мы проводили вместе. Я думаю, что основная причина наших расхождений заключалась в отсутствии у Марион эстетического чувства.

Я уже говорил, что Марион совершенно не заботилась о своей внешности и ей было глубоко безразлично, какое она производит впечатление. Конечно, это не такая

уж важная подробность, но она могла ходить в папильотках в моем присутствии. Ей принадлежала идея «донашивать» дома старые или неудачно сшитые наряды, когда «никто не мог ее видеть», и этим «никто» был я. Она отталкивала меня своей неряшливостью и раздражала полнейшим отсутствием чувства изящного...

Мы совершенно по-разному воспринимали жизнь. Я помню, как мы разошлись во мнениях о мебели. Мы проторчали несколько дней на Тоттенхем-Корт-роуд, и она сама выбрала вещи, отклоняя все мои предложения одной и той же фразой: «О, у тебя такой странный вкус». У нее был свой идеал красоты, пошлый, убогий, но весьма определенный, и она отвергала все, что ему противоречило. Она видела у кого-то точно такую же обстановку и теперь не хотела ничего другого. Над каждым камином у нас висело задрапированное по бокам зеркало; роскошный буфет был битком набит граненым стеклом; у нас были лампы на длинных металлических ножках, уютные уголки и цветы в горшках. Смити одобряла это. Однако во всем доме трудно было найти хоть одно удобное место, чтобы спокойно посидеть и почитать. Мои книги стояли на полках где-то в дальнем углу столовой. У нас было пианино, хотя Марион почти не умела играть...

Несчастье Марион состояло в том, что я, со своим беспокойным характером, скептицизмом, с постоянно возникающими у меня новыми идеями, настоял на нашей женитьбе. Марион не могла измениться, она застыла в своей форме, не могла вырваться из плена ограниченных понятий своего класса. И в выборе мебели для гостиной, и в свадебной церемонии, и во всех других вопросах повседневной жизни она отстаивала свое мнение с таким же глубоким, искренним убеждением в своей правоте и с таким же непоколебимым, железным упорством, с каким птица вьет гнездо или бобр строит плотину.

Я постараюсь поскорее закончить этот рассказ о наших разочарованиях и о нашем разладе. Наша любовь то разгоралась, то снова остывала; в конце концов она угасла. Иной раз Марион проявляла ко мне внимание: завязывала галстук или подавала пару домашних туфель, что вызывало у меня благодарность, хотя и казалось смешным. Она умело вела хозяйство и командовала на-

шей единственной служанкой. Марион очень гордилась нашим домом и садом. Ей казалось, что она делает для меня все, что нужно, и так, как полагается.

В связи с большим успехом Тоно Бенге мне пришлось выезжать в провинцию и иногда задерживаться там на целую неделю. Это не нравилось Марион; по ее словам, она скучала в мое отсутствие. Но постепенно она вновь начала бывать у Смити и привыкла к нашим разлукам. В семье Смити она считалась теперь женщиной с положением. Марион располагала деньгами и брала Смити с собой в театры, угощала обедами; они непрестанно болтали о делах Смити, и та стала постоянно оставаться у нас на субботу и воскресенье. Марион завела себе спаниеля, начала понемногу интересоваться искусством, выжиганием по дереву, фотографией и разведением гиацинтов. Однажды она нанесла визит соседям. Ее родители часто навещали нас; после того как отец бросил работу на газовом заводе, они уехали из Уолэм-Грин и поселились недалеко от нас, в небольшом домике, который я снял для них.

Как способны изводить человека даже мелочи, когда источники жизни уже отравлены! Тесть всегда появлялся, когда я бывал в мрачном настроении, и настойчиво убеждал заняться садоводством. Он до крайности раздражал меня.

— Ты слишком много думаешь,— говорил он.— Если бы ты немного поработал лопатой, ты развел бы у себя в саду этакую феерию! Это, право же, лучше, чем голову ломать, Джордж.

Иногда он с возмущением говорил:

— Не понимаю, Джордж, почему бы тебе не соорудить здесь стеклянные рамы! Если бы ты устроил в этом солнечном уголке парник, ты бы мог делать чудеса...

В летнее время он постоянно проделывал, как фокусник, какие-нибудь трюки: едва вступив на порог, принимался обшаривать себя и извлекал из самых неожиданных мест то огурцы, то помидоры.

— Все это с моего маленького огородика,— говорил он тоном человека, подающего хороший пример. Он оставлял плоды своего огородничества в удивительно неподходящих местах — на каминных досках, буфетах, даже над картинами. Боже мой! В какое бешенство мог

привести меня случайно обнаруженный где-нибудь помидор!..

Наше отчуждение стало еще глубже, когда стало ясно, что Марион и тетушка не только не могут подружиться, но относятся друг к другу с какой-то инстинктивной неприязнью.

Вначале тетушка заходила довольно часто, так как ей искренне хотелось поближе познакомиться с Марион. Она влетала, подобно смерчу, и наполняла дом своим смехом и остротами. Для этих визитов тетушка надевала лучшие свои наряды, причем они отличались экстравагантностью, какая обычно свойственна женщинам со средствами.

Я предполагаю, что она стремилась играть роль моей матери; ей, видимо, хотелось поделиться с Марион своими секретами: рассказать, как я быстро стаптываю ботинки и как забываю надевать в холодную погоду теплое белье. Но Марион относилась к ней с враждебной подозрительностью робкого человека, усматривая в каждом ее слове насмешку и критику по своему адресу. Тетушка замечала это, начинала нервничать и переходила на свой обычный жаргон...

— Она говорит такие чудные вещи,— заметила както Марион, рассказывая о визите тетки.— Но, видимо, это считается остроумным.

— Да,— отвечал я,— это остроумно.

— А что, если бы я так сказала...

Тетушка выражалась иногда очень замысловато, но ее умалчивание подчас было красноречивее всяких слов. Однажды в нашей гостиной она многозначительно поглядела на каучуковое деревце в дорогом фарфоровом горшке, поставленном Марион на пианино.

Тетушка, видимо, хотела что-то сказать, но внезапно заметила выражение моего лица и сжалась, подобно кошке, которую застигли у кувшина с молоком.

Но затем ею овладело какое-то недоброе чувство.

— Я не вымолвила ни слова, Джордж,— твердо заявила она, не спуская с меня глаз.

Я улыбнулся.

— Ты хорошо сделала,— ответил я, помолчав.

В эту минуту в комнату вошла Марион и, не глядя на тетушку, поздоровалась с ней. А я чувствовал, что

в этой неожиданной сцене с каучуковым деревцем вел себя как предатель, хотя она и была почти безмолвной...

— Твоя тетушка любит играть людьми,— изрекла однажды Марион свой приговор и добавила вполне искренне: — Возможно, что со своей точки зрения... она и права.

Несколько раз мы были у дяди в Бекенхэме на обедах и раза два на ужинах. Тетушка усиленно пыталась подружиться с Марион, но та была непримирима. Во время этих визитов она чувствовала себя очень неловко и упорно молчала или ограничивалась скупыми ответами, которые отбивали у собеседников охоту вести разговор.

Интервалы между визитами тетушки все увеличивались...

Семейная жизнь стала наконец казаться мне узкой, глубокой канавой, прорезавшей широкое поле интересов, которыми я жил. Я бывал в обществе, сталкивался с самыми разнообразными людьми, во время своих поездок прочитал немало книг. В доме дяди я заводил знакомства, о которых Марион ничего не знала. Семена новых идей проникали в мое сознание и давали всходы. На третьем десятке человек особенно быстро развивается в умственном отношении. Это беспокойные годы, исполненные какой-то лихорадочной одержимости.

Всякий раз, как я возвращался в Илинг, жизнь в нем представлялась мне все более чуждой, затхлой и неинтересной, а Марион все менее красивой и все более ограниченным и тяжелым человеком, пока совсем не потеряла в моих глазах своего очарования. И всякий раз Марион встречала меня все более холодно и в конце концов стала относиться ко мне с полнейшим равнодушием. Но я никогда не задавался вопросом, что мучает ее и чем она недовольна.

Я возвращался домой, ни на что не надеясь и ничего не ожидая.

Вот на какую жизнь я сам себя обрек. Я стал больше присматриваться к недостаткам Марион, на которые раньше не обращал внимания. Я начал связывать желтоватый цвет лица Марион с отсутствием у нее темперамента, а грубоватые очертания рта и носа — с ее посто-

янным недовольным настроением. Мы отдалялись друг от друга, пропасть между нами все росла и росла. Я уставал от ее пустой болтовни и скупых стандартных нежностей; меня утомляли новости из милого заведения Смити, и я не скрывал своей скуки. Оставаясь наедине, мы почти не разговаривали. Мое физическое влечение к Марион еще не прошло, но и оно служило теперь источником взаимного раздражения.

У нас не было детей, в которых мы могли бы найти свое спасение. В мастерской Смити Марион прониклась страхом и отвращением перед материнством. Оно олицетворяло в ее глазах все «ужасные» стороны жизни, казалось чем-то отвратительным, самым унизительным состоянием, в которое попадали неосторожные женщины. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы дети могли спасти нас: мы роковым образом разошлись бы во мнениях об их воспитании.

Я вспоминаю свою жизнь с Марион как цепь непрерывных страданий, которые то усиливались, то ослабевали. Именно в эти дни я начал критически относиться к своей жизни, почувствовал всю тяжесть совершенной мною ошибки и свое неумение приспосабливаться к обстоятельствам. По ночам я часами лежал без сна, спрашивая себя, какой смысл в таком существовании, размышлял о своей неудавшейся, безрадостной семейной жизни, о своем участии в мошеннической авантюре и в продаже заведомой дряни, сопоставляя все это со своими юношескими мечтами и порывами, волновавшими меня в дни Уимблхерста. Положение казалось мне безвыходным, и я тщетно задавал себе вопрос, как я мог попасть в такую переделку.

VI

Развязка наступила внезапно. Случилось то, чего и следовало ожидать: поддавшись своим чувственным порывам, я изменил Марион.

Я не собираюсь оправдываться. Я был молодым и довольно энергичным мужчиной, моя чувственность была раздражена, а любовный роман и женитьба не удовлетворили ее. Я гнался лишь за обманчивым призраком красоты, и он ускользнул от меня, а я надеялся, что красота эта будет сиять мне немеркнущим светом. Я разо-

чаровался в жизни и познал ее горечь. Все произошло так, как я рассказываю. Я не пытаюсь извлечь из всего этого какую-нибудь мораль и предоставляю социальным реформаторам отыскивать средства для искоренения недостатков общества. Я достиг возраста, когда единственный интерес может вызвать лишь теория, обобщающая реальные факты.

Мы проходили в нашу контору на Реггет-стрит через комнату машинисток, где они были заняты перепечаткой деловых бумаг; поскольку наше дело расширилось, мы перевели бухгалтерию в отдельное помещение. Каюсь, несмотря на свои переживания, я всегда замечал этих девушек с округлыми плечами. А вскоре одна из них по-настоящему привлекла мое внимание. Сперва я заметил ее стройную талию, более стройную, чем у других, мягкую округленность шейки, украшенной ожерельем из искусственного жемчуга, аккуратно причесанные каштановые волосы, ее манеру посматривать, как-то скосив глаза. Затем я разглядел ее лицо, хотя, завидев меня, она мгновенно отворачивалась.

Когда я заходил в комнату машинисток по какому-нибудь делу, я невольно начинал искать ее глазами. Как-то я диктовал ей деловые письма и заметил, что у нее мягкие, нежные руки и розовые ногти. Раз или два при случайных встречах мы обменялись короткими взглядами.

Это было все. Но на таинственном языке любви этого оказалось достаточно, чтобы сказать друг другу что-то важное. Между нами уже существовала тайна.

Однажды я пришел на Реггет-стрит в обеденный перерыв и застал ее в комнате одну. Когда я вошел, она бросила на меня быстрый взгляд, тут же потупила глаза и, положив руки на стол, застыла в напряженной позе. Я прошел мимо нее к кабинету, но вернулся и стал рядом с ней.

Некоторое время мы оба молчали. Я дрожал, как в лихорадке.

— Это машинка новой системы? — спросил я, чтобы сказать *что-нибудь*.

Она безмолвно взглянула на меня, и я увидел, как запылало ее лицо и ярко заблестели глаза. И тогда я наклонился и поцеловал ее в губы. Она откинулась на-

зад, притянула меня к себе и несколько раз поцеловала. Я поднял ее, прижал к своей груди и услышал, как она тихонько вскрикнула при этом.

Никогда раньше я не знал, что такое страстные поцелуи.

В соседнюю комнату кто-то вошел.

Мы отпрянули друг от друга с разгоревшимися лицами и сверкающими глазами.

— Мы не можем поговорить здесь,— прошептал я с интимной доверчивостью.— Каким путем ты ходишь домой после работы?

— Вдоль набережной к Черринг-Кросс,— ответила она таким же тоном.— Этой дорогой никто больше не ходит...

— Хорошо, в половине шестого...

Дверь из соседней комнаты открылась, и она быстро заняла свое место.

— Рад, что с новыми машинками все в порядке,—сказал я официальным тоном.

Я вошел в кабинет, быстро достал ведомость на выплату жалованья и нашел ее имя. Эффи Ринк... В этот день я не мог работать и метался в маленькой пыльной комнате, как зверь в клетке.

Когда я вышел из кабинета, Эффи работала с таким спокойным видом, словно ничего не произошло, и даже не взглянула на меня.

В тот вечер мы встретились снова. Мы разговаривали шепотом, хотя никто не подслушивал нас, и сразу поняли друг друга. Это было как-то совсем не похоже на мои прежние мечты о любви.

VII

После недельного отсутствия я возвратился домой совсем другим человеком. Я уже пережил первый порыв страсти к Эффи, обдумал свое положение, определил место Эффи в общем потоке моей жизни и на время расстался с ней. «Проболев» неделю, она вновь вернулась на работу на Реггет-стрит. Открывая калитку в железной ограде, защищавшей сад Марион и ее пампасную траву от бродячих собак, я не испытывал ни стыда, ни раскаяния. Более того, у меня было такое чув-

ство, будто я утвердил свое право, которое кто-то оспаривал. Я вернулся к Марион, не только не считая себя грешником, но даже с новым, дружеским расположением к ней. Не знаю, что полагается чувствовать в подобных случаях, но я чувствовал себя именно так.

Марион была в гостиной. Она стояла у ниши с торшером и повернулась ко мне с таким видом, словно только что наблюдала за мной из окна. Ее бледное лицо сразу привлекло мое внимание. Казалось, она провела бессонную ночь. Она даже не пошевельнулась, чтобы поздороваться.

— А, ты вернулся,— сказала она.

— Как и писал тебе.

Ее неподвижная темная фигура отчетливо выделялась на светлом фоне окна.

— Где ты был?

— На восточном побережье,— беззаботно ответил я.

Она помолчала.

— Я знаю все.

Еще никогда в жизни мне не приходилось испытывать подобного удивления.

— Боже ты мой!— воскликнул я, уставившись на нее.— Верю, что это так!

— И ты все же посмел вернуться домой, ко мне!

Я встал на коврик перед камином и принялся обдумывать создавшееся положение.

— Мне даже и во сне не могло присниться,— начала она.— Как ты мог сделать это?

Мне показалось, что прошло немало времени, прежде чем один из нас заговорил снова.

— Кто узнал? — спросил я наконец.

— Брат Смити. Они были в Кромере.

— Будь он проклят, этот Кромер!

— Как ты мог решиться!..

Неожиданная катастрофа вызвала у меня острый приступ раздражения.

— О, я бы с удовольствием свернул шею брату Смити! — воскликнул я.

— Ты... Я не могла себе представить, что ты обманешь меня,— снова заговорила Марион каким-то прерывающимся, бесстрастным голосом. —Наверное, все мужчины в этом отношении ужасны...

— Я не нахожу ничего ужасного в своем поведении. На мой взгляд, это самая необходимая и естественная вещь в мире.

Мне послышался какой-то шорох в коридоре, я подошел к двери и закрыл ее. Затем вернулся на свое место и повернулся к Марион.

— Тебе тяжело,— сказал я.— Но я не хотел, чтобы ты знала. Ты никогда меня не любила. Я пережил чертовски трудное время. Почему ты возмущаешься?

Она села в мягкое кресло.

— Я любила тебя.

Я пожал плечами.

— А она любит тебя? — спросила Марион.

Я промолчал.

— Где она сейчас?

— О! Какое это имеет значение для тебя?.. Послушай, Марион! Этого... этого я не предвидел. Я не хотел, чтобы все это свалилось на тебя. Но, понимаешь, что-то должно было случиться. Я сожалею... сожалею до глубины души, что все так произошло. Не знаю, право, что со мной, сам не знаю, как это произошло. Но я был захвачен врасплох. Все случилось неожиданно. Однажды я оказался наедине с ней и поцеловал ее. А затем пошел дальше. Мне казалось глупым отступать. Да и почему я должен был отступать? Почему? Я и подумать не мог, что тебя это заденет... Черт побери!

Она напряженно смотрела мне в лицо, перебирая бахрому скатерти на столике рядом с ней.

— Страшно подумать,— сказала она.— Мне кажется... я никогда теперь не смогу уже дотронуться до тебя.

Мы долго молчали. Только теперь я начал представлять себе, да и то еще не совсем ясно, какая огромная катастрофа постигла нас. Перед нами вставали большие и сложные вопросы, но я чувствовал, что не подготовлен, не в состоянии решить их. Меня охватил какой-то бессмысленный гнев. С языка готовы были сорваться какие-то глупые слова и фразы, и только сознание важности переживаемого момента заставило меня сдержаться. Мы продолжали молчать, и это молчание предвещало тот решающий разговор, который навсегда определит наши дальнейшие отношения.

Раздался стук в дверь, как этого всегда требовала Марион, и в комнату вошла наша маленькая служанка.

— Чай, мэм,— объявила она и исчезла, оставив дверь открытой.

— Я пойду наверх...— сказал я и запнулся.— Я пойду наверх,— повторил я,— и поставлю свой чемодан в свободной комнате.

Прошло еще несколько секунд. Мы не двигались и не произносили ни звука.

— Сегодня к нам на чай придет мама,— проговорила наконец Марион и, выпустив из рук бахрому скатерти, медленно поднялась.

Итак, в предвидении решающего разговора мы пили чай в обществе ничего не подозревающей миссис Рембот и спаниеля Марион. Миссис Рембот была слишком вымуштрованной тещей, чтобы обмолвиться хоть словом, если бы она и заметила нашу мрачную озабоченность. Она поддерживала вялый разговор и, помнится, рассказывала, что у мистера Рембота «неприятности» с его каннами.

— Они не взошли и не взойдут. Он уже разговаривал с человеком, который продал ему луковицы, и сейчас очень расстроен и сердится.

Спаниель очень надоедал всем, выклянчивая подачки, и проделывал свои незамысловатые фокусы то у одного конца стола, то у другого. Никто из нас уже давно не называл его по имени. Видите ли, мы звали его Мигглс, и в те редкие дни, когда мы пускали в ход детский язык, наша троица состояла из Матни, Мигглс и Минг.

VIII

Вскоре мы возобновили наш нелепый и тягостный разговор. Не могу сказать, сколько времени он продолжался. Мы разговаривали с Марион в течение трех или четырех дней— разговаривали, сидя на нашей кровати в ее комнате, разговаривали, стоя в гостиной. Дважды мы совершали длительные прогулки. Целый долгий вечер мы провели вместе. Нервы были истерзаны, и мы испытывали мучительную раздвоенность: с одной стороны, сознание совершившегося, непреложного факта,

с другой (во всяком случае, у меня) — прилив странной неожиданной нежности. Каким-то непонятным образом это потрясение разрушило взаимную неприязнь и пробудило друг к другу теплое чувство.

Разговор у нас был самый сумбурный, бессвязный, мы не раз противоречили себе, возвращались все к той же теме, но всякий раз обсуждали вопрос с разных точек зрения, приводя все новые соображения. Мы говорили о том, чего никогда раньше не касались,— что мы не любим друг друга. Как это ни странно, но теперь мне ясно, что в те дни мы с Марион были ближе, чем когда-либо раньше, что мы в первый и последний раз пристально и честно заглянули друг другу в душу. В эти дни мы ничего не требовали друг от друга и не делали взаимных уступок; мы ничего не скрывали, ничего не преувеличивали. Мы покончили с притворством и выражали свое мнение откровенно и трезво. Настроение у нас часто менялось, но мы не скрывали, какие чувства владеют нами в данную минуту.

Разумеется, не обходилось и без ссор, тяжелых и мучительных, в такие моменты мы высказывали все, что накипело на сердце, старались безжалостно уколоть и ранить друг друга. Помню, что мы пытались сопоставить свои поступки и решить, кто из нас больше виноват. Передо мной всплывает фигура Марион — я вижу ее бледной, заплаканной, с выражением печали и обиды на лице, но непримиримой и гордой.

— Ты любишь ее?—спросила она, заронив в мою душу сомнение этим неожиданным вопросом.

— Я не знаю, что такое любовь,— ответил я, пытаясь разобраться в своих мыслях и переживаниях.— Она многообразна, она как спутанные нити пряжи.

— Но ты хочешь ее? Ты хочешь ее вот сейчас, когда думаешь о ней?

— Да,— ответил я после небольшого раздумья.— Я хочу ее.

— А я? Что будет со мной?

— Тебе придется примириться со своей участью.

— А что ты намерен делать?

— Делать! — воскликнул я в приступе величайшего раздражения от того, что меня ожидало.— А что, по-твоему, я должен делать?

Сейчас, после пятнадцати бурно прожитых лет, я смотрю на эту историю здраво и спокойно. Я смотрю со стороны, как будто речь идет о ком-то постороннем, о двух других людях, близко мне знакомых и все же осужденных мною с холодным равнодушием. Я вижу, как неожиданный удар, внезапное жестокое разочарование пробудили разум и душу Марион; как она освободилась от своих закоренелых привычек и робости, от шор, от ходячих понятий и ограниченности желаний и стала живым человеком.

Вначале в ней преобладали негодование и чувство оскорбленной гордости. Нужно было положить конец создавшемуся положению. Марион категорически потребовала, чтобы я порвал с Эффи. Под впечатлением недавних встреч со своей новой возлюбленной я ответил решительным отказом.

— Слишком поздно, Марион,— заявил я.— Это уже невозможно.

— Тогда мы не сможем больше жить вместе,— сказала она.— Не так ли?

— Ну что же,— ответил я и, подумав, добавил:— Если ты этого хочешь.

— Но разве мы можем жить вместе?

— Может быть, ты останешься в этом доме... если я уйду?

— Не знаю... Мне кажется, что я не смогу жить здесь.

— Тогда... чего же ты хочешь?

Медленно, шаг за шагом, мы обсудили все возможные варианты, пока наконец не произнесли слово «развод».

— Если мы не можем жить вместе, то мы должны быть свободны,— сказала Марион.

— Я не имею понятия о разводе,— ответил я,— ты ведь, кажется, говоришь о нем. Я не знаю, как это делается. Придется спросить у кого-нибудь, посмотреть законы... Может быть, и в самом деле другого выхода нет. Мы должны быть к этому готовы.

Некоторое время мы обсуждали наше будущее. Затем я побывал у юриста и вернулся вечером домой, получив необходимые разъяснения.

— Сейчас с юридической точки зрения у нас нет предлога для развода,— сообщил я Марион.— Очевид-

но, судя по букве закона, ты должна терпеть создавшееся положение. Это глупо, но таков закон. Но все же развода можно добиться. Помимо измены, должно быть обвинение в том, что муж бросил жену или жестоко с ней обращался. Для этого я должен ударить тебя при свидетелях или сделать еще что-нибудь в этом роде. Это невозможно. Проще всего бросить тебя — в юридическом смысле слова. Мне придется уехать, вот и все. Я буду посылать тебе деньги, а ты подашь на меня в суд для...— ну, как это называется? — для восстановления супружеских прав. Суд обяжет меня вернуться к тебе. Но я не вернусь. Тогда ты возбудишь ходатайство о разводе и получишь условное расторжение брака. Затем суд сделает новую попытку заставить меня вернуться. Если мы не помиримся в течение шести месяцев, а ты своим поведением не скомпрометируешь себя, развод становится окончательным. Вся волокита заканчивается. Такова процедура. Как видишь, жениться проще, чем развестись.

— А потом... Как я буду жить? Что станется со мной?

— Ты будешь получать определенную сумму. Это называется алиментами. Одну треть или даже половину моих доходов. Я согласен платить и больше, если ты хочешь... Ну, скажем, триста фунтов в год. Деньги понадобятся тебе, ты должна содержать стариков.

— А ты... ты будешь свободен?

— Да, мы оба будем свободны.

— И вся эта жизнь, которую ты ненавидел...

Я посмотрел на ее измученное, печальное лицо.

— Я не могу сказать, что ненавидел ее,— солгал я голосом, прерывающимся от боли.— А ты?

IX

Меня всегда поражала невероятная сложность жизни, всех происходящих вокруг нас явлений, а также и человеческих взаимоотношений. Нет ничего простого на этом свете. В любом злодеянии есть элементы справедливости, в любом добром деле — семена зла. Мы были слишком молоды и не могли разобраться в себе. Оба мы были потрясены, оглушены, в душе у нас царили сумбур и противоречивые чувства. Порой нас охватывало ярост-

ное озлобление, а вслед за тем уносил порыв нежности; мы проявляли бессердечный эгоизм, а через минуту бескорыстную уступчивость.

Марион говорила на каждом шагу какие-то несуразные вещи, противоречила себе, но по-своему была права и оставалась искренней. Теперь я понимаю, что она тщетно пыталась разобраться во всем этом хаосе, вызванном обрушившейся на нас катастрофой. Иной раз эти ее попытки прямо бесили меня, и я отвечал ей крайне грубо.

— Ну да,— без конца твердила она,— моя жизнь сложилась неудачно.

— Я целых три года старался создать тебе счастливую жизнь,— обрывал ее я.— Но ты все делала посвоему. И если я, наконец, отвернулся...

Порой она припоминала неприятности и столкновения, происходившие еще до нашей свадьбы.

— Как ты должен ненавидеть меня! Я заставила тебя долго ждать. Ну что... теперь ты отомстил.

— Отомстил! — вторил я ей.

Затем она снова начинала говорить о будущем.

— Мне придется самой зарабатывать себе на хлеб,— настаивала она.— Я хочу быть совершенно независимой. Я всегда ненавидела Лондон. Возможно, я займусь птицеводством и пчелами. Мне не хочется быть тебе в тягость. А потом...

— Все это мы уже обсудили,— отвечал я.

— Мне кажется, ты все равно будешь ненавидеть меня...

Бывали моменты, когда она относилась к нашему разводу совершенно равнодушно и принималась мечтать о том, как устроит свою жизнь, как будет пользоваться всеми благами обретенной свободы.

— Я буду всюду ходить со Смити,— говорила она.

Однажды она бросила глубоко возмутившую меня фразу — я до сих пор не могу простить ее Марион.

— Воображаю, как твоя тетка будет рада. Она никогда меня не любила...

На фоне воспоминаний об этих трудных и скорбных днях передо мной встает фигура Смити. Она так горячо переживала все происшедшее, что, завидев меня — ужасного злодея и главного виновника,— начинала задыхаться от негодования и теряла способность к члено-

раздельной речи. У нее с Марион происходили долгие, обильно окропленные слезами секретные переговоры; проявляя свое сочувствие Марион, Смити все время льнула к ней. Я видел по глазам Смити, что только абсолютное отсутствие дара речи мешало ей как следует «поговорить» со мной. О, чего бы она не наговорила мне! Помню также, как медленно пробуждалась миссис Рембот,— все внимательнее приглядывалась она к окружающему, пытаясь уловить, что носилось в воздухе, и в глазах ее появилось выражение озабоченности. Только давнишний страх перед Марион не давал ей высказать все, что она думала...

И вот наконец в разгар этих тягостных волнений как неуловимое предопределение судьбы наступил день нашей разлуки с Марион.

Я ожесточил свое сердце, потому что иначе не смог бы уйти. Наконец-то Марион поняла, что она расстается со мной навсегда. Это заслонило все пережитые страдания и превратило наши последние часы в сплошную муку. На время она позабыла о предстоящем переезде в новый дом, о своей оскорбленной гордости. Впервые она проявила ко мне настоящее сильное чувство и, вероятно, впервые испытывала его. Я вошел в комнату и застал ее в слезах, распростертой на кровати.

— Я не знала! — воскликнула она.— О! Я не понимала! Я была глупа. Моя жизнь кончена... Я остаюсь одна!.. Матни! Матни! Не покидай меня! О Матни! Я не понімала...

Волей-неволей приходилось мне ожесточиться, ибо в эти последние часы перед нашей разлукой произошло, хотя и слишком поздно, то, чего я всегда так страстно желал: Марион ожила. Я угадал это по ее глазам — они призывали меня.

— Не уходи! — кричала она. — Не оставляй меня одну!

Она прижималась ко мне и целовала меня солеными от слез губами.

Но я был связан теперь другими обязательствами и обещаниями и сдерживал себя, наблюдая за этим запоздалым пробуждением ее чувства. И все же, мне кажется, были моменты, когда еще одно восклицание Марион, одно ее слово, и мы соединились бы с ней на всю жизнь.

Но разве это было возможно? Трудно думать, что в нас произошел бы полный моральный перелом; вернее всего, через какую-нибудь неделю мы уже почувствовали бы прежнюю отчужденность и полное несоответствие темпераментов.

Трудно ответить сейчас на эти вопросы. Мы уже слишком далеко зашли. Мы вели себя, как любовники, осознавшие неизбежность разлуки, а между тем все приготовления шли своим чередом, и мы пальцем не пошевельнули, чтобы их остановить. Мои сундуки и ящики были отправлены на станцию. Когда я упаковывал свой саквояж, Марион стояла рядом со мной. Мы походили на детей, которые, затеяв глупую ссору, обидели друг друга и теперь не знают, как исправить ошибку. В эти минуты мы полностью, да, полностью принадлежали друг другу.

К маленьким железным воротам подъехал кэб.

— Прощай! — сказал я.

— Прощай!

Мы держали друг друга в объятиях и целовались, как это ни странно, с искренней нежностью. Мы слышали, как маленькая служанка прошла по коридору и отперла дверь. В последний раз мы прижались друг к другу. В эту минуту не было ни возлюбленных, ни врагов, а только два существа, спаянных общей болью.

Я оторвался от Марион.

— Уйди,— сказал я служанке, заметив, что Марион спустилась по лестнице вслед за мной.

Разговаривая с кучером, я чувствовал, что Марион стоит позади меня.

Я сел в кэб, твердо решив не оглядываться, но, когда мы тронулись, я вскочил и высунулся в окошко, чтобы бросить взгляд на дверь.

Она оставалась широко раскрытой, но Марион уже не было.

Я решил, что она убежала наверх.

X

Я расстался с Марион расстроенный и удрученный и уехал, как было условлено, к Эффи, которая ожидала меня в снятой мною квартире около Орпингтона. Я припоминаю ее стройную, легкую фигурку на станционной

платформе, когда она шла вдоль поезда и искала меня глазами. Помню, как мы брели в сумерках через поля: я думал, что испытаю огромное облегчение, когда разлука с Марион будет уже позади, но обнаружил, что истерзан морально и что меня мучает сознание какой-то непоправимой ошибки. Вечерние сумерки сливались в моем представлении с мрачной фигурой Марион, и оттого казалось, что все вокруг дышит ее горем. Но я должен был не отступать от своих намерений и оправдать доверие Эффи, той Эффи, которая не ставила мне никаких условий, не требовала никаких гарантий, а просто бросилась в мои объятия.

Мы молча шли через вечерние поля, туда, где небо было окрашено золотом и пурпуром угасающего заката. Эффи прижималась ко мне и порой заглядывала мне в лицо.

Она понимала, что я тяжело переношу разлуку с Марион и что наша встреча не может быть радостной. Она не возмущалась и не ревновала. Странно, но она относилась к Марион без всякой враждебности. За все время, что мы провели вместе, она не сказала о ней ни одного дурного слова...

Эффи решила во что бы то ни стало рассеять мое мрачное настроение и делала это с таким же искусством, с каким мать утешает капризного ребенка. Она добровольно взяла на себя роль моей покорной красивой рабыни и в конце концов успокоила меня. И все же я помнил свою глупенькую Марион, ее слезы и горе, и все еще чувствовал себя глубоко несчастным при мысли о своей погибшей любви.

Все это, как я уже говорил, и сейчас еще кажется мне непонятным. Я мысленно возвращаюсь в страну воспоминаний, посещаю ее отдаленные уголки, взгорья, уединенные горные озера, и она кажется мне причудливой. Вначале я думал, что поселюсь с Эффи в каком-то чувственном раю. Однако разлитое в природе желание исчезает бесследно, когда оно удовлетворено, подобно тому, как исчезает день в сумраке ночи. Все события и проявления жизни становятся мрачными и холодными. Я словно поднялся на какую-то вершину, в область печальных вопросов, и увидел мир с новых сторон и с новых точек зрения; страсть и любовь остались где-то далеко-далеко.

Я испытывал глубокое недоумение. Впервые я бросил ретроспективный взгляд на свою жизнь, попытался охватить ее в целом.

Я решительно ничего не достиг. Но тогда что же я делал! И во имя чего я жил?

Я много разъезжал по делам Тоно Бенге, то есть по делам, которыми занялся, чтобы связать себя с Марион, и которые все еще держали меня в плену, хотя мы и разошлись с ней; иногда мне удавалось провести в Орпингтоне конец недели или ночь, но и там меня мучили неотвязные вопросы. Я думал о них в поездах, стал рассеян и забывчив и теперь уже далеко не с прежним рвением относился к своим обязанностям. Ясно припоминается мне один вечер. Я сидел на зеленом склоне холма, обращенном к Севеноксу, рассеянно любовался расстилавшимся передо мною широким простором и размышлял о своей судьбе. Я мог бы записать все мысли, какие роились у меня в голове в тот вечер. Эффи—неугомонная маленькая горожанка — бродила внизу, в кустарнике, и собирала букет, находя все новые, неизвестные ей раньше цветы. В кармане у меня лежало письмо от Марион. Накануне я предпринял несколько попыток примириться с ней. Одному богу известно, как горячо я стремился к этому, но холодное, небрежное письмо Марион оттолкнуло меня. Я понял, что никогда не смогу вернуться к прежней, нудной, безотрадной жизни с ее постоянными разочарованиями. Это было невозможно. Но что же предпринять? Я не видел перед собой честного, прямого жизненного пути.

— Как я теперь буду жить? — этот вопрос неотвязно преследовал меня.

Неужели все люди такие же, как и я, рабы случая, минутного порыва, пустых традиций и так же подчиняются самым противоречивым побуждениям? Должен ли и я раз навсегда придерживаться того, что сказал, сделал, избрал? Неужели мне не оставалось ничего другого? Неужели я должен обеспечить Эффи, вернуться с раскаянием к Марион, вновь заняться продажей той же самой или какой-нибудь новой дряни и так провести остаток своих дней? Я ни на секунду не мог согласиться с этим. Но что же мне оставалось делать? Возможно, что случай со мной типичен для многих мужчин. Может

быть, и в прошлые века люди так же опрометчиво пускались в свое жизненное странствие без путеводителей и карт? В средние века, в дни расцвета католицизма, человек шел к священнику, и тот выносил свое непререкаемое решение: поступай так, делай это. Но разве и в средние века я подчинился бы беспрекословно такому решению?..

В одну из таких минут Эффи подошла ко мне и присела рядом на маленький ящик, который стоял у окна в нашей комнате.

— Хмуренький,— сказала она.

Я улыбнулся, но тут же позабыл о ней и, подперев руками голову, продолжал неподвижно смотреть в окно.

— Ты так сильно любил жену? — тихо прошептала она.

— О! — воскликнул я, выведенный из задумчивости ее вопросом.— Право, не знаю. Я не понимаю, что такое любовь. Жизнь, дорогая, жестоко ранит! Она наносит нам раны без всякого смысла и без всякой причины. Я совершил грубую ошибку. Я не понимал. Во всяком случае, тебе я не хочу причинять страданий.

Я повернулся, привлек ее к себе и поцеловал в ушко... Да, это было тяжелое время. Мне казалось, что тогда я утратил живость своего воображения. У меня не было жизненной цели, куда я мог направить свою энергию. Я искал. Я неутомимо и беспорядочно читал. Я обращался и к Юарту, но помощи не получил. В те дни разочарования и безразличия ко всему я впервые познал самого себя. До этого я видел только окружавший меня мир и некоторые вещи в нем и стремился к ним, забывая обо всем на свете, поглощенный своим порывом. Теперь я имел возможность заняться многими интересными делами, которые могли бы развлечь меня, доставить удовлетворение, но во мне уже не оставалось никаких желаний.

Бывали минуты, когда я серьезно подумывал о самоубийстве. По временам моя жизнь представала передо мной в каком-то мрачном, зловещем свете, казалась цепью грубых ошибок, падений, проявления невежества и жестокости. Мной овладело то, что в прежние времена теологи называли «сознанием своей греховности». Я стремился к спасению, может быть, не руководствуясь формулой, ка-

кую подсказал бы мне методический проповедник, но все же к спасению.

В наши дни люди обретают спасение иной раз самым неожиданным путем. Разумеется, тут дело не в словесных формулах. Непременно нужно к чему-то стремиться, чем-нибудь увлекаться. Я знал одного человека, который нашел спасение в фабрике фотопластинок, а другой с этой целью начал писать историю какого-то поместья. В конце концов не все ли равно, чем забавляться? Многие сейчас увлекаются социализмом, насколько он доступен их пониманию, или же социальными реформами. В моем же представлении социализм всегда был связан с деятельностью недалеких людей, и это настораживало меня. Тут слишком много человеческого. Я не был равнодушен к забавным сюрпризам, грубоватым шуткам, какие преподносит жизнь, умел подмечать ее гримасы, ее смешную сторону, любил приключения, но для меня не это самое главное. У меня нет подлинного чувства юмора. Я отношусь ко всему на свете с одинаковой серьезностью. Я спотыкаюсь и барахтаюсь, но знаю, что за всеми этими веселыми пустяками скрывается нечто серьезное, нечто огромное, светлое и прекрасное — реальность. Я не обладаю и чувством реального, но тем не менее реальность существует. Я как уличный мальчишка, влюбленный в какую-то невообразимую красавицу. Я никогда не видел своей богини и никогда не увижу, и это обедняет в моих глазах жизнь, лишает ее привлекательности, делает излишне суровой.

Но боюсь, что читатель не поймет, о чем я говорю, да и сам я не слишком-то понимаю. Но все же кое-что связывает и примиряет меня с реальным миром: солнечный закат или другое величественное явление природы, любовь или какое-нибудь другое страстное увлечение, высокое небо над моей головой; это «кое-что» я улавливал во внешности Марион, находил и терял в картинах Мантеньи; оно сквозит в контурах кораблей, которые я строю (вы должны посмотреть мой последний и самый лучший корабль — «Икс-2»).

Я не могу объяснить, что именно я собой представляю. Быть может, я просто-напросто озлобленный, нравственно неполноценный и грубый человек, не по заслугам наделенный острым умом. Конечно, я не могу это принять

как окончательный приговор. Во всяком случае, мной владело чувство обреченности, невыносимое сознание собственной никчемности, и занятие воздухоплавательной техникой на время успокаивало меня...

К концу этого тяжелого кризиса я снова отдался науке, увлекся техникой. Я решил, что найду здесь свое спасение и смогу удовлетворить все свои запросы. Я вынырнул наконец из окружающего меня мрака, цепляясь за свое решение, как за якорь спасения.

Как-то раз (это было накануне того дня, когда Марион возбудила перед судом ходатайство о восстановлении супружеских прав) я внезапно явился в кабинет к дяде и уселся против него.

— Послушай,— сказал я,— мне надоело все это.

— Хелло! — ответил он, откладывая в сторону какие-то бумаги.— Что случилось, Джордж?

— Творится сущая чепуха!

— Как так?

— Моя жизнь пошла кувырком, все полетело к черту,— сказал я.

— Марион — глупая девица, Джордж, и отчасти я понимаю тебя. Но ты покончил с этим, и солнце сияет по-прежнему...

— О, дело совсем не в этом! — воскликнул я.— Это еще полбеды. Мне осточертело, до смерти осточертело это проклятое мошенничество.

— Что? Что? — спросил дядя.— Какое мошенничество?

— Ты же знаешь. Я хочу настоящего дела. Иначе я сойду с ума. Я из другого теста, чем ты. Ты плаваешь в этом море лжи, а я барахтаюсь, как мышь в ушате с мыльной пеной,— вверх и вниз, туда-сюда. Я не могу этого выдержать. Я должен поставить ногу на что-то твердое... или я не знаю, что со мной будет...

Я улыбнулся, так как на лице дяди появилось выражение ужаса.

— Я говорю серьезно,— сказал я.— Я все обдумал, принял решение. Спорить бесполезно. Я хочу заняться работой, настоящей работой! Нет! У нас здесь не работа, а сплошное надувательство. У меня есть идея! Она не нова, я думал о ней несколько лет назад, но теперь она

вновь пришла мне в голову. Послушай! Почему я должен заниматься с тобой аферами? Я верю, что приходит время, когда полеты становятся возможными. Настоящие полеты!

— Полеты?!

— Да. Полеты. Машины тяжелее воздуха. Это можно осуществить, и я хочу заняться этим.

— А есть у тебя для этого деньги, Джордж?

— Ну, деньги меня мало волнуют. Но я должен этим заняться.

Я упорно стоял на своем, и это в конечном счете помогло мне пережить самое тяжелое время моей жизни. Дядя, после довольно нестойкого сопротивления и беседы с тетушкой, стал относиться ко мне, как отец к избалованному сыну. Он обеспечил меня необходимым капиталом, освободил от всех обязанностей, связанных с дальнейшим развитием нашего дела (это происходило уже в более поздний период, который я могу назвать «моггсовским»), и я с мрачным упорством взялся за работу.

О своих парящих и летающих машинах я расскажу в другой раз. Слишком уж долго я умалчивал в своем повествовании о дядюшке. Но все же я поясню, что заставило меня увлечься новым делом. Я принялся за свои опыты, разочаровавшись в своем идеале, воплощением которого в свое время была для меня Марион. Я находил забвение в работе, и она двигалась успешно. Впрочем, наука тоже показала себя довольно-таки неотзывчивой любовницей, хотя я служил ей лучше, чем Марион. Но в то же время царящий в науке порядок, необъятные горизонты, которые она открывает, ее железная определенность спасли меня от полного отчаяния.

И все же я должен полететь. Между прочим, я изобрел самые легкие моторы в мире...

Я пытаюсь рассказать обо всем, что со мной произошло. Это не так-то просто. Но я пишу роман, а не трактат. Не думайте поэтому, что я расскажу сейчас о благополучном решении всех своих трудностей. И теперь, окруженный своими чертежами, под несмолкаемый грохот молотов, я все еще ищу ответа на нерешенные вопросы. По существу, вся моя жизнь была сплошными иска-

ниями; я никогда и ничему не верил, всегда был неудовлетворен тем, что видел, и тем, во что верили другие: в кропотливом труде, в мощи созданных мною вершин, в опасности я все время искал чего-то, что трудно поддавалось определению, чего-то прекрасного, вечного, достойного преклонения, что безраздельно стало бы моим и в чем я мог бы обрести свое спасение. Я не знаю, как назвать это неуловимое нечто, но знаю, что я его пока еще не нашел.

XI

Прежде чем закончить эту главу и рассказать о дальнейшей карьере дяди, я сообщу еще кое-какие подробности о Марион и Эффи, а затем некоторое время не буду касаться своей личной жизни.

Мы довольно регулярно переписывались с Марион, обменивались дружескими, но пустыми, ничего не говорящими письмами. Нелепый процесс развода кончился. Она уехала из дома в Илинге, перебралась вместе со своей теткой и родителями в провинцию и купила маленькую ферму где-то около Льюиса в Сэссексе. Для своего отца (счастливый человек!) она построила парник с отоплением и рассказывала в своих письмах об инжире и персиках. Весной и летом их ферма, видимо, процветала, но после Лондона зима в Сэссексе оказалась слишком суровой для Ремботов. Они опустились и заросли грязью. По вине мистера Рембота — от неправильного кормления — пала корова, и это повергло их в еще большее уныние. К концу года ферма оказалась в критическом положении. Я помог Марион выбраться из этих затруднений, и они возвратились в Лондон. Марион вступила компаньоном в дело Смити, которое, как гласили фирменные бланки, теперь называлось просто «Платья». Родители и тетка поселились где-то в коттедже. После этого письма от Марион стали приходить все реже и реже. В постскриптуме одного из своих писем она уколола мне сердце глухим намеком на дни нашей близости. «Бедный старенький Мигглс умер»,— писала она.

Прошло почти восемь лет. Я возмужал. Я приобрел опыт, знания и жил теперь новыми интересами, в новом, широком мире, более широком, чем мог себе пред-

ставить во время совместной жизни с Марион. Она присылала редкие, бессодержательные письма. Наконец они прекратились. В течение полутора лет я ничего не получал от Марион, если не считать ее квартальных квитанций, которые пересылал мне банк. Тогда я выругал Смити и написал Марион открытку. «Дорогая Марион,— писал я,— как дела?»

Ее ответ необычайно удивил меня. Она сообщила, что вторично вышла замуж, за некоего мистера Уочорна— одного из главных агентов по продаже дамских выкроек. Но она все еще писала на бланке с названием и адресом фирмы «Пондерво и Смит («Платья»)». На этом, если не считать небольшого разногласия между мною и Марион по поводу размеров суммы на ее содержание и того факта, что фирма продолжала использовать мою фамилию (что злило меня), заканчивается история Марион, и эта особа совершенно исчезает из моего повествования. Я не знаю, где она и что с ней. Не знаю, жива она или нет. Мне кажется и диким и нелепым, что два человека, настолько близких друг другу в прошлом, стали такими чужими, но так случилось с нами.

С Эффи мы тоже расстались, хотя иногда я встречаюсь с ней. Мы никогда не собирались пожениться, между нами не было родства душ. Нас охватила бурная страсть, но я был не первым и не последним ее любовником. Она жила совсем другими интересами, чем Марион. У нее была своеобразная, но очень жизнерадостная натура. Я не помню, чтобы Эффи когда-нибудь злилась. Она была, если можно так выразиться, на редкость удобоваримой. Этим и объяснялся секрет ее обаяния. Она обладала исключительно добрым сердцем. Я помог ей обзавестись собственным маленьким делом, причем она поразила меня своими деловыми способностями. Эффи несколько располнела, но это не мешает ей энергично и с большим успехом руководить своим машинописным бюро в Рейфлис-Инн. Она до сих пор сохранила свое человеколюбие. С год назад она женила на себе одного неудачника. Ее избранником оказался человек почти вдвое моложе ее, никудышный поэт и изрядный наркоман, обладатель вялой походки и длинных светлых волос, ниспадающих на голубые глаза. Эффи заявила, что он нуждался в няньке.

Но пора кончать рассказ о моей неудачной женитьбе и о моих юношеских любовных делах. Я подробно изложил, что привело меня к решению всецело отдаться инженерной науке и заняться опытами с аэропланами.

Теперь я должен вернуться к основной теме моего повествования — к Тоно Бенге, к новым начинаниям дяди и рассказать о том, как благодаря им я узнал много интересного и необычного в окружающем мире.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДНИ ВЕЛИЧИЯ ТОНО БЕНГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТЕЛЬ ХАРДИНГЕМ, И КАК МЫ СТАЛИ ВАЖНЫМИ ПЕРСОНАМИ

I

Теперь, когда я вновь возвращаюсь к основной теме моего повествования, пожалуй, уместно дать портрет моего дядюшки, каким он был в те блистательные годы, когда бросил торговлю и занялся финансами. Коротышка и толстяк, он еще больше растолстел, пока наживал состояние на Тоно Бенге, но, как только основано было предприятие, появилось множество новых волнений и с ними несварение желудка, а потому он обрюзг и заметно похудел. Его брюшко — да простит мне читатель, что я начинаю описывать наружность дяди с самых выдающихся ее черт,— сначала отличалось приятной округлостью, но потом, не уменьшившись в размере, несколько обвисло и утратило свой победоносный вид. Он всегда ходил, выпячивая живот, выставляя его напоказ, словно гордился им. До последних дней все его движения оставались быстрыми, порывистыми; при ходьбе он не шагал, как все люди, а быстро-быстро семенил своими короткими крепкими ножками, и при этом казалось, что они, как у тряпичной куклы, сгибаются не в коленях, а где попало.

Помнится, черты лица его приобрели необычайную выразительность, торчащий кверху нос с каждым днем задирался все выше, словно бросая вызов всему свету,

а рот все сильнее перекашивался. Он почти не расставался с длинной сигарой, которая то бойко нацеливалась в небо из одного угла рта, то уныло свисала из другого; она была столь же красноречива, как собачий хвост, и дядюшка вынимал ее изо рта, лишь когда собирался произнести что-нибудь из ряда вон выходящее. Очки он носил на широкой черной ленте, они криво сидели у него на носу и вечно съезжали на сторону. Казалось, чем больше он преуспевал, тем волосы его становились жестче, но под конец на макушке они сильно поредели, и он безжалостно зачесывал их вверх за уши, однако они непокорно топорщились и все равно торчали ежиком надо лбом.

Основав Тоно Бенге, он стал одеваться по-столичному и с тех пор почти не изменял этому новому стилю. Он предпочитал цилиндры с большими, широкими, пожалуй, по современным понятиям, чересчур для него широкими полями, и надевал цилиндр набекрень под самым неожиданным углом; брюки он носил хорошего покроя, но в слишком уж широкую полоску; сюртуки любил длинные, свободные, хоть и казался в них еще меньше ростом. Пальцы его были унизаны дорогими кольцами, и я помню одно, на левом мизинце, с большим красным камнем, на котором вырезаны были гностические символы. «Башковитые парни эти гностики, Джордж,— говорил он мне.— В этом кольце премудрость. Оно приносит удачу». Часы у него были всегда на черном шерстяном шнурке. Отправляясь за город, он непременно облачался во все серое, и даже большой цилиндр и тот был серый; для поездок в автомобиле наряжался в коричневую мохнатую шляпу и меховой костюм, брюки которого составляли одно целое с такими же меховыми сапогами. По вечерам он надевал белый жилет и гладкие золотые запонки. Бриллианты он ненавидел. «Крикливы,— говорил он о них.— Все равно что нацепить на себя квитанцию об уплате подоходного налога. Это годится для Парк-Лейн. Для биржевой мелкоты. Не в моем стиле, Джордж. Я солидный финансист».

Сказанного вполне достаточно, чтобы дать представление о его внешности. Одно время она была известна всем и каждому, ибо в разгар бума он разрешил помещать в дешевых газетках множество своих фотографий

и, наконец, даже карандашный портрет... За те годы и голос его изменился: прежде у него был тенор, а теперь в нем появились низкие бархатистые ноты и, чтобы определить их, моих музыкальных познаний явно не хватает. С годами он почти отстал от привычки со свистом сквозь зубы втягивать воздух: «з-з-з» — и возвращался к ней лишь в минуты, когда особенно сильно волновался. На протяжении всей своей карьеры, несмотря на огромное, под конец просто сказочное богатство, в повседневных своих привычках он остался так же неприхотлив, как во времена Уимблхерста. Он никогда не прибегал к услугам лакея; в самом расцвете его величия брюки ему гладила горничная, а когда он выходил из дома или из отеля, швейцар смахивал пыль с его сюртука. Старея, он начал за завтраком умерять свой аппетит и одно время много говорил о докторе Хейге и мочевой кислоте. Но за обедом и ужином ел все подряд, правда, в меру. Он знал толк в еде и, когда подавали какое-нибудь из его любимых блюд, громко причмокивал, и на лбу у него проступал пот. Он старательно ограничивал себя в употреблении спиртного, кроме тех случаев, когда какой-нибудь банкет или иное торжество заставляли его забыть всегдашнюю осторожность, и тогда, увлекшись, он пил в свое удовольствие и, раскрасневшись, без умолку болтал о всякой всячине, кроме своих дел и планов.

Чтобы довершить этот портрет, остается сказать, что все его движения были порывисты и резки, как прыжки китайского болванчика, и какую бы позу он ни принял, всегда казалось, что остановился он внезапно и лишь на миг и сейчас вновь рванется куда-то. Будь я художником, я непременно нарисовал бы его на фоне того тревожного, хмурого неба, какое часто видишь на картинах восемнадцатого века, в почтительном отдалении — огромный, новейшей марки автомобиль, готовый вот-вот сорваться с места, секретарь, бегущий с бумагами, и шофер, уже взявшийся за руль.

Таков был человек, который создал грандиозное предприятие Тоно Бенге, управлял им, затем с успехом перестроил его и медленно, но неуклонно шел от одного грандиозного начинания к другому, пока не завоевал восхищение самых широких кругов вкладчиков. Я уже, кажется, упоминал, что задолго до того, как мы предложили

вниманию публики Тоно Бенге, мы открыли контору по распространению в Англии некоторых американских изделий. Вдобавок в скором времени мы стали совладельцами фирмы «Хозяйственное мыло Моггса»; этим дядюшка начал свой поход под лозунгом «Все для удобства хозяек», и поход этот, вкупе с круглым выпяченным брюшком и повелительной осанкой, завоевал дядюшке звание нового Наполеона.

II

Встреча моего дяди с молодым Моггсом на обеде в Сити (который давала, помнится, какая-то бутылочная фирма) в разгар торжества, когда они оба успели изрядно выпить, свидетельствует о том, что современная коммерция еще не совсем чужда романтизма. Это был внук Моггса, основавшего дело,— типичное детище образованной и утонченной вырождающейся плутократии. Воспитывали его совсем как Рескина, поощряли увлечение историей, а управление делами фирмы возложили на его двоюродного брата и младшего компаньона.

Мистер Моггс, натура тонкая и склонная к ученым занятиям, после долгих поисков достойной деятельности, которая не напоминала бы ему постоянно о мыле, только было решил посвятить себя истории Фив египетских, как двоюродный брат внезапно скончался, и вся ответственность легла на его плечи. В застольной беседе, разоткровенничавшись, Моггс стал плакаться, что на него свалились столь неприятные и тягостные обязанности, и дядюшка изъявил готовность облегчить его бремя и тут же, не сходя с места, предложил себя в компаньоны. Они даже договорились об условиях, да, да, это были настоящие деловые условия, хотя будущие компаньоны и сильно подвыпили.

Каждый джентльмен записал имя и адрес другого у себя на манжете, и они расстались по-братски, мило и непринужденно, а наутро хватились манжет, когда вчерашние сорочки уже попали в стирку. То был один из дней, когда я занимался с дядюшкой делами, и я видел, как он мучительно пытался припомнить имя или приметы своего компаньона.

— Он такой длинный, белобрысый, в очках, произношение этакое благородное, и физиономия такая, знаешь, прямо из аквариума.

Я был озадачен.

— Как из аквариума?

— Ну, понимаешь, уставится на тебя, как рыба. Он занимается мылом, я почти уверен. Он человек с именем. И дело у него первый сорт, надежнее не найдешь. Я сразу это сообразил, хотя и был немного на взводе...

Хмурые и озабоченные, мы наконец вышли из дому и отправились на Финсбери в поисках хорошей бакалейной лавки с богатым выбором товаров. Сперва мы зашли в аптеку и купили возбуждающего для дядюшки, а потом нашли и нужную лавку.

— Дайте мне по полфунта всех сортов мыла, какие у вас есть. Да, прямо сейчас... Погоди-ка, Джордж... А вот то мыло у вас как называется?

Дядя спросил о другом куске, о третьем и наконец услышал в ответ:

— Хозяйственное мыло Моггса.

— Оно самое,— сказал дядюшка.— Можно было не ломать себе голову. Идем, Джордж, позвоним этому Моггсу по телефону. Что, заказ? Покупаю, конечно. Пошлите все это... пошлите все это лондонскому епископу. Он сумеет этим распорядиться с толком. (Прекрасный человек этот епископ... благотворительность и все такое прочее.) А счет пришлите мне. Вот карточка Пондерво, Тоно Бенге.

Потом мы отправились к Моггсу и застали его еще в постели,— развалившись на своем роскошном ложе, в куртке из верблюжьей шерсти, он попивал китайский чай, и вид у него был отнюдь не такой, как полагается в час второго завтрака.

Встреча с молодым Моггсом значительно расширила мои познания о человеке, с такого рода людьми я еще не сталкивался; он казался очень холеным, был осведомлен обо всем на свете, но уверял меня, что никогда не читает газет и не употребляет никакого мыла.

По его словам, у него была для этого слишком нежная кожа.

— Мы вам устроим широкую даровую рекламу. Не возражаете? — спросил дядюшка.

— Рекламы есть уже на вокзалах, на скалах южного побережья, на театральных программках, в книжках моего сочинения в стихах, на рекламных щитах и даже в «Mercure de France» [1].

— Мы все на этом разбогатеем,— заявил дядя.

— Если только вы не будете мне надоедать, можете умножать мои богатства, сколько вам вздумается,— проговорил Моггс, закуривая сигарету.

И уж, конечно, из-за нас он не стал беднее. Это первая фирма, чья история во всех подробностях послужила материалом для рекламы; мы даже добились того, что иллюстрированный журнал поместил статьи о необычайном прошлом Моггсов. Мы состряпали Моггсиану. Предоставив нашему компаньону наслаждаться жизнью, весьма далекой от коммерции, мы придумали прелестные жизнеописания Моггса Первого, Моггса Второго, Моггса Третьего и Моггса Четвертого. Если вы не слишком молоды, вы должны помнить некоторые из них и нашу великолепную витрину, разукрашенную совсем, как это делали при короле Георге. Дядюшка накупил мемуаров, относящихся к началу девятнадцатого века, проникся стилем эпохи и принялся сочинять разные истории о старике Моггсе Первом и герцоге Веллингтоне, о Георге Третьем и некоем мыловаре («Почти наверняка это был старик Моггс»). Вскоре к мылу «Примула», которое с самого начала выпускал Моггс, мы прибавили еще несколько душистых и пережиренных сортов, «специальное детское — употреблялось в доме герцога Кентского и при купании королевы Виктории в дни ее младенчества»,—а сверх того порошок для чистки серебра «Совершенство» и наждак. Мы присоединили к себе небольшую второразрядную фирму графитовых изделий и вытащили на свет ее родословную, которая уходила корнями в глубь веков. Дядюшка самолично додумался довести до сведения покупателей, что она поставляла свой товар самому Черному Принцу. Он не упускал случая узнать что-нибудь новенькое о графите и его истории. Помню, как он поймал на ходу президента общества Пеписа [2].

---

[1] «Вестник Франции».

[2] Пепис, Сэмюэл (1633—1703) — секретарь адмиралтейства, автор ценного по своим материалам дневника.

— Скажите, а у Пеписа нет ни словечка о графите? Ну, знаете, графит, который для грифелей? Или он и не упоминает о таком общеизвестном факте?

В те дни он наводил ужас на видных историков.

— Не бойтесь, не нужна мне эта ваша история с трубами и барабанным боем,— обычно говорил он.— На что мне знать, кто у кого был в любовниках и почему такой-то разорил такую-то провинцию, все это враки и чепуха. Какое мне до этого дело! Да и никому сейчас нет до этого дела. Они и сами-то, наши предки, не знали толком, что к чему... А я вот что хочу знать. В средние века было что-нибудь придумано, чтобы горничным не ползать по полу на коленках? Когда рыцари после турнира принимали горячую ванну, что они клали в воду? А Черный Принц — ну, знаете, тот самый,— у него что, латы были выкрашены, или эмалью покрыты, или как? По-моему, вычернены графитом. Очень даже возможно — знаете, как белят глиной,— так вот, я хочу знать: умели они тогда чернить графитом?

Случилось так, что, расхваливая на все лады мыло Моггса во всякого рода рекламах, которые произвели переворот в литературе этого рода, дядюшка нечаянно открыл для себя не только историю давнего прошлого, но и огромную область мелких предметов, в которой было где развернуться изобретательному и предприимчивому человеку: сколько возможностей таят в себе совки для мусора и мясорубки, мышеловки и пылесосы, все то, что всегда найдешь в москательных и скобяных лавках. И он снова загорелся мечтой своей юности, которая родилась еще до того, как я стал помогать в Уимблхерсте, мечтой создать «Патентованную квартиру Пондерво».

— Человеческое жилище необходимо привести в порядок, Джордж,— сказал он.— Этакая дурацкая неразбериха! Вещи так и путаются под ногами. Надо все расставить по местам.

Одно время он отдавался этим делам с пылом истинного социального реформатора.

— Надо сделать домашний очаг современным. Вот что я задумал, Джордж. У нас сейчас не быт, а какие-то обломки варварства, а надо из него сделать хороший механиз-ззз-зм, достойный нынешней цивилизации. Я отыщу изобретателей и заделаюсь монополистом

по этой части. Всем займусь, каждой мелочью. Чтоб моток бечевки не превращался в ком, который никак не распутаешь, а клей—в камень. Понимаешь? А вслед за удобствами—красота. Красота, Джордж! Все эти штучки сделать так, чтоб они радовали глаз-ззз. Это твоя тетка придумала. Банки для джема — загляденье! Пускай какой-нибудь из этих новомодных художников разрисует образцы всякой посуды, а то она теперь уж очень безобразная. Пускай эти разбойники изобретатели выдумают для нас самые лучшие пылесосы. И к горничной в ящик чтоб приятно было заглянуть: тряпки для уборки — лучших расцветок. Или вот ведра. Хоть вешай их на стену, как грелки. Вся металлическая посуда у нас заблестит и засверкает так, что смотреть любо-дорого! Понимаешь, чего я хочу? Вместо всех этих дурацких, уродливых вещей...

Нас одолевали великолепные видения, и, когда я проходил мимо скобяных и москательных лавок, они, казалось, обещали так много, словно деревья в конце зимы, готовые вот-вот покрыться листвой и зацвести...

И мы в самом деле немало потрудились, чтобы поновому засверкали все витрины. До чего они были скучны, серы, бесцветны, эти витрины восьмидесятых годов, по сравнению с тем, что мы из них сделали!..

Но я не стану излагать здесь во всех подробностях сложную финансовую историю акционерной компании Моггс (с ограниченной ответственностью), в которую мы на первых порах преобразовали фирму «Моггс и сыновья»; не стану распространяться о том, как после этого мы направили свою изобретательность на усовершенствование мелких скобяных изделий; как мы стали сперва агентами по их распространению, потом компаньонами, как придушили парочку конкурентов, заключили выгодные сделки с поставщиками разного рода сырья и тем самым подготовили почву для создания нашей второй фирмы, «Домашний обиход», или «ДоО», как называли ее в Лондоне. А затем последовало преобразование Тоно Бенге, потом «Все для домоводства» — и, наконец, бум!

Всем этим перипетиям не место в романе. Да притом мне уже однажды пришлось говорить об этом... Подробный, мучительно подробный рассказ обо всем можно

найти в моих и дядиных показаниях по делу о банкротстве и в различных моих заявлениях, сделанных после его смерти. Иные знают эту историю всю целиком, иные даже чересчур хорошо, большинству все эти подробности неинтересны,— это история человека с воображением, попавшего в мир цифр; и если вы не расположены сравнивать длинные столбцы фунтов, шиллингов и пенсов, сопоставлять даты и поступления, все это покажется вам и бессмысленным и непонятным. И в конце концов вы убедитесь, что все эти первоначальные расчеты не то что неверны, просто в них есть какая-то натяжка. При разборе дела, когда речь шла о фирме Моггса, о ДоО, так же, как о первых шагах и о преобразовании Тоно Бенге, с точки зрения коммерческой этики, мы вышли незапятнанными. Знаменитое объединение нескольких предприятий в фирму «Все для домоводства» было первым по-настоящему значительным делом моего дядюшки, первым проявлением его смелых методов; для этого мы откупили ДоО, фирму Моггс (она была тогда в полном расцвете и выплачивала по дивидендам семь процентов) и приобрели «Чистоль» Скиннертона, предприятие Райфлшоу и «Мясорубки и кофейные мельницы» Ранкорна. К этому объединению я не имел никакого касательства и всецело предоставил его дядюшке, потому что в ту пору увлекся воздухоплаванием и решил продолжать нашумевшие в то время опыты Лилиенталя, Пилчера и братьев Райт. Я хотел превратить планер в настоящую летательную машину. Я намеревался установить на нем двигатель, как только разрешу две-три все еще неясные проблемы, связанные с осевой устойчивостью. У меня был достаточно легкий мотор, переделанный мною из небольшой турбины Бриджера, но я знал, что должен быть всегда начеку и не давать своему аэроплану воли, иначе он, того и гляди, задерет нос и завалится на спину, и пока я не отучил его от этой блажи, поставить мотор было бы равносильно самоубийству.

Но об этом я расскажу после. А теперь я хочу сказать, что только после банкротства понял, как опрометчиво дядюшка обещал (и сдержал свое обещание) платить по восемь процентов годовых на обыкновенную акцию компании «Все для домоводства», капитал которой был гораздо ниже объявленного.

Ни я, ни дядя даже не отдавали себе отчета в том, насколько я отошел от дел, занятый своими исследованиями. Финансы были мне куда меньше по вкусу, чем организация фабрики Тоно Бенге. На этом новом коммерческом поприще нельзя было шагу ступить без блефа и спекуляций, тут слишком часто шли на риск и утаивали истинное положение дел — все это ненавистно человеку с научным складом ума. Не то чтобы я боялся, просто я чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Я ничего не опасался, но мне была не по душе эта нечистоплотная, безответственная работа. Постепенно, то под одним, то под другим предлогом я почти совсем перестал ездить к дяде в Лондон. Поэтому последний этап его деловой карьеры остался вне поля моего зрения. Я жил, можно сказать, рядом с ним, говорил с ним, давал кое-какие советы, иной раз помогал ему отбиться от толпы, которая осаждала его по воскресеньям в Крестхилле, но не следовал за ним и не пытался его направлять.

Со времени ДоО он выскочил на поверхность финансового мира, как пузырь на поверхность реки, а я продолжал копошиться в глубине, словно рак в тине.

Так или иначе он необычайно преуспевал. Я думаю, публику он особенно привлек тем, что избрал столь близкую всем и доступную область — сразу видишь, во что ты вложил свои деньги: название фирмы всегда у тебя перед глазами и на тряпках и на ремнях для правки бритв; результаты налицо, значит, дело верное, солидное, незыблемое, как египетские пирамиды. Тоно Бенге после реконструкции приносил тринадцать процентов годовых, Моггс — семь, ДоО — девять, по-видимому, вполне надежных, да еще «Все для домоводства» — восемь; таким знали дядю в деловых кругах, и потому он и сумел прибрать к рукам «Оздоровляющий экстракт» Робарна, «Пасту для бритья» и «Кристаллы для ванн», а через три недели, продав их, положить в карман двадцать тысяч фунтов чистоганом. Мне кажется, что товары Робарна и в самом деле стоили тех денег, которые платила за них публика, по крайней мере до тех пор, пока дутая реклама не приписала им ни с чем не сообразные достоинства. То было время доверия и деловой экспансии; люди искали, куда бы вложить свои деньги, и акции промышленных предприятий были в моде. Цены все

росли и росли. Чтобы всплыть на высокий и зыбкий гребень финансового могущества, дядюшке оставалось не так уж много. «Глотай мир, как устрицу, Джордж,— говорил он,— да смотри, чтобы ее не выхватили у тебя из-под носа», что означало — смело и уверенно покупать солидные предприятия по сходной цене, вкладывать в них еще тысяч по тридцать—сорок и перепродавать. Право, у него только и было одно затруднение: как бы поумнее распорядиться кучей акций, которые оставались после каждой такой сделки. Но в те годы я почти не задумывался над его делами, не отдавал себе отчета в том, что здесь что-то неладно, и спохватился лишь тогда, когда уже ничем нельзя было ему помочь.

III

Вспоминая дядюшку, каким он был в канун великого бума, в разгаре лихорадочной деятельности, я представляю себе его в тогдашней его резиденции в отеле Хардингем: вот он сидит за огромным письменным столом старого дуба, курит сигару, потягивает вино и — коммерсант и финансист—делает тысячу дел одновременно... А наши вечера, утра, праздники, наши автомобильные поездки, «Леди Гров» и Крест-хилл — все это уже совсем иной круг воспоминаний.

Комнаты в Хардингеме вытянулись вдоль нарядного коридора, устланного мягким ковром. Все выходящие в коридор двери, кроме первой, были заперты; в дядюшкину спальню, комнату, где он завтракал, и его личный кабинет почти никому не было доступа, оттуда был еще один выход, которым дядюшка пользовался иногда, спасаясь от докучливых посетителей. Первая комната служила приемной и была обставлена строго по-деловому: два неудобных дивана, несколько стульев, стол под зеленым сукном и коллекция самых лучших реклам Могг-са и Тоно Бенге; вместо плюшевых ковров, устилавших полы отеля, здесь был серо-зеленый линолеум. Тут я всегда заставал разношерстную и чрезвычайно занятную публику, всеми командовал на редкость преданный, свирепый на вид швейцар Роппер, охранявший дверь, через которую можно было еще на шаг приблизиться к дядюшке. Обычно тут ожидал какой-нибудь священнослу-

житель, две-три вдовы, волосатые и очкастые джентльмены средних лет (кое-кто из них удивительно напоминал прежнего Эдуарда Пондерво, еще не достигшего успеха), множество молодых и моложавых людей, более или менее хорошо одетых, с бумагами — у одних они торчали прямо из карманов, другие скромно их прятали. Были тут и какие-то странные, случайные, неряшливо одетые просители.

Все эти люди осаждали дядюшкину крепость иногда по целым неделям, но тщетно, с таким же успехом они могли бы сидеть дома.

В следующей комнате толпились те, кому было назначено прийти по тому или иному делу,— щеголи, великолепно одетые женщины, не умеющие справиться со своим волнением и прячущие лицо за развернутыми журналами, богословы-сектанты, духовные лица в гетрах, дельцы, в большинстве своем джентльмены в превосходных визитках,— они стояли и мужественно, часами изучали дядюшкин вкус, разглядывая акварели на стенах. Были тут и молодые люди из самых различных слоев общества — американцы, клерки, перебежчики из других фирм, молодые люди с университетским дипломом, все народ неглупый, решительный, сдержанный, но это была сдержанность спускового крючка: в любую минуту они готовы были разразиться самыми многословными, самыми убедительными речами. Окно этой комнаты выходило во двор отеля, выложенный цветными плитами; там били фонтаны, обсаженные декоративным папоротником, и молодые люди подолгу стояли у этого окна и порой даже бормотали что-то. Однажды, проходя мимо, я слышал, как один из них шепотом настойчиво повторял: «Но вы совершенно не представляете себе, мистер Пондерво, до чего это выгодно, до чего же это выгодно!..» Он встретил мой взгляд и смутился.

Дальше шла комната, где сидели два секретаря — машинисток дядя не держал, так как не выносил стука,— тут же иной раз можно было увидеть какого-нибудь посетителя, чей проект был уже принят. Здесь и в следующей комнате, ближайшей к личным апартаментам дядюшки, вся корреспонденция, прежде чем попасть к нему на стол, безжалостно обрабатывалась, из нее делались выборки и выжимки. В двух следующих комна-

тах дядюшка беседовал с посетителями, мой волшебник дядя, который уже обзавелся собственными вкладчиками и для которого не было ничего невозможного.

Обычно он сидел, поджав под себя ногу, с сигарой в зубах и со смешанным выражением подозрительности и блаженства на лице слушал очередного посетителя, который настойчиво предлагал ему тот или иной способ умножить его богатства.

— Ты, Джордж? — встречал он меня.— Входи. Тут вот какая штука. Расскажите-ка ему, мистер... еще раз. Налить тебе, Джордж? Нет? Разумно! Ну, слушай.

Я всегда был готов слушать. Какие только финансовые чудеса не совершались в Хардингеме, особенно в дни великого расцвета дел моего дядюшки, но все это было ничто по сравнению с проектами, которыми его забрасывали. Небольшая комната, в которой он обычно принимал, была выдержана в коричневых с золотом тонах. Дядюшка поручил Бордингли заново отделать ее и развесил по стенам с полдюжины видов Сэссекса, работы Уэбстера. В последнее время он появлялся здесь в вельветовой золотисто-коричневой куртке и этим, на мой взгляд, уж слишком подчеркивал избранный им стиль; кроме того, он расставил здесь несколько довольно грубых бронзовых китайских безделушек.

В эти годы бурного, неслыханного размаха его деятельности он был во всех отношениях очень счастливым человеком. Он наживал и тратил — о чем я расскажу в свое время — огромные деньги. Всегда он был в движении, всегда бодр душой и телом и почти никогда не уставал. Он был окружен всеобщим почтением не только в мечтах, но и наяву, он шагал по жизни триумфальным маршем. Вряд ли он знал, что такое недовольство собой, до тех самых пор, пока не разразилась катастрофа. Все вокруг него кипело и бурлило... Мне думается, он был счастливейшим человеком на свете.

Вот я сижу и пишу обо всем этом, зачеркиваю, отбрасываю, пытаясь связно изложить историю нашего величия, которое кажется мне чудом, и безмерная нелепость его поражает меня так, словно она открывается мне впервые. На вершине своей славы, по своим скромным подсчетам, дядюшка, должно быть, имел собственности и кредита примерно на два миллиона фунтов, которые он мог

предъявить в обеспечение своих огромных и довольно неопределенных обязательств, а ворочал он, надо полагать, примерно тридцатью миллионами. Наше общество, чуждое всякого порядка и благоразумия, дало ему все эти богатства, столь высоко оценило его труды, состоявшие в том, что он сидел у себя в кабинете, строил хитроумные планы и всячески обманывал это общество. Ведь он ничего не создал, ничего не изобрел, ничего не сберег. Я не поручусь, что хотя бы одно из наших грандиозных предприятий дало людям что-нибудь стоящее и полезное. Некоторые из них, подобно Тоно Бенге, были, с точки зрения любого честного человека, самым настоящим мошенничеством: за свои деньги вы, в сущности, не получали ничего, кроме нарядной обертки с громкой рекламой. И повторяю: дела в Хардингеме были еще детскими игрушками по сравнению с разными махинациями, которыми нас соблазняли. Мне вспоминается нескончаемый поток осаждавших нас прожектеров. То кто-то предложил продавать хлеб, назвав его как угодно, только не хлебом, чтобы обойти закон, и вот была создана, но вскоре разбилась о твердыню закона компания «Бескорковые булочные изделия — залог здоровья», то нам навязывали новые формы рекламы, которые еще верней оглушат публику, то соблазняли только что открытыми залежами полезных ископаемых, то предлагали взамен какого-нибудь предмета первой необходимости выпустить дешевый, дрянной суррогат, то какой-нибудь слишком хорошо осведомленный служащий жаждал надуть своего хозяина и во что бы то ни стало сделаться нашим компаньоном. Все это преподносилось нам со знанием дела, весьма убедительно. Вот является какой-нибудь шумный краснощекий толстяк и пытается захватить нас врасплох, разыграть этакого простака и рубаху-парня; или какой-нибудь склочник, желтый от несварения желудка, или весьма серьезный юноша, одетый необычайно тщательно, с моноклем и цветком в петлице, а вот какой-нибудь манчестерец с немудреной речью, но себе на уме, или шотландец, стремящийся изложить свое дело как можно яснее и обстоятельнее. Многие приходили по двое, по трое, нередко в сопровождении ходатая, который и вел переговоры. Одни бывали бледны и серьезны, другие безмерно волновались: повезет ли им?

Некоторые просили и умоляли о поддержке. Дядя отбирал тех, кто ему был нужен, а на всех прочих не обращал внимания. Он стал вести себя с просителями, как истый самодержец. Он чувствовал, что властен распоряжаться ими, и они тоже это чувствовали. Стоит ему сказать: «Нет!» — и они рассеются, как дым... Он стал чем-то вроде водоворота, к которому сами собой устремляются богатства. Дядюшка неудержимо богател: грудами копились акции, договоры на аренду, закладные, долговые расписки.

Пустив полным ходом свои предприятия, он счел необходимым по примеру своих предшественников учредить три мощные торговые компании: Лондонско-Африканский коммерческий банк, Компанию кредитного общества британских торговцев и Торговую компанию с ограниченной ответственностью. Все это было в дни его расцвета, когда я почти совсем не занимался делами. Я говорю это не из желания оправдаться, не скрываю, что был директором всех трех этих компаний и, должен сознаться, не знал и не хотел знать того, что следовало знать, занимая этот пост. Заканчивая свой финансовый год, каждая из этих компаний оказывалась платежеспособной, так как продавала одной из своих сестер крупные пакеты акций и из вырученных денег оплачивала дивиденды. А я сидел за столом и со всем соглашался. Так мы удерживали в равновесии наш радужный, до отказа раздувшийся мыльный пузырь...

Теперь вы, надо думать, понимаете, за какие великие услуги наше фантастически устроенное общество одарило дядюшку несметным богатством, властью и неподдельным уважением. Это все была баснословная плата за смелую выдумку, награда за единственную реальность человеческого бытия — иллюзию. Мы ведь оделили людей надеждой и прибылью, и волна оживления и доверия подхватила и понесла их севшие на мель дела.

— Мы создаем веру, Джордж,— сказал однажды дядюшка.— Вот что мы делаем. И, ей-богу, надо продолжать в том же духе. Мы занимаемся этим с тех самых пор, как я заткнул пробкой первую бутыль Тоно Бенге.

Вернее было бы сказать, не создаем, а фабрикуем! И все же, скажу я вам, в известном смысле он был прав. Без доверия нет цивилизации, только благодаря ему мы

можем держать деньги в банке и выходить на улицу без оружия. Банк, хранящий деньги, или полисмен, поддерживающий порядок в уличной сутолоке,— это блеф, лишь немного менее дерзкий, чем затеи моего дядюшки. Если бы от банков потребовали четверть доли того, что они берутся обеспечить, они тотчас оказались бы несостоятельными. Вся эта наша современная торгашеская, не признающая платежей наличными цивилизация,— штука столь же непрочная и ненадежная, как сновидение. Трудится в поте лица своего великое множество людей, все гуще становится сеть железных дорог, в самое небо вздымаются города и расползаются вдаль и вширь, открываются шахты, шумят заводы, ревет пламя в литейных, пароходы бороздят океан, заселяются новые земли,— и по этому деятельному, созидающему миру расхаживают богатые собственники, все им подвластно, все к их услугам; самоуверенные, они и нас заставляют в них поверить, собирают нас, соединяют, и поневоле, сами того не ведая, мы становимся членами одного братства. Я изобретаю и проектирую свои двигатели. Развеваются флаги, рукоплещут толпы, заседают парламенты. Но, право же, порой мне кажется, что вся эта нынешняя коммерческая цивилизация ничуть не лучше деятельности моего злополучного дядюшки — тот же мыльный пузырь уверений и обещаний, который все раздувается, становится все эфемернее; так же неосновательны расчеты, так же ненадежны дивиденды, так же смутна и давно забыта конечная цель, и, быть может, нашу цивилизацию так же неудержимо несет к какой-то грандиозной катастрофе, как несло моего дядюшку к трагической развязке его блистательной карьеры...

Так мы преуспевали и четыре с половиной года жили жизнью, в которой неразличимо переплелись реальность и фантастика. Пока нас не подвела наша же собственная недальновидность, мы разъезжали в самых великолепных автомобилях по вполне реальным шоссе, привлекали к себе всеобщее внимание и держались с достоинством в самых блестящих домах, стол у нас всегда был роскошный, а ценные бумаги и деньги нескончаемым потоком лились в наши карманы. Сотни тысяч мужчин и женщин низко кланялись нам, оказывали нам почет и уважение, отдавали нам свой труд; стоило мне сказать

слово — и мои ангары и мастерские разрастались, и с неба устремлялись мои аэропланы и распугивали чибисов в низинах; стоило дядюшке махнуть рукой — и вот ему уже принадлежит «Леди Гров» со всеми своими рыцарскими преданиями и вековым покоем; новый взмах руки — и архитекторы хлопочут над проектом огромного дворца в Крест-хилле, который так и не был достроен, и к услугам дядюшки уже целая армия рабочих, из Канады везут голубой мрамор, из Новой Зеландии—строевой лес; и под всем этим, представьте, просто-напросто ничего нет, одни лишь вымышленные ценности, столь недолговечные, как золото радуги в небе.

IV

Мне случается нередко проходить мимо отеля Хардингем, и я искоса поглядываю через громадную арку во двор на фонтан и зеленый папоротник и думаю о тех далеких днях, когда я был чуть ли не в самом центре этого нашего водоворота алчности и предприимчивости. Снова вижу бледное, напряженное лицо дядюшки, слышу, как он ораторствует, как принимает решения, взяв себе за образец Наполеона, «хватает за рога», «бьет наверняка», «берет на испуг», «ловит удачу». Ему особенно полюбилась эта последняя поговорка. Под конец, что бы он ни затеял, все у него так и получалось: раз — и готово, поймал удачу!..

Каких только чудаков не заносило к нам! Среди прочих появился и Гордон-Нэсмит, своеобразнейшая фигура, *полумечтатель-полуавантюрист;* ему суждено было втянуть меня в самое нелепое из всех моих приключений, в авантюру с островом Мордет, и по его милости мои руки, как говорится, обагрились кровью. Удивительное дело, этот памятный случай очень мало тревожит мою совесть, зато неизменно волнует воображение. Об острове Мордет подробно сообщалось в правительственном отчете, и сообщения эти были весьма далеки от правды; и до сих пор есть веское основание не раскрывать всей правды, но благоразумие не позволяет мне начисто умолчать об этом.

Я и сейчас живо помню, как Гордон-Нэсмит появился в дядином кабинете, в его святая святых,— длинный,

дочерна загорелый, в спортивном костюме, лицо узкое, как лезвие ножа, с резкими, заостренными чертами и одним выцветшим голубым глазом, впадину на месте второго плотно прикрывало опущенное веко; помню, как, изо всех сил стараясь казаться непринужденным, он рассказывал нам фантастическую историю об огромной груде куапа, который валяется то ли заброшенный, то ли никому не известный на берегу острова Мордет среди побелевших, высохших мангров и черного солоноватого ила.

— Что это еще за куап?— спросил дядюшка, когда Нэсмит в четвертый раз произнес это слово.

— Аборигены называют его не то куап, не то куаб, не то куабб,— был ответ.— У нас с ними были не такие уж хорошие отношения, чтобы разобрать, как это произносится. Но там есть что взять. Они этого не знают. Никто не знает. Я добрался до этого гиблого места в пироге, один. Слуги не хотели туда плыть, а я сделал вид, что изучаю растительность...

В первую же минуту Гордон-Нэсмит попытался поразить наше воображение.

— Слушайте,— провозгласил он, входя, и плотно прикрыл за собой дверь.— Хотите вы двое выложить шесть тысяч, если вам подвернется случай заработать чистых полторы тысячи процентов годовых,— да или нет?

— У нас таких случаев сколько угодно,— сказал дядя; его сигара воинственно подскочила вверх, он протер очки и откинулся на стуле.— Мы предпочитаем верных двадцать.

У Гордон-Нэсмита был горячий нрав. Я понял это по тому, как он сдвинул брови и выпрямился, и поспешил вмешаться.

— Не верьте,— сказал я, прежде чем он успел вымолвить хоть слово.— Вы — это совсем другое дело, я про ваши книги наслышан. Мы очень рады, что вы пришли к нам. Черт побери, дядя! Ведь это Гордон-Нэсмит! Садитесь. Так что там? Минералы?

— Куап,— сказал Гордон-Нэсмит, уставив в меня свой единственный глаз.— Груды куапа.

— Груды,— негромко повторил дядя, и очки его, и всегда-то сидевшие криво, совсем перекосились.

— Вам бы только в бакалейной лавочке торговать! — презрительно бросил Гордон-Нэсмит, уселся и взял сигару из дядюшкиного ящика.— Зря я к вам пришел! Но раз уж я здесь... Так вот, прежде всего о куапе. Куап, сэр,— это самое радиоактивное вещество на свете. Вот что такое куап! Это охваченная разложением масса грунта, содержащего в себе тяжелые металлы: полоний, радий, торий, церий,— есть там и неизвестные элементы. В том числе штука, которая пока что называется «Икс-к». Из них там получилась сплошная каша, что-то вроде гниющего песка. Что это такое, как оно образовалось, я не знаю. Похоже, что там забавлялось какое-нибудь дитя исполина. Там две кучи — одна небольшая, другая — огромная, и на много миль вокруг все загублено, выжжено, мертво. Стоит вам туда прийти — и куап ваш. Вам остается его взять — только и всего.

— Выглядит недурно,— сказал я.— А есть у вас образцы?

— А как же! Можете получить сколько угодно, хоть две унции.

— Где они?

Он насмешливо и испытующе посмотрел на меня своим голубым глазом.

Некоторое время он курил и парировал мои вопросы, не вдаваясь в подробности, потом стал рассказывать более связно. Я слушал его и видел перед собой странный, забытый богом и людьми клочок атлантического побережья, длинные, извилистые протоки, которые разветвляются, расходятся во все стороны и несут тяжелый, вязкий ил и грязь в океан, и все это растворяется в грохочущем прибое и оседает на густо переплетенных водорослях, чьи мохнатые когти таятся в глубоких мерцающих водах. Там удушающая жара, тяжелый, недвижный воздух насыщен запахом гниющих растений, и вдруг зеленая стена расступается — и перед тобою кусок голой земли; по краю торчат иссохшие, белые, точно кость, стволы деревьев, до самого горизонта распахнулась яркая синь океана, ослепительно блещет прибой, и так пустынна эта мертвая полоса ила и грязной гальки и выбеленного солнцем, иссеченного волнами песка... Немно-

го подальше, среди сожженных, мертвых трав, стоят пустые хижины на сваях,— пустые потому, что всякий, кто проведет здесь два месяца, обречен на смерть; его изгложет, как проказа, неведомый недуг. Навесы обрушились, столбы и доски, источенные червями, покосились, осели, но по настилу, хотя и не без риска, все еще можно пройти. И посреди всего этого, под нависшей, острой скалой, которая разрезает надвое мертвый берег, торчат, словно спины двух лежащих кабанов, две неуклюжие продолговатые кучи, одна небольшая, другая огромная,— это куап!

— Там он и лежит,— сказал Гордон-Нэсмит.— И если уж он вообще чего-нибудь стоит, так ему цена три фунта за унцию. Две большие кучи, он гнилой, мягкий, греби лопатой и вези, там его тонны.

— Откуда он там взялся?

— Бог его знает!.. Но он там лежит, остается только взять его. Взять, а не купить: в тех местах не с кем торговать. В тех местах только и ждут доброго дядю, который откроет их богатства и заберет оттуда. Там он лежит и ждет хозяина.

— А разве нельзя было все же как-нибудь сговориться с аборигенами?

— Они для этого слишком тупы. Надо просто прийти и взять. Вот и все.

— А если попадешь к ним в лапы?

— Все может быть. Но только они не слишком опасные противники.

Мы стали подробно обсуждать, насколько велик этот риск.

— Нет, им меня не поймать, я всегда от них удеру,— заявил Гордон-Нэсмит.— Дайте мне яхту, больше мне ничего не надо.

— А если вас все-таки поймают? — усомнился дядя.

Мне кажется, Гордон-Нэсмит воображал, что стоит рассказать нам про куап, и мы тут же выложим ему чек на шесть тысяч фунтов. Рассказ был интересен, но чека мы не выложили. Я поставил условием, что он даст образцы своего куапа для исследования, и он нехотя согласился. Я думаю, он предпочел бы, чтобы я не проверял их. Он чуть было не сунул руку в карман, и этот жест убедил нас, что образец при нем, но в по-

следнюю секунду он решил повременить и не предъявлять его. Видно, этот человек не был склонен к откровенности. Ему не хотелось давать нам образцы, и он не пожелал указать нам, где же находится этот его остров Мордет, а лишь предоставил для догадок пространство радиусом в триста миль. Он не сомневался, что тайне его нет цены, но понятия не имел, насколько откровенным можно быть с деловыми людьми. И вот, желая выиграть время и поразмыслить, он повел разговор о другом.

Он был отличный рассказчик. Он рассказывал о голландской Ост-Индии и о Конго, о португальской Восточной Африке и Парагвае, о малайцах и богатых китайских купцах, о даяках и неграх и о распространении магометанства в современной Африке. И, рассказывая, он все время прикидывал, способны мы ввязаться в такую авантюру или нет. Сколько видел этот человек, какая смесь племен и лиц: неотомщенные убийства и поразительные обычаи, торговля, которая не признает никаких законов, ни божеских, ни человеческих, и черное вероломство, свирепствующее в восточных гаванях и проливах, которых не сыщешь на карте. Я слушал его, и уютный дядюшкин кабинет показался мне мал и тесен, а все наши дела — чересчур трезвыми и скучными.

Ни я, ни дядя не были за границей, если не считать нескольких заурядных поездок в Париж; наш мир ограничивался Англией, и места, откуда вывозили добрую половину сырья для наших товаров, казались нам столь же далекими, как сказочное царство фей или Арденнский лес. Но в тот день благодаря Гордону-Нэсмиту эти неведомые страны стали для нас, для меня, во всяком случае, такими реальными и близкими, словно я когда-то уже видел их, но забыл и вот теперь опять вспомнил.

А прощаясь, он достал свой образец, комок темной глины с вкрапленными в него коричневатыми крупинками; комок лежал в стеклянной баночке, обернутой свинцовой бумагой и куском фланели, помнится, красной, я знаю, в народе считают, будто цвет этот удваивает все таинственные свойства фланели.

— Не дотрагивайтесь до него,— сказал Гордон-Нэсмит.— Он разъедает тело.

Я отнес куап Торолду, он сделал самый точный по тем временам анализ и был совершенно потрясен, обнаружив два новых элемента, которые потом тщательно исследовал. Он окрестил их и впоследствии посвятил им научную статью, но в ту пору Гордон-Нэсмит и слышать не хотел, чтобы мы предавали гласности какие бы то ни было сведения о его находке; он пришел в ярость и безжалостно обрушился на меня уже за одно то, что я показал образец Торолду.

— Я думал, вы сами сделаете анализ,— сказал он со свойственной непосвященным трогательной уверенностью, что любой ученый знает толк во всех областях науки.

Я навел кое-какие справки в коммерческом мире и даже после этого должен был признать, что Гордон-Нэсмит не так уж преувеличивает, уверяя, будто его куапу цены нет. В ту пору Кэйперн еще не успел открыть ценные свойства канадия и использовать его для своей нити накаливания, но уже церий и торий, содержавшиеся в куапе, одни принесли бы нам немалые деньги, так как они шли на производство входящих тогда в моду кэйперновых калильных сеток. И все же нас одолевали сомнения. Да, сомнений было немало. Долго ли еще будут в ходу эти калильные сетки? Сколько они потребуют тория, не говоря уже о церии? Допустим, потребность будет настолько велика, что нам есть расчет нагрузить куапом целый корабль,— тогда возникают новые сомнения. Действительно ли весь куап так же хорош, как образец? И верно ли, что запасы его так велики, как рассказывал Нэсмит? А вдруг он просто фантазер? И, наконец, если даже и Гордон-Нэсмит и его находка окажутся на высоте, удастся ли нам завладеть куапом? Ведь он — на чужой земле. Да и подступиться к нему страшно. Как видите, в этом рискованном предприятии всевозможные сомнения возникали на каждом шагу.

Все же мы некоторое время обсуждали план Гордон-Нэсмита, хотя, кажется, слишком испытывали при этом его терпение. И вдруг он исчез из Лондона, и полтора года о нем не было ни слуху ни духу.

Дядюшка сказал, что ничего другого он и не ожидал, и когда Гордон-Нэсмит наконец снова появился и как бы случайно упомянул, что он ездил в Параг-

вай по своим личным делам (видимо, тут не обошлось без женщины), переговоры об экспедиции за куапом пришлось начинать с самого начала. Дядюшка настроен был весьма скептически, но о себе я этого сказать не могу. Должно быть, меня увлекала экзотическая сторона этого дела. Но до открытия Кэйперна ни у меня, ни у дяди и в мыслях не было отнестись к этому с полной серьезностью...

Рассказ Нэсмита завладел моим воображением, словно крохотный яркий блик тропического солнца, упавший на серую повседневность нашей деловой жизни. Я старался удержать его, пользуясь тем, что Гордон-Нэсмит время от времени появлялся в Англии. Мы встречались еще и еще, и всякий раз я подогревал свою фантазию. Мы завтракали с ним в Лондоне, или он приезжал в Крест-хилл посмотреть мои планеры и строил проекты, как бы опять добраться до этого куапа — одному или, может быть, вдвоем со мной. Порой все это казалось нам сказкой, игрой воображения. Но тут Кэйперн открыл свою «идеальную нить накаливания», и мы разом перестали сомневаться в том, что куап—это вполне реальная, настоящая ценность. Для нити накаливания нужно пять процентов канадия, который только недавно выделили из одной разновидности редкого минерала рутилия, в другом виде о нем до сих пор не знали. Но Торолду было еще известно, что канадий входит в состав таинственного комка глины, который я ему приносил для анализа, а я знал, что это одна из составных частей куапа. Я поговорил с дядей, и мы тотчас принялись за дело.

Как мы выяснили, Гордон-Нэсмит все еще не знал, что куапу теперь совсем другая цена, все еще думал, что радий имеет ценность лишь как материал для научных экспериментов и что самое ценное в куапе — редкий в природе церий, он связался с одним своим родичем по фамилии Поллак, произвел какую-то необыкновенную операцию со страхованием жизни и на вырученные деньги купил бриг. Мы немедленно вмешались, выложили три тысячи фунтов — и страховой полис Нэсмита и все участие Поллака в этой истории развеялось как дым, если не считать того, что, к моему великому сожалению, он остался совладельцем брига и тайны куапа. Однако во взаимосвязь канадия и идеальной нити он не был посвящен.

Мы горячо поспорили, зафрахтовать ли пароход или отправиться на этом самом бриге, и, подумав, решили, что парусное судно будет меньше бросаться в глаза в таком предприятии, которое в конце концов, говоря откровенно, иначе, как кражей, не назовешь.

Но это было одно из последних наших предприятий перед тем, как нас постигла катастрофа, и о нем речь впереди.

Вот как случилось, что в круг наших деловых интересов вошел куап—вошел, как сказка, и стал явью. Он становился день ото дня реальнее и наконец стал подлинной реальностью, и вот я увидел своими глазами груды, которые уже давно рисовались моему воображению, и снова ощутил под пальцами зернистую и вместе с тем мягкую массу, напоминающую отсыревший сахарный песок, смешанный с глиной, и в этой массе таилась некая загадочная сила...

Надо самому испытать это, чтобы понять.

V

С чем только не приходили к дяде в Хардингем, чего только ему не предлагали! Гордон-Нэсмит стоит особняком лишь потому, что он в конце концов сыграл свою роль в нашем крушении.

Столько предложений сыпалось на нас, что порой мне казалось, словно целый мир человеческой мысли, таланта, энергии готов продаться нам за наши реальные и воображаемые миллионы. Оглядываясь назад, я и сам не могу понять, почему нам так везло да и было ли это все на самом деле. Мы проделывали самые невероятные вещи; теперь мне кажется безумием и нелепостью, что в столь важных областях человеческой деятельности волен распоряжаться, если ему вздумается, любой богатый предприниматель. Я не раз с удивлением убеждался, что в наше время именно от денег зависит, какие мысли и факты станут достоянием широкой публики. Среди многих других затей дядюшка во что бы то ни стало хотел купить «Британскую медицинскую газету» и «Ланцет» и поставить их, как он выражался, на современные рельсы, а когда издатели воспротивились, он некоторое время грозился организовать конкурирующее изда-

ние. Что и говорить, это была в своем роде блестящая мысль: мы получили бы возможность по своему усмотрению вмешиваться в методы лечения чуть ли не всех болезней, и, право, кажется, вся медицина должна была оказаться в наших руках. Я все еще удивляюсь и до самой смерти не перестану удивляться, что подобные дела возможны в современном государстве. Если эта затея и не удалась моему дядюшке, ее сможет осуществить кто-нибудь другой. Но даже если бы он и захватил оба еженедельника, сомневаюсь, подошел ли бы им его своеобразный стиль. Слишком заметной оказалась бы перемена в самом направлении журналов. Нелегко бы ему было выдержать их достойный тон.

И, конечно, он не сумел поддержать достоинство «Священной рощи» — солидного критического органа, который он, не упустив случая, купил за восемьсот фунтов. Он проглотил его, как говорится, со всеми потрохами, включая и редактора. Но «Священная роща» не стоила и этих денег. Если вы причастны к литературе, вы припомните, в какой ослепительно яркой обложке стал у него выходить этот почтенный орган британского интеллектуального мира и как вопиюще противоречила неистребимая дядюшкина деловитость возвышенному духу уходящего века. На днях мне попалась старая суперобложка, и вот что я прочел:

«СВЯЩЕННАЯ РОЩА»

Еженедельный художественный, философский и научный журнал

У вас дурной вкус во рту?
Это из-за печени.
Вам нужно проглотить одну
двадцатитрехцентовую пилюлю.
Всего-навсего одну.
Не какой-нибудь аптечный препарат,
а живительное, чисто американское средство.

Содержание

Неопубликованное письмо Уолтера Патера.
Двоюродная прабабушка Шарлотты Бронте с материнской стороны.

Новая история католицизма в Англии.
Гений Шекспира.
Наша почта: Гипотеза Менделя. Отделение частицы «to» от глагола в инфинитиве. «Начинать» или «положить начало».
Клуб остряков. Социализм и личность. Высокое достоинство литературы.
Беседы о фольклоре.
Театр: Парадокс об актерском искусстве.
Путешествия, биографий, поэзия, проза и пр.

Лучшие в мире пилюли для больной печени

Должно быть, во мне еще уцелело нечто от блейдсоверских традиций, и потому-то меня так покоробило это сочетание литературы и пилюль; и точно так же, вероятно, в моей памяти уцелело нечто от Плутарха и наивной мальчишеской веры в то, что в основе своей наше государство должно быть преисполнено мудрости, здравого смысла и достоинства, и потому-то мне подумалось, что страна, где суд и оценка явлений медицины, литературы да и любой жизненно важной области всецело предоставлены частной инициативе и зависят от произвола любого покупателя,— такая страна, честно говоря, находится в безнадежном положении. Таковы были мои представления об идеальном устройстве мира. На самом же деле в наши дни для взаимоотношений науки и мысли с экономикой ничего не может быть естественнее и типичнее, чем эта обложка «Священной рощи» — спокойный консерватизм в крикливой, бьющей в глаза оправе; контраст дерзкого физиологического эксперимента и предельного умственного застоя.

VI

Среди других картин хардингемской поры приходит мне на память один серый ноябрьский день: моросит дождь, и мы смотрим из окна на процессию лондонских безработных.

Казалось, мы заглянули в глубокий колодец, и нам на мгновение открылся какой-то иной, страшный мир. Несколько тысяч замученных нуждой, изможденных лю-

дей собрались и волочили по Вест-Энду свою жалкую нищету; они взывали — и в этой мольбе слышалась пусть несмелая, бессильная, но все же угроза: «Нам нужна не благотворительность, а работа».

Они шли сквозь туман, словно призраки,— молчаливые, еле передвигая ноги, и конца не было этому шествию серых теней. Они несли вымокшие, повисшие, точно тряпки, знамена, в руках у них позвякивали коробки для сбора пожертвований; это были люди, которые проморгали удачу, и те, кто слишком рьяно искал эту удачу, и те, кому ни разу в жизни не улыбнулась удача, и те, кому она никогда не могла улыбнуться. Медлительным, позорным потоком растекались они по улице, отбросы общества, построенного на конкуренции. А мы стояли высоко над ними, словно божества, принадлежащие к иному, высшему миру,— в яркой, освещенной, теплой и красиво обставленной комнате, полной дорогих вещей.

«Если бы не милость божья,— подумал я,— там с ними брели бы сейчас Джордж и Эдуард Пондерво».

Но мысли дяди шли совсем в ином направлении, и это зрелище вдохновило его на пылкую, но неубедительную речь по поводу Протекционистской реформы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ ИЗ КЭМДЕН-ТАУНА В КРЕСТ-ХИЛЛ

I

До сих пор я рассказывал не столько о жизни моего дядюшки Эдуарда Пондерво и тети Сьюзен, сколько о его деловой карьере. Но наряду с рассказом о том, как бесконечно малая величина раздулась до огромных размеров, можно было бы поведать о другом превращении: о том, как постепенно, с годами жалкое убожество квартиры в Кэмден-тауне сменилось расточительной роскошью Крест-хилла с его мраморной лестницей и тетушкиной золотой кроватью, точной копией кровати

во дворце Фонтенбло. И странно, когда я перехожу к этой части своего рассказа, я вижу, что о недавних событиях рассказывать труднее, чем о памятных, проясненных расстоянием мелочах тех далеких дней. Пестрые воспоминания теснятся, обгоняют друг друга; мне предстояло вскоре снова полюбить, оказаться во власти чувства, которое еще и сейчас не совсем остыло в душе, страсти, которая еще и сейчас туманит мой мозг. Сначала жизнь моя проходила между Илингом и домом дядюшки и тети Сьюзен, потом между Эффи и клубами, а затем между коммерцией и научными изысканиями, которые становились несравненно более последовательными, определенными и значительными, чем все мои прежние опыты. Поэтому я не успевал следить за тем, как неуклонно продвигались в обществе дядюшка и тетя; их продвижение в свете казалось мне мерцающим и скачкообразным, словно в фильме, снятом на заре кинематографии.

Когда я припоминаю эту сторону нашей жизни, на первом месте всегда оказывается тетя Сьюзен, с круглыми глазами, носиком пуговкой и нежным румянцем на щеках. Вот мы едем в автомобиле, то мчимся, то замедляем ход; какой-нибудь необычный головной убор венчает головку тети Сьюзен, и она, чуть заметно шепелявя, чего никак не передать на бумаге, рассуждает о наших радужных перспективах.

Я уже описывал аптеку и комнатушки в Уимблхерсте, жилище у памятника Кобдену и апартаменты на Гоуэр-стрит. Потом дядюшка и тетя переселились на Редгоунтлит Меншенс. Там они жили, когда я женился. Эта небольшая благоустроенная квартира не доставляла хозяйке особых хлопот. Я думаю, в те дни тетя стала тяготиться избытком свободного времени и пристрастилась к книгам, а потом даже начала по вечерам слушать лекции. У нее на столе я находил теперь самые неожиданные книги: труды по социологии, путешествия, пьесы Шоу.

— Ну и ну!— сказал я, увидя однажды том Шоу.

— Надо же чем-то занять мысли,—объяснила она.

— Как?

— Просто занять мысли. Собак я никогда не любила. А тут одно из двух: найдешь занятие либо для ума, либо для души. И господу богу и вам крепко повезло,

что я решила развивать свой интеллект. Я теперь беру книги в Лондонской библиотеке и буду слушать в Королевском институте все лекции подряд, сколько их будет этой зимой. Так что берегись...

Помню, однажды вечером она вернулась домой поздно, с тетрадкой в руках.

— Откуда это ты, Сьюзен? — спросил дядя.

— Слушала Беркбека, физиологию. Я делаю успехи.

Она села и сняла перчатки.

— Теперь я тебя насквозь вижу,— вздохнула она и прибавила серьезно, с упреком:— Ах ты старый тюфяк! А я и представления не имела. Чего только ты от меня не скрывал!..

Потом они обосновались в Бекенхэме, и тетя Сьюзен стала заниматься уже не только развитием собственного интеллекта. Покупка дома в Бекенхэме была для них в ту пору известным риском; дом оказался довольно просторен, если мерить меркой тех лет, ранней поры Тоно Бенге. Это была большая, довольно мрачная вилла с теплицей, аллеей, обсаженной кустарником, площадкой для тенниса, хорошим огородом и маленьким пустующим каретным сараем. Я был лишь случайным зрителем всех волнений, связанных с торжеством новоселья, так как в это время отношения между тетей и Марион были натянутые, и мы встречались нечасто.

Тетя с жаром принялась обставлять дом, а дядюшка с необычайной дотошностью входил во все мелочи покраски, побелки, прокладки водопровода. Он велел разрыть все трубы — заодно перерыли весь сад; и, стоя на куче земли, отдавал приказания и раздавал виски рабочим. Так я застал его однажды, своего рода Наполеоном над маленькой Эльбой из грязи, достойным того, чтобы его немедленно запечатлели для истории. Помнится еще, что он выбирал веселые, по его мнению, сочетания цветов для окраски всего, что было в доме деревянного. Это безмерно возмущало тетю, она уже почти не в шутку называла его «противным старым пачкуном», потом придумала еще и другие бранные словечки, разозленная его новой затеей: он назвал каждую комнату именем какого-нибудь своего любимого героя: Клайв, Наполеон, Цезарь и т. д.— и велел повесить на двери соответствующую табличку с золотыми буквами по черно-

му полю. «Мартин Лютер» предназначался для меня. Тетя признавалась, что только привычка к супружескому миру и согласию помешала ей в отместку сделать надпись «Старый Пондо» на каморке горничной.

Вдобавок он заказал самый полный комплект садовых инструментов — такого я и не видывал — и велел выкрасить в пронзительный голубой цвет. Тетя купила огромные банки эмалевой краски более мягкого тона, тайком все перекрасила, и после этого сад стал для нее большой радостью: она страстно увлеклась выращиванием роз и цветочных бордюров, а «умственные занятия» преспокойно отложила на дождливые вечера и долгие зимние месяцы. Когда я вспоминаю, какой она была в Бекенхэме, я прежде всего вижу ее в платье из синей бумажной материи, которое она очень любила, в огромных садовых перчатках, в одной руке лопатка, в другой — маленький, но уж, конечно, крепкий и многообещающий саженец, робкий, беспомощный, совсем еще дитя.

Бекенхэм в лице священника, супруги врача и толстой и надменной особы по имени Хогбери почти немедленно, едва дождавшись, пока вновь разровняют перерытый участок, нанес визит дяде и тете, а затем тетя подружилась с очень милой дамой, соседкой; знакомство началось из-за нависшей над забором вишни и необходимости починить изгородь, разделявшую оба участка. Так тетя Сьюзен вновь заняла место в обществе, которое потеряла было после катастрофы в Уимблхерсте. Она полушутя-полусерьезно изучила этикет, соответствующий ее нынешнему положению, заказала визитные карточки и отдавала визиты. Потом она получила приглашение на один из приемов у миссис Хогбери, сама устроила чаепитие в саду, приняла участие в благотворительном базаре и, уже вполне довольная, весело пустила корни в бекенхэмском обществе, как вдруг дядя выкорчевал ее оттуда и пересадил в Чизлхерст.

— Старый непоседа! Вперед и выше! — сказала тетя Сьюзен коротко, когда я пришел к ним; она как раз присматривала за погрузкой двух огромных мебельных фургонов.— Поди, Джордж, попрощайся с «Мартином Лютером», а потом я посмотрю, чем ты можешь мне помочь.

II

Среди путаницы воспоминаний время Бекенхэма, не слишком близкое и не слишком далекое, кажется мне попросту переходной полосой. На самом же деле бекенхэмский период тянулся несколько лет; он охватывает почти всю ту пору, когда я был женат, и уж, во всяком случае, куда более долгий срок, чем тот год с небольшим, когда мы жили все вместе в Уимблхерсте. Но мои воспоминания о пребывании в Уимблхерсте куда полнее, чем о жизни в Бекенхэме. Я до мелочей помню чаепитие в саду у тети, когда я несколько погрешил против правил хорошего тона. Это словно обрывок другой жизни. Я, кажется, до сих пор всей кожей помню это ощущение плохо скроенного городского костюма — нелепо чувствуешь себя среди цветов, под ярким солнцем, когда на тебе сюртук, серые брюки, высокий воротничок и галстук. Я все еще живо помню маленькую лужайку в форме трапеции и гостей, а главное, их шляпы с перьями, и горничную, и синие чашки, и величественную миссис Хогбери, и ее громкий, резкий голос. Этого голоса хватило бы и на более многолюдное собрание на открытом воздухе, он разносился и по соседним участкам, он настигал и садовника, который был далеко на огороде и не принимал участия в происходящем. Единственными мужчинами, кроме нас с дядей, были тетушкин доктор, две духовные особы, приятно непохожие друг на друга, и сын миссис Хогбери, почти мальчишка, который явно еще не привык к воротничку взрослого. Все остальные были дамы, не считая двух-трех совсем юных девиц, совершенно бессловесных и ужасно благовоспитанных. Тут же присутствовала и Марион.

Мы с Марион как раз немного повздорили, и, помнится, она за все время не проронила ни слова,— единственная тень на этом солнечном и легкомысленном фоне. Мы злились друг на друга после одной из тех несчастных размолвок, которые, казалось, были неизбежны между нами. С помощью Смити Марион тщательно оделась для этого случая и, увидев, что я собираюсь сопровождать ее в сером костюме, потребовала, чтобы я непременно надел сюртук и цилиндр. Я заупрямился, она сослалась на фотографию в газете, изображающую чаепитие

в саду с участием самого короля, и под конец я покорился, но по своему скверному обыкновению не мог скрыть досаду... О господи! Как жалки, как ничтожны были эти вечные ссоры! И как грустно вспоминать о них! И чем старше я становлюсь, тем грустней об этом думать, тем дальше отступают, постепенно исчезают из памяти те обидные мелочи, которые были причиной наших раздоров.

Все это бекенхэмское сборище произвело на меня впечатление некоей благопристойной подделки; все держались так, словно играли какую-то видную роль в высшем свете, и при этом старались не касаться материальной стороны своего существования. Мужья этих дам почти все занимались где-то какими-то делами — было бы совершеннейшим неприличием спрашивать, какими именно,— а жены, черпая сведения из романов и иллюстрированных журналов, изо всех сил старались подражать развлечениям высшего света, но, уж конечно, в рамках строгой нравственности. Они не обладали ни дерзким умом, ни презрением к морали, какие подчас встречаешь в настоящей аристократке, они не интересовались политикой, ни о чем не имели своего мнения, и поэтому, помнится, с ними решительно не о чем было говорить. Они сидели в беседке и просто в саду на стульях — сплошные шляпки, гофрированные манжетки и разноцветные зонтики. Три дамы и приходский священник играли в крокет, причем на площадке царила исключительная серьезность, которую лишь изредка нарушали громкие возгласы священника, делавшего вид, что он ужасно огорчен неудачами.

— Ох! Опять моему шару досталось! Ой-ой-ой!

Особой с наибольшим весом среди собравшихся была миссис Хогбери; она уселась так, что вся крокетная площадка была перед нею как на ладони, и говорила без умолку...

— Мелет, точно старая мельница,— шепнула мне украдкой тетя.

Миссис Хогбери говорила о том, что бекенхэмское общество стало очень смешанным, а затем вдруг упомянула о трогательном письме, которое она недавно получила от своей бывшей кормилицы из Литл Госдин. Тут последовал громкий и подробный рассказ о Литл Гос-

дин и о том, как там все были почтительны с нею и ее восемью сестрами.

— А моя дорогая матушка была там настоящей королевой. И до чего же мил этот простой народ! Говорят, деревенские жители в наше время становятся непочтительны. Но это неверно, надо только умеючи с ними обходиться. Конечно, здесь, в Бекенхэме, другое дело. Я бы не сказала, что здешние жители — бедняки, бесспорно, это не настоящие бедняки. Это масса. Я всегда говорю мистеру Багшуту, что это масса и с ними надо соответственно обращаться...

Я слушал ее, и дух миссис Мекридж витал надо мною...

Некоторое время меня оглушала эта мельница; потом мне посчастливилось оказаться в приятном tête-à-tête с дамой, которую тетя представила мне как миссис... Мрмрмр — далее следовало что-то нечленораздельное, причем она в этот вечер всех и каждого представляла мне, так же неразборчиво бормоча имена, то ли из чувства юмора, то ли потому, что не смогла их все упомнить.

Должно быть, это был один из самых первых моих опытов в искусстве светской беседы, и, помнится, я начал критиковать местные железнодорожные порядки, но примерно на третьей фразе миссис без фамилии громко, весело и с одобрением сказала:

— Боюсь, что вы ужасно фривольны, молодой человек.

До сих пор дивлюсь, что я такого сказал фривольного.

Уж не знаю, что положило конец этому разговору и был ли у него вообще конец. Помню, я некоторое время довольно бестолково беседовал с одним из священников и выслушал от него что-то вроде топографической истории Бекенхэма, причем он снова и снова уверял меня, что это «место очень древнее. Очень, очень древнее». Как будто я утверждал, что Бекенхэм основан совсем недавно, а он весьма терпеливо, но и весьма настойчиво старался переубедить меня. Потом наступило долгое, томительное молчание, которому не было бы конца, не приди мне на выручку тетя Сьюзен.

— Действуй поэнергичней, Джордж,— доверительно, вполголоса сказала она и затем громко:— Может, вы оба побегаете немножко? Предложите-ка дамам чаю.

— Счастлив побегать для вас, миссис Пондерво, всемерно счастлив,— сказал священник, сразу почувствовав себя в своей стихии, словно он всю жизнь только и делал, что обносил гостей чаем.

Мы оказались около грубо сколоченного садового стола, а сзади горничная только и ждала минуты, когда мы зазеваемся, чтобы выхватить у нас поднос с чашками.

— «Побегаете»... Что за прелестное выражение!— с истинным удовольствием повторил священник, поворачиваясь ко мне, и я едва успел посторониться, чтобы не обрушить на него свой поднос.

Некоторое время мы разносили чай.

— Дай им пирожного,— сказала тетя Сьюзен. Она вся раскраснелась, но отлично владела собой.— Это сделает их разговорчивее, Джордж. Когда покормишь гостей, беседа идет веселее. Все равно что подкинуть сучьев в старый костер.

Она по-хозяйски обвела собравшихся зорким взглядом голубых глаз и налила себе чаю.

— Все-таки они какие-то деревянные,— сказала она вполголоса,—а я изо всех сил старалась их расшевелить...

— Прием необыкновенно удался,— сказал я, стараясь ее подбодрить.

— Этот юнец совсем окоченел, он ни разу даже ногой не двинул и молчит уже целых десять минут. Застыл, как сосулька. Того и гляди сломается. Он уже начинает сухо покашливать. Это всегда плохой признак, Джордж... Может, мне заставить их поразмяться? Или потереть им нос снегом?

К счастью, она этого не сделала. Я подошел к нашей соседке, очень приятной, задумчивой и томной даме с негромким голосом, и завязал с нею разговор. Мы говорили о кошках и собаках и о том, кто из них нам милее.

— Мне всегда казалось,— мечтательно произнесла эта приятная дама,— что в собаках есть что-то такое... в кошках этого нет.

— Да,— с неожиданной для самого себя горячностью согласился я.—Безусловно, в них что-то есть. Но все же...

— О, я знаю, в кошке тоже что-то есть. Но все-таки это не то.

— Не совсем то,— согласился я.— Но все-таки что-то есть.

— Да, но это — совсем другое.

— В них больше гибкости.

— Да, много больше.

— Гораздо больше.

— В этом все дело, не правда ли?

— Да,— сказал я.— Все дело в этом.

Она печально поглядела на меня и, глубоко вздохнув, с чувством произнесла:

— Да...

И мы надолго замолчали.

Казалось, положение безвыходное. В глубине души я ощутил страх и растерянность.

— Э-э... вот розы...— сказал я, чувствуя себя не лучше утопающего.— Эти розы... как вы считаете... правда, очень красивые цветы?

— Очень,— кротко согласилась она.— Мне кажется, в розах что-то есть... Что-то такое... не знаю, как выразить...

— Верно, что-то есть,— с готовностью подхватил я.

— Да,— сказала она.— Что-то такое... Не правда ли?

— Но мало кто понимает это,— сказал я.— Тем хуже для них!

Она снова вздохнула и произнесла чуть слышно:

— Да...

И опять наступило тягостное молчание. Я поглядел на нее, а она о чем-то замечталась. Я снова почувствовал, что иду ко дну, страх и слабость опять овладели мной. Но тут меня осенило свыше: я заметил, что ее чашка пуста.

— Позвольте вам чаю,— отрывисто сказал я и, схватив чашку моей собеседницы, подошел к столу, стоявшему у беседки. В ту минуту я не собирался подводить тетю Сьюзен. Но в двух шагах от меня оказалась стеклянная дверь гостиной, заманчиво и многозначительно распахнутая настежь. Соблазн был так велик, а главное, тесный воротничок надоел мне до смерти. Мгновение — и я погиб.— Я сейчас... Только на минутку!

Я вбежал в гостиную, поставил чашку на клавиши открытого рояля и быстро, бесшумно, перескакивая через три ступеньки, кинулся вверх по лестнице в каби-

нет дядюшки, в это уютнейшее святилище. Я примчался туда, задыхаясь, твердо зная, что возврата нет. Я был и счастлив и полон стыда и отчаяния. Перочинным ножом я ухитрился вскрыть дядюшкин ящик для сигар, пододвинул к окну кресло, снял сюртук, воротничок и галстук и, чувствуя себя одновременно преступником и бунтарем, сидел и покуривал, поглядывая из-за шторы на общество в саду, пока все гости не разошлись...

«Эти священнослужители, — думал я, — чудесные люди».

III

В моей памяти сохранилось еще несколько подобных сценок ранней бекенхэмской поры, а затем меня обступают уже чизлхерстские воспоминания. При чизлхерстском особняке был уже не просто сад, а настоящий парк, и домик садовника, и сторожка у ворот. Здесь куда заметнее, чем в Бекенхэме, ощущалось наше восхождение на общественные высоты. И поднимались мы все быстрее.

Один вечер запомнился мне особенно ярко, он в некотором роде знаменует эпоху. Я приехал посоветоваться по поводу какой-то рекламы, во всяком случае, по делу, а дядюшка с тетей Сьюзен вернулись в коляске после обеда у Ранкорнов. (Уже тогда дядя не давал Ранкорну покоя со своей идеей Великого объединения, которая в то время зрела у него в голове.) Я приехал часов в одиннадцать и застал их в кабинете. Тетя сидела в кресле и задумчиво и с какой-то капризной гримасой смотрела на дядюшку, а он, толстенький, кругленький, растянулся в низком кресле, пододвинутом к самому камину.

— Послушай, Джордж,— сказал дядя, едва я успел поздороваться.— Я как раз говорил, что мы не Oh Fay [1].

— Что такое?

— Не Oh Fay. В светском смысле.

— Это по-французски. Он хочет сказать, не поспеваем за модой, Джордж. Это о коляске, она старая.

---

[1] Искажен. франц. «au fait» — в курсе дел.

— Ах, вот что! Про французский-то я и не подумал. Никогда не знаешь, что дядюшка выдумает. А что стряслось сегодня?

— Ничего такого не стряслось. Просто я размышлял. Первым делом я съел слишком много этой рыбы — она была точь-в-точь соленая лягушечья икра,— да еще маслины меня с толку сбили, и потом я совсем запутался в винах. Каждый раз приходилось говорить: «Дайте мне вон того». И все невпопад. Все женщины были в вечерних туалетах, а твоя тетка — нет. Нам нельзя продолжать в таком духе, Джордж, это для нас плохая реклама.

— Не знаю, правильно ли ты сделал, что завел коляску,— сказал я.

— Надо будет все это наладить,— сказал дядя.— Надо перейти на высокий стиль. Шикарные дела делаются шикарными людьми. Она воображает, что это все шуточки.— Тетя состроила гримаску.— А это совсем не шутка! Ты смотри, мы сейчас на подъеме, как дважды два. Мы выходим в большие люди. И не годится, чтоб над нами смеялись, как над какими-то *парвену*[1]. Понимаешь?

— Никто над тобой не смеется, старый пузырь! — сказала тетя.

— Никто и не будет надо мной смеяться.— Дядюшка покосился на свое солидное брюшко и вдруг выпрямился.

Тетя Сьюзен слегка подняла брови, поиграла ножкой и ничего не ответила.

— Дела наши идут в гору, Джордж. И мы за ними не поспеваем. А надо поспевать. Мы сталкиваемся с новыми людьми, а это, видите ли, все аристократия — званые обеды и всякое такое. Они страшно важничают и воображают, что мы будем себя чувствовать, как рыба без воды. А вот и не дождутся! Они воображают, что нам не по плечу высокий стиль. Ладно, мы им уже показываем нашей рекламой, что такое высокий стиль, и еще в лучшем виде покажем... Не обязательно родиться на Бонд-стрит, чтобы выучиться всем этим фокусам. Понимаешь?

Я протянул ему ящик с сигарами.

---

[1] Искажен. франц. «parvenu» — выскочка.

— У Ранкорна таких нет,— продолжал он, с нежностью обрезая кончик сигары.— На сигарах мы его обскакали. И во всем остальном обскачем.

Мы с тетей смотрели на него с испугом.

— У меня есть кое-какие идеи,— загадочно сказал он, обращаясь к сигаре, и этим только увеличил наши страхи.

Он спрятал в карман ножичек, которым обрезал сигару, и продолжал:

— Первым делом нам надо выучиться правилам этой паршивой игры. Понимаешь? К примеру, надо раздобыть образцы всех проклятых вин, какие там были, и выучить их назубок. Стерн, Смур, Бургундское — все, сколько их там есть! Вот она сегодня пила Стерн... И когда попробовала... Ты скорчила гримасу, Сьюзен, да, да. Я видел. Оно не пришлось тебе по вкусу. Ты сморщила нос. А надо привыкнуть ко всем этим винам и уж не гримасничать. К вечерним туалетам тоже надо привыкнуть... да, да, и тебе, Сьюзен.

— Вечно он цепляется к моим нарядам,— сказала тетя.— Впрочем... Не все ли равно?— И она пожала плечами.

Никогда еще я не видал дядюшку таким безгранично серьезным.

— Придется одолеть этот этикет,— с воодушевлением продолжал он.—Лошадьми—и теми займемся. Всему научимся. Будем всегда переодеваться к обеду... Заведем двухместную карету или что-нибудь в этом роде. Набьем руку на гольфе, теннисе и прочем. Как настоящие землевладельцы. Oh Fay. Тут дело не только в том, чтобы не совершить никакой Goochery.

— Чего?—изумился я.

— Ну, Gawshery, если тебе так больше нравится.

— Gaucherie, Джордж. Это по-французски — растяпость,— объяснила тетя.— Но я-то вовсе не растяпа. Я скорчила гримасу просто смеха ради.

— Тут дело не только в том, чтобы не попадать впросак. Нам нужен стиль. Понимаете? Стиль! Чтоб комар носу не подточил и даже более того. Вот что я называю стилем. Мы можем с этим справиться и справимся.

Он пожевал сигару и некоторое время молча курил, подавшись вперед и все глядя в огонь.

— В чем тут суть в конце-то концов?—снова заговорил он.— В чем суть? Надо получше знать, что положено есть, что пить. Как одеваться. Как держаться в обществе. И не говорить того, что у них там не принято; есть всякие такие пустячки, которые их наверняка шокируют.

Он снова умолк, но вот в лице его прибавилось самоуверенности, и сигара, торчавшая в зубах, гордо вздыбилась к потолку.

— Все эти их штучки надо изучить в полгода,— сказал он, повеселев.— А, Сьюзен? И обскакать их. И тебе, Джордж, не мешало бы постичь всю эту премудрость. Вступить в солидный клуб и прочее.

— Всегда рад учиться,—сказал я.—С тех самых пор, как ты дал мне возможность выучиться латыни. Но пока нам что-то не случалось попасть в такие сферы, где изъясняются по-латыни.

— До французского мы уже, во всяком случае, добрались,— заметила тетя Сьюзен.

— Очень полезный яз-з-зык,— сказал дядюшка.— Бьет в самую точку. А что до произношения, оно ни одному англичанину не дается. Англичанину с этим не справиться. И не спорьте со мной. Это обман. Это все обман. Если разобраться, вся жизнь—сплошной обман. Вот почему нам так важно позаботиться о стиле, Сьюзен. Le Steel Say Lum [1]. Стиль — это человек. Чего ты смеешься, Сьюзен?.. Джордж, ты совсем не куришь. Эти сигары прочищают мозги... Скажи, а что ты обо всем этом думаешь? Надо приспосабливаться. До сих пор же мы справлялись всякий раз-ззз. Неужели теперь споткнемся на такой чепухе!

IV

— Что ты об этом думаешь, Джордж? — требовательно спрашивал он.

Не помню сейчас, что я ему ответил. Зато хорошо помню, как я на мгновение перехватил загадочный взгляд тети Сьюзен. Так или иначе, он с обычной своей энергией принялся овладевать секретами светской жиз-

[1] Искажен. франц. «Le style c'est l'homme».

ни и вскоре уже не уступал самым настоящим лордам. Да, мне кажется, он и в самом деле сравнялся с ними. У меня довольно сумбурные воспоминания о его первых шагах и первых успехах в свете, в них не так-то легко разобраться. Порой я не могу припомнить, что было сначала, а что потом. Помнится, при каждой встрече я с удивлением открывал в нем что-то новое, с каждым разом в нем неожиданно для меня понемножку прибавлялось уверенности, лоску, он становился чуть богаче, чуть утонченнее, немножко лучше знал цену вещам и людям. Однажды — это было еще очень давно — я видел, как глубоко его потряс своей роскошью ресторан в Клубе либералов. Бог весть, кто именно и по какому случаю выставил нам тогда это угощение, зато мне не забыть, как мы в числе шести или семи приглашенных ввалились в зал и дядя во все глаза глядел на множество ослепительных столиков, освещенных лампами под красными абажурами, на экзотические растения в огромных майоликовых вазах, на сверкающие керамикой колонны и пилястры, на внушительные портреты государственных деятелей и национальных героев, принадлежавших к либеральной партии, и на прочие атрибуты этой истинно дворцовой пышности. Он выдал себя, шепнув мне: «Вот это да!» Теперь это бесхитростное восклицание кажется мне почти неправдоподобным: так быстро настало время, когда и нью-йоркские клубы не поразили бы дядюшку и он мог шествовать среди подавляющего великолепия Королевского гранд-отеля к избранному им столику на изысканнейшей галерее над рекой с тем невозмутимым спокойствием, которое отличает лишь истинных повелителей мира.

Оба они быстро и основательно изучили правила новой игры; они испытывали свои силы и в гостях и дома. В Чизлхерсте с помощью нового, очень дорогого, но весьма сведущего повара они перепробовали все незнакомые, рассчитанные на гурманов блюда — от спаржи до яиц ржанки. Потом они завели садовника, который умел прислуживать за столом и пачкал паркет грязными сапогами. А скоро появился и дворецкий.

Как сейчас, вижу тетушку в ее первом вечернем туалете. С отчаянно храбрым видом она стояла в гостиной перед камином, сбоку поглядывая на себя в зеркало;

платье открывало руки и плечи, всей прелести которых я до того дня и не подозревал.

— Так, наверно, чувствует себя окорок,— задумчиво сказала она.— Ничего на тебе нет, кроме ожерелья.

Я пробормотал какой-то банальный комплимент.

На пороге появился дядюшка — в белом жилете, руки в карманах брюк; он остановился и окинул ее критическим оком.

— Ты прямо герцогиня, Сьюзен,— заметил он.— Надо бы заказать твой портрет — вот так, перед камином. Сардженту закажем! У тебя какой-то даже вдохновенный вид. Бог ты мой! Вот поглядели бы на тебя эти чертовы лавочники из Уимблхерста!

Субботу и воскресенье они зачастую проводили в разных отелях, изредка и я присоединялся к ним. Мы вливались в огромную толпу, которая слоняется по модным отелям и ресторанам, стараясь выучиться правилам хорошего тона. Не знаю, быть может, тому виной мои изменившиеся обстоятельства, но мне кажется, за последние двадцать лет сверх меры развелось завсегдатаев отелей и ресторанов. Дело, по-моему, не только в том, что многие и многие, как мы тогда, разбогатели и круто пошли вверх, но все те, кто в Англии благополучно жил и процветал, как видно, изменили прежним обычаям — в час вечернего чая стали обедать, пристрастились к вечерним туалетам и проводили воскресенья в отелях, чтобы упражняться там в новом для них искусстве светской жизни. С тех пор как я стал совершеннолетним, вся коммерческая верхушка среднего класса быстро и неуклонно превращалась в новую знать. Кого только мы не встречали во время своих воскресных поездок! Одни обращали на себя внимание тщательно выработанной изысканностью манер, никогда не повышали голоса, от их нарочитой скромности и сдержанности так и несло спесью; другие — развязные и самоуверенные — во всеуслышание называли друг друга уменьшительными именами и всегда находили повод порисоваться исключительной грубостью; неуклюжие мужья и жены потихоньку ссорились, обвиняя друг друга в отсутствии манер, и смущались под презрительным взглядом лакея; иные всегда были бодры и любезны, появлялись всякий раз с новыми спутницами и предпочитали занять столик где-нибудь в дальнем уг-

лу; иные шумно и весело старались изобразить полную непринужденность; пухленькие, беззаботные дамочки смеялись слишком громко, а их спутники во фраках, пообедав, попыхивали трубками, точно в кабачке. И вы знали, что, как бы роскошно они ни одевались, какой бы дорогой номер ни занимали, никто из них ровным счетом ничего собой не представляет.

Оглядываясь назад, я как что-то очень чужое и далекое вспоминаю все эти битком набитые рестораны со множеством столиков и неизбежными красными абажурами и хмурых, неприветливых лакеев с их вечным: «Бульон прикажете заправить, сэр?» Я не обедал, не бывал в этих местах уже лет пять, да, целых пять лет — такую я вел замкнутую жизнь, настолько был поглощен своей работой.

Как раз в ту пору дядя обзавелся автомобилем, и среди этих воспоминаний яркой маленькой виньеткой выделяется холл отеля «Магнифисент» в Бексхил-он-Си, где повсюду был красный атлас и дерево, сверкающее белым лаком, и публика в вечерних туалетах, ожидающая гонга к обеду; а на пороге моя тетушка, искусно задрапированная в дорожный плащ, в огромной шляпе с вуалью, и готовые к услугам швейцары и рассыльные, и подобострастный метрдотель, и за конторкой высокая молодая особа в черном, на лице которой написано восторженное изумление; в центре всей этой картины мой дядюшка, совершающий первый выход в своем меховом костюме, о котором я уже упоминал,—плотный и круглый коротышка, в огромных защитных очках, на нем что-то вроде коричневого резинового хобота, и все это увенчано плоскогорьем шоферской фуражки.

V

Итак, мы поняли, чего нам недоставало теперь, когда мы вторглись в высшие общественные круги и стали вполне сознательно вырабатывать в себе стиль и Savoir Faire[1]. Мы оказались частицей той новой силы, без которой невозможно теперь представить наш сложный и запутанный мир, того множества преуспевающих дельцов,

---

[1] Умение жить *(франц.)*.

что учатся тратить деньги. Тут были и финансисты, и предприниматели, заглотавшие своих конкурентов, и такие, как мы с *дядей*, изобретатели новых способов разбогатеть; в представлении европейца такова была чуть не вся Америка.

У этого разношерстного множества людей только и было общего, что все они, и особенно их жены и дочери, от скудного существования, когда средства были ограниченны, вещи и наряды наперечет, нравы и привычки простые, переходили к безмерной расточительности и попадали в орбиту Бонд-стрит, Пятой авеню и Парижа. И тут для них начиналась бесконечная цепь все новых и новых открытий и безграничные возможности.

Они вдруг обнаружили, что есть на свете удовольствия, которые даже не были предусмотрены их кодексом нравственности, да и все равно они прежде не могли бы их себе позволить; есть, оказывается, такие тонкости, такие способы и средства украсить жизнь, такие виды собственности, о каких они прежде не смели и мечтать. У них разбегались глаза, с пылом, с увлечением они начинали приобретать, старательно и неутомимо осваивались с новой жизнью, сверкающей, заполненной до отказа покупками, драгоценностями, горничными, дворецкими, кучерами, электрическими экипажами, наемными городскими особняками и загородными виллами. Все это поглощало их, как иного честолюбца поглощает его карьера; они представляли класс, который думал, говорил и мечтал только о собственности. Их литература, их пресса были всецело посвящены этому; толстые, непревзойденной пышности иллюстрированные еженедельники наставляли их, как должен быть построен дом и как нужно разбить собственный сад, что такое по-настоящему роскошный автомобиль и первоклассное спортивное снаряжение, как покупать недвижимость и как ею управлять, как путешествовать и в каких шикарных отелях останавливаться.

Однажды вступив на этот путь, они устремлялись все дальше и дальше. Стяжательство становилось смыслом их жизни. Казалось, мир словно нарочно так устроен, чтобы они могли удовлетворить эту свою страсть. В какой-нибудь год они становились тонкими ценителями. Они принимали участие в набегах на восемнадцатый

век, скупали старые, редкие книги, чудесные картины старых мастеров, прекрасную старинную мебель. На первых порах они стремились обзавестись ослепительными гарнитурами, безукоризненно новенькой обстановкой, но почти сразу же это примитивное представление о роскоши сменилось мечтой — собрать побольше всяких дорогостоящих антикварных вещей...

Помню, страсть к покупкам овладела дядюшкой совершенно неожиданно. В бекенхэмские времена и в начале жизни в Чизлхерсте он стремился прежде всего к тому, чтобы загрести как можно больше денег, и, если не считать его атаки на дом в Бекенхэме, мало интересовался тем, как он одет и как обставлены комнаты. Я сейчас уже не помню, когда он изменил прежним привычкам и начал тратить деньги. Должно быть, какая-нибудь случайность открыла ему этот новый источник могущества или что-то неуловимое сместилось в клетках его мозга. Он стал неудержимо сорить деньгами и скупать с неистовой страстью. Сначала он скупал картины, а потом почему-то еще и старые часы. Для чизлхерстского дома он купил чуть ли не дюжину прадедовских часов и три медные грелки. Потом увлекся покупкой мебели. Вскоре он стал покровителем искусств — заказывал художникам картины и потом подносил их в дар церквам и разным благотворительным обществам. Он покупал все больше, все безудержнее. Эта страсть к стяжательству была одним из последствий того безмерного напряжения, в каком он жил последние четыре года своей головокружительной карьеры. К тому времени, как он достиг ее вершины, он стал неистовым мотом; он накупал великое множество самых неожиданных вещей, он покупал так яростно, словно его мятущийся дух стремился выразить себя в этом; он покупал, приводя всех нас в изумление и ужас; он покупал crescendo, покупал fortissimo, con molto expressione [1], пока грандиозная катастрофа — крестхиллское банкротство — не положила навсегда конец его покупкам. Покупал всегда он. Тетя Сьюзен не блистала умением покупать. Странно, уж не знаю, какая тут особая струнка в ней говорила, но только она никогда не вкладывала

[1] Музыкальные термины: crescendo — усиливая, fortissimo — чрезвычайно сильно, con molto expressione — с большим выражением (*итал.*).

особого рвения в покупки. Все эти лихорадочные годы она слонялась в толпе, кишевшей на Ярмарке Тщеславия, и, несомненно, тратила много и не скупясь, но делала это как-то равнодушно, с оттенком комического презрения к вещам, даже старинным, которые можно приобрести за деньги. Однажды я вдруг понял, насколько она равнодушна ко всему этому,— я увидел, как она ехала в Хардингем, сидя по обыкновению очень прямо в своем электрическом экипаже, и наивные голубые глаза ее из-под вызывающе загнутых полей шляпки глядели на окружающий блеск с насмешливым любопытством. «Ни одна женщина,— подумал я,— не чувствовала бы себя такой отчужденной, если бы не мечтала о чем-то своем... Но о чем она мечтает?»

Вот этого я не знал.

И я помню еще, как однажды совершенно вне себя она с презрением рассказывала мне, как ей пришлось завтракать с несколькими дамами в Имперском космическом клубе. Она заглянула ко мне, возвращаясь оттуда, в надежде застать меня дома, и я предложил ей чаю. Она объявила, что до смерти устала и зла, бросилась в кресло...

— Джордж! — воскликнула она.— Что за ужас эти женщины! Неужели от меня тоже несет деньгами?

— Ты завтракала? — спросил я.

Она кивнула.

— С весьма богатыми дамами?

— Да.

— Восточного типа?

— Ох, прямо какой-то взбесившийся гарем!.. Хвастаются своими богатствами... Они тебя ощупывают. Понимаешь, Джордж, они ощупывают твое платье — хороша ли материя!

Я как умел постарался ее успокоить:

— Но ведь она и правда хороша?

— Это у них в крови, им бы принимать вещи в заклад,— сказала она, отпивая чай. И с отвращением продолжала: — Они так и шарят руками по твоему платью, прямо хватают тебя.

На мгновение я даже заподозрил, не обнаружилось ли при этом, что на ней надето что-нибудь поддельное. Уж не знаю. После этого случая у меня открылись глаза

и я стал замечать, как женщины ощупывают друг на друге меха, тщательно разглядывают кружева, даже просят разрешения потрогать драгоценности, оценивают, завидуют, пробуют на ощупь. При этом они соблюдают своего рода церемониал. Та, которая разглядывала и ощупывала наряд другой, говорила:

— Какие прекрасные соболя! Какое прелестное кружево!

А та, которую разглядывали, горделиво признавалась:

— Да ведь они настоящие!

Или спешила изобразить скромность и смирение:

— Что вы, они не так уж хороши.

Посещая друг друга, они глазели на картины, щупали бахрому портьер, приподнимали чашки и вазы, проверяя марку фарфора.

Я спрашивал себя: может быть, и в самом деле это у них в крови?

Мне казалось сомнительным, чтобы леди Дрю и другие олимпийцы вели себя подобным образом, но, быть может, это во мне просто говорила одна из моих прежних иллюзий насчет аристократии и нашего государства. Быть может, собственность испокон века была кражей и никогда и нигде дом и имущество не были чем-то неотъемлемым, от природы данным тем людям, которые ими владели.

VI

В тот день, когда я узнал, что дядя приобрел «Леди Гров», я понял, что отныне начинается новая эпоха. Это был оригинальный, смелый и неожиданный шаг. Меня поразило внезапное изменение масштабов: ему уже мало было движимого имущества вроде драгоценностей и автомобилей, он стал землевладельцем. Он действовал быстро и решительно, как сам Наполеон: он ни о чем таком заранее не думал, не искал, просто услышал, что продается поместье, и не упустил случая. Потом явился домой и сообщил об этом. Даже тетя Сьюзен день-другой не могла прийти в себя, ошеломленная этой дерзкой покупкой, и когда дядюшка отправился смотреть виллу, мы с тетей сопровождали его в состоянии, близком к столб-

няку. Право же, нам тогда показалось, что ничего великолепнее нельзя и представить себе. Помню, как мы втроем стояли на террасе, выходящей на запад, смотрели на окна, отражавшие небо, и я всем существом ощутил, насколько дерзко наше вторжение сюда.

«Леди Гров», надо вам сказать, отличное поместье; дом необыкновенно красив, все здесь дышит покоем и изяществом, и, должно быть, впервые за добрых сто лет гудок нашего автомобиля нарушил это уединение. Старый католический род угасал здесь век за веком, и вот уже никого не осталось в живых. Дом построен еще в тринадцатом веке, и последние переделки были в стиле поздней готики. Внутри почти всюду было сумрачно и прохладно, за исключением лишь двух-трех комнат и холла с высокими окнами и галереей, облицованной старым дубом. Особое благородство дому придавала терраса — широкая, открытая лужайка, обнесенная низкой каменной оградой; в одном углу рос огромный кедр, ветви его словно осеняли голубую даль Уилда, и эта голубая даль вместе с темной кроной одинокого дерева поразительно напоминала Италию. Дом стоял высоко: если глядеть на юг, под ногами виднеются макушки елей и черной калины, а на западе по крутому склону, поросшему буком, мелькает дорога. Потом, если повернуться к старому, молчаливому дому, видишь серый, замшелый фасад и изящно изогнутую арку входа. Старый камень согрет предвечерним солнцем, и его оживляют несколько забытых кустов роз и остролиста. Мне казалось, что владельцем этой прекрасной мирной обители должен быть по меньшей мере какой-нибудь бородатый ученый муж в черной мантии, с очень белыми руками и тихим голосом или, возможно, седовласая леди в мягких одеждах,— сколько-нибудь более современного человека уж невозможно было представить себе в этой роли. А тут стоял мой дядюшка, рукой в перчатке из котикового меха держал огромные шоферские очки и, протирая их носовым платком, говорил тете, что «Леди Гров», право же, недурное местечко!

Тетя Сьюзен ничего не ответила.

— Тот, кто построил этот дом,— задумчиво сказал я,— носил латы и не расставался с мечом.

— Этого в доме и сейчас хватает,— сказал дядюшка.

Мы вошли в дом. Присматривавшая за ним престарелая женщина, с совершенно белой головой, вся съежилась при появлении нового хозяина. Как видно, он показался ей и очень странен и страшен и одним своим видом поверг ее в смятение и ужас. Оставшееся в живых настоящее склонялось перед нами, чего нельзя сказать о прошлом. Мы стояли перед длинным рядом потемневших портретов — один из них принадлежал кисти Гольбейна — и старались заглянуть в глаза давно умерших мужчин и женщин. И они тоже искоса поглядывали на нас. Мне кажется, все мы почувствовали что-то загадочное в их лицах. Даже дядя, по-моему, на мгновение смутился перед этой надменной, непобедимой самоуверенностью. Похоже было, что в конце концов он вовсе не купил их и не занял их место, похоже, что они знают что-то скрытое от нас и смеются над новым хозяином «Леди Гров»...

Самый воздух этого дома был сродни Блейдсоверу, но от него еще больше веяло стариной и отчужденностью. Вот эти латы, что стоят в углу холла, служили некогда своему владельцу на турнире, а быть может, и на поле брани; раз за разом этот древний род, не жалея своей крови и своих богатств, слал рыцарей в самые романтические из всех походов, какие знала история,— на завоевание Святой Земли. Мечты, верность, почести и слава — все развеялось, как дым, и от всего, чем жил и дышал исчезнувший род, остались лишь эти странные нарисованные улыбки, улыбки торжества и свершения. Все развеялось, как дым, задолго до того, как умер последний Дарген, в старости загромоздивший свой дом подушками, коврами, затканными от руки скатертями ранней викторианской эпохи и какими-то совсем уж отжившими вещами, которые казались нам еще древнее рыцарей и крестовых походов... Да, это было непохоже на Блейдсовер.

— Душновато здесь, Джордж,— сказал дядюшка.— Когда строили этот дом, понятия не имели о вентиляции.

В одной из комнат, обшитых панелями, тесно стояли шкафы и огромная кровать под балдахином.

— Тут, наверно, водятся привидения,— заметил дядюшка.

Но мне казалось маловероятным, чтобы Даргены, замкнутый род, древний, законченный, изживший себя,— чтобы эти Даргены стали являться кому-либо по ночам. Кто из живущих ныне на земле имеет хоть малейшее отношение к их чести, их взглядам, их добрым и злым делам? Привидения и колдовство — плоды более поздних времен, эта новая мода пришла из Шотландии вместе со Стюартами...

Позже, с любопытством рассматривая надгробные надписи за оградой нынешней Даффилдской церкви, в густых зарослях крапивы мы наткнулись на мраморного крестоносца с отбитым носом, стоящего под полуразрушенным каменным навесом.

— Все там будем,— сказал дядюшка.— А, Сьюзен? Нас тоже это ждет. Надо будет его почистить немножко и поставить ограду, чтобы мальчишки сюда не лазили.

— Спасает в последнюю минуту,— процитировала тетя одну из наименее удачных реклам Тоно Бенге.

Но дядя, по-моему, не слышал ее.

Тут, в зарослях крапивы, около мраморного крестоносца, нас и нашел здешний викарий. Быстро, немного даже запыхавшись, он появился из-за угла. Видно было, что он бежал за нами следом с той самой минуты, как автомобильный гудок впервые возвестил деревне о нашем прибытии. Это был человек, окончивший Оксфорд, чисто выбритый, с землистым цветом лица, сдержанно-почтительными манерами и безукоризненно правильной речью, и во всем его облике чувствовалось, что он сумел приспособиться к новому порядку вещей. Эти питомцы Оксфорда — поистине греки в нашей плутократической империи. По духу он был тори, но тори, так сказать, применившийся к обстоятельствам, иначе говоря, он уже перестал быть легитимистом и готов был к замене старых господ новыми. Он знал, что мы торгуем какими-то пилюлями и уж, конечно, вульгарны до мозга костей; но почтенному священнослужителю куда труднее было бы избрать линию поведения, если бы «Леди Гров» досталась какому-нибудь индийскому радже-многоженцу или еврею с презрительной от природы физиономией. А мы как-никак были англичане, притом не диссиденты и не социалисты. И он от души рад был принять нас как настоящих джентльменов. Конечно, по некоторым причи-

нам он предпочел бы, чтобы на нашем месте оказались американцы: они не так явно выхвачены из одного слоя общества и переброшены в другой, и они больше поддаются наставлениям духовного пастыря; но не всегда в этом мире нам дано выбирать.

Итак, он был очень оживлен и любезен, показал нам церковь, посплетничал немножко, представляя нам наших ближайших соседей: это оказались банкир Такс, лорд Бум, владелец газеты и толстого журнала, лорд Кэрнеби, знаменитый любитель спорта, и старая леди Оспри. И, наконец, он повел нас по деревенской улице — трое ребятишек вприпрыжку бежали за нами, пяля испуганные глаза на дядюшку,— и через захудалый садик к своему большому запущенному дому, где мы увидели выцветшую мебель и поблекшую жену викария—и та и другая в стиле эпохи королевы Виктории; жена угостила нас чаем, а викарий представил нам свое робеющее семейство, расположившееся на ветхих плетеных стульях по краю старой теннисной площадки.

Эти люди заинтересовали меня. В них, конечно, не было ничего выдающегося, но прежде мне с такими встречаться не приходилось. Два сына викария, долговязые юнцы с красными ушами, играли в теннис. Они отращивали черные усики и одеты были с нарочитой небрежностью: в расстегнутых, неподпоясанных блузах и потертых шерстяных брюках. Тут было несколько худосочных дочерей, наряды которых свидетельствовали о благоразумии и строгой бережливости; младшая, еще длинноногий подросток, была в коричневых носках, а на груди старшей из присутствующих (как мы убедились, еще одна или две спрятались от нас) красовался большой золотой крест, да и по иным бросающимся в глаза признакам можно было безошибочно судить о ее приверженности святой церкви; вертелись тут еще два или три фокстерьера, совершенно неведомой породы охотничий пес и дряхлый, с налитыми кровью глазами сенбернар, от которого несло псиной. Была тут и галка. Кроме того, здесь сидела еще какая-то загадочная молчаливая особа — видимо, как решила после моя тетушка, живущая у них на полном пансионе и притом совершенно глухая. Еще двое или трое сбежали при нашем приближении, не успев допить чай. На стульях лежали коврики, подушки, а некоторые

были даже покрыты британскими национальными флагами.

Викарий наскоро представил нас, и его поблекшая супруга поглядела на тетю глазами, которые выражали одновременно привычное презрение и трусливую почтительность, и томным и нудным голосом завела разговор о соседях, которых тетя, конечно, не могла знать. Тетя отнеслась ко всей этой публике добродушно и весело, от нее ничего не укрылось, то и дело ее голубые глаза обращались на постные физиономии тщедушных викариевых дочек и на крест на груди у старшей. Ободренная поведением тети, супруга викария приняла добросердечно-покровительственный тон и дала понять, что может помочь перебросить мостик через пропасть, отделяющую нас от здешних именитых семейств.

До меня долетали лишь обрывки их беседы:

— Миссис Меридью принесла ему целое состояние. Ее отец, мне кажется, торговал испанскими винами; впрочем, она настоящая леди. А он потом упал с лошади, и сильно разбил себе голову, и после этого занялся сельским хозяйством и рыбной ловлей. Я уверена, они оба вам понравятся. Он такой забавный!.. Их дочь пережила большое разочарование, сделалась миссионеркой, уехала в Китай и попала там в резню...

— Вы не поверите, какие прекрасные шелка она оттуда привезла, какие изумительные вещи!..

— Да, они ей дали все это, чтобы ее умилостивить. Видите ли, они даже не понимают разницы между нами и думают, что, если они резали людей, так и их самих тоже будут резать. Они даже не понимают, что христиане совсем другие...

— В их семье было семь епископов!..

— Вышла замуж за паписта и погибла для своих родных...

— Не выдержал какого-то ужасного экзамена, и ему пришлось стать военным...

— Тогда она изо всех сил вцепилась зубами ему в ногу, и он отпустил ее...

— У него удалили четыре ребра...

— Заболел менингитом — и в неделю его не стало...

— Ему вставили в горло большую серебряную трубку, а когда он хотел говорить, он зажимал ее пальцем,

Мне кажется, это делает его ужасно интересным. Так и чувствуешь, что он очень искренний. Обаятельнейший человек во всех отношениях...

— Очень удачно заспиртовал их, и они прекрасно сохранились и стоят у него в кабинете, только он, конечно, не всем их показывает.

Молчаливая дама, нисколько не задетая этой волнующей беседой, с чрезвычайным вниманием разглядывала наряд тети Сьюзен и была явно поражена, когда та расстегнула плащ и распахнула его. Тем временем мужчины беседовали, одна из дочек, посмелее, с живым интересом прислушивалась, а сыновья растянулись на траве у наших ног. Дядюшка предложил им сигары, и они оба отказались: по-моему, от застенчивости, но викарий, наверно, решил, что это плоды хорошего воспитания. Когда мы на них не смотрели, молодые люди исподтишка пинали друг друга ногами.

Под влиянием дядюшкиной сигары мысли викария унеслись за пределы его прихода.

— Этот социализм,— промолвил он,— приобретает, мне кажется, все больше сторонников.

Дядя покачал головой.

— Мы, англичане,— слишком большие индивидуалисты, чтобы увлекаться подобной чепухой,— сказал он.— Где все хозяева, там нет хозяина. Вот в чем их ошибка.

— Я слышал, среди социалистов есть и вполне разумные люди,— заметил викарий.— Писатели, например. Старшая дочь называла мне даже одного очень известного драматурга, забыл, как его зовут. Милли, дорогая! Ах, ее здесь нет. Среди них есть и художники. Мне кажется, в этом социализме тоже сказывается брожение умов, присущее нашему веку... Но, как вы справедливо заметили, он противен духу нашего народа. Деревенским жителям во всяком случае. Здешний народ слишком независим в своей повседневной жизни и вообще слишком благоразумен...

Тут на время мое внимание отвлек какой-то поразительный несчастный случай, о котором рассказывала жена викария.

— Для Даффилда чрезвычайно важно, что у «Леди Гров» снова есть хозяин,— говорил викарий, когда я

вновь прислушался к их беседе.— Наши прихожане всегда брали пример с этого дома, и если принять все во внимание, старый мистер Дарген был прекрасный человек, необыкновенный человек. Надеюсь, что и вы будете уделять нам много времени.

— Я намерен исполнить свой долг перед приходом,— сказал дядюшка.

— Душевно рад это слышать, душевно рад. Мы многого были лишены, пока «Леди Гров» пустовала. Английская деревня так нуждается в облагораживающем влиянии... Народ отбивается от рук. Жизнь становится слишком скучной и однообразной. Молодых людей притягивает Лондон.

С минуту он молча наслаждался сигарой.

— Будем надеяться, что с вашим переездом у нас здесь все оживет,— сказал бедняга викарий.

Дядюшкина сигара встала торчком, и он вынул ее изо рта.

— Чего, по-вашему, надо приходу? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Пока вы говорили, я думал, что бы тут сделать. Крикет... прекрасная английская игра... спорт. Может, построить для молодых парней что-нибудь вроде летнего клуба? И чтоб в каждой деревне был маленький тир.

— Д-да-а,— протянул викарий.— Только, разумеется, при условии, чтобы не стрелять с утра до ночи...

— Это все можно устроить в лучшем виде,— сказал дядюшка.— Выстроим этакий длинный сарай. Выкрасим его в красный цвет. Британский цвет. Потом вывесим британский флаг на церкви и на школе. Может, и школу тоже в красное выкрасим. Сейчас ей не хватает яркости. Слишком она серая. Потом майское дерево.

— Придется ли это по душе нашим прихожанам...— начал викарий.

— Надо возродить дух доброй старой Англии, вот вам и весь сказ-ззз,— объявил дядюшка.— Побольше веселья. Пускай парни и девчонки пляшут на лугу. И чтоб праздник урожая. И гостинцы с ярмарки. И сочельник, и все такое.

Наступило короткое молчание.

— А старая Салли Глю сойдет за Королеву мая? — спросил один из сыновей викария.

— Или Энни Гласбаунд? — спросил другой и оглушительно, басом захохотал, как смеются юнцы, у которых еще недавно ломался голос.

— Салли Глю восемьдесят пять лет,— объяснил викарий.— А Энни Гласбаунд — это молодая особа... м-м... необычайно... м-м... щедро одаренная в смысле пропорций. Но, видите ли, у нее не все в порядке. Не все в порядке — вот тут.— И он постучал себя пальцем по лбу.

— Щедро одаренная! — повторил старший сын, и хохот возобновился.

— Видите ли,— пояснил викарий,— все девушки побойчее уезжают служить в Лондон или куда-нибудь поближе к нему. Их влечет беспокойная жизнь. К тому же там и жалованье больше, это тоже, несомненно, имеет значение. И они могут там наряжаться сколько вздумается. И вообще они там сами себе хозяйки. Так что, пожалуй, будет нелегко сейчас найти у нас подходящую Королеву мая — действительно молодую и... м-м... хорошенькую... Я, конечно, не имею в виду своих дочерей и вообще девушек их круга...

— Надо, чтоб они вернулись,— сказал дядя.— Таково мое мнение. Надо хорошенько встряхнуть деревню. Английская деревня — действующее предприятие, она еще не обанкротилась, вроде того как церковь, с вашего разрешения: впрочем, она тоже действующее предприятие. И Оксфорд то же самое и Кембридж. И все эти замечательные старые штуки. Только нужны новые капиталы, новые мысли и новые методы. К примеру, железные дороги облегченного типа, научная система осушения. Проволочные изгороди... машины... и все такое.

На лице викария промелькнуло выражение отчаяния, которое он не сумел скрыть. Должно быть, он подумал о мирных сельских дорогах, обсаженных боярышником и жимолостью.

— В деревне можно делать большие дела,— сказал дядя.— Поставить производство джема и пикулей на современную ногу... Готовить их прямо на месте.

Должно быть, это последнее изречение еще звучало у меня в ушах, и поэтому, возвращаясь обратно в Лон-

дон, я сочувственно, почти растроганный, смотрел на разбросанные в беспорядке деревенские домики и нарядный лужок. В тот вечер эти утопающие в зелени домики казались необыкновенно мирными и идиллическими; два-три белых домика были еще под соломой; всюду виднелось множество остролиста, желтофиолей и бледно-желтых нарциссов, а дальше беспорядочно разросся фруктовый сад, и деревья стояли белые, все в цвету, а внизу пестрели яркие грядки. Я увидал длинный ряд соломенных ульев, островерхих ульев того устаревшего типа, что давно осужден всеми прогрессивными умами как негодный; на докторском лужке паслось целое стадо из двух овец: наверное, кто-нибудь заплатил ему за визит натурой. Двое мужчин и старуха низко и раболепно поклонились, и дядюшка величественно помахал в ответ рукой в огромной шоферской перчатке...

— В Англии полно таких местечек,— очень довольный, изрек дядюшка, откинувшись на переднем сиденье, и оглянулся назад. Сквозь темные поблескивающие очки он смотрел на башенки «Леди Гров», почти уже скрывшиеся за деревьями.

— Надо бы поставить флагшток,— размышлял он вслух.— Всегда можно будет показать, что ты дома. Жителям будет приятно знать...

Я тоже задумался на минуту.

— Да, конечно,— сказал я.— Они и к этому привыкнут.

Тетя Сьюзен против обыкновения все время молчала. Теперь она вдруг заговорила:

— Он ловит удачу, он покупает поместье. Нечего сказать, хорошая работенка для меня! Все заботы о доме! Он плывет по деревне, раздувшись, как старый индюк. А дворецкого кто должен найти? Я! Кому придется забыть все, что знал, и все начинать сызнова? Мне! Кому придется перекочевать из Чизлхерста и стать важной дамой? Мне!.. Эх ты, старый непоседа! Только освоилась и начала чувствовать себя как дома...

Дядя поглядел на нее сквозь свои огромные очки.

— Ну, нет, Сьюзен, уж теперь-то это будет настоящий дом... Именно то, что нам надо.

VII

Мне кажется теперь, что всего лишь один шаг отделяет нас от покупки «Леди Гров» до закладки дома в Крест-хилле, от дней, когда «Леди Гров» была для нас огромным достижением, до той поры, когда она оказалась слишком маленькой, жалкой, совершенно неподходящим обиталищем для великого финансиста. Я в те времена все дальше отходил от нашего дела и от лондонского светского общества, я заглядывал в Лондон лишь изредка, мимоходом, и иной раз по две недели безвыходно сидел в своем шале невдалеке от «Леди Гров», а если и выходил оттуда, то чаще всего ради собрания в Обществе воздухоплавания или в каком-нибудь другом ученом обществе, или чтобы ознакомиться с литературой, или с новыми изобретениями, или по неотложному делу. А для дяди это были годы величайшего расцвета. Всякий раз, как я встречался с ним, я убеждался, что он стал еще увереннее, еще осведомленнее, еще яснее сознает себя одним из вершителей важных дел. Теперь он вращался уже не только в деловых кругах, он стал такой крупной фигурой, что попал в поле зрения великих мира сего.

Постепенно я привык узнавать что-нибудь новенькое о его личной жизни из вечерней газеты или встречать его портрет во всю страницу в дешевом журнале. Газеты обычно сообщали о каком-нибудь его щедром пожертвовании, о какой-нибудь романтической покупке или даре или передавали слухи о каком-либо затеянном им новом преобразовании. То печатали его интервью, то он в числе прочих знаменитостей делился своими соображениями о том, в чем «Секрет успеха», или еще о чем-нибудь в этом же роде. То появлялись удивительные рассказы о его необычайной работоспособности, поразительном таланте организатора, об умении принимать решения на лету и на редкость верно судить о людях. Газеты повторяли его незабываемое mot [1]: «Восьмичасовой рабочий день! Да мне и восьмидесяти не хватит!»

Он завоевал не слишком громкую, но прочную популярность. В «Ярмарке Тщеславия» появилась даже карикатура на него. На ежегодной выставке в Берлингтон-

---

[1] Изречение *(франц.)*.

хаузе портрет тети Сьюзен — очень изящной, настоящей леди — висел как раз напротив портрета короля, а на следующий год в Новой галерее дядюшка, гордый и величественный, но, пожалуй, немножко чересчур кругленький, взирал на белый свет с медальона работы Юарта.

Я лишь изредка появлялся в обществе, где дядюшка так преуспевал. Правда, обо мне знали, многие пытались через меня произвести на него своего рода фланговую атаку, и ходила совершенно нелепая легенда, порожденная отчасти моей все возрастающей известностью в научных сферах, отчасти некоторой сдержанностью, свойственной мне, будто я играю гораздо большую роль в его делах и планах, чем это было на самом деле. Вот почему я раза два обедал в весьма интимном кругу, был раза два приглашен на торжественные приемы, и самые неожиданные люди навязывали мне свое знакомство и свои услуги, от которых я почти всегда уклонялся. Среди тех, кто искал со мной встреч, был Арчи Гервелл,— он стал теперь военным, большим франтом, без гроша в кармане и без особых чинов, и, я думаю, не прочь был бы руководить мною в любой области спорта, к которой я проявил бы интерес; при этом он самым очаровательным образом не подозревал, что мы уже когда-то встречались. Он всегда подсказывал мне, на кого следует поставить, несомненно, надеясь впоследствии получить взамен какие-нибудь вполне реальные блага, он действовал в духе нашего поистине научного и верного метода: извлекать кое-что из ничего...

Роясь в старых воспоминаниях, я убеждаюсь теперь, что хоть и был очень занят своими исследованиями в те богатые событиями годы, а все-таки мне довелось повидать и немало высокопоставленных особ; я видел вблизи механизм, которым управляется наша изумительная империя, сталкивался и беседовал с епископами и государственными мужами, с женщинами, причастными политике, и с женщинами, от политики далекими, с врачами и военными, художниками и писателями, издателями больших газет, с филантропами и вообще со всякими знаменитыми, выдающимися людьми. Я видел государственных деятелей без орденов, видел епископов едва ли не в светской одежде, когда на них мало что оставалось от шел-

ка и пурпура и вдыхали они не ладан, а дым сигары. Я мог тем лучше рассмотреть их, что они-то смотрели не столько на меня, сколько на моего дядюшку, сознательно или бессознательно прикидывая, как бы его обработать и получше использовать в своих интересах — в интересах самой неразумной, коварной, преуспевающей и бессмысленной плутократии, какая когда-либо обременяла собою человечество. До той самой минуты, пока не разразился крах, никто из них, насколько я мог заметить, не возмущался дядюшкиным надувательством, почти неприкрытой бесчестностью его приемов, дикой неразберихой, которую он вносил своим неожиданным вторжением то в ту, то в иную область коммерции. Ясно помню, как они окружали его, как были предупредительны, не спускали с него глаз, как умели находить с ним общий язык; маленький, толстенький и неуклюжий, с жесткими волосами, коротким носиком и самодовольно выпяченной нижней губой, он неизменно оказывался в центре внимания. Чуждый всему окружающему, он бродил среди знаменитостей и нередко улавливал шепот:

— Это мистер Пондерво!

— Вон тот маленький?

— Да, маленький, невежа в очках.

— Говорят, он заработал...

Или я видел его на каком-нибудь помосте или трибуне — рядом с тетей Сьюзен в сногсшибательной шляпке,— окруженный титулованными особами в пышных нарядах, он, по его собственному выражению, «умел не ударить лицом в грязь», солидно жертвовал на то или иное широко известное, благотворительное начинание и, случалось, даже произносил перед восторженной аудиторией короткую зажигательную речь во славу какого-нибудь доброго дела.

— Господин председатель, ваши королевские высочества, милорды, леди и джентльмены,— начинал он среди затихающих аплодисментов, потом поправлял свои упрямые очки, откидывал фалды фрака — руки в боки — и произносил речь, сдабривая ее изредка своим неизбежным «ззз». При этом руки у него все время были в движении: то он хватался за очки, то за карманы; он то и дело, по мере того как фраза толчками, словно часовая пружина, раскручивалась, медленно приподнимался

на носках, а договорив ее, опять опускался на пятки. Точно так же, размахивая руками и раскачиваясь на носках, он когда-то в первую нашу встречу, стоя перед холодным камином в крохотной задрапированной гостиной, говорил с моей матерью о моем будущем.

В те нескончаемые жаркие вечера в уимблхерстской крохотной лавчонке он вслух мечтал о «Романтике современной коммерции». И вот теперь его романтические мечты сбылись.

VIII

Говорят, что, достигнув вершины своего богатства, мой дядюшка потерял голову, но если можно сказать начистоту всю правду о человеке, которого как-никак любишь, так ведь ему, собственно, нечего было терять. Он всегда был фантазер, сумасброд, неосмотрителен, опрометчив и сумбурен, и нахлынувшее на него богатство лишь дало волю его натуре. Несомненно, в пору своего расцвета он нередко бывал очень раздражителен и не терпел возражений, но, я думаю, что причина не в его умственном расстройстве, а скорее в каком-то скрытом телесном недуге. И, однако, мне нелегко судить его и нелегко во всей полноте раскрыть читателю те перемены, которые совершались в нем. Я слишком часто встречался с ним, слишком много картин и впечатлений беспорядочно теснится в моей памяти. Вот он напыжился, обуянный манией величия, вот съежился и скис, он то сварлив, то неуязвимо самодоволен, но неизменно стремителен, порывист, непоследователен и полон энергии,— и при этом, уж не знаю, как определить, где-то глубоко, неуловимо, по самой природе своей, донельзя нелеп.

Быть может, потому, что так спокоен и хорош был тот летний вечер, мне особенно запомнился один наш разговор на веранде моего домика за Крест-хиллом возле сарая-мастерской, где хранились мои летательные аппараты и воздушные шары. Такие разговоры мы вели нередко, и, право, не знаю, почему именно этот запал мне в память. Видно, так уж случилось. Дядя зашел ко мне после кофе, чтобы посоветоваться по поводу потира, который в приступе величия и щедрости, поддавшись на-

зойливым уговорам некоей графини, он решил преподнести в дар одной весьма достойной церкви в Ист-Энде. Я в порыве еще более необдуманного великодушия предложил заказать рисунок чаши Юарту. Юарт сразу же сделал превосходный эскиз священного сосуда, окаймленного подобием ангельского хоровода из этаких бледнолицых Милли с распростертыми руками и крыльями, и получил за это пятьдесят фунтов. А потом пошли всякие проволочки, которые очень бесили дядюшку. Потир все больше и больше ускользал из-под власти почтенного коммерсанта, становился неуловим и недосягаем, как святой Грааль, и, наконец, Юарт вовсе перестал работать над эскизом.

Дядюшка забеспокоился...

— Понимаешь, Джордж, они уже хотят получить эту окаянную штуку.

— Какую окаянную штуку?

— Да этот потир, черт бы его побрал! Они уже начинают про него спрашивать. Дела так не делаются.

— Но ведь это искусство,— возразил я.— И религия.

— Ну и пускай себе. Но ведь это плохая реклама для нас, Джордж. Наобещали, а товар не даем... Я, кажется, спишу твоего друга Юарта в убыток, вот чем это кончится, и обращусь к какой-нибудь солидной фирме...

Мы сидели на складных стульях на веранде, курили, пили виски и, покончив с потиром, предавались размышлениям. Дядюшка уже забыл о своей досаде. На смену раскаленному, полному истомы дню пришел великолепный летний вечер. В ярком лунном свете смутно вырисовывались очертания холмов, убегающих вдаль волна за волной; а далеко за холмами крохотными яркими точками светились огни Лезерхэда, и прямо перед нами, словно влажная сталь, сверкал край помоста, с которого я запускал свои планеры. Стоял, должно быть, конец июня, потому что, помню, в роще, скрывавшей от нас светлые окна «Леди Гров», заливались и щелкали соловьи...

— А ведь мы добились своего, Джордж? — сказал дядя после долгого молчания.— Помнишь, что я говорил?

— Когда же это?

— В этой дыре на Тотенхем-Корт-роуд. А? Это был прямой, честный бой, и мы выиграли.

Я кивнул.

— Помнишь, я тебе говорил... про Тоно Бенге?.. Как раз в тот день я и напал на эту идею.

— Я так и думал...— признался я.

— Мир великолепен, Джордж, в наше время всякому может посчастливиться, была бы только хватка. Вытащил козырь — и пожалуйста, действуй!.. А? Тоно Бенге... Подумай только! Мир великолепен, Джордж, и чем дальше, тем лучше становится. Нет, я доволен жизнью и рад, что мы не упустили своего. Мы выходим в большие люди, Джордж. Счастье само идет нам в руки. А? Эта история с Палестиной...

Он задумался и с минуту тянул сквозь зубы свое «ззз», потом умолк.

Его музыкальную тему подхватил сверчок в траве, давая дядюшке время вновь собраться с силами. Сверчок, кажется, тоже воображал, что он уже добился своего, что осуществились какие-то его планы. «Ззз-дорррво,— выговаривал он.— Зз-дорррво...»

— Бог ты мой, что за домишко был у нас в Уимблхерсте,— вдруг заговорил дядя.— Вот я как-нибудь выберу денек, и мы прокатимся туда на автомобиле, Джордж, и не пощадим пса, который спит на главной улице. Там вечно спал какой-нибудь пес, без этого не бывало. Никогда не бывало... Хотел бы я еще разок поглядеть на ту нашу лавчонку. Надо полагать, старый Рэк по сю пору стоит у себя на пороге и скалит зубы; а Марбл — старый бездельник! — выходит в белом фартуке с карандашом за ухом и делает вид, что он занят делом... Интересно, знают ли они, что я за персона теперь. Хотел бы я, чтобы они это узнали.

— Кончилась их спокойная жизнь: там у них теперь международная чайная компания и всякие другие компании,— сказал я.— А насчет пса, который там шесть лет спал посреди улицы, так ему, бедняге, теперь и там не очень-то спится,— автомобили гудят, и у него нервы расстроены.

— Все пришло в движение,— сказал дядя.— Ты, пожалуй, прав... В великое время мы живем, Джордж. Наступает великая, грандиозная, прогрессивная эпоха.

Взять хоть Палестинское начинание... Какая смелость... Это... это такой процесс, Джордж. И он в наших руках. Вот сидим и управляем им. Нам это доверено... Вот сейчас, кажется, все тихо. Но если бы нам видеть и слышать...— И дядя махнул сигарой в сторону Лезерхэда и Лондона.— А там они, миллионы, Джордж. Только подумай, чем они были до сих пор, эти десять миллионов? Каждый корпел над чем-то в своем углу. Даже в голове не укладывается! Это, как сказал старик Уитмен... Как, бишь, он сказал? Ну, в общем, как сказал Уитмен. Чудный парень этот Уитмен! Чудный старик! Только вот никак не упомнишь, как это он сказал... И эти десять миллионов еще не все. За морями тоже миллионы, сотни миллионов... Китай, Марокко да вообще вся Африка, Америка... И не кто-нибудь, а мы заправляем, у нас хватит и сил и времени... потому что мы всегда были энергичными, ловили удачу, у нас в руках все кипело, мы не ждали, как другие, чтоб нам поднесли готовенькое. Понимаешь? И вот, пожалуйста, мы всем заправляем. Мы вышли в большие люди. И то ли еще будет. Если хочешь знать, мы — сила.

Он помолчал немного.

— Это великолепно, Джордж,— сказал он.

— Англосаксы — народ энергичный,— заметил я словно бы про себя.

— Вот именно, Джордж, все дело в энергии. Поэтому все у нас в руках: все нити, провода, понимаешь, они тянутся и тянутся, от какой-нибудь нашей конторы прямо в Западную Африку, и в Египет, и в Индию, на восток и на запад, на север и на юг. Правим миром, если хочешь знать. И чем дальше, тем крепче держим его в руках. Творим. Возьми хоть этот палестинский канал. Блестящая мысль! Вот мы ввяжемся в это, возьмемся за это дело — и мы и другие,— устроим шлюз-зззз, пустим воду из Средиземного в Мертвое — подумай, как все переменится! Пустыня цветет, как роза, Иерихон пропал, вся святая земля под водой... Тут, глядишь, и христианству конец...

Он задумался на мгновение.

— Выроем каналы,— бормотал он.— Туннели... Новые страны... Новые центры... зззз... Финансы... Тут не одна Палестина... Хотел бы я знать, как далеко мы пой-

дем, Джордж. Сколько больших дел у нас на мази! Уж люди понесут нам свои денежки, будь спокоен. Почему бы нам не выйти в большие воротилы, а? Тут, правда, есть свои загвоздки... но я с ними справлюсь. Мы еще немножко мягкотелы, но ничего, станем потверже... Я думаю, я стою что-нибудь около миллиона, если все подсчитать и учесть. Даже если сейчас уйти от дел. Великое время, Джордж, замечательное время!..

Я поглядел на него, с трудом различая его в сумерках, маленького и кругленького, и, не скрою, как-то вдруг понял, что он не очень-то много стоит.

— Все у нас в руках, Джордж, у нашего брата, большого человека. Надо держаться друг за друга... И всем заправлять. Приладиться к старому порядку вещей, как то мельничное колесо у Киплинга. (Это лучшее, что он написал, Джордж... Я как раз недавно перечитывал. Потому и купил «Леди Гров».) Так вот, нам надо управлять страной, Джордж... Ведь это наша страна. Превратить ее в научно-организованное деловое предприятие. Вложить в нее идеи. Электрифицировать ее. Заправлять прессой. Всем заправлять. Всем без изъятия. Я говорил с лордом Бумом. С разными людьми говорил. Великие дела. Прогресс. Мир на деловых рельсах. И это еще — только начало...

Он углубился в размышления.

Затянул свое «ззз», потом затих.

— Да! — изрек он немного погодя тоном человека, который наконец-то разрешил какие-то великие вопросы.

— Что? — спросил я, выдержав подобающую случаю паузу. Дядюшка помолчал минуту и молчал со столь многозначительным видом, что мне почудилось, будто судьба мира колеблется на чаше весов. Но вот он заговорил, и казалось, слова его идут из самой глубины души... Да так оно, наверно, и было.

— Хотел бы я завернуть в «Герб Истри», когда все эти бездельники дуются в карты: Рэк, и Марбл, и все прочие, и выложить им в двух словах, что я о них думаю. Прямо сплеча. Свое мнение о них. Это пустяк, конечно, но хотел бы я им сказать разок... Пока жив... хоть один раз-ззз.

Потом мысль его остановилась на другом.

— Вот взять Бума...— задумчиво произнес он и замолк.

— Замечательно у нас государство устроено, Джордж, наша добрая старая Англия,— снова заговорил он тоном беспристрастного судьи.— Все прочно, устойчиво, и при этом есть место новым людям. Приходишь и занимаешь свое место. От тебя прямо ждут этого. Участвуешь во всем. Вот чем наша демократия отличается от Америки. У них, если человек преуспел, он только и получает, что деньги. У нас другие порядки... по сути дела, всякий может выдвинуться. Вот хотя бы этот Бум... Откуда он взялся!

Дядюшка умолк. К чему это он клонит? И вдруг я понял и едва не скатился со стула от изумления, но удержался, выпрямился и ощутил под ногами твердую землю.

— Неужели ты это серьезно?..— сказал я.

— Что, Джордж?

— Взносы в партийную кассу. Взаимная выгода. Неужели мы и этого достигли?

— К чему это ты ведешь, Джордж?

— Сам знаешь. Только они на это не пойдут!

— На что не пойдут? — повторил он не слишком уверенно и тут же прибавил:— А почему бы и нет?

— Они даже и баронета тебе не дадут. Ни за что! Хотя, правда, Бум... И Колингсхед... и Горвер! Они варили пиво, занимались всякими пустяками. В конце концов Тоно Бенге... Это тебе не посредник на скачках или еще что-нибудь в этом роде!.. Хотя, конечно, и посредники на скачках бывают весьма почтенные! Это не то, что какой-нибудь болван ученый, который не умеет делать деньги!

Дядюшка сердито заворчал; мы и прежде расходились во взглядах на этот предмет.

Бес вселился в меня.

— Как они будут тебя величать? — размышлял я вслух.— Викарий, наверно, хотел бы Гров. Слишком похоже на гроб. Непростая это штука — титул.— Я ломал голову над разными возможностями.— Вот я тут вчера натолкнулся на социалистическую брошюрку. Стоит прислушаться. Автор говорит: мы все «делокализуемся». Недурно сказано: «делокализуемся»! Почему не стать

первым делокализованным пэром Англии? Тогда можно взять за основу Тоно Бенге! Бенге — это, знаешь ли, совсем неплохо. Лорд Тоно Бенгский—на всех этикетках, везде и всюду. А?

К моему удивлению, дядюшка вышел из себя.

— Черт подери, Джордж, ты никак не возьмешь в толк, что я говорю серьезно! Ты всегда измывался над Тоно Бенге! Как будто это какое-то жульничество! Это— совершенно законное дело, совершенно законное! Первоклассный товар, своих денег стоит... Приходишь к тебе поделиться, рассказать о своих планах, а ты измываешься. Да, да! Ты не понимаешь, это — огромное дело. Огромное дело. Пора бы уже тебе привыкнуть к нашему новому положению. Надо уметь видеть вещи, как они есть. И нечего скалить зубы...

IX

Нельзя сказать, что дядюшка был поглощен одними только делами да честолюбивыми устремлениями. Он успевал еще следить за развитием современной мысли. Например, его чрезвычайно поразила эта, как он выражался, «идея Ницше насчет сверхчеловека и всякое такое».

Соблазнительная теория сильной, исключительной личности, освободившейся от стеснительных оков обыкновенной честности, перепуталась у него в голове с легендой о Наполеоне. Это дало новое направление его фантазии. Наполеон! Самый большой вред человечеству нанес он тогда, когда его полная грандиозных потрясений и превратностей жизнь завершилась и романтические умы начали создавать о нем легенды. Я глубоко убежден, что дядя потерпел бы куда менее страшное банкротство, если бы его не сбила с толку эта легенда о Наполеоне. Дядюшка был во многих отношениях лучше и добрее тех дел, которые он вершил. Но в минуты сомнения, когда он оказывался перед выбором, поступить ли достойно или воспользоваться низменной выгодой, в эти минуты культ Наполеона влиял на него особенно сильно. «Подумай о Наполеоне, представь себе, как отмахнулся бы от таких угрызений совести непреклонный, своеволь-

ный Наполеон»—такие размышления всегда кончались тем, что он делал еще один шаг на пути бесчестья.

Дядюшка, правда, без всякой системы коллекционировал наполеоновские реликвии: чем толще оказывалась книга о его герое, тем охотнее он покупал ее; он приобретал письма, и побрякушки, и оружие, которое имело весьма отдаленное отношение к Избраннику Судьбы, и даже раздобыл в Женеве старую карету, в которой, быть может, ездил Буонапарте, правда, он так и не доставил ее домой; он заполонил мирные стены «Леди Гров» его портретами и поставил статуи, предпочитая, как заметила тетушка, те портреты, где Наполеон был изображен в белом жилете, подчеркивающем его полноту, и статуэтки Наполеона, стоящего во весь рост, заложив руки за спину, так что его брюшко становилось особенно заметно. И, взирая на все это, сардонически усмехались со старых полотен Даргены.

Иной раз после завтрака дядюшка останавливался у окна — освещенный падавшим из него светом, заложив два пальца между пуговицами жилета и прижав к груди подбородок, он размышлял, самый нелепый маленький толстяк на свете. Тетя Сьюзен говаривала, что в эти минуты она чувствовала себя «старым фельдмаршалом, которого изрядно поколотили!».

Быть может, из-за пристрастия к Наполеону дядя стал реже обычного прибегать к сигарам; хотя в этом я не слишком уверен, но смело могу сказать, что, прочитав книгу «Наполеон и прекрасный пол», он доставил тете Сьюзен немало огорчений, так как на время эта книга возбудила в нем интерес к той стороне жизни, о которой, поглощенный коммерцией, он обычно забывал. Немалую роль тут сыграло внушение. Дядюшка воспользовался первым же удобным случаем и завел интрижку!

Это было не такое уж страстное увлечение, и подробностей я так никогда и не узнал. И вообще-то мне стало известно об этом совершенно случайно. Однажды я, к своему изумлению, встретил дядю на приеме у Робберта, члена Королевской академии, который в свое время писал портрет моей тетушки; компания там собралась разношерстная, сливки общества смешались с богемой, дядюшка стоял поодаль в нише у окна и разговаривал,

или, вернее, слушал, что говорит ему, понизив голос, полная невысокая блондинка в светло-голубом платье — некая Элен Скримджор, которая писала романы и руководила изданием еженедельного журнала. Толстая дама, оказавшаяся рядом со мной, что-то сказала по их адресу, но, и не расслышав ее слов, я без труда понял, что связывает этих двоих. Это бросалось в глаза, как афиша на заборе. Я был поражен, что не все это замечают. А быть может, и замечали. На ней было великолепное бриллиантовое колье, слишком великолепное для журналистки, и смотрела она на дядюшку взглядом собственницы, права которой, однако, сомнительны; чувствовалось, что он у нее на привязи, но веревочка туго натянута и грозит оборваться; кажется, все это неизбежно в подобных интрижках. Здесь узы, соединяющие двух людей, и сильнее натянуты и менее прочны, чем в браке. Если мне нужны были еще какие-нибудь доказательства, достаточно было заглянуть в глаза дядюшке, когда он поймал мой взгляд,— в этих глазах я прочел и замешательство, и гордость, и вызов. И на следующий же день он воспользовался первым удобным случаем, чтобы мимоходом рассыпаться в похвалах уму и дарованиям своей дамы, боясь, что я превратно пойму, в чем тут суть.

Потом одна из ее приятельниц кое о чем насплетничала мне. А я был слишком любопытен, чтобы не выслушать ее. Никогда в жизни я не представлял себе дядюшку в роли влюбленного. Оказалось, что она называет его своим «Богом в автомобиле» — так звали героя романа Антони Хопа.

Между ними было твердо установлено, что дядюшка безжалостно покидает ее в любую минуту, как только его призывают дела, и дела действительно его призывали. Женщины не занимали в его жизни большого места — оба это понимали,— главной его страстью было честолюбие. Огромный мир призывал его и благородная жажда власти. Я так и не мог понять, насколько искренни были чувства миссис Скримджор, но вполне вероятно, что ее покорили прежде всего его финансовое величие и ослепительная щедрость, и, возможно, она и в самом деле вносила в их отношения какую-то романтиче-

скую нотку... Должно быть, на их долю выпадали удивительные минуты...

Поняв, что происходит, я очень расстроился и огорчился за тетю. Я подумал, что это будет для нее жестоким унижением. Я подозревал, что она храбрится, потеряв дядину привязанность, и делает вид, что ничего не произошло, а на душе у нее кошки скребут, но оказалось, что я попросту недооценивал ее. Она долгое время ничего не знала, но, узнав, вышла из себя и ощутила бурный прилив энергии. Поначалу чувства ее были не слишком глубоко задеты. Она решила, что дядюшке полезна хорошая взбучка. Надев сногсшибательную новую шляпку, она отправилась в Хардингем и беспощадно отчитала дядюшку, а потом и мне порядком досталось за то, что я до сих пор молчал...

Я пытался уговорить тетю Сьюзен смотреть на вещи трезво, но она с присущей ей оригинальностью взглядов была непоколебима.

— Мужчины не ябедничают друг на друга в любовных делах,— оправдывался я, ссылаясь на обычаи света.

— Женщина! — возмутилась она.— Мужчина! При чем тут мужчины и женщины, речь идет о нем и обо мне, Джордж! Что за вздор ты несешь! Любовь — прекрасная вещь, ничего не скажешь, и уж кто-кто, а я ревновать не собираюсь. Но тут ведь не любовь, а просто чепуха... Я не дам этому старому дураку распускать павлиний хвост перед бабами... Я ему на все нижнее белье нашью красные метки: «Только для Пондерво»,— все перемечу до последней тряпки... Не угодно ли? Пылкий любовник нашелся!.. В набрюшнике... в его-то годы!

Я и представить себе не могу, что произошло между дядюшкой и тетей Сьюзен. Но уверен, что ради этого случая она изменила своей обычной манере передразнивать его. Какой разговор состоялся тогда между ними, понятия не имею; хоть я и знал обоих, как никто, мне еще не приходилось слышать, чтобы они всерьез говорили о своих отношениях. Во всяком случае, в ближайшие несколько дней мне пришлось иметь дело с чрезвычайно серьезным и озабоченным «Богом в автомобиле»,— чаще обычного он тянул свое «ззз» и нервно жестикулировал, причем эти досадливые, нетерпеливые жесты никак не были связаны с тем, о чем шел разговор

в эту минуту. Было ясно, что жизнь вдруг стала казаться ему как никогда сложной и необъяснимой.

Многое в этой истории осталось скрытым от меня, но в конце концов тетя Сьюзен восторжествовала. Дядюшка бросил, вернее, оттолкнул миссис Скримджор, а она написала на эту тему роман, вернее, вылила на бумагу целый ушат оскорбленного женского самолюбия. О тете Сьюзен там даже не упоминалось. Писательница, как видно, и не подозревала, почему ее на самом деле покинули. Наполеоноподобный герой ее романа не был женат, а бросил свою даму, как Наполеон Жозефину, ради союза, имеющего государственное значение...

Да, тетя Сьюзен восторжествовала, но победа досталась ей дорогой ценой. Некоторое время их отношения оставались явно натянутыми. Дядюшка отказался от дамы сердца, но злился — и даже очень,— что вынужден был это сделать. В его воображении она занимала гораздо больше места, чем можно было предполагать. Он долго не мог «прийти в норму». Он стал раздражителен с тетей Сьюзен, нетерпелив, скрытен, и после того как раз-другой с неожиданной резкостью оборвал ее, она остановила поток добродушно-насмешливой брани, который не иссякал долгие годы и так забавно освежал их жизнь. И от этого они оба стали духовно беднее и несчастнее. Она все больше входила в сложную роль хозяйки «Леди Гров». Слуги привязались к ней, как они сами говорили, и за время своего правления она крестила трех Сьюзен: дочек садовника, кучера и лесничего. Она собрала у себя целую библиотеку из старых папок с бумагами и расчетных книг, которые велись в имении. Вдохнула новую жизнь в кладовые и стала великой мастерицей по части желе и настоек из бузины и баранчиков.

X

Поглощенный своими исследованиями, думая о том, как бы одолеть все препятствия и начать полет, я не обращал внимания на то, как богател мой дядюшка, а с ним и я сам, а между тем его затеи приобретали все более широкий размах, он все больше рисковал и без оглядки, беспорядочно швырял деньгами. Должно быть, его пре-

следовала мысль, что положение его становится час от часу все ненадежнее, и потому в эти последние годы —годы своего расцвета — он все чаще раздражался, все больше замыкался в себе, скрывая многое от тети Сьюзен и от меня. Я думаю, он опасался, что придется объяснить нам истинное положение вещей, боялся, как бы наши шутки ненароком не попали в цель. Даже наедине с самим собой он не решался взглянуть правде в глаза. Он копил в своих сейфах ценные бумаги, которые в действительности не имели никакой цены и грозили лавиной обрушиться на весь коммерческий мир. Но он покупал и покупал, как одержимый, и лихорадочно уверял сам себя, что победоносно шагает к безмерному, беспредельному богатству. Странное дело, в эту пору он без конца приобретал все одни и те же вещи. Казалось, его одолевают навязчивые мысли и желания. За один только год он купил пять новых автомобилей, причем каждый следующий был более мощным и быстроходным, чем предыдущий,— и только одно помешало дядюшке самому сесть за руль: всякий раз, когда он пытался это сделать, его главный шофер грозил немедленно взять расчет. Дядя все чаще пользовался автомобилем. Он страстно увлекался быстрой ездой, скоростью ради скорости.

Потом его стала раздражать «Леди Гров»: ему не давала покоя глупая шутка, услышанная им как-то за обедом.

— Этот дом мне не подходит, Джордж,— жаловался он.— Тут повернуться негде. Он битком набит воспоминаниями о всякой старине... И я не выношу всех этих проклятых Даргенов! Погляди вон на того, в углу. Нет, в другом углу, на субъекта в вишневом мундире. Он так и следит за тобой! Вот я проткну ему кочергой глотку, сразу станет дурак дураком.

— А по-моему, каков есть, таким и останется,— возразил я.— У него такой вид, будто его что-то насмешило.

Дядюшка поправил очки, съехавшие от волнения на кончик носа, и гневно уставился на своих противников.

— Кто они такие? Что они собой представляют? Просто дохлятина — и все. Безнадежно устарели. До реформации и то не дожили. До реформации, которая тоже давно вышла из моды! Шагай в ногу с веком! А они шли наперекор. Просто семейство неудачников — они никогда

и не старались!.. Знаешь, Джордж, они полная противоположность мне. Да, да, полная. Нет, так не пойдет... Живешь где-то в прошлом... И мне нужен дом побольше. Я хочу воздуха, и света, и простора, и слуг побольше. Нужен дом, чтоб было где развернуться. А тут выходит раз-эээ-нобой какой-то, прямо ерунда, даже телефона не поставишь!.. Весь этот дом гроша ломаного не стоит, ничего не стоит — только и есть, что терраса. А так он темный и ветхий и набит всяким старомодным хламом и заплесневелыми мыслями... Это какой-то аквариум для золотой рыбки, а не жилище современного человека... Ума не приложу, как меня сюда занесло.

Потом его одолело новое огорчение.

— Этот чертов викарий воображает, будто я еще должен считать себя счастливым, что мне досталась эта «Леди Гров»! Всякий раз, как его встретишь, у него это прямо на лице написано... Погоди, Джордж, я ему еще покажу, какой должен быть дом у современного человека!

И он показал.

Вспоминаю день, когда он, как выражаются американцы, сделал заявку на Крест-хилл. Он пришел посмотреть мою новую газовую установку — я тогда как раз начал делать опыты с запасными баллонами,— и все время его очки, поблескивая, устремлялись куда-то вдаль, на открытый широкий склон.

— Пройдем к «Леди Гров» той дорогой, через холм,— сказал дядя.— Я тебе кое-что покажу. Кое-что стоящее!

В тот летний вечер весь этот пустынный склон был залит солнцем, земля и небо рдели в лучах заката, и посвистывание чибиса или еще какой-то пичуги только подчеркивало чудесную тишину, венчавшую долгий ясный день. Так хорош был этот мир и покой, обреченный на гибель! И мой дядюшка, этот новоявленный властелин и повелитель, в сером цилиндре и сером костюме, в очках на черной ленте, коротенький, тонконогий, пузатый, размахивал руками и тыкал пальцем в пространство, угрожая этому спокойствию.

— Вот оно, Джордж,— начал он и широко развел рукой.— То самое место. Видал?

— А? — переспросил я, потому что все время думал совсем о другом.

— Я купил его.

— Что купил?

— Хочу строить дом! Дом двадцатого века! Это—самое подходящее место!

Тут он изрек одно из своих излюбленных словечек.

— Будет обдувать со всех четырех сторон, Джордж,— сказал он.— А? Со всех четырех сторон.

— Да, тут вас будет продувать со всех сторон,—сказал я.

— Это должен быть не дом, а громадина, Джордж. Под стать этим холмам.

— Правильно,— сказал я.

— Повсюду будут большие галереи, террасы и всякое такое. Понимаешь? Я уже все обдумал! Он будет обращен вон туда, прямо к Вилду. Спиной к «Леди Гров».

— И будет с утра смотреть прямо на солнце?

— Как орел, Джордж! Как орел!

Так он впервые поведал мне о том, что очень скоро стало главной его страстью в годы процветания,— о Крест-хилле. Но кто же не слыхал об этом необычайном доме, который все рос и рос и план которого все время менялся, и он раздувался, как улитка, если на нее посыпать соли, и разбухал, и выпускал рожки и щупальца, и снова рос. Уж не знаю, что за бредовое нагромождение башенок, террас, арок и переходов рисовалось под конец дядюшкиному воображению; и хотя все это внезапно застыло на мертвой точке, едва над нами разразилась катастрофа, дом этот, даже недостроенный, поражает: нелепая попытка человека, не имеющего детей, оставить след на земле. Главного своего архитектора, по фамилии Уэстминстер, дядюшка откопал на выставке проектов Королевской академии — ему понравились смелость и размах, свойственные работам молодого зодчего; но время от времени дядя привлекал ему в помощь разных мастеров, каменщиков, санитарных техников, художников, скульпторов, резчиков по металлу и дереву, мебельщиков, облицовщиков, садовников-декораторов и даже специалиста, который планировал устройство и вентиляцию в новых зданиях Лондонского зоологического сада...

К тому же у дяди были и собственные идеи. Он не забывал о новом доме никогда, но с вечера пятницы до

утра понедельника его мысли были отданы дому безраздельно. Каждую пятницу вечером он подъезжал к «Леди Гров» в автомобиле, до отказа набитом архитекторами. Впрочем, он не ограничивался архитекторами, всякий мог получить приглашение к нему на воскресенье и полюбоваться Крест-хиллом, и многие рьяные прожектеры, не подозревая о том, как наглухо, по-наполеоновски, дядюшка отделил в своем сознании Крест-хилл от всяких иных своих дел, пытались умаслить его при помощи какой-нибудь черепицы, вентиляторов или новой электрической арматуры. В воскресное утро, если только погода благоприятствовала, едва отделавшись от завтрака и от секретарей, дядюшка с многочисленной свитой отправлялся на постройку — менял и развивал план нового дома, вносил всяческие усовершенствования, громко, с бесконечными «ззз» отдавал приказания самые поразительные, но, как под конец убедились Уэстминстер и подрядчики, практически никуда не годные.

Таким он остался в моей памяти — как символ нашего века — человек удачи и рекламы, владыка мира на час. Вот он стоит на краю широкой полукруглой террасы, лежащей перед величественным главным входом,— крохотная фигурка, до смешного малюсенькая на фоне этой сорокафутовой арки; за спиной у него высеченный из гранита шар — гигантский шар в медной сетке параллелей и меридианов, изображающий нашу планету, и небольшой подвижной телескоп на бронзовой подставке, который ловит солнце как раз в ту минуту, когда оно в зените. Вот он стоит, мой дядюшка, точно Наполеон, окруженный своей свитой,— тут мужчины в визитках и в костюмах для гольфа, маленький адвокат, чью фамилию я запамятовал, в черном пиджаке и серых брюках, и, наконец, Уэстминстер: на нем шерстяная фуфайка, цветастый галстук и какой-то необыкновенный коричневый костюм собственного покроя. Он внимательно слушает дядю, а тот указывает ему на ту или иную часть расстилающегося перед ними пейзажа. Свежий ветер, налетая порывами, развевает полы дядюшкиного сюртука, ерошит его жесткие волосы, и от этого еще отчетливее видно, что его лицо, фигура и весь он — воплощение неукротимой жадности.

У ног их раскинулись на сотни футов мостки, канавы, котлованы, горы земли, груды камня, который добывается в горах Вилда. Справа и слева поднимаются стены дядюшкиного несуразного и никому не нужного дворца. Одно время на него тут работало сразу до трех тысяч рабочих, и это нашествие нарушало экономическое равновесие всей округи.

Таким его рисует мне память—среди первых грубо намеченных очертаний постройки, которую не суждено было довести до конца. Ему приходили в голову самые дикие фантазии, которые не укладывались ни в какие финансовые сметы и не имели ни малейшего отношения к здравому смыслу. Казалось, он вообразил под конец, что для него уже не существует никаких пределов и ограничений. Он велел перенести солидных размеров холм и с ним чуть ли не шестьдесят старых деревьев на двести футов южнее, потому что этот холм заслонял вид на восток. В другой раз он вздумал устроить под искусственным озером бильярдную с потолком из зеркального стекла — что-то в этом роде он видел в одном городском ресторане. Одно крыло дома он обставил, не дождавшись, пока все здание подведут под крышу. Ему понадобился бассейн для плавания размером в тридцать квадратных футов рядом с его спальней на втором этаже, и в довершение всего он решил обнести все свои владения высоченной стеной и закрыть к ним доступ простым смертным. Стена была в десять футов высотой, утыканная поверху битым стеклом, и, если бы ее довели до конца, как хотел дядюшка, длина ее составила бы около одиннадцати миль. Под конец работы велись настолько недобросовестно, что не прошло и года, как часть стены обрушилась, но на протяжении нескольких миль она тянется и поныне. И всякий раз, вспоминая о ней, я думаю о тех сотнях мелких вкладчиков, что так горячо поверили в «звезду» моего дядюшки и чьи надежды и судьбы, покой жен и будущее детей ухнули безвозвратно в никудышный цемент, который так и не скрепил эту обвалившуюся стену...

Любопытно, что многие современные финансисты, разбогатевшие благодаря счастливому случаю и беззастенчивой рекламе, на закате своей карьеры принимаются за какую-нибудь грандиозную постройку. Так было не только с моим дядей. Рано или поздно всем им, как видно,

непременно хотелось испытать свое счастье, претворить неуловимый поток изобилия в нечто плотное, осязаемое, воплотить свою удачу в кирпичи и цемент, заставить и лунный свет служить им, как будто он тоже у них на поденном заработке. И тут-то вся махина, сооруженная из доверия и воображения, начинала шататься — и все рушилось...

Когда я думаю об этом изуродованном холме, о колоссальной свалке кирпича и известки, о проложенных на скорую руку дорогах и подъездных путях, о строительных лесах и сараях, об этом неожиданном оскорблении, нанесенном мирной природе, мне вспоминается разговор, который был у меня с викарием в один ненастный день, после того как он наблюдал полет моего планера. Я только что приземлился и в фуфайке и шортах стоял около своей машины, викарий заговорил со мной о воздухоплавании, и на его худом, мертвенно-бледном лице проступало отчаяние, которое ему никак не удавалось скрыть.

— Вы почти убедили меня,— сказал он, подходя ко мне,— убедили против моей воли... Чудесное изобретение! Но еще очень много времени понадобится вам, пока вы сумеете поспорить с другим совершенным механизмом — с птичьим крылом.

Он посмотрел на мои ангары.

— Вы тоже изменили облик этой долины,— сказал он.

— Это временное явление,— возразил я, догадываясь, что́ у него на уме.

— Да, разумеется. Все приходит и уходит. Приходит и уходит... Но... гм... Я только что был по ту сторону холма, хотел взглянуть на новый дом мистера Эдуарда Пондерво. Это... это нечто более долговечное. Великолепная вещь во многих отношениях. Весьма внушительная. Мне как-то не приходилось бывать в той стороне... Дело быстро подвигается... Много пришлого люда появилось у нас в деревнях из-за этого строительства, все больше рабочие, это, видите ли, несколько обременительно... Это выбивает нас из колеи. Они вносят новый дух в нашу жизнь. Бьются об заклад... всякие мысли... своеобразные взгляды на все... Нашим трактирщикам это, конечно, по вкусу. И потом эти люди располагаются на ночлег где-нибудь у вас на дворе или в сарае... и по ночам вы

не чувствуете себя дома в безопасности. Вчера рано утром мне не спалось — легкое несварение желудка, знаете,— и я выглянул из окна. Меня поразило, сколько народу ехало мимо на велосипедах. Такая бесшумная процессия. Я насчитал девяносто семь человек... Это было на рассвете. Все они направлялись к новой дороге, которая ведет на Крест-хилл. Такое множество народу — диву даешься. И вот пошел посмотреть, что там делают.

— Лет тридцать тому назад это показалось бы вам более чем удивительно,— сказал я.

— Да, разумеется. Все меняется. Теперь мы почти не обращаем на такие вещи внимания... И этот огромный дом...— Он поднял брови.— Это грандиозно! Поистине грандиозно!.. Весь склон холма... он раньше был покрыт травкой. А теперь там все разворочено!

Викарий испытующе посмотрел мне в лицо.

— Мы так привыкли с почтением смотреть на «Леди Гров»,— сказал он и улыбнулся, ища сочувствия.— Она стала центром нашего скромного мирка.

— Все еще уладится,— сказал я, покривив душой.

Он ухватился за мои слова.

— Да, понятно, все уладится, все опять успокоится. Должно успокоиться. Все пойдет по-старому. Все непременно придет в порядок... это очень утешительная мысль. Да. В конце концов ведь и «Леди Гров» тоже когда-то надо было построить... и она на первых порах казалась... чем-то таким... противоестественным и необычным.

Взгляд викария вновь устремился на мой аппарат. Он пытался отогнать более серьезные заботы, угнетавшие его.

— Я бы хорошенько подумал, прежде чем доверить свою жизнь этой машине,— заметил он.— Но, верно, можно постепенно привыкнуть и к полету...

Он простился со мной и пошел своей дорогой, ссутулясь, погруженный в раздумье...

Долгое время он старался закрывать глаза на правду, но в это утро она слишком властно ворвалась в его сознание, и уже невозможно было отрицать, что в окружающем его мире не просто совершаются перемены, но весь этот мир беспомощен и беззащитен, завоеванный и покоренный, и весь он, насколько мог понять викарий, сверху донизу, снаружи и изнутри обречен на перемены.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЗЛЕТ

I

Почти все время, пока дядюшка вынашивал и высиживал план нового дома, я в небольшой лощине, лежащей между «Леди Гров» и Крест-хиллом, усиленно занимался все более дорогостоящими и дерзкими опытами в области воздухоплавания. Эта работа и была смыслом и сутью моей жизни в ту знаменательную пору, когда разыгрывалась симфония Тоно Бенге.

Я уже говорил о том, как вышло, что я посвятил себя работе в этой области, как отвращение к пошлым авантюрам повседневности побудило меня вновь вернуться к брошенным после университета занятиям, приняться за исследования, на которые толкало меня уже не мальчишеское честолюбие, но решимость взрослого человека. С самого начала я работал успешно. Я думаю, тут дело в особой склонности, просто бог весть отчего была у меня такая жилка, такой склад ума. По-видимому, такие способности у человека — случайность, их едва ли можно поставить ему в заслугу, и тут смешно гордиться или, наоборот, скромничать. В те годы я проделал огромную работу, я работал сосредоточенно, страстно, вкладывая в это всю свою энергию и все способности. Я разработал ряд вопросов, связанных с устойчивостью тел в воздухе, с движением воздушных потоков, а также произвел революцию если не во всей теории двигателей внутреннего сгорания, то по меньшей мере в ведущем ее разделе. Обо всем этом сообщалось в «Философских трудах», «Математическом журнале» и изредка еще в двух-трех периодических изданиях этого рода — и здесь на этом нет смысла останавливаться. Да я, вероятно, и не мог бы здесь об этом писать. Работая в такой специальной области, привыкаешь к своеобразной скорописи не только в своих заметках, но и в мыслях. Мне никогда не приходилось преподавать или читать лекции, иначе говоря, мне не случалось излагать технические проблемы на обычном, понятном для каждого

языке, и я сильно опасаюсь, что, если попробую сделать это, у меня выйдет очень скучно...

Начать с того, что моя работа в значительной степени была теоретической. Первоначальные предположения и выводы я мог проверить на совсем маленьких моделях, изготовленных из китового уса, тростника и шелка и запускавшихся в воздух при помощи поворотного круга. Но пришло время, когда передо мной встали проблемы, которые невозможно было решить на основании предварительных теоретических расчетов, наших далеко еще не достаточных знаний и опыта в этой области, и надо было экспериментировать и пробовать самому. Тут мне пришлось расширить сферу деятельности, что я вскоре и сделал. Я занимался в одно и то же время равновесием и устойчивостью планеров и управлением воздушных шаров — эти последние опыты обходились мне баснословно дорого. Без сомнения, тут я был движим чем-то вроде того духа расточительства, который всецело завладел моим дядюшкой. Вскоре мое хозяйство, расположившееся неподалеку от «Леди Гров», разрослось: тут было теперь и деревянное, крашеное шале, где могли разместиться шесть человек и где я жил по три недели кряду, и газомер, и гараж, и три больших, крытых рифленым железом ангара, и склады, и площадка, с которой запускались планеры, и мастерские, и прочее. Мы проложили немощеную дорогу. Провели газ из Чипинга и электричество из Уокинга, где оказалась также и неплохая мастерская,— она с готовностью бралась выполнять для меня работы, которые были мне не под силу. И еще в одном мне повезло: я встретил человека по фамилии Котоп, которого, кажется, само небо послало мне в помощники. Он был самоучка, в недавнем прошлом сапер, и, пожалуй, не было на свете более умелого и искусного механика. Без него мне бы не достичь и половины того, что удалось. Порой он был для меня не просто подручным, но соратником, и он не расстается со мной по сей день. А все другие появлялись и исчезали по мере надобности.

Не знаю, где найти слова, чтобы передать тому, кто не испытал этого сам, как вдохновенно, с каким неповторимым удовлетворением можно годами вести научные изыскания, если ты не стеснен в деньгах. Ни-

что, никакая другая деятельность не сравнится с этим. Ты избавлен от раздражающих столкновений с другими людьми, по крайней мере когда работа идет успешно, а для меня это дороже всего. Научная истина — самая далекая из возлюбленных, она скрывается в самых неожиданных местах, к ней пробираешься запутанными и трудными путями, но она всегда существует! Добейся ее, и она уже не изменит тебе: отныне и навсегда она принадлежит тебе и человечеству. Она и есть реальность, единственная реальность, которую я обрел в хаосе бытия. Она не будет дуться на тебя, не поймет тебя неправильно, не обманет тебя, не лишит заслуженной награды из-за какого-то мелочного подозрения. Ее не изменить крикливой рекламой, не задушить пошлостью. Служа ей, ты созидаешь и творишь, и творения твои вечны, как ничто другое в человеческой жизни. В этом-то и есть то ни с чем не сравнимое удовлетворение, которое дает наука, в этом — непреходящая награда ученого...

Занявшись экспериментами, я изменил всем своим прежним привычкам. Я уже рассказывал о той поре строгой самодисциплины и долгого, упорного труда, какую я пережил когда-то в Уимблхерсте, и о том, как по приезде в Южный Кенсингтон меня совсем сбил с толку Лондон, ибо бессчетные новые впечатления поглощали мое внимание и будили неутолимое любопытство. А отойдя от научных занятий ради производства Тоно Бенге, я пожертвовал своей гордостью. Но я был беден — и потому сохранил привычку к трезвости и умеренности, был полон юношеского романтизма — и потому оставался целомудренно сдержан еще долгое время спустя после женитьбы на Марион. Потом я дал себе волю во всех отношениях. Я много работал, но никогда не задавался вопросом, могу ли я сделать больше и нельзя ли избежать находивших на меня порой приступов хандры и лени. Я жил в достатке, вволю и без разбору ел, много пил и чем дальше, тем чаще делал, что в голову взбредет. Мне это казалось вполне естественным. Никогда и ни в чем я не доходил до предела своих возможностей. Волнения, связанные с разводом, не заставили меня круто перемениться и отнестись к себе строже. Я не сразу сумел сосредоточиться на научной работе, она требовала куда больше напряжения, чем коммерческое

дело, но тут меня выручили сигары. Я стал отъявленным курильщиком, и часто это вызывало у меня глубочайшую подавленность. От нее я излечивался гомеопатическим методом — попросту зажигал новую сигару. Я совершенно не представлял, до какой степени расшатались мои нравственные устои и нервная система, пока не дошел в своих исследованиях до той стадии, когда надо было переходить к практике, и не стал лицом к лицу с необходимостью испытать, что это значит — лететь на планере и каким человеком нужно быть, чтобы справиться с этим делом.

Я привык к несколько вольному образу жизни, хотя от природы склонен был к самодисциплине. Я никогда не любил потакать собственным слабостям. Философии, проповедующей словоблудие и чревоугодие, я всегда инстинктивно не доверял. Всегда и во всем я любил простоту, прямоту, строгость, сдержанность, четкие линии, холодные тона. Но в наше время, когда жизнь бьет через край, когда предметов первой необходимости с избытком хватает на всех и борьба за существование выливается в соперничество рекламы и стремление пустить соседу пыль в глаза, когда человеку не так уж необходимы ни храбрость, ни крепкие нервы, ни истинная красота, только случай помогает нам познать самих себя. В прежние времена огромное большинство людей не страдало от пресыщения, ибо у них не было возможности есть до отвала, все равно хотелось им этого или не хотелось, и все, за редкими исключениями, были бодры и здоровы, потому что им неизбежно приходилось работать физически и сталкиваться лицом к лицу с опасностями.

А теперь каждый, если только у него не слишком высокие требования к жизни и он не обременен чувством собственного достоинства, может позволить себе кой-какие излишества. Ныне можно прожить всю жизнь кое-как, ничему всерьез не отдаваясь, потворствуя своим прихотям и ни к чему себя не принуждая, не испытав по-настоящему ни голода, ни страха, ни подлинной страсти, не узнав ничего лучше и выше, чем судорога чувственного наслаждения, и впервые ощутить изначальную суровую правду бытия лишь в свой смертный час. Так,

я думаю, было с моим дядей, почти так было и со мной.

Но планер властно поднял меня над всем этим. Я должен был выяснить, как он ведет себя в воздухе, а выяснить это можно было, только взлетев самому. И я не сразу решился на это.

Когда пишешь книгу, мне кажется, в какой-то мере отрешаешься от самого себя. Во всяком случае, мне удалось написать здесь такие вещи, которых я никогда и никому не мог бы высказать вслух: мне стоило огромных мучений заставить себя сделать то, что в Вест-Индии первый встречный абориген сделает и глазом не моргнув,— решиться на первый полет. Первая попытка далась мне тяжелее всего, да иначе и не могло быть: я ставил на карту свою жизнь и мог выиграть, а мог и погибнуть или остаться калекой — шансы были примерно равные. Это было ясно как день. Мне казалось, что мой первый планер очень напоминает по конструкции аэроплан братьев Райт, и все же я не был в нем уверен. Он мог перевернуться. Я сам мог опрокинуть его. При посадке он мог зарыться носом и разбиться вдребезги вместе со мной. В полете надо быть постоянно начеку; тут нельзя просто взять да и кинуться вслепую, нельзя ни горячиться, ни выпить стаканчик для храбрости. Надо в совершенстве владеть своим телом, чтобы сохранять равновесие. И когда я наконец полетел, первые десять секунд были ужасны. Добрых десять секунд, пока я несся по воздуху, прильнув всем телом к своему дьявольскому аппарату, и встречный ветер хлестал мне в лицо, а земля внизу стремительно уходила назад, я весь был во власти тошнотворного бессилия и ужаса. Казалось, какой-то могучий и бурный поток бьется в мозгу и в костях, и я громко стонал. Я стиснул зубы и стонал. Я не мог удержать стона, это было помимо моей воли. Ощущение ужаса дошло до предела.

А потом, вообразите, его не стало!

Внезапно это чувство ужаса прошло, исчезло. Я неуклонно шел ввысь, и никакого несчастья не стряслось. Я был необычайно бодр, полон сил, и каждый нерв был натянут, как струна. Я подвинул ногу, планер накренился, с криком ужаса и торжества движением

другой ноги я его выровнял и снова обрел равновесие. Потом мне показалось, что я столкнусь с грачом, летевшим мне наперерез; это было поразительно — как неслышно, с быстротой метательного снаряда он ринулся на меня из пустоты, и в смятении я завопил: «Прочь с дороги!» Грач сложил было крылья, став на мгновение похожим на перевернутую римскую пятерку, потом замахал ими, круто свернул вправо, и больше я его не видел. Потом я заметил внизу тень моего аппарата; она скользила передо мною по земле прямо и уверенно, держась на одном и том же расстоянии, а земля словно убегала назад. Земля! В конце концов она убегала не так уж быстро...

Когда я спланировал на ровный зеленый лужок, который выбрал для посадки, я был спокоен и уверен в себе, как какой-нибудь клерк, который на ходу прыгает с подножки омнибуса, и за это время я научился не только летать, но еще очень многому. Я задрал планер носом кверху как раз вовремя, снова выровнял и приземлился мягко, как падают наземь снежные хлопья в безветренный день. Мгновение я лежал плашмя, потом приподнялся на колени, встал, еще весь дрожа, но очень довольный собой. С холма ко мне бежал Котоп...

С этого дня я начал тренироваться и тренировался еще многие месяцы. Ведь целых полтора месяца я под разными предлогами со дня на день откладывал испытания, потому что меня так страшил этот первый полет, потому что за годы, отданные коммерции, я ослаб и телом и духом. Позорное сознание собственной трусости терзало меня ничуть не меньше оттого, что, по всей вероятности, о ней знал лишь я один. Я чувствовал, что Котоп, во всяком случае, мог кое-что заподозрить. Ну, ничего, впредь у него не будет повода для подозрений.

Любопытно, что чувство стыда, свои самобичевания и все дальнейшее я помню гораздо лучше, чем недели сомнений и колебаний перед взлетом. Некоторое время я в рот не брал ни капли спиртного, бросил курить, строго ограничивал себя в еде и каждый день понемногу так или иначе упражнял свои нервы и мускулы. Я старался как можно чаще летать. В Лондон я теперь ездил не поездом, а на мотоцикле, храбро ныряя в поток движения, стремящегося на юг, и даже попробовал испытать

прелести верховой езды. Правда, поначалу мне досталась искусственная лошадка, и я, быть может, без достаточных оснований проникся презрением к надежному конному спорту, который никогда не одарит тебя такими сильными ощущениями, как механизм.

Далее, я упражнялся в ходьбе по гребню высокой стены, ограждавшей сад позади «Леди Гров», и под конец заставил себя даже, доходя до ворот, перескакивать со столба на столб. Если при помощи всех этих упражнений я и не совсем избавился от некоторой склонности к головокружению, то, во всяком случае, приучился не обращать на это внимания. И вскоре меня уже не страшил полет, напротив, мне не терпелось подниматься все выше, и я стал понимать, что полет на планере даже над самой глубокой впадиной меж нашими холмами, до дна которой всего каких-нибудь сорок футов,— это еще не настоящий полет, а просто насмешка. Я начал мечтать о том, чтобы подняться выше, над буковыми лесами, вдохнуть прохладу больших высот, и, пожалуй, не столько естественный ход моей работы, сколько это желание заставило меня немалую долю своей энергии и своих доходов отдать созданию управляемого воздушного шара.

II

Я уже далеко вперед ушел в своих опытах; успел дважды разбиться и сломать ребро, и тетушка с присущей ей энергией выходила меня; я уже приобрел некоторую известность в мире аэронавтов — и вдруг в мою жизнь вновь вошла Беатриса Норманди, словно она и не исчезала никогда — темноглазая, с волной непокорных, как в детстве, кудрей, откинутых со лба. Верхом на крупном вороном коне она ехала глухой тропинкой по заросшему кустарником склону холма, на вершине которого виднелась «Леди Гров»; ее сопровождали старый граф Кэрнеби и сводный брат Арчи Гервелл.

Дядюшка донимал меня разговорами о проводке горячей воды в Крест-хилл, откуда мы и возвращались другой тропой, и на перекрестке нам неожиданно повстречались три всадника. Граф Кэрнеби ехал по нашим владениям, поэтому он приветливо поздоровался, осадил коня и заговорил с нами.

Сначала я даже не заметил Беатрису. Мне интересно было поглядеть, каков этот лорд Кэрнеби и осталось ли в нем что-нибудь от дней его блистательной юности. Я много слышал о нем, но никогда прежде его не видал. Для человека шестидесяти пяти лет, повинного, как говорили, во всех смертных грехах и безвозвратно загубившего свою политическую карьеру, которая начиналась с таким триумфом, каким не мог похвастать никто из представителей его поколения, лорд Кэрнеби показался мне на редкость крепким и бодрым. Он был невысок, худощав, с серо-голубыми глазами на смуглом лице, и лишь его надтреснутый голос производил неприятное впечатление.

— Надеюсь, вы не возражаете, что мы едем этой дорогой, Пондерво,— громко сказал он.

И дядюшка, подчас слишком щедрый на титулы и не очень-то различавший их, ответил:

— Ничуть, милорд, ничуть! Рад, что она вам пригодилась!

— Вы строите на том холме что-то грандиозное,— заметил Кэрнеби.

— Думаете, я на этот раз хочу пустить всем пыль в глаза? Не так уж он и велик, этот дом, просто вытянут, чтоб побольше солнца было.

— Воздух и солнце,— изрек граф.— Да, их никогда не бывает слишком много. А вот раньше строили, чтоб была крыша над головой, да поближе к воде и к дороге...

И тут в молчаливой всаднице, остановившейся позади графа, я вдруг узнал Беатрису.

Я настолько забыл ее, что мне даже показалось сперва, будто она ничуть не изменилась с той минуты, когда настороженно глядела на меня, спрятавшись за юбки леди Дрю. Она смотрела на меня из-под широких полей шляпы — на ней были серая шляпа и свободный, незастегнутый жакет — и недоуменно хмурила красивый лоб, верно, никак не могла вспомнить, где это она видела меня. Наши взгляды встретились, и в ее глазах, скрытых тенью, я прочел немой вопрос...

Неужели не помнит?

— Ну, что ж,— сказал граф и тронул поводья.

Гервелл похлопывал по шее своего коня, которому не стоялось на месте, и даже не смотрел в мою сторону.

Он кивнул через плечо и поскакал за Кэрнеби. Похоже было, его движение что-то напомнило Беатрисе: она быстро взглянула на него, потом снова на меня, в глазах ее блеснула догадка, и губы дрогнули улыбкой. Мгновение она колебалась, не заговорить ли со мной, улыбнулась теперь уже открыто, понимающе и тоже тронула коня. Все трое перешли на легкий галоп, и она ни разу не обернулась. Секунду-другую я стоял на перекрестке, глядя ей вслед, потом спохватился, что дядюшка уже ушел вперед и говорит что-то через плечо, совершенно уверенный, что я иду за ним.

Я поспешно зашагал вдогонку.

Мысли мои были полны Беатрисой и этой неожиданной встречей. Я помнил лишь, что она из рода Норманди. Но совсем забыл, что Гервелл был сыном, а она падчерицей нашей соседки леди Оспри. Скорее всего я тогда попросту забыл, что леди Оспри — наша соседка. Да и почему бы мне помнить об этом? Как удивительно, что мы встретились здесь, в графстве Сэррей: ведь, думая о ней, я всегда видел ее в парке Блейдсовера и только там и мог ее себе представить, а от Блейдсовера нас отделяли почти сорок миль и двадцать безвозвратно ушедших лет. Она все такая же, все так же полна жизни! И на щеках играет прежний румянец. Кажется, только вчера мы целовались среди папоротника...

— Что? — спросил я.

— Я говорю, у него хорошая закваска,— повторил дядюшка.—Можешь как угодно ругать аристократию, но у лорда Кэрнеби очень даже неплохая закваска. В нем чувствуется Savoir Faire, что-то такое... для этого есть старомодное выражение, Джордж, но очень правильное, в нем чувствуется бонктон... Это как хороший газон, Джордж, такой в год не вырастишь. Не пойму, как это у них получается. Это высший класс, Джордж. Впитывают это с молоком матери...

«Она словно только что сошла с полотна Ромнея»,— подумал я.

— Чего только про него не рассказывают! — продолжал дядюшка.— Но кому какое до этого дело?

«Господи! — думал я. — Как я мог не вспоминать о ней целую вечность? Эти тонкие, капризные

брови... озорной огонек в глазах... и эта внезапная улыбка!»

— Я его не осуждаю,— говорил дядюшка.— Это все от богатого воображения. Да еще от безделья, Джордж. Вот у меня в молодости не было ни минуты свободной. И у тебя тоже. Да и то!..

Но самое поразительное — это непонятный каприз моей памяти, в которой ни на мгновение не возник живой образ Беатрисы, даже когда я повстречался с Гервеллом, ведь мне, в сущности, только и вспоминалась тогда наша мальчишеская неприязнь друг к другу и наша драка. А теперь, когда я весь был полон ею, мне казалось просто невероятным, что я хоть на миг мог позабыть о ней...

III

— Скажите, пожалуйста! — удивилась тетя Сьюзен, прочитав за кофе письмо. — Это от молодой женщины, Джордж.

Мы завтракали вдвоем в «Леди Гров», в комнате-фонаре, под окнами которой цвели ирисы; дядюшка был в Лондоне.

Я вопросительно хмыкнул и срезал макушку яйца.

— Что это за Беатриса Норманди? — спросила тетя.— Первый раз слышу.

— Это от нее письмо?

— От нее. Пишет, что знакома с тобой. Я не знаток этикета, Джордж, но, по-моему, она ведет себя не совсем так, как принято. В сущности, она собирается притащить свою мамашу...

— Что-что? У нее же мачеха?

— Ты, видно, неплохо осведомлен о ней. Она тут называет леди Оспри матерью. Во всяком случае, они будут у нас в среду, в четыре часа, и просят, чтобы ты тоже был к чаю.

— Как ты сказала?

— Чтобы ты был к чаю.

— Хм. Когда-то она отличалась весьма... решительным характером.

Тут я заметил, что тетя Сьюзен высунулась из-за кофейника и устремленные на меня голубые глаза стали совсем круглыми. Секунду-другую я выдержал ее при-

стальный взгляд, потом отвел глаза, покраснел и засмеялся.

— Это очень старое знакомство, я ее знаю дольше, чем тебя,— пояснил я и рассказал все, как было.

Тетя Сьюзен слушала и из-за кофейника зорко и неотрывно следила за мной. Она очень заинтересовалась моим рассказом и даже задала несколько наводящих вопросов.

— Почему ж ты мне сразу не сказал ни слова? Ты уже целую неделю о ней думаешь.

— Ума не приложу, почему это я не рассказал.

— Ты думал, я встречу ее в штыки,— решила тетя Сьюзен.— Вот что ты думал.

И она продолжала разбирать свою почту.

Гости явились минута в минуту в коляске, запряженной пони, и на мою долю выпало редкое удовольствие наблюдать тетушку в роли любезной хозяйки. Чай мы пили под сенью кедра, но старая леди Оспри, ярая протестантка, прежде, конечно, никогда не бывала в этом католическом доме, а потому мы проделали нечто вроде инспекторского осмотра, напомнившего мне мой первый приезд в «Леди Гров». Хотя все мысли мои были заняты Беатрисой, меня, помнится, позабавила полная противоположность тети Сьюзен и леди Оспри: тетя — высокая, стройная и немножко угловатая, в скромном голубом домашнем платье, жадно читающая все без разбору и очень неглупая от природы,— и титулованная леди — маленькая, полная, одетая с викторианской пышностью, питающая свой ум хиромантией и модной беллетристикой, вся красная от досады, что ей приходится быть в обществе женщины не ее круга. Она держалась по этому случаю со столь царственной неприступностью, на какую была способна только ее собственная кухарка, да и то лишь в самые решительные минуты. Казалось, одна сделана из китового уса, другая слеплена из теста. Тетя волновалась: ведь принять такую гостью совсем не просто, а тут еще ей до смерти хотелось понаблюдать за мной и Беатрисой, и, как всегда, от волнения она двигалась особенно неловко и разговаривала уж так «своеобразно», что досадливый румянец на щеках титулованной леди становился все гуще. Помнится, тетя Сьюзен уверяла, что, судя по портрету, у одной из дам рода Дар-

генов «не все дома», потом сообщила, что «средневековые рыцари придумали какого-то дракона, просто чтоб прославиться», объявила также, что «обожает ковыряться в саду», и вместо того, чтобы предложить мне печенье «Гарибальди», она, по обыкновению чуть шепелявя, сказала: «Отведай этой дряни, Джордж». Уж, конечно, при первом же удобном случае леди Оспри изобразит ее «весьма эксцентричной особой, чрезвычайно эксцентричной особой». Чувствовалось, что эти слова так и вертятся у нее на языке.

Беатриса была в скромном коричневом платье и простой, но оригинальной широкополой шляпе и неожиданно показалась мне очень взрослой и разумной. Она помогла мачехе справиться с церемонией первого знакомства, внимательно разглядела тетю Сьюзен, затеяла осмотр дома, отвлекла таким образом обеих дам и тогда уже занялась мною.

— Мы не видались,— сказала она с легкой и вопросительно доверчивой улыбкой,— с тех самых пор, как...

— С самого Уоррена.

— Да, конечно, это было в Уоррене! — сказала она.— Я так хорошо все помню, только ваше имя забыла... Мне тогда было восемь.

Ее глаза улыбались и требовали, чтобы я вспомнил все до мелочи. Подняв глаза, я встретил ее взгляд и немножко растерялся, не зная, что сказать.

— Я с головой выдала вас тогда,— сказала она, задумчиво разглядывая меня.— А потом выдала и Арчи.

Она отвернулась от остальных и чуть понизила голос.

— Ему порядком досталось за то, что он лгал,— сказала она так, словно ей и сейчас приятно было вспомнить это.— А когда все кончилось, я пошла в вигвам. Вы не забыли наш вигвам?

— В Западном лесу?

— Да... и плакала там, наверно, потому, что была так виновата перед вами... Я и потом часто думала об этом.

Леди Оспри остановилась, поджидая нас.

— Дорогая моя,— сказала она падчерице.— Взгляни, какая прелестная галерея!

Потом посмотрела на меня в упор с откровенным недоумением: что это еще за птица?

— Многим очень нравится эта удобная лестница,— заметила тетя Сьюзен и пошла вперед.

Леди Оспри одной рукой подобрала подол платья, готовясь подняться на галерею, другой взялась за перила и, обернувшись, кинула Беатрисе многозначительный взгляд, да, весьма многозначительный. Прежде всего он, несомненно, говорил, что со мною следует вести себя поосмотрительнее, но сверх того он был и сам по себе полон значения. Я случайно перехватил в зеркале ответ Беатрисы: она сморщила носик, и на губах у нее промелькнула злобная усмешка. Румянец на щеках леди Оспри стал еще гуще, она просто онемела от негодования и стала подниматься вслед за тетей Сьюзен, всем своим видом показывая, что полностью снимает с себя ответственность за дальнейшее.

— Здесь мало света, но во всем чувствуется какое-то благородство,— громко сказала Беатриса, с невозмутимым спокойствием осматривая холл и, по-видимому, не торопясь догонять их. Она стояла ступенькой выше и глядела на меня и на старый холл немножко свысока.

Дождавшись, когда мачеха поднялась на галерею и уже ничего не могла слышать, она вдруг спросила:

— Но как вы здесь очутились?

— Здесь?

— Среди всего этого.— И широким, неторопливым жестом она обвела холл, и высокие окна, и залитую солнцем террасу перед домом.— Разве вы не сын экономки?

— Я пошел на риск. Мой дядя стал... крупным финансистом. Когда-то у него была маленькая аптека милях в двадцати от Блейдсовера, а теперь мы ворочаем делами, растем не по дням, а по часам — словом, вышли в тузы, в герои нашего времени.

— Понимаю,— сказала она, глядя на меня заинтересованным, оценивающим взглядом.

— А вы меня узнали? — спросил я.

— Почти сразу. Вы ведь тоже меня узнали, я видела. Только я не могла сообразить, кто вы, но знала, что мы уже встречались. А потом ведь там был Арчи, это помогло мне вспомнить.

— Я так рад, что мы опять встретились,— осмелился я сказать.— Я никогда не забывал вас.

— Да, то, что было в детстве, не забывается.

С минуту мы смотрели друг на друга без всякого смущения, очень довольные, что мы снова вместе. Трудно сказать, почему нас потянуло друг к другу. Так уж случилось. Мы нравились друг другу, и ни один из нас в этом не сомневался. С самого начала нам было легко и просто вдвоем.

— Ах, как живописно, как необыкновенно живописно! — донеслось до нас с галереи, и сразу же: — Беатриса!

— Я хочу знать о вас решительно все,— сказала она как-то особенно доверчиво, когда мы поднимались по витой лестнице.

Пока мы все четверо пили чай под сенью кедра на террасе, она расспрашивала меня о моих занятиях аэронавтикой. Тетя Сьюзен вставила словечко-другое о том, как я ухитрился сломать себе ребра. Леди Оспри, видимо, считала полеты самой неприличной и неуместной темой разговора—кощунственным вторжением в ангельские сферы.

— Это не полеты,— объяснил я.— Мы еще, в сущности, не летаем.

— И никогда не будете летать,— отрезала она.— Никогда.

— Что ж,— сказал я.— Каждый делает, что может.

Леди Оспри приподняла свою маленькую руку, затянутую в перчатку, фута на четыре над землей.

— Вот так,— сказала она.— Вот так. И не выше этого.— Щеки ее побагровели.— Не выше,— повторила она самым решительным тоном и отрывисто кашлянула.

— Благодарю вас,— сказала она, разделавшись то ли с девятым, то ли с десятым пирожным.

Беатриса громко рассмеялась, весело поглядывая на меня. Я расположился на траве, и, быть может, это и заставило леди Оспри смутно вспомнить об изгнании из рая.

— «Ты будешь ходить на чреве твоем, во все дни жизни твоей»,— негромко и внушительно произнесла она.

После чего мы больше не говорили о воздухоплавании.

Беатриса сидела, забившись в кресло, и смотрела на меня так же испытующе, с тем же дерзким вызовом, как когда-то во время чаепития у моей матери. Про-

сто удивительно, она ничуть не изменилась — маленькая принцесса моих блейдсоверских дней: все так же упрямы и непокорны вьющиеся волосы, и голос тот же, а казалось бы, все это должно было неузнаваемо измениться. Она по-прежнему была скорой на выдумку, опрометчивой и решительной.

Беатриса неожиданно поднялась.

— А что там, за террасой? — спросила она, и я тотчас оказался около нее.

И, конечно, объявил, что оттуда открывается необыкновенно красивый вид.

Она отошла в противоположный угол террасы, подальше от кедра, вспрыгнула на парапет и, очень довольная, уселась на замшелых камнях.

— А теперь рассказывайте о себе,— потребовала она.— Все, все расскажите. Мои знакомые мужчины такие тупицы! И все они делают одно и то же. Но как же вы-то здесь очутились? Все мои знакомые всегда здесь были. Не родись они тут, они бы никогда сюда носа не показали. Сочли бы, что это не по праву. Но вы одолели этот подъем.

— Если это можно назвать подъемом,— ответил я.

Она круто переменила тему разговора:

— Это... не знаю, поймете ли вы... это так интересно — опять встретиться с вами. Я помнила вас. Сама не знаю почему, но вот помнила. Вы всегда были действующим лицом в каждой сказке, которой я себя тешила. Но только вы были какой-то неуловимый, как тень, и такой неподатливый, упрямый... в костюме из магазина готового платья... Какой-нибудь лейборист, член парламента, второй Бредлаф или что-нибудь в этом роде. А вы... ну ни капельки не такой. И все же такой!

Она посмотрела на меня.

— Пришлось выдержать серьезную борьбу? Говорят, это неизбежно. А я не понимаю почему.

— Нет,— сказал я.— Меня занесло сюда случайно. И не было никакой борьбы. Разве только за то, чтоб остаться честным. И не я тут главная фигура. Мы с дядей придумали одно лекарство, и оно-то вознесло нас так высоко. Тут нет никакой заслуги! Но вы-то всегда обитали на этих высотах. Расскажите, что вы делали все эти годы.

— Одного мы так и не сделали.— Она задумалась на минуту.

— Что именно? — спросил я.

— Мы не произвели на свет маленького братца — наследника Блейдсовера, и его прибрали к рукам Филбрики. И теперь сдают его внаем! И мы с мачехой поселились в крохотном домишке, а свой тоже сдаем.

Беатриса мотнула головой, указывая куда-то в сторону.

— Ну, что ж, предположим, что это случайность. А все-таки вы здесь! А раз вы здесь, что вы намерены делать дальше? Вы еще молоды. Подумываете о парламенте? На днях я слышала, как про вас говорили. Я тогда еще не знала, что это вы. Говорили, что вам прямая дорога в парламент...

Она допытывалась о моих намерениях с живым и настойчивым любопытством. Совсем так же она много лет назад пыталась вообразить меня солдатом и найти мне место в мире. Она заставила меня яснее, чем когда-либо, почувствовать, что я не хозяин своей судьбы, а игрушка случая.

— Вот вы хотите построить летательный аппарат,— продолжала она.— А когда вы полетите, тогда что? Это будет машина для войны?..

Я рассказал ей кое-что о моих опытах. Она никогда не слыхала о машине, парящей в воздухе, пришла в восторг от одной мысли об этом и стала жадно расспрашивать. Она думала, что до сих пор все сводилось к фантастическим проектам, к машинам, которым не суждено летать. Поскольку это касалось Беатрисы, Пилчер и Лилиенталь погибли напрасно. Она просто не знала, что существовали на свете такие люди.

— Но ведь это опасно! — воскликнула она, осененная внезапной догадкой.— О, это так опасно!..

— Беа-триса! — послышался голос леди Оспри.

Беатриса спрыгнула с парапета.

— Где вы летаете?

— По ту сторону холмов. К востоку от Крест-хилла, за лесом.

— А если прийти посмотреть? Не возражаете?

— Пожалуйста, когда хотите. Только предупредите меня...

— Как-нибудь я отважусь. Как-нибудь на днях.

Она задумчиво поглядела на меня, улыбнулась — на этом разговор кончился.

IV

Все мои дальнейшие работы в области аэронавтики неотделимы в моей памяти от Беатрисы, от ее неожиданных появлений, от ее слов и поступков, от моих мыслей о ней.

В ту весну я сконструировал летательный аппарат, которому не хватало лишь одного — продольной устойчивости лонжерона. Моя модель летала, как птица, ярдов пятьдесят, а то и сто, а потом либо пикировала и ломала нос, либо чаще всего запрокидывалась на спину и вдребезги разбивала пропеллер. Была в этих падениях последовательность, которая ставила меня в тупик. Я чувствовал, что есть в них какая-то закономерность, но какая именно, пока не знал ни я, ни кто другой. И вот на время я засел за теорию и специальную литературу; я натолкнулся на ряд соображений, которые помогли мне установить правило, названное потом «правилом Пондерво», и стать членом Королевского общества естественных наук. Этому вопросу я посвятил три большие статьи. Тем временем я соорудил модели поворотных кругов и планеров и взялся за осуществление новой идеи скомбинировать воздушный шар с планером. С аэростатом мне еще никогда не приходилось иметь дело. Прежде чем установить газометр, построить особый ангар для аэростатов, я раза два поднялся на воздушных шарах Клуба аэронавтов и на два месяца отправил Котопа к сэру Питеру Рамчейсу. Дядюшка частично финансировал мои опыты: он следил за ними со все растущим, ревнивым интересом, должно быть, потому, что лорд Бум хвалил меня, и еще потому, что тут пахло громкой рекламой,— и это по его просьбе я назвал свой первый управляемый аэростат «Лорд Робертс Альфа».

На «Лорде Робертсе Альфа» едва не закончились мои труды. Как и его более удачный и прославившийся младший брат, «Лорд Робертс Бета», он представлял собою сжимающийся воздушный шар с жестким плоским основанием; шар этот формой напоминал перевернутую

лодку и был в состоянии выдержать тяжесть почти всей аппаратуры. Как все удлиненные аэростаты, мой воздушный шар был разделен на секции и не имел внутреннего баллонета. Труднее всего было сделать его сжимающимся. Я пытался добиться этого, покрыв его длинной и частой шелковой сеткой, прикрепленной к двум продольным стержням, на которые она должна была наматываться. Я сжимал свой аэростат-колбасу, стягивая его сеткой. Все мелкие подробности слишком сложны, чтобы описывать их здесь, но я их до тонкости обдумал и тщательно спланировал. «Лорд Робертс Альфа» был снабжен большим передним винтом и кормовым рулем поворота. Мотор у меня был впервые установлен, так сказать, в одной плоскости с самим аэростатом. Я лежал почти вплотную под аэростатом, на своего рода планерном каркасе, на одинаковом расстоянии от мотора и от руля и управлял им при помощи проволочной передачи, устроенной по принципу общеизвестного мотоциклетного бауденова тормоза.

Но в различных трудах по аэронавтике были уже помещены исчерпывающие описания и схемы «Лорда Робертса Альфа». Непредвиденной помехой оказалось плохое качество шелковой сетки. Она порвалась в кормовой части, как только я начал стягивать ею аэростат, и последние два сегмента оболочки вздулись и вылезли из отверстия, как вздувается и вылезает наружу резиновая камера, если продырявить шину, и тут острый край оборванной сети врезался, точно нож, в промасленный шелк прямо по шву последнего вздувшегося сегмента, и с громким треском оболочка лопнула. До этой минуты все шло просто великолепно. Пока я не стал стягивать сетку, «Лорд Робертс Альфа» показывал себя превосходным управляемым воздушным шаром. Он прекрасно вылетел из ангара со скоростью десять миль в час, если не больше, и, хотя с юго-запада дул легкий ветерок, поднялся, повернул и пошел ему навстречу ничуть не хуже любого воздушного корабля, какие мне только приходилось видеть.

Я лежал в той же позе, как обычно на планере,— растянувшись на животе, лицом вниз; механизмы мне не были видны, и поэтому у меня было необычайное ощущение, будто я невесом и лечу сам по себе. Только повер-

нув шею и поглядев наверх, я мог увидеть плоское жесткое дно своего воздушного шара и быстрое, равномерное мелькание лопастей пропеллера, со свистом рассекающих воздух. Я описал широкий круг над «Леди Гров» и Даффилдом, полетел в сторону Эффингхэма и благополучно вернулся к месту вылета.

Внизу я увидел свои освещенные октябрьским солнцем ангары и кучку людей, которых я пригласил быть свидетелями полета: подняв голову, они следили за мной и в полевые бинокли старались рассмотреть, как я выгляжу. Там были Кэрнеби и Беатриса верхом и с ними две незнакомые мне девушки, Котоп и трое или четверо наших рабочих, тетя Сьюзен и ее гостья миссис Ливинстайн — они пришли сюда пешком,— ветеринарный врач Диммок и еще двое или трое. Тень моей машины, похожая на тень рыбы, проскользнула чуть севернее этой группы зрителей. Все слуги «Леди Гров» высыпали на лужайку перед домом, а на площадке перед даффилдской школой толпились дети, но они слишком мало интересовались воздухоплаванием, чтобы оторваться от своих игр. Но ближе к Крест-хиллу, сверху казавшемуся на редкость приземистым и безобразным, всюду небольшими группками и рядами стояли рабочие, никто не занимался своим делом, все глазели на меня, разинув рты. (Впрочем, теперь, когда я пишу эти строки, мне пришло в голову, что ведь тогда было около полудня и, наверно, это было их обеденное время.) Я помедлил минуту-другую, наслаждаясь полетом, потом повернул назад, к ровной, открытой площадке, перевел мотор на полную мощность и пустил в ход катушки, на которые наматывалась сетка, тем самым сжимая воздушный шар. Тотчас сопротивление уменьшилось, и скорость полета возросла...

В эти минуты, пока еще меня не оглушил треск лопнувшей оболочки, я, право же, по-настоящему летел. В тот самый миг, когда мой воздушный шар был сжат до отказа, весь аппарат в целом, я убежден, был тяжелее воздуха. Впрочем, это мое утверждение оспаривали, да и, во всяком случае, такого рода приоритет не имеет особого значения.

Потом движение внезапно замедлилось, и тотчас в невыразимом смятении я почувствовал, что машина клю-

нула носом. Я по сей день вспоминаю об этом с ужасом. Я никак не мог увидеть, что же случилось, и даже догадаться не мог. Непостижимо и непонятно, почему она нырнула. Казалось, ни с того ни с сего она вздумала брыкаться. Тотчас раздался громкий треск, и я почувствовал, что стремительно падаю.

Я был слишком изумлен, чтобы додуматься до истинной причины взрыва. Даже не знаю, как я тогда объяснил себе это. Мне кажется, я был одержим страхом, вечно преследующим современного воздухоплавателя, страхом, что от случайной искры, выброшенной двигателем, загорится наполненная газом оболочка. Но нет, пламенем я не был охвачен. И мудрено было сразу же не сообразить, что дело не в этом. Во всяком случае, что бы я там еще ни предполагал, я, несомненно, освободил механизм, затягивавший сетку, и дал возможность наполненной газом оболочке снова расшириться, и это, безусловно, замедлило падение. Не помню, когда и как я это сделал. Признаться, я только и помню, что быстро падал по пологой спирали, и от этого земля подо мною шла кругом, поля, деревья, дома неслись влево по кривой, и над всем преобладало ощущение, что аппарат всей своей тяжестью давит мне на голову. Я не остановил и даже не попытался остановить винт. И он все так же безостановочно, со свистом рассекал воздух.

В сущности, о моем падении Котоп знал больше, чем я сам. Он подробно описывал, как я повернул на восток, как клюнул носом, как на корме вздулся и прорвался огромный пузырь. Затем я пикировал вниз с большой скоростью, но далеко не так круто, как мне казалось. «Под углом градусов пятнадцать — двадцать, не больше»,— заявил Котоп. Это от него я узнал, что я вновь распустил сеть и этим приостановил падение. По его мнению, я гораздо лучше владел собой, чем мне помнится. Одно лишь непонятно, как я мог забыть, что проявил такую великолепную находчивость. Котоп думал, что я продолжаю управлять своим аппаратом и пытаюсь посадить его на буки Фартинг-Дауна.

— Вы врезались в деревья,— сказал он,— вся махина застряла между ними носом вниз и затем стала медленно распадаться на куски. Я увидел, как вас вы-

бросило, и не стал больше ждать, а кинулся к велосипеду.

Но на самом деле это была чистая случайность, что я опустился на рощу. Я вполне уверен, что управлял своим падением не больше, чем какой-нибудь падающий тюк. Помню щемящее чувство: «Вот оно!» — в то мгновение, когда деревья ринулись мне навстречу. Если уж я помню это, я должен бы помнить, как управлял падающим аппаратом. Потом пропеллер разлетелся вдребезги, все вдруг остановилось, и я упал в море желтеющей листвы, а «Лорд Робертс Альфа», казалось мне, снова взмыл в небеса.

Ветки и сучья хлестали, царапали меня по лицу, но в те минуты я не чувствовал боли: я хватался за них, они обламывались, я проваливался сквозь зелено-желтую пену листвы в тенистый мир могучих, толстокожих ветвей и здесь, неистово цепляясь за что попало, ухватился наконец за надежную гладкую ветвь и повис.

Все мои чувства необычайно обострились, мысль работала четко и ясно. Минуту я держался за эту ветвь и осматривался, потом ухватился за другую — оказалось, что эти две ветви образуют развилину. Я раскачался, зацепился ногой за толстый сук пониже развилины, и это дало мне возможность осторожно спуститься вниз по ветвям, хладнокровно рассчитывая каждое свое движение. Футах в десяти над землей, с нижних ветвей, я прыгнул и почувствовал под ногами твердую землю.

— Все в порядке,— сказал я и, запрокинув голову, посмотрел вверх сквозь листву, стараясь разглядеть сморщенные, съежившиеся остатки того, что некогда было «Лордом Робертсом Альфа», повисшие на обломанных ветвях.

— Господи! — воскликнул я.— Вот это грохнулся!

По лицу что-то текло, я провел рукой и с изумлением увидел, что ладонь вся в крови. Я оглядел себя и убедился, что и рука и плечо тоже залиты кровью. Тут я заметил, что и во рту у меня полно крови. Странное это ощущение, когда вдруг понимаешь, что ты ранен и, может быть, тяжело, но еще не знаешь, насколько тяжело. Я осторожно ощупал все лицо и обнаружил, что левая половина неузнаваема. Острый сучок прорвал мне щеку, выбил зуб, поранил десны и, точно флаг открыва-

телей новых земель, вонзился в верхнюю челюсть. Этим да еще растяжением связок запястья я и отделался. Но крови было столько, словно меня разрубили на куски, и мне казалось, что лицо мое совершенно расплющено. Я весь похолодел от непередаваемого ужаса и отвращения.

— Все-таки надо как-то остановить кровь,— тупо сказал я.— Где тут паутина, хотел бы я знать.

Бог весть, почему мне это взбрело в голову, но никакое другое средство мне не пришло на ум.

Должно быть, я решил добираться домой без посторонней помощи, потому что свалился уже в тридцати футах от того дерева. Потом откуда-то из глубины вселенной вырвался черный диск, надвинулся и все закрыл собою. Не помню, как я упал. От волнения, от отвращения к своему изувеченному лицу, от потери крови я потерял сознание и так и остался лежать, пока меня не нашел Котоп.

Он прибежал первым, промчавшись во весь дух по низине, да еще при этом дав крюку, чтобы пересечь владения Кэрнеби в самом узком их месте. Вскоре он уже пытался применить свои познания, полученные на курсах первой помощи при Сенг-Джонском госпитале, к столь необычному пациенту, и тут из-за деревьев бешеным галопом прискакала на своем вороном Беатриса и за нею по пятам лорд Кэрнеби; она была без шляпы, вся в грязи — видно, по дороге упала — и бледна как смерть.

— И при этом какое спокойствие, хоть бы бровью повела! — рассказывал мне после Котоп, все еще под впечатлением этой минуты.

— Не знаю, есть ли у кого из них голова на плечах, впрочем, потерять голову по-настоящему они тоже не способны,— рассуждал Котоп, намекая на всех женщин вообще.

Он засвидетельствовал также, что она действовала на редкость решительно. Заспорили, куда меня везти: в дом мачехи Беатрисы, в Бедли-Корнер, или в дом лорда Кэрнеби в Истинге? У Беатрисы на этот счет не было никаких сомнений: она собиралась сама ухаживать за мной. А лорду Кэрнеби это, видно, было не по вкусу.

— Она во что бы то ни стало хотела доказать, что к ним вдвое ближе,—рассказывал Котоп.—Она и слушать ничего не хотела... А я, если в чем убежден, терпеть не могу, когда меня не слушают; так я потом захватил шагомер и измерил это расстояние. Дом леди Оспри ровно на сорок три ярда дальше. Лорд Кэрнеби поглядел на нее в упор,— закончил свой рассказ Котоп,— и уступил.

V

Однако я перескочил с июня на октябрь, а за это время в моих отношениях с Беатрисой и ее окружением произошел значительный сдвиг. Она приходила и уходила, когда ей вздумается, ездила в Лондон или Париж, Уэльс и Нортгемптон, вращаясь в совершенно неизвестном мне мире, и так же неожиданно, подчиняясь каким-то собственным законам движения, то исчезала, то появлялась ее мачеха. Дома ими командовала чопорная старая служанка Шарлотта, зато в огромных конюшнях Кэрнеби Беатриса вела себя как полновластная хозяйка. С самого начала она не скрывала, что интересуется мною. Несмотря на явное недовольство Котопа, она зачастила в мои мастерские и вскоре сделалась ревностной поклонницей воздухоплавания. Иногда она появлялась утром, порой днем, иногда приходила с ирландским терьером, иногда приезжала верхом. Бывало, я видел ее три или четыре дня подряд, потом она пропадала недели на две, а то и на три и опять возвращалась.

Вскоре я уже с нетерпением поджидал ее. Она сразу показалась мне необыкновенно привлекательной. Таких женщин я еще никогда не встречал — я ведь уже говорил, как мало я сталкивался с женщинами и как плохо знал их. А теперь во мне пробудился интерес не только к Беатрисе, но и к самому себе. Благодаря ей весь мир для меня изменился. Как бы это пояснить? Она стала моим внимательным слушателем. С тех пор как мой роман с Беатрисой со всеми его сложными переживаниями пришел к концу, я сотни раз и каждый раз по-новому размышлял об этой истории, и мне кажется, что в отношениях между мужчиной и женщиной удивительно важно, как они умеют слушать друг друга. Есть люди, для которых всегда необходим внимательный слу-

шатель, они не могут обойтись без слушателя, как живое существо без пищи; другие, вроде моего дяди, разыгрывают роль перед воображаемой публикой. Я же, как мне кажется, всегда жил и могу прожить без нее. В юности я сам для себя был и публикой и судьей. Иметь в виду слушателей — значит играть роль, быть неискренним и искусственным. Долгие годы я самозабвенно отдавался науке. До тех пор, пока я не заметил пытливых, одобряющих, взирающих с надеждой глаз Беатрисы, я жил работой, а не своими личными интересами. Потом я стал жить впечатлением, которое, как мне казалось, я производил на нее, и вскоре это сделалось главным в моей жизни. Она была моей публикой. Что бы я ни делал, я думал о том, как это воспримет Беатриса. Я все чаще и чаще мечтал о необычайных ситуациях и эффектных позах для себя или для нас обоих.

Я пишу обо всем этом потому, что для меня еще многое было загадкой. Наверное, я любил Беатрису так, как это обычно принято понимать, но эта любовь ничуть не походила ни на страстное влечение к Марион, ни на жажду наслаждений, которую вызывала во мне и возбуждала Эффи. То были эгоистичные, непосредственные порывы, столь же естественные и непроизвольные, как прыжок тигра, а чувство мое к Беатрисе до перелома в наших отношениях как-то совсем по-иному будоражило мое воображение. Я говорю здесь так глубокомысленно, а может быть, и глупо, о том, что для многих людей — азбучная истина. Зародившаяся между мною и Беатрисой любовь была, по-видимому (это, конечно, лишь предположение), любовью романтической. Такого же или, пожалуй, чуточку иного характера был злополучный прерванный роман моего дядюшки с миссис Скримджор. Я должен признать это. И ему и мне важнее всего было то, что мы обрели чутких и внимательных слушательниц.

Под влиянием этой любви я во многом опять стал похож на подростка. Она сделала меня чувствительнее к вопросам чести, пробудила горячее желание совершать великие, славные дела, отважные подвиги. В этом смысле она облагораживала меня, поднимала. Но она же толкала меня на поступки вульгарные и показные. Моя жизнь стала похожей на театральную декорацию, обра-

щенную к публике только одной стороной, другую же приходилось скрывать, так как над ней не потрудился художник. Я работал уже без прежнего усердия и стал менее требователен к себе. Я сократил свои исследования — мне, как и Беатрисе, хотелось поскорей совершать эффектные полеты, о которых заговорили бы. Я стремился к успеху кратчайшим путем.

Любовь лишила меня и способности тонко чувствовать смешное...

Но сказать о моих отношениях с Беатрисой только это — значит сказать далеко не все. Была тут и настоящая любовь. И вспыхнула она во мне совершенно неожиданно.

Случилось это летом, в июле или в августе — точно не вспомню, не порывшись в записях своих исследований. Я работал тогда над новым, еще более похожим на птицу аэропланом, с формой крыльев, заимствованной у Лилиенталя, Пилчера и Филиппса, благодаря чему, мне казалось, я мог бы добиться большей устойчивости полета. Я поднялся с площадки на одном из холмов возле моих ангаров и полетел вниз к Тинкерс-Корнер. Местность была открытая, если не считать зарослей боярышника справа и двух или трех буковых рощиц; с востока врезалась поросшая кустарником ложбинка с небольшим загоном для кроликов. И вот я летел, чрезвычайно озабоченный странными рывками моего нового аппарата, теряющего высоту. Вдруг впереди неожиданно появилась верхом на лошади Беатриса, ехавшая в сторону Тинкерс-Корнер, чтобы перехватить меня по дороге. Она оглянулась через плечо, увидела меня и пустила лошадь галопом, и огромный конь оказался прямо перед носом моей машины.

Казалось, вот-вот мы столкнемся и разобьемся вдребезги. Чтобы не подвергать риску Беатрису, я должен был мгновенно решить, поднять ли нос машины и опрокинуться назад, рискуя разбиться, или же взмыть против ветра и пролететь прямо над Беатрисой. Я выбрал второе. Когда я нагнал Беатрису, она уже справилась со своим вороным. Она сидела, пригнувшись к шее коня, и смотрела вверх на широко раскинутые крылья машины, а я с замиранием сердца пронесся над ней.

Потом я приземлился и пошел назад к ней; лошадь стояла на месте, вся дрожа.

Мы не поздоровались. Беатриса соскользнула с седла ко мне на руки, и какую-то минуту я держал ее в объятиях.

— Эти огромные крылья...— только и сказала она.

Она лежала в моих объятиях, и мне показалось, что она на миг потеряла сознание.

— Могли здорово расшибиться,— сказал Котоп, с неодобрением поглядывая на нас.— Это, знаете, небезопасно — соваться нам поперек дороги.— Он взял лошадь под уздцы.

Беатриса отпрянула от меня, постояла минуту и опустилась на траву; ее всю трясло.

— Я посижу немного,— сказала она.

Она закрыла лицо руками, а Котоп смотрел на нее подозрительно и с досадой.

Никто не двигался с места.

— Пойду принесу воды,— сказал наконец Котоп.

У меня этот случай — эти краткие мгновения близости, этот вихрь переживаний — каким-то непостижимым образом породил дикую фантазию добиться любви Беатрисы и обладать ею. Не знаю, почему эта мысль возникла именно тогда, но так уж случилось. Я уверен, что раньше мне это и в голову не приходило. Помнится лишь одно: страсть налетела внезапно. Беатриса сидела, съежившись, на траве, я стоял рядом, и оба мы не проронили ни слова. Но ощущение было такое, словно только что я слышал голос с неба.

Котоп не успел пройти и двадцати шагов, как Беатриса отняла руки от лица.

— Не надо мне воды,— сказала она.— Верните его.

VI

С тех пор наши отношения стали иными. Исчезла прежняя непринужденность. Беатриса приходила реже и всегда с кем-нибудь, чаще всего со стариком Кэрнеби, он-то и поддерживал разговор. На весь сентябрь она куда-то уехала, а когда мы оставались с ней наедине, мы испытывали странную скованность. Нас переполняли какие-то невыразимые ощущения; все, о чем мы думали, было столь важно для нас, столь значительно, что мы не умели это высказать.

Потом произошла авария с «Лордом Робертсом Альфа»; с забинтованным лицом я оказался в спальне в доме леди Оспри в Бедли-Корнер; Беатриса командовала неопытной сиделкой, а сама леди Оспри, шокированная и вся красная, маячила где-то на заднем плане, и во все ревниво вмешивалась тетушка Сьюзен.

Мои раны, хоть и бросались в глаза, были не опасны, и меня можно было уже на следующий день перевезти в «Леди Гров», но Беатриса не позволила и целых три дня продержала меня в Бедли-Корнер. На второй день после обеда она вдруг ужасно забеспокоилась, что сиделка не дышит свежим воздухом, в проливной дождь выпроводила ее на часок погулять, а сама села около меня.

Я сделал ей предложение.

Должен признаться, что обстановка не благоприятствовала серьезным излияниям. Я лежал на спине, говорил сквозь повязку да еще с трудом, так как язык и губы у меня распухли. Мне было больно, меня лихорадило. И я не мог совладать со своими чувствами, которые приходилось так долго сдерживать.

— Удобно? — спросила она.

— Да.

— Почитать вам?

— Нет. Я хочу говорить.

— Вам нельзя. Говорить буду я.

— Нет, — возразил я,— я хочу с вами поговорить.

Она встала возле кровати и посмотрела мне в глаза.

— Я не хочу... Я не хочу, чтобы вы говорили. Я думала, вы не можете разговаривать.

— Вы так редко бываете со мной наедине.

— Вы бы лучше помолчали. Сейчас не надо говорить. Взамен вас буду болтать я. Вам не полагается говорить.

— Я сказал так мало.

— И этого не надо было.

— Я ведь не буду изуродован,— заметил я.— Только шрам.

— О! — сказала она, словно ждала совсем другого.— Вы думали, что станете страшилищем.

— L'homme qui rit![1] Могло случиться. Но все в порядке. Какие прелестные цветы!

— Астры,— сказала она.— Я рада, что вы не обезображены. А это бессмертники. Вы совсем не знаете названий цветов? Когда я увидела вас на земле, я подумала, что вы разбились насмерть. По всем правилам игры вы не должны были уцелеть.

Она сказала еще что-то, но я обдумывал свой следующий ход.

— А мы с вами равны по положению в обществе? — в упор спросил я.

Она изумленно посмотрела на меня.

— Странный вопрос!

— А все-таки?

— Гм. Трудно сказать. Но почему вы спрашиваете? Неужели дочь барона, который умер, насколько я знаю, от всяких излишеств раньше своего отца... Невелика честь. Разве это имеет какое-нибудь значение?

— Нет. У меня в голове все перемешалось. Я хочу знать, пойдете ли вы за меня замуж?

Она побледнела, но ничего не сказала. Я вдруг почувствовал, что должен разжалобить ее.

— Черт бы побрал эту повязку! — крикнул я в бессильной ярости.

Она вспомнила о своих обязанностях сиделки.

— Что вы делаете? Почему вы поднимаетесь? Сейчас же ложитесь! Не трогайте повязку! Я ведь запретила вам разговаривать.

С минуту она растерянно стояла возле меня, потом крепко взяла за плечи и заставила снова откинуться на подушку. Я хотел было сорвать повязку, но Беатриса ухватила мою руку.

— Я не велела вам разговаривать,— прошептала она, наклонившись ко мне.— Я же просила вас не разговаривать. Почему вы не слушаетесь?

— Вы избегали меня целый месяц,— сказал я.

— Да, избегала. И вы должны знать почему. Опустите же руку, опустите скорей.

Я повиновался. Она присела на край кровати. На ее щеках вспыхнул румянец, глаза ярко блестели.

— Я просила вас не разговаривать,— повторила она.

---

[1] Человек, который смеется! *(франц.)*.



«ТОНО БЕНГЕ»



«ТОНО БЕНГЕ»

В моем взгляде она прочла немой вопрос.

Она положила руку мне на грудь. Глаза у нее были страдальческие.

— Как я могу ответить вам сейчас? — произнесла она.— Разве я могу вам сказать что-нибудь сейчас?

— Что это значит? — спросил я.

Она молчала.

— Так, значит, нет?

Она кивнула.

— Но...— начал я, готовый разразиться обвинениями.

— Я знаю,— сказала она.— Я не могу объяснить. Не могу, поймите. Я не могу сказать «да»! Это невозможно. Окончательно, бесповоротно, ни за что... Не поднимайте руки!

— Но,— возразил я,— когда мы с вами встретились снова...

— Я не могу выйти замуж. Не могу и не хочу.

Она встала.

— Зачем вы заговорили об этом? — воскликнула она.— Неужели вы не понимаете?

Казалось, она имела в виду что-то такое, чего нельзя сказать вслух.

Она подошла к столику у моей кровати и растрепала букет астр.

— Зачем вы заговорили об этом? — сказала она с безграничной горечью.— Начать так...

— Но в чем же дело? — спросил я.— Что это, какие-нибудь обстоятельства,— мое положение в обществе?

— К черту ваше положение! — крикнула она.

Она отошла к окну и стала смотреть на дождь. Долгое время мы оба молчали. Дождь и ветер стучались в оконное стекло. Беатриса резко повернулась ко мне.

— Вы не спросили, люблю ли я вас,— сказала она.

— О, если дело лишь в этом! — воскликнул я.

— Нет, не в этом,— сказала она.— Но если вы хотите знать...— Она помолчала секунду и докончила: — Люблю.

Мы пристально смотрели друг на друга.

— Люблю... всем сердцем, если хотите знать.

— Тогда какого же дьявола?..

Беатриса не ответила. Она прошла через всю комна-

ту к роялю и громко, бурно, с какими-то странными ударениями заиграла мелодию пастушьего рожка из последнего акта «Тристана и Изольды». Вдруг она взяла фальшивую ноту, потом снова сбилась, бравурно пробежала пальцами по клавишам, в сердцах ударила по роялю кулаком, отчего задребезжали высокие ноты, вскочила и вышла из комнаты...

Когда вошла сиделка, я, все еще в шлеме из бинтов, полуодетый, метался по комнате в поисках недостающих частей своего туалета. Я изнывал от тоски по Беатрисе и был так взволнован и слаб, что не мог скрывать своего состояния. Я дико злился, потому что мне никак не удавалось одеться, и измучился вконец, пока натягивал брюки, не видя ног. Меня шатало, и я споткнулся о стул и опрокинул вазу с астрами.

Наверно, зрелище я представлял довольно противное.

— Я лягу,— сказал я,— только попросите зайти мисс Беатрису. Мне нужно ей кое-что сказать. Поэтому я одеваюсь.

Мне уступили, но ждать пришлось долго. Я так и не узнал, доложила ли сиделка о моем ультиматуме самой Беатрисе или же всем домочадцам, и не представляю себе, что могла подумать в этом случае леди Оспри...

Наконец Беатриса явилась и стала у моей кровати.

— Ну? — произнесла она.

— Я только хотел сказать,— заявил я капризным тоном несправедливо обиженного ребенка,— что не считаю ваш отказ окончательным. Я хочу увидеться с вами и поговорить, когда поправлюсь... и написать вам. Я ни на что не способен сейчас. Я не в силах спорить.

Мне было очень жаль себя, и я не хотел молчать.

— Я не могу лежать спокойно. Понимаете? Я теперь никуда не гожусь.

Она снова присела рядом и сказала мягко:

— Мы обо всем поговорим, обещаю вам. Когда поправитесь. Я обещаю вам, что мы встретимся где-нибудь и поговорим. Вам нельзя сейчас разговаривать. Я просила вас не говорить сейчас. Вы узнаете все, что вам хочется... Хорошо?

— Я хочу знать...

Беатриса оглянулась на дверь, встала и проверила, закрыта ли она.

Потом, склонившись ко мне, она очень ласково, быстро зашептала у самого моего лица:

— Милый, я люблю вас. Если это сделает вас счастливым, я выйду за вас замуж. Я была не в духе, в глупом, взбалмошном настроении. Конечно, я выйду за вас замуж. Вы мой принц, мой король. Женщины так легко поддаются настроению... Если бы не это, разве я вела бы себя так? Мы говорим «нет», когда думаем «да»... и легко теряем душевное равновесие... Так вот — да, да... Да, я выйду за вас... Вас нельзя даже поцеловать. Дайте я поцелую вашу руку. Считайте, что я ваша. Хорошо? Я ваша, словно мы женаты пятьдесят лет. Я ваша жена — Беатриса. Вы довольны? Теперь... теперь вы будете лежать спокойно?

— Да,— сказал я,— но почему?..

— Есть осложнения. Есть препятствия. Когда вы поправитесь, вы поймете сами. Теперь это не имеет значения. Но надо соблюдать тайну — до поры до времени. Никто не должен знать, кроме нас двоих. Вы обещаете мне?

— Да,— сказал я,— понимаю. Если бы я мог вас поцеловать.

На мгновение она прислонила голову к моей, потом поцеловала мою руку.

— Я не боюсь никаких препятствий,— сказал я и закрыл глаза.

VII

Но я только еще начал постигать, как непостоянна натура Беатрисы. Я вернулся в «Леди Гров», и с неделю она не подавала никаких признаков жизни, потом явилась вместе с леди Оспри и принесла целую охапку бессмертников и астр. «Те самые, что стояли в твоей комнате»,— сказала тетя Сьюзен, безжалостно глядя на меня. Беатриса вскользь заметила, что уезжает на неопределенное время в Лондон, и поговорить с ней наедине мне тогда так и не удалось. Я не мог даже заручиться обещанием написать мне, а в туманном дружеском письмеце, которое я все же получил, не было ни слова о том, что произошло между нами.

Я ответил ей любовным письмом — первым любовным письмом за всю мою жизнь — и целую неделю не получал

ни строчки. Наконец она нацарапала записку: «Я не могу вам писать. Ждите, когда сможем поговорить. Как вы себя чувствуете?..»

Читателя, вероятно, позабавило бы, если бы он увидел мои бумаги на письменном столе сейчас, когда я пишу,—перемаранные, испорченные листки, кое-как рассортированные записи, беспорядочно разбросанные страницы с заметками — плоды умственных усилий, которые еще не доведены до конца. Признаться, во всей этой истории мне труднее всего описывать свои чувства к Беатрисе. По своему складу я человек мыслящий объективно: я обычно забываю свои настроения, а в этом случае настроения значили столь много. Но и те настроения и переживания, которые сохранились в памяти, мне очень трудно выразить, так же, пожалуй, трудно, как описать вкус или запах.

Мне трудно рассказать обо всем по порядку еще и потому, что речь идет о множестве мелочей, событий незначительных. Любовь сама по себе — чувство капризное, оно то взлетает, то падает, вот оно восторженное, а вот чисто физическое. Никто еще не отважился рассказать любовную историю до конца, со всеми ее перипетиями, приливами и отливами, постыдными падениями и вспышками ненависти. Обычно в любовных историях говорится лишь в общих чертах о том, как складывались и чем кончились отношения между двумя людьми.

Как вырвать мне из прошлого таинственный образ Беатрисы, мое безграничное томление по ней, неодолимую, безрассудную и безудержную страсть? Разве не удивительно, что мое благоговение перед ней сочеталось с нетерпеливой решимостью сделать ее своей, взять ее силой и отвагой, доказать свою любовь отчаянным героизмом? Как мучили меня сомнения, как загадочны были колебания Беатрисы, ее отказ выйти за меня замуж и то, что, вернувшись наконец в Бедли-Корнер, она, по-видимому, избегала меня!

Все это бесконечно терзало меня и сбивало с толку. Мне это казалось вероломством. Я цеплялся за каждое возможное объяснение, романтическая вера в нее чередовалась с подлейшим недоверием, а подчас я ощущал и то и другое одновременно.

Из хаоса воспоминаний выплывает фигура Кэрнеби, и я вижу его все яснее: человек этот круто изменил ход событий, он властно встал между мною и Беатрисой, он оказался моим соперником. Ведь Беатриса любила меня, это было очевидно, так что за силы заставляли ее отдаляться от меня? Не собиралась ли она выйти за Кэрнеби замуж? Не помешал ли я выполнению каких-то давно задуманных планов? Лорд Кэрнеби относился ко мне с явной неприязнью, я, видно, отравлял ему существование. Беатриса вернулась в Бедли-Корнер, в течение нескольких недель я лишь мельком видел ее, а поговорить с ней наедине мне ни разу не удалось. Она приходила в мою мастерскую всегда с Кэрнеби, ревниво наблюдающим за нею. (Почему, черт побери, она не могла отделаться от него?) Дни бежали, и во мне накипала злость.

Все это переплетается с работой над «Лордом Робертсом Бета». Замысел возник в одну из бессонных ночей в Бедли-Корнер, и я разработал его, прежде чем сняли повязку с моего лица. Этот мой второй управляемый аэростат был задуман грандиозно. Он должен был стать вторым «Лордом Робертсом Альфа», только более совершенным, в три раза превосходить его величиной, быть столь большим, чтобы на нем могли подняться три человека. Ему предстояло окончательно и победоносно утвердить мои права на воздушную стихию. Каркас предполагалось сделать из полых деталей, как кости у птицы, и воздухонепроницаемым, а воздух должен был накачиваться или выкачиваться по мере изменения веса горючего. Я много говорил о своей новой модели и расхваливал ее будущие качества Котопу, который относился несколько скептически к моей затее, но работа двигалась медленно. Она двигалась медленно, потому что меня мучили беспокойство и неуверенность. Иногда я ездил в Лондон, надеясь встретить Беатрису, а иногда проводил весь день в полетах, в изнурительных и опасных упражнениях и в этом находил удовлетворение. А тут еще газеты, разговоры и слухи принесли мне новую тревогу. Что-то происходило с блистательными проектами моего дядюшки; люди начали сомневаться, задавать вопросы. Впервые дрогнуло его эфемерное благополучие, впервые покачнулся колоссальный волчок кредита, который он так долго заставлял вращаться.

Одни впечатления сменялись другими, промелькнул ноябрь и за ним декабрь. Мы два раза виделись с Беатрисой, и обе встречи меня не порадовали: в них не было тепла, мы говорили резко или намеками о вещах, говорить о которых надо было бы в другой обстановке. Несколько раз я писал ей, она отвечала записками, и одни из них я принимал всей душой, другие отвергал, считая их лицемерными увертками.

«Вы не понимаете,— писала она.— Пока я не могу вам ничего объяснить. Будьте терпеливы. Доверьтесь мне».

В своей рабочей комнате я разговаривал вслух, спорил, обращаясь к этим листкам, а схемы «Лорда Робертса Бета» были позабыты.

— Ты не даешь мне развернуться! — восклицал я.— Почему ты от меня что-то скрываешь? Я хочу *знать* все. Я для того и существую, чтобы разделаться с препятствиями, преодолеть их!

В конце концов я не мог больше выдержать этого ужасного напряжения.

Я принял дерзкий, оскорбительный тон, не оставляющий ей никакой лазейки. Я стал держать себя так, словно мы были героями мелодрамы.

«Вы должны прийти поговорить со мной,— писал я,— а не то я приду сам и уведу вас. Вы нужны мне, а время уходит».

Мы встретились на дорожке в недавно разбитом парке. Было это, вероятно, в начале января, так как на земле и на ветвях деревьев лежал снег. Целый час мы ходили взад и вперед, и с самого начала я ударился в высокую романтику, так что понять друг друга было уже невозможно. Это была наша самая неудачная встреча. Я бахвалился, как актер, а Беатриса, не знаю почему, казалась утомленной и вялой.

Теперь, когда я вспоминаю наш разговор в свете того, что произошло после, мне приходит в голову: должно быть, она искала во мне человеческого сочувствия, а я был слишком глуп, чтобы понять ее. Не знаю, так ли это. Сознаюсь, я никогда до конца не понимал Беатрису. Сознаюсь, и теперь я не могу разобраться во многом, что она делала и говорила. В тот день я был просто невыносим. Я хорохорился и дерзил.

— Я для того и существую, чтобы схватить вселенную за глотку! — заявил я.

— Если бы дело было только в этом,— сказала она, и хотя я слышал ее слова, они не доходили до меня.

Наконец она сдалась и умолкла. Она только смотрела на меня, как на существо безнадежно упрямое, но все же любопытное, почти совсем так, как смотрела из-за юбок леди Дрю в Уоррене, когда мы были детьми. Мне показалось даже, что один раз она слегка улыбнулась.

— Что это за препятствия? — кричал я.— Нет таких препятствий, которых я не преодолел бы ради вас! Ваши родные считают, что я вам не пара? Кто это говорит? Дорогая, скажите только слово — и я добьюсь титула! Он будет у меня через пять лет!.. Только увидев вас, я стал настоящим мужчиной. Мне всегда хотелось бороться за что-нибудь. Позвольте мне бороться за вас!.. Я богат, хоть и не стремился к богатству. Скажите, что оно нужно вам, дайте ему благородное оправдание, и я повергну всю Англию, весь этот старый, прогнивший загон для кроликов, к вашим ногам!

Да, я нес подобную чепуху! Я повторяю эти слова на бумаге, во всей их вульгарной, пустозвонной спеси. Я говорил эту вздорную бессмыслицу, и это частица меня самого. Зачем мне стыдиться этого, да и гордиться тут тоже нечем. Я заставил Беатрису молча слушать меня.

После этой вспышки мании величия я разразился мелочными попреками.

— Вы считаете Кэрнеби лучше меня?

— Нет,— воскликнула она, задетая за живое,— нет!

— Вы считаете наше положение непрочным. Вы прислушиваетесь ко всем этим сплетням, которые распускает Бум, потому, что мы хотели издавать собственную газету. Когда вы со мной, вы понимаете, что я порядочный человек, стоит нам расстаться, как в ваших глазах я становлюсь мошенником и грубияном... В этих разговорах о нас нет ни слова правды. Да, я раскис. Я забросил дела. Нам надо только поднатужиться. Вы не знаете, как глубоко и далеко мы закинули свои сети. Даже теперь у нас в руках сильный козырь — одна экспедиция. Она сразу же поправит наши дела...

Глаза Беатрисы молили, молили безмолвно и напрасно, чтобы я перестал хвастаться теми своими достоинствами, которыми она восхищалась.

Ночь я провел без сна, вспоминая этот разговор, все те пошлости, которые я ей наговорил. Я не мог понять, куда девался мой здравый смысл. Я был глубоко отвратителен сам себе. У меня не было уверенности в нашем финансовом благополучии, это порождало сомнение и в себе. Хорошо было говорить о богатстве, могуществе, титулах, но что я знал сейчас о положении дядюшки? А вдруг, пока я так самонадеянно бахвалился, случилось что-нибудь такое, чего я не подозреваю, что-нибудь неладное, а он скрыл от меня? Я решил, что слишком долго забавлялся аэронавтикой,— наутро отправлюсь к нему и выясню все на месте.

Я поспел на ранний поезд в Хардингем.

Сквозь густой лондонский туман я пришел в хардингемский отель узнать истинное положение дел. Мы поговорили с дядей каких-нибудь десять — пятнадцать минут, и я почувствовал себя как человек, очнувшийся после сказочных сновидений в унылой, неуютной комнате.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ТОМ, КАК Я УКРАЛ КУАП С ОСТРОВА МОРДЕТ

I

— Надо драться,— сказал дядюшка.— Мы должны принять бой, не дрогнув!

Помнится, с первого взгляда я понял, что надвигается катастрофа. Он сидел под электрической лампой, и тень от волос ложилась полосами на его лицо. Он весь как-то съежился, кожа на его лице обвисла и пожелтела. Даже вся обстановка в комнате словно полиняла, и на улице — шторы были подняты — стоял не туман, а какой-то серовато-коричневый сумрак. За окном ясно вырисовывались очертания закоптелых труб, и за ними небо — бурое, какое бывает только в Лондоне.

— Я видел афишу,—сказал я.—Опять пондервизмы!

— Это Бум. Бум и его проклятые газеты,— заявил дядюшка.— Старается меня сшибить. Преследует с тех

пор, как я захотел купить «Дейли декорейтор». Он думает, что наше ДоО зарезало его рекламу. Подавай ему все, будь он проклят! Нет у него делового чутья. Расквасить бы ему рожу!

— Ну,— вставил я,— что надо делать?

— Держаться,— сказал дядюшка.— Я еще сокрушу Бума,— добавил он с неожиданной свирепостью.

— И это все? — спросил я.

— Должны держаться. Запугивают. Заметил, что за народ в приемной? Там сегодня половина — репортеры. Стоит мне что-нибудь сказать, тут же переврут!.. Раньше не врали! Теперь они каждым пустяком шпыняют, оскорбляют тебя. До чего только они дойдут, эти газетчики! И все Бум.

Он весьма образно обругал лорда Бума.

— Ну,— сказал я.— Что он может сделать?

— Загонит нас в тупик, Джордж. Ужмет в деньгах. Мы ворочали кучей денег... а теперь он нас ужимает.

— Мы крепко стоим?

— Конечно, крепко, Джордж. Положись на меня! Но все равно... В этих делах такую роль играет воображение... Мы еще держимся вполне крепко. Не в этом суть. Уф! Черт бы его драл, этого Бума! — сказал он и поверх очков поглядел на меня с воинственным видом.

— А что, если нам свернуть паруса на время, урезать расходы?

— На чем?

— Ну, Крест-хилл?

— Что?! — крикнул он.— Чтоб я бросил Крест-хилл из-за Бума! — Он замахнулся кулаком, словно хотел ударить по чернильнице, и с трудом сдержал себя. Потом заговорил спокойнее: — Если я это сделаю, он поднимет шум. Толку все равно не будет, даже если бы я захотел. Крест-хилл у всех на виду. Если я брошу строить, нам через неделю крышка.

У него блеснула мысль.

— Вот вызвать бы забастовку или еще что-нибудь. Да нет, не выйдет. Чересчур хорошо обращаюсь с рабочими. Будь что будет, но пока не пойду ко дну, я не брошу Крест-хилл.

Я стал задавать вопросы, и он тут же взбунтовался.

— Провались они, эти объяснения! — рявкнул он.— Из-за тебя все кажется еще хуже. Ты всегда так, Джордж. Дело тут не в цифрах. Все в порядке, нам надо только одно.

— Что же именно?

— Показать товар лицом, Джордж. Вот он где нужен, куап; потому-то я так ухватился за твое предложение на позапрошлой неделе. Вот, пожалуйста,— вот наш патент на идеальную нить накала, и нам осталось только раздобыть канадий. Все, кроме нас, думают, что на свете канадия всего-то с воробьиный нос. Никому невдомек, что идеальная нить накала не теория, не рассуждения. Пятьдесят тонн куапа — и мы превращаем эту теорию в такое... Мы ее заставим взвыть, эту ламповую промышленность. Мы запихнем Эдисвана и всю эту шайку в один мешок со старыми брюками и шляпой и выменяем на горшок герани. Понял? Мы это сделаем через Торговое агентство — вот тебе! Понял? Патентованные нити Кэйперна! Идеальные и натуральные! Мы это осилим, Джордж. Так треснем Бума, что ему и через пятьдесят лет не очухаться. Он хочет сорвать лондонское и африканское совещания. Пусть его. Он может натравить на нас все свои газеты. Он говорит, что акции Торговых агентств не стоят и пятидесяти двух, а мы их котируем по восемьдесят четыре. Ну так вот! Мы готовимся—заряжаем ружье.

Дядюшка торжествующе выпрямился.

— Что ж, — сказал я,— все это хорошо. Но хотел бы я знать, что бы мы делали, если б не подвернулся этот случай заполучить кэйпернову идеальную нить накала. Ведь ты не можешь не согласиться, что я ее приобрел случайно.

Он сморщил нос, досадуя на мою несообразительность.

— К тому же совещание назначено на июнь, а мы и не брались еще за этот куап! В конце концов нам еще только предстоит зарядить ружье...

— Они отплывают во вторник.

— И у них есть бриг?

— У них есть бриг.

— Гордон-Нэсмит! — усомнился я.

— Надежен, как банк,—сказал дядюшка.—Чем боль-

ше узнаю этого человека, тем больше он мне нравится. Хотел бы я только, чтоб вместо парусника у нас был пароход...

— И опять-таки,— продолжал я,— ты, кажется, совсем забыл о том, что нас смущало. Этот канадий и кэйпернова идеальная нить вскружили тебе голову. В конце концов это кража, в своем роде международный скандал. Там шныряют вдоль берега две канонерки.

Я поднялся и, подойдя к окну, стал вглядываться в туман.

— Но, господи, это же чуть ли не единственный наш шанс!.. Мне и не мерещилось...

Я обернулся к нему.

— Я летал высоко над землей,— сказал я.— Один бог знает, где только я не был. И вот у нас в руках единственный шанс, и ты доверяешь его сумасшедшему авантюристу с его бригом.

— Но ты мог бы сказать...

— Жаль, я не взялся за это раньше. Нам следовало послать пароход в Лагос или еще куда-нибудь на западное побережье и действовать оттуда. Подумать только, парусник здесь, в проливе, в это время года, когда может подуть зюйд-вест!

— Ты бы это дело провернул, Джордж. А все-таки... знаешь, Джордж... Я в него верю...

— Да,— сказал я.— Да, я тоже верю в него. В некотором смысле. Однако...

Дядюшка взял телеграмму, лежавшую на столе, и вскрыл.

Лицо его помертвело. Медленно, словно против воли, он отложил тонкую розовую бумажонку и снял очки.

— Джордж,— сказал он,— судьба против нас.

— Что?

Он как-то странно скривил рот в сторону телеграммы.

— Вот.

Я взял ее и прочитал:

«...автомобильной катастрофе сложный перелом ноги гордон нэсмит как быть мордетом».

Несколько минут мы оба молчали.

— Ну, ничего,— сказал я наконец.

— А? — выдавил дядя.

— Я сам поеду. Я привезу куап, или мне крышка!

II

У меня была странная уверенность, что я «спасаю положение».

— Я поеду,— сказал я с пафосом, не вполне отдавая отчет в серьезности задуманного. Все предприятие представлялось мне — как бы это выразиться? — в самых радужных красках.

Я присел рядом с дядюшкой.

— Выкладывай все данные, какие у тебя есть,— сказал я,— и я эту штуку раздобуду.

— Но ведь никто не знает точно, где...

— Нэсмит знает, и он мне скажет.

— Но он так секретничает,— заметил дядя и посмотрел на меня.

— Теперь он мне скажет, раз он разбился.

Дядя задумался.

— Пожалуй, скажет. Джордж, если бы ты раздобыл эту штуку!.. Ты ведь уже выручал этим «раззз-два!..»

Он не договорил.

— Дай мне блокнот,— сказал я,— и расскажи все, что знаешь. Где судно? Где Поллак? И откуда телеграмма? Уж если этот куап можно заполучить, я добуду его, или мне крышка. Если ты только продержишься, пока я вернусь с ним...

Так я ринулся в самую дикую авантюру моей жизни.

Я тотчас завладел самым лучшим дядюшкиным автомобилем. В ту ночь я поехал в Бемптон Оксон, откуда была отправлена телеграмма Нэсмита, без особого труда вытащил его из этой дыры, все уладил с ним и получил подробнейшие наставления; на следующий день я вместе с молокососом Поллаком — родственником и помощником Нэсмита — осмотрел «Мод Мери». Она произвела на меня удручающее впечатление; на этом горе-паруснике перевозили картофель, и слабый, но въедливый запах сырой картошки пропитал его насквозь и забил даже запах свежей краски. Это и впрямь был горе-парусник — грязный остов и трюм, доверху заваленный ржавым железом, старыми рельсами и шпалами, а для погрузки куапа были запасены всякого рода лопаты и железные тачки. Вместе с Поллаком, долговязым белобрысым молодым человеком из тех, что только умеют курить труб-

ку, а толку от них ни на грош, а потом и один, я все осмотрел и, не щадя усилий, скупил в Грэйвсэнде весь запас досок для сходней и все веревки, какие только нашлись. Мне представлялось, что надо будет сооружать пристань. Помимо солидного количества балласта, на паруснике было еще несколько подозрительных ящиков, небрежно задвинутых в дальний угол, которые я не стал открывать, догадываясь, что в них какие-то товары на случай, если придется создавать видимость торговли.

Капитан полагал, что мы отправляемся за медной рудой; он оказался существом совершенно необычайным: это был румынский еврей с подвижным, нервным лицом, свой диплом получил он после того, как некоторое время проплавал в Черном море. Помощник у него был из Эссекса, человек на редкость замкнутый. Команда состояла главным образом из молодых парней, навербованных из угольщиков, удивительно по-нищенски и грязно одетых: сойдя с угольщиков, они так и не успели отмыться. Повар был мулат, а один матрос, самый крепкий на вид, оказался бретонцем. Мы водворились на судне под каким-то предлогом — теперь уж не помню подробностей,— я считался торговым агентом, а Поллак — стюардом. Это еще усугубило привкус пиратства, который внесли в нашу затею своеобразный гений Гордон-Нэсмита и недостаток средств.

Два дня, что я толкался по узким, грязным улочкам под закоптелым небом Грэйвсэнда, многому меня научили. Ничего похожего я раньше не видывал. Тут-то я понял, что я человек современный и цивилизованный. Пища показалась мне мерзкой и кофе отвратительным; вонь со всего городка засела у меня в ноздрях, а чтобы получить горячую ванну, я выдержал бой с хозяином «Добрых намерений» на набережной, причем стены, деревянная мебель и все прочее в комнате, где я спал, кишели экзотическими, но весьма ненасытными паразитами, которых обычно называют клопами. Я боролся с ними специальным порошком, а утром находил их в состоянии обморока. Я опустился на грязное дно современного общества, и оно внушило мне такое же отвращение, как и в первый раз, когда я познакомился с ним, поселившись у дяди Никодима Фреппа в булочной в Ча-

таме (там, кстати сказать, нам пришлось иметь дело с тараканами, только они были помельче и почернее; были там и клопы).

Должен сознаться, что все это время до нашего отъезда у меня было такое чувство, будто я разыгрываю роль на сцене, а публикой в моем воображении была Беатриса. Как я уже говорил, я считал, что «спасаю положение», и это меня подстегивало. Накануне отплытия, вместо того, чтобы проверить аптечку, как намеревался, я сел в машину и помчался в «Леди Гров» — сообщить тете Сьюзен об отъезде и переодеться, чтобы поразить леди Оспри и ее падчерицу вечерним визитом.

Я застал обеих леди дома у камина; в тот зимний вечер огонь пылал как-то особенно весело. Помнится, небольшая гостиная, в которой они сидели, показалась мне удивительно нарядной и уютной. Леди Оспри в бледно-лиловом платье с кружевной вставкой сидела на диване, обитом лощеным ситцем, и раскладывала замысловатый пасьянс при свете высокой лампы, затененной абажуром; Беатриса в белом платье, оставлявшем открытой шею, читала в кресле и курила папиросу, сбоку на нее падал свет другой лампы. В комнате были белые панели и пестрые занавески. Два ярких источника света окружал мягкий полумрак, а круглое зеркало поблескивало в нем, словно озерцо коричневой воды. Я скрашивал свое неожиданное вторжение тем, что вел себя, как самый послушный раб этикета. И в иные минуты леди Оспри, кажется, на самом деле начинала верить, что визит мой абсолютно необходим и что с моей стороны было бы неучтиво, если бы я не пришел именно так и именно в этот час. Но то были лишь краткие минуты.

Меня приняли со сдержанным изумлением. Леди Оспри интересовалась моим лицом и разглядывала шрам. Чувствовалось, что ее расположила ко мне Беатриса. Наши взгляды встретились, и я увидел в ее глазах недоумение и испуг.

— Я отправляюсь на западное побережье Африки,— сказал я.

Они задавали вопросы, но мне нравилось отвечать туманно.

— У нас там дела. Мне надо обязательно ехать. Не знаю, когда смогу вернуться.

После этого взгляд Беатрисы стал еще более пристальным и испытующим.

Разговор не клеился. Я рассыпался в благодарностях за их доброту ко мне после того несчастного случая. Пробовал разобраться в пасьянсе леди Оспри, хотя она не обнаружила ни малейшего желания обучать меня этому искусству. Наконец мне оставалось только раскланяться.

— Куда вы торопитесь? — коротко сказала Беатриса.

Она подошла к роялю, достала с этажерки стопку нот, покосилась на спину леди Оспри и, подав мне знак, умышленно уронила всю стопку на пол.

— Нам нужно поговорить,— сказала она, стоя на коленях рядом со мной, пока я помогал ей собирать ноты.— Переворачивайте мне страницы. У рояля.

— Я не умею читать ноты.

— Переворачивайте мне страницы.

Затем мы сидели у рояля, и Беатриса бравурно и фальшивя играла. Она поглядела через плечо — леди Оспри раскладывала свой пасьянс. Старуха вся раскраснелась, казалось, она старается незаметно для нас сплутовать, чтобы пасьянс вышел.

— В Западной Африке мерзкий климат, правда? Вы собираетесь там поселиться? Почему вы едете?

Беатриса спрашивала очень тихо, не давая мне возможности отвечать. Затем в такт исполняемой ею музыке она сказала:

— Позади дома сад... в ограде калитка... выход на тропинку. Поняли?

Я перевернул две страницы сразу, что, впрочем, не отразилось на ее игре.

— Когда? — спросил я.

Она взяла несколько аккордов.

— Не умею я играть эту вещь,— сказала она.— В полночь.

Некоторое время она сосредоточенно играла.

— Возможно, вам придется ждать.

— Я подожду.

Заканчивая игру, она «смазала», как говорят мальчишки.

— Я сегодня не в ударе,— сказала она, вставая и глядя мне в глаза.— Я хотела на прощание сыграть вам по своему выбору.

— Это был Вагнер, Беатриса? — спросила леди Оспри, подняв голову.— Он прозвучал что-то очень сумбурно...

Я откланялся. Прощаясь с леди Оспри, я ощутил странный укол совести. Был ли это первый признак душевной зрелости, или же виной была моя неопытность в делах романтических, только мне было явно не по себе при мысли, что мне предстоит вторгнуться во владения этой почтенной дамы через садовую калитку. Я поехал к себе, застал Котопа с книгой в постели, сообщил ему об отъезде в Западную Африку, провел с ним около часа, обсуждая основные детали «Лорда Робертса Бета», и поручил закончить работу к моему возвращению. Я отослал автомобиль в «Леди Гров» и в том же меховом пальто — январская ночь была сырой, и холод пронизывал насквозь — отправился назад в Бедли-Корнер. Тропинку позади дома леди Оспри я нашел сразу и по ней дошел к калитке в ограде за десять минут до срока. Я закурил сигару и стал шагать взад и вперед. Эта ночная история с садовой калиткой, необычная, смахивающая на интригу, застигла меня врасплох. Самолюбования и позерства как не бывало; я напряженно думал о Беатрисе; в ней было что-то русалочье, и это всегда пленяло меня, казалось неожиданным, и вот это свидание тоже было такой необычной выдумкой.

Беатриса пришла за минуту до полуночи; тихо отворилась дверь, и в морозной мгле появилась серая фигурка с непокрытой головой, в кожаном автомобильном пальто на меху. Она метнулась ко мне, лицо ее нельзя было разглядеть, и глаза казались совсем черными.

— Почему вы едете в Западную Африку? — сразу спросила она.

— Пошатнулись дела. Я должен ехать.

— Вы уезжаете... не из-за?.. Вы же вернетесь?

— Месяца через три-четыре,— сказал я,— не позже.

— Значит, это не из-за меня?

— Нет,— ответил я.— Почему бы мне уезжать из-за вас?

— Вот и хорошо. Никогда не знаешь, о чем люди думают или что они могут вообразить.— Она взяла меня под руку.— Погуляем,— сказала она.

Я огляделся, было темно. Падала изморось.

— Это ничего,— засмеялась она.— Мы можем пройти тропинкой на дорогу к Старому Уокингу. Вы не возражаете? Конечно, нет. Я без шляпы. Это неважно. Никто не встретится.

— Откуда вы знаете?

— Я уже бродила так... Еще бы! Уж не думаете ли вы,— она кивнула в сторону дома,— что это и есть вся моя жизнь?

— Да нет же! — воскликнул я.— Разумеется, нет.

Она потянула меня на тропинку.

— Ночь — мое время, — сказала она, идя рядом.— Во мне есть что-то от оборотня. В этих старинных семьях никогда не знаешь... Я часто удивляюсь... Но все равно, вот мы одни в целом мире. Теперь и небо в тучах, и холод, и изморось. И мы вместе. Мне нравится изморось на лице и волосах, а вам? Когда вы отплываете?

Я сказал, что завтра.

— Ну, сейчас нет никакого завтра. Только вы и я! — Она остановилась и посмотрела мне в лицо.— Вы все только отвечаете, а ничего мне не скажете!

— Да,— согласился я.

— А в прошлый раз говорили только вы.

— Как болван. Но теперь...

Мы не отводили глаз друг от друга.

— Вам хорошо здесь?

— Хорошо... Да... Очень хорошо.

Она положила мне руки на плечи и притянула к себе, чтобы я поцеловал ее.

— А! — вздохнула она, и на несколько мгновений мы прильнули друг к другу.

— Вот и все,— сказала она, отстраняясь.— Какие мы сегодня запутанные! Я знала, что когда-нибудь мы поцелуемся опять. Всегда знала. С того раза прошла целая вечность.

— В папоротнике.

— В чаще. Вы помните? У вас были холодные губы. А у меня? Те же губы... после стольких лет... после столь многого!.. А теперь давайте немного побродим в

этом затерянном во тьме мире. Я возьму вас за руку. Только побродим, хорошо? Держитесь за меня крепко, я ведь дорогу знаю... и не говорите... пожалуйста, не говорите. Или вам хочется говорить?.. Лучше я буду вам рассказывать! Знаете, милый, мир затерян — он умер, исчез, и здесь только мы. В этом мрачном, диком месте... Мы умерли. Или весь мир умер. Нет! Мы умерли. Никто нас не видит. Мы тени. Мы утратили все, мы стали бесплотными... И мы вместе. Вместе — вот что главное. Вот почему мир не может нас увидеть и мы едва видим мир. Тсс! Хорошо?

— Хорошо,— сказал я.

Некоторое время мы, спотыкаясь, брели в полном безмолвии. Мы прошли мимо тускло освещенного, подернутого дождем окошка.

— Глупый мир! — сказала она.— Глупый мир! Ест и спит. Уж очень стучат капли, падая с ветвей, а то мы бы услышали, как он храпит. Ему снятся такие дурацкие сны... и у него такие дурацкие понятия. Люди и не подозревают, что мы идем мимо, мы оба — независимые, свободные. Вы и я!

Мы доверчиво прижались друг к другу.

— Я рада, что мы умерли,— прошептала Беатриса.— Я рада, что мы умерли. Я так устала от всего, милый, так устала и так запуталась.

Она вдруг замолчала.

Мы шлепали по лужам. Я стал припоминать то, что хотел сказать Беатрисе.

— Послушайте! — воскликнул я.— Я хочу помочь вам во что бы то ни стало. Вас запутали. Что тревожит вас? Я просил вас выйти за меня замуж. Вы согласились. Но что-то вам мешает.

Все это звучало совсем нескладно.

— Это как-нибудь связано с моим положением?.. Или что-нибудь... может быть... кто-нибудь другой?

Последовало долгое молчание, подтвердившее мои догадки.

— Вы меня так озадачили. Сперва — в самом начале — я думал, вы хотите выйти за меня.

— Да. Я хотела.

— А потом?

Подумав немного, она сказала:

— Сегодня я не могу вам объяснить. Я люблю вас. Но... объяснять. Сегодня... Милый, сегодня мы одни в целом мире... и нам нет дела ни до кого... Я здесь в эту холодную ночь вместе с вами... моя постель там, далеко. Я сказала бы вам... Когда можно будет, я вам скажу, скоро скажу. Но сегодня... Нет! Нет!

Она пошла вперед. Потом обернулась.

— Послушайте! — воскликнула она.— Ведь мы умерли! Я не шучу. Вы понимаете? Сегодня мы ушли из жизни. Мы теперь вместе, это наш час. Наверное, будут и другие, но не будем портить этот... Мы в затерянном мире. Здесь ничего не надо скрывать и незачем рассказывать. Мы ведь бесплотны. У нас нет никаких забот. На земле... Мы любили друг друга... и нас разлучили, но теперь это неважно. Этого нет больше... Если вы не согласны... я пойду домой.

— Я хотел...— начал я.

— Знаю. О милый, если бы только вы поняли то, что мне так ясно! Если бы ни о чем не думали и просто любили меня.

— Я люблю вас,— сказал я.

— Тогда любите,— подхватила она,— и забудьте обо всех своих тревогах. Любите меня! Я здесь!

— Но...

— Нет! — воскликнула она.

— Хорошо, пусть будет, как вы хотите.

Она добилась своего, мы вместе блуждали в ночи, и Беатриса мне говорила о любви...

Я даже не представлял себе раньше, что женщина может так говорить о любви, может окрасить фантазией, обнажить и развить все это тонкое сплетение чувств, которые женщины обычно скрывают. Она читала о любви, думала о любви, сотни чудесных лирических стихов нашли отклик в ее душе, и в ее памяти сохранились прекрасные отрывки; она изливала это мне — все до конца — искусно и не стыдясь. Я не могу передать смысл ее слов, не могу даже сказать, насколько их очарование таилось в волшебстве ее голоса, в счастье от сознания того, что она здесь, рядом. И мы все ходили и ходили, тепло закутанные, в ночном холоде, по туманным, неописуемо размокшим дорогам, и казалось, кроме нас, здесь нет ни одной живой души, нет даже зверя в поле.

— Почему люди любят друг друга? — спросил я.

— А почему бы им не любить?

— Но почему я люблю вас? Почему ваш голос слаще всех голосов, ваше лицо милее всех лиц?

— А почему я люблю вас? — спросила она.— Все в вас люблю — и хорошее и плохое. Почему я люблю вашу угрюмость, вашу надменность? Да, и это. Сегодня я люблю даже капельки дождя на меху вашего пальто!..

Так мы говорили; и, наконец, промокшие, все еще счастливые и сияющие, хотя немного усталые, мы простились у садовой калитки. Мы бродили два часа, упиваясь этой удивительной безрассудной радостью, а мир вокруг — и прежде всего леди Оспри и ее домочадцы — крепко спал и видел во сне все, что угодно, только не Беатрису под дождем в ночи.

Она стояла в дверях, вся закутанная, и глаза ее сияли...

— Возвращайтесь,— прошептала она.— Я буду ждать вас.

Она замялась.

— Я люблю вас теперь,— добавила она, коснувшись отворота моего пальто, и потянулась губами к моим губам.

Я крепко обнял ее, и всего меня охватила дрожь.

— Боже! — воскликнул я.— И я должен уехать!

Она выскользнула из моих объятий и стояла, глядя на меня. Мгновение казалось, что мир полон фантастических возможностей.

— Да, уезжайте! — сказала она и исчезла, захлопнув дверь, оставив меня одного, и у меня было такое чувство, словно я упал из страны чудес в кромешную тьму ночи.

III

Экспедиция на остров Мордет стоит как-то особняком в моей жизни, этот эпизод проникнут совсем иным духом. Она могла бы, наверно, послужить темой самостоятельной книги — о ней написан довольно объемистый официальный отчет,— но в этой моей повести она всего лишь эпизод, дополнительное приключение, и такое место я ему и отвожу.

Мерзкая погода, досада и нетерпение, вызванные невыносимой медлительностью и проволочками, морская болезнь, всевозможные лишения и унизительное сознание своей слабости — вот главное в моих воспоминаниях.

Всю дорогу туда я страдал от морской болезни. Почему, не знаю сам. Ни до этого, ни после у меня ни разу не было морской болезни, хотя, с тех пор как я стал кораблестроителем, я видывал достаточно скверную погоду. Но этот неуловимый запах гнилого картофеля действовал на меня убийственно. На обратном пути заболели все, все до единого, как только парусник вышел в море,— я убежден, что мы отравились куапом. А когда мы плыли туда, через день-другой почти все освоились с качкой, я же из-за духоты в каюте, грубой пищи, грязи и скученности все время испытывал если не настоящую морскую болезнь, то острое физическое недомогание. Судно кишело тараканами и другими паразитами, о которых не принято говорить. Пока мы не миновали Зеленый Мыс, мне постоянно было холодно, потом я изнывал от жары. Я был так занят мыслями о Беатрисе и так спешил поднять паруса на «Мод Мери», что не подумал о своем гардеробе, не захватил даже пальто. Боже, как мне его недоставало! Но это еще не все; я оказался взаперти вместе с двумя самыми нудными существами во всем христианском мире — Поллаком и капитаном. Поллак, который во время болезни страдал так шумно и громогласно, словно был на оперной сцене, а не в нашей крохотной каюте, вдруг стал невыносимо здоров и бодр, извлек внушительных размеров трубку, закурил табак, такой же белесый, как он сам, и всю дорогу только и делал, что курил или прочищал трубку.

— Есть только три вещи, которыми можно как следует прочистить трубку,— обычно говорил он, держа в руке скрученный листок бумаги.— Самое лучшее — это перо, второе — соломинка и третье — шпилька для волос. Никогда не видывал такого корабля. Здесь этого и в помине нет. В прошлый рейс я по крайней мере нашел шпильки и, представьте, нашел в капитанской каюте на полу. Прямо клад. Что?.. Вам лучше?

В ответ я только чертыхался.

— Ничего, скоро пройдет. Я малость подымлю. Не возражаете? Что?

— Сыграем-ка в нап,— без конца приставал он ко мне.— Славная игра. Помогает забыться, а тогда на все наплевать.

Он часами сидел, раскачиваясь в такт движения судна, сосал трубку с белесым табаком и сверхглубокомысленно смотрел на капитана сонными голубыми глазами.

— Капитан — тонкая штучка,— снова и снова изрекал он после долгого размышления,— хочет знать, что мы затеяли. До смерти хочет знать.

Эта мысль, видимо, не давала покоя капитану. Кроме того, он старался произвести на меня впечатление настоящего джентльмена из хорошей семьи и хвастал тем, что ему не по душе англичане, английская литература, английская конституция и тому подобное. Море он изучал в румынском флоте, английский язык по учебнику и иногда все еще неправильно выговаривал слова; он был натурализованным англичанином и своими вечными нападками на все английское пробудил какой-то несвойственный мне патриотизм. А тут еще Поллак принимался подзуживать его. Одному небу известно, как близок я был к убийству.

Пятьдесят три дня я плыл, запертый вместе с этими двумя людьми и робким, поразительно унылым помощником капитана, который по воскресеньям читал библию, а все остальное свободное время словно пребывал в летаргическом сне; пятьдесят три дня я прожил среди вони, вечно голодный — меня мутило при виде еды,— в холоде, сырости и темноте, и наш чересчур легко нагруженный парусник кренился, качался и вздрагивал. А тем временем в песочных часах дядюшкиной фортуны песок все сыпался и сыпался. Ужасно! У меня сохранилось лишь одно светлое воспоминание: пронизанное солнцем утро в Бискайском заливе, пенистые, сапфиро-зеленые волны, летящая за нами следом птица, наши паруса, колыхавшиеся на фоне неба. Потом на нас опять обрушились дождь и ветер.

Не думайте, что это были обычные дни — я хочу сказать, дни нормальной длины,— отнюдь нет; то были гнетущие, невероятно длинные отрезки времени, и особенно томительны были нескончаемые ночи. Бывало, одолжив у кого-нибудь зюйдвестку, час за часом шагаешь по уходящей из-под ног палубе в ветреной, промозглой,

брызгающейся и плюющейся темноте или сидишь в каюте, больной и мрачный, и смотришь на лица своих неизменных спутников при лампе, которая больше чадит, чем светит. Потом видишь, как Поллак поднимается вверх, вверх, вверх, после чего падает вниз, вниз, вниз, с потухшей трубкой во рту, в семьдесят седьмой раз приходя к глубокомысленному выводу, что капитан — тонкая штучка, — а тот не умолкает ни на минуту:

— Эта Англия не есть страна аристократическая, нет! Она есть прославившаяся буржуазия! Она плутократичная. В Англии нет аристократии со времен войны Роз. В остальной Европе, на восток от латинян,— да, в Англии — нет... Это все средний класс — ваша Англия. Куда ни посмотри, все средний класс. Пристойно! Все хорошее — это, по-вашему, шокинг. Миссис Гранди! Все ограниченно, взвешено, своекорыстно. Поэтому ваше искусство такое ограниченное, и ваша беллетристика, и ваша философия, поэтому вы такие неартистичные. Вы гонитесь только за прибылью. Подавай вам доход! Чего же от вас ждать!..

Его слова сопровождались теми стремительными жестами, от которых мы, западные европейцы, уже отрешились,— он пожимал плечами, размахивал руками, выпячивал вперед подбородок, гримасничал и так вертел пальцами перед вашим носом, что хотелось ударить его по руке. И так изо дня в день; и я должен был сдерживать гнев, беречь силы до того времени, когда надо будет погрузить на судно куап — к величайшему изумлению этого человека. Я знал, что у него найдется тысяча возражений против всего, что мы собирались сделать. Он говорил словно под действием наркотиков. Слова так и сыпались у него с языка. При этом нельзя было не заметить, как его мучают обязанности капитана, его снедала ответственность, вечно тревожило состояние корабля, ему мерещились всяческие опасности. Стоило «Мод Мери» качнуться посильнее, как он выбегал из каюты, шумно добиваясь объяснений, его преследовал страх —все ли в порядке в трюме, не переместился ли балласт, нет ли незаметной угрожающей течи. А когда мы подошли к африканскому побережью, его ужас перед рифами и мелями стал заразительным.

— Я не знаю этого берега,— твердил он.— Я туда поплыл потому, что Гордон-Нэсмит тоже плыл. А потом он не явился!

— Превратности войны,— сказал я, тщетно пытаясь понять, что еще, кроме чистой случайности, заставило Гордона-Нэсмита остановить свой выбор на этих двух людях. По-видимому, у Гордона-Нэсмита был артистический темперамент и ему хотелось контрастов, а может быть, он симпатизировал капитану потому, что он и сам был отъявленным англофобом. Это был действительно на редкость бестолковый капитан. Хорошо, что в последнюю минуту в эту экспедицию пришлось поехать мне.

Кстати, капитан именно из-за своей нервозности ухитрился сесть на мель возле острова Мордет, но прилив и собственные усилия помогли нам сняться.

Я догадывался, что помощник не слишком высокого мнения о капитане, задолго до того, как он его высказал. Я уже говорил, что он был человек молчаливый, но однажды его прорвало. Он сидел с трубкой во рту, в мрачной задумчивости облокотившись на стол, сверху доносился голос капитана.

Помощник поднял на меня осоловелые глаза и несколько мгновений пристально смотрел. Потом начал тужиться, готовясь что-то сказать. Он вынул трубку изо рта. Я насторожился. Наконец он обрел дар речи. Прежде чем заговорить, он раза два убежденно кивнул головой.

— О...н.

Помощник как-то странно и таинственно качнул головой, но и ребенок понял бы, что речь идет о капитане.

— Он есть иностранец.

Он посмотрел на меня с сомнением и, наконец, решил для большей ясности уточнить:

— Вот он кто — итальяшка!

Он кивнул головой, как человек, приколотивший последний гвоздь, в полной уверенности, что высказал весьма удачное и верное замечание. Лицо его, все еще выражавшее решимость, стало спокойным и незначительным, как опустевший после многолюдного митинга зал, и в конце концов он закрыл его и запер трубкой.

— Он ведь румынский еврей? — спросил я.

Помощник капитана кивнул загадочно и даже угрожающе.

Добавить что-нибудь было бы уже просто невозможно. Он все сказал. Но теперь я знал, что мы с ним друзья и я могу на него положиться. Мне не пришлось на него полагаться, но это не меняет наших отношений.

Жизнь команды мало чем отличалась от нашей,— еще больше скученности, тесноты и грязи, больше сырости, испарений и паразитов. Грубая пища не казалась им такой уж грубой, и они считали, что живут «припеваючи». По моим наблюдениям, все они были почти нищие, ни один из них не имел сносной экипировки, и даже самое ничтожное их имущество служило источником взаимного недоверия. Качаясь во все стороны, бриг полз на юг, а матросы играли на деньги, дрались, ссорились, ругались, и всякий раз, когда крик и брань становились нестерпимы, мы вмешивались, команда затихала, потом все начиналось сызнова...

На таком небольшом паруснике нет и не может быть никакой морской романтики. Романтика эта существует только в воображении сухопутных мечтателей. Эти бриги, шхуны и бригантины, которые и теперь выходят из каждого маленького порта,— остатки века мелкой торговли, такие же прогнившие и никудышные, как превратившийся в трущобы дом георгианских времен. Они и впрямь лишь плавучие обломки трущоб, подобно тому как айсберги — плавучие обломки глетчера. Человек цивилизованный, тот, кто привык умываться, есть умеренно и в чистоте, обладающий чувством времени, не может больше выносить их. Они отмирают, а за ними последуют и гремящие цепями, пожирающие уголь пароходы, уступив место кораблям, более чистым и совершенным.

Но именно на таком паруснике я совершал путешествие в Африку и оказался наконец в мире сырых туманов и удушливого запаха гниющей растительности, слышал шум прибоя, порой видел далекие берега. Все это время я жил какой-то странной, замкнутой жизнью; наверное, такую жизнь вело бы существо, упавшее в колодец. Я отрешился от старых привычек, и все, что окружало меня прежде, стало лишь воспоминанием.

Все наши дела казались мне теперь такими далекими и ничтожными; я больше не стремился спасать положение. Беатриса и «Леди Гров», мой дядюшка и Хардингем, и мои полеты, и свойственная мне принципиальность, умение мгновенно разобраться в обстоятельствах и действовать быстро и точно — все осталось позади в каком-то ином мире, который я покинул навсегда.

IV

Все мои африканские воспоминания существуют сами по себе. Это было для меня путешествие в царство непокоренной природы, за пределы мира, управляемого людьми, мое первое столкновение со знойной стихией матери-природы, породившей джунгли, — с холодной стихией, порождающей вихри, я уже познакомился достаточно хорошо. Это воспоминания, вытканные на канве из солнечного блеска и навязчивого, приторного запаха гниения. Завершает их ливень, какого я никогда прежде не видел,— неиссякаемый, бешеный потоп, но, когда мы впервые медленно шли по проливам позади острова Мордет, солнце ослепительно сияло.

В моих воспоминаниях мы все еще плывем и плывем — замызганное, облупленное суденышко с залатанными парусами и ломаной русалкой на носу, олицетворением «Мод Мери»,— измеряя глубину и лавируя меж крутых лесистых берегов, где деревья стоят по колено в воде. Мы плывем, огибая остров Мордет, слабый ветер только на четверть захватывает паруса, и от куапа нас, возможно, отделяет всего лишь день пути.

То тут, то там причудливые цветы оживляли густую влажную зелень пронзительной яркостью красок. В зарослях копошились какие-то твари, выглядывали, с шелестом раздвигая ветви, и исчезали в безмолвной чаще. Медленно катились волны, непрестанно бурлили и пенились темные воды; какие-то подводные стычки и трагедии выталкивали на поверхность маленькие стайки весело булькающих пузырьков: кое-где, точно застрявшие в мелководье бревна, грелись на солнце крокодилы. Тихо было днем — тоскливая тишина, нарушаемая только жужжанием насекомых, поскрипыванием мачт и хлопаньем парусов, выкриками промеров и бранью бестолкового

капитана; зато ночью, когда мы стояли, пришвартовавшись к деревьям, мрак пробуждал к жизни тысячи болотных тварей, а из леса доносился визг и вой, визг и вопли, и мы радовались, что находимся на воде. Однажды мы увидели меж деревьев огни больших костров. Мы прошли мимо двух или трех деревень, и коричнево-черные женщины и дети смотрели на нас во все глаза и размахивали руками, а как-то раз по ручью плыл человек на лодке и окликнул нас на непонятном языке; когда мы, наконец, миновали джунгли, перед нами открылось большое озеро, по берегам его была грязь и запустение, и побелевшие скелеты деревьев; ни крокодилов, ни плавающих птиц, ни единого признака жизни; вдали, как и описывал Нэсмит, развалины пристани и рядом с ней, под огромным ребром скалы, две небольшие желтоватые кучи мусора — куап! Лес отступил. Направо от нас простиралась бесплодная земля и далеко-далеко в ложбине виднелись море и пена прибоя.

Медленно и осторожно мы повели судно к этим кучам и разрушенному молу. Подошел капитан и спросил:

— Это место и есть?

— Да,— ответил я.

— Мы что, сюда торговать пришли? — В голосе его звучала ирония.

— Нет.

— Гордон-Нэсмит мне давно бы сказал, для чего это мы пришли.

— Я скажу вам сейчас. Мы пристанем как можно ближе к тем двум кучам — видите, там, под скалой? Потом выкинем за борт весь балласт и погрузим эти кучи. Потом двинемся домой.

— Могу я осмелиться спросить — это золото?

— Нет,— ответил я резко,— не золото.

— Тогда что же это?

— Это вещество... имеющее некоторую коммерческую ценность.

— Мы не можем это делать,— сказал он.

— Можем,— ответил я успокоительно.

— Не можем,— повторил он тоном глубокого убеждения.— Я имею в виду не то, что вы. Вы мало знаете, но здесь запретная земля.

Я вдруг обозлился, повернулся к нему и встретил его взгляд, горевший от возбуждения. С минуту мы изучали друг друга. Потом я сказал:

— Что ж, будем рисковать. Торговля запрещена, но это не торговля... Мы должны это сделать.

Глаза его сверкнули, и он покачал головой.

Бриг медленно шел сквозь сумерки к странному выжженному бугристому берегу, а рулевой, навострив уши, вслушивался в наш негромкий, но ожесточенный спор, к которому тут же присоединился и Поллак. Наконец мы пришвартовались ярдах в ста от цели и с обеда до глубокой ночи яростно спорили с капитаном, имеем ли мы право грузить все, что заблагорассудится.

— Я не хочу в это вмешиваться,— твердил он.— Я умываю руки.

В тот вечер казалось, что мы не договоримся.

— Если это не торговля,— объявил капитан,— то это изыскания и разработки. Это еще хуже. Всякий, кто что-нибудь смыслит, понимает, что это еще хуже, этого только в Англии не понимают.

Мы спорили, я выходил из себя и ругал его. Поллак держался хладнокровно и курил трубку, следя задумчивыми голубыми глазами, как волнуется и размахивает руками капитан. Наконец я вышел на палубу освежиться. Небо затянуло облаками. Матросы сгрудились на носу и с изумлением смотрели на бледный дрожащий свет, исходивший от куч куапа,— так светится порой гнилое дерево. А берег к востоку и западу был испещрен пятнами и полосами чего-то похожего на разжиженный лунный свет...

В предутренние часы я все еще ломал голову, придумывая, как бы перехитрить капитана. Чтобы погрузить куап, я решился бы даже на убийство. Никогда прежде никто не стоял мне так поперек дороги. И для этого я мучился, вытерпел такое изнурительное плавание! Раздался легкий стук в дверь, потом она отворилась и показалось бородатое лицо.

— Войдите,— сказал я; появилась какая-то темная фигура, которую впотьмах нельзя было разглядеть,— кто-то пришел поговорить со мной с глазу на глаз, кто-то взволнованно зашептал, размахивая руками, и заполнил собою всю каюту. Это был капитан. Он тоже не спал и

тоже обдумывал положение. Он хотел объясниться — и это было ужасно, этому не предвиделось конца. Всю ночь я пролежал на койке, ненавидя капитана, и мысленно прикидывал, нельзя ли нам с Поллаком запереть его в каюте и управиться с судном своими силами.

— Я вовсе не хочу испортить вам экспедицию,— удалось мне разобрать в хаосе бессвязных восклицаний, и потом я расслышал: — Процент... такой маленький процент — за чрезвычайный риск!

«Чрезвычайный риск» — повторялось снова и снова. Я дал ему выговориться. Он, кажется, требовал также, чтоб я извинился за какие-то свои слова. Я, несомненно, ругал его, не стесняясь в выражениях. Наконец он выставил свои условия. Тут заговорил я и стал торговаться.

— Поллак! — крикнул я, забарабанив в перегородку.

— Что еще там? — спросил Поллак.

Я вкратце изложил суть дела.

Последовало молчание.

— Он тонкая штучка,— сказал Поллак.— Пусть его получает свои проценты. Мне все равно.

— Что? — крикнул я.

— Я сказал, он тонкая штучка, только и всего,— ответил Поллак.— Иду.

Он появился в дверях — смутно белевшая фигура — и присоединился к нашему жаркому шепоту...

От капитана пришлось откупиться, пришлось обещать ему десять процентов от наших сомнительных прибылей. Мы обещали дать ему десять процентов из вырученных за груз денег, сверх обусловленной платы; я огорчился, что меня так обошли, и меня не слишком утешала мысль, что я, представитель Гордона-Нэсмита, буду продавать куап самому себе в лице Торговых агентств. И капитан еще больше разозлил меня, потребовав, чтобы сделку скрепили на бумаге. «В форме письма»,— настаивал он.

— Ладно,— сказал я покорно,— в форме письма. Пускай! Зажгите лампу.

— И еще извинение, — добавил он, складывая письмо.

— Ладно,— сказал я.— Готов извиниться.

У меня дрожала рука, пока я писал, и ненависть к капитану не давала мне заснуть. Наконец я встал. Какая-то странная неловкость вдруг сковала мои движения. Я расшиб палец на ноге о дверь каюты и порезался, когда брился. На заре я ходил взад и вперед по палубе, раздраженный донельзя. Солнце взошло внезапно и плеснуло ослепительным светом мне прямо в глаза, и я проклинал солнце. Мне мерещились новые препятствия, которые будет чинить нам команда, и я вслух репетировал свои доводы в предстоящем споре.

Лихорадка куапа уже проникла в мою кровь.

V

Рано или поздно нелепое эмбарго будет снято с побережья к востоку от острова Мордет, и тогда подтвердится, что залежи куапа существуют на самом деле. Сам я убежден, что мы взяли только обнажившуюся часть пласта — часть породы, вкрапленной в прибрежные скалы. Кучи куапа — это порода, которая выкрошилась из двух извилистых трещин в скале; образовались эти кучи столь же естественно, как образуется любая осыпь; ил по кромке воды на мили смешан с куапом, он радиоактивен, в нем погибло все живое, и ночью он слабо фосфоресцирует. Я отсылаю читателя к «Геологическому вестнику» за октябрь 1905 года, где подробно изложены мои наблюдения. Там же он может познакомиться с моей гипотезой о природе куапа. Если я не ошибаюсь, с научной точки зрения это нечто гораздо более значительное, чем те случайные соединения различных редких металлов — урана, рутила и им подобных, на которых основаны открытия, совершившие переворот в науке за последнее десятилетие. Это всего лишь крохотные молекулярные центры распада, загадочного разложения и гниения элементов, то есть именно того, что прежде считалось самым стойким во всей природе. Куап в общем чем-то похож на раковую опухоль — точнее, пожалуй, не скажешь,— он обладает способностью расползаться и разрушать все вокруг; это какое-то перемещение и распад частиц, безмерно пагубный и необычайный.

Такое сравнение не плод досужей фантазии. Я представляю себе радиоактивность как самую настоящую

болезнь материи. И, более того, болезнь эта заразная. Она распространяется. Стоит лишь этим вредоносным дробящимся атомам соприкоснуться с другими, как те заражаются этим свойством терять сцепляемость. Это такой же процесс распада в материи, как распад старой культуры в нашем обществе, утрата традиций, привилегий и привычных восприятий. Когда я думаю об этих необъяснимых центрах разрушения, возникающих на нашей планете,— эти кучи куапа, безусловно, самые большие из обнаруженных до сих пор, остальные лишь крохотные очаги разложения внутри зерен и кристаллов, — меня начинает преследовать дикая фантазия, что в конце концов мироздание раскрошится, рассыплется и развеется прахом. Человек все еще борется и мечтает, а между тем под ним начнет менять свое обличье и рассыпаться в пыль основа основ.

Впрочем, это только нелепая и навязчивая идея. Но что, если бы на самом деле нашей планете был уготован такой конец? Никаких блистательных вершин и пышного финала, никаких великих достижений и свершений, ничего — атомный распад! К предсказаниям об отравляющей комете, о гигантском метеорите из мирового пространства, об угасании солнца, о перемещении земной оси я присоединяю новую и притом куда более вероятную теорию конца — насколько это доступно науке — того странного и случайного продукта вечной материи, который мы называем человечеством. Я не верю, что конец будет именно таким, ни один человек не мог бы продолжать жить, веря в это, однако наука допускает такого рода возможность, допускает и наука и разум. Если отдельные человеческие существа — хотя бы один рахитичный ребенок — могли явиться на свет как бы случайно и умереть, не оставив следа, почему это не может произойти со всем человеческим родом? На эти вопросы я никогда не находил ответа и не пытаюсь найти, но мысль о куапе и его загадках напоминает мне о них.

Я заверяю, что берег острова Мордет и прибрежный ил не меньше чем на две мили в любом направлении были лишены каких-либо признаков жизни — я и не подозревал, что ил в тропиках может быть настолько лишен жизни,— и мертвые ветви и листья, мертвая гни-

ющая рыба и все, что выбрасывалось на берег, вскоре белело и съеживалось. Иногда погреться на солнце из воды вылезали крокодилы, и время от времени плавающие птицы исследовали грязь и выступающие из нее ребристые скалы, раздумывая, нельзя ли здесь передохнуть. И это все — иной жизни тут не было. И воздух был одновременно горячий и резкий, сухой и обжигающий, он ничем не напоминал теплое влажное дыхание, охватившее нас, когда мы впервые подошли к берегам Африки, и уже ставшее привычным.

Куап, мне кажется, прежде всего усиливал возбудимость нервной системы, но это лишь ничем не доказанное предположение. Во всяком случае, мы чувствовали себя так, словно нам не давал ни минуты покоя восточный ветер. Все мы стали раздражительными, неповоротливыми и вялыми, и эта вялость вселяла тревогу. Мы с трудом пришвартовались к скалам, и бриг завяз в илистом дне; мы решили тут и стоять, пока не покончим с погрузкой,— дно было липкое, как масло. Устраивать мостки для доставки куапа на бриг мы взялись до того бестолково и неудачно, что хуже некуда, а ведь известно, до чего бестолково и неудачно выполняется иной раз такая работа. Капитана обуял суеверный страх за трюм; при одной только мысли о трюме он начинал отчаянно размахивать руками и что-то объяснять, путая все на свете. Его выкрики, с каждым новым затруднением все менее вразумительные и членораздельные, до сих пор, как эхо, отдаются в моей памяти.

Но сейчас я не буду подробно описывать те дни злоключений и изнурительного труда: и то, как Милтон, один из матросов, вместе с тачкой упал со сходен, с высоты в добрых тридцать футов, на берег и сломал себе руку, а возможно, и ребро, и как мы с Поллаком вправляли ему руку и ухаживали за ним, пока у него был жар; и то, как одного за другим валила с ног лихорадка и я из-за своей репутации ученого должен был изображать врача и пичкал их хинином, а когда увидел, что от него им становится еще хуже, стал давать ром и небольшие дозы сиропа Истона (один лишь бог и Гордон-Нэсмит знают, почему на борту оказался целый ящик этого снадобья). Три долгих дня люди лежали пластом, не в силах погрузить ни одной тачки куапа. А когда они



«ТОНО БЕНГЕ»



«ТОНО БЕНГЕ»

возобновили работу, на руках у них образовались язвы. Рукавиц у нас не было; я уговаривал матросов обматывать руки носками и промасленными тряпками, пока они наполняют и возят тачки. Они отказывались, считая, что это неудобно и рукам жарко. Моя попытка лишь привлекла внимание к куапу, они увидели в нем источник своих болезней, и вскоре вспыхнула забастовка, положившая конец погрузке. «Хватит с нас»,— сказали матросы, и они не шутили. Они собрались на корме, чтобы заявить это. Капитана они напугали до смерти.

Все эти дни погода была ужасающая: сначала небо мрачно синело и стояла жара, как в печке; жару сменил накаленный туман, который, словно вата, застревал в горле, и люди на сходнях казались гигантскими серыми призраками, потом разразилась неистовая гроза, бушевали стихии и лил дождь. И, однако, несмотря на болезнь, жару, на путаницу в мыслях, я, как одержимый, знал одно: во что бы то ни стало грузить, при любых условиях грузить,— пусть чмокают лопаты, скрипят и визжат тачки, топают люди, рысцой пробегающие по шатким сходням, и мягко шмякает куап, падая в трюм. «Благодарение богу, еще одну тачку свалили! Еще полторы, а может быть, и две тысячи фунтов для спасения Пондерво!..»

В те напряженные недели у острова Мордет я многое понял и в себе и в человеческой природе. Я проник в нутро эксплуататора, жестокого работодателя, надсмотрщика над рабами. Я вовлек людей в опасность, о которой они не знали, я решил, невзирая ни на что, сломить сопротивление, покорить их и использовать в собственных целях, и я ненавидел этих людей. Но я ненавидел и весь род человеческий, пока был возле куапа...

И меня не покидало сознание неотложности дела и в то же время мучил страх, что нас обнаружат и все кончится. Я хотел опять выйти в море — нестись на север, увозя добычу. Я опасался, что мачты видны с моря и могут выдать нас какому-нибудь любопытному штурману, плывущему в открытом море. А как-то вечером, незадолго до окончания погрузки, я увидел вдали на озере каноэ с тремя аборигенами: я взял у капитана

бинокль и стал разглядывать — они пристально смотрели на нас. Один из них, одетый в белое, был, по-видимому, метис. Некоторое время они спокойно наблюдали за нами, потом скрылись в протоке, убегающем в чащу.

Три ночи кряду — и это чуть не доконало меня — я видел во сне дядю, лицо у него было мертвенно бледное, как у клоуна, и от уха до уха горло рассекала рана — длинная, багровая рана. «Слишком поздно,— говорил он,— слишком поздно!..»

VI

Через день или два после того, как началась погрузка, меня одолела бессонница и такая тоска, что я не в силах был оставаться на бриге. Незадолго до восхода солнца я одолжил у Поллака ружье, спустился по сходням и, перебравшись через кучи куапа, побрел вдоль берега. Я прошел мили полторы в тот день и миновал развалины старой пристани; мне понравилось окружавшее меня запустение, и, вернувшись назад, я проспал почти целый час. Чудесно было так долго оставаться в одиночестве — ни капитана, ни Поллака, никого. Я повторил вылазку на следующее утро и еще на следующее, и это вошло в привычку. Так как погрузка куапа была уже налажена, я располагал временем и забирался все дальше и дальше, а вскоре стал брать с собой еду.

Я стал выходить за пределы пространства, опустошенного куапом. По краю тянулась полоса чахлой растительности, потом какие-то топкие джунгли, через которые с трудом можно было пробраться, а дальше начинался лес — гигантские стволы деревьев, словно канатами, оплетенные ползучими растениями, и корни, уходящие в болотистую почву. Здесь я обычно бродил, не то мечтая, не то ботанизируя, и всегда меня неудержимо тянуло из этой чащи на солнце, и именно здесь я убил человека.

Трудно представить себе более нелепое и напрасное убийство. Даже сейчас, когда я описываю так хорошо запомнившиеся подробности, я снова ощущаю его несуразность и бесцельность, понимаю, как оно не вяжется ни с одной из придуманных людьми ясных и логичных теорий о жизни и смысле мироздания. Я убил

человека и хочу рассказать об этом, но не могу объяснить, почему я это сделал и, особенно, почему я должен нести за это ответственность.

В то утро я набрел в лесу на тропинку и с досадой подумал, что ее проложили люди. А людей мне не хотелось видеть. Чем меньше мы будем соприкасаться с здешними жителями, тем полезнее для нашего дела. До сих пор аборигены нам нисколько не докучали. Я повернул назад и побрел по корневищам, грязи, сухой листве и лепесткам, осыпавшимся с зеленых ветвей, и вдруг увидел свою жертву.

Я заметил его, когда оказался от него шагах в сорока,— он молча смотрел на меня.

Что и говорить, он не отличался привлекательностью. Он был очень черный и совсем голый, если не считать грязной набедренной повязки, с кривыми ногами и растопыренными пальцами, а грузный живот свисал складками над краем повязки и веревкой, заменявшей пояс. Лоб у него был низкий, нос сильно приплюснутый, а нижняя губа вздутая и иссиня-красная. У него были короткие курчавые волосы, и вокруг шеи веревка, и на ней кожаный мешочек. Он держал мушкет, за поясом торчала пороховница. Это была странная встреча. Я стоял перед ним, может быть, немного замызганный, но все же цивилизованный и даже утонченный человек, который родился, вырос и воспитывался в каких-то традициях. В руке я сжимал непривычное для меня ружье. И главное, каждый из нас обладал живым мозгом, взбудораженным этой встречей, и ни один не знал, о чем думает другой и как с ним поступить.

Он сделал шаг назад, потом споткнулся и побежал.

— Стой, стой, дурень! — крикнул я по-английски и бросился следом, выкрикивая еще что-то в этом роде. Но я не мог состязаться с ним в беге по корням и грязи.

У меня мелькнула нелепая мысль: «Нельзя дать ему уйти, он донесет на нас!»

Я мгновенно остановился, поднял ружье, прехладнокровно прицелился, старательно нажал курок и выстрелил ему прямо в спину.

Я увидел — и мое сердце забилось от восторга,— что пуля ударила его меж лопаток. «Попал»,— сказал я, опуская ружье, а он повалился и умер, не издав даже

стона... «Вот те на! — удивленно воскликнул я.— Я убил его!» Я огляделся вокруг и осторожно, со смешанным чувством не то изумления, не то любопытства пошел взглянуть на человека, чью душу я так бесцеремонно вытряхнул из нашего презренного мира. У меня не было ощущения, что это дело моих рук,— я приблизился к нему, как к неожиданной находке.

Лицо его было разбито вдребезги; смерть, видимо, наступила мгновенно. Я убедился в этом, наклонившись и приподняв его за плечи. Потом бросил его и стоял, вглядываясь в чащу деревьев. «Бог ты мой!» — сказал я. До этого я видел покойника только один раз, не считая, конечно, трупов в анатомическом театре, мумий и тому подобных зрелищ. Я стоял над телом, удивляясь, бесконечно удивляясь.

Практическая мысль рассеяла замешательство. Не слышал ли кто-нибудь выстрела?

Я перезарядил ружье.

Потом я почувствовал себя увереннее, и мысли мои вернулись к убитому мною человеку. Что теперь делать?

Наверное, нужно его зарыть в землю. Во всяком случае, надо его спрятать. Я размышлял спокойно; потом положил ружье и потащил труп за руку к месту, где ил казался особенно топким, и столкнул его туда. Пороховница на полдороге выскользнула из-за повязки, и я вернулся за ней. Потом вдавил тело поглубже в грязь прикладом ружья.

Позднее я вспоминал об этом с ужасом и отвращением, но тогда я вел себя, словно был занят самым обыденным делом. Я огляделся, проверяя, нет ли еще каких-нибудь улик, свидетельствующих об убийстве, огляделся, как человек, укладывающий свой чемодан в номере гостиницы.

Потом я определил, где нахожусь, и, соблюдая осторожность, пошел обратно к судну. Я был серьезен и сосредоточен, как пустившийся в браконьерство мальчишка. Только когда подходил к бригу, я начал осознавать значение содеянного, понимать, что это посерьезнее, чем пристрелить птицу или кролика.

А ночью случившееся приняло огромные, зловещие размеры.

— Боже мой! — воскликнул я, проснувшись, как от толчка.— Да ведь это убийство!

Потом я лежал без сна, происшедшее вновь возникало у меня перед глазами. Эти видения каким-то странным образом переплетались с тем страшным сном о дяде. Черное тело — я видел его теперь искалеченным и частично зарытым и все же ощущал, что человек этот жив и все подмечает,— слилось в моем видении с багровой раной на шее дяди. Я пытался отделаться от этого кошмара, но мне никак не удавалось.

Весь следующий день меня преследовала мысль об этом безобразном трупе. Я нисколько не суеверен, но эта мысль угнетала меня. Она увлекла меня в заросли, на то самое место, где я спрятал убитого.

Над телом потрудился уже какой-то дикий зверь, и оно лежало на виду.

Я добросовестно зарыл истерзанный, распухший труп и вернулся на бриг, и опять всю ночь мне снились страшные сны. Назавтра я все утро боролся с желанием пойти к тому месту; скрывая снедавшую меня тайну, я играл с Поллаком в «нап» и вечером уже было отправился, и меня едва не застигла ночь. Я так и не сказал никому о том, что сделал.

На следующее утро я все же пошел. Труп исчез, а вокруг ямы в грязи, откуда его вытащили, были следы человеческих ног и отвратительные пятна.

Обескураженный и растерянный, я вернулся на бриг. Именно в этот день матросы собрались на корме, все враждебно смотрели на нас, руки и лица у них были в язвах.

— С нас хватит, и мы не шутим,— заявили они через своего представителя Эдвардса.

И я ответил, очень довольный:

— С меня тоже. Что ж, отплываем.

VII

Это произошло как раз вовремя. Нас уже разыскивали, работал телеграф, а через четыре часа после того, как мы вышли в море, мы наскочили на канонерку, посланную к побережью на поиски, и если бы мы были все еще за островом, она захватила бы нас, как зверя в запад-

не. В ночном небе быстро мчались облака, иногда прорывался бледный свет луны, море и ветер бушевали, и бриг, качаясь, шел сквозь дождь и туман. Внезапно все вокруг побелело от лунного света. К востоку, ныряя по волнам, появился длинный темный силуэт канонерки. С нее тотчас заметили «Мод Мери» и, чтобы остановить нас, выпалили из какой-то хлопушки.

Помощник капитана спросил меня:

— Сказать капитану?

— К черту капитана! — ответил я, и мы не мешали ему спать все два часа, пока длилась погоня; наконец нас поглотил ливень. Тогда мы изменили курс и пошли наперерез канонерке, а утром только ее дымок виднелся вдали.

Мы избавились от Африки — и в трюме была добыча. Казалось, теперь-то мы уже скоро будем дома.

Впервые с тех пор, как еще на Темзе меня свалила морская болезнь, настроение мое поднялось. Физически я и сейчас чувствовал себя отвратительно, но, несмотря на приступы тошноты, я был настроен хорошо. По моим тогдашним расчетам, положение было спасено. Я уже видел, как с триумфом возвращаюсь на Темзу, и, казалось, ничто в мире не помешает через две недели пустить в продажу кэйпернову идеальную нить накала. Монополия на электрические лампы была у меня, можно сказать, в кармане.

Черный окровавленный труп, весь в серо-бурой грязи, уже не преследовал меня, как наваждение. Я возвращался в мир, где есть ванная, приличная еда, и воздухоплавание, и Беатриса. Я возвращался к Беатрисе, к своей настоящей жизни из этого колодца, куда я упал. Я повеселел, и уже ни морская болезнь, ни лихорадка, вызванная куапом, не могли испортить мне настроение.

Я соглашался с капитаном, что англичане — это подонки Европы, накипь, мерзкий сброд, и, ставя по полпенни, проиграл Поллаку три фунта в «нап» и «юкер».

А потом, представьте себе, когда мы, обогнув Зеленый Мыс, вышли в Атлантический океан, бриг начал разваливаться на куски. Я не беру на себя смелость объяснять, что именно тут произошло. Все же мне думается, недавняя работа Грейффенгагена о влиянии радия на древесную ткань в какой-то мере подтверждает мою до-

гадку о том, что излучение куапа вызывает быстрый распад древесного волокна.

Едва мы двинулись в обратный путь, бриг повел себя как-то необычно, а когда его стали трепать сильные ветры и волны, он дал течь. Вскоре вода обнаружилась не в каком-нибудь определенном месте, а повсюду. Не то чтобы вода забила ключом,— нет, она просачивалась сперва у разрушившихся краев обшивки, а потом и сквозь нее.

Я глубоко убежден, что вода проходила сквозь дерево. Сначала она просачивалась еле-еле, потом потекла струйками. Это было все равно, что нести влажный сахарный песок в тонком бумажном кульке. Вскоре вода нас стала так заливать, словно на дне трюма открыли дверь.

Стоило течи начаться, и ее уже нельзя было остановить. День, а то и дольше мы боролись, не щадя сил, и моя спина, все тело до сих пор еще помнит, как мы откачивали; я помню усталость в руках и то, как вскидывалась и падала струйка воды в такт движению насоса, помню передышки, и как меня будили, чтобы снова откачивать, и усталость, которая все накоплялась. Под конец мы уже ни о чем, кроме откачки, не думали, нас словно заколдовали: навеки обрекли откачивать воду. Я и сейчас помню, что почувствовал облегчение, когда Поллак со своей неизменной трубкой во рту подошел ко мне и, жуя мундштук, сказал:

— Капитан говорит, что эта проклятая посудина сейчас пойдет ко дну. Что?

— Вот и хорошо! — сказал я.— Нельзя же вечно откачивать воду.

Не спеша, вяло, усталые и угрюмые, мы сели в лодки и отплыли подальше от «Мод Мери», а потом перестали грести и стояли неподвижно среди зеркальной глади моря, ожидая, пока она потонет. Все молчали, даже капитан молчал, пока она не скрылась под водой. Потом он заговорил вполголоса, совсем кротко:

— Это первый корабль, что я потерял... И это была нечестная игра! Это был такой груз, что никакой человек не должен принять. Нет!

Я смотрел на круги, медленно расходившиеся по воде в том месте, где исчезла «Мод Мери» и с нею последний шанс Торгового агентства. Я так устал, что уже ничего

больше не чувствовал. Я думал о том, как хвастал перед Беатрисой и дядей, как выпалил: «Я поеду!» — думал о бесплодных месяцах, прошедших после этого опрометчивого шага. Меня разбирал смех, я смеялся над собой, смеялся над роком...

Но капитан и матросы не смеялись. Люди злобно смотрели на меня и терли свои изъеденные язвами руки, потом взялись за весла...

Как всему миру известно, нас подобрал «Портленд Касл» — пассажирский пароход линии «Юнион Касл».

Парикмахер там был чудесный человек, он даже смастерил мне фрак и раздобыл чистую сорочку и теплое белье. Я принял горячую ванну, оделся, пообедал и распил бутылку бургундского.

— А теперь,— сказал я,— есть у вас здесь газеты? Я хочу знать, что творилось все это время на белом свете.

Официант дал мне все газеты, какие там были, но я сошел в Плимуте, все еще слабо представляя себе ход событий. Я отделался от Поллака, оставил капитана и его помощника в гостинице, а матросов в Доме моряка ждать, пока я сумею расплатиться с ними, и отправился на вокзал.

Газеты, которые я купил, объявления, которые я увидел,— поистине вся Англия трубила о банкротстве моего дяди.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ ТОНО БЕНГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНУЛ

I

В тот вечер я последний раз был у дядюшки в Хардингеме. Здесь все неузнаваемо изменилось. Вместо толпы угодливых прихлебателей тут околачивалось несколько назойливых репортеров, ожидающих интервью. Роппер, могущественный швейцар, был еще здесь, но теперь он ограждал дядю от чего-то более неприятного, чем отнимающие время просители. Я застал дядюшку в его кабинете, он делал вид, что работает, хотя на самом деле был погружен в мрачное раздумье. Он пожелтел и весь съежился.

— Господи! — сказал он, увидев меня.— Ну и отощал ты, Джордж. И от этого твой шрам куда заметнее.

Некоторое время мы невесело смотрели друг на друга.

— Куап,— сказал я,— на дне Атлантики. Тут счета... Надо заплатить людям...

— Видал газеты?

— Прочитал их все в поезде.

— Приперли к стенке,— сказал он.— Неделя, как приперт к стенке. Лают на меня... А я держи ответ. Устал немного... Уф!

Он вздохнул и протер очки.

— Желудок уже не тот,— пояснил он, отдуваясь.— В такие-то времена это и обнаруживаешь. Как все случилось, Джордж? Твоя маркониграмма... Я даже струхнул немного.

Я ему вкратце рассказал. Пока я говорил, он сочувственно кивал головой, а под конец налил что-то из аптечного пузырька в липкую рюмочку и выпил. Теперь я заметил лекарства — перед ним среди разбросанных бумаг стояли три или четыре бутылочки, и в комнате пахло чем-то странно знакомым.

— Да,— сказал он, вытирая губы, и заткнул пузырек пробкой.— Ты сделал все, что мог, Джордж. Судьба против нас.

Он задумался, держа бутылку.

— Иногда судьба тебе улыбнется, а иногда нет. Иногда нет. И тогда что ты такое? Солома в печке. Хоть борись, хоть не борись!

Он задал несколько вопросов, и мысли его снова вернулись к собственным неотложным делам. Я старался вытянуть из него вразумительный рассказ о нашем положении, но мне это не удалось.

— Ох, как мне тебя не хватало! Как мне тебя не хватало, Джордж! На меня так много свалилось. У тебя иногда бывают светлые мысли.

— Что случилось?

— Ну, этот Бум!.. Прямо дьявольщина!

— Да, но... Как же все-таки? Не забывай, я ведь только с моря.

— Я слишком расстроюсь, если начну сейчас рассказывать. Это какой-то запутанный клубок.

Он пробормотал что-то про себя, мрачно задумался, потом, словно очнувшись, сказал:

— Кроме того... тебе лучше не вмешиваться в это. Узел затягивается. Начнутся разговоры. Отправляйся-ка в Крест-хилл и летай себе. Вот это — твое дело.

Его вид и тон вызвали во мне прежнюю необъяснимую тревогу. Признаюсь, мною опять овладел этот кошмар острова Мордет; пока я смотрел на дядюшку, он снова потянулся к пузырьку с возбуждающим.

— Это от желудка, Джордж,— сказал он.— Меня это поддерживает. Каждого человека что-нибудь поддерживает... У каждого что-нибудь сдает — голова, сердце, печень... Падает вниз-з-з... Что-нибудь сдает. Наполеон — и тот в конце концов сдал. Во время Ватерлоо его желудок никуда не годился. Хуже, чем мой, не сравнить.

Подействовало возбуждающее, и дядя оживился. Глаза его заблестели. Он принялся бахвалиться. Теперь он приукрашивал положение, отказываясь от того, в чем признался раньше.

— Это как отступление Наполеона из России,— сказал он,— остается еще возможность Лейпцига. Это баталия, Джордж, большое сражение. Мы деремся з-за миллионы. У меня еще есть шансы. Еще не все карты биты. Не могу я все свои планы выложить... как бы не сглазить.

— Ты мог бы...

— Не могу, Джордж. Ты же не станешь требовать, чтобы тебе показали какой-нибудь эмбрион? Придется подождать. Я знаю. В некотором роде я знаю. Но рассказывать... Нет! Тебя так долго не было. И теперь все так сложно.

Его настроение поднималось, а я все сильнее ощущал глубину катастрофы. Я увидел, что только больше запутаю его в те сети, которые он плел, если буду докучать ему вопросами и требовать объяснений. Мои мысли перекинулись на другое.

— Как поживает тетя Сьюзен? — спросил я.

Мне пришлось повторить вопрос. На минуту дядюшка перестал озабоченно бормотать и ответил тоном, каким повторяют заученную формулу:

— Она хотела бы сражаться рядом. Она бы хотела быть здесь, в Лондоне. Но есть узлы, которые я должен распутать сам.— Глаза его задержались на стоявшей перед ним бутылочке.— И многое произошло... Ты мог бы съездить и поговорить с ней,— сказал он почти повелительно.— Я, пожалуй, приеду завтра вечером.

Он посмотрел на меня, словно надеясь, что на этом разговор кончится.

— На воскресенье? — спросил я.

— На воскресенье, Джордж. Слава тебе, господи, что есть на свете воскресенья!

II

Совсем не таким я представлял себе возвращение домой, в «Леди Гров», когда вышел в море с грузом куапа и воображал, что идеальная нить накала уже

у меня в руках. Я шел в сумерках среди холмов, и покой летнего вечера казался мне покоем свежей могилы. Не было больше снующих рабочих, не было на шоссе велосипедистов. Все замерло.

От тети Сьюзен я узнал, что люди по собственному побуждению устроили трогательную демонстрацию: когда в Крест-хилле прекратились работы и они получили последнее жалованье, они прокричали «ура» дядюшке и освистали подрядчиков и лорда Бума.

Не могу теперь вспомнить, как мы с тетей встретились. Наверное, я был тогда очень усталым, эти впечатления изгладились из памяти. Но я помню очень ясно, как мы сидели за круглым столиком у большого окна, выходящего на террасу, обедали и разговаривали. Помню, она говорила о дядюшке.

Она спросила, не показался ли он мне нездоровым.

— Я хотела бы ему помочь,— сказала она.— Но ему никогда не было от меня большой помощи. Он все делает по-своему. А с тех пор, с тех пор... Словом, с тех пор, как он начал богатеть, он многое скрывает от меня. В прежние дни было не так... Он там... Я не знаю, что он делает. Он не разрешает мне быть около него... От меня скрывает больше, чем от всех остальных. Даже слуги что-то утаивают от меня. Они стараются, чтобы мне не попали в руки ужасные газеты Бума... Наверное, его приперли к стенке, Джордж! Бедный мой медвежонок! Бедные мы, старые Адам и Ева! Судебные исполнители огненными мечами гонят нас из нашего рая! А я надеялась, что больше мы не будем переселяться. Хорошо, что не в Крест-хилл. Но ему ох как трудно! У него там, должно быть, столько неприятностей. Бедный старикан! Мы, наверное, не можем ему помочь. Мы, наверное, еще больше взволновали бы его. Подлить тебе супу, Джордж, пока еще есть?

Следующий день был полон сильных ощущений — один из тех дней, которые память выхватывает из обычного течения рядовых будней. Помню, как я проснулся в большой, хорошо знакомой комнате, которую всегда оставляли для меня, как лежал и смотрел на обитые лощеным ситцем кресла, на красивую мебель и смутные очертания кедров за окном и думал, что всему этому приходит конец.

Я никогда не был жаден к деньгам, никогда не стремился к богатству, но теперь меня угнетало сознание, что меня ожидают нужда и лишения. После завтрака я вместе с тетушкой читал газеты, потом пошел взглянуть, как двигается у Котопа работа над «Лордом Робертсом Бета». Никогда еще я так не ценил щедрую яркость садов «Леди Гров», благородство царившего вокруг глубокого покоя. Было теплое утро позднего мая, одно из тех, которые, обретя все великолепие лета, еще не потеряли нежную прелесть весны. Пышным цветом распустились ракитник и сирень, желтые и белые нарциссы покрыли куртины, в тени которых притаились ландыши. Я шел среди рододендронов по ухоженным дорожкам и через боковую калитку вышел в лес, усеянный колокольчиками и дикими орхидеями. Впервые я со всей полнотой ощутил, как прекрасно пользоваться привилегиями человека состоятельного. И всему этому приходит конец, говорил я себе, всему этому приходит конец.

Ни у дяди, ни у меня ничего не было отложено на черный день — все было поставлено на карту, и теперь я уже не сомневался, что мы разорены дотла. Прошло уже немало лет с тех пор, как я получил от дядюшки удивительную телеграмму, обещавшую мне триста фунтов в год,— я привык чувствовать себя обеспеченным человеком, — и вдруг оказался перед необходимостью заняться тем, чем озабочен весь род людской,— искать себе работу. Мне предстояло сойти с волшебного ковра и снова окунуться в мир реальности.

Неожиданно я оказался на перекрестке дорог, где впервые после стольких лет мы встретились с Беатрисой. Странно, но, насколько я помню, я ни разу не подумал о ней с тех пор, как покинул корабль в Плимуте. Конечно, в подсознании она была все время, но ни одной ясной мысли о ней я не могу вспомнить. Я был всецело поглощен дядей и финансовым крахом.

А тут меня словно ударило по лицу — и этому тоже конец!

На меня вдруг нахлынули мысли о Беатрисе, и нестерпимо захотелось увидеть ее. Что она сделает, когда узнает о нашей ужасной катастрофе? Что она сделает?

Как она примет это? К своему безграничному удивлению, я обнаружил, что очень мало могу сказать...

Не встречу ли я ее случайно?

Я пересек лес, вышел на холм и увидел Котопа на новом планере его собственной конструкции, он летел по ветру к моей старой посадочной площадке. Судя по полету, это был очень хороший планер. «Храбрый малый этот Котоп, — подумал я, — он и теперь продолжает свои опыты. Интересно, ведет ли записи? Но все это скоро кончится».

Он искренне мне обрадовался.

— Здорово не повезло,— сказал он.

С месяц он сидел здесь без жалованья: в вихре событий о нем совсем позабыли.

— Я торчал тут и делал, что мог. У меня есть немного своих денег, и я сказал себе: «Что ж, ты здесь с оборудованием, и никто за тобой не присматривает. Такого случая тебе до конца дней не подвернется, мой мальчик. Почему бы тебе им не воспользоваться?»

— Как «Лорд Робертс Бета»?

Котоп поднял брови.

— Пришлось воздержаться,— сказал он.— Но выглядит он очень красиво.

— Господи! — воскликнул я.— Хоть бы раз подняться на нем до краха. Читали газеты? Вы знаете, что нас ждет крах?

— Ну, конечно, я читаю газеты. Стыд и позор, сэр! Такая работа, как наша, не должна зависеть от кармана частных лиц. Мы с вами должны быть на попечении государства, сэр, и если позволите...

— Нечего позволять,— сказал я.— Я всегда был социалистом... в некотором роде... в теории. Пойдем посмотрим на него. Как он? Газ спущен?

— Только на четверть заполнен. Этот ваш последний масляный лак держит газ изумительно. В неделю не потерял и кубического метра...

Когда мы шли к ангарам, Котоп опять заговорил о социализме.

— Рад, что могу назвать вас социалистом, сэр,— сказал он.— Цивилизованный человек должен быть соци-

алистом. Я несколько лет был социалистом, начитавшись «Клариона». Скверно устроен мир. Все, что мы создаем и изобретаем, идет прахом. Нам, ученым, придется взять это в свои руки и остановить все это финансирование, и рекламирование, и прочее. Это слишком глупо. Это чепуха. Примером тому мы с вами.

На «Лорда Робертса Бета», даже не совсем наполненного газом, приятно было смотреть. Я разглядывал его, стоя рядом с Котопом, и острее, чем когда-либо, меня мучила мысль, что всему этому приходит конец. У меня было такое чувство, как у мальчишки, который собирается напроказить,— я использую эту махину, пока не нагрянули кредиторы. Помнится, мне пришла в голову еще дикая фантазия, что, если бы я мог подняться на воздух, я бы тем самым дал знать Беатрисе о своем возвращении.

— Мы наполним его,— коротко сказал я.

— Все готово,— заметил Котоп и, подумав, добавил:— Если только не выключат газ...

Все утро я работал с Котопом и был так увлечен, что на время забыл о прочих своих тревогах. Однако мысль о Беатрисе овладевала мною медленно, но упорно. Безрассудное, болезненное стремление увидеть ее все усиливалось. Я чувствовал, что не могу ждать, пока «Лорд Робертс Бета» будет заполнен, что должен разыскать ее и увидеть как можно скорее. Я все приготовил, позавтракал с Котопом и, оставив его под каким-то невразумительным предлогом, побрел через лес в Бедли-Корнер. Я стал жертвой жалких сомнений и робости. «Могу ли я пойти к ней теперь?» — спрашивал я себя, вспоминая, какие перенес унижения в юности из-за неравенства в общественном положении. Наконец часов около пяти я постучался в дом леди Оспри. Служанка Шарлотта встретила меня неприветливо, окинув холодным, удивленным взглядом.

Беатрисы и леди Оспри не было дома.

В душе зародилась смутная надежда, что я могу встретиться с Беатрисой. Я пошел тропинкой к Уокингу, той самой, которой мы шли пять месяцев назад в дождь и ветер.

Некоторое время я брел по нашим старым следам, потом выругался и пошел обратно через поля,

но вдруг почувствовал отвращение к Котопу и направился к холмам. И, наконец, поймал себя на том, что смотрю вниз, на заброшенную громаду крест-хиллского дома.

И мысли мои потекли по иному руслу. Снова вспомнился дядя. Какой странно унылой, пустой затеей показалось мне это незавершенное сооружение в мягком предвечернем свете,— какое вульгарное великолепие, до чего кричаще и бессмысленно! Нелепо, как пирамиды. Я взобрался на ограду и смотрел вниз, словно впервые видел этот лес столбов и помостов, ненужные стены, и кирпич, и алебастр, и конструкции из камня, и это запустение — разрытую землю, колеи от колес, груды хлама. И вдруг меня осенило: да ведь это и есть олицетворение всего того, что у нас слывет Прогрессом — этой раздуваемой рекламой страсти к расточительству, бессмысленной жажды строить и разрушать, всех начинаний и надежд нашего века. Вот плод наших трудов — то, что создали мы с дядюшкой, следуя моде нашего времени. Мы были его представители и вожди, таким, как мы, оно больше всего благоприятствовало. И для того, чтобы все кончилось тщетой, для целой эпохи такой тщеты развертывался торжественный свиток истории...

— Великий боже! — воскликнул я.— И это Жизнь?

Для этого обучали армии, закон вершил правосудие и тюрьмы делали свое дело, для этого в поте лица трудились и в муках умирали миллионы—для того, чтобы единицы, вроде нас, строили дворцы, которые никогда не доводили до конца, устраивали искусственные пруды над бильярдными, возводили дурацкие стены вокруг своих бессмысленных поместий, носились по свету в автомобилях, изобретали летательные аппараты, развлекались гольфом и другими столь же нелепыми забавами, теснились и сплетничали на званых обедах, играли в азартные игры? И вся наша жизнь представилась мне как грандиозное, удручающее, бесцельное расточительство. Такой я увидел ее тогда, и некоторое время только так ее понимал. Такова жизнь! Это пришло ко мне, как откровение, невероятное и все же неоспоримое откровение ошеломляющей бессмыслицы нашего бытия.

III

Шаги за спиной спугнули эти мысли.

Я обернулся, в глубине души надеясь...— такое уж глупое воображение у влюбленных,—и застыл в изумлении. Передо мной стоял дядя. Лицо у него было белое-белое, каким я видел его во сне.

— Дядюшка! — сказал я и уставился на него.— Почему ты не в Лондоне?

— Все кончено...— сказал он.

— Передали в суд?

— Нет!..

С минуту я смотрел на него, потом слез с ограды.

Он стоял, покачиваясь, потом шагнул вперед, неуверенно разводя руками, как человек, который плохо видит, ухватился за ограду и прислонился к ней. Ни один из нас не сказал ни слова. Неловким движением он указал вниз на бессмысленный хаос неоконченной постройки и тихо всхлипнул. Я заметил, что лицо его мокро от слез, мокрые очки слепили его. Он протянул свою пухлую руку, неловко сорвал их и стал безуспешно шарить в кармане в поисках платка, потом, к моему ужасу, этот старый, потрепанный жизнью мошенник припал ко мне и заплакал навзрыд. Он не просто всхлипывал или ронял слезы — нет, он рыдал, как ребенок. О, это было ужасно!

— Это жестоко,— всхлипнул он наконец.— Они мне задавали вопросы. Все задавали вопросы, Джордж...

Он не находил слов и захлебывался.

— Проклятые сволочи! — кричал он.— Про-о-оклятые сволочи!

Он перестал плакать и вдруг торопливо стал объяснять:

— Это нечестная игра, Джордж. Они тебя изматывают. А я нездоров. Мой желудок совсем расклеился. И вдобавок я простудился. Я всегда был подвержен простуде, а теперь она засела в груди. А они велят говорить громко. Они травят тебя... и травят, и травят... Это мука. Ужасное напряжение. Никак не упомнишь, что сказал. Обязательно себе противоречишь. Как в России, Джордж... Это нечестная игра... Видный человек. С этим Нийлом я сидел рядом на званых обедах, рассказывал

ему всякие истории, а он такой злющий! Надумал меня погубить. Вежливо ничего не спросит — рычит во все горло.

Дядя опять сник.

— На меня орали, меня запугивали, обращались, как с собакой. Скоты они все! Грязные скоты! Уж лучше быть шулером, чем адвокатом. Лучше торговать на улицах кониной для кошек... Они обрушили на меня такое сегодня утром, уж я никак не ожидал. Они огорошили меня! Все у меня было в руках, а они на меня налетели. И кто же — Нийл! Нийл, которому я давал советы насчет биржи! Нийл! Я помогал Нийлу... Когда был обеденный перерыв, мне кусок в горло не лез. Я не мог вынести. Правда, Джордж, не мог вынести. Я сказал, что мне надо глотнуть воздуха, выскользнул — и прямиком на набережную, а там взял катерок до Ричмонда. Осенило. Потом взял весельную лодку и покатался немного по реке. Толпа парней и девушек была там, на берегу, и они смеялись, что я без пиджака и в цилиндре. Думали, наверно, увеселительная прогулка. Нечего сказать, веселье! Я покатался немножко и вышел на берег. Потом направился сюда. Через Виндзор. А они там, в Лондоне, потрошат меня, как хотят... Пусть!

— Но...— сказал я, озадаченно глядя на него.

— Скрылся от суда. Меня арестуют.

— Не понимаю,— сказал я.

— Все погибло, Джордж. Окончательно и бесповоротно. А я-то думал, что буду жить здесь, Джордж... и умру лордом! Это роскошный дом, царственное здание — если бы у кого-нибудь хватило ума купить его и достроить. Та терраса...

Я стоял, раздумывая.

— Послушай! — сказал я.— Что это ты насчет ареста? Ты уверен, что тебя арестуют? Извини, дядя, но что ты натворил?

— Разве я тебе не сказал?

— Да, но за это тебе ничего особенного не грозит. Тебя только заставят дать остальные показания.

Некоторое время он молчал. Потом заговорил, с трудом произнося слова:

— Нет, это похуже. Я кое-что натворил... Они обязательно докопаются. Собственно, они уже знают.

— Что?

— Написал кое-что... Натворил.

Должно быть, впервые в жизни он испытывал стыд и впервые имел столь пристыженный вид. Глядя, как ему тяжко, я почувствовал раскаяние.

— Все мы кое-что натворили,— сказал я.— Это входит в игру, на которую нас толкает жизнь. Если тебя собираются арестовать, а тебе нечем крыть... Тогда нельзя, чтоб тебя арестовали!

— Да. Отчасти поэтому я поехал в Ричмонд. Но я никогда не думал...— Налитыми кровью глазами дядюшка смотрел на Крест-хилл.— Этот Виттенер Райт... У него все было готово. У меня нет. Теперь ты знаешь, Джордж. Вот в какой я попался капкан.

IV

Воспоминание о дяде, каким он был тогда у ограды, сохранилось отчетливо и ясно. Помню, он говорил, а я слушал, и мысли мои текли своим чередом. Помню, как росла во мне жалость и нежность к этому бедняге, убеждение, что я должен во что бы то ни стало ему помочь. Но потом снова все расплывается. Я приступил к делу. Я уговорил дядю довериться мне, тут же составил план и начал действовать. По-моему, чем энергичнее мы действуем, тем хуже запоминаем, и в той мере, в какой наши душевные порывы претворяются в конкретные замыслы и дела, они перестают удерживаться в памяти. Знаю лишь, что я решил немедленно увезти дядюшку, воспользовавшись «Лордом Робертсом Бета». За дядей, конечно, скоро начнут охотиться, и мне казалось небезопасным удрать в Европу обычным путем. Я должен был придумать — и побыстрее — способ как можно более неприметно оказаться на той стороне пролива. К тому же мне очень хотелось совершить хотя бы один полет на моем воздушном корабле. Я рассчитывал, что нам удастся перелететь через пролив ночью, бросить «Лорда Робертса Бета» на произвол судьбы, появиться в Нормандии или Бретани уже в качестве туристов-пешеходов и таким образом скрыться. Такова, во всяком случае, была моя основная идея. Я отослал Котопа с какой-то ненужной запиской в Уокинг: мне не хоте-

лось запутывать его — и отвел дядюшку в шале. Потом я пошел к тете Сьюзен и чистосердечно признался во всем. Она восхитила меня своим самообладанием. Мы безжалостно взломали замки в дядюшкиной спальне. Я достал пару коричневых башмаков, спортивный костюм и кепи — вполне благовидную экипировку для пешехода — и небольшой ягдташ для дорожного имущества; я взял также широкое автомобильное пальто и несколько пледов в добавление к тем, которые были у меня в шале. Я прихватил еще флягу бренди, а тетя Сьюзен наготовила сандвичей. Не помню, чтобы появлялся кто-нибудь из слуг, а где она раздобыла эти сандвичи, я позабыл. Впоследствии я не раз думал о том, как задушевно мы с ней беседовали во время этих приготовлений.

— Что он сделал? — спросила она.

— А ты не рассердишься, если узнаешь?

— Слава богу, меня уже ничем не удивишь!

— Думаю, что подлог.

Наступило недолгое молчание.

— Ты сможешь тащить этот узел? — спросила она.

Я поднял узел.

— Женщины не уважают закон,— сказала тетя Сьюзен.— Он слишком глуп... Сперва позволяет делать невесть что. А потом вдруг осадит! Как сумасшедшая нянька ребенка.

Она вынесла мне на темную аллею несколько пледов.

— Они подумают, что мы пошли гулять при луне,— сказала она, кивнув в сторону дома.— Интересно, что они думают о нас, преступниках...

Словно в ответ, раздался гулкий звон. Мы вздрогнули от неожиданности.

— Ах вы, мои милые! — сказала она.— Это гонг к обеду... Если бы я хоть чем-нибудь могла помочь моему медвежонку, Джордж! Подумать только, он теперь там, и глаза у него воспаленные, сухие. Я знаю: один мой вид раздражает его. Чего я только не говорила ему, Джордж! Если бы я знала, я позволила бы ему завести себе целый омнибус этих Скримджор. Я его изводила. Он раньше никогда не думал, что я серьезно... Во всяком случае, что смогу, я сделаю.

Что-то в голосе тети заставило меня обернуться, и при лунном свете я увидел на ее лице слезы.

— А она могла бы помочь? — спросила тетя вдруг.

— Она?

— Та женщина.

— Боже мой! — воскликнул я.— Помочь,. она! Да и разве можно тут помочь?

— Повтори, что я должна делать,— попросила тетя Сьюзен после недолгого молчания.

Я снова сказал ей, как поддерживать связь с нами и чем, по моим соображениям, она могла бы помочь. Я уже дал ей адрес адвоката, которому до некоторой степени можно было доверять.

— Но ты должна действовать самостоятельно,— убеждал я.— Грубо говоря, идет драка. Хватай для нас все, что сумеешь, и удирай за нами при первой возможности.

Тетя кивнула.

Она дошла до шале, в нерешительности задержалась на минуту и повернула назад.

Когда я вошел, дядя был в гостиной, он сидел в кресле, поставив ноги на решетку газовой печки, которую он зажег; теперь он был слегка пьян от моего виски, вконец измучен душой и телом и уже начинал малодушничать.

— Я позабыл свои капли,— сказал он.

Он переодевался медленно и с неохотой. Я должен был припугнуть его, чуть ли не тащить к воздушному кораблю и уложить на плетеную площадку. Без посторонней помощи я оторвался от земли неловко; мы поползли, царапая крышу ангара, и согнули лопасть пропеллера, и некоторое время я висел над моим аппаратом, а дядя даже не протянул мне руки, чтобы помочь взобраться. Если бы не якорное приспособление Котопа — нечто вроде якоря, наподобие трамвайной дуги, скользящего по рельсу,— нам бы так и не удалось взлететь.

V

Отдельные эпизоды нашего полета на «Лорде Робертсе Бета» не укладываются в каком-нибудь последовательном порядке. Думать об этой авантюре — все равно что наугад вытаскивать открытки из альбома. Вспоминается

го одно, то другое. Мы оба лежали на плетеной платформе — на «Лорде Робертсе Бета» не было изысканных приспособлений аэростата. Я лежал впереди, а дядя за мной, так что вряд ли у него могли быть какие-нибудь зрительные впечатления от нашего полета. Сетка между стальными тросами не давала нам скатиться. Встать мы никак не могли бы: мы должны были или лежать, или ползать на четвереньках по плетенке. Посредине корабля были перегородки из ватсоновского аулита; я поудобнее уложил между ними дядюшку и закутал его пледами. На мне были сапоги и перчатки из тюленьей кожи, а поверх спортивного костюма я надел меховое автомобильное пальто; мотором я управлял при помощи боуденовских тросов и рычагов, которые находились в передней части корабля.

Первые впечатления той ночи — это тепло озаренные луной ландшафты Сэррея и Сэссекса, быстрый, успешный полет, подъемы и снижения и потом снова взлет к югу. Я не мог наблюдать за облаками, ибо мой воздушный корабль заслонял их; я не видел звезд и не мог производить метеорологических измерений, но знал, что ветер, дувший то с севера, то с северо-востока, все усиливался, а так как вполне удачные расширения и сжатия убедили меня в прекрасных летных качествах «Лорда Робертса Бета», то я выключил мотор, чтобы сэкономить горючее, и моя махина поплыла по ветру, а я всматривался в смутные очертания земли внизу. Дядюшка лежал позади меня совсем тихо, он смотрел прямо перед собой и почти ничего не говорил, и я был предоставлен собственным мыслям и впечатлениям.

Мои тогдашние мысли, все равно какие, давно уже изгладились из памяти, а мои впечатления слились в одно неразрывное воспоминание о земле, как будто лежавшей под снегом, и на ней были темные прямоугольники и белые призрачные дороги, бархатисто-черные овраги, пруды и дома, в которых, словно драгоценные камни, сверкали огни. Помню поезд, как огненная гусеница, торопливо проползший внизу,— я отчетливо слышал стук колес. В каждом городишке, на каждой улице горели фонари, и они казались рядами светлых пуговиц. Я подошел совсем близко к Саут Даунс, неподалеку от Льюиса, и в домах уже был погашен свет, люди легли спать. Мы по-

кинули землю немного восточнее Брайтона, и к тому времени Брайтон уже крепко спал, и ярко освещенная набережная обезлюдела. Я дал газовой камере наполниться до предела и поднялся выше. Я люблю быть подальше от воды.

Мне не совсем ясно, что произошло той ночью. Я, кажется, вздремнул, а дядя, по-видимому, спал. Помнится, раза два я слышал, как он возбужденно, глухо разговаривал не то с самим собой, не то с воображаемыми судьями. Одно несомненно: ветер круто изменил направление на восток, и нас понесло, а мы и не подозревали, как сильно нас относит в сторону. Помню, какая глупая растерянность овладела мною, когда я увидел рассвет над огромным серым водным пространством внизу и понял, что дело неладно. Я был настолько глуп, что лишь когда взошло солнце, заметил, куда кренятся шапки пены внизу, и догадался, что мы попали в жестокий восточный шквал. Но даже тогда я не повернул на юго-восток, а направил машину к югу, продолжая лететь в направлении, которое неминуемо должно было привести нас к Уэссану или в Бискайский залив. Я остановил мотор, предполагая, что нахожусь к востоку от Шербурга, тогда как на самом деле был от него далеко на запад, потом включил мотор снова. К вечеру на юго-востоке показался берег Бретани, и только тогда я понял, насколько серьезно наше положение. Я искал Бретань на юго-западе, а случайно обнаружил на юго-востоке. Я повернул на восток и полетел против ветра, но, убедившись, что мне не справиться с ним, поднялся на высоту, где, казалось, он не так бесился, и попытался взять курс на юго-восток. Теперь я наконец понял, в какой мы попали шквал. Я летел на запад, а временами меня, возможно, относило на северо-запад со скоростью пятидесяти или шестидесяти миль в час.

Потом началось то, что, пожалуй, назовут битвой с восточным ветром. В этих случаях говорят «битва», но, право, это почти столь же мало походило на битву, как мирное вышивание. Ветер норовил отнести меня к западу, а я старался, насколько возможно, уйти на восток, и чуть ли не двенадцать часов он хлестал и раскачивал нас, впрочем, не так зверски, чтобы нельзя было терпеть. Я надеялся, что ветер утихнет, а до тех пор мы удер-

жимся в воздухе где-то восточнее Финистера, и больше всего опасался, что кончится горючее. Время тянулось томительно долго и даже располагало к раздумью; нам не было холодно, и пока еще не очень хотелось есть; порою дядюшка слегка ворчал, понемножку философствовал и жаловался, что у него поднимается температура, но, помимо этого, мы почти не разговаривали. Я устал, был угрюм и беспокоился главным образом за мотор. Мне очень хотелось отползти назад, чтобы взглянуть на него. Я не решался сжать газовую камеру из опасения потерять газ. Нет, это совсем не походило на битву. Я знаю, в дешевых журнальчиках подобные случаи описывают в истерических тонах. Капитаны спасают свои корабли, инженеры достраивают мосты, генералы в состоянии лихорадочного возбуждения ведут бой, угощая читателя малопонятными техническими терминами. Может быть, на некоторых людей такие вещи действуют, но что касается правдивого изображения действительности — а они на это претендуют,— то все это просто детский лепет. У пятнадцатилетних школьников, восемнадцатилетних девиц и у литераторов любого возраста, возможно, бывают такие истерические припадки, но я убедился на собственном опыте, что самые волнующие сцены не так уж сильно волнуют и в самые решающие минуты люди обычно не теряют голову.

В ту ночь мы с дядюшкой не испытывали никаких сильных ощущений, не изрекали многозначительных сентенций. Мы отупели. Дядя застыл на своем месте и жаловался на желудок, а иногда что-то отрывисто говорил о своих делах и обличал Нийла — раза два он крепко его выругал, а я, не отдавая себе отчета, переползал с места на место и кряхтел, и наша плетенка все скрипела и скрипела, и ветер с нашей стороны хлопал в стенку газовой камеры. И постепенно мы стали мерзнуть, хотя напялили на себя все, что могли.

Я, по-видимому, дремал, и было еще совсем темно, когда я вдруг очнулся и увидал где-то вдалеке мерцающий маяк, а за ним какой-то ярко освещенный большой город, а проснулся оттого, что замолк мотор и опять нас относило на запад.

Вот тут-то я почувствовал, что надо спасать жизнь. Увлекая за собой дядю, я пополз вперед к шнурам вы-

пускных клапанов и выпустил газ, и мы, подобно неуклюжему планеру, стали падать вниз, приближаясь к какой-то туманной, серой массе,— то была земля.

Очевидно, случилось еще что-то, о чем я позабыл. Я увидел Бордо, когда было еще совсем темно,— огни города смутно отсвечивали во мраке, и я убежден, что была еще ночь. А упали мы, несомненно, при холодном неверном свете на заре. В этом я тоже не сомневаюсь. Да и Мимизан, вблизи которого мы сели, находится в пятидесяти милях от Бордо,— те огни, что я заметил раньше, были, по-видимому, огнями порта Бордо.

Помню, я отнесся к падению с каким-то странным безразличием, и мне пришлось встряхнуться, чтобы управлять машиной. Впрочем, сама посадка была довольно волнующей. Помню, нас долго волочило по земле, потом я с трудом слез с плетенки, и, пока дядя, спотыкаясь, выпутывался из веревок и своих пледов, порыв ветра подхватил «Лорда Робертса Бета», и дядя толкнул меня и повалил на колени. Потом я вдруг осознал, что воздушная громадина, словно разумное существо, высвобождается, чтобы удрать, и она легко подскочила вверх. Я уже не мог дотянуться до каната. Помню, я бежал по колено в соленой воде, безуспешно догоняя свой воздушный корабль, пока он медленно набирал высоту и удалялся в сторону моря, и, только отчаявшись поймать его, я понял, что это, в сущности, самый лучший выход. То падая, то поднимаясь, «Лорд Робертс Бета» быстро пронесся над дюнами и скрылся за рощицей потрепанных ветром деревьев. Потом он показался уже намного дальше и, удаляясь с каждой минутой, взмыл ненадолго вверх и медленно опустился, и больше я уже его не видел. Должно быть, он упал в море, пропитался соленой водой и отяжелел, из него вышел газ, и он потонул.

Его так и не обнаружили, и не было никаких сообщений о том, что его кто-нибудь видел после того, как он скрылся с моих глаз.

VI

Мне трудно рассказать подробно и сколько-нибудь связно о том, как мы летели через море, но я хорошо помню, что рассвет во Франции был ясный и холодный.

Перед моим мысленным взором возникают, словно я вижу их опять, дюна за дюной, серые и холодные, с черным гребешком чахлой травы. Меня вновь охватывает озноб холодного, ясного рассвета, и я слышу далекий лай собак. И опять я задаю себе вопрос: «Что же делать?»,— но я так смертельно устал, что ничего не могу придумать.

Сначала я был поглощен заботой о дяде. Он весь дрожал, и я с трудом поборол желание уложить его в удобную постель немедленно. Ведь я хотел,чтобы мы появились в этой части земного шара, не привлекая к себе внимания. Было бы слишком подозрительно, если бы мы явились к кому-нибудь на рассвете, чтоб отдохнуть; пока не наступит день, мы должны оставаться здесь, а потом всякий поверит, что мы запыленные в дороге пешеходы, которые хотят где-нибудь закусить. Я отдал дяде большую часть оставшихся бисквитов, опорожнил фляжку и посоветовал ему уснуть, но вначале было очень холодно, хотя я и укутал его большим меховым одеялом.

Меня поразило его вдруг осунувшееся лицо и старческий вид, который придавала ему седая щетина на подбородке. Он весь как-то съежился, дрожал и кашлял; жевал он вяло, зато пил с жадностью и изредка тихонько всхлипывал, и мне было его очень жалко. Но другого выхода у нас не было, приходилось терпеть.

Солнце уже поднялось над лесом, и песок стал быстро нагреваться. Дядя покончил с едой, руки его упали на колени, и он сидел с видом полнейшего отчаяния и безнадежности.

— Я болен,— сказал он,— я чертовски болен! Я это чувствую всем нутром!

Потом — для меня это было ужасно — он закричал:

— Мне надо лечь в постель. Мне надо лечь в постель... а не летать! — И он вдруг расплакался.

Я встал.

— Спи, старина! — сказал я, затем снял с дяди одеяло, расстелил на земле и снова его закутал.

— Все это, может быть, и прекрасно,— протестовал он,— но я не так молод, чтобы...

— Подними голову,— прервал я и положил ему под голову рюкзак.

— Они нас поймают — все равно, что здесь, что в гостинице,— пробормотал он и затих.

Спустя некоторое время я увидел, что он уснул. Он дышал с каким-то странным хрипом и то и дело кашлял. Я тоже окоченел и измучился и, возможно, задремал. Теперь я уже не помню. Помню только, что сидел возле дяди, казалось, целую вечность, слишком усталый, чтобы о чем-нибудь думать в этом песчаном безлюдье.

Никто к нам не подошел, ни одна живая душа, хотя бы собака. Наконец я взял себя в руки, понимая, что не стоит делать вид, будто в нашем появлении здесь нет ничего необычного, и мы поплелись по вязкому песку к ферме с таким трудом, словно все небо свинцовой тяжестью легло нам на плечи. Я старался говорить по-французски еще хуже, чем говорил на самом деле, чтобы казалось правдоподобным, что мы пешеходы из Биаррица, сбились с дороги и нас застигла ночь на побережье. Все обошлось как нельзя лучше, мы выпили спасительного кофе и раздобыли повозку, в которой добрались до небольшой железнодорожной станции. Дяде становилось все хуже. Я довез его до Байоны, где он отказался есть, и ему стало очень плохо; потом, дрожащего и обессилевшего, я повез его в пограничный городок Люзон Гар.

Я нашел скромную гостиницу с двумя небольшими спальнями, которую содержала приветливая женщина-баска. Я уложил дядю в постель и не отходил от него всю ночь; проспав часа два, он проснулся в жестокой лихорадке, бредил, проклинал Нийла и без конца твердил какие-то нескончаемые и непонятные цифры. Явно требовалось вмешательство врача — и утром врача позвали. Это был молодой человек из Монпелье, он только начинал практиковать, изъяснялся загадочно, употреблял модные медицинские термины, и толку от него было мало. Он говорил о холоде и простуде, гриппе и пневмонии и дал кучу подробнейших и сложных наставлений... Из всего этого я понял, что должен позаботиться о специальном уходе и больничных условиях. Во второй спальне я водворил сестру-монахиню, а себе снял комнату в четверти мили — в гостинице Порт де Люзон.

VII

Я подвожу рассказ к тому, что волею судеб этот удивительный уголок, где мы нашли себе прибежище, стал местом упокоения моего дядюшки. Мне вспоминаются Пиренеи, синие холмы, озаренные солнцем домики, старинный люзонский замок и шумная порожистая река, отчетливо вижу темную душную комнату, окна в которой монахиня и хозяйка сговорились не открывать, с вощеным полом, кроватью под балдахином, типично французским камином и креслами, бутылками из-под шампанского, грязными тазами, измятыми полотенцами и пакетиками порошков на столике. И на кровати, в душном, тесном пространстве за пологом, словно возведенный на престол и отгороженный от мира, мой дядюшка лежал или сидел, корчился и беспокойно метался, сводя последние счеты с жизнью. И чтобы с ним поговорить или взглянуть на него, надо было подойти и откинуть край полога.

Обыкновенно он сидел, прислонясь к подушкам,— так ему легче было дышать. Уснуть ему почти не удавалось.

Смутно вспоминаю бессонные ночи, утренние часы и дни, проведенные у его кровати, помню, как суетилась монахиня, кроткая и добрая и такая беспомощная, и какие невообразимо грязные были у нее ногти. Всплывают и исчезают и другие фигуры, но чаще всех доктор — молодой человек, совсем в стиле рококо, с тонкими восковыми чертами лица, маленькой заостренной бородкой, длинными черными вьющимися волосами, огромным, как у какого-нибудь поэтишки, галстуком и в костюме для велосипедной езды. Непонятно почему, ясно и отчетливо остались в памяти хозяйка гостиницы и семья испанцев, которые опекали меня, готовили мне совершенно изумительные обеды, супы и салаты, цыплят и необыкновенные сласти. Все они были милые, симпатичные люди. И все время я старался незаметно раздобывать английские газеты.

Эти мои воспоминания связаны прежде всего с дядюшкой.

Я старался показать, каким он был во все периоды своей жизни,— молодой аптекарь в Уимблхерсте, заху-

далый фармацевт на Тотенхем-Корт-роуд, авантюрист в пору рождения Тоно Бенге, нелепый, самоуверенный плутократ. А теперь мне предстоит рассказать, как изменился он, когда на него надвинулась тень близкой смерти: я вижу чужое, заросшее бородой лицо с обвислой кожей, желтое, блестящее от пота, широко раскрытые и тусклые глаза, тонкий, заострившийся нос. Никогда он не казался таким маленьким. Напрягая голос и все же чуть слышно, он говорил о великих делах, о том, для чего он жил и к чему пришел. Бедняга! Эти последние дни словно бы и не связаны со всей его прежней жизнью. Как будто он выкарабкался из развалин своей карьеры и огляделся, прежде чем умереть. По временам он переставал бредить и голова у него была совсем ясная.

Он был почти уверен, что умирает, и это в какой-то степени избавляло его от бремени забот. Не придется больше встречаться с Ниилом, не надо удирать или прятаться, не надо ждать наказания.

— Грандиозная была карьера, Джордж,— сказал он,— но как хорошо отдохнуть. Хорошо отдохнуть!.. Хорошо отдохнуть!

Больше всего он думал и говорил о прошлом, о своей карьере, и обычно — я рад вспомнить об этом — чувствовалось, что он ею доволен и вполне одобряет. В бреду он даже был как-то чересчур доволен собой и своим недавним великолепием. Бывало, теребит простыню и, уставившись в пространство, еле внятно, прерывисто бормочет:

— Что за громадное здание, эти башни под шапками облаков, эти воздушные шпили?.. Илион. Вознесся в са-амое небо. Илионский дворец, резиденция одного из наших, одного из наших великих князззей торговли... Терраса над террасой. До самых небес... Империя, каких не знал Цезарь... Великий поэт, Джордж. Империи, каких не знал Цезарь... И совершенно под новым руководством... Сила... Миллионы... Университеты... Он стоит на террасе — на верхней террасе,— управляет... управляет... у глобуса... управляет... торговлей.

Иногда трудно было понять, где кончается разумная речь и начинается бред. Обнажились скрытые пружины его жизни, тщеславные мечты. Порой мне кажется, что всякий человек наедине с собой склонен распускаться,

словно какой-нибудь неряха, который весь день ходит немытый и нечесаный и приводит себя в порядок, когда случается быть на людях. Я подозреваю, что все невысказанное, скрытое в нашей душе таит в себе нечто расплывчато-бредовое и безумное. И, конечно, слова, которые срывались с воспаленных, страдальческих губ дяди над щетинистой седой бородой, отражали только его мечтания и бессвязные фантазии.

Иногда он бредил Нийлом, грозил ему.

— Что он вложил? — спрашивал он.— Думает улизнуть от меня. Если я до него доберусь... Разззорение. Разззорение. Можно подумать, что я взял его деньги.

А иногда он возвращался к нашему полету.

— Слишком долго, Джордж, слишком долго и слишком холодно. Я слишком стар... слишком стар... для таких вещей... Ты же не спасешь меня — ты меня убиваешь.

Под конец стало ясно, что наше инкогнито раскрыто. Пресса и особенно газеты, принадлежащие Буму, подняли настоящую травлю, на розыски были посланы специальные агенты, и хотя, пока дядюшка был еще жив, ни один из этих эмиссаров до нас не добрался, уже слышались раскаты бури. Наша история попала и во французскую печать. Люди стали смотреть на нас с любопытством, и в маленькой ничтожной борьбе, которая велась за пологом в душном пространстве, приняли участие новые лица. Молодой доктор настаивал на консультации, из Биаррица приехал автомобиль, и ни с того ни с сего к нам вторгались какие-то странные люди с рыскающим взглядом, задавали вопросы и предлагали помощь. Ничего не было сказано, но я видел, что нас больше не считают обыкновенными туристами среднего достатка; когда я шел по улице, у меня было такое чувство, будто за мной зримо, как тень, следует престиж финансиста и скандальная слава преступника. В гостинице появлялись с расспросами какие-то местные жители, дородные и преуспевающие, предложил свои услуги люзонский священник, люди заглядывали к нам в окна и не спускали с меня глаз, когда я уходил или проходил мимо; потом из соседнего городка Сен-Жан де-Поллак на нас налетали, как вороны, добродетельные, но решительные маленький английский священник и его любезная расторопо-

ная супруга, по англиканскому обычаю в черном с головы до пят.

Священник, суетливое, упрямое существо, с редкой бородкой, в очках, с красным носом пуговкой, в черном поношенном облачении, был одним из тех странных типов, которые разъезжают по заброшенным провинциальным городишкам Англии или же на договорных условиях выполняют обязанности священника в гостиницах за границей. Он был просто потрясен финансовым могуществом моего дяди и собственной догадливостью: он понял, кто мы такие, и потому весь сиял и был преисполнен любезности и суетливой предупредительности. Он так и рвался разделить со мной дежурства у постели дяди и из кожи вон лез, предлагая свою помощь, а так как я опять соприкоснулся с лондонскими делами и пытался по газетам, которые мне удалось получить из Биаррица, разобраться в подробностях нашего грандиозного краха, то я охотно воспользовался его услугами и принялся по этим газетам изучать состояние современных финансов. Я уже давно оторвался от старых религиозных традиций, и мне и в голову не приходило, что он вздумает атаковать моего дышавшего на ладан дядюшку заботами о его душе. И, однако, я столкнулся с этим: мое внимание привлек вежливый, но весьма жаркий спор между священником и хозяйкой, которая непременно хотела повесить дешевенькое распятие в нише над кроватью, где оно могло попасться на глаза дяде, и оно действительно попалось ему на глаза.

— Бог ты мой! — крикнул я.— Неужели такое все еще бывает!

В ту ночь дежурил тщедушный священник, и под утро он поднял ложную тревогу, что дядя умирает, и началась суматоха. Он разбудил весь дом. Кажется, я никогда не забуду эту сцену; ко мне в дверь постучали, как только я уснул, и раздался голос священника:

— Если хотите застать вашего дядюшку в живых, торопитесь.

Когда я туда вошел, душная комнатенка была полна людей и освещена тремя мерцающими свечками. Казалось, я вернулся в восемнадцатое столетие. На измятой постели среди раскиданных простынь лежал бедный дядюшка, донельзя измотанный жизнью, обессиленный, в

бреду, а маленький священник, взяв его за руку, старался привлечь его внимание и все повторял:

— Мистер Пондерво, мистер Пондерво, все прекрасно. Все прекрасно. Только уверуйте! «Верующий в меня спасен будет!»

Тут уже был доктор с ужасным, идиотским шприцем, какими современная наука вооружает этих недоучек, и непонятно для чего старался поддержать в дяде слабый трепет жизни. Где-то позади с запоздалой и отвергнутой дозой лекарства суетилась сонная монахиня. В довершение хозяйка не только встала сама, но и разбудила старую каргу — свою мамашу и полоумного мужа, был там еще флегматичный толстяк в сером шерстяном костюме, степенный и важный,— кто он и почему оказался там, не знаю. Кажется, доктор что-то сказал мне о нем по-французски, но я не понял. И все они, заспанные, наспех одетые, нелепые при свете трех мерцающих свечей, алчно следили за угасанием едва теплившейся жизни, словно это было для них какое-то увлекательное зрелище, и каждый из этих людишек твердо решил подстеречь последний вздох. Доктор стоял, прочие сидели на стульях, принесенных в комнату хозяйкой.

Но дядя испортил финал: он не умер.

Я сменил священника на стуле возле кровати, и он завертелся по комнате.

— Я думаю,— таинственно шептал он, уступая мне место,— я верю, с ним все хорошо.

Я слышал, как он пытался перевести на французский стереотипные фразы англиканского благочестия флегматику в сером костюме. Потом он сшиб со стола стакан и полез собирать осколки. С самого начала я не очень-то верил, что дядя сейчас умрет. Шепотом, но настойчиво я допрашивал доктора. Я повернулся, чтоб взять шампанское, и чуть не упал, споткнувшись о ноги священника. Он стоял на коленях возле стула, который поставила для меня хозяйка, и громко молился: «Отец небесный, умилосердись над чадом своим...» Я оттолкнул его, а через минуту он уже стоял на коленях возле другого стула и опять молился, преградив дорогу монахине, которая несла мне штопор. Мне почему-то вспомнились чудовищные, кощунственные слова Карлейля о «последнем писке тонущего котенка». Священник стал у третьего

свободного стула; можно было подумать, что он играет в какую-то игру.

— Господи,— сказал я,— надо выставить этих людей, и, проявив некоторую настойчивость, я этого добился.

У меня вдруг отшибло память, и я начисто забыл французский язык. Я выпроваживал их главным образом с помощью жестов и, к всеобщему ужасу, отворил окно. Я дал им понять, что сцена умирания откладывается,— и в самом деле, дядюшка скончался лишь на следующую ночь.

Я не подпускал к нему священника и старался разобрать, не мучает ли его какая-нибудь мысль или желание. Но ничего не заметил. Однако дядя заговорил об «этом самом пасторе».

— Не надоел он тебе? — спросил я.

— Ему что-то надо,— отозвался дядя.

Я молчал, внимательно прислушиваясь к его бормотанию. Я разобрал слова: «Они хотят слишком многого». Лицо его сморщилось, как у ребенка, который собирается заплакать.

— Нельзя получить верных шести процентов,— сказал он.

На минуту у меня мелькнула дикая мысль, что эти душеспасительные разговоры были далеко не бескорыстны, но это, я думаю, было недостойное и несправедливое подозрение. Маленький пастор был чист и невинен, как солнечный свет, а дядя имел в виду священников вообще.

Однако, возможно, как раз эти разговоры разбудили дремавшие в дядюшкином сознании какие-то мысли, давно подавленные и загнанные вглубь повседневными заботами.

Незадолго до конца голова у него вдруг стала совсем ясной, и хотя он был очень слаб, голос его звучал тихо, но отчетливо.

— Джордж,— позвал он.

— Я здесь, рядом с тобой.

— Джордж, ты всегда имел дело с наукой, Джордж. Ты знаешь лучше меня. Скажи... Скажи, это доказано?

— Что доказано?

— Ну, все-таки?..

— Я не понимаю.

— Смерть — конец всему. После такого... таких блистательных начинаний. Где-то... Что-то....

Я смотрел на него, пораженный. Его запавшие глаза были очень серьезны.

— А чего же ты ждешь? — удивленно спросил я.

Но на этот вопрос он не откликнулся.

— Стремления...— прошептал он.

Потом заговорил отрывисто, совсем забыв обо мне.

— «Проходят славы облака»,— сказал он.— Первоклассный поэт, первоклассный... Джордж всегда был строгий. Всегда.

Наступило долгое молчание.

Потом он знаком показал, что хочет что-то сказать.

— Мне кажется, Джордж...

Я склонился над ним, а он сделал попытку положить руку мне на плечо. Я приподнял его немного на подушках и приготовился слушать.

— Мне всегда казалось, Джордж... должно быть, что-то во мне... что не умрет.

Он смотрел на меня так, словно решение зависело от меня.

— Наверное,— сказал он,— что-то...

С минуту мысли его блуждали.

— Совсем маленькое звено,— прошептал он почти умоляюще и смолк, но вскоре опять забеспокоился: — Какой-то другой мир...

— Возможно,— сказал я.— Кто знает?

— Какой-то другой мир.

— Только там нет такого простора для деятельности,— сказал я,— не то, что здесь!

Он умолк. Я сидел, склонившись над ним, погруженный в собственные мысли. Монахиня в сотый раз стала закрывать окно. Дядюшка задыхался... Какая нелепость, почему он должен так мучиться — бедный глупый человечек!

— Джордж,— прошептал он и попытался приподнять маленькую бессильную руку.— А может быть...

Он ничего больше не сказал, но по выражению глаз я понял: он уверен, что я понял его вопрос.

— Да, пожалуй...— произнес я отважно.

— Разве ты не уверен?

— О... конечно, уверен,— сказал я.

Кажется, он пытался сжать мою руку. Так я сидел, крепко держа его руку в своей, и старался представить себе, какие зерна бессмертия можно отыскать в его существе, есть ли в нем дух, который устремился бы в холодную беспредельность. Странные фантазии приходили мне в голову... Он долго лежал спокойно и лишь порой ловил ртом воздух, и я то и дело вытирал ему губы.

Я погрузился в задумчивость. Сначала я не заметил даже, как постепенно менялось его лицо. Он откинулся на подушки, еле слышно протянул свое «з-з-з», смолк и скоро скончался, совсем тихо, умиротворенный моими словами. Не знаю, когда он умер. Рука его обмякла неощутимо. И вдруг, потрясенный, я увидел, что челюсть его отвалилась — он был мертв...

VIII

Была глубокая ночь, когда я покинул смертное ложе дядюшки и пошел по широко раскинувшейся улице Люзона к себе в гостиницу.

Это мое возвращение тоже осталось в памяти обособленно, не связанное с другими переживаниями. Там, в комнате, неслышно суетились женщины, мерцали свечи, совершался положенный ритуал над странным высохшим предметом, который когда-то был моим неугомонным, влиятельным дядюшкой. Мне эта обрядность казалась нудной и неуместной. Я хлопнул дверью и вышел в теплый, туманный, моросящий дождь на сельскую улицу, где не было ни души и лишь изредка во тьме виднелось мутное пятно света. Теплая пелена тумана создавала впечатление какой-то отрешенности. Даже дома у дороги казались из другого мира, мелькая сквозь туман. Тишину ночи подчеркивал доносившийся временами отдаленный собачий лай — здесь, поблизости от границы, все держали собак.

Смерть!

То был один из тех редких часов отдохновения, когда словно оказываешься за чертой жизни и движешься вне ее. Такое чувство бывает у меня иногда после окончания спектакля. Вся жизнь дяди представилась мне как что-то знакомое и завершенное. С ней было покон-

чено, как с просмотренным спектаклем, как с прочитанной книгой. Я думал о нашей борьбе, взлетах, о сутолоке Лондона, пестрой толпе людей, среди которых протекала наша жизнь, о шумных сборищах, волнениях, званых обедах и спорах, и внезапно мне показалось, что ничего этого не было. Словно откровение, пришла эта мысль: ничего не было! И раньше и потом я думал и говорил, что жизнь — это фантасмагория, но никогда я не ощущал этого так остро, как той ночью... Мы разлучены; мы двое, которые так долго были вместе, разлучены. Но я знал, что это не конец ни для него, ни для меня. Его смерть — это сон, как сном была его жизнь, и теперь мучительный сон жизни кончился. И мне чудилось, что я тоже умер. Не все ли равно? Ведь все нереально — боль и желание, начало и конец. Есть только одна реальность: эта пустынная дорога — пустынная дорога, по которой то устало, то недоуменно бредешь совсем один...

Из тумана появился огромный мастиф, пес подошел ко мне и остановился, потом с ворчанием обошел вокруг, хрипло, отрывисто пролаял и опять растворился в тумане.

Мои мысли обратились к извечным верованиям и страхам рода человеческого. Мое неверие и сомнения соскользнули с меня, как слишком широкая одежда. Я совсем по-детски стал думать о том, что за собаки лают на дороге того, другого путника в темноте, какие образы, какие огни, быть может, мелькают перед ним теперь, после нашей последней встречи на земле — на путях, которые реальны, на дороге, которой нет конца?

IX

Позже всех у смертного одра моего дяди появилась тетушка Сьюзен. Когда уже не осталось надежды, что он будет жить, я уже не старался сохранять наше инкогнито (если оно еще оставалось) и послал ей телеграмму. Но она приехала слишком поздно и не застала дядю в живых. Она увидела его, всегда такого говорливого, оживленного, тихим и умиротворенным, странно застывшим.

— Это не он,— прошептала она с благоговейным трепетом перед этой чуждой дяде степенностью.

Особенно ясно запомнилось мне, как она говорила и плакала на мосту под старым замком. Мы избавились от каких-то доморощенных репортеров из Биаррица и под горячим утренним солнцем пошли через Порт Люзон. Некоторое время мы стояли, опершись на перила моста, и смотрели на дальние вершины, на синие массивы Пиренеев. Мы долго молчали, наконец тетя Сьюзен заговорила.

— Жизнь — странная штука, Джордж,— начала она.— Кто мог бы подумать там, в Уимблхерсте, когда я штопала твои носки, что конец будет таким? Какой далекой кажется теперь эта лавчонка — его и мой первый дом. Блеск бутылей, большущих цветных бутылей! Помнишь, как отражался свет на ящичках из красного дерева? Позолоченные буковки! «Ol Amjig» и «S'nap!» Я все это помню. Такое яркое и блестящее — совсем как на голландской картине. Правда! И вчера... И вот теперь мы как во сне. Ты мужчина, а я старуха, Джордж. А бедный медвежонок, который вечно суетился и болтал,— такой шумливый... О!

Голос у нее пресекся, и неудержимо полились слезы. Она плакала, и я обрадовался, что она наконец плачет...

Она стояла, наклонившись над перилами, комкая в руке мокрый от слез платок.

— Один бы час побыть в старой лавчонке — и чтоб он опять говорил. Прежде чем все случилось. Прежде чем его завертели. И оставили в дураках... Мужчины не должны так увлекаться делами... Ему не сделали больно, Джордж? — спросила она вдруг.

Я взглянул на нее недоуменно.

— Здесь,— объяснила она.

— Нет,— храбро солгал я, подавив воспоминание об идиотском шприце, которым желторотый доктор колол его при мне.

— Как ты думаешь, Джордж, ему позволят говорить на небесах? — Она взглянула на меня.— Джордж, дорогой, у меня так болит сердце, и я не понимаю, что говорю и что делаю. Дай я обопрусь на твою руку, дорогой, хорошо, что ты есть и можно на тебя опереться... Да, я знаю, ты меня любишь. Поэтому я и говорю. Мы всегда

любили друг друга, хотя никогда не говорили об этом, но ты знаешь, и я знаю. Сердце мое разрывается на части, просто разрывается, и я больше не в силах скрывать все, что скрывала... Правда, последнее время он уже не очень-то был мне мужем. Но он был моим ребенком, Джордж, моим ребенком и всеми моими детьми, моим глупым малышом, а жизнь колошматила его, и я ничего не могла поделать, ничего не могла. Она раздула его, как пустой кулек, а потом хлопнула — прямо на моих глазах. У меня хватало ума, чтобы все видеть, но не хватало, чтобы помешать этому, я только и могла, что поддразнивать его. Мне пришлось смириться. Как большинству людей. Как большинству из нас... Но это было несправедливо, Джордж. Несправедливо. Жизнь и смерть так серьезны и значительны, почему же они не оставили его в покое со всеми его выдумками и делами? Мы и не подозревали, до чего все это легковесно...

— Почему они не оставили его в покое? — повторила она шепотом, когда мы возвращались в гостиницу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛЮБОВЬ СРЕДИ РАЗВАЛИН

I

Возвратившись в Лондон, я увидел, что мое участие в побеге и смерть дяди сделали меня на время популярной, чуть ли не знаменитой личностью. Я прожил там две недели, «держа голову высоко», как сказал бы дядюшка, и стараясь облегчить положение тети Сьюзен, и я до сих пор дивлюсь тому, как деликатно со мной обращались. Тогда уже стало повсюду известно и распространилась молва, что мы с дядей — отъявленные бандиты современного образца, пустившие на ветер сбережения вкладчиков из одной лишь страсти к аферам. По-видимому, смерть дяди вызвала своего рода реакцию в мою пользу, а полет, о некоторых подробностях которого уже узнали, поразил воображение публики. Полет воспринимали как подвиг более трудный и смелый, чем это было

в действительности, а мне не хотелось сообщать в газеты то, что я сам об этом думаю. Люди, как правило, сочувствуют скорее напору и предприимчивости, чем элементарной честности. Никто не сомневался, что я был главной пружиной дядиных финансовых махинаций. И все же ко мне благоволили. Я даже получил разрешение от поверенного недели на две остаться в шале, пока не разберусь в беспорядочной груде бумаг, расчетов, записей, чертежей и прочего, брошенных мною, когда я поехал очертя голову на остров Мордет за куапом. Теперь я был в шале один. Котопа я устроил к Илчестерам, для которых конструирую теперь миноносцы. Они хотели, чтоб Котоп сразу же приступил к работе, а так как он нуждался в деньгах, то я отпустил его и весьма стоически взялся за дело сам.

Но оказалось, что мне трудно сосредоточиться на аэронавтике. Прошло добрых полгода с тех пор, как я оторвался от своей работы,— и это были напряженные и тревожные месяцы. Какое-то время моя мысль решительно отказывалась сосредоточиться на сложных проблемах равновесия и регулирования и все снова возвращалась к отвалившейся челюсти дяди, к скупым слезам тети Сьюзен, к мертвым неграм и вредоносной топи, к таким извечным проблемам, как жестокость и боль, жизнь и смерть. Кроме того, мозг мой был перегружен ужасающим количеством документов и цифр, относящихся к Хардингему,— разбираться в этом мне предстояло сразу же после поездки в «Леди Гров». И к тому же снова появилась Беатриса.

Утром на второй день после приезда я сидел на веранде, погруженный в воспоминания, и безуспешно пытался вникнуть в смысл каких-то слишком кратких карандашных записей Котопа, как вдруг из-за дома показалась Беатриса и осадила коня; да, это была Беатриса, слегка разрумянившаяся от езды на огромном вороном коне. Я не сразу поднялся. Я смотрел на нее во все глаза.

— Вы! — сказал я.

Она спокойно оглядела меня.

— Да,— ответила она.

Я позабыл обо всякой учтивости. Я встал и задал пустяковый вопрос, который вдруг пришел мне в голову:

— Чья это лошадь?

Она посмотрела мне в глаза.

— Кэрнеби,— ответила она.

— Как это вы появились с той стороны?

— Снесли стену.

— Снесли? Уже?

— Большую часть — там, где новые насаждения.

— И вы проезжали там и попали сюда случайно?

— Я видела вас вчера и приехала навестить.

Я подошел теперь совсем близко к ней и глядел ей в лицо.

— Я теперь только тень,— сказал я.

Она промолчала и все смотрела на меня в упор с каким-то странным выражением, словно на свою собственность.

— Знаете, я ведь теперь единственный оставшийся в живых после кораблекрушения. Я качусь и падаю со всех ступеней общественной лестницы... Дело случая, скачусь ли я на дно благополучно или застряну на годик-другой во мраке какой-нибудь расщелины.

— Вы загорели...— заметила она ни с того ни с сего.— Я слезаю.

Она соскользнула в мои объятия, и мы стояли лицом к лицу.

— А где Котоп? — спросила она.

— Уехал.

Она быстро, мельком взглянула на шале и опять на меня. Мы стояли друг против друга, необычайно близкие и необычайно далекие.

— Я никогда не была в этом вашем домишке,— сказала она,— я хочу зайти.

Она перекинула поводья вокруг столба веранды, и я помог ей привязать коня.

— Вы достали то, зачем ездили в Африку? — спросила она.

— Нет,— сказал я.— Я потерял свой корабль.

— И, значит, потеряли все?

— Все.

Она вошла в гостиную первой, и я увидел, что она крепко сжимает в руке хлыст. С минуту она осматривала все вокруг, потом взглянула на меня.

— Уютно,— сказала она.

Наши глаза встретились — они говорили совсем не

то, что говорили губы. Нас словно обволакивало жаром, толкало друг к другу; непривычная робость сковывала нас. После минутного молчания Беатриса овладела собой и стала разглядывать обстановку в моей гостиной.

— У вас ситцевые занавеси. Мне казалось, мужчины слишком безалаберны, чтобы без женщины подумать о занавесках... Впрочем, это, конечно, ваша тетушка позаботилась! И кушетка, и медная решетка у камина, и... это что — пианола? Вот и ваш письменный стол. Я думала, у мужчин письменный стол всегда в беспорядке, покрыт пылью и табачным пеплом.

Она порхнула к книжной полке и моим цветным гравюрам. Потом подошла к пианоле. Я пристально следил за ней.

— Эта штука играет? — сказала она.

— Что? — спросил я.

— Эта штука играет?

Я стряхнул с себя оцепенение.

— Как музыкальная горилла с пальцами одинаковой длины. И даже с какой-то душой... Другой музыки мне не приходится слушать.

— Что она играет?

— Бетховена, если хочу прочистить мозги, когда работаю. Он такой... он помогает работать. Иногда Шопена и других, но Бетховена чаще. Бетховена чаще всего. Да.

И снова наступило молчание. Она заговорила с усилием:

— Сыграйте что-нибудь.— Она отвернулась и стала изучать рулоны нот, заинтересовалась ими, взяла первую часть «Крейцеровой сонаты» и в нерешительности отложила.

— Нет,— сказала она,— вот это!

Она протянула мне второй концерт Брамса, опус 58, свернулась клубочком на кушетке и смотрела, как я медленно усаживаюсь за пианолу...

— Послушайте, да ведь это чудесно,— сказала она, когда я кончил.— Вот уж не думала, что эти штуки так играют. Я прямо взволнована...

Она подошла и стала рядом, наблюдая за мной.

— Пусть будет настоящий концерт,— сказала она вдруг и принужденно засмеялась, роясь в ящичках.—

Теперь... теперь что достать? — Она опять остановилась на Брамсе. Потом выбрала «Крейцерову сонату». Удивительно, как много домыслов внес в нее Толстой, как извратил, сделал из нее какой-то символ позора и интимности. Когда я играл первую часть, Беатриса подошла к пианоле и в раздумье склонилась надо мной. Я сидел, не шевелясь, и ждал...

Вдруг она обхватила мою склоненную голову и поцеловала мои волосы. Потом сжала руками мое лицо и поцеловала в губы. Я притянул ее к себе, и мы поцеловались. Я вскочил и обнял ее крепче.

— Беатриса,— сказал я,— Беатриса!

— Милый,— прошептала она, почти не дыша и тоже обнимая меня.— О милый!

II

Любовь, как и все в беспредельном хаосе нашего общества,— игрушка судьбы, она бесплодна, от всего оторвана. И моя любовь к Беатрисе не была связана с другими событиями, она имела значение лишь сама по себе — это и знаменательно, и именно потому я о ней рассказываю. Она рдеет в моей памяти, подобно причудливому цветку, вдруг распустившемуся на обломках катастрофы. Почти две недели мы были вместе и любили друг друга. Опять это могучее чувство, которое наша неразумная цивилизация заковывает в кандалы, калечит, обрекает на бесплодие и унижения, овладело мною, захлестнуло пылкой страстью и торжественной радостью, и все это, представьте себе, оказалось пустым и напрасным. Опять я был во власти убеждения: «Это важно. Это важнее всего на свете». Мы оба, и я и Беатриса, были бесконечно серьезны в своем счастье. Не помню, чтоб мы хоть раз смеялись.

Счастье длилось двенадцать дней — с первой встречи в моем шале и до нашей разлуки.

Стояли прекрасные летние дни, луна прибывала, и только под самый конец погода испортилась. Забыв обо всем, мы встречались каждый день. Мы были так поглощены друг другом, своими разговорами, так полны нашим счастьем, что не думали таиться. Мы встречались почти открыто... Мы говорили обо всем, что приходило в

голову, и о самих себе. Мы любили. Предупреждали желания друг друга. Нет у меня таких слов, чтобы рассказать, как преобразилась для нас жизнь. И дело не в реальных вещах. Все, чего бы мы ни касались, самое незначительное, становилось чудесным. Разве я могу описать безграничную нежность, и восторг, и полноту обладания?

Я сижу за моим письменным столом и думаю о вещах, которых не передашь словами.

Я так много узнал о любви, что знаю теперь, какой она может быть. Мы любили, запуганные и запятнанные; наша разлука была позорной и неизбежной, но по крайней мере я испытал любовь.

Помню, мы сидели в канадском каноэ, в бухточке, поросшей камышом и укрытой кустами, которую мы нашли на этом осененном соснами Уокингском канале, и Беатриса рассказывала, как она жила до того, как мы снова встретились.

Она рассказывала мне о своем прошлом, и ее рассказы связывали и тем самым объясняли мои разрозненные воспоминания, так что мне казалось, будто я давно уже все знал. И, однако, я ничего не знал и ни о чем не догадывался, разве что порой мелькало какое-нибудь подозрение.

Теперь я понял, какой отпечаток наложила жизнь на характер Беатрисы. Она говорила мне о своих девичьих годах.

— Мы были бедны, но с претензиями и энергичны. Мы изворачивались, чтоб прилично одеваться, кормились у чужого стола. Мне нужно было выйти замуж. Но подходящей партии не находилось. Мне никто не нравился.

Она помолчала.

— Потом появился Кэрнеби.

Я сидел неподвижно. Теперь она говорила, опустив глаза и слегка касаясь пальцем воды.

— Все так надоедает, надоедает безнадежно. Бываешь в огромных роскошных домах. Богатство, наверно, такое, что и не измерить. Стараешься угодить женщинам и понравиться мужчинам. Нужно одеваться... Тебя кормят, занимаешься спортом, у тебя масса свободного времени. И этим свободным временем, простором, неограниченными возможностями, кажется, грешно не воспользоваться. Кэрнеби не такой, как другие мужчины. Он

выше... Они играют в любовь. Все они играют в любовь. И я тоже играла... А я ничего не делаю наполовину.

Она остановилась.

— Ты знал? — спросила она, взглянув на меня в упор.

Я кивнул.

— Давно?

— В те последние дни... Право, это не имело значения. Я удивился немного...

Она спокойно смотрела на меня.

— Котоп знал,— сказала она.— Чутьем знал. Я чувствовала это.

— Наверно, раньше это имело бы огромное значение,— начал я.— Но теперь...

— Ничего не имеет значения,— договорила она за меня.— Мне казалось, я обязана тебе сказать. Я хотела, чтоб ты понял, почему я не вышла за тебя замуж... с закрытыми глазами. Я любила тебя,— она остановилась,— любила с той минуты, когда поцеловала в папоротнике. Только... я забыла.

И вдруг она уронила голову на руки и разрыдалась.

— Я забыла... я забыла...— сказала она, плача, и умолкла.

Я ударил веслом по воде.

— Послушай! — сказал я.— Забудь опять. Стань моей женой. Видишь, я разорен.

Не глядя на меня, она покачала головой.

Мы долго молчали.

— Будь моей женой,— прошептал я.

Она подняла голову, откинула локон и бесстрастно сказала:

— Я бы очень этого хотела. Ничего, зато у нас были эти дни. Ведь чудесные были дни... Правда, для тебя тоже? Я не скупилась, я давала тебе все, что могла дать. Это ничтожный дар... хотя сам по себе он, может быть, значит много. Но теперь мы подходим к концу.

— Почему? — спросил я.— Будь моей женой! Почему мы оба должны...

— Ты думаешь, у меня хватит мужества прийти к тебе и остаться с тобой навсегда... когда ты беден и работаешь?

— А почему нет? — сказал я.

Она серьезно взглянула на меня.

— Ты в самом деле так думаешь?.. Что я могу? Разве ты не понял, какая я?

Я медлил с ответом.

— Я никогда по-настоящему не собиралась стать твоей женой,— сказала она твердо.— Никогда. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Но когда я думала, что ты идешь в гору, я сказала себе, что не выйду за тебя. Я томилась от любви к тебе, и ты был такой глупенький, что я чуть было не решилась на это. Но я знала, что недостойна тебя. Разве я жена для тебя? У меня дурные привычки, дурные знакомства, я запятнанная женщина. Какая от меня польза, кем я была бы для тебя? И если я не гожусь в жены богатому человеку, то уж, конечно, бедняку и подавно. Прости, что я рассуждаю в такую минуту, но мне хотелось сказать тебе об этом когда-нибудь...

Она замолчала, увидя мой нетерпеливый жест. Я привстал, и каноэ закачалось на воде.

— Мне все равно,— сказал я.— Я хочу, чтоб мы поженились, чтоб ты была моей женой!

— Не надо, ты только все испортишь...— возразила она.— Это невозможно!

— Невозможно!

— Подумай! Я не умею даже сама причесываться. Или, может быть, ты собираешься нанять мне горничную?

— Боже мой! — воскликнул я, совсем сбитый с толку.— Неужели ты ради меня не научишься причесываться? Ты хочешь сказать, что можешь любить и...

Она протянула ко мне руки.

— Ты только все испортишь! — воскликнула она.— Я дала тебе все, что у меня есть, все, что могу. Если бы я могла стать твоей женой, будь я достойна тебя, я сделала бы это. Но я избалована и разорена, и ты тоже, милый, разорен. Когда мы только влюбленные — все хорошо, но, подумай, какая пропасть между всеми нашими привычками и взглядами на вещи, воспитанием и желаниями, когда мы не только влюбленные. Подумай об этом. Впрочем, не надо думать об этом! Пока что не надо об этом думать. Мы украли у жизни несколько часов. И еще несколько часов мы можем быть вместе!

Она вдруг опустилась на колени, и ее темные глаза заискрились.

— Пускай каноэ перевернется! — воскликнула она.— Если ты скажешь еще одно слово, я поцелую тебя. И пойду ко дну, обняв тебя. Я не боюсь. Ни капельки не боюсь. Я умру с тобой вместе. Выбери смерть, и я умру с тобой, не раздумывая! Послушай! Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. И только потому, что люблю тебя, я не хочу опуститься, не хочу, чтобы жизнь у нас была тусклая, грязная. Я дала все, что могла. И получила все, что могла... Скажи,— и она подвинулась ближе,— была я для тебя как сумерки, как теплые сумерки? И очарование еще осталось? Послушай, как капает вода с твоего весла, взгляни на мягкий вечерний свет в небе. Пускай каноэ перевернется. Обними меня. Мой любимый, обними меня! Вот так.

Она притянула меня к себе, и наши губы слились в поцелуе.

III

И еще раз я просил ее стать моей женой.

Это было последнее утро, которое мы провели вместе; мы встретились очень рано, еще до восхода солнца, зная, что должны расстаться. В тот день не сияло солнце. Небо хмурилось, утро было прохладное, на землю падал ясный, холодный, безжизненный свет. Воздух был пронизан сыростью, и казалось, вот-вот польет дождь. Когда я думаю об этом утре, я всегда представляю себе сероватую золу, смоченную дождем.

Изменилась и Беатриса. Ее движения утратили упругость; впервые мне пришло на мысль, что когда-нибудь и она состарится. Она была теперь такой, как и все люди, голос ее и облик утратили мягкость, ушло сумеречное очарование. Я видел все это очень ясно, и жалел об этих переменах, и жалел Беатрису. Но любовь моя ничуть не изменилась, ни капельки не стала меньше. И после того как мы обменялись несколькими вымученными фразами, я снова взялся за свое.

— Выйдешь ты наконец за меня замуж? — с глупым упрямством воскликнул я.

— Нет,— сказала она,— я буду жить, как жила прежде.

Я просил ее выйти за меня через год. Она покачала головой.

— Наш мир отзывчив,— сказал я,— хоть он и принес мне столько бед. Я знаю теперь, как надо вести дела. Если бы я трудился для тебя, я стал бы через год преуспевающим человеком...

— Нет,— перебила она,— скажу прямо, я возвращаюсь к Кэрнеби.

— Но погоди!

Я не рассердился. Не почувствовал ни укола ревности, ни обиды, даже самолюбие мое не было уязвлено. Я чувствовал лишь тоскливое одиночество, чувствовал, как безнадежно мы не можем понять друг друга.

— Послушай,— сказала она,— я не спала всю ночь, все эти ночи. Я думала об этом... каждую минуту, когда мы не были вместе. Я говорю не сгоряча. Я люблю тебя. Люблю. Я могу повторять это тысячи раз. Но все равно...

— До конца жизни вместе,— сказал я.

— Тогда мы не будем вместе. Теперь мы вместе. Теперь мы были вместе. Мы полны воспоминаний. Мне кажется, я никогда ничего не смогу забыть.

— И я не забуду.

— Но на этом я хочу кончить. Понимаешь, милый, иного выхода нет.

Она посмотрела на меня, в лице ее не было ни кровинки.

— Все, что я знаю о любви, все, о чем я мечтала, что когда-либо знала о любви, я отдала тебе в эти дни. Ты думаешь, мы могли бы жить под одной крышей и все так же любить друг друга? Нет! Для тебя я не могу повторяться. Ты получил лучшее, что есть во мне, всю меня. Разве ты бы хотел, чтобы после этого мы виделись где-нибудь в Лондоне или в Париже, таскались по жалким портнихам, встречались в cabinet particulier[1]?

— Нет,— сказал я.— Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы ты вместе со мной вела эту игру, которая называется жизнью, как подобает честной жен-

[1] В отдельном кабинете *(франц.)*.

щине. Будем жить вместе. Будь моей женой и верной спутницей. Рожай мне детей.

Я смотрел на ее бледное, искаженное лицо, и мне казалось, что ее еще можно убедить. Я подыскивал слова.

— Боже мой! — воскликнул я.— Но ведь это — малодушие, Беатриса, это глупо! Неужели ты испугалась жизни? Пусть кто угодно, но не ты. Не все ли равно, что было и чем мы были? Мы здесь, и перед нами весь мир! Вступи в него чистая и обновленная со мною вместе. Мы завоюем его! Я не такой уж слепо влюбленный простак и честно скажу тебе, если увижу, что ты ошибаешься, я все сделаю, чтоб устранить наши разногласия. Я хочу лишь одного, только одно мне нужно: чтобы ты была со мной всегда, всегда со мной. Этот наш короткий роман... это только роман. Это лишь частица нашей жизни, эпизод...

Беатриса покачала головой и резко остановила меня.

— Это все,— сказала она.

— Нет, не все! — запротестовал я.

— Я благоразумнее тебя. Куда благоразумнее.

Она посмотрела на меня, в глазах ее стояли слезы.

— Хорошо, что ты сказал мне это,— я хотела, чтоб ты так сказал. Но ведь это вздор, милый. Ты сам знаешь, что вздор.

Я хотел было продолжать с тем же пафосом, но она не стала слушать.

— Все это ни к чему! — почти с раздражением воскликнула она.— Этот жалкий мир сделал нас... такими. Неужели ты не видишь, неужели не видишь... что я такое? Я умею дарить любовь и быть любимой, вот это я умею! Не осуждай меня, милый. Я отдала тебе все, что у меня есть. Будь у меня что-нибудь еще... Я мысленно пережила это все снова и снова... Все обдумала. Сегодня утром у меня болит голова, болят глаза. Свет погас во мне, и я совсем больна и очень устала. Но я говорю истину — горькую истину. Какая я тебе помощница, какая жена, какая мать твоим детям? Я испорчена, избалована богатой, праздной жизнью, все мои привычки дурные и склонности дурные. Мир устроен дурно. Богатство может так же погубить человека, как и бедность. Разве я не пошла бы за тобой, если бы могла, если б не знала заранее, что свалюсь, буду еле волочить ноги уже на первой

полумиле пути? Я проклята! Проклята! Но я не хочу навлечь проклятие на тебя. Ты сам знаешь, какая я! Знаешь. Ты слишком чист и бесхитростен, чтобы не знать правды. Ты стараешься идеализировать и бодришься, но ты знаешь правду. Я просто дрянцо — проданная и погибшая. Я... Ты думаешь, милый, что я вела себя дурно, но ведь все эти дни я вела себя как нельзя лучше... Ты не понимаешь, потому что ты мужчина. Уж если женщина испорчена, она испорчена безвозвратно. Она грязна насквозь. Она человек погибший.

Беатриса шла и плакала.

—Ты глупец, что зовешь меня,— сказала она.— Ты глупец, что зовешь меня... Это не годится ни для меня, ни для тебя. Мы сделали все, что могли. Это романтика, не больше...

Она смахнула слезы и посмотрела на меня.

— Разве ты не понимаешь? — настаивала она.— Разве ты не знаешь?

С минуту мы молча смотрели друг на друга.

— Да,— сказал я.— Знаю.

Мы оба долго молчали; мы шли медленно, печально, стараясь отдалить разлуку. Когда мы, наконец, повернули к дому, Беатриса опять заговорила.

— Ты был моим,— сказала она.

— Ни бог, ни дьявол не могут изменить этого,— отозвался я.

— Я хотела... — продолжала она.— Я разговаривала с тобой по ночам, придумывала речи. Теперь, когда я хочу их произнести, у меня скован язык. Но мне кажется, что минуты, когда мы были вместе, сохранятся на всю жизнь. Настроение и чувства приходят и уходят. Сегодня мой свет погас...

По сей день я не могу вспомнить, сказала ли она, или мне померещилось, что она сказала «хлорал». Может быть, подсознательно ставя диагноз, я вбил себе это в голову. Может быть, я жертва какой-нибудь странной игры воображения, намек на такую возможность мелькнул и застрял у меня в памяти. Как бы то ни было, слово это живет в памяти, как будто выведенное огненными буквами.

Наконец мы подошли к калитке дома леди Оспри; начало моросить.

Беатриса протянула мне руки, и я взял их в свои.

— Все, что у меня было... так, как оно было,— твое,— сказала она усталым голосом.— Ты не забудешь?

— Никогда.

— Ни одного прикосновения, ни одного слова?

— Да.

— Не забудешь,— сказала она.

Мы молча смотрели друг на друга, и лицо ее было бесконечно усталым и печальным.

Что я мог сделать? Что тут можно было сделать?

— Я бы хотел...— сказал я и запнулся.

— Прощай.

IV

Эта встреча должна была быть последней, но мне суждено было увидеть Беатрису еще раз. Спустя два дня, не помню уже по какому делу, я был в «Леди Гров» и шел обратно к станции, вполне уверенный, что Беатриса уехала, и вдруг встретил ее — она появилась верхом на коне вместе с Кэрнеби, совсем как в тот день, когда я увидел их впервые. Встреча произошла совершенно неожиданно. Беатриса проехала мимо, почти не обратив на меня внимания; ее черные глаза глубоко запали на бледном лице. Увидев меня, она вздрогнула, вся как-то окаменела и кивнула головой. Но Кэрнеби, который считал меня человеком, пришибленным несчастьем, по-приятельски раскланялся со мной и добродушно сказал какую-то банальную фразу.

Они скрылись из виду, я остался у дороги...

Вот тогда-то я познал всю горечь жизни. Впервые я ощутил полнейшую безнадежность; невыносимый стыд и сожаление терзали мою душу, сковали волю.

Когда я расстался с Беатрисой, чувства мои были притуплены, с сухими глазами и здравым рассудком я принял разорение и смерть дяди, но эта случайная встреча с моей навсегда потерянной Беатрисой вызвала жгучие слезы. Лицо мое исказилось, и слезы потекли по щекам. В эти минуты неизбывная скорбь вытеснила все остальные чувства.

— О боже! — крикнул я.— Это слишком.

Я смотрел туда, куда она скрылась, воздевая руки к небу и проклиная судьбу. Мне хотелось совершить что-

нибудь нелепое, погнаться за ней, спасти ее, повернуть жизнь вспять, чтобы Беатриса могла начать все сначала. Интересно, что произошло бы, если бы я на самом деле догнал их, плача, задыхаясь от бега, произнося бессвязные слова, увещевая? А я ведь готов был это сделать.

Никому ни на земле, ни на небе не было дела до моих слез и проклятий. Я плакал, и вдруг появился какой-то человек — он подстригал на противоположной стороне живую изгородь — и уставился на меня.

Я встряхнулся, кое-как овладел собой, зашагал вперед и поспел на свой поезд...

Но боль, терзавшая меня тогда, терзала меня еще сотни раз, она со мной и сейчас, когда я об этом пишу. Она пронизывает эту книгу, да, это она пронизывает мою книгу с начала и до конца.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НОЧЬ И МОРСКОЙ ПРОСТОР

I

В своей повести от первой до последней страницы я старался писать обо всем так, как оно было. В самом начале — на столе передо мной еще лежат исписанные, исчерканные, смятые, с отогнувшимися углами страницы — я уже говорил, что хотел рассказать о себе и о том мире, который меня окружает, и я сделал все, что мог. Справился ли я с этой задачей, не знаю. Написанное потеряло уже для меня смысл, стало тусклым, мертвым, банальным; есть страницы, которые я знаю наизусть. И не мне судить о достоинствах этой книги.

Когда я перелистываю эту пухлую рукопись, многое становится для меня яснее, и особенно ясно я вижу, что не достиг того, к чему стремился. Я понимаю теперь, что это повесть о кипучей деятельности, упорстве и бесплодности затраченных усилий. Я назвал ее «Тоно Бенге», но куда больше ей подошло бы название «Тщета». Я рассказал о бездетной Марион, о бездетной тете Сьюзен, о Беатрисе — опустошенной и опустошающей и бесполезной. На что может надеяться народ, если его женщины становятся бесплодными? Я думаю о том, сколько

энергии я вложил в пустые дела. Думаю о том, как усердно мы с дядюшкой замышляли всякие проекты, о его блистательной, нелегко доставшейся ему карьере, о том, с каким треском прекратилась постройка дома в Крестхилле. Десятки тысяч людей завидовали дядюшке, мечтали жить, как он. Все это повесть о затраченных впустую усилиях, о людях, которые потребляют и не производят, о стране, снедаемой изнуряющей лихорадкой бессмысленного торгашества, погони за деньгами и наслаждениями. А теперь я строю миноносцы!

Возможно, многие люди иначе представляют себе нашу страну, но я видел ее именно такой. В одной из первых глав этой книги я сравнил колорит и изобилие нашей жизни с октябрьской листвой, пока листья еще не побило морозом. Мне и теперь кажется, что это удачный образ. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, я потому вижу вокруг себя разложение, что оно в какой-то мере затронуло и меня. Может быть, для других это картина успеха и созидания, озаренная лучами надежды. И у меня есть какая-то надежда, но надежда на далекое будущее; я не жду, что она осуществится в нашей стране или в великих начинаниях нашего времени. Я не знаю, как расценит их история, и не берусь гадать, оправдает ли их время и случай; я рассказал лишь о том, как они отразились в сознании одного их современника.

II

Я писал последнюю главу этой книги и в то же время усиленно работал над завершением нового миноносца. Эти занятия странно дополняли друг друга. Недели три назад мне пришлось отложить рукопись в сторону и дни и ночи отдавать монтажу и отделке моторов. В прошлый четверг «Икс-2»—так мы назвали свой миноносец—был спущен на воду, и для испытания скорости я провел его по Темзе почти до самого Тиксила.

Удивительно, до чего порой смешиваются и сливаются в неразрывное целое впечатления, которые прежде были очень далекими и ничего общего между собой не имели. Стремительный бег вниз по реке был каким-то непостижимым образом связан с этой книгой. Я плыл по Темзе, и казалось, передо мною проходит вся Англия, и я

смотрю на нее новыми глазами. Я видел ее такой, какой мне хотелось бы, чтоб ее увидел читатель. Эта мысль зародилась, когда я осторожно пробирался через Пул, она стала отчетливой, когда я вышел на простор ночного Северного моря...

Это был не столько итог каких-то раздумий, как образ, отпечатавшийся четко в мозгу. «Икс-2» шел, разрезая грязную маслянистую воду, как ножницы режут холст, и я, казалось, думал только о том, как мне провести его под мостами, между пароходами, баржами, шлюпками и причалами. Всем своим существом я устремился вперед. Я не замечал тогда ничего, кроме препятствий на моем пути, а между тем в глубине сознания запечатлевалось все, что я видел, живо и со всеми подробностями.

«Это и есть Англия,— вдруг подумал я.— Вот что я хотел показать в своей книге. Именно это!»

Мы отплыли к концу дня. Под стук моторов мы вышли из верфи выше Хаммерсмитского моста, с минуту вертелись на месте и повернули вниз по течению. Мы легко пронеслись через Кревен-Рич, мимо Фулхема и Харлингема, миновали далеко протянувшийся заболоченный луг и грязное предместье Баттерси и Челси, обогнули мыс с чистенькими фасадами зданий на Гросвенор-роуд, нырнули под мост Воксхолл, и перед нами предстал Вестминстер. Мы проскочили мимо вереницы угольных барж, а дальше, освещенное октябрьским солнцем, высилось здание парламента, над ним развевался флаг, парламент заседал...

Тогда я видел его, не видя; потом он возник в сознании как средоточие всей этой широкой, развернувшейся передо мною предвечерней панорамы. Застывшее кружево этой угловатой викторианской готики и голландские часы, увенчивающие башню, вдруг загородили дорогу и воззрились на меня, потом, сделав легкий пируэт, отступили и замерли позади, словно ожидая, пока я удалюсь. Казалось, они спрашивали: «Так ты не хочешь уважать меня?»

Ну, нет! Здесь, внутри этой громады, детища викторианской архитектуры, взад и вперед расхаживают землевладельцы и адвокаты, епископы, владельцы железных дорог и магнаты коммерции — носители неискоренимых традиций Блейдсовера, проникнутого новым коммерче-

ским духом, мишурой знатности и титулов, приобретаемых за деньги. Все это хорошо мне знакомо. Тут же суетятся ирландцы и лейбористы, поднимая много шума, но без особого толка — насколько я понимаю, ничего лучшего они не могут предложить. Уважать все это? Как бы не так. Есть здесь и некие атрибуты величия, но кого это может обмануть? Сам король приезжает в золоченой карете открыть представление, на нем длинная мантия и корона; и вот выставляются напоказ толстые и тонкие ноги в белых чулках, толстые и тонкие ноги в черных чулках, шествуют судьи — хитроватые пожилые джентльмены в горностае. Я вспомнил, как однажды вместе с тетей Сьюзен провел несколько часов среди букетов качающихся из стороны в сторону дамских шляп в королевской галерее палаты лордов; король открывал тогда заседание, и герцог Девонширский, которому, видимо, ужасно надоело нести подвешенный на шею поднос со скипетром и державой, был похож на разряженного разносчика. Это было удивительное зрелище!..

Она, конечно, совсем особенная, эта Англия,— кое-где она даже величественна и полна милых сердцу воспоминаний. Но подлинная сущность того, что скрывается под мантиями, остается неизменной. А сущность эта — жадное торгашество, низменная погоня за барышами, беззастенчивая реклама; королевский сан и рыцарство, хоть и облачены они в пышные мантии, давно умерли, как тот крестоносец, могилу которого мой дядюшка спасал от крапивы, разросшейся вокруг Даффилдской церкви...

Я много думал об этой яркой предвечерней панораме.

Спуститься так по Темзе — все равно что перелистать Англию, как книгу, от первой до последней страницы. Начинаешь с Кревен-Рич, и кажется, что находишься в сердце старой Англии. Позади Кью и Хэмптон-Корт, хранящие память о королях и кардиналах, с одной стороны фулхемские епископские сады, где устраиваются приемы, а по другую сторону харлингемское поле для игры в поло, где нация удовлетворяет свою потребность в спорте. Все это в истинно-английском духе. Здесь, выше по течению Темзы, простор, старые деревья, все, что есть лучшего в родной стране. Путни тоже выглядит английским, хотя и в меньшей степени. Потом на некотором пространстве их вытесняют позднейшие постройки, нет боль-

ше Блейдсовера, справа и слева появляются районы убогих, невзрачных жилищ, потом на южном берегу — закоптелые фабричные здания, а на северном — чопорный длинный фасад добротных домов, в которых обитают люди искусства, литераторы и чиновники, он тянется от Чейн Уок почти до Вестминстера и закрывает собой джунгли трущоб. Миля за милей, медленно и постепенно нарастает темп — все теснее жмутся друг к другу дома, множится число церковных шпилей, мостов, архитектурных ансамблей,— и начинается вторая часть симфонии Лондона; теперь за кормой старый Ламбетский дворец и здание парламента перед носом судна! Впереди мелькает Вестминстерский мост, вы проноситесь под ним, и вот опять появляются и смотрят на вас круглолицые часы на башне и расправляет плечи Нью Скотленд-ярд, этот жирный здоровяк полисмен, чудодейственно замаскированный под Бастилию.

Какое-то время вы видите подлинный Лондон: с севера вокзал Черринг-Кросс — сердце мира — и набережная, где отели нового стиля затмевают георгианскую и викторианскую архитектуру, а с юга — грязь, огромные склады и фабрики, трубы, башни и реклама. На северном небе все причудливее очертания зданий, и они радуют тебя, и опять благодаришь бога за то, что на свете жил Рен. Соммерсет-Хауз живописен, как гражданская война, и тут снова вспоминаешь подлинную Англию, и в изрезанном небе чувствуется добротность каменного кружева эпохи Реставрации.

А потом—дом Астора—цитадель финансов и юридические корпорации...

(Здесь я вспомнил, как брел однажды по набережной на запад, взвешивая доводы за и против службы с жалованьем триста фунтов в год, которую предложил мне дядюшка...)

Я плыл через эту центральную, коренную часть Лондона, и мой миноносец зарывался носом в пену, ни на что не обращая внимания, словно черная гончая, бегущая в камышах бог весть по какому следу,— этого не знаю даже я, который его создал.

И вот уже появляются первые чайки, напоминая о море. Минуешь Блэкфрайерс — не найти в мире красивее этих двух мостов и берегов реки между ними,—

стоишь и видишь: над беспорядочной грудой складов и над сутолокой снующих торговцев, отрешенный, высоко в небе парит собор св. Павла. «Ну да, конечно, собор святого Павла»,— говоришь себе. Это и есть воплощение всего утонченного, что создано старой английской культурой,— обособленный и от этого еще более величественный и строгий, чем собор св. Петра, более холодный и серый, но все же пышно украшенный; он не был ниспровергнут, от него не отреклись, только высокие склады и шумные улицы забыли о нем, все забыли о нем; пароходы, баржи беспечно скользят мимо, не замечая его; телефонные провода и столбы густой черной сеткой легли на его непостижимый облик; улучив минуту, когда движение не мешает, вы оборачиваетесь, чтобы снова взглянуть на него, но его уже нет — словно облако, он растаял в мутной синеве лондонского неба.

Но вот уже скрылась вся традиционная, неоспоримая Англия. Начинается третья часть симфонии — мощный финал симфонии Лондона, который вытеснил и окончательно поглотил благонравную гармонию старины. На вас наступает Лондонский мост, и громады складов размахивают умопомрачительными подъемными кранами, с пронзительным криком носятся над головой чайки, в окружении лихтеров стоят большие корабли, и вы уже в порту, куда приходят суда со всех концов земного шара. В этой книге я много раз описывал Англию как страну феодальную, уродливую, ожиревшую и безнадежно вырождающуюся. Я снова коснусь этой струны в последний раз. Коснусь теперь, когда мне опять вспоминается озаренный солнцем, милый, скромный древний лондонский Тауэр, лежащий в просвете между складами, эта маленькая группа зданий, по-провинциальному очаровательных и благородных, над которыми нависло самое вульгарное, самое типичное порождение современной Англии, эта пародия на готику—башни стального Тауэрского моста. Этот Тауэрский мост — противовес и утверждение бездарных шпилей и башни Вестминстера... И этот псевдоготический мост — ворота в море, колыбель всех перемен!

Но вот ты очутился в мире случая и природы. Ибо третья часть лондонской панорамы не подчиняется ни-

каким законам, порядкам, не имеет традиций — это морской порт и море. Все шире становится река, и ты плывешь среди великого разнообразия судов — тебя окружают гигантские пароходы, огромные шхуны, на которых развеваются флаги всех стран мира, чудовищное скопление лихтеров, шабаш барж с коричневыми парусами; топчутся на месте буксирные суденышки, беспорядочно теснятся, наседают друг на друга подъемные краны и рангоуты, пристани и склады, назойливые надписи. Широкими аллеями расходятся вправо и влево доки, а позади и среди всего этого то тут, то там возникают шпили церквей, небольшие островки неописуемо старомодных развалившихся домов, прибрежных кабаков и других подобных заведений — остатки старины, уже давно вытесненной и поглощенной новыми строениями. И во всем этом не видишь ни плана, ни цели, ни разумного желания. Вот где ключ ко всему. Чувствуешь, как с каждым днем усиливается гнет торговли и городского транспорта, усиливается чудовищно; вот кто-то построил причал, а другой соорудил подъемный кран, эта компания обосновалась, потом та, и все вместе сгрудилось, чтобы создать эту разношерстную сумятицу движения. Сквозь него мы пробивались и проталкивались вперед, к открытому морю.

Помню, как я громко рассмеялся, взглянув на название пронесшегося мимо парохода, принадлежавшего совету лондонского графства. Он назывался «Какстон» [1], а другой пароход — «Пепис» и еще один — «Шекспир». Они шлепали по воде и казались удивительно неуместными среди этой кутерьмы. Так и хотелось вытащить их, вытереть и поставить обратно на полку в библиотеку какого-нибудь английского джентльмена. Все вокруг них жило, носилось, разбрызгивая воду, проплывало мимо,— двигались корабли, пыхтели буксиры, натягивая тросы, вниз по реке тащились баржи, команда на них орудовала длинными веслами, и вода бурлила, разбегаясь в кильватере миллионами крохотных струек, кружилась и пенилась, подстегиваемая непрерывным ветром. А мы неслись

---

[1] Какстон, Вильям (1422—1491) — английский первопечатник.

все дальше. Южнее к Гринвичу, вы знаете, тянутся прекрасные каменные фасады зданий, и в одном из них, в Пейнтед-холл, собраны реликвии побед нашей страны на море, а рядом «Корабль», на котором прежде задавали ежегодный обед господа из Вестминстера, пока лондонский порт не стал для них нестерпим. Солнце пригревало старый фасад Госпиталя, когда мы шли мимо, а потом, слева и справа, берега реки уже ничего больше не заслоняло, и от Нортфлита до Норе сильнее и сильнее чувствовалась близость моря.

Наконец, выходишь на восток, к морю, и солнце у тебя уже за спиной. Прибавляешь скорость, все быстрее разрываешь маслянистую воду, и она все сильнее шипит и пенится, и вот уже холмы Кента (по ним я когда-то бежал, спасаясь от христианских проповедей Никодима Фреппа) отступили вправо и Эссекс—влево. Они отступили и исчезли в синей дымке, а высокие медлительные корабли позади буксиров — еле движущиеся корабли и переваливающиеся с боку на бок крепыши буксиры,— когда, вспенивая волны, проносишься мимо, кажутся отлитыми из влажного золота. На них возложена странная миссия — распоряжаться жизнью и смертью, они выходят из порта, чтобы убивать людей в чужих странах. Теперь все позади затянула синяя таинственная дымка, и призрачно мерцают едва видимые огоньки, но вот уж и они исчезли, и я на своем миноносце рвусь в неизвестность по бескрайному серому простору. Мы рвемся в необъятные просторы будущего, и турбины заговорили на незнакомом языке. Мы выходим в открытое море, к овеваемой ветром свободе, на непроторенные пути. Один за другим гаснут огни. Англия и Королевство, Британия и Империя, былая гордость и былые привязанности соскальзывают за борт, за корму, скрываются за горизонтом, исчезают... исчезают... Исчезает река, исчезает Лондон, исчезает Англия...

III

Вот этот мотив я пытался оттенить — мотив, который ясно звучит в моем сознании, когда я задумываюсь о том, что рассказал в этой повести, помимо чисто личных переживаний.

Это мотив гибели и смятения, перемен и бесцельно раздувающихся мыльных пузырей, мотив напрасной любви и страданий. Но в этом хаосе слышится и другая нота. Сквозь сумятицу пробивается нечто такое, что одновременно и плод человеческих усилий и бесконечно чуждо человеку. Нечто возникает из этой неразберихи... Смогу ли я охватить все значение того, что так существенно и вместе с тем так неощутимо? Оно властно взывает к таким людям, как я.

В последней главе моей повести я представил как символ этого свой миноносец — неумолимый, стремительный, бесстрастный и чуждый всем человеческим интересам. Иногда я представляю себе, что это — Наука, иногда — Истина. Мы с болью и усилием вырываем это «нечто» из самого сердца жизни, распутываем и пытаемся уяснить себе, что это значит. Люди по-разному служат ему — и в искусстве, и в литературе, и в подвиге социальных преобразований—и усматривают его в бесчисленном множестве проявлений, под тысячью названий. Для меня это прежде всего строгость форм, красота. То, что мы силимся постигнуть, и есть сердце самой жизни. Только оно вечно. Люди и народы, эпохи и цивилизации исчезают, внеся свою лепту в общий труд. Я не знаю, что это, знаю только, что оно превыше всего. Это нечто неуловимое, быть может, это качество, быть может, стихия, его обретаешь то в красках, то в форме, порой в звуках, а иногда в мысли. Оно возникает из самой жизни всегда, пока живешь и чувствуешь, из поколения в поколение, из века в век, но объяснить, что это такое и откуда оно, мой разум отказывается...

И все же я ощущал его со всей полнотой в ту ночь, когда одиноко несся вперед под рокот моторов по взбудораженным волнам бескрайнего моря...

Далеко на северо-востоке замигали огни эскадры военных кораблей, они словно размахивали белыми саблями. Я держался на таком расстоянии, что видны были мачты, но вот уже только зарницы вспыхивают вдали, где небо сливается с морем... Мною овладели мысли почти безотчетные, сомнения и мечты, о которых не расскажешь словами, и мне казалось прекрасным вот так нестись вперед и вперед сквозь пронизанный ветром звездный свет, качаясь на длинных черных волнах.

IV

Было уже утро, настал день, когда я возвращался с четырьмя измученными, голодными журналистами, которые получили разрешение сопровождать меня по сверкающей на солнце реке мимо старого Тауэра...

Ясно помню, как я смотрел вслед этим журналистам, когда они уходили от реки по какому-то переулку расслабленной, утомленной походкой. Они были славные малые и не затаили против меня злобы, и в их корреспонденциях, написанных в напыщенной, вырождающейся киплинговской манере, я выглядел, как скромная пуговица на самодовольно выпяченном брюхе Империи. Впрочем, «Икс-2» не предназначался для империи и ни для какой иной европейской державы. Мы прежде всего предложили его родной стране, но со мной не пожелали иметь дела, а меня давно перестали волновать подобные вопросы. Теперь я смотрю и на себя и на свою родину со стороны, без всяких иллюзий. Мы делаем свое дело и исчезаем.

Все мы делаем свое дело, потом исчезаем, стремясь к какой-то неведомой цели, вперед, в морской простор.

1909

Колеса фортуны

О ГЛАВНОМ ГЕРОЕ НАШЕГО РАССКАЗА

I

Если бы вы зашли во Дворец Тканей (при условии, конечно, что вы принадлежите к тому полу, который занимается подобными вещами),— итак, если бы 14-го августа 1895 г. вы зашли во Дворец Тканей в Путни, где, право же, только и можно купить что-либо стоящее, иными словами: в магазин господ Энтробус и компания,— «компания», кстати, приписано просто так,— и повернули бы направо, где штуки белого полотна и кипы одеял вздымаются до самых латунных прутьев под потолком, откуда свешиваются розовые и голубые ситцы, вас мог бы обслужить главный герой рассказа, который мы начинаем сейчас. Он подошел бы к вам, сгибаясь и кланяясь, вытянул бы над прилавком обе руки с шишковатыми суставами, вылезающие из огромных манжет, выставил бы вперед острый подбородок и без тени удовольствия во взоре спросил, чем он имеет удовольствие вам служить. В случае, если бы дело касалось, скажем, шляп, детского белья, перчаток, шелков, кружев или портьер, он лишь вежливо поклонился бы и с печальным видом, округло поведя рукой, предложил бы «пройти вон туда», то есть за пределы обозримого им пространства; при другом же, более счастливом стечении обстоятельств,— а такими могли быть: простыни, одеяла, гардинная ткань, кретон, полотно, коленкор,— он предложил бы вам присесть, в порыве гостеприимства перегнулся бы через прилавок и, судорожно притянув к себе

стул за спинку, стал бы снимать с полок, разворачивать и показывать вам свой товар. Вот при таком счастливом стечении обстоятельств вы могли бы — будь вы склонны к наблюдательности и не столь поглощены заботами о доме, чтобы пренебречь остальным человечеством,— уделить главному герою нашего рассказа более пристальное внимание.

Заметив его, вы прежде всего заметили бы в нем одну удивительную черту — незаметность. На нем был мундир его профессии: черный пиджак, черный галстук и серые в полоску брюки (скрывавшие нижнюю часть тела и исчезавшие во тьме и тайне под прилавком). Был он бледный, со светлыми, словно пыльными волосами, серыми глазами и редкими юношескими усиками под острым невыразительным носом. Черты лица у него были мелкие, но довольно правильные. На лацкане его пиджака красовалась розетка из булавок. Изъяснялся он, как вы бы не преминули заметить, одними «штампами» — фразами, не рожденными данными обстоятельствами, а сложившимися на протяжении веков и давно выученными наизусть. «Вот эта материя, сударыня,— сказал бы он,— расходится в один миг». «Ткань по четыре шиллинга три пенса за ярд — самая что ни на есть добротная». «Мы можем, конечно, показать вам кое-что и получше». «Уверяю вас, сударыня, мне это не составит никакого труда». Таков был его лексикон. Вот каким, повторяю, он показался бы вам на первый взгляд. Он суетился бы за прилавком, аккуратно свернул бы штуки товаров, которые вам показывал, отложил бы в сторону те, которые вы отобрали, достал бы книжечку с вложенным в нее листом копировальной бумаги и металлической пластинкой, небрежным, размашистым почерком, характерным для продавцов тканей, написал бы счет и крикнул бы: «Подписать!» Тут появился бы пухленький маленький управляющий, поглядел бы на счет очень внимательно (показав вам при этом аккуратный пробор посредине головы), еще более размашисто начертал бы через весь документ «Дж. М.», осведомился бы, не желаете ли вы еще чего-нибудь, и постоял бы рядом с вами,—если вы, конечно, платите наличными,— до тех пор, пока главный герой нашего рассказа не вернулся бы со сдачей. Еще один взгляд на него, и пухленький маленький управляющий,

кланяясь и извергая фонтаны любезности, проводил бы вас до выхода. На том ваша встреча с нашим героем и закончилась бы.

Но художественная литература — в отличие от хроники — не ограничивается внешней стороной событий. Литература разоблачает внутреннюю их сущность. Современная литература разоблачает эту сущность до конца. Серьезный автор обязан рассказать вам о том, что вы не могли бы увидеть, даже если вам придется при этом покраснеть. А тем, чего вы не увидели бы у этого молодого человека, что имеет наиглавнейшее значение для нашего повествования, о чем, если уж мы решили написать эту книгу, нельзя умолчать, было — наберемся смелости и скажем прямо — необычное состояние его ног.

Подойдем к делу беспристрастно и трезво. Проникнемся ученым духом и будем изъясняться точным, почти профессорским языком добросовестного реалиста. Давайте представим себе, что ноги молодого человека—это чертеж, и отметим интересующие нас детали с беспристрастностью и точностью лекторской указки. Итак, приступим к разоблачению. На правой лодыжке молодого человека с внутренней стороны вы обнаружили бы, леди и джентльмены, ссадину и синяк, а с внешней — большой желтоватый кровоподтек. На его левой голени красовалось два синяка: один — свинцово-желтый с багровыми отливами, а другой, явно более свежего происхождения, лилово-красный, угрожающе вздувшийся. Выше, если следовать по спирали, мы обнаружили бы противоестественное затвердение и красноту в верхней части икры, а над коленом, с внутренней стороны, как бы плотную штриховку из мелких ссадин. Мы увидели бы, что и правая нога на диво расцвечена синяками, особенно с внутренней стороны у колена. Пока все эти подробности вполне допустимы. Воспламененный нашими открытиями исследователь, возможно, пошел бы и дальше и обнаружил бы синяки на плечах, локтях и даже пальцах главного героя нашего рассказа. Право же, его словно били и колотили по самым разным местам. Но во всем надо знать меру, в том числе и в реалистических описаниях, а мы рассказали вполне достаточно, больше для нашей цели не требуется. Даже в художественной литературе надо уметь вовремя остановиться.

Теперь у читателя может возникнуть недоуменный вопрос: как же столь приличный с виду молодой приказчик умудрился довести свои ноги и вообще самого себя до такого плачевного состояния? Кто-нибудь, пожалуй, может высказать предположение, что его нижние конечности попали внутрь какой-нибудь сложной машины, скажем, молотилки или одной из этих нынешних бешеных косилок. Но у Шерлока Холмса (благопристойно и счастливо скончавшегося после столь блистательной карьеры) никогда бы не возникло такого предположения. Он бы сразу понял, что синяки на внутренней стороне левой ноги, если сопоставить их с размещением прочих ссадин и кровоподтеков, вне всякого сомнения, являются следствием попыток Начинающего Велосипедиста взобраться на седло, а плачевное состояние правого колена равно красноречиво указывает на последствия частых, обычно несвоевременных и, как правило, неудачных приземлений. Большой же синяк на голени и вовсе выдает новичка-велосипедиста, ибо каждому из них приходится иметь дело с разными фокусами, которые выкидывает педаль. Вы хотите всего-навсего непринужденно вести за руль свою машину и — рраз! — уже потираете ушибленную ногу. Так постепенно из наивных младенцев мы превращаемся в зрелых людей. *Два* синяка на этом месте указывают на известное отсутствие сноровки у обучающегося и заставляют предполагать, что речь идет о человеке, не привыкшем к физическим упражнениям. Пузыри на ладонях говорят о том, с какой нервной силой сжимал руль неуверенный ездок. И так далее, пока Шерлок Холмс, перейдя к рассмотрению мелких царапин, не заключил бы, что машина была допотопная, тяжелая — весом в сорок три фунта, с рогулькой вместо рамы и с гладкими шинами, причем задняя была порядком изношена.

Итак, разоблачение закончено. За благопристойной фигурой любезного приказчика, которого я имел честь вначале вам показать, встает картина ежевечерних напряженных борений: две темных фигуры и машина на темной дороге — на дороге, что ведет из Рохэмптона к Путни-хилл, если быть точным,— звук каблука, отталкивающегося от гравия, надсадное кряхтенье, крик: «Руль крепче держите, руль!», зигзагообразное, неуверенное

продвижение вперед, судорожный рывок в сторону машины вместе с человеком и — падение. Затем вы смутно различаете в темноте главного героя нашего рассказа — он сидит у обочины и в каком-то новом месте потирает ногу, а приятель его, исполненный сочувствия (но отнюдь не потерявший надежды), выправляет свернутый на сторону руль.

Вот как даже у приказчика проявляется мужественное начало, побуждая его, вопреки возможностям его профессии, вопреки доводам осторожности и ограниченности средств, искать здоровые радости и преодолевать утомление, опасность и боль. Так, стоило повнимательнее присмотреться к приказчику галантерейного магазина, и мы обнаружили под его галантерейной внешностью—человека! К этому обстоятельству (среди прочих) мы снова обратимся в конце.

II

Но хватит разоблачений! Главный герой нашего рассказа следует сейчас вдоль прилавка — приказчик как приказчик — с вашими покупками в руках, направляясь в камеру хранения, где различные ваши приобретения будут упакованы старшим экспедитором и отосланы вам домой. Вернувшись на свое место, наш герой схватит штуку клетчатой ткани и, держа материю за края, примется расправлять образовавшиеся складки. Рядом с ним ученик, обучающийся тому же высокому мастерству младшего приказчика, краснощекий рыжий парень в кургузом черном пиджачке и высоченном воротничке, не спеша разворачивает и сворачивает штуки кретона. К двадцати одному году он, возможно, тоже станет полноправным младшим приказчиком, как и мистер Хупдрайвер. Над головами их с латунных прутьев свешиваются ситцы, позади — полки, забитые рулонами белой ткани. Глядя на этих двух молодых людей, можно предположить, что все их помыслы заняты тем, как бы получше расправить материю и поровнее ее сложить. По правде же говоря, ни один из них и не думает о том, что механически делают их руки. Младший приказчик мечтает о той божественной поре — теперь до нее осталось всего четыре часа,— когда он снова примется за приобре-

тение синяков и ссадин. А думы ученика больше похожи на обычные мальчишеские мечты, и воображение его, опустив забрало, скачет по закоулкам его мозга в поисках рыцаря, с которым оно могло бы сразиться в честь Прекрасной Дамы, предпоследней из учениц в портновской мастерской наверху. Впрочем, еще лучше было бы подраться на улице с бунтовщиками, ибо тогда она могла бы увидеть его из окна.

Появление пухленького маленького управляющего с бумагой в руке возвращает обоих к действительности. Ученик развивает необычайно бурную деятельность. Управляющий критическим оком смотрит на лежащие перед ним товары.

— Хупдрайвер,— спрашивает он,— как расходится эта клетка?

Хупдрайвер отрывается от мысленного созерцания своей победы над коварным велосипедом.

— Довольно хорошо, сэр. Но крупная клетка что-то залеживается.

Управляющий останавливается у прилавка.

— Есть у вас какие-либо пожелания относительно отпуска? — спрашивает он.

Хупдрайвер ухватился за свой жиденький ус.

— Нет... Мне бы только не хотелось, сэр, идти слишком поздно.

— А что вы скажете, если через неделю?

Хупдрайвер застывает в раздумье, зажав края клетчатой ткани в руках. Лицо его отражает всю происходящую в нем борьбу. Сумеет ли он научиться за неделю? Вот в чем вопрос. Но если он откажется, отпуск получит Бриггс, и тогда дожидайся сентября, а погода в сентябре очень переменчивая. Он, естественно, принадлежит к породе оптимистов. Всем продавцам тканей приходится быть оптимистами, иначе откуда бы у них взялась такая убежденность в красоте, стойкости красок и непреходящем великолепии товаров, которые они вам продают.

Итак, решение принято.

— Это меня вполне устраивает,— произносит мистер Хупдрайвер, кладя конец паузе.

Жребий брошен. Управляющий делает пометку в своей бумажке и идет в отдел готового платья к Бриггсу —

приказчику, следующему по старшинству, которое строго блюдут во Дворце Тканей. А мистер Хупдрайвер, предоставленный самому себе, то разглаживает клетку, то впадает в задумчивость, посасывая языком дупло в зубе мудрости.

III

В тот вечер за ужином главенствующей темой разговора был бесспорно отпуск. Мистер Причард говорил о Шотландии, мисс Айзекс превозносила Бетью-и-Куд, мистер Джадсон расхваливал достоинства норфолькских равнин с таким жаром, словно это была его собственность.

— Я? — сказал Хупдрайвер, когда очередь дошла до него.— Я, конечно, проведу отпуск на велосипеде.

— Но не будете же вы целыми днями ездить на этой вашей ужасной машине? — заметила мисс Хоу из отдела костюмов.

— Буду,— заявил Хупдрайвер как можно спокойнее, теребя свои жалкие усики.— Я отправляюсь в велопробег. По южному побережью.

— Ну что ж, мистер Хупдрайвер, единственное, чего я могу вам пожелать,— это хорошей погоды,— сказала мисс Хоу.— И поменьше падать.

— Не забудьте положить в сумку баночку с арникой,— добавил младший ученик в очень высоком воротничке. (Он присутствовал при одном из уроков на вершине Путни-хилл.)

— Ты бы лучше помолчал,— отрезал мистер Хупдрайвер, пристально и угрожающе поглядев на младшего ученика, и вдруг с необычайным презрением добавил: — Сластена несчастный!

— Я теперь вполне освоился с машиной,— добавил он, обращаясь к мисс Хоу.

В другое время Хупдрайвер, очевидно, уделил бы больше внимания ироническим выпадам ученика, но сейчас мозг его был всецело занят намеченным пробегом, и ему было не до защиты своего достоинства от мелких уколов. Он рано вышел из-за стола, чтобы успеть часок поупражняться на Рохэмптонской дороге до того, как запрут двери. А к тому времени, когда в доме прикрутили

на ночь газовые рожки, он уже сидел на краю кровати, растирал колено арникой там, где появился новый ушиб, и изучал карту дорог Южной Англии. Бриггс из отдела готового платья, деливший с ним комнату, сидел в постели и покуривал в полутьме. Бриггс никогда в жизни не ездил на велосипеде, но он чувствовал, сколь малоопытен Хупдрайвер, и давал ему советы, какие только приходили в голову.

— Как следует смажьте машину,— говорил Бриггс.— Возьмите с собой два лимона. Не утомляйтесь до бесчувствия в первый день. Держитесь в седле прямо. Не теряйте управления машиной и при всякой оказии нажимайте на звонок. Помните об этом, и ничего страшного, Хупдрайвер, с вами не случится, можете мне поверить.

Он помолчал с минуту,— если не считать двух-трех ругательств по адресу трубки,— и разразился новым набором советов.

— Самое главное, Хупдрайвер, не переезжайте собак. Ничего нет хуже, как переехать собаку. Не давайте машине вихлять — тут один человек насмерть расшибся из-за того, что колесо у него вихляло. Не гоните, не наезжайте на тротуары, держитесь своей стороны дороги, а как завидите трамвайную колею, сворачивайте и дуйте подальше оттуда — и всегда слезайте с велосипеда засветло. Запомните несколько таких мелочей, Хупдрайвер, и ничего страшного с вами не случится, можете мне поверить.

— Правильно! — сказал Хупдрайвер. — Спокойной ночи, старина.

— Спокойной ночи,— сказал Бриггс, и на какое-то время наступила тишина, нарушаемая лишь смачным попыхиванием трубки.

Хупдрайвер уже мчался в Страну Грез на своей машине, но едва он ее достиг, как был извлечен оттуда и возвращен в мир реальности. Что же его извлекло?

— Смотрите только не смазывайте руль. Это погибель,— говорил голос, исходивший из мерцающей красноватой точки.— Да каждый день чистите цепь графитом. Запомните несколько таких мелочей...

— А чтоб тебя!..— произнес Хупдрайвер и нырнул с головой под одеяло.

ОТЪЕЗД МИСТЕРА ХУПДРАЙВЕРА

IV

Лишь тем, кто трудится шесть долгих дней из семи — и так целый год, за исключением коротких восхитительных двух недель или десяти дней летом,— знакомо ни с чем не сравнимое ощущение, какое владеет человеком утром первого отпускного дня. Все повседневное, нудное и скучное внезапно отступает, и цепи твои падают к твоим ногам. И ты вдруг становишься господином своей судьбы, который может по своему усмотрению распоряжаться каждым часом этого длинного свободного дня: ты можешь идти, куда тебе заблагорассудится, никого не надо величать «сэр» или «мадам», не надо носить булавок на лацкане, можно сбросить черный пиджак, надеть те цвета, какие тебе по сердцу, и быть Человеком. Жаль времени, потраченного на сон, жаль даже тех минут, что потрачены на еду и питье, ибо они отнимают у вас драгоценные мгновения. Десять благословенных дней не надо будет вставать до завтрака и, натянув старое платье, спешить в унылый, темный магазин, открывать ставни, вытирать пыль, снимать чехлы с прилавков, приводить все в порядок; не будет повелительных окриков: «Да пошевеливайтесь же, Хупдрайвер!», не придется наспех глотать пищу и, преодолевая скуку, обслуживать придирчивых старух. Первое отпускное утро — самое восхитительное, ибо все ваше богатство еще у вас в руках. А потом каждый вечер сердце сжимается, и перед вами возникает неумолимый призрак — предчувствие скорого возвращения. Мысль о том, что вам предстоит вернуться и снова на двенадцать месяцев засесть в клетку, черной тенью начинает заслонять солнце. Но в первое утро у отпуска еще нет прошлого, и эти десять дней кажутся вечностью.

К тому же погода стояла отличная, обещая череду чудесных дней; по глубокому синему небу были разбросаны ослепительные громады белых облаков, словно небесные косцы сгребли в скирды остатки вчерашних туч, чтобы потом вывезти их на телегах. На Ричмондской дороге заливались дрозды, а на Путни-хилл пел жаворонок. В воздухе чувствовалась свежесть росы; капельки

росы или остатки ночного ливня поблескивали на листьях и в траве. Хупдрайвер рано позавтракал благодаря любезности миссис Ганн. Он вывел свою машину и направился с ней к вершине Путни-хилл; все внутри у него пело. На середине подъема лохматый черный кот перебежал ему дорогу и скрылся под воротами. Ставни больших кирпичных домов за живыми изгородями были еще закрыты, но наш герой и за сто фунтов не поменялся бы местами ни с одним из их обитателей.

На нем был новый коричневый костюм велосипедиста — изящное, стоимостью в тридцать шиллингов, одеяние, состоящее из просторной спортивной куртки с поясом и бриджей, а ноги его, многострадальные ноги, за все перенесенные невзгоды были более чем вознаграждены толстыми клетчатыми носками — «тонкими в следу, плотными на икре». Позади седла в аккуратной сумке из американского брезента лежала смена белья, а звонок, руль, втулки и лампа, хоть и немного поцарапанные, ослепительно сверкали в лучах восходящего солнца. На вершине холма, после одной-единственной неудачной попытки, закончившейся, к счастью, падением на траву, Хупдрайвер наконец взгромоздился на велосипед и, величаво и осторожно крутя педали и оставляя за собой благородный волнообразный след, отправился в свой великий велопробег по Южному побережью.

Для описания этой первоначальной фазы его пути существует лишь одно подходящее выражение — «сладострастные изгибы». Он ехал не быстро, ехал не по прямой, требовательный критик сказал бы даже, что ехал он плохо, зато он ехал свободно, размашисто, используя всю ширину дороги и даже заезжая на дорожку для пешеходов. Волнение не покидало его. Пока что ему никто не попался — ни попутный, ни встречный, но день еще только начался, и дорога была пуста. Он был настолько не уверен в своей власти над машиной, что решил заранее слезть с седла, как только появится что-либо на колесах. Длинные синие тени деревьев лежали на дороге, утреннее солнце горело янтарем. Добравшись до перекрестка на вершине Вест-хилл, где устроен водопой для скота, он повернул на Кингстон и налег на педали, преодолевая небольшой подъем. Полевой сторож в бархатной куртке, вышедший спозаранок обозреть свои владения, уставился

на него. Мистер Хупдрайвер все еще брал подъем, когда на вершине холма показалась голова ломовой лошади.

При виде лошади мистер Хупдрайвер, в соответствии с принятым ранее решением, попытался слезть. Он нажал на тормоз, и машина остановилась как вкопанная. Он стал слезать, пытаясь сообразить, как же должна вести себя правая нога. Стоя на левой педали и болтая правой ногой в воздухе, он вцепился в ручки и отпустил тормоз. Тут — рассказывать это долго, а случается все в один миг! — он почувствовал, что машина его падает вправо. Пока он решал, как ему поступить, закон притяжения, видимо, не дремал. И прежде чем он успел на что-либо отважиться, машина его очутилась на земле, а сам он — сверху, на коленях, смутно сознавая, что провидение опять весьма сурово обошлось с его лодыжкой. Произошло это, когда он как раз поравнялся с полевым сторожем. Человек, ехавший в телеге, встал, чтобы получше разглядеть бедствие.

— Так не слезают с велосипеда! — сказал сторож.

Мистер Хупдрайвер поднял с земли машину. Руль снова был свернут на сторону. Он пробормотал что-то себе под нос. Придется разбирать проклятую штуку.

— Так не слезают с велосипеда,— повторил после паузы сторож.

— Да знаю я! — с раздражением отрезал Хупдрайвер, решив не обращать внимания на боль в лодыжке. Он отстегнул сумку, висевшую позади седла, чтобы достать отвертку.

— А коли знаете, зачем же так слезали? — назидательно, но дружелюбно спросил сторож.

Мистер Хупдрайвер достал отвертку и взялся за руль. Сторож взбесил его.

— Думается, это уж мое дело,— заявил он, возясь с отверткой. Но пальцы его от непривычного напряжения отчаянно дрожали.

Сторож задумчиво смотрел на него, вертя в заложенных за спину руках палку.

— Руль у вас, что ли, сломался? — некоторое время спустя осведомился он.

В эту минуту отвертка выскочила у Хупдрайвера из паза. И он произнес одно нехорошее слово.

— Эти велосипеды кого хочешь из себя выведут,— сочувственно заметил сторож.— Кого хочешь...

Мистер Хупдрайвер со злостью крутанул отверткой и вдруг выпрямился, зажав переднее колесо между колен.

— Я бы вас попросил,— начал он, но голос его оборвался,— я бы вас попросил перестать на меня глазеть.

И с видом человека, заявившего ультиматум, принялся засовывать в сумку отвертку.

Сторож не шелохнулся. Возможно, он лишь приподнял брови и, уж конечно, еще пристальней уставился на Хупдрайвера.

— Необщительный вы человек,— медленно произнес он, меж тем как мистер Хупдрайвер уже схватился за ручки и только ждал, когда проедет телега, чтобы вскочить в седло.

Возмущение сторожа нарастало медленно, но верно.

— Что же вы не ездите по собственной дороге, коли вам никто и слова сказать не смей? — заметил сторож, все больше и больше проникаясь сознанием обиды.— Ишь ты, недотрога какой, не дыхни на него! Онемел ты, что ли? Или считаешь зазорным со мной разговаривать?

Мистер Хупдрайвер смотрел вперед, в Необозримое Будущее. Он словно застыл. Ругать его было все равно, что осыпать бранью каменных львов на Трафальгарсквер. Но сторож не отступался, считая задетой свою честь.

— Такому барину и сказать ничего не смей,— заметил сторож, когда телега поравнялась с ним.— Это ж его светлость герцог — вот кто! Он иначе как с графьями и не разговаривает. И направляется он в Виндзорский дворец, не куда-нибудь, потому он так и оттопырил свой зад. Гордец! У него этой гордости столько, что пришлось часть в сумку переложить, не то бы он лопнул. Да он...

Но мистер Хупдрайвер дальше уже не слышал. Он покатил велосипед по дороге, отчаянно подпрыгивая и судорожно пытаясь вскочить в седло. Нога его опять прошла мимо педали, и он злобно выругался, к великому удовольствию сторожа.

— Ату его! Ату! — крикнул вслед сторож.

Тут Хупдрайвер вскочил в седло, машина сделала головокружительную восьмерку, и в следующую минуту сторож остался далеко позади.

Мистеру Хупдрайверу очень хотелось бы обернуться и посмотреть на своего врага, но в таких случаях колесо у него обычно заворачивалось, и он падал. Ему оставалось лишь представить себе, как возмущенный сторож во всех подробностях рассказывает возчику о происшедшем. И он постарался придать своей удаляющейся фигуре возможно более презрительный вид.

Он продолжал свой извилистый путь вниз, к новому пруду, а затем вверх, на вершину холма, противоположный склон которого ведет в Кингстонскую долину, и — так уж устроена психика велосипедиста — ехал он теперь прямее и легче, ибо чувства, вызванные к жизни встречей с полевым сторожем, отвлекали его от ожидания неминуемого падения, подрывавшего раньше твердость его духа. Езда на велосипеде во многом схожа с ухаживанием за женщиной: главную роль тут играет уверенность в себе. Стоит поверить в успех — и все в порядке; только начни сомневаться — и все потеряно.

Очевидно, вы думаете, что теперь Хупдрайвером владела либо жажда мести, либо чувство раскаяния — мести за издевательства сторожа и раскаяния в собственной неразумной вспыльчивости. На самом же деле он не испытывал ни того, ни другого. Наоборот, он торжествовал. И начинавшийся спуск вновь заиграл перед ним всеми своими красками. На вершине холма он поставил ноги на специальные упоры и довольно прямо, слегка тормозя, съехал по пологому спуску. Глаза его горели восторгом, какой не может родить просто радость быстрой езды по утренней прохладе. От удовольствия он вытянул большой палец и позвонил.

— Это ж его светлость герцог—вот кто!—шепотком произнес себе под нос мистер Хупдрайвер, мчась под гору, и повторил: — Его светлость герцог!

И он беззвучно рассмеялся. Вот что значит хорошо сшитый костюм! Его превосходство было столь очевидно, что даже такой человек, как сторож, заметил это. Целых десять дней не видеть отдела тканей! Вышел из отдела — и ты человек! Труженик, приказчик Хупдрайвер исчез с лица земли. На его месте появился джентльмен, человек,

живущий в свое удовольствие, с пятифунтовой бумажкой, двумя соверенами и некоторым количеством серебра, рассованными по разным карманам, как ему удобнее. Во всяком случае, ничуть не хуже герцога, хоть и без титула. Стоило Хупдрайверу вспомнить о своих капиталах, как правая рука его машинально оторвалась от руля и потянулась к внутреннему карману, но рывок велосипеда в сторону кладбищенской стены тотчас вернул его к действительности. Э-эх! Едва не наехал на битый кирпич! Только злоумышленники могли набросать его посреди дороги. Сущие проходимцы! Посадить бы нескольких хулиганов на скамью подсудимых — другим неповадно было бы. Это, наверно, пряжка от сумки стучит сзади по щитку. До чего же весело жужжат колеса!

На кладбище царили тишина и покой, но долина уже пробуждалась, со стуком и скрипом распахивались окна, а из одного дома выскочила белая собака и принялась лаять на Хупдрайвера. С трудом переводя дух, он слез с велосипеда у подножия Кингстон-хилла и, подталкивая машину, двинулся в гору. На полпути его обогнала телега вставшего спозаранок молочника; два грязных человека с мешками торопливо прошли навстречу. Не иначе как разбойники, несущие домой добычу.

Поднимаясь на Кингстон-хилл, он впервые заметил какую-то странную тяжесть в коленях, но, добравшись до вершины, заметил и то, что едет он гораздо прямее, чем раньше. И радость оттого, что он научился прямо ездить, заставила его забыть об этих первых признаках усталости. Появился человек верхом; Хупдрайвер, ошеломленный собственной смелостью, проехал мимо него и помчался под откос в Кингстон, сопровождаемый грохотом отвертки, ударявшейся в сумке о масленку. Безо всяких злоключений миновал он повозку фруктовщика и медленно тащившуюся телегу с кирпичами. А в Кингстоне Хупдрайвер испытал величайшее наслаждение, увидев мануфактурный магазин с приоткрытыми ставнями и в окне двух молодых людей в пропыленных старых пиджаках и грязных белых шерстяных шарфах, которые, зевая, уносили доски, ящики и бумагу, готовя витрину. Вот таким же был и Хупдрайвер всего лишь накануне. Но

сейчас разве он не его светлость герцог в глазах простонародья? Итак, за угол направо, отчаянный трезвон — и дальше по дороге в Сэрбитон.

Вперед — к Свободе и Приключениям! Время от времени какой-нибудь домик с сонным удивлением открывал глаз, когда мистер Хупдрайвер проезжал мимо; справа от него на протяжении целой мили сверкали и горели неторопливые воды Темзы. Какая joie de vivre [1],— но в коленях тяжесть все увеличивалась, и икры все сильнее сводила судорога.

ПОЗОРНЫЙ ИНЦИДЕНТ, ПРОИСШЕДШИЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЮНОЙ ЛЕДИ В СЕРОМ

V

Следует иметь в виду, что мистер Хупдрайвер не принадлежал к числу бойких молодых людей. Даже будь он царем Лемуилом [2], он едва ли мог бы лучше блюсти наставления своей матушки. На представительниц женского пола он смотрел как на существа, которым надо кланяться, а потом — ухмыляться вслед с безопасного расстояния. Годы, проведенные за прилавком, который приближал их к нему и в то же время отгораживал, не прошли бесследно. Для него было целым событием пойти в церковь с какой-нибудь из работавших в магазине юных леди. Словом, немного найдется современных молодых людей, к кому так мало подходил бы эпитет «фатоватый». Зато, наверное, в самом металле его машины было что-то ухарское. Это была, бесспорно, машина с прошлым. Мистер Хупдрайвер купил ее из вторых рук у Хейра в Путни, и Хейр не скрывал, что у велосипеда уже было несколько хозяев. Собственно, выражение «из вторых рук» едва ли тут подходит, ибо Хейр сам был несколько удивлен тем, что ему удалось

---

[1] Радость жизни (*франц.*).

[2] Лемуил — персонаж из библейских притч Соломоновых, которого мать наставляла «не отдавать женщинам сил своих».

продать такую древность. Он сказал, что велосипед в полной исправности, хоть, может, и несколько старомоден, но он ни словом не обмолвился об его моральных качествах. Вполне возможно, что когда-то, в блестящую пору юности, велосипед начинал свою карьеру службой у поэта. Вполне возможно, что он был даже собственностью Действительно Дурного Человека. Всякий, кто хоть когда-либо ездил на велосипеде, может засвидетельствовать, что эти машины обладают необъяснимой способностью приобретать дурные привычки и сохранять их.

Неоспоримо одно: велосипед затрясся в конвульсиях от избытка чувств, как только появилась Юная Леди в Сером. Он начал вилять самым беспримерным образом, беспримерным, во всяком случае, на памяти Хупдрайвера. Он «пускал пыль в глаза» и выписывал умопомрачительные загогулины — совсем как на рисунках Бердсли. Ко всему этому Хупдрайвер вдруг почувствовал, что кепи его съехало на сторону и он с трудом переводит дух.

Юная Леди в Сером тоже ехала на велосипеде. Она была в красивом голубовато-сером костюме, и солнце, освещавшее ее сзади, как бы очертило золотом ее силуэт, оставив все остальное в тени. Хупдрайвер все же заметил, что она молода, довольно стройна, темноволоса, глаза у нее блестящие, а щеки горят румянцем. Что до нижней части ее туалета, то она вызвала у него крайнее недоумение. Он, конечно, слышал о такой моде, очевидно, французского происхождения. Руль у Юной Леди сверкал; звонок отбрасывал слепящие блики солнечного света. Она приближалась к шоссе по дороге от пригородных вилл Сэрбитона. Дорога эта сходилась с шоссе под острым углом. Юная Леди ехала примерно с той же скоростью, что и мистер Хупдрайвер. Таким образом, все указывало на то, что они должны встретиться у развилки.

И тут Хупдрайвером овладело невероятное смятение. По сравнению с ней он ехал очень некрасиво. Не стоит ли поскорее слезть и сделать вид, будто что-то не в порядке с педалью? Но ведь неизвестно, удастся ли ему благополучно слезть. Вспомнить только, как последний раз он слезал у Путни-хилл! Ну, а что будет, если он не слезет? Ехать очень медленно казалось

ему оскорбительным для его мужского достоинства. Еще того не хватало, чтобы он полз следом за какой-то школьницей! К тому же и едет-то она не очень быстро. С другой стороны, ринуться вперед и заколесить по дороге во всю ее ширину, словно рак, распустивший клешни, было бы невежливо: нельзя так жадничать, ведь он оставил бы для Юной Леди совсем мало места! Профессиональная привычка побуждала его поклониться и пропустить даму вперед. Если бы можно было на секунду оторвать от руля руку, он проехал бы молча, приподняв кепи. Но и это было чревато гибельными последствиями.

Тем временем дороги их сошлись. Юная Леди смотрела на него. Она была румяная, очень тоненькая, с очень блестящими глазами. Пунцовые губы ее приоткрылись. Возможно, это объяснялось быстрой ездой, но похоже, что она слегка улыбалась. И нижняя часть ее тела,—да, конечно!—была облачена в брюки до колен! Мистером Хупдрайвером вдруг овладело неудержимое стремление спастись бегством. Он судорожно закрутил педалями, намереваясь ее обогнать. Тут какая-то жестянка попала ему под колесо, подскочила и застряла под щитком от грязи. Велосипед повернул прямо на Юную Леди. Дьявол, что ли, вселился в него?

В эту решающую минуту мистеру Хупдрайверу пришло в голову, что разумнее всего было бы слезть с велосипеда. Но вместо этого он нажал на педали и попытался объехать Юную Леди; тут ему показалось, что машина стала крениться набок, он снова выпрямил руль, инстинктивно повернул влево и проехал мимо нее, на волосок от ее заднего колеса. Однако здесь его подстерегала обочина тротуара. Не успел он опомниться, как машину подбросило, и он покатил прямо на деревянный забор. Он врезался в него на полном ходу, вылетел из седла и сел на раму. Машина начала клониться набок, и он очутился на гравии, застряв ногами между рамой и тормозом. Падение на гравий болью отозвалось во всем его теле. Он так и остался сидеть, жалея, что не сломал себе шеи, а еще больше жалея о том, что вообще родился на свет. Вся радость жизни куда-то исчезла. Нечего сказать, его светлость герцог! Черт бы побрал этих женщин, в которых нет ничего женского!

Послышалось легкое шуршание, скрип тормоза, шаги, и Юная Леди в Сером остановилась над ним, придерживая свою машину. Она ведь уже проехала мимо — значит, она вернулась. Яркое солнце светило теперь ей в лицо.

— Вы ушиблись? — спросила она. У нее был приятный звонкий девичий голосок. Она была в самом деле очень юна, в сущности, совсем девочка. А как хорошо ездит! Это была горькая пилюля для Хупдрайвера.

Мистер Хупдрайвер тотчас встал.

— Нисколько, — довольно уныло произнес он. И с огорчением обнаружил, что гравий, налипший на его куртку, едва ли украшает ее.— Мне, право, очень неприятно...

— Это я виновата,— перебила она его и таким образом не дала вымолвить «мисс». (Он, правда, знал, что это не принято, но уж очень укоренилась в нем привычка обращаться так к покупательницам.)—Я хотела объехать вас не с той стороны.— Лицо и глаза ее смеялись.— Поэтому-то я и должна извиниться.

— Но ведь все произошло из-за того, что я не туда повернул руль...

— Мне следовало бы заметить, что вы новичок в этом деле,— с оттенком превосходства произнесла она.— Но там вы ехали так ровно и прямо!

Право же, она была сногсшибательно хороша. Чувства мистера Хупдрайвера взыграли. И он заговорил уже с оттенком легкого аристократизма:

— Вообще говоря, это моя первая поездка. Но, конечно, это не может служит оправданием для моей... м-м... неловкости.

— У вас палец в крови,— внезапно заметила она.

Он увидел, что ободрал себе руку.

— Я даже не почувствовал,— мужественно заявил он.

— Сначала никогда не чувствуешь. У вас нет с собой пластыря? Если нет...

Она прислонила к себе велосипед. Сбоку у нее был карманчик, она извлекла оттуда пакетик пластыря и ножницы в футляре и щедрой рукою отрезала ему большой кусок. У него возникла дикая мысль попросить,

чтобы она сама наложила ему на рану пластырь. Но он сдержался.

— Благодарю вас,— сказал он.

— Машина в исправности? — осведомилась она, не выпуская из рук руля своего велосипеда и глядя на распростертую на земле машину. Хупдрайвер впервые не почувствовал за нее гордости.

Он встал на ноги и принялся поднимать рухнувший велосипед. А когда взглянул через плечо, то обнаружил, что Юной Леди уже нет рядом; он повернул голову и посмотрел через другое плечо: она ехала по дороге.

— Тьфу! — вырвалось у Хупдрайвера.— Чтоб мне провалиться! Лихо она меня обставила! — Когда он беседовал сам с собой, речь его не часто отличалась аристократической утонченностью.

В уме у него царило полное смятение. Одно было ясно: на его горизонте появилось прелестнейшее и совсем необычное существо, оно промелькнуло и вот-вот исчезнет. Безрассудство, свойственное человеку, находящемуся в отпуске, бродило у него в крови. Она обернулась!

Он тотчас выкатил свою машину на дорогу и судорожно попытался вскочить в седло. Тщетно. Еще одна попытка. Черт побери, да неужели он никогда не сможет снова залезть на эту штуку? Девушка сейчас завернет за угол. Еще одна попытка. Ах да, педаль! Опять руль не держит! Нет! Вышло! Он вцепился в ручки и нагнул голову. Сейчас он нагонит незнакомку.

Время повернуло вспять. Первобытный человек в эту минуту возобладал над порождением цивилизации—Приказчиком. Он с поистине первозданной дикостью крутил педали. Так человек эпохи палеолита, наверное, мчался бы на высеченном из камня велосипеде за той, которая по закону экзогамии могла быть его половиной. Она исчезла за углом. Он делал титанические усилия. Что же он ей скажет, когда нагонит? Вначале это почти не волновало его. До чего же она была хороша, когда подошла к нему, раскрасневшаяся от езды, слегка запыхавшаяся, но такая гибкая, энергичная! Где им до нее, всем этим комнатным растениям, благовоспитанным барышням, с лицами цвета холодной телятины! Но что же он ей все-таки скажет? Это не давало ему покоя. И кепи он приподнять

не может без риска вновь пережить недавний позор. Она настоящая Юная Леди. Никаких сомнений! Это вам не какая-нибудь краснощекая продавщица. (Никто на свете не презирает так своего ближнего, как продавцы — продавщиц, вот разве только продавщицы — продавцов.) Фу! Вот это работенка! Колени его совсем было одеревенели, потом снова отошли.

«Разрешите осведомиться, кому я обязан...» — пыхтел он себе под нос, примериваясь. Пожалуй, сойдет. Хорошо, что у него есть визитные карточки! Шиллинг за сотню — исполнение в присутствии заказчика. Он задыхался. Дорога действительно шла немного в гору. Он завернул за угол и увидел нескончаемую ленту дороги, а на ней вдали серый костюм. Он стиснул зубы. Неужели он нисколько не нагнал ее?

— Эй, обезьяна на вертеле! — крикнул вслед ему какой-то мальчишка.

Хупдрайвер удвоил усилия. Дыхание с шумом вырывалось у него из груди, руль снова заходил ходуном, педали отчаянно крутились. Капля пота попала ему в глаз — едкая, как кислота. Дорога действительно шла в гору — тут уж не могло быть двух мнений. Весь его организм взбунтовался. Последним отчаянным усилием он достиг поворота и увидел впереди отрезок тенистой дороги, а на ней — ни души, только тележка булочника. Переднее колесо у Хупдрайвера вдруг резко взвизгнуло.

— О господи! — произнес он вслух и весь сразу обмяк.

Так или иначе она все равно умчалась. Он еле слез с велосипеда,— ноги у него были точно ватные,— прислонил машину к поросшей травою обочине и сел, чтобы отдышаться. На руках у него вздулись вены, и пальцы заметно дрожали, дыхание с трудом вырывалось из груди.

«Нет у меня еще сноровки,— заметил он про себя.— Теперь ноги словно налились свинцом. И такое чувство, будто я не завтракал сегодня».

Он отстегнул боковой карман и достал новенький портсигар и пачку сигарет «Копченая селедка». Набил ими портсигар. Взгляд его с одобрением задержался на клетчатом узоре новых носков. И в глазах появилось отрешенно-мечтательное выражение.

«Да, девушка была сногсшибательная,—подумал он.— Увижу ли я ее когда-нибудь еще? А как ездит! Интересно, что она обо мне подумала».

Тут ему вспомнилась фраза сторожа об «его светлости герцоге», и это несколько утешило его.

Он закурил сигарету и, попыхивая ею, продолжал мечтать. Он даже глаз не поднимал на проезжавшие мимо экипажи. Так прошло минут десять. «Ерунда все это! Что толку от этих дум? — решил он.— Ведь я всего лишь младший приказчик, черт возьми!» (Вернее, сказал он не «черт возьми», а кое-что другое. Служба в магазине может навести внешний лоск, зато общежитие продавцов вряд ли научит хорошим манерам и высоким моральным принципам.) Он встал и повел свою машину по направлению к Эшеру. День обещал быть прекрасным, и живые изгороди, деревья и поля ласкали его усталый взор горожанина. Но от душевной приподнятости, которую он ощущал раньше, не осталось и следа.

— А вот джентльмен идет с велосипедиком,— сказала няня существу, которое она везла в коляске по обочине.

Эти слова слегка заживили раны мистера Хупдрайвера. «Джентльмен с велосипедиком», «его светлость герцог» — значит, не такой уж у меня жалкий вид,— подумал он.— Интересно... Просто хотелось бы знать...»

Было что-то очень ободряющее в сознании, что она едет прямо и неуклонно впереди него, оставляя за собой след своих шин. Конечно, это ее след. Ведь утром по дороге никто еще не проезжал на шинах. Вполне возможно, что он увидит ее, когда она будет возвращаться. Попробовать сказать ей что-нибудь такое галантное? Он принялся гадать, кто она такая. Наверно, одна из этих «новых женщин». Он был убежден, что на них клевещут. Она, во всяком случае, настоящая леди. И к тому же богатая! Ее машина, должно быть, стоила фунтов двадцать. Тут его мысль отвлеклась и некоторое время витала вокруг ее зримого облика. Спортивный костюм отнюдь не лишал ее женственности. Тем не менее возможность стать претендентом на ее руку была им тотчас с возмущением отвергнута. Затем мысли его опять изменили направление. Надо будет остановиться в ближайшей гостинице и срочно перекусить.

ПО ДОРОГЕ В РИПЛИ

VI

В положенное время мистер Хупдрайвер добрался до «Маркиза Грэнби» в Эшере. Проехав под железнодорожным мостом и увидев впереди вывеску гостиницы, он сел на велосипед и храбро подкатил к самому порогу. Он заказал пиво, а также сухарики и сыр — компанию, вполне подходящую для пива; пока он все это поглощал, в зал вошел человек средних лет, в рыжем костюме для велосипедной езды, очень красный, потный и злой, и с горестным видом потребовал лимонаду; затем он сел у бара и принялся вытирать лицо. Однако не успев сесть, он снова вскочил и выглянул на улицу.

— А черт! — сказал он. И добавил: — Чертов кретин.

— Что? — повернулся к незнакомцу мистер Хупдрайвер, пережевывая сыр.

Человек в рыжем костюме посмотрел на него.

— Я обозвал себя «чертовым кретином», сэр. Вы возражаете?

— Нет, что вы, что вы! — поспешил заверить его мистер Хупдрайвер.— Мне показалось, что вы обращаетесь ко мне. Я не расслышал, что вы сказали.

— Когда у человека созерцательный ум и энергичный характер, сэр, это — проклятие. Говорю вам, проклятие. Созерцательный ум при флегматическом темпераменте — вот тут все в порядке. Но энергия и философичность...

Мистер Хупдрайвер постарался придать своему лицу возможно более интеллигентное выражение, но промолчал.

— Никакой спешки нет, сэр, никакой. Я отправился поразмяться, немножко поразмяться, полюбоваться природой и пособирать растения. Но стоит мне сесть на эту проклятую машину, как я изо всех сил начинаю гнать и хоть бы разок взглянул направо или налево, хоть бы цветок какой заметил — ничего подобного, только устал, взмок и разгорячился, точно меня на сковородке

поджаривали. И вот я здесь, сэр. Примчался из Гилдфорда меньше чем за час. А спрашивается, зачем, сэр?

Мистер Хупдрайвер покачал головой.

— Потому что я кретин, сэр. Потому что у меня целые резервуары мускульной энергии, и один из них всегда протекает. Дорога эта, я убежден, на редкость красивая, есть тут и птицы и деревья, и цветы растут на обочине, и я бы получил огромное наслаждение, любуясь ими. Но мне это не дано. Стоит мне сесть на велосипед, как я должен мчаться. Да меня на что угодно посади, я все равно буду мчаться. А ведь я вовсе этого не хочу. Скажите на милость, почему человек должен мчаться, точно ракета, так, что только дым столбом? Почему? Меня это страшно злит. Уверяю вас, сэр, я мчусь по дороге как угорелый и на чем свет стоит ругаю себя. Ведь, в сущности, я по натуре спокойный, почтенный, рассудительный человек — вот что я такое, а сейчас, извольте, трясусь от злости и ругаюсь, точно пьяный мастеровой, в присутствии совершенно незнакомого человека...

И весь день у меня даром пропал. Я даже и не видел этой сельской дороги, а теперь я уже почти у самого Лондона. А ведь мог бы наслаждаться природой все утро! Уф! Ваше счастье, сэр, что у вас спокойный нрав, что врожденная страсть к издевкам не доводит вас до безумия и что ваши душа и тело не грызутся друг с другом, как кошка с собакой. Жизнь у меня, поверьте, самая несчастная. Но какой смысл говорить об этом? Тут уж ничего не поделаешь!

Он с невыразимым отвращением откинул голову, вылил себе в рот лимонад, расплатился и, не проронив больше ни звука, направился к двери. Мистер Хупдрайвер все еще раздумывал, что бы сказать, но его собеседник уже исчез. Послышался хруст гравия под каблуком, и когда мистер Хупдрайвер достиг порога, человек в рыжем костюме уже проехал с десяток ярдов в направлении Лондона. Он наращивал скорость. И все ниже опуская голову, с плохо сдерживаемой злостью изо всей силы крутил педали. Еще минута — и он исчез из виду под аркой железнодорожного моста, и мистер Хупдрайвер никогда больше не встречал его.

VII

Проводив глазами этот ураган, мистер Хупдрайвер расплатился по счету, мышцы ног у него теперь немного отошли, он сел на велосипед и двинулся дальше в направлении Рипли по прекрасной, но извилистой дороге. Он с удовлетворением отметил, что значительно лучше стал владеть машиной. По пути он задал себе несколько несложных задач и выполнил их с переменным успехом. Он решил, скажем, провести машину между двумя камнями, отстоящими друг от друга примерно на фут,— штука нехитрая для переднего колеса, но заднее колесо, не попадающее в поле зрения человеческого глаза, норовит ехидно прокатиться как раз по камню, отчего седок весь — от копчика до макушки — претерпевает сильнейшую встряску, а шляпа его может съехать на глаза и тем самым вызвать еще большее смятение. Или вот: можно снять руку, а то и обе руки с руля — вещь сама по себе несложная, но могущая привести к неожиданным последствиям. Этот подвиг мистеру Хупдрайверу особенно хотелось совершить по многим, весьма разным причинам, но до сих пор все его усилия кончались лишь судорожной попыткой сбалансировать и новыми, весьма неизящными способами приземления.

Человеческий нос — в лучшем случае никому не нужный нарост. Есть люди, которые считают его украшением лица, и на того, кто его лишен, смотрели бы с жалостью или насмешкой, тем не менее наше уважительное отношение к этому органу объясняется скорее дурным влиянием принятой во всем мире моды, чем его бесспорной красотой. Ну, а для начинающих велосипедистов, равно как и для детей обоего пола, нос не просто бесполезен, он еще является источником постоянного беспокойства, ибо требует неослабного внимания. Пока человек не научится ездить, держа руль одной рукой, а другой — отыскивая по карманам, вытаскивая и пуская в ход носовой платок, езда на велосипеде неминуемо состоит из сплошных остановок. Автор далек от грубого реализма, однако нос мистера Хупдрайвера весьма отчетливо и недвусмысленно заявлял о своем существовании, и мы не можем с этим не считаться. В дополнение ко всему прочему существуют еще мухи. До тех пор, пока велосипедист

не научится править одной рукой, лицо его находится во власти Вельзевула. Задумчивые мухи разгуливают по нему и ненароком щекочут наиболее чувствительные места. Единственный способ согнать их — это отчаянно мотать головой, строя невероятнейшие гримасы. Но это не только длительный и, как правило, не очень эффективный метод, он еще производит весьма устрашающее впечатление на пешеходов. А иногда пот так обильно стекает по лицу начинающего велосипедиста, что ему приходится ехать какое-то время, закрыв один глаз, что придает ему игривый, отнюдь не соответствующий его настроению и не способствующий обузданию нахалов вид. Короче говоря, теперь вам *понятны причины, побуждавшие* мистера Хупдрайвера проводить всякие эксперименты. Он вскоре научился достаточно ловко и хлестко бить себя правой рукой по лицу, не опрокинув при этом машины, но носовой платок, пока он сидел в седле, был столь же недостижим для него, как если бы лежал в Калифорнии.

И все же не следует думать, что эти мелкие неполадки хоть в какой-то мере омрачали настроение мистера Хупдрайвера. Он ехал и все время помнил о том, что в это самое время Бриггс еще возится с витриной, а Гослинг, ученик с горящими ушами, опрокинув на прилавок стул, усиленно трудится, скатывая льняное полотно,— лишь тот, кто скатывал штуки льняного полотна, знает, какое это отвратительное занятие,— что в магазине пыльно и, возможно, туда уже явился управляющий и покрикивает на всех. А здесь тихо и зелено, и поезжай куда хочешь, и нигде ни души, и не надо кричать: «Подписать!», не надо складывать остатки, никто не орет на тебя: «Хупдрайвер, пошевеливайтесь!» Он даже чуть не переехал какого-то удивительного маленького рыжего зверька на коротких лапках и с желтым хвостом, который перед самым его носом выскочил на дорогу. Это была первая белка, которую он видел за всю свою жизнь обитателя лондонских окраин. А впереди были мили, десятки миль пути — хвойные леса и дубовые рощи, лиловые вересковые пустоши и зеленые долины, сочные луга, по которым лениво пролагали свой путь сверкающие реки, деревни с каменными церквами, увенчанными четырехугольной колокольней, и простыми, увитыми плющом, приветливыми гостиницами, чистенькие, беленькие

городки, длинные, пологие склоны, по которым катишь без помех (если не считать двух-трех случайных толчков), и далеко там, за всем этим,— море.

Ну что может значить какая-то муха, когда перед человеком открываются такие перспективы? Возможно, мистера Хупдрайвера на минуту и обескуражил позорный эпизод с Юной Леди в Сером, возможно, память об этом свила себе гнездышко в каком-нибудь уголке его мозга и еще будет время от времени досаждать ему напоминанием о том, до чего же глупо он выглядел, но пока это нисколько его не тревожило. Господин в рыжем костюме — настоящий аристократ, это ясно — говорил с ним как с равным; это подтверждали собственные колени, обтянутые коричневыми брюками, и собственные клетчатые носки, которые всегда были у него перед глазами (вернее, могли быть, если слегка наклонить голову вбок). А какое наслаждение чувствовать, как ты постепенно все больше и больше овладеваешь искусством управлять этой чудесной и одновременно предательской машиной! Правда, через каждые полмили колени его давали о себе знать, он слезал с седла и отсиживался на обочине.

В прелестном местечке между Эшером и Клэпхемом, там, где через речку перекинут мостик, мистер Хупдрайвер повстречался еще с одним велосипедистом в коричневом костюме. Здесь долженствует сказать об этом, хотя встреча и была мимолетной, ибо впоследствии Хупдрайверу довелось познакомиться с этим человеком поближе. У этого человека в коричневом был ослепительно новый велосипед, а на коленях лежала проколотая шина. Это был очень светлый блондин лет тридцати или немногим больше, с бледным лицом, орлиным носом и светлыми, свисающими усами; он сидел с мрачным видом и смотрел на прокол. При виде его мистер Хупдрайвер приосанился и проехал мимо так, словно всю жизнь провел на колесах.

— Великолепное утро,— заметил мистер Хупдрайвер,— и дорога отличная!

— А чтоб вас всех — и утро, и вас, и дорогу! — изрек велосипедист в коричневом, когда Хупдрайвер уже проехал.

Хупдрайвер слышал, как тот что-то произнес, но не различил слов и покатил дальше, преисполненный

приятного сознания, что и он принадлежит на равных правах с другими к славному братству велосипедистов. А тот человек в коричневом смотрел ему вслед.

— Грязный пролетарий,— изрек он с какой-то пророческой антипатией.— И надо же было ему надеть костюм точь-в-точь как у меня. Можно подумать, что он задался целью выставить меня на посмешище. Таков уж мой удел! А ноги как выворачивает! И зачем только небо создает таких людей!

И, закурив сигарету, тот человек в коричневом занялся своим делом.

А мистер Хупдрайвер ехал в гору по дороге, ведущей в Клэпхем, достигнув такого места, где, по его глубокому убеждению, тот, другой человек в коричневом, уже не мог его видеть, он слез с машины и повел ее, пока близость деревни и собственная гордость не заставили его снова взгромоздиться на седло.

VIII

За Клэпхемом случилось нечто восхитительное, точнее, восхитительным это было вначале, а потом, оглядываясь назад, он и сам не знал, как это определить. Произошло это, пожалуй, на полпути между Клэпхемом и Рипли. Мистер Хупдрайвер спускался с пологого холма, где по обеим сторонам дороги росли большие замшелые деревья и папоротники, и впереди увидел прямую желтую ленту дороги, тянувшейся между редких сосен по широкой, поросшей вереском равнине, а на обочине, примерно в полумиле от него, стояла маленькая серая фигурка и махала чем-то белым.

— Не может быть! — произнес мистер Хупдрайвер, крепче сжимая руль.

Он приналег на педали, глядя прямо перед собой, наскочил на камень, покачнулся, выправил машину и покатил еще быстрее, продолжая смотреть вперед.

— Не может быть! — повторил Хупдрайвер.

Он старался ехать как можно прямее и изо всех сил крутил педали, не обращая внимания на то, что ноги его с каждой минутой все больше немеют.

— Не может этого быть! — снова сказал он, хотя все больше убеждался в том, что это так и есть.— А ведь я же не знаю...— вслух подумал мистер Хупдрайвер, бешено работая ногами.— Черт бы побрал мои ноги!

Но он продолжал ехать и неуклонно приближался к цели, тяжело дыша и точно липкая бумага собирая на себя мух. В ложбине он скрылся из виду. Но вот дорога стала снова подниматься в гору, и сопротивление педалей возросло. Добравшись до вершины холма, он на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов впереди увидел ее. «Она!—вскричал он.—Это она, положительно она. Она узнала мой костюм...» Это было даже вернее, чем мистер Хупдрайвер мог предполагать. Но она больше не махала платком и даже не смотрела на него. Она медленно шла навстречу ему, ведя по дороге свой велосипед, и любовалась красивыми лесистыми холмами, что тянутся в направлении Уэйбриджа. Держалась она так, будто и не подозревала о его существовании.

На секунду страшное сомнение овладело мистером Хупдрайвером. Приснился ему, что ли, этот платок? К тому же он весь взмок, лицо его — он чувствовал — пылало. Должно быть, все дело тут в кокетстве — она, конечно, махала платком. Как лучше: доехать до нее и тогда слезть с велосипеда или же слезть сейчас и идти к ней навстречу? Хорошо, что она не смотрит на него, иначе он, безусловно, свалился бы, если бы вздумал приподнять кепи. Быть может, поэтому она и отвернулась. Пока он раздумывал, машина его поравнялась с девушкой. Она, наверно, слышит, как он задыхается. Он нажал на тормоз. Осторожно! Правая нога его взлетела в воздух, и он, пошатываясь, тяжело слез с велосипеда, но устоял. Она с великолепно разыгранным изумлением посмотрела на него.

Мистер Хупдрайвер постарался любезно улыбнуться и, придерживая машину, приподнял кепи и грациозно раскланялся. Во всяком случае, он считал, что это выглядело именно так. Он был на редкость неспособен критически посмотреть на себя, а потому даже не отдавал себе отчета в том, что ко лбу его прилипла прядь влажных волос, и прическа вообще была в беспорядке. Последовала неловкая пауза.

— Чем я имел бы удовольствие...— вкрадчиво начал было мистер Хупдрайвер.— Я хочу сказать,— тотчас поправился он, вспомнив, что он человек свободный и принимая самый аристократический тон,— могу я быть вам чем-то полезен?

Юная Леди в Сером прикусила нижнюю губку и очень мило сказала:

— Нет, благодарю вас.

И отвела глаза, всем своим видом показывая, что намерена продолжать путь.

— О!—произнес мистер Хупдрайвер, пораженный ее ответом и снова теряя почву под ногами. Это было так неожиданно. Он попытался понять, что же это значит. Кокетство? Или же он...

— Извините, одну минуточку,— пролепетал он, видя, что она двинулась дальше.

— Что такое? — спросила она, останавливаясь, и, слегка покраснев, не без удивления воззрилась на него.

— Я бы не сошел с велосипеда, если бы... мне не показалось, что вы... м-м... махали чем-то белым.— И он умолк.

Она пристально посмотрела на него. Значит, он *видел!* Но она тут же решила, что он отнюдь не закоренелый нахал, спешащий воспользоваться ошибкой, а наивная душа, ничего дурного не замышляющая, просто ищущая радостей жизни.

— Я в самом деле махала платком,— сказала она.— Извините, что ввела вас в заблуждение. Я дожидаюсь... знакомого... одного господина.— Щеки ее вспыхнули еще ярче.— Он едет на велосипеде, и у него коричневый костюм. И, понимаете, на расстоянии...

— Да, безусловно! — произнес мистер Хупдрайвер, мужественно подавляя горькое разочарование.—Конечно.

— Мне, право же, очень неловко. Я причинила вам столько беспокойства, заставила слезть с машины...

— Никакого беспокойства. Уверяю вас,— машинально произнес мистер Хупдрайвер, перегибаясь через седло, как будто это был прилавок. У него как-то не хватало духу сказать ей, что человек, которого она ждет, сидит там, недалеко, с проколотой шиной. Он оглянулся на дорогу, стараясь придумать, что бы еще добавить. Но бездна молчания все расширялась — быстро и неотвратимо.—

Больше ничего не прикажете? — с отчаяния начал было мистер Хупдрайвер, прибегая к запасу своих штампов.

— Нет, благодарю вас,— решительно заявила она. И тотчас добавила: — Это ведь дорога в Рипли?

— Безусловно,— сказал мистер Хупдрайвер.— До Рипли отсюда будет мили две, если судить по дорожным столбам.

— Благодарю вас,— с жаром произнесла она.—Очень вам благодарна. Я была уверена, что не ошиблась. И, право же, мне очень неприятно...

— Не будем об этом говорить,— сказал мистер Хупдрайвер.— Не будем.— Он помедлил и крепче ухватился за руль, намереваясь сесть на велосипед.— Это мне неприятно...— Сказать или нет? Не будет ли это дерзостью? Была не была! — ...неприятно, что я не тот джентльмен.

Он попытался спокойно и многозначительно улыбнуться, но тотчас почувствовал, что лишь глупо осклабился; почувствовал, что она осуждает его, более того, презирает; устыдился, увидев выражение ее лица, повернулся к ней спиной и стал (весьма неуклюже) взбираться на велосипед. Наконец он сел в седло, машина сделала невероятный зигзаг, и он покатил, отчаянно петляя и мучительно сознавая это. И все-таки благодарение богу хотя бы за то, что он вообще сумел сесть в седло! Он не мог видеть Юной Леди, ибо обернуться было бы слишком опасно, но он представлял себе, какое у нее сейчас должно быть возмущенное и безжалостное лицо. Он казался самому себе непроходимым идиотом. Надо быть очень осторожным, когда разговариваешь с Юной Леди, а он вздумал обращаться с ней как с какой-нибудь простой девчонкой. Это непростительно. Вечно он ведет себя как идиот. Ведь по всему видно было, что она не считает его джентльменом. С одного взгляда она, казалось, увидела его насквозь, разгадала, чего стоит весь его светский лоск. Какая была глупость заговаривать с такой девушкой! Понятно, что при ее образованности она сразу раскусила его. А как она красиво говорит! Как красиво, отчетливо произносит слова! Он сразу почувствовал, какое у него самого вульгарное произношение. А эта глупость, которую он брякнул напоследок! Что это он сказал? «Неприятно, что я не тот джентльмен!» Ну,

к чему это? Да еще назвал себя «джентльменом»! Что она могла о нем подумать?

А Юная Леди в Сером забыла о Хупдрайвере, не успел он скрыться за поворотом. Но ничего дурного о нем она, во всяком случае, не подумала. Его явная робость и восхищение ничуть не оскорбили ее. Мысли ее в ту минуту были заняты более важными делами — делами, которые могли оказать влияние на всю ее последующую жизнь. Она продолжала медленно катить свою машину в направлении Лондона. Внезапно она остановилась. «Почему же он все-таки не едет?» — воскликнула она и в раздражении топнула ногой. И тут, словно в ответ на ее возглас, среди деревьев на склоне холма показался тот, другой человек в коричневом — он шел пешком, ведя за руль свою машину.

КАК МИСТЕР ХУПДРАЙВЕР ПОДВЕРГСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ

IX

Пока мистер Хупдрайвер важно катил по дороге в Рипли, ему вдруг пришла в голову мысль, оказавшаяся неожиданно утешительной,— мысль о том, что больше он никогда не увидит Юную Леди в Сером. Но, как видно, ухарство его машины, которая в данный момент являлась орудием судьбы, так сказать, deus ex machina [1], было обращено против него. Велосипед вдали от прелестной молодой особы делался все тяжелее и тяжелее и все больше петлял. Остановиться в Рипли или погибнуть во цвете лет — иного выбора, казалось, не было. И вот, прислонив свою машину к стене у двери «Единорога», мистер Хупдрайвер вошел внутрь, и пока он отдыхал, куря сигарету «Копченая селедка», и дожидался, чтобы ему подали холодное мясо, он вдруг увидел Юную Леди в Сером и того человека в коричневом, вступавших в Рипли.

Он с ужасом заметил, что они посмотрели на дом, давший ему приют, но при виде его велосипеда, прислонив-

[1] Бог из машины (*лат.*) — выражение, обозначающее посторонние силы, благодаря неожиданному вмешательству которых наступает развязка или новый поворот событий.

шегося к стене за дверью, словно пьяница, не способный сдвинуться с места,— машина стояла, повернувшись к ним вздыбившимся, побитым крылом и выпучив на них свой единственный замутненный глаз-фонарь,— они двинулись дальше в направлении (так, во всяком случае, показалось мистеру Хупдрайверу) разверстой пасти «Золотого дракона». Молодая особа ехала очень медленно, а у того человека в коричневом была проколота шина, и он вел свой велосипед. Мистер Хупдрайвер посмотрел на его льняные усы, орлиный нос и сутуловатые плечи и вдруг почувствовал живейшее отвращение.

Служанка в «Единороге» была от природы миловидная девушка, но уж очень измученная постоянными наездами велосипедистов, и мистер Хупдрайвер, беседуя с ней самым своим изысканным тоном о погоде, о дороге, о проделанном расстоянии, то и дело возвращался мыслью к Юной Леди в Сером, к ее несравненной свежести и ярким краскам. Жуя мясо, он все время поглядывал в окно в надежде еще раз ее увидеть, но «Золотой дракон» ничем не выдавал того, какой лакомый кусочек сокрыт в его недрах. Следствием, хотя и случайным, такой рассеянности за столом явилась неприятная минута, которую мистеру Хупдрайверу пришлось пережить, когда он отправил себе в рот целую ложку горчицы. Он попросил счет и вышел; расхрабрившись от мяса и горчицы, он решил встать у двери, широко расставить ноги, глубоко засунуть руки в карманы и дерзко вперить взор в дом на противоположной стороне. Но тут из ворот «Золотого дракона» — одной из тех прелестных гостиниц, что сохранились еще со времен дилижансов,— появился тот человек в коричневом, ведя свой поврежденный велосипед. Он направлялся с ним в мастерскую Фламбо. Подняв глаза, он увидел Хупдрайвера, с минуту посмотрел на него и угрюмо насупился.

Однако Хупдрайвер продолжал смело стоять в дверях, пока тот человек в коричневом не исчез в мастерской. Тогда Хупдрайвер бросил последний взгляд в сторону «Золотого дракона», беззаботно свистнул и вывел свой велосипед на середину дороги — туда, где, по его мнению, было достаточно места для того, чтобы на него сесть.

Надо сказать, в тот момент Хупдрайвер, пожалуй, склонялся к тому, чтобы никогда больше не видеть Юной Леди в Сером. Тот человек в коричневом скорее всего ее брат, хотя он белесый и бледный и совсем на нее не похож. Главное же, что мистер Хупдрайвер выставил себя перед ней полным дураком. Однако погода в тот день была против него — стояла невыносимая жара, ему напекло голову, все его силы ушли на переваривание холодного мяса, ноги ослабли, и путь его до Гилдфорда состоял из сплошных остановок. Он то шел, то отдыхал на обочине и в каждом кабачке, вопреки советам Бриггса и требованиям экономии, опрокидывал стаканчик лимонаду и кружку пива (ибо всякий велосипедист знает по опыту, что питье порождает жажду даже больше, чем жажда — потребность в питье, и тот, кто поддастся этому, разжигает в себе адов огонь, который невозможно погасить, как невозможно утолить жажду), пока наконец не купил на пенни кислых зеленых яблок, которые и приостановили поток, грозивший его унести. Время от времени одинокий велосипедист или целая стайка велосипедистов, сверкая колесами и мягко шурша шинами, проносились мимо, и всякий раз мистер Хупдрайвер, чтобы спасти свое достоинство, слезал с машины и делал вид, будто у него что-то не в порядке с седлом. И раз от раза слезал он все бесстрашнее.

До Гилдфорда он добрался только часа в четыре, настолько измученный, что решил провести там ночь в гостинице «Таверна желтого молотка». Поостыв и подкрепившись чаем с хлебом, маслом и вареньем — чай он шумно прихлебывал из блюдечка,— он вышел на улицу, решив побродить до вечера. Гилдфорд — совершенно прелестный старинный городок, знаменитый тем, как мистер Хупдрайвер вычитал в путеводителе, что там разворачивались события известного исторического романа Мартина Таппера «Стивен Лэнгтон»; в городе есть очаровательный замок, весь обсаженный геранью и разукрашенный медными мемориальными дощечками, прославляющими имена джентльменов, которые их прибили, и ратуша в стиле эпохи Тюдоров, ласкающая взор; днем идет бойкая торговля в магазинах, и люди, снующие по улицам, придают городу веселый и процветающий вид. Приятно было заглядывать в витрины и видеть, как приказчики и при-

казчицы в магазинах тканей суетятся, обслуживая покупателей. Главная улица круто спускается вниз под углом в семьдесят градусов к горизонту (так, во всяком случае, казалось мистеру Хупдрайверу, который был сейчас особенно чувствителен ко всяким уклонам), и душа у него ушла в пятки, когда он увидел велосипедиста, ехавшего по этой улице, словно муха, ползущая вниз по оконному стеклу. У этого человека не было даже тормоза.

Под вечер мистер Хупдрайвер посетил замок и заплатил два пенса, чтобы подняться на главную башню. Наверху, стоя у перил, он окинул взглядом красные крыши сбившихся в кучу городских домов и церковную колокольню, затем прошел на южную сторону, сел там, закурил «Копченую селедку» и поверх поросших ежевикой и папоротниками старинных развалин устремил взор на голубые холмы, вздымавшиеся волнами до окутанных дымкой высот Хиндхеда и Батсера. В его светло-серых глазах отражалось блаженное предвкушение приятных минут: завтра он будет ехать по этой широкой долине.

Он не заметил, чтобы кто-либо, кроме него, поднимался на башню, но вдруг услышал позади тихий голос, произнесший «Ну вот, мисс Бомонт, можете полюбоваться видом!» Что-то неуловимое в тоне позволяло догадываться, что в этом имени заключена какая-то шутка.

— Прелестный старинный городок, братец Джордж,— заметил другой голос, показавшийся мистеру Хупдрайверу весьма знакомым, и, повернув голову, он увидел того человека в коричневом и Юную Леди в Сером, стоявших спиной к нему. Хупдрайверу был виден улыбающийся ее профиль.— Только, знаете ли, братья не зовут своих сестер...— Тут она оглянулась и заметила Хупдрайвера.

— А черт! — достаточно громко вырвалось у того человека в коричневом, когда он проследил за направлением ее взгляда.

Мистер Хупдрайвер с самым безразличным видом продолжал обозревать Южную Англию.

— Не правда ли, красивый старинный городок? — после заметно затянувшейся паузы произнес тот, в коричневом.

— В самом деле! — откликнулась Юная Леди в Сером.

Новая пауза.

— Нигде нельзя побыть одним,— заметил тот, в коричневом, оглядываясь.

Тут мистер Хупдрайвер ясно понял, что мешает им, и решил удалиться. Но такое уж было его счастье, что на первых же ступеньках лестницы он споткнулся и исчез с их глаз весьма унизительным образом. Он в третий раз встречался с ним и в четвертый раз — с ней. И надо же было ему оказаться таким тупицей, чтобы даже не приподнять при виде нее кепи! Вот о чем он подумал, спустившись с башни. Видимо, они, как и он, направлялись на юг. Завтра он поднимется чуть свет и ринется вперед, чтобы не встретиться больше с ней, то есть с ними. Мистеру Хупдрайверу и в голову не пришло, что мисс Бомонт и ее брат могут поступить точно так же; не задумывался он — во всяком случае, в тот вечер — и над тем, что действительно как-то странно брату называть свою сестру «мисс Бомонт». Он был слишком занят собственной персоной. И, перебирая в памяти встречи с ними, должен был признать, что выглядел не бог весть каким героем.

Однако он еще раз — совсем неумышленно — наткнулся на эту пару. Было около семи. Он остановился возле магазина, где торговали полотном, и поверх выставленных в витрине товаров смотрел на мятущихся приказчиков. Он мог бы провести так весь день, наслаждаясь этим зрелищем. Он говорил себе, что из чисто профессионального интереса хочет посмотреть, как они развешивают ткани на латунных прутьях над прилавком, но в глубине души знал, что это не так. Покупатели интересовали его уже во вторую очередь, и лишь когда прошла, наверно, целая минута, он заметил среди них... Юную Леди в Сером! Он тотчас отвернулся от витрины и увидел того, в коричневом, стоявшего на краю тротуара и с очень странным выражением смотревшего на него.

И тут мистер Хупдрайвер задумался: кто же из них подвергается назойливому преследованию — он или они? Отчаявшись найти ответ, он махнул рукой и пошел прочь, так и не решив, как с ними держаться при следующей встрече: поглядеть ли на них свирепо или же, наоборот, принять извиняющийся, заискивающий вид.

МЕЧТАНИЯ МИСТЕРА ХУПДРАЙВЕРА

X

Мистер Хупдрайвер (в то время, к которому относится наш рассказ) был поэтом, хотя в жизни не написал ни строчки. Или правильнее было бы назвать его романистом. Его существование, как и существование бог знает скольких людей, чьим трудом движется на этом свете жизнь, было лишено всякого интереса, и если бы он осознал это с такой же трезвостью, как герои романов мистера Гиссинга[1], то за какой-нибудь год, наверно, спился бы и сошел в могилу. Но для этого Хупдрайвер обладал слишком большой природной мудростью. Наоборот, он постоянно приукрашивал свое существование мечтаниями, надеждами и позами, намеренным и тем не менее вполне успешным самообманом; а жизнь его была лишь фундаментом для романтических построений. Если бы некая высшая сила наделила мистера Хупдрайвера даром «видеть себя таким, каким тебя видят другие», о чем молил Бернс, он, наверно, постарался бы избавиться от этого дара при первом же удобном случае. Но не думайте, что он представлял себе свою жизнь в виде романа с продолжениями, нет, это была серия коротких рассказов, связанных только образом героя, как правило, молодого шатена с голубыми глазами и светлыми усиками, скорее изящного, чем сильного, скорее энергичного и решительного, чем рассудительного (см. стр. 4, как пишут в научных книгах). Личность эта неизменно обладала железной волей. Но рассказы были бесконечно разнообразны. Закурив сигарету, герой Хупдрайвера превращался в человека светского с ног до головы, отчаянного повесу, с насмешливым блеском в глазах и множеством любовных похождений в прошлом. Посмотрели бы вы, как мистер Хупдрайвер прогуливался по великолепным садам Эрлс-Корта в те вечера, когда все развлечения там рано кончались. А какие многозначительные взгляды он бросал! (Я не смею передать их значение.) Но достаточно было ему послушать красноречивого про-

---

[1] Гиссинг, Джордж (1857—1903) — английский писатель натуралистического направления, автор пессимистических романов о жизни социальных низов.

поведника духовного возрождения, чтобы рассказ пошел совсем по другому руслу: герой его становился человеком с кристально чистой, нежной душой, безупречной честности, человеком, который храбро шагает по грязи жизни, направо и налево оказывая помощь слабым и сирым, и грязь эта не липнет к нему. А стоило появиться в их магазине расфранченному дэнди в сюртуке и перчатках, с бутоньеркой и моноклем, рыцарственно сопровождающему какую-нибудь покупательницу, чтобы возник новый образ — человека по-кромвелевски простого, прямодушного и сильного, молчаливо идущего путем праведника. В описываемый нами день в мечтаниях мистера Хупдрайвера главным действующим лицом был элегантный, праздный молодой человек, безупречно одетый и почему-то едущий на самом обыкновенном велосипеде,— таинственная личность, в чьем облике, несмотря на всю скромность, временами проскальзывало что-то, поднимавшее этого человека над заурядными людьми,— возможно, то был сам «его светлость герцог», путешествующий инкогнито по Южному берегу.

Но не думайте, что мистер Хупдрайвер кому-либо рассказывал истории из этой нескончаемой серии. Он и не мечтал о том, чтобы о них узнала хоть одна душа. Если бы мне не было лень, я, наверно, переписал бы эту главу, вычеркнул бы утверждение, что Хупдрайвер был поэтом и романистом, и сказал бы вместо этого, что он был драматургом и сам разыгрывал свои пьесы. Он был не только единственным актером, но и единственным зрителем и благодаря этому развлечению почти всегда чувствовал себя счастливым. Впрочем, и сравнение с драматургом едва ли будет здесь точным. Дело в том, что многие его фантазии никогда не разыгрывались, возможно, даже большинство из них: например, мечты во время уединенной прогулки, или во время поездки в трамвае, или за прилавком, когда в торговле наступало затишье, а его руки механически складывали и свертывали материю. Чаще всего это были небольшие сценки, исполненные драматизма диалоги,— например, возвращение мистера Хупдрайвера в родную деревню в хорошо сшитом праздничном костюме и новых перчатках, перешептывание завистливых соседей за спиной, восторг старушки матери, известие: «Получил прибавку

у Энтробуса, матушка. Десять фунтов сразу. Что вы на это скажете?» Или первый шепот любви, непринужденное, остроумное, нежное признание девушке, которой он несколько дней назад продавал сатин, или храброе спасение некой символической красавицы от грубых оскорблений или от бешеной собаки.

Сколько людей предается таким мечтам, а вы и не подозреваете об этом. Вы видите оборванного мальчишку, продающего спички на улице, и думаете, что от полной беспросветности, от окончательной потери человеческого облика его отделяет лишь жалкое тряпье и тощие мускулы. А между тем его окружают невидимые сонмы ниспосланных провидением иллюзий, какие, может быть, окружают и вас. Многие люди никогда не видели своего профиля или затылка, а для того, чтобы увидеть тайные уголки нашей души, и вовсе не изобретено еще зеркала. Иллюзии таким плотным кольцом окружают мальчишку, что уколы судьбы почти не доходят до него или напоминают приятное щекотание. А ведь так происходит со всеми нами, живущими на земле. Самообман — наркоз, который дает людям жизнь, пока господь бог выкраивает нас по своему образу и подобию.

Но прекратим эту вивисекцию и вернемся к мечтаниям мистера Хупдрайвера. Вы видите теперь, как поверхностно было наше первое впечатление, а мы бросили лишь мимолетный взгляд на драму, разыгравшуюся в душе мистера Хупдрайвера, и на то, как все выглядит в волшебном зеркале его сознания. По пути в Гилдфорд и во время встреч с преследовавшей его парой в драме действовал главным образом уравновешенный джентльмен, о котором мы упоминали выше, но в Гилдфорде под влиянием различных обстоятельств он заметно изменился. Окно агента по продаже домов, например, натолкнуло мистера Хупдрайвера на мысль о премилой маленькой комедии. Он войдет, наведет справки об этом доме, который продается за 30 фунтов, возможно, возьмет ключ и осмотрит дом и тем возбудит любопытство клерка. Он поискал в уме предлог для подобного поступка и решил, что он террорист, нуждающийся в уединении. Следуя своему плану, он попросил ключ, внимательно осмотрел дом и неопределенно сказал, что помещение может подойти для его особых целей, но ему надо посоветовать-

ся с *остальными.* Клерк, однако, не понял намека и просто посочувствовал ему, решив, что перед ним человек, который слишком рано женился и вынужден подчиняться более решительному нраву своей половины.

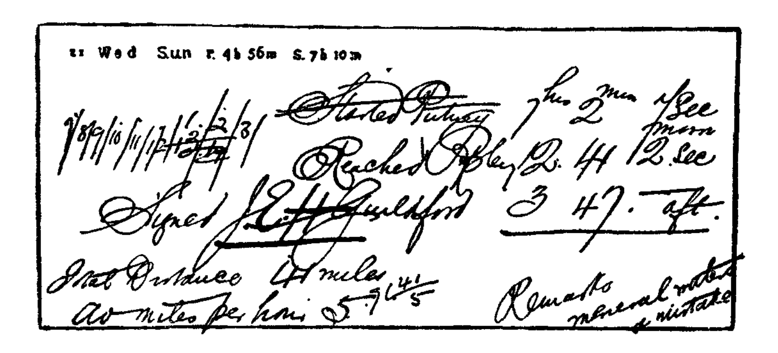
Так, следуя и дальше этим таинственным путем, мистер Хупдрайвер пришел к выводу о необходимости купить записную книжку и карандаш, а затем к мысли о художнике, делающем наброски. Этой милой игрой мистер Хупдрайвер, когда была подходящая компания, развлекался еще в ранней юности, вызывая раздражение не одного почтенного туриста, приезжавшего в Гастингс. В детстве мистер Хупдрайвер, если верить горделивому хвастовству его матушки, «немножко рисовал», но добросовестный и, как полагается, туповатый школьный учитель заметил зарождающийся талант и задушил его в зародыше своими уроками. Тем не менее наш герой с удовольствием рисовал старинные уголки Гилдфорда, и тот, другой человек, в коричневом, выглянув из окна-фонаря гостиницы «Граф Кентский», увидел, как Хупдрайвер стоит у ворот с блокнотом в руке и усердно зарисовывает фасад этого внушительного здания. Тот человек в коричневом сразу отпрянул от окна, чтобы не быть замеченным, и, слегка пригнувшись, стал наблюдать за Хупдрайвером в просвет между тюлевыми занавесками.

ЗА РАМКАМИ РАССКАЗА

XI

Чем еще занимался мистер Хупдрайвер в Гилдфорде в великий первый день своего отпуска, мы не станем здесь подробно описывать. Как он бродил в сумерках по старому городу и поднимался на Хогсбек, чтобы полюбоваться тем, как внизу одна за другой загораются лампочки, а наверху — звездочки; как он вернулся по улицам, освещенным желтыми фонарями, в гостиницу «Таверна желтого молотка» и храбро поужинал в общем зале — Человек среди Людей; как он вступил в разговор о летательных машинах и о перспективах электричества, уверяя, что летательные машины «наверняка появятся» и что электричество — штука «удивительная, удивитель-

ная»; как он наблюдал за игрой на бильярде и несколько раз с видом оракула изрек: «Оставьте вы этот шар»; как он, зевая, опустился в кресло, вытащил карту велосипедных дорог Англии и принялся внимательно изучать ее,— обо всем этом мы здесь не станем говорить. Не буду я распространяться и о том, как он пошел в библиотеку, взял перо и самыми красными чернилами провел по карте красивую яркую линию, отмечая дорогу от Гилдфорда до Лондона. В своей маленькой записной книжке он вел дневник, одну из записей которого я воспроизвожу здесь в доказательство того, что эта книга не плод воображения и написана она не потому, что автору хотелось как-то скоротать время.



Итак, все это я опускаю. Но вот мистер Хупдрайвер начал так зевать, что пришлось ему — как ни жаль — положить конец этому великому и чудесному дню. (Увы, все дни когда-то приходят к концу!) Он взял в холле у приветливой служанки свечу и поднялся наверх, куда скромный романист, пишущий книги для чтения в кругу семьи, не решается за ним последовать. Все же я могу вам сказать, что он, счастливый и сонный, опустился на колени у своей кровати и прочел «Отче наш...» — молитву, которую он выучил с голоса матери лет двадцать назад. А теперь, когда его дыхание стало глубоким и ровным, мы можем осторожно пробраться в комнату и подслушать его сны. Он лежит на левом боку, засунув руку под подушку. В спальне темно, и он сокрыт от наших глаз, но если бы вы могли увидеть в темноте его

лицо, вы бы поняли, что, несмотря на реденькие, но столь драгоценные для их обладателя усы, несмотря на грубые слова, которые, как вы помните, он произносил в тот день, перед вами всего-навсего спящий ребенок.

СНЫ МИСТЕРА ХУПДРАЙВЕРА

XII

Несмотря на опущенные шторы и темноту, вы только что видели лицо мистера Хупдрайвера, мирно спавшего сладким сном в скромной спаленке на самом верху гостиницы «Таверна желтого молотка» в Гилдфорде. Это было до полуночи. Но ночь проходила, и его начали тревожить сны.

После первого дня пути на велосипеде один сон вам непременно приснится. Мускулы ног так привыкают к определенным движениям, что вас не покидает ощущение, будто они продолжают крутить педали. Вы едете по Стране Снов на волшебных велосипедах, которые постоянно меняются и по виду и по размеру; вы съезжаете с колоколен и лестниц, перелетаете через пропасти; с замирающим сердцем вы парите над густонаселенными городами, тщетно пытаясь нащупать тормоз, чтобы спастись от падения; вы погружаетесь в бурные реки и беспомощно налетаете на ужасные препятствия. И вот мистер Хупдрайвер выехал из тьмы небытия и помчался на колесах Иезекииля по долине Сэррея, перепрыгивая через холмы и давя деревни, в то время как тот, другой человек в коричневом посылал ему вслед проклятия и кричал, чтобы он остановился. Потом появился сторож из Путни, и человек в рыжем костюме принялся изливать на него свой гнев. Мистер Хупдрайвер чувствовал себя круглым дураком, нет — как это называется? — джином, тоже нет — Джаггернаутом. Раздавленные деревни с мягким причмокиваньем уходили в землю. Он не видел Юной Леди в Сером, но знал, что она смотрит ему в спину. Он не решался оглянуться. Куда, к дьяволу, девался тормоз? Должно быть, отвалился. А звонок? Прямо перед ним был Гилдфорд. Он хотел крикнуть и предупредить город, чтобы тот посторонился, но голос у него тоже

исчез. Все ближе, ближе! Это было ужасно! В следующее мгновение дома затрещали, как орехи, и кровь жителей брызнула во все стороны. Улицы стали черными от бегущих людей. Прямо под колесами он увидел Юную Леди в Сером. Ужас охватил мистера Хупдрайвера; он накренился набок, чтобы слезть с велосипеда, забыв, на какой высоте он находится, и тотчас начал падать, падать, падать...

Он проснулся, перевернулся на другой бок, увидел в окно молодой месяц, слегка удивился и снова заснул.

Второй сон почему-то оказался продолжением первого, и человек в коричневом снова направлялся к нему, угрожая и крича. Приближаясь, он становился все уродливее, и лицо его было невыносимо злым. Он подошел, заглянул мистеру Хупдрайверу в глаза и отступил куда-то страшно далеко. Лицо его словно бы светилось. «Мисс Бомонт»,— сказал он, вызывая к жизни фонтан подозрений. Кто-то устроил в магазине фейерверк, главным образом из огненных колес, хотя мистер Хупдрайвер знал, что это против правил, потому что ведь они все-таки находились в магазине; тут мистер Хупдрайвер понял, что тот человек в коричневом — здешний управляющий, но в отличие от обычных управляющих он, словно китайский фонарик, светился изнутри. А обслуживать мистер Хупдрайвер должен был Юную Леди в Сером. Странно, что он сразу не заметил этого. Она была в сером, как всегда, и в брюках до колен; велосипед свой она прислонила к прилавку. Она, не таясь, улыбнулась ему — совсем так, как улыбалась, извиняясь за то, что ему пришлось из-за нее остановиться. И наклонилась к нему с такой вкрадчивой грацией, какой раньше он за ней не замечал. «Чем я имел бы удовольствие...» — поспешил осведомиться мистер Хупдрайвер, и она ответила: «Покажите дорогу в Рипли». Он достал дорогу в Рипли, развернул и показал ей, а она сказала, что это ей вполне подойдет, и продолжала с улыбкой смотреть на него; он начал отмерять ярдом восемь миль — обычную меру на платье, вернее, на костюм с брюками до колен; тут появился тот, другой человек в коричневом, и вмешался в разговор, и сказал, что мистер Хупдрайвер — невежа и, кроме того, меряет слишком медленно. А когда мистер

Хупдрайвер стал мерять быстрее, тот человек в коричневом заявил, что Юная Леди в Сером пробыла здесь достаточно долго и что он в самом деле ее брат, а то она не путешествовала бы с ним, и вдруг он обнял ее за талию и вышел вместе с ней. Мистер Хупдрайвер даже тут сообразил, что это едва ли можно назвать братским жестом. Конечно, нет! Его привела в дикую ярость фамильярность, с какою тот обнял девушку; он тотчас перескочил через прилавок и погнался за ними. Они обогнули магазин, забрались по железной лестнице на башню, а оттуда — на дорогу в Рипли. Какое-то время им удавалось спастись от него: они то ныряли в какую-то придорожную гостиницу с двумя входами, то выбегали со двора. Тот, другой человек в коричневом не мог бежать быстро, потому что на руках у него была Юная Леди в Сером, а мистеру Хупдрайверу мешало нелепое поведение его ног. Они никак не выпрямлялись и совершали такие движения, будто вертели педали, так что он вынужден был делать малюсенькие шажки. Сон никак не кончался. Погоня, казалось, длилась вечно, и самые разные люди: сторожа, торговцы, полисмены, старик на башне, сердитый человек в рыжем костюме, служанка из «Единорога», обладатели летательных машин, бильярдисты, странные безголовые фигуры, глупые куры и петухи, нагруженные пакетами, зонтами и плащами, люди с подсвечниками в руках и всякая прочая дрянь — толпились на его пути и надоедали ему, хотя он звонил в свой электрический звонок и на каждом углу говорил: «Удивительно, удивительно!»

КАК МИСТЕР ХУПДРАЙВЕР ЕХАЛ В ХЭЗЛМИР

XIII

С завтраком мистера Хупдрайвера произошла небольшая заминка, так что он смог выехать из Гилдфорда лишь после того, как пробило девять. Он нерешительно повел свою машину по Главной улице. Ведь он так и не знал, обогнала ли его Юная Леди, столь прочно завладевшая его воображением, и ее неприятный, а может

быть, даже опасный братец, или они все еще завтракают где-нибудь в Гилдфорде. В первом случае он мог ехать не спеша, во втором же — должен был торопиться и, возможно, даже спрятаться на одной из боковых дорог.

Ему почему-то показалось наиболее правильным — по каким-то таинственным стратегическим соображениям — выехать из Гилдфорда не по главной дороге, на Портсмут, а по дороге, идущей через Шалфорд. На этой приятной тенистой дороге мистер Хупдрайвер настолько почувствовал себя в безопасности, что возобновил свои упражнения в езде, то снимая одну руку с руля, то оглядываясь через плечо. Раза два он не сумел выровнять велосипед, но успел соскочить, из чего заключил, что дела его пошли на лад. Не доезжая Брэмли, он соблазнился боковой дорожкой — она подхватила его, пробежала с ним полмили и выбросила, как терьер бросает палку, снова на Портсмутскую дорогу, милях в двух от Годалминга. В Годалминг мистер Хупдрайвер вступил пешком, ибо по этому прелестному городку проходит, несомненно, гнуснейшая в мире дорога, сплошное нагромождение щебня — пики и пропасти, а затем, успешно проведя эксперимент с сидром в «Мешке шерсти», наш герой двинулся в Милфорд.

Все это время его неотступно преследовала мысль о Юной Леди в Сером и об ее спутнике в коричневом, как ребенка преследует в темной комнате мысль о домовом. Вдруг ему чудилось сзади шуршание их шин, но, обернувшись, он видел только уходящую вдаль пустынную дорогу. А однажды далеко впереди блеснуло колесо, но оказалось, что это какой-то рабочий, не боясь погибели, ехал на очень высоком велосипеде. Мысль о Юной Леди в Сером почему-то вызывала у него беспокойство, которого он сам не мог объяснить. Проснувшись, он забыл о нарочито подчеркнутом обращении—«мисс Бомонт», на которое обратил внимание во сне. Но родившаяся во сне непонятная уверенность, что девушка вовсе не сестра тому человеку, осталась. К чему, например, брату стоять наедине с сестрой на верхушке башни? Возле Милфорда велосипед мистера Хупдрайвера, можно сказать, свалял дурака. Внезапно перед ним возник указательный столбик, тщетно предлагая повернуть направо; и мистер Хупдрайвер, конечно, притормозил бы и

прочел, что там написано, но велосипед не позволил. Дорога в Милфорд шла под гору, и машина накренилась, пригнула голову и понесла; мистер Хупдрайвер только тогда вспомнил про тормоз, когда проехал мимо столба. Теперь, чтобы вернуться к перекрестку, надо было слезать, ибо не было еще дороги достаточно широкой, чтобы мистер Хупдрайвер мог на ней развернуться. Поэтому он продолжал свой путь, а вернее, наоборот: сошел со своего пути. В Портсмут вела дорога, уходившая вправо, а та, по которой он поехал,— в Хэзлмир и Мидхерст. Эта ошибка и повлекла за собой новую встречу с его вчерашними знакомыми: он наехал на них под аркой моста Юго-Западной железной дороги — неожиданно, без предупреждения, когда они меньше всего этого ждали. «Это ужасно,— говорил женский голос,— это грубо, подло...» И умолк.

Лицо мистера Хупдрайвера, когда он проскочил мимо них под аркой, выражало что-то среднее между приветливой улыбкой и гримасой досады на себя за невольное и несвоевременное появление. Однако, несмотря на свое замешательство, он подметил, что вид у них обоих был какой-то странный. Оба велосипеда лежали у дороги, а велосипедисты стояли друг против друга. Тот, другой человек в коричневом стоял, как показалось Хупдрайверу, в довольно нахальной позе: он крутил ус и слегка улыбался, как бы забавляясь происходящим. Девушка же стояла, выпрямившись, опустив руки; пальцы ее крепко сжимали носовой платок, лицо горело, веки слегка покраснели. На взгляд мистера Хупдрайвера, она была чем-то возмущена. Но это длилось всего секунду. На лице ее появилась маска недоумения, скрывшая все остальные чувства, когда она, повернув голову, узнала его, да и тот человек в коричневом от неожиданности переменил позу. Но мистер Хупдрайвер уже проехал мимо и помчался к Хэзлмиру, пытаясь разобраться в моментальном снимке, отпечатавшемся у него в мозгу.

«Странно,— сказал себе мистер Хупдрайвер.— Чертовски странно!»

«Они ссорились».

«Наглый...» Впрочем, неважно, как он назвал того человека в коричневом.

«Он пристает к ней! Подумать только, что кто-то осмеливается так себя вести!»

«Что же произошло?»

Неожиданно у мистера Хупдрайвера возникло желание вмешаться. Он нажал на тормоз, слез и остановился в нерешительности, глядя назад. Они продолжали стоять под железнодорожным мостом, и мистеру Хупдрайверу показалось, что девушка топнула ножкой. Он поколебался, затем повернул велосипед и поехал обратно, собрав все свое мужество, чтобы оно не изменило ему и он не попал в смешное положение. «Я ему покажу»,— твердил про себя мистер Хупдрайвер. Тут он увидел, что девушка плачет, и взволновался еще больше. В следующий момент они услышали, что он подъезжает к ним, и в удивлении обернулись. Конечно, она плакала; глаза ее были полны слез, а тот человек в коричневом выглядел крайне смущенным. Мистер Хупдрайвер слез с велосипеда и остановился, придерживая его.

— Надеюсь, ничего страшного не произошло?—спросил он, глядя прямо в лицо тому человеку в коричневом.— С вами ничего не случилось?

— Ничего,— отрезал тот.— Абсолютно ничего, благодарю вас.

— Но,— заметил мистер Хупдрайвер, сделав над собой огромное усилие,— леди плачет. Я думал, может быть...

Юная Леди в Сером вздрогнула, метнула на Хупдрайвера быстрый взгляд и прикрыла один глаз платком.

— Это соринка,— сказала она.— Мне в глаз попала соринка.

— Леди в глаз попал комар,— объяснил тот человек в коричневом.

Наступило молчание. Юная Леди терла глаз.

— Кажется, вынула,— сказала она.

Тот человек в коричневом выказал живейший интерес к судьбе таинственного насекомого. А мистер Хупдрайвер стоял, как он сказал бы, разиня рот. Он обладал интуицией, свойственной простодушным людям. И был уверен, что там не было никакого комара, но как-то вдруг потерял почву под ногами. Даже для рыцарских подвигов

есть предел: драконы и коварные злодеи — это, конечно, прекрасно, но комар! Да к тому же выдуманный! Что бы там ни произошло, ему явно не следовало вмешиваться. Он чувствовал, что опять попал в глупое положение. Он хотел было пробормотать какое-нибудь извинение, но тот человек в коричневом не дал ему рта раскрыть и резко, даже злобно повернулся в его сторону.

— Надеюсь,— сказал он,— ваше любопытство удовлетворено?

— Безусловно,— ответил мистер Хупдрайвер.

— Тогда мы вас не задерживаем.

И пристыженный мистер Хупдрайвер повернул свой велосипед, взгромоздился на него и поехал дальше на юг. Когда он понял, что находится не на Портсмутской дороге, возвращаться было уже поздно, потому что это значило бы снова встретиться со своим позором, и ему пришлось подниматься вверх по Брук-стрит к Хэзлмиру. А вдалеке справа, дразня его и мелькая среди залитых солнцем зеленых и сиреневых холмов Хиндхеда, шла прямая Портсмутская дорога.

Светило солнце, и вид на далекие голубоватые холмы и приветливые долины, расположенные по обе стороны песчаной дороги, даже сами ее обочины, поросшие серыми кустиками вереска и колючим дроком, и сосны над ними с молодыми ярко-зелеными иглами, выделявшимися среди более темных, прошлогодних,— все это ласкало глаз мистера Хупдрайвера. Но наслаждение солнечным днем и сладостное чувство только сутки назад обретенной свободы отчаянно боролись в его душе с несказанной досадой, вызванной этой неприятной встречей, и все еще не одержали победы, когда он достиг Хэзлмира. Словно огромная коричневая тень, навалилась на него безграничная ненависть к тому человеку в коричневом. Мистеру Хупдрайверу пришла в голову блестящая мысль: не ехать в Портсмут или по крайней мере уступить прямую дорогу своим попутчикам, а самому решительно повернуть влево, на восток. Он не посмел остановиться ни в одном из заманчивых ресторанчиков на главной улице Хэзлмира, а свернул в переулок и там нашел маленькую пивную «Добрая надежда», где и решил перекусить. Там он поел и снисходительно побеседовал с пожилым рабочим, изображая для собственного удо-

вольствия единственного сына богатых родителей, так и не получившего наследства, а затем поехал к Норсчепелу, на который, словно сговорившись, указывало множество придорожных столбов, однако из-за одного коварного перекрестка не скоро попал туда.

КАК М-Р ХУПДРАЙВЕР ПОПАЛ В МИДХЕРСТ

XIV

Как весьма глубокомысленно заметил однажды мой дядюшка, человек — самое неразумное создание на свете. Эта его мысль подтверждалась на примере мистера Хупдрайвера, который все утро изощрялся, стараясь избежать встречи с тем человеком в коричневом и Юной Леди в Сером, а затем большую часть дня провел, думая о ней и весьма оптимистически рассматривая возможность снова с ней встретиться. Его память и воображение были заняты только ею, а потому путь его в значительной мере определялся поворотами дороги, по которой он ехал. В главном он был твердо убежден. «Что-то у них не так»,— говорил он себе, а однажды даже произнес это вслух. Но что именно — он не мог себе представить. Он снова перебрал в уме все факты. «Мисс Бомонт»; брат и сестра; остановка в пути, ссора и слезы,— словом, есть над чем призадуматься неопытному молодому человеку. Но мистер Хупдрайвер больше всего на свете не любил утруждать себя выводами, поэтому вскоре перестал доискиваться до истины и дал волю воображению. Увидит ли он ее когда-нибудь? Надо надеяться— и тогда с ней уже не будет этого типа. Всего приятнее, подсказывала ему фантазия, было бы встретиться с ней вдруг на ежегодном балу в Ассамблее Путни. Они каким-то образом окажутся рядом, и он будет танцевать с ней снова и снова. Это была восхитительная картина, потому что, как вы можете представить себе, мистер Хупдрайвер танцевал необыкновенно хорошо. Или же в магазине — ослепительное видение в дверях, и вот уже ее с поклоном подводят к прилавку с бумажными тканями. И он, нагнувшись над прилавком и понизив голос,

как будто расхваливая покупательнице свои товары, скажет: «Я не забыл того утра на Портсмутской дороге» — и еще тише добавит: «Я никогда его не забуду».

В Норсчепеле мистер Хупдрайвер взглянул на карту и задумался, размышляя, куда двинуться дальше. Подходящим местом для отдыха мог быть Петуорс или Палборо; Мидхерст был вроде бы слишком близко, а любое место за холмами — слишком далеко; итак, он покатил к Петуорсу, то и дело останавливаясь и слезая, собирал полевые цветы, удивляясь, почему у них нет названий, ибо он никогда их не слышал, и выбрасывал их потихоньку при виде прохожего — короче говоря, «бездельничал вовсю». У живых изгородей росла сиреневая повилика, таволга, жимолость, поздняя ежевика, но шиповник уже отцвел; а то вдруг попадались зеленые и красные ягоды черной смородины, куриная слепота и одуванчики, а потом — белые свечки крапивы, ломонос, вьющийся помаренник, разные цветущие травы, белые лихнисы и кукушкин цвет. Поле пшеницы пестрело маками, ярко-красными и лиловыми, а кое-где появлялись и васильки. На тропинках ветви деревьев переплетались над его головой, а в живых изгородях по сторонам виднелись застрявшие пучки сена. На одной из дорог он с опасностью для жизни проехал сквозь стадо угрюмых бурых волов. То тут, то там виднелись маленькие домики и живописные пивные с яркими синими и малиновыми вывесками, а потом — большой луг и церковь, а возле нее еще с сотню домиков. Наконец на пути ему попался ручей с каменистым дном — он вытекал из зарослей камыша, вербейника и незабудок под купой деревьев и журча пересекал дорогу; здесь мистер Хупдрайвер слез с велосипеда, мечтая поскорее скинуть ботинки и носки, теперь совсем посеревшие от пыли, и погрузить свои тощие ноги в весело журчащую воду; но вместо этого он уселся, как и подобает настоящему мужчине, и закурил сигарету — из опасения, как бы перед ним не возникла во всем своем блеске Юная Леди в Сером. Ибо Юная Леди в Сером незримо присутствовала во всем: в цветах, в его радости и ликовании. Знакомство с нею по-особому окрашивало этот второй день его отпуска, такой непохожий на первый, вносило привкус ожидания, тревоги, даже грусти, неотступно преследовавшей его.

Только поздно вечером мистер Хупдрайвер вдруг живо пожалел, что сбежал от тех двоих. Он успел проголодаться, а это обстоятельство странным образом действует на эмоциональную окраску наших мыслей. Хупдрайвер внезапно понял, что мужчина был гнусный негодяй, а девушка — девушка попала в какую-то большую беду. И он вместо того, чтобы помочь ей, поддался первому побуждению и скрылся. Этот новый взгляд на вещи ужасно его расстроил. Чего только не могло теперь с ней случиться! Ему снова вспомнились ее слезы. Конечно, он обязан был, заметив, что с ней что-то неладно, не терять ее из виду.

Он поехал быстрее, чтобы спастись от укоров совести, запутался в лабиринте дорог, и, когда уже начало темнеть, оказался не в Петуорсе, а в Изборне, в миле от Мидхерста. «Я хочу есть,— подумал мистер Хупдрайвер, выяснив у лесника в Изборне, куда он попал.— До Мидхерста — миля, а до Петуорса — пять! Нет уж, спасибо, еду в Мидхерст».

Он въехал в Мидхерст по мосту около мельницы и покатил вверх по Северной улице; здесь внимание его привлекло крохотное заведеньице, весело манившее посетителей веселой вывеской с изображением чайника и такими соблазнами, как пачки табака, сласти и детские игрушки в окне. Чистенькая старушка с живыми глазами приветствовала его, и вскоре он уже сидел за обильным ужином из сосисок и чая и перелистывал прислоненную к чайнику книгу для посетителей, полную острот и комплиментов старенькой леди в стихах и в прозе. Некоторые остроты были очень удачны, и рифмы прекрасно звучали, даже когда рот ваш набит сосисками. У мистера Хупдрайвера родилась идея нарисовать «что-нибудь», ибо он успел уже составить мнение о старушке. Он вообразил, как она откроет книгу и обнаружит его рисунок. «Боже милостивый! Видно, это был художник из «Панча»!» — воскликнет она. В комнате, где он сидел, была ниша, отгороженная занавеской, и комод, ибо вскоре ей предстояло стать его спальней; ту часть ее, которая отведена была для дневного времяпрепровождения, украшали вставленные в рамку дипломы местного клуба, книги с позолоченными корешками, портреты, а также чехлы для чайников и прочие очаровatель-

ные рукоделия из шерсти. Это была в самом деле очень уютная комната. Из окна в свинцовом косом переплете виднелся угол дома священника и красивый темный силуэт холма на фоне гаснущего неба. Покончив с сосисками, мистер Хупдрайвер закурил «Копченую селедку» и с важным видом вышел на погруженную в сумерки улицу. Синие тени лежали на этой улице, обрамленной темными кирпичными домиками, лишь кое-где ярко желтело окно, да от вывески у аптеки на дорогу падали полосы зеленого и красного света.

ИНТЕРМЕДИЯ

XV

А теперь оставим на время мистера Хупдрайвера посреди темной Северной улицы в Мидхерсте и вернемся к той паре, что стояла у железнодорожного моста между Милфордом и Хэзлмиром. Она была яркая брюнетка лет восемнадцати, с блестящими глазами и тонким лицом, которое от малейшего пустяка заливал румянец. Глаза ее блестели сейчас особенно ярко из-за слез. Мужчине, светлому блондину с довольно длинным носом, нависавшим над льняными усами, с бледно-голубыми глазами и очень прямо посаженной, даже слегка запрокинутой головой, было года 33—34. Он стоял, широко расставив ноги и подбоченившись, с видом, одновременно агрессивным и вызывающим. Они проследили глазами за Хупдрайвером, пока он не скрылся из виду. Неожиданное появление его остановило поток ее слез. Мужчина, покручивая свои пышные усы, спокойно смотрел на девушку. Она стояла, отвернувшись, ни за что не желая заговаривать первой.

— Ваше поведение,— сказал он наконец,— привлекает внимание.

Она повернулась к нему, глаза ее и щеки пылали, руки были крепко сжаты.

— Отъявленный мерзавец — вот вы кто! — произнесла она, задыхаясь, и топнула ножкой.

— Отъявленный мерзавец?! Девчонка моя! Вполне возможно... Но кто не станет мерзавцем ради вас?

— «Девочка моя»! Да как вы смеете со мной так разговаривать? Вы...

— Я готов сделать что угодно...

— О!..

Наступила короткая пауза. Она в упор смотрела на него, глаза ее горели гневом и презрением, и он под этим взглядом, наверно, слегка покраснел. Но он погладил свои усы и усилием воли постарался сохранить цинично-спокойный вид.

— Будем же благоразумны,— сказал он.

— Благоразумны! Все, что есть в мире подлого, трусливого и грязного, заключено в этом слове.

— У вас всегда была склонность... к обобщениям. Но давайте посмотрим фактам в лицо... если вы не возражаете.

Она нетерпеливо взмахнула рукой, предлагая ему продолжать.

— Так вот,— сказал он,— вы ведь сбежали.

— Я ушла из дому,— с достоинством поправила она его.— Я ушла из дому, потому что мне было там невыносимо. Потому что эта женщина...

— Да, да. Но факт тот, что вы сбежали со мной.

— Это вы поехали со мной. Вы называли себя моим другом. Обещали помочь мне, чтобы я могла зарабатывать на жизнь литературным трудом. Вы же сами сказали: «Почему, собственно, мужчина и женщина не могут быть друзьями?» А теперь вы посмели... посмели...

— Право, Джесси, эта ваша поза оскорбленной невинности...

— Я вернусь обратно. Я запрещаю вам — слышите, я запрещаю вам задерживать меня...

— Подождите. Я всегда считал, что у моей маленькой ученицы, уж во всяком случае, ясная головка. Видите ли, вы еще не все знаете. Выслушайте меня.

— Разве я вас не слушала? Но вы только оскорбляли меня. Это вы-то, который говорил только о дружбе,

который едва осмеливался намекнуть на что-либо другое...

— Однако вы понимали намеки. Вы все прекрасно знали. Прекрасно. И не были против. Какое там! Вам это даже нравилось. В этом и была для вас вся прелесть — что я люблю вас и не решаюсь признаться. Вы играли этим...

— Все это вы мне уже говорили. И, думаете, это вас оправдывает?

— Я еще не кончил. Я решил... как бы это сказать, сделать игру более равной. Я предложил вам уйти из дому и уехал вместе с вами. Я выдумал, будто у меня есть сестра в Мидхерсте, а никакой сестры у меня нет! И все это с единственной целью...

— Какой же?

— Скомпрометировать вас.

Она вздрогнула. Это было что-то новое. С полминуты оба молчали. Затем она сказала — чуть ли не с вызовом:

— Подумаешь, как вы меня скомпрометировали! Конечно, я вела себя как дура...

— Дорогая моя, вам еще нет и восемнадцати лет, и вы очень мало знаете об этом мире — меньше, чем думаете. Но вы узнаете его. Прежде чем вы напишете все те романы, о которых мы говорили, вам придется его узнать. Вот, к примеру...— Он помолчал в нерешительности. — Вы вздрогнули и покраснели, когда официант за завтраком назвал вас «мэм». Вы решили, что это занятная ошибка, но ничего не сказали, потому что он был молод и явно волновался... к тому же вы и сами смутились: мысль, что вас приняли за мою жену, оскорбила вашу скромность. И вы предпочли притвориться, будто ничего не заметили. Но я-то записал вас в гостинице как миссис Бомонт.— Вид у него был чуть ли не виноватый, несмотря на циничную позу. — *Миссис* Бомонт,— повторил он, покручивая льняные усы и наблюдая за действием своих слов.

Она молча смотрела на него.

— Да, быстро я постигаю эту науку,— наконец медленно произнесла она.

Он подумал, что настало время для решительного наступления.

— Джесси,— сказал он совсем уже другим тоном,— я знаю, это подло, низко. Но неужели вы думаете, что я интриговал и занимался всеми этими ухищрениями с какой-то иной целью...

Она, казалось, не слышала его слов.

— Я еду домой,— внезапно заявила она.

— К ней?

Она вздрогнула.

— Вы только представьте себе,— сказал он,— как она вас теперь встретит!

— Так или иначе, с вами я расстаюсь.

— Да? И...

— Поеду куда-нибудь, где я смогу зарабатывать себе на жизнь, быть свободной, не думать об условностях...

— Дорогая моя, будем циничны. У вас нет ни денег, ни кредита. Никто вас к себе не возьмет. Остается одно из двух: либо вернуться к мачехе, либо... довериться мне.

— Как я *могу* вам довериться?

— Тогда вы должны вернуться к ней.—Он помолчал, чтобы она могла осознать, что это значит.— Джесси, я не хотел говорить того, что сказал. Честное слово, я не соображал, что говорю. Если можете, простите меня. Я ведь мужчина. Я ничего не мог с собой поделать. Простите меня, и обещаю вам...

— Как же я могу вам поверить?

— Испытайте меня. Уверяю вас.

Она недоверчиво взглянула на него.

— Во всяком случае, пока поедемте со мной дальше. Мы уже достаточно долго стоим под этим ужасным мостом.

— Ах, дайте мне подумать! — сказала она, отворачиваясь от него и прижимая руку ко лбу.

— Подумать! Послушайте, Джесси. Сейчас десять часов. Давайте заключим перемирие до часа?

Она поколебалась, потом потребовала, чтобы он сказал, что он подразумевает под перемирием, и наконец согласилась.

Они сели на велосипеды и молча поехали по залитой солнцем, поросшей вереском равнине. Оба чувствовали неловкость и разочарование. Она побледнела, снедаемая страхом и гневом. Она понимала, что попала в беду, и тщетно пыталась найти выход. Только одна мысль все время вертелась у нее в мозгу, как она ни старалась прогнать ее. Это было совершенно не относящееся к делу соображение — что голова его удивительно похожа на бесцветный кокосовый орех. Он тоже был разочарован. Романтический подвиг обольщения оказался, в общем-то, скучным делом. Но ведь это только начало. Во всяком случае, каждый день, проведенный вместе, был плюсом для него. Может быть, все не так уж и плохо, и эта мысль несколько утешила его.

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ИСКУССТВЕННОГО, И О ДУХЕ ВРЕМЕНИ

XVI

Вы уже знаете этих двух молодых людей внешне (кстати фамилия мужчины — Бичемел, а девушку зовут Джесси Милтон); слышали их разговор; теперь они едут к Хэзлмиру бок о бок (но не слишком близко друг к другу, храня напряженное молчание), и эта совершенно ненужная глава посвящена тем любопытным совещательным комнаткам в их мозгу, где заседают их побуждения и выносится приговор их поступкам.

Но сначала скажем несколько слов о париках и вставных зубах. Какой-то шутник, исходя из того, что количество лысых и подслеповатых людей все увеличивается, сделал вывод о том, какое странное будущее ждет человеческую поросль. В наши дни человек, заявил он, к сорока или пятидесяти годам теряет волосы — и вместо них мы даем ему парик; он усыхает — и мы восполняем недостатки его фигуры с помощью ваты; у него выпадают зубы — извольте: к его услугам искусственные челюсти и золотые коронки. Человек потерял руку

или ногу — в его распоряжении чудесная новая искусственная конечность; получил несварение желудка — существует искусственный желудочный сок, желчь, панкреатин, в зависимости от надобности. Цвет лица также может быть заменен; очки подправляют ослабевшее зрение; в глохнущее ухо вставляется незаметная искусственная перепонка. Так этот шутник прошелся по всему нашему организму и придумал фантастическое существо, состоящее из кусочков и заплаток, некое подобие человека с незначительной крупицей живой плоти, сокрытой где-то в глубине. Вот, утверждал он, что нас всех ждет.

Насколько можно подменить живой организм искусственным — эта проблема не должна нас сейчас интересовать. Но дьявол устами мистера Радьярда Киплинга утверждал, что применительно к некоему Томлинсону такая подмена была совершена по крайней мере в том, что касалось души. Когда-то у людей были простые души, желания такие же неискусственные, как глаза, немного здравой филантропии, немного здравого стремления к продолжению рода, чувство голода, вкус к хорошей жизни, вполне благопристойное тщеславие, здоровая, приносящая удовлетворение воинственность, и так далее. Теперь же нас годами учат и воспитывают, а потом мы годами читаем и читаем какие-то нудные, раздражающие деловые бумаги. Нас со всех сторон окружают гипнотизеры-писатели, гипнотизеры-педагоги и проповедники и гипнотизеры-журналисты. Сахар, который вы едите, говорят они, приготовлен из чернил — и мы тотчас отвергаем его с безграничным отвращением. В темном напитке неоплатного труда без надежды на вознаграждение, узнаем мы, заключено Подлинное Счастье,— и мы пьем его с неизменным удовольствием. Ибсен, говорят они, скучен сверх всякой меры,— и мы начинаем зевать и потягиваться, что есть мочи. Простите, вдруг заявляют они, Ибсен глубок и великолепен,— и мы наперебой друг перед другом восторгаемся им. И вот если мы вскроем черепные коробки наших двух молодых людей, мы нигде не обнаружим ни единого прямого побуждения; обнаружим мы не столько душу, сколько искусственную оболочку. Дух времени, благоприобретенные идеи, дешевую смесь прекрасных, но путаных представлений. Девушка решила

Жить Самостоятельной Жизнью,— фраза, которую вы, возможно, уже слышали; мужчина же одержим довольно извращенным желанием быть циником, натурой артистической и невозмутимой. Кроме всего прочего, он надеется пробудить в девушке Страсть. Из учебников, которые он проштудировал, он знает, что Страсть должна пробудиться. Он знает также, что девушка восхищается его талантом, но не подозревает, что она вовсе не восхищается формой его головы. Он видный лондонский критик, они встретились в доме ее мачехи, известной романистки, и вы уже видели, как они вместе отправились на поиски Приключений. Оба переживают сейчас первую стадию раскаяния, во время которой, как вы, очевидно, знаете по собственному опыту, человек стискивает зубы и говорит: «Не отступлюсь».

События, как видите, развиваются у них не гладко, и они продолжают свой путь хоть и вместе, но почти не общаясь друг с другом, что не сулит ничего хорошего для нормального развития Приключения. Он понял, что поторопился. Но считает, что тут задета его честь, и, хотя с его наряда романтического злодея несколько пообл етела позолота, все-таки замышляет новую атаку.

А девушка? Она еще не пробудилась. Поступки ее заимствованы из книг, написанных случайным сборищем авторов — романистов, биографов — на чистой странице ее неопытности. Она окутана искусственной оболочкой, которая в любую минуту может лопнуть, высвободив скрывающегося под ней человека. Она все еще находится на уровне школьницы, которой разговорчивый старик кажется интереснее застенчивого юноши, а карьера крупного математика или, скажем, редактора ежедневной газеты представляется пределом мечтаний для любой честолюбивой девушки. Бичемел обещал помочь ей достигнуть этого положения наиболее быстрым путем, и вдруг— извольте: он говорит какие-то непонятные слова о любви, смотрит на нее в высшей степени странно, а один раз — и это был самый серьезный его проступок — даже пытался ее поцеловать. Правда, он извинился. Как видите, она до сих пор не понимает, что попала в сложный переплет.

ВСТРЕЧА В МИДХЕРСТЕ

XVII

Мы оставили мистера Хупдрайвера у двери небольшого заведения, где можно было выпить чаю, купить табаку или игрушку. Пусть не думает читатель, что я увлекаюсь совпадениями, когда узнает, что рядом с дверью миссис Уордор — так звали быстроглазую старушку, у которой остановился мистер Хупдрайвер,— была дверь «Гостиницы ангела», где в тот вечер, когда мистер Хупдрайвер достиг Мидхерста, находились «мистер» и «мисс Бомонт» — наши Бичемел и Джесси Милтон. Право же, тут нет ничего удивительного, ибо для человека, едущего через Гилдфорд, выбор дороги на юг весьма ограничен: можно поехать через Питерсфилд в Портсмут или через Мидхерст в Чичестер; кроме этих двух шоссе, есть еще только две проселочные дороги на Петуорс и Палборо и пересекающая их дорога на Брайтон. И если въехать в Мидхерст с севера, на пути неизбежно попадется разверстый зев «Гостиницы ангела», готовый поглотить наиболее респектабельных велосипедистов, в то время как добродушный чайник миссис Уордор привлечет тех, чьи капиталы исчисляются в мелкой монете. Но людям, незнакомым с сэссекскими дорогами,— а к ним-то и принадлежат три действующих лица нашего рассказа,— такое столкновение не казалось неизбежным.

Бичемел, подтягивавший после обеда цепь своего велосипеда во дворе «Гостиницы ангела», первым обнаружил, что они снова вместе. Он увидел, как Хупдрайвер, пуская облака табачного дыма, медленно вышел из ворот и направился вверх по улице. Черные тучи смутного беспокойства, успевшие несколько рассеяться за день, вновь окутали Бичемела и быстро сгустились во вполне определенное подозрение. Он сунул отвертку в карман и вышел через арку на улицу, чтобы немедленно все выяснить, ибо он всегда гордился своей решимостью. Хупдрайвер прогуливался, и они столкнулись лицом к лицу.

Вид соперника вызвал у Хупдрайвера одновременно отвращение и смех, и на какое-то мгновение он перестал испытывать к нему враждебность.

— А-а, опять мы с вами встретились! — сказал он и фальшиво рассмеялся над такой прихотью фортуны.

Но тот, другой человек в коричневом, преградил мистеру Хупдрайверу путь и в упор посмотрел на него. Затем на лице его появилось выражение зловещей любезности.

— Для вас, конечно, не будет открытием,— спросил он чрезвычайно учтиво,— если я скажу, что вы преследуете нас?

Мистер Хупдрайвер в силу каких-то непонятных причин сдержался и не стал по обыкновению сразу же оправдываться. Ему захотелось досадить тому, другому в коричневом, и на память ему весьма кстати пришла фраза, которую в своих мысленных диалогах с этим человеком он не раз произносил.

— С каких это пор,— начал мистер Хупдрайвер, и тут дыхание у него перехватило, но он все же храбро продолжал: — с каких это пор графство Сэссекс стало вашей собственностью?

— Позволю себе заметить,— заявил тот, другой в коричневом,— что я возражаю, то есть мы возражаем не только против того, что вы вечно торчите у нас на глазах. Говоря откровенно, вы, видимо, следуете за нами с какой-то целью?

— Если это вам не по душе,— сказал мистер Хупдрайвер,— вы можете в любую минуту повернуть и возвратиться туда, откуда приехали.

— Ага! — сказал тот, другой в коричневом.— Вот мы и договорились. Я так и думал.

— В самом деле? — переспросил мистер Хупдрайвер, ничего не понимая, но храбро бросаясь навстречу неизвестности. Куда клонит этот человек?

— Понятно,— сказал тот, другой.— Понятно. Вообще-то я подозревал...— Он вдруг стал удивительно дружелюбным.— Можно вас... На несколько слов... Надеюсь, вы могли бы уделить мне десять минут?

В голове мистера Хупдрайвера возникли разные догадки. За кого этот человек принимает его? Действи-

тельность превосходила все его вымыслы. Он не сразу нашелся, что сказать. Потом его осенила подходящая фраза:

— Вы хотите мне что-то сообщить?

— Назовем это так,— сказал тот, другой в коричневом.

— Я могу уделить вам десять минут,— с величайшим достоинством произнес мистер Хупдрайвер.

— В таком случае пойдемте,— сказал тот, другой в коричневом, и они медленно пошли вниз по Северной улице в направлении начальной школы. С полминуты оба молчали. Тот, другой, нервно поглаживал усы. В мистере Хупдрайвере проснулась обычная склонность драматизировать события. Он не вполне понимал, какая ему выпала роль, но она явно была мрачной и таинственной. Доктор Конан-Дойль, Виктор Гюго и Александр Дюма были в числе авторов, которых он читал, и читал он их не зря.

— Я буду говорить с вами откровенно,— сказал тот, другой в коричневом.

— Откровенность — всегда наилучший путь,— сказал мистер Хупдрайвер.

— Итак, кто, черт побери, поставил вас на это дело?

— Поставил меня на это дело?

— Не валяйте дурака. Кто вас нанял? На кого вы работаете?

— Видите ли,— смущенно пробормотал мистер Хупдрайвер.— Нет! Я не могу сказать.

— Вы в этом уверены? — Тот, другой в коричневом, многозначительно посмотрел на свою руку, и мистер Хупдрайвер, машинально проследив за его взглядом, увидел желтый металлический ободок кошелька, блеснувший в полутьме. Надо сказать, что младший приказчик стоит выше таких вещей, как чаевые, но лишь незначительно выше, и потому обладает на этот счет особой чувствительностью.

Мистер Хупдрайвер вспыхнул, и глаза его метнули молнии, встретив взгляд того, другого человека в коричневом.

— Уберите это! — сказал он, останавливаясь и глядя прямо в лицо искусителю.

— Что? — удивленно спросил тот, другой в коричневом.— Что вы сказали? — повторил он, но кошелек все же спрятал в карман.

— Вы что, считаете, что меня можно подкупить? — спросил мистер Хупдрайвер, воображение которого быстро дорисовало то, чего он не понял. — Черт побери! Теперь я в самом деле буду преследовать вас...

— Дорогой сэр,— сказал тот, другой в коричневом,— прошу извинить меня. Я вас не понял. Я в самом деле прошу меня извинить. Пройдемтесь еще немного. В вашей профессии...

— Что вы имеете против моей профессии?

— Ну, как вам сказать... Есть сыщики низшего класса — те, которые занимаются слежкой. Это целая категория людей... Частный розыск... Я принял вас... надеюсь, вы меня извините за эту, в общем-то вполне естественную, ошибку. Благородные люди не так часто встречаются в жизни — в любой области.

К счастью для мистера Хупдрайвера, в Мидхерсте летом не зажигают фонарей, иначе фонарь, мимо которого они в эту минуту проходили, сослужил бы ему плохую службу. Он и так вынужден был схватиться за усы и потянуть их изо всей силы, чтобы скрыть бешеный взрыв веселости, неодолимый приступ смеха, который душил его. Он сыщик! Даже в полумраке Бичемел заметил, что собеседник его давится от смеха, но он приписал это впечатлению, какое произвело на того выражение «благородные люди».

«Ничего, он еще одумается,— сказал себе Бичемел.— Просто хочет набить себе цену, чтоб получить пять фунтов».

Он кашлянул.

— Не понимаю, что вам мешает сказать, кто ваш наниматель?

— Не понимаете? Зато я понимаю.

— Давайте ближе к делу,— решил попытать счастья Бичемел.— Я хочу поставить перед вами главный вопрос, в котором, так сказать, вся загвоздка. Если не хотите, можете мне не отвечать. Но, думается, не будет большой беды, если я скажу вам, что именно мне хотелось бы знать. Вам поручено следить за мной... или за мисс Милтон?

— Нет, я не болтун,— сказал мистер Хупдрайвер, наслаждаясь тем, что он не выдает тайны, которой и сам не знает. Мисс Милтон! Значит, вот как ее зовут. Может быть, этот человек еще что-нибудь скажет о ней.— Напрасно стараетесь. Больше вам ничего от меня не угодно? — спросил мистер Хупдрайвер.

Бичемел весьма высоко ставил свои дипломатические способности. Он решил добиться успеха, сыграв на доверии.

— По-моему, только два человека заинтересованы в том, чтобы следить за развитием этой истории.

— Кто же второй? — спокойно спросил мистер Хупдрайвер, с большим трудом, однако, сохраняя самообладание. «Кто второй»,— это просто блестяще, решил он про себя.

— *Моя* жена и ее мачеха.

— И вы хотите знать, которая из них...

— Да,— сказал Бичемел.

— Ну и спросите у них самих,— произнес мистер Хупдрайвер, внутренне ликуя и восхищаясь своей находчивостью.— Спросите у них самих.

Подумав, что от него ничего не добьешься, Бичемел собрался было уйти. Но потом решил сделать еще одну попытку.

— Я бы дал пять фунтов, чтобы узнать истинное положение дел,— сказал он.

— Я же сказал вам, чтобы вы об этом и не заикались! — угрожающим тоном заявил мистер Хупдрайвер. И прибавил доверительно, но загадочно: — Видно, вы еще не поняли, с кем имеете дело. Но ничего, поймете!

Он говорил так убежденно, что сам чуть ли не поверил в существование своего сыскного бюро в Лондоне, конечно, на Бэкер-стрит.

На этом разговор окончился. Бичемел, весьма встревоженный, пошел назад в гостиницу. «Черт бы побрал этих сыщиков!» Такого оборота он никак не ожидал. А Хупдрайвер, выпучив глаза, недоуменно улыбаясь, спустился к мельничной запруде, где вода блестела в лунном свете, постоял некоторое время в задумчивости у парапета моста, бурча что-то насчет Частного Ро-

зыска и тому подобных вещей, повернулся и с таинственностью, отражавшейся даже в походке, двинулся к городу.

XVIII

Мистер Хупдрайвер возликовал — внешне это выразилось в том, что он поднял брови и протяжно, но негромко свистнул. На какое-то время он забыл про слезы Юной Леди в Сером. Началась новая игра — игра всерьез. И мистер Хупдрайвер выступал тут как Частный Детектив, настоящий Шерлок Холмс, держащий этих двух людей «под наблюдением». Он немедленно пошел обратно, пока не оказался напротив «Гостиницы ангела»; там он постоял минут десять, разглядывая здание и наслаждаясь непривычным сознанием того, что он такой удивительный, таинственный и страшный человек. В его голове все сразу стало на свои места. Конечно, он по какому-то наитию принял облик велосипедиста и, чтобы не упустить беглецов, схватил первую попавшуюся рухлядь. «Денег на расходы не жалеть».

Затем он попытался осмыслить то, что стало ему известно. «Моя жена».— «*Ее* мачеха!» Тут ему вспомнились заплаканные глаза девушки. И его захлестнула волна гнева, удивившая его самого и мгновенно смывшая с него личину сыщика, так что он вновь превратился просто в мистера Хупдрайвера. Тот человек в коричневом, с его самоуверенным видом и пятью фунтами (черт бы его побрал!), явно затевает что-то недоброе, иначе чего бы ему бояться слежки. Он женат! И она вовсе не сестра ему. Мистер Хупдрайвер начал кое-что понимать. Ужасное подозрение родилось у него. Надо надеяться, дело еще не дошло до этого. Он сыщик — он все узнает. Но как? Он начал придумывать всевозможные планы, которые поочередно представлял на собственное утверждение. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы решиться войти в бар «Ангела».

— Пожалуйста, лимонаду и пива,— сказал мистер Хупдрайвер.

Он прочистил горло.

— Мистер и миссис Болонг не здесь остановились?

— Джентльмен и молодая леди на велосипедах?

— Да, довольно молодые — муж и жена.

— Нет,— сказала буфетчица, разговорчивая особа внушительных размеров.— Мужа и жены у нас нет. Но есть мистер и *мисс* Бомонт.— Для точности она произнесла фамилию по слогам.— Вы уверены, молодой человек, что не спутали фамилию?

— Совершенно уверен,— ответил мистер Хупдрайвер.

— Бомонты здесь есть, но этих — как вы их назвали?

— Болонги,— сказал мистер Хупдрайвер.

— Нет, никаких Болонгов здесь нет,— сказала буфетчица и, взяв вымытый стакан, начала вытирать его.— Сначала я подумала, что вы спрашиваете про Бомонтов — фамилии-то схожие. Они тоже едут на велосипедах?

— Да. Они сказали, что, очевидно, будут в Мидхерсте к вечеру.

— Ну, может, они скоро и приедут. Бомонты тут есть, а вот Болонгов нет. Вы уверены, что вам нужны не Бомонты?

— Наверняка,— заверил ее мистер Хупдрайвер.

— Забавно, что фамилии такие схожие. Я подумала, может...

Так они потолковали какое-то время, и мистер Хупдрайвер с искренней радостью убедился, что подозрения его неосновательны. Буфетчица, удостоверившись, что на лестнице никто не подслушивает, сообщила ему некоторые подробности о молодой паре, остановившейся наверху. Она намекнула, что костюм молодой леди оскорбил ее скромность, а мистер Хупдрайвер шепотом сострил на этот счет, отчего буфетчица кокетливо пришла в ужас.

— Пройдет годика два, и уже никто не отличит, где мужчина, а где женщина,— заметила она.— А как эта молодая леди ведет себя! Слезла с машины, сунула ее своему спутнику, чтоб поставил у тротуара, а сама прямо сюда. «Мы с братом,— говорит,— хотим остановиться здесь на ночь. Брату все равно, какая у него будет комната, а мне нужна комната с хо-

рошим видом, если у вас такая есть». Так и сказала! Тут он влетел сюда и уставился на нее. А она говорит: «Я уже условилась насчет комнат». А он ей: «Тьфу, черт!» Так и сказал. Представляю себе, что бы мой братец сказал, если б я вздумала так им командовать.

— Думаю, и командуете,— сказал мистер Хупдрайвер,— если по правде-то.

Буфетчица опустила глаза, улыбнулась и покачала головой, поставила вытертый стакан, взяла другой и стряхнула с него капли воды в маленькую цинковую раковину.

— Хороша она будет под венцом, — заметила буфетчица.— Так и пойдет, как говорится, в невыразимых? Подумать только, какие теперь стали девушки.

Такое пренебрежительное отношение к Юной Леди в Сером едва ли могло прийтись по вкусу Хупдрайверу.

— Мода,— сказал он, беря сдачу,— мода — это для вас, женщин, все, так оно всегда было. Через годик-другой вы сами станете носить брюки.

— Да уж, хорошо они будут выглядеть на моей фигуре,— заметила буфетчица, хихикнув.— Нет, я за модой не гонюсь. Слава богу, нет! Мне бы все казалось, будто на мне нет ничего, будто я забыла надеть... Ну да ладно. Что-то я разболталась.— Она резко поставила стакан. — Видно, вкусы у меня старомодные,— сказала она и пошла вдоль бара, мурлыча себе что-то под нос.

— Только не у вас,— возразил мистер Хупдрайвер. И, встретившись с ней взглядом, учтиво улыбнулся, приподнял кепи и пожелал ей спокойной ночи.

XIX

Вслед за этим мистер Хупдрайвер вернулся в комнатку с окном в свинцовом переплете, где он обедал и где теперь была приготовлена для него удобная постель; он присел на сундук возле окна и, глядя на луну, поднимавшуюся над блестящей крышей дома священ-

ника, попытался собраться с мыслями. В каком вихре неслись они вначале! Был одиннадцатый час, и почти все жители Мидхерста уже лежали в постели; кто-то в конце улицы пиликал на скрипке; время от времени запоздалый горожанин спешил домой, пробуждая своими шагами эхо, да в саду священника деловито чирикал коростель. На темно-синем небе, там, где еще остались отсветы заката, вырисовывался черный силуэт холма, и бледная луна безраздельно, если не считать двух-трех желтых звездочек, господствовала на небосводе.

Вначале мысли мистера Хупдрайвера носили кинетический характер: он думал о действиях, а не об отношениях. Перед ним был злодей и его жертва, и мистеру Хупдрайверу выпало на долю принять участие в игре. *Он* женат. Знает ли она об этом? Мистер Хупдрайвер ни минуты не думал о ней плохо. Простодушные люди разбираются в вопросах морали намного лучше, чем высокообразованные господа, которые начитались и наразмышлялись до того, что всякий ум потеряли. Он слышал ее голос, видел открытый взгляд ее глаз, и она плакала — этого было вполне достаточно. Он еще не все уяснил себе как следует. Но уяснит. А этот ухмыляющийся тип — свинья, и это — самое мягкое для него слово. Мистеру Хупдрайверу вспомнился чрезвычайно неприятный инцидент у железнодорожного моста. «Мы вас больше не задерживаем, благодарю вас,— вслух произнес сквозь зубы мистер Хупдрайвер неестественным, презрительным тоном, который, как ему казалось, точно воспроизводил голос Бичемела.— Ах ты нахал! Ничего, я еще с тобой поквитаюсь. Он боится нас, сыщиков, голову даю на отсечение». (Если бы миссис Уордор оказалась за дверью и услышала его слова,— тем лучше!)

Некоторое время он изобретал способы мести и наказания для злодея,— большей частью физически неосуществимые: вот Бичемел, шатаясь, падает навзничь от удара внушительного, но, по правде сказать, не очень сильного, кулака мистера Хупдрайвера; вот тело Бичемела— 5 футов 9 дюймов — поднято в воздух, и оно извивается и корчится под страшными ударами хлыста. Эти мечты были столь приятны, что остроносое лицо мистера Хупдрайвера при свете луны словно преобрази-

лось. При взгляде на него вспоминалась широко известная картина «Пробуждение души»,— столь сладостен был владевший им экстаз. Наконец, удовлетворив свою жажду мести шестью или семью отчаянными драками, дуэлью и двумя зверскими убийствами, он мысленно вновь занялся Юной Леди в Сером.

Смелая она все-таки девушка. Он вспомнил, как ему рассказывала про нее буфетчица в «Гостинице ангела». И мысли его перестали нестись стремительным потоком, а уподобились гладкому зеркалу, в котором она отражалась предельно ясно и четко. Никогда в жизни не встречал он такой девушки. Разве можно представить себе эту толстуху-буфетчицу одетой, как она! Он презрительно рассмеялся. Он сравнил цвет ее лица, ее живость, ее голос с Юными Леди-Труженицами, с которыми его объединяла общая участь. Даже в слезах она была прекрасна, а ему казалась еще прекраснее оттого, что слезы делали ее мягче, слабее, не такой неприступной. До сих пор слезы были связаны в его представлении с мокрым бледным лицом, покрасневшим носом и растрепанными волосами. Приказчик — в некотором роде знаток слез, ибо слезы — обычная реакция Юных Леди-Тружениц, когда им сообщают, что по тем или иным причинам в их услугах больше не нуждаются. А она — другое дело, она умеет плакать и — черт возьми! — умеет улыбаться. Уж он-то знает. И, внезапно перейдя от мечтательного состояния к готовности действовать, он заговорщически улыбнулся сморщенной бледной луне.

Трудно сказать, сколько времени размышлял так мистер Хупдрайвер. Кажется, довольно долго, прежде чем им овладела жажда действия. Он вспомнил, что призван «наблюдать» и что завтра ему предстоит немало хлопот. Сыщики всегда делают какие-то пометки, поэтому он достал свою записную книжку. Держа ее в руках, он снова задумался. Сказал ли ей этот тип, что за ними следят? Если да, то станет ли она, как и он, стремиться поскорее уехать отсюда? Надо быть начеку. Если удастся, хорошо бы поговорить с ней. Сказать коротко, но многозначительно: «Я ваш друг — доверьтесь мне!» Ему пришло в голову, что завтра беглецы могут встать спозаранок и удрать. Тут

он взглянул на часы и обнаружил, что уже половина двенадцатого. «Боже мой!— воскликнул он про себя.— Как бы мне не проспать!» Он зевнул и поднялся. Ставни не были закрыты, и он еще отдернул ситцевую занавеску, чтобы солнце утром ударило ему в глаза, повесил свои часы на видном месте — на крюк для котелка — и, сев на кровать, принялся раздеваться. Некоторое время он лежал, размышляя о чудесных возможностях, которые откроются перед ним завтра утром, потом доблестно отбыл в волшебную страну снов.

ПОГОНЯ

XX

И вот мистер Хупдрайвер, встав с солнцем, бодрый, энергичный, в чудесном настроении, распахивает открывающуюся половину оконной рамы и, напрягая слух, то и дело искоса поглядывает на фасад «Ангела». Миссис Уордор хотела, чтобы он позавтракал внизу, на кухне, но это значило бы покинуть наблюдательный пост, и он решительно отказался. Велосипед его в полной готовности занимал, невзирая на все протесты, стратегическую позицию в лавке. С шести утра мистер Хупдрайвер ждал. К девяти им овладел неописуемый страх: а что, если добыча ускользнула от него? И чтобы успокоиться, он решил произвести рекогносцировку на дворе «Ангела». Там он обнаружил конюха, чистившего велосипеды преследуемых (до чего же низко опустились великие мира сего в наше упадочное время!), и, с облегчением переведя дух, вернулся к миссис Уордор. Часов около десяти они появились и спокойно покатили по Северной улице. Он проследил за ними, пока они не завернули за угол почты, тогда он выскочил на дорогу и помчался за ними во всю прыть! Они проехали мимо пожарного депо, где хранятся старые насосы и прочее хозяйство, и свернули на Чичестерскую дорогу — он неотступно следовал за ними. Так началась великая погоня.

Они не оглядывались, и он старался ехать на расстоянии, а когда за поворотом вдруг оказывался слишком

близко от них, соскакивал с машины. Усиленно работая педалями, он не отставал от них, ибо они не спешили. Ему, правда, было жарко, и колени у него слегка одеревенели, но и только. Опасность упустить их была невелика: дорогу покрывал тонкий слой известковой пыли, и шины ее велосипеда оставляли отпечаток, похожий на след от ребра шиллинга, а рядом клетчатой лентой вился след его шин. Так они проехали мимо памятника Кобдену, пересекли прелестнейшую деревеньку, наконец впереди показались крутые склоны холмов. Тут они сделали остановку в единственной гостинице; мистер Хупдрайвер занял позицию, откуда ему видна была входная дверь, вытер лицо и, томясь от жажды, выкурил «Копченую селедку». Они все не показывались. Несколько краснощеких недорослей, возвращавшихся из школы, остановились и, выстроившись в ряд, минут десять спокойно, но упорно глазели на мистера Хупдрайвера.

— Проваливайте отсюда,— сказал он.

Они выслушали его с интересом, но совершенно невозмутимо. Тогда он стал спрашивать одного за другим, как их зовут, они же лишь невнятно бормотали что-то в ответ. Под конец он отступился и с безучастным видом продолжал ждать, а им через некоторое время надоело на него смотреть, и они разошлись.

Взятая им под наблюдение пара находилась в гостинице так долго, что мистер Хупдрайвер при мысли о том, что они там делают, почувствовал не только жажду, но и голод. Они явно завтракали. День стоял безоблачный, и солнце, взойдя в зенит, припекало темя мистера Хупдрайвера, словно он стоял под солнечным душем и на голову ему лили горячий солнечный свет. Голова у него кружилась. Наконец они вышли из гостиницы, и человек в коричневом оглянулся и увидел его. Они доехали до подножия холма, сошли с велосипедов и, подталкивая машины, медленно двинулись вверх по длинной, почти вертикальной слепяще-белой дороге. Мистер Хупдрайвер остановился. У них уйдет минут двадцать на то, чтобы подняться по склону. А дальше, наверно, на многие мили тянется пустынная равнина. И он решил вернуться в гостиницу и быстро перекусить.

В гостинице ему подали сухарики с сыром и обманчивую на вид оловянную кружку крепкого пива, прият-

ного на вкус, освежающего горло, но свинцом наливающего ноги, особенно в такой жаркий день. Он чувствовал себя полноценным человеком, когда вышел на слепящий солнечный свет, но уже у подножия холма солнце так припекло его, что, казалось, череп его сейчас лопнет. Подъем стал круче, меловая лента дороги, точно свет магния, резала глаза, и переднее колесо его начало безостановочно скрипеть. Он чувствовал себя так, как, наверно, чувствовал бы себя марсианин, если бы вдруг очутился на нашей планете, а именно: в три раза тяжелее, чем обычно. Две маленькие черные фигурки исчезли за холмом.

— Ничего, следы все равно останутся,— промолвил Хупдрайвер.

Эта мысль успокаивала его. Она не только оправдывала медлительность, с какою он поднимался в гору, но и отдых после подъема, когда он растянулся на траве у дороги и принялся — теперь уже с противоположной стороны — обозревать Южную Англию. За какие-нибудь два дня он пересек эту обширную долину, обрамленную зелеными холмами, вздыбившимися, словно застывшие волны,— долину с разбросанными по ней деревеньками и городками, рощами и полями, прудами и речками, сверкающими на солнце, точно изделия из серебра, усыпанные бриллиантами. Северных холмов не было видно — они были далеко. Внизу приютилась деревушка Кокинг, а на склоне, примерно на расстоянии мили вправо, паслось стадо овец. Над головой, в синем небе, кружил встревоженный чибис, издавая время от времени свой слабый крик. Здесь, наверху, жара не так чувствовалась из-за освежающего ветерка. Мистером Хупдрайвером овладело непонятное ублаготворение, он закурил сигарету и устроился поудобнее. Право же, сэссекское пиво, видно, делают на водах Леты, настое из маков и сладостных грез. И вот предательница Дрема уже незаметно связала его своими путами.

Он вздрогнул и проснулся с ощущением вины: оказывается, он лежал, растянувшись на траве, сдвинув кепи на один глаз. Он сел, протер глаза и понял, что спал. Голова у него была еще немного тяжелая. А как же погоня? Он тотчас вскочил и нагнулся, чтобы поднять опрокину-

тый велосипед. Вынув часы, он увидел, что уже больше двух.

— Господи помилуй! Подумать только! Но следы-то их, конечно, остались,— пробормотал мистер Хупдрайвер, выводя машину на меловую дорогу.— Я, наверное, живьем изжарюсь, прежде чем догоню их.

Он вскочил на велосипед и поехал — настолько быстро, насколько позволяли жара и остатки усталости. Время от времени ему приходилось слезать, чтобы на развилке осмотреть дорогу. Это ему даже нравилось. «Следопыт»,— изрек он вслух, а в глубине души решил, что у него настоящее чутье на «нить». Так он проехал станции Гудвуд и Лейвант и часам к четырем добрался до Чичестера. И тут начался кошмар. На дороге местами стали попадаться каменистые участки; в других местах она была вся затоптана недавно прошедшим стадом овец, и, наконец, у въезда в город появился булыжник — каменные мостовые уходили на восток, на запад, на север и на юг, и у каменного креста, стоявшего в тени собора, следы терялись.

— Тьфу, дьявол!— воскликнул мистер Хупдрайвер в растерянности, слезая с велосипеда и останавливаясь посреди дороги.

— Что-нибудь обронили? — осведомился какой-то местный житель, стоявший у развилки.

— Да,— сказал мистер Хупдрайвер,— потерял нить.

И двинулся дальше, предоставив местному жителю гадать, какая же часть велосипеда называется «нитью». А мистер Хупдрайвер, отказавшись от поиска следов, начал спрашивать прохожих, не видели ли они Юной Леди в Сером на велосипеде. Когда шестеро случайных прохожих ответили, что нет, он почувствовал, что расспросы его выглядят подозрительно, и отступился. Но что же теперь предпринять?

Хупдрайверу было жарко, он устал, проголодался, и его начали терзать страшные угрызения совести. Он решил подкрепиться чаем с холодным мясом и, сидя в «Короле Георге», в весьма меланхолическом настроении принялся раздумывать над тем, что произошло. Они исчезли из поля его зрения — испарились, и все его чудесные, хоть и неясные мечты о том, как он вдруг

сыграет в их судьбе решающую роль, рассыпались в прах. Какого он свалял дурака: надо было прилипнуть к ним, как пиявка! Ведь это же ясно! О чем он только думал! Ну хорошо, что́ проку сейчас от угрызений? Он вспомнил про ее слезы, про беспомощность, про то, как вел себя тот человек в коричневом, и гнев его и досада вспыхнули с новой силой.

— Но что же я могу поделать? — громко воскликнул мистер Хупдрайвер, ударяя кулаком по столу рядом с чайником.

А что бы сделал Шерлок Холмс? Может, все-таки существуют на свете такие вещи, как ключ к разгадке, хотя время чудес и прошло? Но искать ключ в этом сложном переплетении мощенных булыжником улиц, исследовать каждую полоску земли между камнями! Можно, конечно, походить по городу и порасспрашивать по гостиницам. С этого он и начал. Но они, разумеется, могли проехать через город, не останавливаясь, так что ни одна душа их не заметила. И тут ему в голову пришла положительно блестящая идея. «Сколько дорог выходит из Чичестера? — спросил себя мистер Хупдрайвер. Вот это была мысль, достойная Шерлока Холмса.— Если они поехали дальше, то на одной из дорог я обнаружу их следы. Если же нет,— значит, они в городе». В эту минуту он находился на Восточной улице и тотчас двинулся в объезд города, который, как он выяснил попутно, был обнесен стеной. По дороге он навел справки в «Черном лебеде», в «Короне», в «Гостинице Красного льва». В шесть часов вечера он шел по дороге, ведущей в Богнор,— шел, потупившись, отчаянно пыля и напряженно глядя себе под ноги, как человек, потерявший монету; разочарование сделало его угрюмым и злым. То был уже совсем другой Хупдрайвер — раздосадованный и удрученный. И тут ему в глаза вдруг бросилась широкая полоса с рубчиками, как на ребре шиллинга, а рядом — другая, клетчатая,— полосы эти то сливались, то снова разъединялись. «Нашел!» — воскликнул мистер Хупдрайвер и, круто повернувшись, вприпрыжку помчался к «Королю Георгу», где ему чинили велосипед. Конюх считал, что для обладателя такой развалины он уж очень придирчив.

В БОГНОРЕ

XXI

Тем временем Бичемел, сей джентльмен-обольститель, готовился к решающей минуте. Он затеял этот побег с Джесси в лучших романтических традициях, необычайно гордый своей испорченностью и действительно влюбленный — в той мере, в какой может быть влюблен человек с такой искусственной душой. Но Джесси оказалась то ли отъявленной кокеткой, то ли просто от природы лишена была способности воспылать Страстью (с большой буквы). В его представления о себе и о женской натуре никак не укладывалось, что Джесси даже при столь благоприятных обстоятельствах не сумела оправдать его ожидания. Ее неизменная холодность и более или менее явное презрение бесили его. Он внушал себе, что она способна вывести из терпения даже святого, и пытался увидеть в этом нечто занятное и пикантное, но самолюбие его не успокаивалось. В конце концов под влиянием этого постоянного раздражения он стал самим собой, а натура его, несмотря на полученное в Оксфорде образование и на принадлежность к Клубу молодых обозревателей, ничем не отличалась от натуры существа времен палеолита с его примитивными вкусами и склонностью к насилию. «Я еще с тобой посчитаюсь!» — мысль эта, словно плуг, перепахивала его думы.

А тут еще этот проклятый сыщик. Бичемел сказал жене, что едет в Давос повидать Картера. С этим она, видимо, смирилась, а вот как она отнесется к такой авантюре, трудно предугадать. У нее свои особые взгляды на мораль, и супружескую неверность она расценивала в зависимости от того, в какой мере это может ее задеть. Если все происходит не у нее на глазах, вернее, не на глазах у дам ее круга, так и быть, можно разрешить этим презренным слабым существам—мужчинам предаваться порокам определенного свойства, но ведь тут грех на Большой Дороге! Она непременно поднимет шум, что в конечном счете всегда приводило к сужению финансовых возможностей Бичемела. И все же — решимость эта делала его героем в собственных глазах — авантюра стоила того. Воображение рисовало ему

матроноподобную Валькирию; воздух полнился звуками погони и мести. Но на авансцене по-прежнему царила идиллия. Проклятого сыщика, судя по всему, удалось сбить со следа, и, таким образом, хотя бы эту ночь можно будет вздохнуть свободней. А дело надо довести до конца.

И вот в восемь часов вечера в небольшой столовой гостиницы «Викуна» в Богноре наступил решающий момент, и Джесси, раскрасневшаяся, возмущенная, с замирающим сердцем, вновь приготовилась к схватке с Бичемелом — на этот раз последней. Ему удалось обмануть ее — удача была на его стороне: в гостинице он записал ее в книге для приезжих как миссис Бомонт. Пока, если не считать того, что она отказалась зайти в их общий номер и выразила странное желание сесть за стол, не вымыв рук, она ничем не выдала себя перед официантом. Но обед прошел в довольно мрачной атмосфере. А теперь Джесси решила воззвать к лучшим сторонам его натуры и вслух принялась излагать всякие несбыточные планы своего спасения.

Он сидел белый, кипя от злости,— примитивная ярость то и дело прорывалась сквозь его маску светского льва.

— Я пойду на станцию,— говорила она.— Вернусь домой...

— Последний поезд отошел в 7.42.

— Я обращусь в полицию...

— Вы не знаете полиции.

— Я скажу управляющему гостиницы.

— Он выставит вас за дверь. Положение ваше крайне ложно. Здесь этого не поймут — это вне всяких правил.

Она топнула ногой.

— Ну, так я буду бродить всю ночь по улицам,— заявила она.

— Это вы-то, которая ни разу в жизни не выходила одна из дому после сумерек? А вы знаете, на что похожи улицы такого прелестного курортного городка?

— Не знаю и знать не хочу,— сказала она.— Я могу пойти к священнику.

— Это очаровательный человек. Неженатый. А мужчины, что бы вы о них ни думали, все более или менее одинаковы. И, кроме того...

— Что еще?

— Попробуйте-ка объяснить теперь кому бы то ни было, как вы провели последние две ночи. Это непоправимо, Джесси.

— Негодяй,— сказала она и внезапно поднесла руку к груди.

Он решил, что она сейчас упадет в обморок, но она выстояла — только побелела как полотно.

— Вовсе нет,— сказал он.— Я люблю вас.

— Любите?! — воскликнула она.

— Да, люблю.

— Ну, ничего, я найду выход,— промолвила она, помолчав.

— Только не вы. В вас столько жизни и надежды! Ни темная арка моста, ни черные быстрые воды реки не для вас. И не думайте об этом. Все равно в последний момент у вас не хватит духу, и вы только окажетесь в смешном положении.

Она резко отвернулась от него, встала и принялась глядеть в окно на сверкающее море, над которым свет нарождавшейся луны боролся с последними отблесками угасающего дня. Он продолжал сидеть. Жалюзи не были спущены, ибо она просила официанта не закрывать окон. Несколько минут царила тишина.

Наконец он заговорил — самым вкрадчивым тоном, на какой был способен:

— Ну будьте же благоразумны, Джесси. Зачем нам, людям, имеющим столько общего, ссориться и разыгрывать мелодраму? Клянусь, я люблю вас. Вы для меня — олицетворение всего самого яркого и желанного. Я сильнее вас, старше, я как раз тот мужчина, который нужен такой женщине, как вы. И вдруг *вы*, оказывается... так скованы условностями!

Она взглянула на него через плечо, и он залюбовался ею, увидев, как она вздернула свой хорошенький подбородок.

— *Мужчина*! — фыркнула она.— Как раз тот мужчина, который нужен *мне*! Да разве *мужчины* лгут? Неужели *мужчина* станет пускать в ход весь свой тридца-

типятилетний опыт, чтобы перехитрить семнадцатилетнюю девушку? Нечего сказать, мужчина, который нужен мне! Это уж последнее оскорбление!

— Ваш ответ прелестен, Джесси. Должен вам, однако, сказать, что именно так мужчины и поступают — и даже хуже, если им понравится такая девушка, как вы. И перестаньте вы, ради бога, ворчать! Почему вы хотите быть такой недотрогой? Я принес к вашим ногам свою репутацию, свою карьеру. Послушайте, Джесси, клянусь честью, я женюсь на вас...

— Боже упаси! — с такой поспешностью воскликнула она, что и тут не дала ему сказать про свою жену. Он же только теперь по горячности ее ответа понял, что она этого не знает.

— Сейчас у нас с вами вроде бы помолвка,— продолжал он, следуя своей догадке. И, помолчав, добавил:— Будьте благоразумны. Вы же сами этого хотели. Пойдемте на берег — берег здесь изумительный, скоро взойдет луна.

— Не пойду,— заявила она, топнув ножкой.

— Ну ладно, ладно...

— Ах, оставьте меня одну. Дайте мне подумать...

— Думайте, если хотите,— сказал он.— Вы только и твердите об этом. Но сколько ни думайте, все равно, моя девочка, вы себя не спасете. Теперь вам себя никак не спасти. Если, конечно, ваше спасение в том... чтобы быть недотрогой...

— Ах, уйдите, уйдите же.

— Хорошо. Я ухожу. Пойду выкурю сигару... и буду думать о вас, дорогая. Неужели вы считаете, что я стал бы тратить время, если бы вы не были мне так дороги?

— Уходите,— прошептала она, не глядя на него.

Она продолжала смотреть в окно. Он поглядел на нее с минуту — в глазах его появился странный блеск. Затем шагнул к ней.

— Попались,— сказал он.— Теперь вы в моей власти. В сетях, плененная. Но моя. — Ему хотелось подойти к ней, взять ее за плечи, но он решил пока этого не делать.— Вы в моей власти,— повторил он.— Слышите: в моей *власти!*

Она не шелохнулась. Он посмотрел на нее и, величественно взмахнув рукой — этого жеста она так и не видела,— направился к двери. Слабый пол всегда инстинктивно подчиняется силе — на этом-то он и сыграет. И Бичемел решил про себя, что битва выиграна. Джесси слышала, как повернулась ручка в двери и щелкнул захлопнувшийся замок.

XXII

А теперь выйдем на улицу, где уже наступили сумерки, и посмотрим на мистера Хупдрайвера — щеки его горят румянцем, глаза сверкают! А ум — в полном смятении. Робкий, раболепно послушный Хупдрайвер, которого я представил вам несколько дней тому назад, претерпел удивительное превращение. С тех пор как он потерял в Чичестере «нить», его терзали кошмары: ему казалось, что предмет его внимания подвергают позорнейшим оскорблениям. Новая, непривычная обстановка постепенно лишила его обычной покорности судьбе.

Здесь на смену багровому закату вставала луна, ложились черные тени и зажигались оранжевые фонари; таинственные силы отняли у него красавицу; воплощенное зло в коричневом костюме с неприятным лицом издевалось над ним и угрожало. Мистер Хупдрайвер перенесся в мир романтики и рыцарских подвигов, в блаженном своем состоянии забыв на время, какое общественное положение занимает девушка, а какое он сам, забыв и о своей проклятой застенчивости, которая прежде так сковывала его, когда он стоял за прилавком, на своем месте. Его обуревала ярость и жажда приключений. У него на глазах развертывалась настоящая драма, в которую он оказался втянут, и он ни за что не хотел упустить дальнейшее развитие событий. Однако теперь, найдя утерянную «нить», он уже не мог бы забавляться происходящим как зритель. Он жил полной жизнью. И уже не позировал, когда слез с велосипеда у кафе, чтобы наскоро перекусить.

Бичемел как раз вышел из «Викуны» и направился к набережной, когда Хупдрайвер, разочарованный и отчаявшийся, выскочил из кафе «Трезвость» и завернул за угол. При виде Бичемела сердце у него подпрыг-

нуло от радости, и владевшая им злость уступила место усиленной деятельности ума, или, вернее, нашла выход в лихорадочном потоке мыслей. Значит, они остановились в «Викуне», и она сейчас там одна. Это был как раз тот случай, которого он искал. Но он не даст Фортуне провести себя. Он снова завернул за угол, присел на скамью и проследил за Бичемелом до тех пор, пока тот не скрылся в темной дали набережной. Тогда он встал и вошел в гостиницу.

— Мне нужна дама в сером, которая приехала на велосипеде,— сказал он и смело последовал за слугой.

Лишь когда дверь в столовую распахнулась, сердце у него екнуло. Он чуть было не повернулся и не бросился бежать, он почувствовал, как у него от страха перекашивается лицо.

Вздрогнув, она обернулась и посмотрела на него — в глазах ее отразились одновременно надежда и страх.

— Могу ли я... сказать вам несколько слов... наедине?— спросил мистер Хупдрайвер, с трудом овладевая дыханием.

Она помедлила, затем жестом велела слуге удалиться. Мистер Хупдрайвер проводил его взглядом, пока за ним не закрылась дверь. Он намеревался выйти на середину комнаты и, скрестив на груди руки, сказать: «С вами случилась беда. Я ваш друг. Доверьтесь мне». Вместо этого он постоял, тяжело дыша, и вдруг с виноватым видом, торопливо и отнюдь не галантно выпалил:

— Послушайте. Я не знаю, какая тут у вас заварилась каша, но, по-моему, что-то не так. Извините, что я вмешиваюсь. Только... если это правда, я сделаю все, что хотите, чтоб помочь вам выбраться из заварухи. Вот, по-моему, все, что я хотел сказать. Что же я могу для вас сделать? Я что угодно сделаю, чтобы помочь вам.

Она сосредоточенно смотрела на него, пока он с большим волнением произносил свою замечательную речь.

— Вы!— промолвила она. Раздираемая противоречивыми чувствами, она взвешивала в уме все «за» и «против», и не успел он кончить, как она приняла решение.

— Вы — джентльмен,— сказала она, шагнув к нему.

— Да,— согласился мистер Хупдрайвер.

— Могу ли я вам довериться? — И, не дожидаясь его ответа, добавила: — Я должна немедленно покинуть эту гостиницу. Подите сюда.— Она взяла его под руку и подвела к окну.— Отсюда видны ворота. Они еще открыты. Там стоят наши велосипеды. Пойдите туда, выведите их, а я спущусь к вам. Отважитесь вы на это?

— На то, чтобы вывести ваш велосипед на дорогу?

— Оба. Если вы выведете только мой, это ничего не даст. И сейчас же. Отважитесь?

— А как туда пройти?

— Выйдите через главный вход и за угол. Я через минуту последую за вами.

— Хорошо,— сказал мистер Хупдрайвер и вышел.

Он должен вывести велосипеды. Даже если б ему приказали пойти и убить Бичемела, он бы и это сделал. В голове его бурлил Мальстрем. Он вышел из гостиницы, прошел вдоль ее фасада и завернул в большой темный двор. Там он осмотрелся. Никаких велосипедов на виду не было. Тут из темноты вынырнул коротенький человечек в короткой черной лоснящейся куртке. Хупдрайвер был пойман. Он даже и не пытался бежать.

— Я почистил ваши машины, сэр,— сказал человечек, увидев знакомый костюм, и дотронулся до фуражки.

Ум Хупдрайвера по быстроте сообразительности не уступил тут взмывающему ввысь орлу: он мгновенно все понял.

— Прекрасно,— сказал он и, стремясь сократить паузу, поспешно добавил: — А где мой велосипед? Мне хотелось бы взглянуть на цепь.

Человечек провел его под навес и принялся искать фонарь. Хупдрайвер подвел сначала дамский велосипед к двери, затем взялся за мужской и выкатил его во двор. Ворота были открыты, и за ними белела дорога и чернели в полумраке деревья. Он нагнулся и дрожащими пальцами принялся ощупывать цепь. Как же быть дальше? За воротами что-то промелькнуло. Надо как-то отделаться от этого человека.

— Послушайте,—сказал Хупдрайвер, осененный внезапной мыслью.— Можете принести мне отвертку?

Человек вернулся под навес, открыл и закрыл какой-то ящик и через минуту уже стоял подле коленопре-

клоненного Хупдрайвера с отверткой в руке. Хупдрайвер почувствовал, что он погибает. Он взял отвертку, кисло промолвил: «Спасибо»,— и тут вдруг вдохновение вновь снизошло на него.

— Послушайте,— сказал он опять.

— Да?

— К чему же мне такая огромная отвертка?

Человек зажег фонарь, принес его и поставил на землю рядом с Хупдрайвером.

— Хотите поменьше? — спросил он.

Хупдрайвер поспешно вытащил носовой платок и, прикрывшись им, чихнул — старая уловка, применяемая в тех случаях, когда вы не хотите, чтобы вас узнали.

— Самую маленькую, какая у вас есть,— промолвил он из-под платка.

— А у меня нет меньше,— сказал конюх.

— Эта, право же, не подходит,— заметил Хупдрайвер, продолжая скрываться под платком.

— Если хотите, сэр, я могу посмотреть, что у них там есть в доме,— предложил конюх.

— Пожалуйста,— сказал Хупдрайвер.

Как только тяжелые кованые сапоги конюха прогрохотали по двору, Хупдрайвер поднялся, неслышными шагами подошел к дамскому велосипеду и, взявшись дрожащими руками за руль и седло, приготовился бежать.

В эту минуту дверь на кухню открылась и тотчас захлопнулась, впустив конюха и на мгновение уронив во двор сноп теплого желтого света. Хупдрайвер ринулся с велосипедом к воротам. Там к нему подошла неясная серая фигурка.

— Давайте сюда мой,— сказала она,— и ведите ваш.

Он передал ей машину, дотронувшись в темноте до ее руки, бросился назад, схватил машину Бичемела и поспешил за девушкой.

Желтый свет из кухни снова упал на булыжник двора. Ничего другого не оставалось, как бежать. Он слышал, как конюх кричал ему вслед, но он уже был на дороге. Девушка ехала где-то впереди. Он тоже сразу вскочил на велосипед. В эту минуту конюх, выбежав из ворот, заорал во все горло:

— Эй, сэр! Так не положено!

Но Хупдрайвер уже нагнал Юную Леди в Сером. Какое-то время, казалось им, земля дрожала от криков: «Держи их, держи!» — и в каждом темном уголке чудилась полицейская засада. Но вот дорога сделала поворот, из гостиницы их уже никто не мог видеть, и они поехали рядом мимо темных живых изгородей.

Когда он нагнал ее, она плакала от волнения.

— Какой вы храбрый! — сказала она. — Какой храбрый!

И он перестал чувствовать себя вором, за которым мчится погоня. Он осмотрелся и увидел, что Богнор уже остался позади, ибо «Викуна» стоит у моря, на самой западной оконечности городка, и теперь они ехали по хорошей широкой дороге.

XXIII

Конюх (будучи человеком неумным) с воплями бросился за ними. Но вскоре он выдохся и вернулся к «Викуне»; у входа его встретили несколько человек, которых, естественно, интересовало, что же случилось, и он остановился, чтобы в двух-трех словах рассказать им о происшедшем. Это дало беглецам пять лишних минут. Затем, не переводя дыхания, он ринулся в бар, где ему пришлось объяснять все буфетчице, и поскольку «самого» не было, они потеряли еще несколько драгоценных мгновений, обсуждая, что теперь следует предпринять. В обсуждении этом приняли оживленное участие два постояльца, подошедших с улицы. При этом было высказано несколько соображений морального порядка, а также иных, не имеющих к делу прямого отношения. Мнения были самые противоречивые: одни советовали сказать полиции, другие — погнаться за беглецами на лошади. На это ушло еще десять минут. Тут сверху появился Стивен, слуга, впустивший Хупдрайвера, и вновь разжег дискуссию, представив события совсем в ином свете посредством одного простого вопроса: «Это который же?» Так десять минут превратились в четверть часа. В самый разгар дискуссии в холле появился Бичемел и, сопутствуемый гробовым молчанием, с решительным ви-

дом прошел к лестнице. Вы представляете себе, как выглядел сзади его необычной формы затылок? Присутствующие в баре недоуменно переглянулись, прислушиваясь к звуку его шагов, хоть и приглушенных ковром на лестнице, но все-таки доносившихся до них,— вот он поднялся на площадку, повернул, дошел до коридора и, должно быть, направился в столовую.

— Тот был совсем другой, мисс! — заявил конюх.— Провалиться мне на этом месте.

— Но мистер Бомонт — вот этот! — заявила буфетчица.

Беседа их повисла в воздухе: появление Бичемела положило ей конец. Все прислушивались. Шаги замерли. Вот он повернулся. Вышел из столовой. Направился по коридору к спальне. Снова остановился.

— Бедняга! — промолвила буфетчица.— Плохая она женщина!

— Ш-ш! — зашипел на нее Стивен.

Через некоторое время Бичемел снова прошел в столовую. Слышно было, как под ним скрипнул стул. В баре переглянулись, вопросительно вздернув брови.

— Пойду наверх,— сказал Стивен,— надо же сообщить ему печальное известие.

При появлении Стивена, вошедшего без стука в столовую, Бичемел поднял глаза от газеты недельной давности. Лицо его говорило о том, что он ожидал увидеть кого-то совсем другого.

— Простите, сэр,— сказал Стивен, дипломатически кашлянув.

— В чем дело? — спросил Бичемел, внезапно подумав, уж не выполнила ли Джесси одну из своих угроз. Если да, то ему предстоит объясняться. Но он был к этому готов. У нее просто мания. «Оставьте нас,— скажет он.— Я знаю, как ее успокоить».

— Миссис Бомонт... — начал Стивен.

— Ну и что же?

— Уехала.

Бичемел встал, не скрывая удивления.

— Уехала?! — повторил он с легким смешком.

— Уехала, сэр. На своем велосипеде.

— На своем велосипеде? Но почему?

— Она уехала, сэр, с другим джентльменом.

На этот раз Бичемел был действительно потрясен.

— С другим... джентльменом?! С кем же?

— С другим джентльменом в коричневом костюме, сэр. Он вышел во двор, сэр, вывел оба велосипеда, сэр, и уехал, сэр, минут двадцать тому назад.

Бичемел стоял, подбоченившись, вытаращив глаза. Стивен, с огромным удовольствием наблюдая за ним, гадал, как же поступит этот покинутый муж — станет ли рыдать, или ругаться, или же бросится немедленно в погоню. Но пока тот просто окаменел.

— В коричневом костюме?—переспросил он.— Блондин?

— Почти такой, как вы, сэр, во всяком случае, в темноте мне так показалось. Конюх, сэр, Джим Дьюк...

Бичемел криво усмехнулся. И пылко произнес... Но лучше поставим многоточие вместо того, что он произнес.

— Следовало бы мне об этом раньше догадаться!

И он бросился в кресло.

— Ну и черт с ней,— произнес Бичемел, как самый обычный простолюдин.— Брошу я это проклятое дело! Значит, они уехали?

— Да, сэр.

— Ну и пусть едут,— произнес Бичемел слова, которые войдут в историю.— Пусть едут. Плевал я на них. Желаю ему удачи. Будьте другом, принесите-ка мне виски, да поскорее. Я выпью, а потом поброжу еще перед сном по Богнору.

Стивен был настолько удивлен, что произнес только:

— Виски, сэр?

— Да идите же, черт бы вас побрал! — сказал Бичемел.

Симпатии Стивена сразу переключились на другой предмет.

— Слушаю, сэр,— пробормотал он, ощупью нашел дверную ручку и, не переставая удивляться, вышел из комнаты.

Бичемел сумел удержаться в рамках благопристойности и вел себя так, как и подобает язычнику, но лишь только умолкли шаги Стивена, дал волю своим лучшим чувствам и разразился потоком непристойной ругани. Его ли жена или ее мачеха подослала сыщика,— неважно, главное, что она сбежала с этим сыщиком, а его ро-

ману пришел конец. И вот он сидит здесь брошенный и одураченный, осел ослом, в десятом поколении осел. Единственный луч надежды для него, что побег девушки, по всей вероятности, устроила ее мачеха, в таком случае вся эта история еще может быть замята, и неприятный момент объяснения с женой отсрочен на неопределенное время. Но тут перед его мысленным взором предстала стройная фигурка в серых брюках, и он снова разразился проклятиями. Он вскочил было, обуреваемый жаждой преследования, но тотчас снова шлепнулся в кресло так, что бар внизу содрогнулся до самого основания. Он хватил кулаком по ручке кресла и снова выругался.

— Из всех, когда-либо родившихся на свет, дураков,— громко произнес он,— я, Бичемел...

В эту минуту в дверь стукнули, и она распахнулась, пропуская Стивена с виски.

ПОЕЗДКА ПРИ ЛУНЕ

XXIV

Так двадцать минут превратились в бесконечность. Оставим безнравственного Бичемела изрыгать фонтаны проклятий,— гнусное это существо достаточно загрязняло наши скромные, но правдивые страницы,— оставим оживленную группу собеседников в баре отеля «Викуна», оставим вообще Богнор, как мы оставили Чичестер, и Мидхерст, и Хэзлмир, и Гилдфорд, и Рипли, и Путни, и последуем за милым нашим простаком Хупдрайвером и его Юной Леди в Сером по залитой луной дороге. Как они мчались! Как бились в унисон их сердца, как с шумом вылетало из их груди дыхание, как каждая тень внушала им подозрение, а малейший звук наводил на мысль о погоне! И тем не менее мистер Хупдрайвер пребывал в мире Романтики. Останови их сейчас полисмен за то, что они едут с потушенными фонарями, Хупдрайвер сшиб бы его с ног и поехал дальше, словно прирожденный герой. Возникни на их пути Бичемел с рапирами для дуэли, Хупдрайвер сразился бы с ним, как человек, для которого Азенкур был реальностью, а магазин тканей — сном. Тут речь шла о Спасении, о Бегстве,

о Счастье! И она рядом с ним! Он видел лицо ее, и когда оно было в тени, и когда утреннее солнце золотило ее волосы; он видел ее лицо, благосклонно смотревшее на него в ярком свете дня; он видел ее в горе, когда глаза ее блестели от слез. Но может ли быть для девичьего лица освещение лучше, нежели мягкий свет летней луны!

Дорога сворачивала на север, огибая пригороды Богнора, и то вилась в кромешной тьме под густыми деревьями, то шла между вилл, лучившихся теплым светом ламп или объятых сном и белевших под луной, то снова пролегала между живых изгородей, за которыми серели поля, окутанные низко стелющимся туманом. Сначала они ехали, едва ли обращая внимание, куда едут, думая лишь о том, чтобы поскорее очутиться подальше, и только раз свернули на запад, когда из свежей ночи перед ними возник вдруг шпиль чичестерского собора, светлый, замысловатый и высокий. Они ехали, почти не разговаривая друг с другом, лишь изредка перекидываясь двумя-тремя словами, когда дорога вдруг поворачивала или когда вдруг раздавались чьи-то шаги или встречалась выбоина.

Она, казалось, была всецело поглощена мыслью о своем бегстве и не думала о том, кто ехал с ней рядом, а он, когда унялось волнение подвига и они уже не мчались во весь дух, а просто ехали по ночной дороге, вдруг осознал всю грандиозность того, что произошло. Ночь была теплая и светлая, кругом царила тишина, нарушаемая лишь стрекотом велосипедных передач. Он посмотрел на нее краешком глаза — она ехала рядом, грациозно крутя ногами педали. Вот дорога повернула на запад, и девушка превратилась в серый силуэт на фоне залитого луной небосвода; потом дорога пошла прямо на север, и бледный холодный отсвет лег на ее волосы, на щеки и на лоб.

Есть некое магическое свойство в лунном сиянии: оно подчеркивает все нежное и прекрасное, тогда как остальное тонет во тьме. Оно создает эльфов, которых убивает солнечный свет; стоит луне появиться — и в душе нашей оживает сказочный мир, звучат приглушенные голоса, нежные, тревожащие душу мелодии. При лунном свете каждый мужчина, каким бы тупицей и олухом ни был

он днем, становится похож на Эндиомиона[1], приобретает что-то от его вечной молодости и силы, видя в глазах своей дамы сердца серебристое отражение любимой богини. Прочный материальный мир, окружающий нас при свете дня, делается призрачным, обманчивым; далекие холмы колышутся, как сказочное море, все вокруг становится одухотворенным; духовное начало, заключенное в нас, выходит из темных глубин и, высвободившись из своей телесной оболочки, взмывает ввысь, к небесам. Дорога, покрытая утоптанной белой пылью, которая днем пышела жаром и слепила глаза, превратилась теперь в мягкую серую ленту, на серебряной поверхности которой то там, то здесь искрился какой-нибудь кристаллик. Над головой их величаво плыла по безбрежным синим просторам прародительница тишины, та, что одухотворяет мир,— совсем одна, сопутствуемая лишь двумя большими блестящими звездами. И в тишине, под ее благостным оком в благословенном свете ее лучей ехали рядом два наших странника сквозь преображенную и преобразующую ночь.

Но нигде луна не сияла так ярко, как в голове мистера Хупдрайвера. На поворотах дороги он с необычайной быстротой принимал решения (причем совершенно наугад). «Направо»,— говорил он. Или: «Налево»,— тоном человека, который все знает. Вот каким образом через час они выехали на дорожку, которая спускалась прямо к морю. Серый берег тянулся вправо и влево от них, и маленький белый домик прикорнул у воды, где темнела на песке спящая рыбачья лодка.

— Вот мы и прибыли,— промолвил мистер Хупдрайвер sotto voce[2].

Они соскочили с велосипедов. Низкорослые дубы и терновник вырисовывались в свете луны, как бы застрявшей в веточках живой изгороди, окаймлявшей дорогу.

— Вы в безопасности,— объявил мистер Хупдрайвер, срывая с головы кепи и галантно склоняясь перед девушкой.

---

[1] Герой греческого мифа, возлюбленный богини Луны — Селены.

[2] Тихо *(итал.)*.

— Где мы?

— *В безопасности.*

— Но *где?*

— В Чичестерской гавани.— И он указал рукой на море, словно оно было местом их назначения.

— А как вы думаете, они погонятся за нами?

— Мы столько раз поворачивали!

Хупдрайверу почудилось, что она всхлипнула. Она стояла, придерживая свой велосипед, а он держал свой, и на расстоянии ему непонятно было, то ли она плачет, то ли просто тяжело дышит от усталости.

— Что же мы теперь будем делать? — спросил ее голос.

— Вы устали? — осведомился он.

— У меня хватит сил на все, что нужно.

В призрачном свете луны стояли две черные фигуры и молчали.

— Знаете,— заговорила она,— а я вовсе не боюсь вас. Я уверена, что у вас самые честные намерения. А ведь я даже не знаю вашего имени!

Ему вдруг стало стыдно неказистого имени своих предков.

— Имя у меня некрасивое,— сказал он.— Но вы правы, доверяя мне. Я для вас... я для вас что угодно сделаю... Это все ерунда.

Она закусила губку. Спрашивать у него, почему он готов ради нее на все, она не стала. Но по сравнению с Бичемелом!..

— Доверимся друг другу,— сказала она.— Вы хотите знать... что произошло со мной?

— Этот человек,— продолжала она, приняв его молчание за согласие,— обещал мне помощь и поддержку. Я была несчастна дома — неважно, почему. У меня мачеха... Жила я праздно, ничем не занятая, во всем встречая противодействие, запреты — этого, пожалуй, вам будет достаточно, чтобы составить картину. И вот в моей жизни появился он, стал говорить со мной об искусстве и литературе и зажег мою мысль. Мне захотелось выйти в широкий мир, стать человеком, а не кроликом в клетке. И он...

— Я понимаю,— сказал Хупдрайвер.

— И вот я здесь...

— Я для вас что угодно сделаю,— повторил Хупдрайвер.

Она подумала.

— Вы и представить себе не можете, какая у меня мачеха. Нет, я не могу ее описать...

— Я весь в вашем распоряжении. Я помогу вам всем, что в моих силах.

— Я рассталась с Иллюзией и нашла Странствующего Рыцаря.

Под Иллюзией она подразумевала Бичемела.

Мистер Хупдрайвер почувствовал себя польщенным. Но ответить ей в тон не умел.

— Я все думаю,— сказал он, горя желанием поскорее принять на себя обязанности защитника,— что же нам лучше всего предпринять. Вы устали, и не можем же мы плутать всю ночь, особенно после такого дня, какой выпал вам на долю.

— Мы ведь были близ Чичестера? — спросила она.

— Если бы,— задумчиво произнес он с легкой дрожью в голосе,— если бы вы согласились выдать меня за своего брата, мисс Бомонт.

— Ну и что же?

— Мы могли бы там остановиться...

Она медлила с ответом.

— Я сейчас зажгу фонари,— сказал Хупдрайвер.

Он склонился над своей машиной и чиркнул спичкой о подошву. При свете ее она увидела его лицо, серьезное и озабоченное. Неужели он казался ей пошлым и нелепым?

— Но сначала скажите мне, как вас зовут... братец,— попросила она.

— Мм... Каррингтон,— слегка замявшись, произнес Хупдрайвер. Кто бы на его месте признался в такую ночь, что он — Хупдрайвер?

— Ну, а имя?

— Имя? *Мое* имя? Видите ли... Крис.— Он зажег свой фонарь и выпрямился.— Подержите, пожалуйста, мою машину, и я зажгу ваш фонарик,— сказал он.

Она послушно подошла и взяла его велосипед — на мгновение они очутились лицом к лицу.

— А меня, братец Крис,— сказала она,— зовут Джесси.

Он посмотрел ей в глаза, и сердце у него замерло.

— *Джесси*,— медленно повторил он.

Лицо его выражало такую силу чувств, что ею овладело вдруг непонятное смятение. Надо было что-то сказать.

— Имя ничем не примечательное, правда? — заметила она и рассмеялась, чтобы разрядить напряжение.

Он открыл было рот и снова закрыл, лицо его вдруг исказилось, он резко повернулся и, нагнувшись, принялся зажигать ее фонарь. Она смотрела на него, стоявшего перед ней почти на коленях, почему-то с одобрением. Как я уже говорил, была пора полнолуния.

XXV

Всю остальную часть той ночи мистер Хупдрайвер держался с прежней уверенностью в себе, а потому лишь благодаря удаче, а также тому обстоятельству, что пригородные дороги, как правило, ведут в город, им удалось достичь наконец Чичестера. Сначала у них было такое впечатление, что все обитатели его давно спят, но «Красная гостиница» еще светилась теплым желтоватым светом. Впервые в жизни мистер Хупдрайвер осмелился приобщиться тайн «первоклассного» отеля, но в эту ночь он осмелился бы еще и не на то.

— Значит, вы все-таки нашли свою даму,— заметил конюх в «Красной гостинице» — один из тех, к кому мистер Хупдрайвер утром обращался с расспросами.

— Какое-то вышло недоразумение,— с величайшей охотой пояснил Хупдрайвер.— Сестра моя отправилась в Богнор. Но я вернул ее. Очень мне здесь нравится. Да и луна — просто божест-вен-ная.

— Мы уже поужинали, благодарствуйте, и мы очень устали,— продолжал мистер Хупдрайвер.— Я полагаю, вы ничего не хотите, Джесси?

Какое счастье быть с нею, пусть даже в качестве брата, и называть ее просто так — Джесси! Но играл он свою роль великолепно,—этого, по его мнению, нельзя было отрицать.

— Спокойной ночи, сестренка,— сказал он,— приятных сновидений. А я еще посмотрю газету, прежде чем лечь.

«Вот это жизнь!» — подумал он.

Так доблестно вел себя мистер Хупдрайвер до самого конца этого Удивительнейшего из Дней. Читатель, очевидно, помнит, что начался он очень рано с бдения в маленькой лавчонке рядом с «Гостиницей ангела» в Мидхерсте. Но подумать только, сколько всего за это время произошло! Он поймал себя на середине зевка, вытащил часы, увидел, что уже половина двенадцатого, и с приятным сознанием собственного героизма отправился в постель.

СЭРБИТОНСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

XXVI

Тут, пользуясь столь чудесной способностью человека, как сон, мы вновь прерываем наш рассказ. Наши неразумные молодые герои спокойненько лежат в своих постелях, головы их забиты всякой пышной чепухой, и, уж конечно, в ближайшие восемь, а то и более часов они не внесут свежего вклада в развитие событий. Оба они спят, и — хотя это вас, возможно, удивит — спят крепким сном. Девушка (а до чего дойдут современные девушки, может сказать разве что миссис Линн Линтон) находится в обществе совершенно незнакомого ей человека низкого происхождения, с весьма неинтеллигентным выговором, никто ей не сопутствует, и она ничуть этим не смущена,— более того, она считает себя в полной безопасности и даже гордится своим вкладом во все эти перипетии. А этот ваш мистер Хупдрайвер, розовощекий идиот,

незаконно присвоил себе украденный велосипед, украденную девушку и украденные имя и фамилию, обосновался со всем этим в гостинице, намного превышающей его средства, и чрезвычайно гордится — даже во сне — этими ни с чем не сравнимыми безумствами. Бывают случаи, когда романисту-морализатору остается лишь заломить руки и предоставить событиям идти своим чередом. Ведь Хупдрайвера завтра утром, не успеет он глаза продрать, могут посадить под замок за кражу велосипеда! Кроме того, в Богноре, не говоря уже о печальных останках Бичемела, с которым, благодарение богу, у нас нет больше никаких дел, имеется гостиница, где мистер Хупдрайвер заказал бифштекс, который давным-давно превратился в угли, а в номере остался мешок из американского брезента и его собственный велосипед, как залог, тщательно запертый на сеновале. Завтра Хупдрайвер станет там Тайной, и тело его будут искать по всему побережью. А мы до сих пор еще не удосужились заглянуть в безутешный дом в Сэрбитоне, известный вам, конечно, по иллюстрированным интервью, где несчастная мачеха...

Мачеха та, надо сказать, хорошо вам известна. Это небольшой сюрприз, который я приготовил для вас. Она — Томас Плантагенет, талантливый автор остроумной и смелой книги, именуемой «Высвобожденная душа», и женщина на свой манер превосходная. Только на очень своеобразный манер. Настоящая ее фамилия Милтон. Она вдова и притом очаровательная, всего на десять лет старше Джесси; самые смелые книги свои она неизменно посвящает «светлой памяти моего мужа», дабы показать, что в них, понимаете ли, нет ничего личного. Для дамы, пользующейся литературной славой, она имеет на редкость почтенную репутацию. У нее благопристойно обставленный дом, благопристойные туалеты, строгие понятия о том, с кем можно общаться и с кем нельзя, она ходит в церковь и даже иногда, следуя духу современной интеллектуальной моды, принимает причастие. И воспитанию Джесси она уделяла такое пристальное внимание, что никогда бы не позволила ей прочесть «Высвобожденную душу». Но Джесси, естественно, ее прочла, с чего и началось ее пристрастие к передовой литературе. Миссис Милтон не только уделяла пристальное внима-

ние воспитанию Джесси, но и всячески тормозила ее развитие, так что в семнадцать лет она все еще была умненькой начитанной школьницей (как вы могли убедиться), хорошенькой, но еще совсем ребенком, обитавшим на задворках небольшого литературного кружка малозаметных знаменитостей, который украшала своим присутствием Томас Плантагенет. Миссис Милтон знала, что о Бичемеле ходит слава дурного человека, но порочные мужчины не то же, что порочные женщины, и она пускала его к себе в дом, чтобы показать, что не боится,— о Джесси она не подумала. Поэтому, когда она узнала о побеге, это было для нее двойным разочарованием, ибо инстинктивно она угадала тут его руку. И она поступила так, как подобало. А подобало в данном случае, как вы понимаете, нанять, не считаясь с расходами, экипаж и, объезжая ближайших знакомых, рыдать и говорить, что вы просто не знаете, что делать. Будь даже Джесси ее родной дочерью, она не могла бы объездить больше народу и пролить больше слез — она выказала все надлежащие чувства. И не только выказала, но и на самом деле их испытала.

Миссис Милтон — преуспевающая, не слишком крупная писательница и еще более преуспевающая вдовушка тридцати двух лет («Томас Плантагенет — прелестная женщина», неизменно писали рецензенты, даже когда плохо отзывались о ней) — смотрела на Джесси, постепенно превращавшуюся в женщину, как на явную помеху, и охотно держала ее в тени; а Джесси, которая в четырнадцать лет встретила ее в штыки, принципиально возражая против любой мачехи, достаточно остро это чувствовала. Соперничество и вражда между ними все усиливались, так что в конце концов даже оброненная шпилька или книга, разрезанная острым ножом, вызывала бурный взрыв ненависти. В мире не так уж много намеренного зла. Правда, наш тупой эгоизм рождает порою зло, но с точки зрения нравственной это зло имеет совсем другую природу. И потому, когда случилась беда, миссис Милтон вполне искренне раскаялась в том, что допустила раскол в отношениях с падчерицей и сама сыграла в этом немалую роль.

Можете представить себе, как утешали ее знакомые и как жужжали об этом происшествии Западный Кен-

сингтон, и Ноттинг-хилл, и Хэмпстед, эти литературные предместья, ныне благопристойные обители былой богемы. Ее «почитатели»,— а будучи прелестной литературной дамой, она, естественно, имела целую свиту,— пребывали в необычайном волнении и были преисполнены сочувствия, энергии и желания оказать помощь, подать совет, ринуться куда угодно по первому зову,— каждый сообразно своему характеру и представлению о том, что в данном случае требуется. «Есть какие-нибудь вести о Джесси?» —этим патетическим вопросом начиналось немало печальных, но весьма интересных бесед. При своих почитателях миссис Милтон, пожалуй, не проливала столько слез, как при своих приятельницах, но ее молчаливая скорбь трогала еще больше. Три дня — а именно: в среду, четверг и в пятницу — о беглецах не было ни слуху, ни духу. Было известно лишь, что Джесси, надев спортивный костюм с пристегивающейся юбкой, села на велосипед, снабженный безопасной рамой, шинами «Данлоп» и мягким, обтянутым люфою седлом, и отбыла рано утром, захватив с собой что-то около двух фунтов семи шиллингов и серый чемоданчик, и этим — если не считать краткой записки мачехе, в которой, судя по слухам, она объявляла о своей независимости и утверждала свое «я» с помощью обширных и весьма досадных цитат из «Высвобожденной души», но решительно ничего не сообщала о своих планах,— все сведения о Джесси исчерпывались. Записка эта показывалась немногим, и то под строжайшим секретом.

Но в пятницу поздно вечером прибыл, запыхавшись, один из почитателей, по фамилии Уиджери, с которым миссис Милтон переписывалась и который одним из первых узнал о случившейся беде. Он путешествовал по Сэссексу — рюкзак все еще был у него за плечами — и, скороговоркой сообщил он, в некоем местечке Мидхерст, в баре «Гостиницы ангела», слышал от буфетчицы о некоей Юной Леди в Сером, которую та очень ярко описала. Описание совпадало с приметами Джесси. Но кто же был человек в коричневом костюме?

— Бедное обманутое дитя! Я немедленно еду к ней!— воскликнула миссис Милтон, задыхаясь, и, встав, схватилась за сердце.

— Что вы, сегодня это уже невозможно. Нет никаких поездов. Я посмотрел расписание по пути сюда.

— Ничего не поделаешь — материнская любовь,— сказала она.— А я питаю к ней именно такие чувства.

— Я знаю,— произнес он с чувством, ибо никто так не восторгался его снимками с натуры, как миссис Милтон.— Она такой любви не заслуживает.

— Не говорите плохо о ней! Ее ввели в заблуждение.

Его приход говорил о том, что он ей настоящий друг. Он выразил сожаление, что на этом его сведения кончаются. Может быть, ему поехать за ними и привезти ее домой? Он примчался к миссис Милтон, потому что знал, как она беспокоится.

— Вы поступили очень хорошо,— сказала она и совершенно бессознательно взяла и пожала его руку.— Подумать только, бедная девушка, что-то она делает сейчас, вечером! Это ужасно! — Она посмотрела в огонь, который зажгла, когда он вошел; красноватый отблеск упал на ее лиловое платье, тогда как лицо ее тонуло в тени. Она казалась тоненьким, хрупким созданием, которому не под силу такие переживания.— Надо поехать за ней.— Ее решимость была просто великолепна.— Но у меня никого нет, кто бы отправился со мной.

— Он должен жениться на ней,— заявил гость.

— У нее нет друзей. Никого у нас нет. Две женщины — и все. И такие беспомощные.

И это маленькое белокурое существо было той самой женщиной, которую люди, судившие о ней лишь по ее книгам, считали смелой, даже порочной! А все потому, что она великодушна... интеллектуальна. Гость был потрясен до глубины души несказанным трагизмом ее положения.

— Миссис Милтон! — сказал он.— Хетти!

Она взглянула на него. Чувства его вот-вот готовы были перелиться через край.

— Не сейчас,— сказала она,— не сейчас. Сначала я должна найти ее.

— Конечно,— с чувством согласился он. (Он принадлежал к числу крупных полных мужчин, которые глубоко все чувствуют.)— Но разрешите мне помочь вам. Хотя бы разрешите мне помочь вам.

— А вы можете выбрать для этого время? — спросила она.— Потратить его для *меня?*

— Для вас...

— Но что же мне делать? Что *нам* делать?

— Ехать в Мидхерст. Обнаружить ее. Выследить. Она была там в четверг вечером, то есть вчера вечером. Она выехала на велосипеде из города. Мужайтесь! — воскликнул он.— Мы еще спасем ее!

Она протянула руку и снова пожала его пальцы.

— Мужайтесь! — повторил он, видя, как хорошо действует на нее это слово.

Снаружи послышался какой-то шум и шаги. Миссис Милтон повернулась спиной к огню, а гость поспешил опуститься в большое кресло, как нельзя лучше соответствовавшее его размерам. Тут дверь отворилась, и горничная провела в комнату Дэнгла, с любопытством посмотревшего сначала на миссис Милтон, потом на ее гостя. Тут явно не обошлось без эмоций — он слышал, как скрипело кресло, да и миссис Милтон, раскрасневшаяся, с подозрительной живостью стала объяснять, что произошло.

— Вы ведь тоже один из моих добрых друзей,— сказала она.— Мы наконец получили вести о ней.

Все преимущества явно были на стороне Уиджери, но Дэнгл решил пустить в ход свою изобретательность. В конце концов он тоже был включен в число участников Мидхерстской экспедиции, к великому возмущению Уиджери, а до того, как все разошлись, был туда завербован и юный Фиппс, молчаливый, еще совсем зеленый юнец с безукоризненными воротничками и пылкой преданностью. Они втроем займутся обследованием местности. Миссис Милтон как будто немного ожила, но чувствовалось, что она глубоко тронута. Право же, она не понимает, чем она заслужила такую преданность своих друзей. Голос ее задрожал, и она направилась к двери; юный Фиппс, который предпочитал действие слову, бросился вперед и распахнул перед ней дверь — он был очень горд тем, что опередил остальных.

— Она глубоко огорчена,— сказал Дэнгл, обращаясь к Уиджери.

— Мы должны сделать для нее все, что в наших силах.

— Она удивительная женщина, — продолжал Дэнгл.— Такая тонкая, такая сложная, такая многогранная. И так остро все чувствует.

Юный Фиппс ничего не сказал, но тем пламеннее были его чувства.

А еще говорят, что время рыцарства отошло навсегда!

Но ведь это всего лишь интермедия, введенная в наш рассказ для того, чтобы у наших путешественников было время освежиться мирным сном. А потому мы не станем описывать отъезд Спасательной экспедиции, равно как и простое, но элегантное платье миссис Милтон, спортивную куртку и толстые башмаки здоровяка Уиджери, элегантность энергичного Дэнгла и брюки-гольф в пеструю клетку, в которые были облачены ноги Фиппса. Все это осталось позади. Но через некоторое время они вновь завладеют нашим вниманием. А пока можете в меру своего воображения представить себе, как Уиджери, Дэнгл и Фиппс старались переплюнуть друг друга, рыская по Мидхерсту, как умело вел расспросы Уиджери, какие умные догадки строил Дэнгл и как явно уступал им во всем Фиппс,— сознавая это, он большую часть дня проводил с миссис Милтон, надутый и мрачный, как это свойственно зеленым юнцам во всем мире. Миссис Милтон остановилась в «Гостинице ангела», была очень грустна, умна и прелестна,— счет ее оплатил Уиджери. В субботу после полудня они добрались до Чичестера. А к этому времени наши беглецы... но вы о них сейчас услышите.

ПРОБУЖДЕНИЕ МИСТЕРА ХУПДРАЙВЕРА

XXVII

Мистер Хупдрайвер зашевелился, открыл глаза, бессмысленным взором уставился в пустоту и зевнул. Постельное белье было тонкое и ласкало своим прикосновением. Он повернулся, устремив к потолку острый нос, вздымавшийся над жидкими усиками и выделявшийся своею краснотой на белом лице. Нос этот сморщился, когда мистер Хупдрайвер снова зевнул, и опять пришел в спокойное состояние. На какое-то время все успокоилось. Но постепенно к мистеру Хупдрайверу стала возвращаться память. Тогда из-под простыни выглянул клок свет-

лых, словно бы пыльных волос и сначала один водянисто-серый удивленный глаз, потом другой; постель заколебалась, и вот он перед вами — тощая шея вылезла из-под прижатого к груди одеяла, взор блуждает по комнате. Он прижимал к себе одеяло, думается, потому, что ночная рубашка его осталась в Богноре в брошенном там мешке из американского брезента. Он в третий раз зевнул, протер глаза, облизнул губы. Теперь он вспомнил почти все: поиски следов, гостиницу, его отчаянно-смелое вторжение в столовую, головокружительное приключение во дворе, лунный свет. Тут он отбросил одеяло и сел на краю кровати. Снаружи доносился стук открываемых ставен и распахиваемых дверей, цокот копыт и грохот колес по мостовой. Он взглянул на часы. Половина седьмого. Он снова окинул взглядом роскошно обставленную комнату.

— Боже! — воскликнул мистер Хупдрайвер. — Это, значит, был не сон.

«Интересно, — подумал мистер Хупдрайвер, потирая розовую ступню, — сколько же они берут за такие чертовски роскошные комнаты!»

Он задумался, теребя свои жидкие усики. И вдруг беззвучно рассмеялся. «Вот это была быстрота! Влететь и стащить девушку прямо у него из-под носа! Тут все было рассчитано. Что там бандиты на большой дороге! Или налетчики! Раз — и все! А ему сейчас, наверно, чертовски кисло! И ведь было все на волоске — там, на дворе!»

Тут ход его мыслей внезапно прервался. Брови его поднялись, и нижняя челюсть отвисла.

— Позволь-те! — произнес мистер Хупдрайвер.

До сих пор это ему не приходило в голову. Возможно, вы поймете, почему, если вспомните, как стремительно разворачивались события накануне. Но при дневном свете все яснее видно.

— Черт возьми, — продолжал он вслух, — ведь я же украл этот проклятый велосипед.

— Ну и что? — спросил он, и лицо его само дало ответ на этот вопрос.

Тут он снова подумал о Юной Леди в Сером и попытался представить себе происшедшее в более героическом свете. Но рано утром да еще на голодный же-

лудок (что со свойственной им прямолинейностью неизменно подчеркивают врачи) героическое рождается труднее, чем при лунном свете. Накануне вечером все выглядело так прекрасно, так сказочно и вместе с тем вполне естественно.

Мистер Хупдрайвер протянул руку, взял свою спортивную куртку, положил ее к себе на колени и вынул из карманчика для часов деньги.

— Четырнадцать шиллингов и шесть пенсов,— промолвил он, держа монеты в левой руке, а правой поглаживая подбородок. Он проверил на ощупь, цел ли бумажник в нагрудном кармане.— Значит, пять фунтов, четырнадцать шиллингов и шесть пенсов,— сказал мистер Хупдрайвер.— Вот все, что осталось.

Продолжая держать на коленях спортивную куртку, он вновь погрузился в раздумья.

— Тут мы как-нибудь обойдемся,— молвил он.— Вот велосипед — это дело похуже. Но в Богнор возвращаться не к чему. Можно, конечно, отослать машину назад с посыльным. Поблагодарить за прокат. Больше, мол, не нужна...— Мистер Хупдрайвер усмехнулся и принялся мысленно составлять потрясающее по своей наглости письмо: «Мистер Дж. Хупдрайвер шлет привет...» Но серьезность скоро возобладала в нем.

«Я мог бы, конечно, за час съездить туда и обменять велосипеды. Моя старая галоша уж очень плоха. Но он, конечно, кипит от злости. И может даже засадить меня в тюрьму. И тогда она снова очутится в прежнем положении, даже еще в худшем. Я же все-таки ее рыцарь. А это осложняет дело».

Взор его, блуждая по комнате, остановился на губке. «Интересно, какого черта они ставят в спальню блюдца со взбитыми сливками?» — промелькнуло у него в голове.

«Так или иначе, самое лучшее — убраться отсюда побыстрее. Она, очевидно, вернется домой, к своим друзьям. Но с этим велосипедом чертовски получилось неприятно. Чертовски неприятно».

Он вскочил на ноги и с внезапно пробудившейся энергией приступил к туалету. И тут он вдруг с ужасом вспомнил, что все необходимое для этого осталось в Богноре!

— О господи! — произнес он и тихонько свистнул.— Подведем итог прибылям и потерям. Прибыль: сестричка с велосипедом впридачу. Во что это мне обошлось? В общем недорого: зубная щетка, щетка для волос, фуфайка, ночная рубашка, носки и всякая мелочь.

— Постараемся как-нибудь выкрутиться.— Надо было причесаться, и он попытался пригладить взлохмаченные вихры руками. Результат получился весьма плачевный.— Надо, очевидно, выскочить и побриться, купить гребенку и прочее. Опять деньги! Я, правда, пока еще не очень оброс.

Он провел рукой по подбородку, пристально посмотрел на себя в зеркало, тщательно подкрутил жиденькие усики. И погрузился в созерцание своей красоты. Посмотрел на себя в профиль — справа и слева. И на лице его отразилась досада.

— Сколько ни смотри, ничего не изменишь, Хупдрайвер,— сказал он.— Хилый ты парень. Плечи узкие. Тщедушный какой-то.

Он уперся пальцами в туалетный столик и, задрав голову, снова посмотрел на себя в зеркало.

— Боже правый! — вырвалось у него.— Ну и шея! И откуда у меня взялся такой кадык!

Не отрывая глаз от зеркала, он опустился на кровать. «Если бы я занимался спортом, если бы меня правильно кормили, если бы не вытолкали из дурацкой школы в эту дурацкую лавку... Но что поделаешь! Старики не разбирались в этом. А вот учитель в школе должен бы разбираться. Но и он, бедняга, тоже ничего в этом не смыслил!.. А все же, когда встречаешь такую девушку, тяжело это...»

«Интересно, что бы подумал обо мне Адам, как о представителе рода человеческого? Цивилизация, да? Наследие веков! Я же ничто. Я ничего не знаю. Ничего не умею. Ну, немножко рисую. Почему я не уродился художником?»

«А все-таки дешевкой выглядит этот костюм при солнечном свете».

«Никуда ты не годишься, Хупдрайвер Хорошо хоть, ты сам это понимаешь. Кавалера, во всяком случае, из тебя не получится. Но ведь есть и другие вещи на свете. Ты можешь помочь молодой леди и поможешь... Я ду-

маю, она теперь вернется домой. И о велосипеде надо подумать. *Вперед*, Хупдрайвер! Если ты не красавец, это еще не причина, чтобы торчать здесь и ждать, пока тебя зацапают, правда?»

И, достаточно поистязав себя, он с чувством мрачного удовлетворения снова попытался пригладить волосы, прежде чем выйти из комнаты, чтобы пораньше позавтракать и двинуться в путь. Пока готовили завтрак, он прошелся по Южной улице и обзавелся необходимыми предметами для пополнения багажа. «Не скупиться на расходы»,— пробормотал он про себя, расставаясь с полсовереном.

ОТЪЕЗД ИЗ ЧИЧЕСТЕРА

XXVIII

Он несколько раз посылал за своей «сестрой» и, когда она сошла вниз, рассказал ей со смущенной улыбкой о возможных осложнениях юридического порядка в связи со стоящим во дворе велосипедом. «Вы знаете, может выйти неприятность». Он был явно встревожен.

— Хорошо, — сказала она вполне дружелюбно. — Давайте скорее завтракать и поедем отсюда. Мне надо кое-что с вами обсудить.

После сна девушка словно бы еще похорошела: волосы ее, откинутые со лба, лежали красивыми темными волнами, не защищенные перчатками пальчики были розовые и прохладные. А какой решительной она была! Завтрак прошел в довольно нервной атмосфере, разговор за столом велся братский, но скупой: официант внушал мистеру Хупдрайверу благоговейный ужас, множество вилок сбивало с толку. Однако Джесси называла его Крисом. Для поддержания беседы они обсуждали дальнейший маршрут, разглядывая его шестипенсовую карту, но избегали принимать решение в присутствии слуг. Хупдрайвер разменял свой пятифунтовый билет, когда платил по счету, и вследствие его решения быть настоящим джентльменом официант и горничная получили по полкроны, а конюх — флорин. «Ясное дело, парень в отпуске»,— сказал себе конюх, не почувствовав при этом никакой благодарности. Садиться на велосипед на улице, у

всех на глазах, тоже было малоприятно. Даже полисмен остановился и стал наблюдать за ними с противоположного тротуара. Что, если он подойдет и спросит: «Это ваш велосипед, сэр?» Сопротивляться? Или бросить машину и бежать? По городу мистер Хупдрайвер мчался, словно спасая себе жизнь, так, что тележка с молоком едва избежала гибели под шатким колесом его велосипеда. Это немного привело его в чувство, и он попытался хоть как-то совладать с рулем. За городом он вздохнул свободнее, и между ними начался более непринужденный разговор.

— Вы так спешили выехать из Чичестера,— заметила Джесси.

— По правде сказать, я немного беспокоился из-за велосипеда.

— Да, конечно, — сказала она. — Я совсем забыла. Но куда мы едем?

— Сделаем еще один-два поворота, если вы ничего не имеете против,— сказал Хупдрайвер.— Проедем еще этак с милю. Вы понимаете, я ведь должен думать о вас. А так я буду чувствовать себя спокойнее. Видите ли, если нас посадят в тюрьму... за себя-то я не очень волнуюсь...

Слева от дороги неспокойное серое море то набегало на берег, то снова отступало. С каждой милей, отдалявшей их от Чичестера, мистер Хупдрайвер все меньше ощущал муки совести и все больше становился галантным смельчаком. Он ехал на великолепной машине рядом с шикарной девушкой. Что бы подумали во Дворце Тканей, если бы кто-нибудь оттуда увидел его сейчас? Он представил себе, как удивились бы мисс Айзекс и мисс Хоу. «Как! Да ведь это же мистер Хупдрайвер!» — сказала бы мисс Айзекс. «Не может быть!» — решительно изрекла бы мисс Хоу. Затем воображение его переключилось на Бриггса, а потом фантазия нарисовала ему даже Главного управляющего,— а что, если вот сейчас он ехал бы им навстречу в фаэтоне? «Забавно было бы представить их ей, моей сестричке, «pro tem»[1]. Он — ее брат, Крис... А дальше как? Тьфу ты черт! Харрингтон, Хартингтон, что-то вроде этого. Надо избегать упоминания фамилии, пока он не вспомнит. Жаль, что он не сказал ей

---

[1] На время (*лат*).

всю правду — сейчас он почти жалел об этом. Он посмотрел на нее. Она ехала, глядя прямо перед собой. Вероятно, думала о чем-то. И, казалось, была немного озадачена. Мистер Хупдрайвер заметил, как хорошо она едет и при этом с закрытым ртом, что для него пока оставалось недостижимым.

Мысли мистера Хупдрайвера обратились к будущему. Что она собирается делать? Что они оба будут делать? Его размышления потекли по более серьезному руслу. Он спас ее. Это был прекрасный, мужественный поступок. Но она должна вернуться домой, несмотря на эту ее мачеху. Он должен настоять на этом — решительно и твердо. Она, конечно, не из робкого десятка, но все-таки... Интересно, есть ли у нее деньги? Сколько стоит билет второго класса от Хейванта до Лондона? Конечно, платить придется ему — это естественно, ведь он мужчина. А должен ли он отвезти ее домой? Он тотчас представил себе трогательную картину возвращения. Там будет, конечно, мачеха, раскаявшаяся в своей неописуемой жестокости — ведь и богачи иногда страдают,— и, может быть, один-два дядюшки. Слуга объявит: «Мистер...— опять забыл эту проклятую фамилию! — мисс Милтон». Обе женщины зальются слезами, а на заднем плане — фигура рыцаря в красивой, почему-то совсем новой спортивной куртке. Он будет скрывать свои чувства до самого конца. И, лишь покидая дом, остановится на пороге в позе, достойной Джорджа Александера, и медленно, упавшим голосом произнесет: «Будьте добры к ней — *будьте* к ней добры!» — и уйдет с разбитым сердцем — это уж каждому будет ясно. Но все это дело будущего. А пока придется завести разговор о возвращении. На дороге никого не было, и он быстро нагнал Джесси (размечтавшись, он отстал).

— Мистер Денисон,— начала она и неуверенно добавила: — Ведь вас так зовут? Я очень забывчива...

— Совершенно верно,— сказал мистер Хупдрайвер. («Разве Денисон? Ну, ладно, Денисон, Денисон, Денисон... Что такое она говорит?»)

— Я хотела бы знать, насколько вы готовы помочь мне.

Чертовски трудно ответить на такой вопрос, не потеряв управления машиной.

— Можете положиться на меня,— сказал мистер Хупдрайвер, выравнивая отчаянно завихлявший велосипед.— Уверяю вас, мне очень хочется вам помочь. Обо мне вы не думайте. Я всецело к вашим услугам. (Какая досада, когда не умеешь как следует произнести такие слова!)

— Вы понимаете, мне так неловко...

— Я буду очень счастлив, если хоть чем-то смогу вам помочь...

Последовала пауза. За поворотом открылась лужайка между живой изгородью и дорогой, заросшая тысячелистником и таволгой; в траве лежало упавшее дерево. Она спешилась, прислонила велосипед к камню и села.

— Здесь мы можем поговорить,— сказала она.

— Хорошо,— выжидающе сказал мистер Хупдрайвер.

Она сидела, упершись локтем в колени, положив подбородок на руку, и глядела в одну точку.

— Видите ли, — помолчав немного, сказала она, — я решила жить самостоятельно.

— Разумеется,— сказал мистер Хупдрайвер.— Это вполне естественно.

— Я хочу жить и узнать, что такое жизнь. Я хочу учиться. Все и вся торопят меня, а мне нужно время, чтобы подумать.

Мистер Хупдрайвер был озадачен и в то же время восхищен. Удивительно, как ясно и гладко она говорила. А впрочем, легко человеку говорить ясно и гладко, когда у него такое горлышко и такие губки. Он знал, что ему далеко до нее, но все же старался, как мог.

— Если вы позволите им толкнуть вас на необдуманный шаг, о котором вы потом пожалеете, это будет, конечно, очень глупо,— сказал он.

— А вы не хотите поучиться? — спросила она.

— Я как раз сегодня утром думал об этом,— начал он и запнулся.

Она была слишком занята своими мыслями и не заметила, что он умолк на середине фразы.

— Я иду по жизни, и она пугает меня. Мне порою кажется, что я пылинка, севшая на колесо,— оно вертится, и я вместе с ним. «Что я тут делаю?» — спрашиваю я себя. Просто существую, и все? Я задавалась этим

вопросом неделю назад, вчера и сегодня. А дни проходят, заполненные всякими мелочами. Мачеха возит меня по магазинам, к чаю приходят гости, появляется новая пьеса — идешь на нее, чтобы убить время, а то едешь в концерт или читаешь роман. А колеса жизни все крутятся, крутятся. Это ужасно. Мне хотелось бы сотворить чудо, как Иисус Навин, и остановить их, пока я не додумаю всего до конца. А дома это невозможно.

Мистер Хупдрайвер погладил усы.

— Да,— сказал он задумчиво.— Жизнь идет своим чередом.

Листья деревьев шелестели под легким летним ветерком; пух одуванчика взлетел комочком над зарослями таволги, ударился о колено мистера Хупдрайвера и рассыпался на множество пушинок. Они полетели в разные стороны и, когда ветерок затих, опустились на траву — одни, чтобы прорасти потом, другие — чтобы погибнуть. Мистер Хупдрайвер следил за ними, пока они не исчезли из виду.

— Я не могу вернуться в Сэрбитон,— сказала Юная Леди в Сером.

— Что?! — вырвалось у мистера Хупдрайвера, и он схватился за усы. Это была полная неожиданность.

— Понимаете, я хочу писать,— сказала Юная Леди в Сером,— писать книги и переделывать мир. Творить добро. Я хочу жить самостоятельно и распоряжаться собой. Я не могу вернуться. Я хочу стать журналисткой. Мне говорили... но я никого не знаю, кто мог бы мне помочь. Мне не к кому обратиться. Есть, правда, один человек — это моя школьная учительница. Если бы я могла написать ей... Но как я получу ответ?

— Хм,— с чрезвычайно сосредоточенным видом произнес мистер Хупдрайвер.

— Вас я не могу больше затруднять. Вы и так пришли мне на помощь... с риском для себя...

— Какие пустяки! — возразил мистер Хупдрайвер.— Я, так сказать, вдвойне вознагражден тем, что мог это сделать.

— Это так любезно с вашей стороны. В Сэрбитоне все напичканы условностями. А я не желаю считаться с условностями — ни за что. Но нас держат в таких тисках! Если бы только я могла сбросить с себя все,

что мне мешает! Я хочу бороться, завоевать свое место в жизни. Хочу быть сама себе хозяйкой, хочу сама найти свой путь. А мачеха возражает против этого. Сама она делает, что ей заблагорассудится, а меня держит в строгости, чтобы успокоить свою совесть. И если я вернусь сейчас к ней, вернусь побежденной...

Она предоставила его воображению довершить картину.

— Понятно,— сказал мистер Хупдрайвер.

Он *должен* ей помочь. В уме он решал сложную арифметическую задачу с пятью фунтами шестью шиллингами и двумя пенсами. Каким-то непонятным путем он пришел к выводу, что Джесси старается спастись от навязанного ей брака и не говорит об этом только из скромности. Так ограничен был круг его представлений.

— Вы знаете, мистер... Я опять забыла вашу фамилию.

Вид у мистера Хупдрайвера был самый отсутствующий.

— Конечно, вы не можете вернуться так вот, с повинной,— сказал он задумчиво. Уши его и щеки внезапно покраснели.

— Как же все-таки ваша фамилия?

— А, фамилия! — повторил мистер Хупдрайвер.— Фамилия... Бенсон, разумеется.

— Ну да, мистер Бенсон, извините мою тупость. Но я никогда не помню имен. Надо записать вашу фамилию на манжете.— Она вынула маленький серебряный карандашик и записала.— Если бы послать письмо моей знакомой, я уверена, она помогла бы мне начать самостоятельную жизнь! Я могу написать ей или послать телеграмму. Нет, лучше написать. В телеграмме всего не объяснишь. Я знаю, что она мне поможет.

Ясно, что в таких обстоятельствах джентльмену оставалось только одно.

— В таком случае,— сказал мистер Хупдрайвер,— если вы не боитесь довериться чужому человеку, мы можем продолжать наше путешествие еще день или два... пока вы не получите ответа. («Если тратить по тридцать шиллингов в день и взять четыре дня, тридцать на четыре — сто двадцать, иными словами: шесть фун-

тов; а если, скажем, три дня — это будет четыре фунта десять шиллингов».)

— Вы очень добры ко мне.

Его взгляд был красноречивее всяких слов.

— Ну, хорошо, благодарю вас. Это чудесно, это больше, чем я заслужила... чтобы вы...— Неожиданно она переменила тему разговора.— Сколько мы истратили в Чичестере?

— Что? — переспросил мистер Хупдрайвер, делая вид, будто не понимает, о чем идет речь.

Они немного поспорили. Втайне он был восхищен ее упорным желанием участвовать в расходах. Она настояла на своем. Потом они заговорили о планах на этот день. Решено было поехать не спеша через Хейвант и остановиться где-нибудь в Фархэме или Саутгемптоне: предыдущий день утомил обоих. Держа карту на коленях, мистер Хупдрайвер случайно взглянул на велосипед, лежавший у его ног.

— Этот велосипед,— заметил он вне всякой связи с разговором,— выглядел бы совсем иначе, если поставить на него большой двойной Иларум вместо маленького звонка.

— Зачем?

— Просто я так подумал.— Они немного помолчали.

— Ну, так решено: едем в Хейвант и обедаем там,— сказала Джесси, поднимаясь.

— А все-таки жаль, что нам пришлось украсть этот велосипед,— сказал Хупдрайвер.— Потому что, если разобраться, мы же его украли.

— Чепуха. Пусть только мистер Бичемел станет вам докучать, и я расскажу всему свету... если потребуется.

— Я верю, что вы так и сделаете,— сказал с восхищением мистер Хупдрайвер.— Видит бог, у вас хватит на это смелости.

Спохватившись, что она стоит, он тоже встал и поднял ее велосипед. Она взяла машину и вывела ее на дорогу. Тогда он взял свой велосипед и остановился, разглядывая его.

— Послушайте! — сказал он.— А что, если выкрасить этот велосипед в серый цвет?

Она взглянула через плечо и увидела, что он вполне серьезен.

— А зачем его надо маскировать?

— Просто у меня мелькнула такая мысль,— как бы между прочим сказал мистер Хупдрайвер.

По пути к Хейванту мистер Хупдрайвер подумал о том, что разговор у них получился совсем не такой, какого он ожидал. Но так с мистером Хупдрайвером бывало всегда. И хотя Ум его был начеку, Осмотрительность позвякивала монетами, а давнее Уважение к Собственности укоризненно покачивало головой, в душе его что-то громко кричало, заглушая все здравые соображения, — это была пьянящая мысль о том, что он будет ехать с Ней весь день сегодня, и весь день завтра, и, может быть, еще не один день; что он разговаривает с ней запросто, что называет себя братом этой стройной и свежей девушки и что золотая чудесная действительность намного превосходит все его мечты. Его прежние фантазии уступили место надеждам, таким же бесплотным, изменчивым и прекрасным, как летний закат.

В Хейванте он улучил минуту и в маленькой парикмахерской на главной улице купил зубную щетку, ножницы для ногтей и бутылочку жидкости для окраски усов, которую хозяин горячо рекомендовал его вниманию и в конце концов всучил ему, воспользовавшись тем, что клиент явно думал о чем-то другом.

НЕОЖИДАННАЯ ИСТОРИЯ СО ЛЬВОМ

XXIX

Они поехали на Кошэм и там позавтракали — легко, но дорого. Джесси вышла отправить письмо своей школьной учительнице. Потом их соблазнила зеленая вершина Портсдаун-хилл, и, оставив свои велосипеды в деревне, они вскарабкались по склону к молчаливому кирпичному форту, который венчал холм. Оттуда в дымке жаркого дня они увидели Портсмут в окружении соседних городков, забитую кораблями гавань, пролив Солент и остров Уайт вдали, похожий на голубое облачко. В Кошэмской гостинице Джесси каким-то чудом вновь стала нормальной женщиной в юбке. Мистер Хупдрайвер грациозно возлежал на траве, курил «Копченую селедку»

и лениво разглядывал укрепленный город, который, словно на карте, лежал у их ног, окруженный на расстоянии мили оборонительными сооружениями, точно игрушечными башенками, а дальше — маленькие поля и за ними — пригороды Лэндпорта и бесчисленное множество окутанных дымом домов. Справа, там, где у входа в гавань начинались отмели, за деревьями виднелся Порчестер. Тревога мистера Хупдрайвера отступила в какой-то дальний угол его сознания, и в его пылких, не вполне осознанных мечтах появилась Джесси. Он принялся гадать о том, какое мог произвести на нее впечатление. Он снова благосклонным взглядом окинул свой костюм и не без удовлетворения перебрал все свои деяния за последние двадцать четыре часа. Но тут мысль о ее бесконечном совершенстве отрезвила его.

А Джесси уже около часа незаметно и весьма пристально наблюдала за ним. Она не смотрела на него прямо, потому что он, казалось, все время смотрел на нее. Тревога ее немного улеглась, и в ней пробудилось любопытство к этому по-рыцарски почтительному, но несколько странному джентльмену в коричневом костюме. Она припомнила своеобразные обстоятельства их первой встречи. Этот человек был ей непонятен. Следует иметь в виду, что ее знание жизни почти равнялось нулю, ибо было целиком почерпнуто из книг, и не надо принимать известное невежество за глупость.

Для начала она провела несколько опытов. Он не знал ни слова по-французски, кроме «сиввурплей», что он, по-видимому, считал хорошей застольной шуткой. Его речь оставляла желать лучшего, но все же не была такой, какая в книгах отмечает людей из низших классов. Манеры у него, в общем, были хорошие, хотя, пожалуй, уж слишком почтительные и старомодные. Один раз он назвал ее «мэм». По-видимому, он человек состоятельный, без определенных занятий, и в то же время он ничего не знает о последних концертах, спектаклях и книгах. Как же он проводит время? Он, конечно, настоящий рыцарь, правда, немного простоватый. Она решила (так много значит костюм!), что никогда прежде не встречала таких людей. Кем же он может быть?

— Мистер Бенсон,— начала она, нарушая тишину, в которой они созерцали пейзаж.

Он перевернулся на живот и посмотрел на нее, подперев подбородок рукой.

— К вашим услугам.

— Вы рисуете! Вы не художник?

— Видите ли...— Он нарочно помедлил.— Конечно, никакой я не художник. Но немного рисую. Так, разные забавные штучки...

Он выдернул травинку и начал грызть ее. Это в общем-то не было такой уж ложью, но шустрое воображение побудило его добавить:

— В газетах и тому подобное...

— Понятно,— сказала Джесси, задумчиво глядя на него.— Художники, конечно, бывают разные, а гении всегда немного эксцентричны.

Он опустил глаза, чтобы не встречаться с ней взглядом, и продолжал кусать травинку:

— Я, знаете ли, не очень много этим занимаюсь.

— Так это не ваша профессия?

— Что вы! — сказал Хупдрайвер, думая лишь о том, как бы выйти из положения.— Я этим не занимаюсь, нет. Разве что так, иногда придет что-нибудь в голову, я и нарисую. Нет-нет, я не профессиональный художник.

— Значит, у вас нет постоянного занятия?

Мистер Хупдрайвер посмотрел на нее и встретил ее безмятежный, доверчивый взгляд. У него мелькнула мысль вернуться к роли сыщика.

— Видите ли,— начал он, чтобы выиграть время,— в общем-то есть. Но по некоторым причинам... это все, что я могу вам сказать...

— Извините, что я вас допрашиваю.

— Ничего страшного,—сказал мистер Хупдрайвер.— Только я не могу... Гадайте, пожалуйста... Я вовсе не хочу делать из этого тайны... («Может быть, рискнуть и назваться адвокатом?.. Это, во всяком случае, что-то приличное. Но вдруг она знает про адвокатов?»)

— Мне кажется, я могу угадать, кто вы.

— Ну попробуйте,— сказал мистер Хупдрайвер.

— Вы приехали из какой-нибудь колонии?

— Ну и ну! — сказал мистер Хупдрайвер, сразу поворачивая нос по ветру.— Как это вы узнали? (Герой наш родился в пригороде Лондона, дорогой читатель.)

— Догадалась, — сказала она.

Он поднял брови как бы в изумлении и сорвал новую травинку.

— Вы росли на севере Англии.

— Опять угадали,— сказал Хупдрайвер, снова перевернувшись и опершись на локоть.— Вы просто это... ясновидящая.— Он улыбнулся и прикусил травинку.— А из какой колонии я приехал?

— Ну, этого я не знаю.

— Угадайте,—сказал Хупдрайвер.

— Из Южной Африки,— сказала она.— Я почти уверена, что из Южной Африки.

— Южная Африка большая,— сказал он.

— Но это действительно Южная Африка?

— Тепло,— сказал Хупдрайвер, а тем временем его воображение лихорадочно работало, пытаясь представить себе эту незнакомую страну.

— Так действительно Южная Африка? — не отступалась она.

Он снова повернулся и, улыбнувшись, кивнул.

— Я подумала о Южной Африке, потому что вспомнила этот роман Оливии Шрейнер, ну, вы знаете — «История одной африканской фермы». Грегори Роз так похож на вас.

— Я никогда не читал «Историю одной африканской фермы»,— сказал Хупдрайвер.— Надо будет прочесть. Как он выглядит, этот Роз?

— Прочтите непременно. Какая это чудесная страна, — там такое смешение рас, и эта новая цивилизация, вытесняющая прежнюю дикость! Вы бывали возле Кхамы?

— Нет, это далеко от тех мест, где я жил,— сказал мистер Хупдрайвер.—У нас там была небольшая ферма— мы, видите ли, разводили страусов — так, всего несколько сотен. Это будет поближе к Йоганнесбургу.

— На реке Карру, да?

— Совершенно верно. Часть земли досталась нам даром, просто повезло. И хорошо же мы там жили в свое время! Но теперь на ферме нет страусов.— У него уже был наготове рассказ об алмазных копях, но он остановился, чтобы дать волю воображению девушки. Кроме того, он вдруг, к своему ужасу, понял, что лжет.

— Что же стало со страусами?

— Мы продали их, когда расстались с фермой. Вы позволите мне закурить еще сигарету? Видите ли, я был совсем маленьким, когда у нас была эта ферма со страусами.

— И там вокруг всюду были негры и буры?

— О, множество! — сказал мистер Хупдрайвер, чиркая спичкой о подошву и чувствуя, что ему становится жарко от принятых на себя новых обязательств.

— Как интересно! Вы знаете, а я никуда не выезжала из Англии, только была в Париже, Ментоне и Швейцарии.

— Путешествия надоедают, знаете ли (затяжка), то есть, через какое-то время.

— Вы должны рассказать мне о вашей ферме в Южной Африке. У меня всегда распаляется воображение, когда я думаю о таких местах. Я представляю себе целое стадо высоких страусов, которых гонят... на пастбище, верно? А что они едят?

— Как вам сказать.... Самые разные вещи,— сказал мистер Хупдрайвер.— У них, знаете ли, свои вкусы. Ну, конечно, фрукты там всякие, куриный корм и тому подобное. Тут дело не простое.

— А вы когда-нибудь видели льва?

— Они не часто встречались в наших местах,— скромно ответил мистер Хупдрайвер.— Но я их, конечно, видел. Раза два.

— Подумать только! Видели льва! Вам было не страшно?

Мистер Хупдрайвер уже глубоко сожалел, что попался на эту удочку с Южной Африкой. Он дымил сигаретой и задумчиво взирал на Солент, решая мысленно судьбу этого льва.

— Я даже не успел испугаться,— сказал он.— Все произошло в один миг.

— Продолжайте, пожалуйста, — сказала она.

— Я шел через загон, где откармливали страусов.

— Как, значит, страусов едят? Вот не знала...

— Что их едят? Да, и часто. Хорошо фаршированный страус — очень вкусная штука. Так вот, шли мы, вернее, шел я через этот загон и вдруг вижу —

кто-то стоит в лунном свете и смотрит на меня.— Мистер Хупдрайвер покрылся испариной. Его фантазия начала прихрамывать.— К счастью, со мной было отцовское ружье. Но все же, должен признаться, я испугался (затяжка). Я прицелился в то место, где, казалось мне, должна была находиться голова. И выстрелил (затяжка). И, можете себе представить, он упал.

— Мертвый?

— Совершенно мертвый. Это был один из самых удачных выстрелов в моей жизни. А мне тогда было немногим больше девяти.

— Я, наверно, закричала бы и бросилась бежать.

— Бывает так, что не убежишь, — сказал мистер Хупдрайвер. — А в данном случае бежать — это верная смерть.

— В жизни не встречала человека, который бы убил льва,— заметила она, глядя на него все с большим уважением.

Наступила пауза. Джесси, казалось, обдумывала, о чем бы его еще спросить. Мистер Хупдрайвер поспешил вытащить часы.

— Смотрите-ка! — воскликнул мистер Хупдрайвер, показывая ей время.— Вы не считаете, что нам пора двигаться дальше?

Лицо его горело, уши покраснели. Она приписала его смущение скромности. Он понуро поднялся—теперь к грузу, лежавшему на его совести, прибавился еще и лев— и протянул руку, чтобы помочь ей встать. Они спустились в Кошэм, взяли свои машины и неторопливо поехали по северному берегу большой гавани. Но мистер Хупдрайвер уже не чувствовал себя счастливым. Он никак не мог забыть об этой ужасной, отвратительной лжи. Зачем он это сделал! К счастью, она больше не просила его рассказать о Южной Африке, во всяком случае, до Порчестера, зато много говорила о желании Жить Самостоятельной Жизнью и о том, какие цепи накладывает на людей традиция. Она говорила удивительно хорошо, и ум Хупдрайвера заработал. Возле замка мистер Хупдрайвер поймал несколько крабов в прибрежной заводи. В Фархэме они остановились выпить чаю и выехали оттуда почти на закате при весьма ободряющем стечении обстоятельств, о чем вы узнаете в свое время.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

XXX

А теперь вернемся к трем предприимчивым кавалерам — Уиджери, Дэнглу и Фиппсу — и к прекрасной даме по имени Томас Плантагенет, которую они вызволяют из беды и которая, как утверждают газеты, известна в обществе под именем миссис Милтон. Если мне не изменяет память, мы оставили их на станции в Мидхерсте, где они в волнении ожидали поезда на Чичестер. Вся спасательная экспедиция была исполнена сознания, что миссис Милтон стойко выносит почти неодолимое горе. Три джентльмена превосходили один другого в выражении сочувствия; они внимательно, почти даже нежно опекали ее. Грузный Уиджери теребил ус и смотрел на нее карими, по-собачьи преданными глазами, в которых отражались все его невысказанные чувства; стройный Дэнгл тоже теребил ус и старался выразить, что мог, своими серыми холодными глазами. У Фиппса, к несчастью, не было усов, которые он мог бы теребить, поэтому он, скрестив руки на груди, бодрым, безразличным тоном храбро разглагольствовал о железнодорожном сообщении между Лондоном, Брайтоном и Южным побережьем, чтобы хоть немного отвлечь бедную женщину от ее печальных мыслей. Даже миссис Милтон прониклась их возвышенной скорбью и постаралась показать это разными тонкими, имеющимися в распоряжении женщин способами.

— Ничего нельзя предпринять, пока мы не доберемся до Чичестера,— сказал Дэнгл.— Ничего.

— Ничего, — подтвердил Уиджери и добавил ей на ухо: — Вы сегодня почти совсем не кушали.

— Эти поезда всегда опаздывают,— сказал Фиппс, поглаживая пальцами край воротничка.

Дэнгл, надо вам сказать, будучи помощником редактора и обозревателем, чрезвычайно гордился своей интеллектуальной дружбой с Томасом Плантагенетом. Толстяк Уиджери, директор банка и хороший игрок в гольф, свое отношение к миссис Милтон воспринимал не иначе, как в духе прелестной старинной пе-

сенки: «Дуглас, Дуглас, нежный, верный...» Дело в том, что звали его Дуглас—Дуглас Уиджери. А Фиппс— Фиппс был еще студентом-медиком, и он считал, что положил к ее ногам свое сердце, сердце светского человека. Она же была по-своему милостива ко всем троим и настаивала на том, чтобы они оставались друзьями, несмотря на их несказанно критическое отношение друг к другу. Дэнгл считал Уиджери обывателем, крайне примитивно понимавшим достоинства «Высвобожденной души», а Уиджери считал, что Дэнглу не хватает гуманности и что он неискренен: готов покривить душой ради красного словца. Оба — и Дэнгл и Уиджери — считали Фиппса молокососом, а Фиппс считал Дэнгла и Уиджери неотесанными хамами.

— Они должны были приехать в Чичестер к обеду,— сказал Дэнгл в поезде.— Может быть, немного позже. Во всяком случае, по дороге им негде пообедать. Как только мы туда приедем, Фиппсу придется обойти гостиницы и узнать, не обедала ли там девушка, похожая по описанию на нее...

— Я-то обойду,— сказал Фиппс.— И даже весьма охотно. А вы с Уиджери, насколько я понимаю, будете болтаться...

Он увидел страдание на кротком лице миссис Милтон и не закончил фразы.

— Нет,— сказал Дэнгл,— мы не будем болтаться, как вы изволили выразиться. В Чичестере всего два места, куда могут пойти туристы, — это собор и превосходный музей. Я наведу справки в соборе, а Уиджери...

— В музее. Отлично. А потом я еще кое-что предприму,— сказал Уиджери.

Прежде всего они торжественно проводили миссис Милтон в «Красную гостиницу», устроили ее там и заказали ей чаю.

— Вы так добры ко мне, — сказала она. — Вы все.

Они ответили, что это пустяки, и отправились на поиски. К шести часам они вернулись, несколько поостывшие в своем рвении, без всяких новостей. Уиджери пришел вместе с Дэнглом. Фиппс вернулся последним.

— Вы совершенно уверены, — спросил Уиджери, — в правильности ваших предположений?

— Совершенно уверен, — кратко ответил Дэнгл.

— Но ведь ничто не мешает им,— сказал Уиджери, — выехав из Мидхерста по Чичестерской дороге, в любую минуту изменить свои планы.

— Мешает, дорогой мой! Вот именно мешает. Неужели вы считаете, что у меня не хватило сообразительности подумать о перекрестках! Напрасно. Но на этой дороге нет ни одного перекрестка, который мог бы побудить их изменить маршрут. Могли они свернуть сюда? Нет. А туда? Тоже нет. В мире куда больше неизбежного, чем можно себе представить.

— Сейчас посмотрим,— сказал Уиджери, стоя у окна.— Вот идет Фиппс. Что касается меня...

— Фиппс! — воскликнула миссис Милтон.— Он спешит? Какой у него вид?— Она порывисто поднялась, кусая дрожащие губы, и подошла к окну.

— Никаких новостей,— сказал Фиппс, входя.

— Ах! — вздохнул Уиджери.

— Никаких? — переспросил Дэнгл.

— Видите ли, — сказал Фиппс.— Тут один тип рассказывал какую-то странную историю про человека в велосипедном костюме, который вчера около этого времени ходил здесь и спрашивал о том же.

— О чем же? — спросила миссис Милтон, стоявшая в тени у окна. Она говорила тихо, почти шепотом.

— Как о чем? «Не видели ли вы молодой особы в сером велосипедном костюме?»

Дэнгл прикусил нижнюю губу.

— Что? — воскликнул он.— Вчера! Какой-то человек *расспрашивал о ней вчера! Что это значит?*

— Бог его знает,— сказал Фиппс, устало опускаясь на стул. — Можете сделать из этого соответствующие умозаключения.

— А что это был за человек?— спросил Дэнгл

— Откуда я знаю? Тот тип сказал, что он был в велосипедном костюме.

— Ну, а рост? Телосложение?

— Я не спросил,— сказал Фиппс.

— *Не спросил!* Это же глупо! — воскликнул Дэнгл.

— Спросите его сами,— сказал Фиппс.— Это конюх из «Белого оленя» — такой приземистый, плотный малый

с красным лицом и грубыми манерами. Стоит у ворот. Видно, навеселе: от него так и несет виски. Пойдите и спросите его.

— Конечно, пойду,— сказал Дэнгл, снимая соломенную шляпу со стеклянного колпака, под которым на шифоньерке стояло чучело птицы, и направляясь к двери.— Следовало бы мне раньше об этом подумать.

Фиппс открыл было рот и снова его закрыл.

— Вы, несомненно, устали, мистер Фиппс,— успокоительным тоном произнесла миссис Милтон.— Я позвоню, чтобы вам принесли чаю. Хорошо?

Тут Фиппсу стало ясно, что он, как рыцарь, допустил промах.

— Меня немного разозлило, что он погнал меня выполнять его поручение,— сказал он.— Но я готов сделать в сто раз больше, лишь бы это помогло *вам* найти ее.— Пауза.— Я в самом деле выпил бы чашку чаю.

— Я не хочу вас напрасно обнадеживать,— сказал Уиджери.— Но я не верю, что они вообще были в Чичестере. Дэнгл, конечно, очень умный малый, но порой его умозаключения...

— Вот так так! — сказал вдруг Фиппс.

— Что такое? — спросила миссис Милтон.

— Совсем забыл. Выйдя отсюда, я обошел все гостиницы и даже не подумал... Ну, ничего. Сейчас спросим, когда придет слуга.

— Вы имеете в виду...

Раздался стук в дверь, и она отворилась.

— Чаю, мэм? Слушаюсь, мэм,— сказал слуга.

— Постойте,— окликнул его Фиппс.— Скажите, молодая особа в сером, на велосипеде...

— Останавливалась ли здесь вчера? Да, сэр. Ночевала. С братом, сэр,— молодым джентльменом.

— С братом! — тихо повторила миссис Милтон.— Слава богу!

Слуга взглянул на нее и все понял.

— С молодым джентльменом, сэр,— сказал он,— очень щедрым. По фамилии Бомонт.

После этого он рассказал еще несколько малосущественных подробностей, а Уиджери допросил его с пристрастием о планах молодых людей.

— Хейвант! Где же это находится? — спросил Фиппс.— Я, кажется, слышал это название.

— Тот человек был высокого роста? — тем временем продолжала допрос миссис Милтон.— Благородной осанки? С длинными светлыми усами? И говорит, растягивая слова?

— Хм,— сказал слуга и задумался.— Усы у него, мэм, пожалуй, не такие уж и длинные, как будто только пробиваются: он ведь молодой.

— Лет тридцати пяти, так?

— Нет, мэм. Скорее двадцати пяти. А то и меньше.

— О господи! — воскликнула миссис Милтон каким-то странным глухим голосом, ища нюхательную соль и проявляя отличное самообладание.— Должно быть, это ее младший брат.

— Вы свободны, благодарю вас,— сухо сказал Уиджери, чувствуя, что ей легче будет перенести эту новость в отсутствии слуги.

Слуга повернулся к двери и чуть не столкнулся с Дэнглом, который ввалился в комнату, тяжело дыша и прижимая к правому глазу носовой платок.

— Хэлло! — сказал Дэнгл.— Что случилось?

— Что с вами случилось? — спросил Фиппс.

— Ничего особенного, просто побеседовал с вашим пьянчугой конюхом. Он решил, что все сговорились надоедать ему и что на самом деле никакой Юной Леди в Сером не существует. Ваше поведение навело его на этот вывод. Мне пришлось приложить к глазу кусок сырого мяса. А у вас, я вижу, есть новости?

— Он ударил вас? — спросил Уиджери.

Миссис Милтон встала и подошла к Дэнглу.

— Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?

Дэнгл держался героически.

— Только расскажите, что у вас нового,— сказал он, не отнимая от лица носового платка.

— Вот какое дело,— начал Фиппс и довольно сбивчиво рассказал то, что они узнали. Во время этого рассказа, сопровождавшегося беглым огнем комментариев со стороны Уиджери, слуга внес поднос с чаем.

— Расписание поездов на Хейвант,— тотчас потребовал Дэнгл.

Миссис Милтон налила две чашки, и Фиппс с Дэнглом покорно, словно агнцы, проглотили чай. Они в последнюю минуту вскочили в поезд. И отправились в Хейвант на поиски.

Дэнгл ужасно кичился тем, что его предположение относительно Хейванта оправдалось. Принимая во внимание, что за Хейвантом с одной стороны дороги на Саутгемптон стоят крутые горы, а с другой — плещется море, он придумал великолепный план поимки молодых людей. Он и миссис Милтон поедут в Фархэм, а Уиджери и Фиппс сойдут на промежуточных станциях, один — в Кошэме, другой — в Порчестере, и, если не узнают ничего нового, приедут следующим поездом. Если же они не приедут, то сообщат в Фархэм по телеграфу, что произошло. Это был поистине наполеоновский план, и гордость Дэнгла уже не так страдала от насмешек хейвантских уличных мальчишек, шумно издевавшихся над его подбитым глазом, который он все еще прикрывал носовым платком.

И в самом деле. план оказался настоящим совершенством. Беглецы едва не попались. В ту минуту, когда они вышли из «Золотого якоря» в Фархэме и собирались садиться на велосипеды, из-за угла появились миссис Милтон и Дэнгл.

— Это она! — воскликнула миссис Милтон и чуть не закричала.

— Тс-с-с! — сказал Дэнгл, сжимая ее руку, и в волнении отнял от лица носовой платок, обнажив приложенный к глазу кусок мяса, вид которого так неожиданно подействовал на миссис Милтон, что она сразу смолкла.— Сохраняйте хладнокровие! — продолжал Дэнгл, метнув на нее из-под мяса строгий взгляд.— Они не должны нас видеть. Иначе они сбегут. Вы не заметили наемных экипажей у вокзала?

Тем временем молодые люди сели на велосипеды и исчезли за поворотом Винчестерской дороги. Если бы не боязнь привлечь всеобщее внимание, миссис Милтон, наверно, упала бы в обморок.

— Спасите ее! — промолвила она.

— Эх, экипаж бы! — сказал Дэнгл.— Одну минуту.

Миссис Милтон осталась стоять в весьма патетической позе, прижав руку к сердцу, а он помчался в

«Золотой якорь». Двуколка будет через десять минут. Готово. Мясо он где-то потерял, и теперь над глазом виднелась припухлость.

— Я провожу вас на станцию,— сказал Дэнгл,— потом быстро вернусь сюда и отправлюсь в погоню за ними. Вы встретите Уиджери и Фиппса и скажете им, где я.

Она была спешно доставлена на станцию и посажена там на твердой, шершавой деревянной скамье, на самом солнцепеке. Она устала, изнервничалась, чувства ее были в полном смятении, а сама она — вся в пыли. Дэнгл, бесспорно, был очень энергичен и предан, но кто мог сравниться в нежной заботливости с Дугласом Уиджери!

Тем временем Дэнгл, позлащенный лучами заходящего солнца, погонял, как умел, большую черную лошадь, запряженную в двуколку, держа путь на северо-запад, к Винчестеру. Дэнгл, если не считать распухшего глаза, был худощавый, стройный человечек в охотничьей фуражке с козырьком и в темно-сером костюме. Шея у него была длинная и тощая. А двуколка, как вам, возможно, известно,— это большое, широкое и очень высокое деревянное сооружение; и лошадь тоже была большая, широкая и высокая, с шишковатыми ногами, длинной мордой, массивной нижней челюстью и твердым намерением двигаться только шагом. Цок, цок, цок,— уверенно стучали по дороге ее копыта, и вдруг у самой церкви она рванула в сторону при виде детской колясочки с поднятым верхом.

Дальше история Спасательной экспедиции несколько запутывается. Уиджери был как будто крайне возмущен, найдя миссис Милтон одну на платформе в Фархэме. Весь этот день он без конца раздражался, хотя выехал из дому с самыми лучшими намерениями, и теперь он даже обрадовался, найдя хоть какой-то повод для своего недовольства.

— Вот уж неуравновешенный человек! — сказал Уиджери.— Умчался куда-то! А мы, видимо, должны ждать здесь, пока он вернется. На него похоже. Он до того эгоистичен, этот Дэнгл. Вечно хочет все сделать сам и все испортит.

— Он жаждет помочь мне,— не без укоризны заметила миссис Милтон, дотрагиваясь до его рукава.

Однако Уиджери оказалось не так-то легко смягчить.

— Но мне-то он не должен вставлять палки в колеса,— сказал он и умолк.— Впрочем, напрасно мы об этом говорим, вы ведь устали.

— Я могу ехать дальше,— живо откликнулась она,— лишь бы нам найти ее.

— Пока я дожидался в Кошэме, я купил карту графства.— Он достал карту и развернул ее.— Вот это дорога из Фархэма.— И спокойно, неторопливо, как и подобает деловому человеку, он принялся развивать свою мысль, сводившуюся к тому, что им надо сесть в поезд и ехать в Винчестер.— Они, *конечно же*, отправились в Винчестер,— заключил он.— Иначе и быть не может. Завтра воскресенье, в Винчестере есть собор, а по дороге никаких крупных населенных пунктов больше нет.

— А как же мистер Дэнгл?

— Он будет ехать, пока не наскочит на что-нибудь, и тогда свернет себе шею. Я видел, как он ездит. При такой езде на двуколке, да еще наемной, едва ли он сумеет догнать велосипедистов, притом прохладным вечером. Положитесь на меня, миссис Милтон...

— Я в ваших руках,— с трогательной покорностью сказала она, глядя на него, как ребенок на большого, взрослого человека, и на минуту он забыл обо всех треволнениях этого дня.

Все это время Фиппс стоял, опираясь на палку, в довольно унылой позе, теребил свой воротник и смотрел то на одного собеседника, то на другого. Мысль обогнать Дэнгла показалась ему превосходной.

— Мы могли бы оставить записку там, где он брал двуколку,— предложил он, когда взгляды их встретились. Все трое необычайно оживились при этом предложении.

Но они так и не уехали дальше Ботли. Ибо в тот самый миг, когда их поезд прибыл на станцию, они услышали страшный грохот; откуда-то сверху раздались громкие крики, кондуктор в изумлении застыл на платформе, а Фиппс высунулся в окно и, воскликнув: «Вот он едет!»,— выскочил из вагона. Миссис Милтон, в тревоге последовавшая за ним, успела еще все увидеть. Уиджери же опоздал. Станция Ботли расположена в вы-

емке между двумя холмами; поверху проходит дорога, по которой на фоне лимонно-желтых и багровых отблесков заката неслась огромная черная лошадь, похожая на длинноносого шахматного коня, виднелась верхняя часть двуколки и в ней, но где-то совсем не там, где полагается сидеть вознице,— Дэнгл. Чудовищная тень его бежала по другую сторону выемки. Все произошло в одну секунду. Дэнгл как бы подпрыгнул, на миг повис в воздухе и исчез, после чего раздался страшный треск. И две черные головы промчались мимо.

— Давайте лучше сойдем,— сказал Фиппс, обращаясь к миссис Милтон, которая, оцепенев, стояла в дверях вагона.

Через минуту все трое уже бежали вверх по лестнице. Дэнгл стоял без шляпы, с пораненными руками, а какой-то услужливый мальчик отряхивал его. Широкая неровная дорога шла под уклон, и вдали на ней виднелось несколько обитателей Ботли, державших под уздцы большую черную лошадь. Даже с такого расстояния видна была злобная гордость, написанная на морде этого чудовища. Морда эта была какая-то удивительно деревянная. Пожалуй, подобных лошадей я видел только в лондонском Тауэре,— там на них восседают рыцари в латах. Впрочем, сейчас нас интересует не столько лошадь, сколько Дэнгл.

— Вы ушиблись? — взволнованно спросил Фиппс, шедший впереди.

— Мистер Дэнгл! — воскликнула миссис Милтон, всплеснув руками.

— Хэлло! — сказал Дэнгл, ничуть не удивившись при виде всей компании.— Хорошо, что вы приехали. Вы можете мне понадобиться. В недурную я попал переделку, а? Но я настиг их. И как раз там, где рассчитывал.

— Настигли их? — спросил Уиджери.— Где же они?

— Там, наверху,— сказал он, указывая головой куда-то назад.— В миле отсюда, за холмом. Я оставил их. Так уж вышло.

— Не понимаю,— сказала миссис Милтон, и в глазах ее снова появились тоска и боль.— Вы нашли Джесси?

— Да. Мне хотелось бы только смыть землю с рук. Вот как все произошло. Я выехал из-за поворота и нат-

кнулся на них. При виде велосипедов лошадь шарахнулась в сторону. Они сидели у дороги и разглядывали цветы. Я успел только крикнуть: «Джесси Милтон, мы вас ищем!» — и эта проклятая скотина понесла. Я не смел даже оглянуться. Только о том и думал, как бы повозка не перевернулась, сами видите, что вышло. Я только крикнул: «Вернитесь к друзьям! Все будет забыто!» И унесся под грохот копыт. Не знаю, услышали ли они...

— *Отвезите меня к ней*,— непререкаемым тоном потребовала миссис Милтон, поворачиваясь к Уиджери.

— Извольте,— сказал Уиджери, внезапно оживившись.— Это далеко, Дэнгл?

— Мили полторы-две отсюда. Я, знаете ли, твердо решил найти их. Но взгляните на мои руки! О, прошу прощения, миссис Милтон.— Он повернулся к Фиппсу.— Фиппс, где же все-таки я могу вымыть руки? И взглянуть на колено?

— Вон там на станции,— сказал Фиппс, сразу изъявляя готовность помочь. Дэнгл сделал шаг, но ушибленное колено тотчас напомнило о себе.— Обопритесь на мою руку,— предложил Фиппс.

— Где здесь можно найти экипаж?—спросил Уиджери у двух мальчишек.

Мальчишки не поняли. И посмотрели друг на друга.

— Здесь нет ни кэба, ни телеги,— сказал Уиджери.— Вот уж в самом деле: коня, коня, полцарства за коня!

— Лошадь есть во-он там,— протянул один из мальчишек, показывая рукой.

— А двуколку здесь где-нибудь можно нанять?— спросил Уиджери, устремив на мальчишку долгий свирепый взгляд.

— Или повозку, или что-нибудь? — спросила миссис Милтон.

— У Джона Хукера есть телега, только нанять ее нельзя, потому как он был пьяный и оглоблю сломал,— пропел старший мальчишка, отвернувшись и глядя куда-то вдаль.— И мой отец тоже не даст телегу, потому как у него сломана нога.

— Даже телеги нет! Ну, конечно. Что же мы будем делать?

Тут миссис Милтон подумала, что Уиджери, бесспорно, преданный кавалер, зато Дэнгл куда изобретательнее.

— Я полагаю,— сказала она робко,— если бы спросить мистера Дэнгла...

Вся позолота слетела с Уиджери. И он весьма грубо сказал:

— Черт бы побрал вашего Дэнгла! По-вашему, он еще недостаточно напутал? Гнался за ними, чтобы сказать им, что мы их ищем, а теперь вы хотите, чтобы я спросил его...

Ее прекрасные голубые глаза наполнились слезами. Уиджери тотчас осекся.

— Пойду спрошу Дэнгла,— сказал он только,— если вы этого хотите.

И он зашагал к станции, оставив миссис Милтон посреди дороги под охраной двух мальчишек; в голове у нее, словно припев какой-то баллады, звучало: «Где теперь рыцари доброго старого времени?» Она почувствовала смертельную усталость и вообще была голодной, пыльной, растрепанной — короче говоря, настоящей мученицей.

XXXI

Не могу без волнения рассказывать о том, как кончился этот день: как беглецы канули в неизвестность; как не было больше поездов; как Ботли холодно, с издевкой взирал на преследователей, отказывая им в средствах передвижения; как поглядывал на них с недоверием хозяин «Цапли»; как на следующий день — в воскресенье — была такая жара, что воротничок Фиппса сморщился, юбки миссис Милтон смялись и безоблачное настроение всей компании испортилось. Дэнгл, с пластырем и синяком над глазом, почувствовал всю смехотворность роли Раненого Рыцаря и, сделав над собой небольшое усилие, отказался от нее. Взаимные обвинения, пожалуй, ни разу не занимали в разговоре главного места, но, как зарницы, то и дело обрамляли его. При этом в глубине души каждый сознавал, что они оказались в нелепом положении. И виновата во всем этом, конечно, была Джесси. Правда, самое худшее, что могло бы

придать этому происшествию трагический характер, видимо, не произошло. Просто молодая особа — да что я говорю, еще совсем девочка — вздумала покинуть уютный дом в Сэрбитоне, отвергла радости пребывания в кругу утонченных, интеллигентных людей и сбежала, потащив нас за собой и заставив строить из себя рыцарей и мучиться ревностью друг к другу, и вот теперь, субботним вечером, швырнула нас, словно грязь с колес своего велосипеда, усталых, измученных жарой, в эту отвратительную деревню! И сбежала-то она не во имя Любви и Страсти, что является серьезным оправданием даже в глазах тех, кто это осуждает, а из Каприза, Причуды ради, просто вопреки Здравому Смыслу. Однако с присущим нам тактом мы продолжаем говорить о ней как о заблудшей овечке, принесшей нам столько волнений, и миссис Милтон, подкрепившись едой, по-прежнему высказывает самые возвышенные чувства.

Замечу кстати, что сидела она в плетеном кресле с подушками — единственном удобном кресле во всей комнате, а мы на невероятно жестких, набитых конским волосом стульях, с салфеточками, привязанными к спинкам при помощи лимонно-желтых бантов. Это было как-то не совсем похоже на приятные беседы в Сэрбитоне. Миссис Милтон сидела лицом к открытому окну (ночь была такая спокойная и теплая) и удивительно хорошо выглядела в полумраке, так как мы не зажигали лампы. По голосу ее чувствовалось, что она устала, и, казалось, она даже склонна была винить себя за «Высвобожденную душу». Такой вечер вполне можно было бы запечатлеть в дружеских мемуарах, но тогда он казался довольно скучным.

— Я чувствую,— говорила миссис Милтон,— что это я во всем виновата. Я ушла вперед в своем развитии. Моя первая книга — учтите, я не намерена отказываться ни от одного слова, написанного в ней,— эта книга была неправильно понята и неправильно истолкована.

— Вот именно,— поддакнул Уиджери, стараясь выразить столь горячее сочувствие, чтобы оно было заметно даже в темноте.— Умышленно неправильно истолкована.

— Не говорите так! — взмолилась леди.— Не умышленно. Я стараюсь думать, что критики — люди чест-

ные, по-своему, конечно. Но сейчас я имела в виду не критиков. Я хотела сказать, что она...—И миссис Милтон выжидающе умолкла.

— Вполне возможно,— сказал Дэнгл, рассматривая свой пластырь.

— Я пишу книгу и излагаю свои мысли. Я хочу, чтобы люди *думали* так, как я советую, а вовсе не поступали. Это и значит учить. Только я свое учение преподношу в форме рассказа. Я хочу учить новым Идеям, новым Истинам, распространять новые Взгляды. Затем, когда Взгляды распространятся, тогда и в жизни начнутся изменения. А сейчас — безумие бросать вызов существующему порядку. Бернард Шоу, как вам известно, объяснял это применительно к социализму. Все мы знаем, что надо своим трудом зарабатывать то, что потребляешь,— это правильно, а вот жить на проценты с капитала — неправильно. Но пока нас еще слишком мало, чтобы начать такую жизнь. Это должны сделать Те, Другие...

— Совершенно верно,— сказал Уиджери.— Те, Другие... Они должны начать первыми.

— А пока вы должны заниматься своим банком...

— Если я не буду, то будет кто-нибудь другой.

— Ну, а я живу на деньги, которые приносит лосьон мистера Милтона, и тем временем стараюсь завоевать себе место в литературе.

— *Стараетесь!* — воскликнул Фиппс.— Вы уже *завоевали* его.

— А это немало,— добавил Дэнгл.

— Вы так добры ко мне. Но в данном случае... Конечно, Джорджина Гриффитс в моей книге живет одна в Париже и учится жизни, и у нее в гостях бывают мужчины, но ведь ей уже больше двадцати одного года.

— А Джесси только восемнадцать, и к тому же она еще совсем дитя,— сказал Дэнгл.

— Ну, конечно, тут все иначе. Такой ребенок! Это совсем не то, что взрослая женщина. И Джорджина Гриффитс никогда не рисовалась своей свободой — она же не разъезжала на велосипеде по городам и деревням. Да еще в нашей стране! Где все так придирчивы! Только вообразите себе — *спать* вне дома. Это же ужасно. Если это станет известно, она погибла.

— Погибла,— сказал Уиджери.

— Никто не женится на такой девушке,— сказал Фиппс.

— Это надо скрыть,— сказал Дэнгл.

— Я всегда считала, что каждый человек, каждая жизнь — это особый случай. И людей надо судить в связи с теми обстоятельствами, в которых они находятся. Не может быть общих правил...

— Я часто убеждался в том, как это верно,— сказал Уиджери.

— Таково правило, которого я придерживаюсь. Конечно, мои книги...

— Это — другое дело, совсем другое дело,— сказал Дэнгл.— В романе речь идет о типичных случаях.

— А жизнь не типична,— чрезвычайно глубокомысленно изрек Уиджери.

Тут Фиппс неожиданно для себя вдруг зевнул, и сам больше всех был этим шокирован и потрясен. Слабость эта оказалась заразительной, и собравшиеся, как вы легко можете понять, разговаривали уже вяло и вскоре под разными предлогами разошлись. Но не для того, чтобы тотчас лечь спать. Дэнгл, оставшись один, начал с безграничным отвращением рассматривать свой потемневший глаз, потому что, несмотря на свою энергию, он был большой любитель порядка. Вся эта история — уже приближавшаяся к развязке—оказалась ужасно хлопотной. А возвращение в Фархэм сулило новые неприятности. Фиппс некоторое время сидел на кровати, с не меньшим отвращением изучая воротничок, который еще сутки назад он считал бы совершенно неприличным надеть в воскресенье. Миссис Милтон размышляла о том, что и крупные, толстые люди с по-собачьи преданными глазами тоже смертны, а Уиджери чувствовал себя несчастным, потому что был так груб с нею на станции и особенно потому, что до сих пор не был уверен в своей победе над Дэнглом. И все четверо, будучи склонны придавать большое значение внешним обстоятельствам, терзались мыслью о завтрашней встрече с язвительным и недоверчивым Ботли, а потом с насмешливым Лондоном и строящим разные догадки Сэрбитоном. В самом ли деле они вели себя нелепо? Если нет, то откуда у них у всех это чувство досады и стыда?

МИСТЕР ХУПДРАЙВЕР — СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ

XXXII

Как сказал мистер Дэнгл, он оставил беглецов на обочине дороги примерно в двух милях от Ботли. До появления мистера Дэнгла мистер Хупдрайвер с превеликим интересом узнал, что у простых придорожных цветов есть названия — лютики, незабудки, иван-чай, иван-да-марья — причем, порою презабавные. Но, к счастью, фантазия выручила его и тут.

— В Южной Африке, знаете ли, цветы совсем другие,— сказал он, объясняя свое невежество.

Тут вдруг раздался цокот копыт и скрежет колес, и, нарушая тишину летнего вечера, с громом и грохотом возник Дэнгл. Раскачиваясь из стороны в сторону и отчаянно жестикулируя позади огромной черной лошади, он несся прямо на них, по пути окликнул Джесси, неизвестно почему свернул к живой изгороди и скрылся, мчась навстречу уготованной ему от сотворения мира судьбе. Джесси и Хупдрайвер едва успели вскочить и схватить свои машины, как громоподобное видение — еще сильнее, чем мистер Хупдрайвер, петляя по всей дороге,— исчезло за поворотом.

— Он знает мое имя,— проговорила Джесси.— Ну конечно.... Это был мистер Дэнгл.

— А все наши велосипеды,—участливо, но без особого беспокойства сказал меж тем мистер Хупдрайвер.— Надеюсь, он не расшибется.

— Это был мистер Дэнгл,— повторила Джесси, и мистер Хупдрайвер на этот раз услышал ее и вздрогнул. Его брови приподнялись.

— Как! Вы его знаете?

— Да.

— Господи!

— Он ищет меня,— сказала Джесси.— Это ясно. Он окликнул меня еще прежде, чем лошадь бросилась в сторону. Его послала моя мачеха.

Мистер Хупдрайвер опять пожалел, что не вернул велосипеда владельцу, ибо он все еще не очень представлял себе, какие отношения существуют между Бичемелом и миссис Милтон. Все-таки честность, считал он, лучшая политика — во всяком случае, как правило. Он

посмотрел в одну сторону, в другую. Вид у него был деловой и встревоженный.

— Значит, он ехал за нами, да? Тогда он вернется. Но только он покатил вниз под гору и не скоро остановится, это уж точно.

Между тем Джесси вывела на дорогу велосипед и стала садиться. Не отрывая глаз от поворота, за которым исчез Дэнгл, Хупдрайвер последовал ее примеру. Так на закате солнца они снова двинулись в путь—теперь в направлении Бишопс-Уолэм, причем мистер Хупдрайвер занял наиболее опасный пост, в арьергарде, и ехал, поминутно озираясь и петляя. Джесси из-за этого приходилось то и дело сбавлять скорость. Мистер Хупдрайвер тяжело дышал и ненавидел себя за то, что не может ехать с закрытым ртом. После часа безостановочной езды они очутились, целые и невредимые, в Винчестере. На улице, тускло освещенной желтыми фонарями, они не обнаружили ни следов Дэнгла, ни какой-либо другой опасности. Однако мили за две до Винчестера, хотя летучие мыши уже начали порхать над живыми изгородями, а в небе зажглась вечерняя звезда, мистер Хупдрайвер указал своей спутнице, сколь чревата опасностями остановка в таком населенном месте, и вежливо, но твердо настоял на том, чтобы заправить фонари и продолжать путь к Солсбери. От Винчестера дороги шли во всех направлениях, и, чтобы избавиться от погони, проще всего было круто повернуть, например, на запад. Увидев полную, желтую луну, всходившую сквозь дымку на горизонте, мистер Хупдрайвер подумал, что ему предстоит вновь пережить то, что он пережил, когда они ехали из Богнора, но почему-то, хотя луна и все атмосферные условия были те же, ощущения его были иными. Миновав окраины Винчестера, они поехали медленно, в полном молчании. Оба были совершенно измучены — ровная дорога казалась бесконечной, а самый маленький холмик представлялся препятствием,—вот почему в деревне Уолленсток они были вынуждены остановиться и попросить ночлега в деревенской гостинице, у владельцев которой — сразу видно было — дела шли исключительно хорошо. И хозяйка гостиницы, женщина соответствующей наружности, приняла их, ничем не посрамив своего заведения.

Но когда они проходили в комнату, где им приготовлен был ужин, мистер Хупдрайвер мельком увидел в щели приоткрытой двери сквозь завесу табачного дыма три с половиной лица (ибо дверной косяк разрезал одно из них пополам) и накрытый суровой скатертью стол, где стояло несколько стаканов и большая пивная кружка. А кроме того, он услышал одну реплику. За секунду до этого мистер Хупдрайвер был горд и счастлив, он чувствовал себя наследником баронета, путешествующим инкогнито. С бесконечным достоинством, непринужденно передал он велосипеды слуге и с поклоном распахнул дверь перед Джесси. Он представил себе, как люди станут спрашивать друг у друга: «Кто это такие?» И кто-нибудь скажет: «Какие-то богачи, судя по велосипедам». После чего воображаемые наблюдатели начнут обстоятельный разговор о том, что велосипед вошел в моду, что и судьи, и биржевые маклеры, и актрисы — в общем, все сливки общества — ездят теперь на велосипедах и что великие мира сего, презрев большие отели и низкопоклонство городской толпы, часто оригинальности ради отправляются инкогнито в деревню вкусить прелестей тамошней жизни. Заметят они, наверно, и тот непередаваемый аристократизм, который сквозит во всем облике дамы, только что переступившей порог гостиницы, и красивого светлоусого, голубоглазого кавалера, сопровождающего ее, и переглянутся. «А я скажу, кто это,— тихим внушительным голосом промолвит один из деревенских стариков и, выражая общее мнение, как обычно пишут в романах, добавит: — Это, должно быть, какие-то баронеты решили поразвлечься, а может, кто и повыше...»

Таковы были туманные и приятные мысли мистера Хупдрайвера до того, как он услышал слова того человека. А слова эти заставили его опуститься на землю. Мы не намерены воспроизводить здесь их в точности. Просто это было какое-то замечание сатирического характера в духе Стрефона. Если вас, дорогая леди, заинтересует оно, наденьте современный велосипедный костюм, возьмите в спутники одного из самых хилых своих знакомых и отправляйтесь в следующую субботу в какой-нибудь трактир, где собираются здоровые, простые люди. Тогда вы услышите сколько угодно того, что услы-

шал мистер Хупдрайвер, возможно, даже больше, чем вам захочется.

Надо добавить, что слова эти касались мистера Хупдрайвера. Они указывали на полное неверие в его высокое социальное положение. В один миг они разрушили великолепный замок, созданный его фантазией и доставлявший ему столько радости. Все его глупое счастье исчезло, как сон. И нечего было сказать в ответ, как вообще нечего бывает сказать в ответ на любую издевку. Возможно, человек, сказавший это, получил какое-то удовлетворение, думая, что осадил самодовольного болвана, но, возможно, он и не знал, насколько прямо в цель попал его случайный выстрел. Он бросил свою насмешку наугад, как мальчишка бросает, не целясь, камень в птицу, и не только разрушил глупое самодовольство, но и ранил. Слова эти в самой грубой форме задевали Джесси.

Она не слышала их, как мистер Хупдрайвер понял по ее дальнейшему поведению, но во время ужина, который им подали в маленькой отдельной столовой, он все думал об этом, хотя она оживленно болтала. Неясные звуки голосов и смех проникали из общей залы сквозь герани, стоявшие на открытом окне. Хупдрайвер чувствовал, что разговор идет все о том же — прохаживаются на его и на ее счет. И потому он отвечал Джесси невпопад. Она сказала, что устала, и вскоре ушла к себе. Мистер Хупдрайвер любезно распахнул дверь и с поклоном пропустил Джесси вперед. Он стоял, прислушиваясь, боясь новых оскорблений, пока она шла наверх и огибала выступ, где под птичьими чучелами висел барометр. Затем он вернулся в комнату и остановился на коврике перед камином. «Негодяи!» — в ярости прошептал он, услышав новый взрыв смеха. Все время за ужином он сочинял язвительную отповедь, блестящую, остроумную обличительную речь, которую он должен произнести. Он распечет их, как подобает дворянину. «Вы называете себя англичанами — и оскорбляете женщину!» — скажет он; возможно, запишет их имена и адреса, пригрозит пожаловаться местному лорду, пообещает, что они еще о нем услышат, и выйдет, оставив всех в оцепенении. Это в самом деле следовало бы сделать.

— Надо проучить их как следует,— свирепо сказал он и больно дернул себя за ус. Как они там говорили? Для разжигания собственной ярости он оживил в памяти неприятные слова и затем повторил основные положения своей речи.

Он откашлялся, сделал три шага к двери, потом остановился и вернулся на коврик. Нет, пожалуй, лучше не ходить... Но разве он не Странствующий Рыцарь? Может ли баронет, путешествующий инкогнито, не отчитать и не обуздать таких людей? Великодушие? Посмотреть на это так? Грубияны не заслуживают даже презрения? Нет, это просто трусливая отговорка. Надо все-таки пойти.

Он снова направился к двери, но внутренний голос по-прежнему твердил ему, что он ведет себя, как вспыльчивый осел. Однако он только еще решительнее шагнул вперед. Он прошел через холл, мимо бара и вошел в комнату, из которой донеслись те слова. Резко распахнул дверь и остановился на пороге, мрачно глядя на сидевших там людей. «Ты только сделаешь хуже»,— заметил скептический голос внутри него. В комнате было пятеро: толстяк с несколькими подбородками, сидевший с длинной трубкой в кресле у огня и очень приветливо пожелавший мистеру Хупдрайверу доброго вечера; молодой человек, куривший пенковую трубку, вытянув скрещенные ноги в гетрах; маленький человечек с бородой и беззубой улыбкой; спокойный человек средних лет, с живыми глазами, в вельветовой куртке, и щеголеватый молодой блондин в желтовато-коричневом готовом костюме и белом галстуке.

— Хм,— мрачно кашлянул мистер Хупдрайвер. И затем угрожающим тоном человека, не терпящего вольностей, произнес: — Добрый вечер!

— Очень хорошие в этих местах дороги,— сказал молодой блондин в белом галстуке.

— Оч-чень,— с расстановкой произнес мистер Хупдрайвер, решительно придвинул к камину коричневое кресло и сел. С чего же это должен он начать свою речь?

— Очень хорошие в этих местах дороги,— сказал молодой блондин в белом галстуке.

— Очень! — поддержал мистер Хупдрайвер, мрачно глядя на него. (Надо же было с чего-то начать).— Дороги здесь хорошие и погода хорошая, но я пришел сказать вам вот что: чертовски неприятная здесь публика, чертовски неприятная!

— Ого! — произнес молодой человек в гетрах и, судя по всему, мысленно пересчитал перламутровые пуговицы на них.— Откуда вы это взяли?

Мистер Хупдрайвер положил руки на колени, выставив вперед острые локти. В душе он злился на себя за идиотское безрассудство, с каким полез дразнить этих львов, ибо это действительно были львы,— но теперь надо было доводить дело до конца. Господи, только бы голос не сорвался! Он остановил взгляд на лице толстяка с многоэтажным подбородком и заговорил тихим выразительным голосом.

— Я приехал сюда, сэр,— сказал мистер Хупдрайвер и сделал паузу, чтобы набрать воздуху,— я приехал сюда с дамой.

— С очень красивой дамой,— сказал молодой человек в гетрах и склонил голову набок, любуясь перламутровой пуговицей на изгибе своей икры.— В самом деле очень красивой.

— Я приехал сюда,— повторил мистер Хупдрайвер,— с дамой!

— О господи, мы все это видели,— сказал толстяк с многоэтажным подбородком каким-то удивительно хриплым голосом. — Что ж тут особенного? Можно подумать, что у нас нет глаз.

Мистер Хупдрайвер откашлялся.

— Я приехал сюда, сэр...

— Мы это уже слышали! — раздраженно сказал человечек с бородой и хихикнул.— Мы уже выучили это наизусть,— добавил он.

Мистер Хупдрайвер потерял нить мысли. Он возмущенно посмотрел на человечка с бородой, пытаясь вспомнить свою речь. Наступила пауза.

— Так вы говорили,— очень вежливо напомнил ему молодой блондин в белом галстуке,— что приехали сюда с дамой.

— С дамой,— задумчиво произнес тот, что любовался пуговицами на гетрах.

Человек в вельветовой куртке, молча смотревший своими живыми, проницательными глазами то на одного собеседника, то на другого, рассмеялся, как будто выиграл очко, и, остановив на мистере Хупдрайвере выжидающий взгляд, побудил его высказаться.

— Какой-то хам,— сказал мистер Хупдрайвер, уловив наконец нить своей речи и внезапно рассвирепев,— произнес тут что-то, когда мы проходили мимо двери.

— Потише! Будьте любезны не обзывать нас.

— Одну минуту! — прервал его мистер Хупдрайвер.— Не я начал первый. (— А кто же? — спросил человек с многоэтажным подбородком.) Я не называю вас хамами. Пусть у вас не будет такого впечатления. Но кто-то в этой комнате произнес слова, показывающие, что он не заслуживает даже того, чтобы отхлестать его по физиономии, и со всем уважением к тем джентльменам, которые в самом деле джентльмены (мистер Хупдрайвер огляделся, ища моральной поддержки), я хотел бы знать, кто это.

— Зачем? — спросил молодой блондин в белом галстуке.

— Затем, что я собираюсь сейчас же отхлестать его по физиономии,— сказал мистер Хупдрайвер, снова свирепея и в то же время сознавая, что у него и в мыслях до этого не было применять силу. Он сказал так потому, что не мог придумать ничего другого, и угрожающе выставил локти, чтобы скрыть собственный испуг. Просто удивительно, как обстоятельства подчиняют нас себе.

— Эге, Чарли! — сказал человечек с бородой.

— Ну и ну! — воскликнул обладатель тройного подбородка.

— Вы собираетесь отхлестать его по физиономии? — спросил молодой блондин с легким удивлением.

— Да,— решительно сказал мистер Хупдрайвер и в упор посмотрел на молодого человека.

— Совершенно справедливо и разумно, — сказал человек в вельветовой куртке, — если только вам это удастся.

Интерес присутствующих, казалось, целиком сосредоточился на молодом человеке в белом галстуке.

— Но если вы не сможете обнаружить, кто это был, вы, видимо, намерены, не скупясь, отхлестать по физио-

номии всех, кто находится в этой комнате? — заметил молодой человек все тем же безразличным тоном.— Этот джентльмен — чемпион в легком весе...

— Признайся уж, Чарли,— сказал молодой человек в гетрах, на мгновение подняв глаза.— И не втягивай в это дело своих ближних. Что справедливо, то справедливо. А тебе от этого не уйти.

— Значит, этот... джентльмен? — начал мистер Хупдрайвер.

— Видите ли,— сказал молодой человек в белом галстуке,— раз вы говорите о том, чтоб отхлестать по физиономии...

— Не только говорю, но так и сделаю! — сказал мистер Хупдрайвер.

Он оглядел присутствующих. Это были уже не противники, а зрители. Теперь ему придется довести дело до конца. Но поскольку он говорил так негодующе только об обидчике, обстановка в комнате несколько изменилась, и Хупдрайвер уже не был один contra mundum [1]. По-видимому, предстоит драка. Ограничится ли дело подбитым глазом, или его основательно поколотят? Господи, только бы не этот здоровый парень в гетрах! Что же, теперь он должен встать и начать бой? Что она подумает, если он явится утром к завтраку с синяком под глазом?

— Это и есть тот человек? — спросил мистер Хупдрайвер деловито спокойным тоном и еще больше выставил локти.

— Ату его! — воскликнул маленький человечек с бородой.— Съешьте его с потрохами...

— Постойте! — остановил его молодой человек в белом галстуке.— Подождите минуту. Если я случайно сказал...

— Так это вы сказали? — спросил мистер Хупдрайвер.

— Отступаешь, Чарли? — заметил молодой человек в гетрах.

— И не думаю,— сказал Чарли.— В конце концов, имеем же мы право пошутить...

— Я научу вас держать свои шутки при себе,— сказал мистер Хупдрайвер.

---

[1] Против всех (*лат.*).

— Бра-во! — воскликнул обладатель стада подбородков.

— Чарли иной раз заходит слишком далеко в своих шутках,— сказал человечек с бородой.

— Это совершенно омерзительно,— сказал Хупдрайвер, возвращаясь к сочиненной им речи.— Стоит даме поехать на велосипеде за город или одеться не совсем обычно, как всякая мразь считает своим долгом оскорблять ее...

— Я не думал, что молодая леди услышит то, что я сказал,— возразил Чарли.— Может же человек болтать с друзьями! Откуда я знал, что дверь была открыта...

Хупдрайвер начал подозревать, что его противник, если только это возможно, еще больше него встревожен перспективой драки, и приободрился. Этих молодцов надо как следует проучить.

— *Конечно*, вы знали, что дверь была открыта,— негодующим тоном заявил он.— *Конечно*, вы рассчитывали, что мы услышим ваши слова. Не лгите. Нечего говорить ерунду. Вы хотели поразвлечься и развлеклись. А я хочу наказать вас в назидание другим, сэр.

— Имбирное пиво,— доверительно сказал человечек с бородой человеку в вельветовой куртке,— так и бродит в жару. Бутылки повсюду сами рвутся.

— Что толку препираться в трактире? — сказал Чарли, обращаясь ко всей честной компании.— Если драться, так драться, чтоб никто не мешал, раз уж джентльмену так хочется.

Он был явно ужасно напуган. Мистер Хупдрайвер почувствовал прилив ярости.

— В любом месте,— сказал мистер Хупдрайвер,— где вам будет угодно.

— Ты оскорбил джентльмена,— сказал человек в вельветовой куртке.

— Не будь трусом, Чарли,— сказал человек в гетрах.— Да ты на целый пуд тяжелей его.

— А я вот что скажу,— заявил джентльмен с избытком подбородков, усиленно стуча по ручкам кресла, чтобы обратить на себя внимание.— Если Чарли что-то сказал, пусть отвечает. Вот так-то. Пусть говорит, что хо-

чет,— я не против, но тогда пусть и отвечает за свои слова.

— И отвечу, не беспокойтесь,— сказал Чарли, язвительно упирая на «отвечу».— Если джентльмен согласен встретиться во вторник на той неделе...

— Ерунда! — отрезал Хупдрайвер.— Сейчас.

— Слушайте, слушайте! — сказал обладатель подбородков.

— Никогда не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня, Чарли,— сказал человек в вельветовой куртке.

— Придется пойти на это, Чарли,— сказал человек в гетрах.— Не отвертеться.

— Послушайте,— сказал Чарли, обращаясь ко всем, кроме Хупдрайвера.— Завтра вечером я должен подавать обед у ее милости. Хорош я буду с синяком под глазом? А как я буду выглядеть на запятках с рассеченной губой?

— Если ты не желаешь ходить с побитой физиономией, зачем же рот разеваешь? — сказала личность в гетрах.

— Вот именно! — чрезвычайно свирепо поддакнул мистер Хупдрайвер.— Заткните-ка лучше свой гнусный рот!

— Это может стоить мне места,— взмолился Чарли.

— Надо было раньше об этом думать,— сказал Хупдрайвер..

— Горячиться-то так не из-за чего. Я просто пошутил,— сказал Чарли.— Как джентльмен джентльмену говорю вам, что очень сожалею, если огорчил джентльмена...

Все разом заговорили. Мистер Хупдрайвер принялся подкручивать усы. Чарли назвал его джентльменом, и мистеру Хупдрайверу казалось, что это в какой-то мере искупает обиду. Но он уже вошел в роль и считал необходимым покрепче придавить к земле поверженного врага. И, стараясь перекрыть шум, он выкрикнул еще что-то оскорбительное.

— Ты настоящий трус,— говорил тем временем человек в гетрах, обращаясь к Чарли.

Шум стал еще сильнее.

— Только не думайте, что я боюсь,— уж во всяком случае не этого тонконожку! — закричал Чарли. — Его я совсем не боюсь.

«Положение меняется,— подумал Хупдрайвер, слегка вздрогнув.— Что-то будет?»

— Не сиди и не отругивайся,— сказал человек в вельветовой куртке.— Он сказал, что побьет тебя, и, будь я на его месте, я бы уже давно так и сделал.

— Ну ладно,— сказал Чарли, внезапно переходя из обороны в наступление и вскакивая на ноги.— Если надо, так надо. Ладно!

Тут Хупдрайвер, игрушка в руках Судьбы, тоже поднялся, с ужасом сознавая, что его внутренний советчик был прав. Все перевернулось. Он все испортил, и теперь ему, как видно, остается только ударить этого человека. Они с Чарли стояли в шести футах друг от друга, разделенные столом, оба разгоряченные, тяжело дыша. Вульгарная трактирная драка, да еще — теперь уже это ясно — с лакеем! Великий боже! Вот к чему привела его язвительная, полная достоинства отповедь! Как, в сущности, все это произошло? Теперь, наверно, надо обойти стол и ринуться на него. Но, прежде чем драка началась, вмешался человек в гетрах.

— Не здесь, — сказал он, становясь между противниками.

. Все поднялись с мест.

— Чарли — он ловкий малый,— сказал человечек с бородой.

— Пошли на двор к Буллеру,— сказал человек в гетрах, беря на себя руководство с готовностью и охотой знатока. — Если джентльмен ничего не имеет против.— Двор Буллера был, по-видимому, вполне подходящим местом.— Там все можно будет сделать по правилам, как положено.

И прежде чем Хупдрайвер успел осознать, что происходит, он уже шагал по задворкам гостиницы, направляясь на первый и единственный в его жизни кулачный бой, которым ему суждено было гордиться.

Внешне, насколько можно судить при луне, мистер Хупдрайвер был спокоен и готов к драке. Но внутри у него царило полное смятение. Просто удивительно, как все произошло. Одна реплика так быстро следовала за

другой, что ему было крайне трудно уловить развитие событий. Он отчетливо помнил, как прошел из одной комнаты в другую, полный достоинства, даже аристократизма, тщательно продумавший свою убедительную речь и жаждущий лишь отчитать несчастного деревенщину за неумение вести себя. Слово за слово — и вот он шагает по освещенному луной проулку, худая черная тень среди теней покрупнее, идет спокойно и деловито навстречу чему-то неизвестному и нелепому, что ждет его на дворе у Буллера. Драка на кулаках! Странно! Ужасно! Впереди смутно виднелась фигура Чарльза, и он видел, что человек в гетрах доброжелательно, но крепко держит его под руку.

— Чертовски глупо,— говорил Чарльз,— устраивать драку из-за такой ерунды. Ему-то хорошо. У него отпуск, и ему не надо завтра вечером подавать этот проклятый обед. И перестань держать меня под руку, слышишь?

Они вошли во двор к Буллеру через калитку. Во дворе стояли сараи — таинственные сараи, едва различимые в лунном свете,— пахло коровами и отчетливо виднелся насос, бросавший черную тень на побеленную стену. Вот здесь ему расквасят физиономию в лепешку. Он понимал, что это совершеннейшее безумие — стоять тут под ударами, но выхода из положения не видел. Однако что же будет дальше? Сможет ли он снова показаться ей на глаза? Он одернул свою спортивную куртку и стал спиной к воротам. Как принимают оборонительное положение? Так, что ли? А что, если повернуться сейчас, броситься бегом в гостиницу и запереться у себя в спальне? Оттуда они не заставят его выйти — ни за что. А попробуют — так он может подать на них в суд за нападение. А как, интересно, подают в суд? Тут он увидел перед собой Чарльза, мертвенно-бледного в лунном свете.

Первый удар был нанесен ему в плечо, и он отступил. Чарльз теснил его. С силой отчаяния он двинул правой. Это был удар его собственного изобретения — экспромт, но он случайно совпал с существующим по правилам боковым ударом в голову. В восторге он понял, что попал кулаком Чарльзу в челюсть. Это был единственный миг удовольствия, которое испытал Хупдрайвер за время драки, и был этот миг быстролетен. Не успел он

снова приблизиться к Чарльзу, как получил удар в грудь и отлетел назад. Он еле удержался на ногах. У него было такое чувство, точно ему сплющили сердце.

— Черт возьми! — произнес кто-то, прыгавший позади него.

Когда мистер Хупдрайвер зашатался, Чарльз издал громкий воинственный крик. Он словно вырос над Хупдрайвером в лунном свете. Кулаки его мелькали в воздухе. Это был конец — не иначе. Мистер Хупдрайвер, очевидно, присел, вывернулся, ударил и промахнулся. Чарльз пронесся мимо, левее него и тоже промахнулся. Удар скользнул по левому уху мистера Хупдрайвера, — боковой маневр был завершен. Следующий удар уже пришелся сзади. Небо и земля неистово завертелись вокруг мистера Хупдрайвера, и тут он вдруг увидел фигуру в светлом костюме, стремительно промчавшуюся к раскрытой калитке и исчезнувшую в ночи. Человек в гетрах ринулся куда-то мимо мистера Хупдрайвера, но слишком поздно: беглеца перехватить уже не удалось. Послышались крики, смех, и мистер Хупдрайвер, все еще стоявший в оборонительной позиции, понял тут великую и чудесную правду: Чарли бежал. Он, Хупдрайвер, дрался и победил по всем правилам войны.

— Здорово вы ему дали в челюсть,— с неожиданным дружелюбием сказал беззубый человечек с бородой.

— Дело в том,— говорил мистер Хупдрайвер, сидя у обочины дороги, ведущей в Солсбери, и прислушиваясь к далекому колокольному звону,— я должен был проучить этого малого, просто должен...

— Как ужасно, что приходится драться с людьми!— заметила Джесси.

— Эти грубияны стали совершенно невыносимы,— сказал мистер Хупдрайвер.— Если время от времени не ставить их на место, то даме-велосипедистке скоро невозможно будет показаться на дороге.

— Я думаю, любая женщина отступила бы перед необходимостью применить силу,— сказала Джесси.— Видимо, мужчины в чем-то храбрее женщин. По-моему... я просто не представляю себе, как человек может войти в

комнату, полную грубиянов, выбрать самого сильного и дать ему для острастки взбучку. Я при одной этой мысли содрогаюсь. Мне казалось, что только гвардейцы в книгах Уйды способны на такие вещи.

— Это был всего лишь мой долг джентльмена,— сказал мистер Хупдрайвер.

— Но идти прямо навстречу опасности!

— Привычка,— скромно сказал мистер Хупдрайвер, стряхивая с колена пепел от сигареты.

УНИЖЕНИЕ МИСТЕРА ХУПДРАЙВЕРА

XXXIII

В понедельник утром двое беглецов завтракали в «Золотом фазане» в Блэндфорде. Они двигались тщательно продуманным, извилистым путем через Дорсетшир к Рингвуду, где Джесси надеялась получить ответ от своей школьной учительницы. К этому времени они пробыли вместе уже около шестидесяти часов, и вы можете представить себе, что чувства мистера Хупдрайвера значительно углубились и усилились. Сначала Джесси была для него только импрессионистским наброском — чем-то женственным, живым и пленительным, чем-то, что было явно «выше» него и только по счастливой случайности оказалось рядом. На первых порах, как вы знаете, он стремился держаться с ней на равных, изображая из себя человека более незаурядного, более состоятельного, более образованного и, главное, более высокого происхождения, чем на самом деле. Его знание женской натуры ограничивалось почти исключительно юными леди, с которыми он вместе работал в магазине, а у представительниц этого сословия (как и среди военных и среди слуг) старая, добрая традиция резкого социального разграничения до сих пор свято блюдется. Он мучительно боялся, что она может счесть его «наглецом». Позже он начал понемногу понимать ее взгляды и вкусы. Полное отсутствие жизненного опыта сочеталось в ней с преклонением перед самыми смелыми отвлеченными идеями, и своей убежденностью она заразила и Хупдрайвера. Она собиралась начать Самостоятельную

Жизнь — решительно и безоговорочно, и мистер Хупдрайвер глубоко проникся такой же решимостью. Как только он понял ее стремления, ему стало ясно, что и он с детских лет думал о том же. «Конечно,— заметил както он в приливе мужской гордости,— мужчина свободнее, чем женщина. Там, в колониях, знаете ли, нет и половины тех условностей, которые встречаются в нашей стране».

Ему приятно было, что у нее сложилось самое высокое мнение о его смелости; это ободрило его.

Раза два он попробовал показать ей свое презрение к условностям, даже не подозревая, что тем самым произвел на нее впечатление ограниченного человека. Отказавшись от многолетней привычки, он не предложил ей пойти в церковь. И вообще высказывал на этот счет весьма вольные взгляды. «Это не больше, чем привычка,— говорил он,— просто привычка. Право же, какой от этого может быть толк». И он отпустил несколько превосходных шуток по поводу пасторских шляп и их сходства с печными котлами, которые вычитал на обложке «Глобуса». Зато он продемонстрировал хорошее воспитание тем, что ехал все воскресенье в перчатках и нарочито бросил недокуренную сигарету, когда они проезжали мимо церкви, куда стекались прихожане к вечерней службе. Он предусмотрительно избегал в разговоре литературных тем, ограничиваясь легкими, шутливыми замечаниями, так как знал, что она собирается сама писать.

В результате прослушать службу на галерее старинной Блэндфордской церкви предложила Джесси, а не он. Надо сказать, что Джесси испытывала жестокие угрызения совести. Она поняла, что все получается совсем не так, как она себе представляла. Она читала романы Оливии Шрейнер и Джорджа Эджертона и так далее, не слишком разбираясь во всем этом, как и положено молоденькой девушке. Она понимала, что самым правильным было бы снять квартиру, ходить в Британский Музей и писать передовые статьи в ежедневных газетах, пока не подвернется что-нибудь получше. Если бы Бичемел (эта отвратительная личность) сдержал свои обещания, а не повел себя так ужасно, все было бы хорошо. Теперь же единственной ее надеждой была свободомыслящая мисс Мергл, которая год назад выпустила высо-

кообразованную Джесси в свет. Мисс Мергл сказала ей при расставании, что надо жить бесстрашно и честно, и подарила томик эссе Эмерсона и «Голландскую республику» Мотли, которые должны были помочь Джесси преодолеть пороги юности.

К этому времени Джесси уже с нескрываемым отвращением относилась к окружению своей мачехи в Сэрбитоне. В мире нет более напыщенных и серьезных особ, чем эти умненькие девушки, чьи школьные успехи помешали развитию женского кокетства. Несмотря на передовые мысли, заложенные в антиматримониальном романе Томаса Плантагенета, Джесси очень быстро разгадала все милые уловки этой милой женщины. Постоянно кого-то из себя строить для того, чтобы удерживать при себе свиту поклонников,— такая мысль доводила ее до белого каления. Как это глупо! И перспектива вернуться к этой жизни, смешной и нереальной, безоговорочная капитуляция перед Условностью доводила ее до отчаяния. Но что же делать?

Теперь вы поймете, почему временами она бывала в плохом настроении (и мистер Хупдрайвер тогда почтительно молчал и был особенно предупредителен), а временами принималась красноречиво обличать существующие порядки. Она была социалисткой, как узнал мистер Хупдрайвер, и намекнул, что он в этом смысле идет еще дальше, имея в виду по крайней мере ужасы анархизма. Он охотно признался бы в разрушении Зимнего Дворца, если бы имел хоть малейшее представление о том, где находится Зимний Дворец, и был уверен, что тот действительно разрушен. Он искренне соглашался с тем, что теперешнее положение женщин невыносимо, но чуть было не сказал, что продавщице все же не следует просить продавца достать сверху коробку в ту самую минуту, когда он «занят» с покупателем. И, конечно, только потому, что Джесси была всецело поглощена собственными затруднениями и мыслями о преследователях и погоне, она не разгадала мистера Хупдрайвера за субботу и воскресенье. Что-то в нем казалось ей очень странным, но тщательно все продумать и сопоставить сейчас она была не в силах.

Раза два, однако, он оказывался в ужасном положении — даже самые вопросы его выглядели подозритель-

но. Трижды он принимался за свои воспоминания о Южной Африке, в которых то и дело встречались провалы, и ему только чудом удалось избегнуть разоблачения. Особенно неприятно обернулся для него один рассказ о том, как на их ферму напали туземцы, выкрали всех страусов, и весь скот, и всех кур, и все белье, которое развесила его мать,— «словом, все, что попалось под руку»,— и как он, с отцом и братом, вовремя подоспев к месту происшествия, целую ночь преследовали грабителей, ориентируясь по пятнам белых одежд, которые те на себя набросили. Ей показалось это «странным». Странным! Но одно как-то цеплялось за другое, и стиранное матерью белье, вначале обратившее на себя ее внимание, пришлось очень кстати, когда она спросила, как же можно ночью преследовать чернокожих. «Да, обычно это невозможно»,— сказал он, запинаясь. И вот тут-то белье спасло его. Однако, если бы она подумала хоть немного, то поняла бы, как все это невероятно глупо!

В воскресенье ночью на мистера Хупдрайвера неожиданно напала бессонница. Неизвестно почему он вдруг понял, что он презренный лжец. Наступил понедельник, а он все вспоминал свои выдуманные приключения и спасался бегством от суда негров племени матабеле, одетых в краденое белье; а когда он попытался отделаться от этих мыслей, перед ним возникла финансовая проблема. Он слышал, как пробило два часа, потом три.

XXXIV

— Доброе утро, мэм,— сказал Хупдрайвер, когда Джесси в понедельник утром спустилась к завтраку в «Золотом фазане»; он улыбнулся, поклонился, потер руки, выдвинул для нее стул и снова потер руки.

Она внезапно остановилась и озадаченно посмотрела на него:

— Где я могла это видеть? — спросила она.

— Стул? — спросил Хупдрайвер, вспыхнув.

— Нет, эти манеры.

Она подошла и протянула ему руку, с любопытством глядя на него.

— И это «мэм»?

— Это привычка,— сказал мистер Хупдрайвер с виноватым видом.— Скверная привычка — называть даму «мэм». Но это все наша колониальная дикость. Там, в глуши... знаете ли... дамы встречаются так редко... мы их всех называем «мэм».

— У вас забавные привычки, братец Крис,— сказала Джесси.— Прежде чем вы продадите свои алмазные акции, и вернетесь в общество, и выставите свою кандидатуру в парламент — до чего же хорошо быть мужчиной! — вам надо избавиться от них. Например, эта привычка кланяться, и потирать руки, и смотреть выжидающе.

— Но это привычка.

— Понимаю. Но не думаю, чтоб это была хорошая привычка. Ничего, что я вам это говорю?

— Нисколько. Я вам очень благодарен.

— Не знаю, хорошо это или плохо, но я очень наблюдательна,— сказала Джесси, глядя на стол, накрытый к завтраку.

Мистер Хупдрайвер поднес было руку к усам, но, подумав, что это тоже может оказаться дурной привычкой, полез вместо этого в карман. Он чувствовал себя чертовски неловко, по его собственному выражению. Джесси перевела взгляд на кресло, заметила, что у него отодралась обивка, и, вероятно, желая показать, как она наблюдательна, повернулась к мистеру Хупдрайверу и спросила, нет ли у него булавки.

Рука мистера Хупдрайвера невольно потянулась к лацкану пиджака, куда он по привычке воткнул две случайно найденные булавки.

— Какое странное место для булавок! — воскликнула Джесси, беря булавку.

— Это очень удобно,— сказал мистер Хупдрайвер.— Я перенял это у одного приказчика в магазине.

— Должно быть, вы очень аккуратный человек,— сказала она, опускаясь на колени возле кресла.

— В центре Африки — я хотел сказать: в глубине — поневоле научишься беречь каждую булавку,— сказал мистер Хупдрайвер после заметной паузы.— Нельзя сказать, чтобы в Африке было много булавок. Они там на земле не валяются.

Лицо его было теперь ярко-розового цвета. Где в следующий раз прорвется наружу приказчик? Он сунул руки в карманы, потом одну руку вынул, украдкой вытащил вторую булавку и осторожно швырнул ее назад. Булавка со звоном упала на каминную решетку. К счастью, Джесси ничего по этому поводу не сказала, занятая ремонтом кресла.

Мистер Хупдрайвер не стал садиться, а подошел к столу и оперся на него, положив кончики пальцев на скатерть. Почему-то страшно долго не подавали завтрак. Он взял свою салфетку, внимательно осмотрел кольцо, пощупал ткань и положил салфетку обратно. Потом ему вдруг захотелось пощупать дупло в зубе мудрости, но, к счастью, он вовремя спохватился. Внезапно он заметил, что стоит за столом, словно за прилавком, и поспешил сесть. А сев, забарабанил пальцами по столу. Ему было страшно жарко и ужасно не по себе.

— Завтрак запаздывает, — сказала Джесси.

— Не правда ли?

Разговор не клеился. Джесси спросила, далеко ли до Рингвуда. Затем снова воцарилось молчание. Мистер Хупдрайвер, не зная, куда себя девать и изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно, снова посмотрел на стол, потом неторопливо приподнял кончиками пальцев скатерть за углы и стал сосредоточенно ее рассматривать. «По пятнадцать шиллингов три пенса»,— подумал он.

— Что это вы делаете? — спросила Джесси.

— Что? — переспросил Хупдрайвер, выпуская из рук скатерть.

— Вы так смотрите на скатерть... Я еще вчера заметила.

Лицо Хупдрайвера стало совсем красным. Он начал нервно дергать себя за усы.

— Знаю,— сказал он.— Знаю. Это, видите ли, такая странная привычка. Но, видите ли, там, у нас, видите ли, слуги-туземцы, и — конечно, об этом даже смешно говорить — приходится, видите ли, следить, все ли чисто. Это уже вошло в привычку.

— Как странно! — сказала Джесси.

— Не правда ли? — промямлил Хупдрайвер.

— Если бы я была Шерлоком Холмсом,— сказала Джесси,— я, наверное, по таким мелочам сразу определила бы, что вы из колоний. Но ведь я и так угадала это, правда?

— Да,— печально ответил Хупдрайвер,— угадали.

Почему бы не воспользоваться этим случаем для чистосердечного признания и не сказать: «К сожалению, на этот раз вы угадали неверно». Может быть, она догадывается? В этот психологически сложный момент горничная с грохотом открыла подносом дверь и внесла кофе и яичницу.

— У меня хорошая интуиция,— сказала Джесси.

Укоры совести, терзавшие его эти два дня, стали почти невыносимы. Какой же он жалкий лгун!

А главное, рано или поздно, он все равно себя выдаст.

XXXV

Мистер Хупдрайвер положил себе на тарелку яичницу, но вместо того, чтобы приняться за еду, оперся щекой на руку и стал наблюдать, как Джесси разливает кофе. Уши у него горели, глаза тоже. Он неуклюже взял свою чашку, откашлялся, потом вдруг откинулся на стуле и глубоко засунул руки в карманы.

— И все-таки я это сделаю,— сказал он громко.

— Что сделаете? — удивленно спросила Джесси, поднимая глаза от кофейника. Она как раз приступила к яичнице.

— Признаюсь во всем.

— Но в чем же?

— Мисс Милтон — я лжец!

Он склонил голову набок и смотрел на нее, хмурясь от сознания своей решимости. Затем, покачивая головой, размеренно произнес:

— Я продавец из мануфактурного магазина.

— Вы продавец? А я думала...

— Вы ошибались. Но рано или поздно это должно было выйти наружу. Булавки, манеры, привычки — все это достаточно ясно. Я младший продавец, получивший десятидневный отпуск. Всего-навсего младший продавец. Как видите, не так уж много. Приказчик.

— Младший продавец — не такая должность, которой надо стыдиться,— сказала она, приходя в себя и еще не совсем понимая, что все это значит.

— Нет, именно такая,— сказал он,— в наше время, в нашей стране, и для мужчины... Ведь я всего лишь подручный. И должен одеваться так, как прикажут, ходить в церковь, чтобы быть в чести у покупателей, и работать. Ни на одной работе не приходится выстаивать по стольку часов. Какой-нибудь пьяный каменщик — король по сравнению с приказчиком.

— Но почему вы теперь мне все это рассказываете?

— Надо, чтобы вы это знали.

— Но мистер Бенсон...

— И это еще не все. Если вы не против, чтобы я немножко поговорил о себе, то я хочу сказать вам еще кое-что. Я больше не могу вас обманывать. Меня зовут не Бенсон. *Почему* я назвался Бенсоном, я и сам не знаю. Должно быть, потому, что я дурак. Видите ли, мне просто хотелось выглядеть получше. А фамилия моч Хупдрайвер.

— Да?

— И насчет Южной Африки и этого льва...

— Что?

— Все это ложь.

— Ложь!

— И алмазы, найденные на страусовой ферме. И нападение туземцев. Все это тоже ложь. И про жирафов —тоже. Я никогда не ездил на жирафе — я бы побоялся.

Он смотрел на нее с каким-то мрачным удовлетворением. Как бы там ни было, он успокоил свою совесть. А она глядела на него в полной растерянности. Человек этот повернулся сейчас к ней какой-то совсем новой стороной.

— Но зачем же...— начала она.

— Зачем я говорил вам все это? Сам не знаю. Очевидно, по глупости. Наверно, мне хотелось произвести на вас впечатление. Но теперь почему-то мне хочется, чтобы вы знали правду.

Наступило молчание. Завтрак стоял нетронутым.

— Я решил все вам сказать,— продолжал мистер Хупдрайвер.— Это у меня, наверно, от зазнайства, не

иначе. Я не спал почти всю эту ночь и думал о себе — о том, какой нестоящий я человек, и вообще.

— И у вас нет алмазных акций, и вы не собираетесь баллотироваться в парламент, и вы не...

— Все это ложь,— сказал Хупдрайвер замогильным голосом.— Ложь с начала и до конца. Как это вышло, я и сам не знаю.

Она смотрела на него непонимающим взглядом.

— Я никогда в жизни не видел Африки,— сказал мистер Хупдрайвер в заключение исповеди. Затем вынул правую руку из кармана и с безмятежным видом человека, для которого смертельная опасность миновала, стал пить кофе.

— Все это немного неожиданно,— неуверенно начала Джесси.

— Вы обдумайте,— сказал мистер Хупдрайвер.— Я искренне сожалею о случившемся.

И завтрак продолжался в молчании. Джесси ела очень мало и, видимо, была погружена в глубокое раздумье. Мистер Хупдрайвер, в припадке раскаяния и тревоги, съел необыкновенно много, по рассеянности расправляясь с яичницей ложкой для варенья. Глаза его были опущены. А Джесси то и дело посматривала на него из-под ресниц. Раза два она чуть не прыснула со смеху, раза два приняла возмущенный вид.

— Право, не знаю, что и подумать о вас, братец Крис,— промолвила она наконец.— Я, видите ли, считала, что вы удивительно честный человек. И почему-то...

— Да?

— Я и теперь так думаю.

— Честный — после всего этого вранья!

— Не знаю.

— А я знаю,— сказал мистер Хупдрайвер.— Мне стыдно за себя. Но во всяком случае... теперь я уже вас не обманываю.

— Я думала,— сказала Юная Леди в Сером,— что в этой истории со львом...

— Господи! — воскликнул мистер Хупдрайвер.— Не напоминайте мне об этом.

— Я почему-то думала, я *чувствовала*, что не все там вполне правдиво.— Она вдруг рассмеялась, увидев выражение его лица.—*Конечно*, вы честный,— сказала

она.— Как я могла в этом усомниться? Как будто я сама никогда не притворялась! Теперь мне все понятно.

Она вдруг поднялась и протянула ему руку через стол. Он нерешительно посмотрел на нее и увидел ее веселые дружелюбные глаза. Сначала он не понял. Он встал, продолжая держать ложку для варенья, и покорно взял протянутую руку.

— Господи! — вырвалось у него.— Какая же вы...

— Я все поняла.— Новое открытие внезапно испортило ей настроение. Она вдруг села, и он тоже сел.— Вы пошли на это,— продолжала она,— потому что хотели помочь мне. Вы думали, что условности не позволят мне принять помощь от человека, который ниже меня по общественному положению.

— Отчасти так оно и было,— сказал мистер Хупдрайвер.

— Как же вы неверно обо мне судили! — сказала она.

— Значит, вы не против?

— Это было благородно с вашей стороны. Мне только жаль,— сказала она,— что вы подумали, будто я могла стыдиться вас из-за того, что вы занимаетесь честным трудом.

— Но откуда мне было это знать? — сказал мистер Хупдрайвер.

Он растерялся. Ему возвращали чувство собственного достоинства. Он был полезным членом общества — это решено и подписано,— и ложь его была самой благородной ложью. Он начал верить, что именно так оно и есть. Кроме того, Джесси снова упомянула о его необыкновенной храбрости. Конечно, признался он в душе, он вел себя храбро. И в результате к концу завтрака он чувствовал себя таким счастливым, каким не видел себя даже в мечтах,— счастливым и покрытым славой, и они с Джесси выехали из маленького кирпичного Блэндфорда так, будто их отношения никогда не омрачала ни малейшая тень.

XXXVI

Но когда они сидели на обочине дороги среди сосен, на склоне холма между Уимборном и Рингвудом, дух откровенности самым странным и неожиданным образом

снова заявил о себе, и мистер Хупдрайвер вернулся к вопросу о своем положении в обществе.

— Так вы думаете,— начал он вдруг, задумчиво вынимая изо рта сигарету,— что продавец тканей может быть честным гражданином?

— Почему же нет?

— А если он, например, подсовывает людям товар, который им не очень нужен?

— А разве это обязательно?

— Это торговля,— сказал Хупдрайвер.— Не обманешь — не продашь. И ничего тут не поделаешь. Ремесло это не очень честное и не очень полезное; не очень почетное; ни свободы, ни досуга — с семи до полдевятого, каждый день. Много ли человеку остается? Настоящие рабочие смеются над нами, а образованные — банковские клерки, или те, что служат у стряпчих,— эти смотрят на нас сверху вниз. Выглядишь-то ты прилично, а, по сути дела, тебя держат в общежитии, как в тюрьме, кормят хлебом с маслом и помыкают, как рабом. Все твое положение в том и состоит, что ты понимаешь, что никакого положения у тебя нет. Без денег ничего не добьешься; из ста продавцов едва ли один зарабатывает столько, чтобы можно было жениться; а если даже он и женится, все равно главный управляющий захочет — заставит его чистить ботинки, и он пикнуть не посмеет. Вот что такое приказчик. А вы говорите, чтобы я был доволен. Вы сами-то были бы довольны, если б вам пришлось служить продавщицей?

Она промолчала, и поле сражения осталось за ним. Немного спустя он заговорил.

— Я все думаю...— начал он и остановился.

Она повернула к нему подпертое ладонью лицо. Глаза ее сияли и от этого казались нежными.

— Вы так скромны,— сказала она,— вы так себя принижаете.

Мистер Хупдрайвер ни разу не взглянул в ее сторону, пока говорил. Он смотрел на траву и каждое свое слово подкреплял движением рук с покрасневшими суставами, которые держал ладонями вверх. Теперь они вяло лежали у него на коленях.

— Я все думал,— повторил он.

— Да? — сказала она.

— Я все думал этим утром,— сказал мистер Хупдрайвер.

— О чем?

— Конечно, это глупо...

— Что?

— Ну в общем... Мне сейчас около двадцати трех. В школе я учился до пятнадцати. Восемь лет я уже не учусь. Начинать сейчас поздно? Я учился неплохо. Знал алгебру, прошел латынь до вспомогательных глаголов и спряжение по-французски. Так что основа у меня есть.

— И теперь вы подумали, не продолжить ли вам учение?

— Да,— сказал мистер Хупдрайвер.— Совершенно верно. Видите ли, в торговле тканями без капиталов много не сделаешь. Но если бы я мог получить хорошее образование...

— А почему бы и нет? — сказала Юная Леди в Сером.

Хупдрайвера удивил такой решительный подход к делу.

— Вы думаете? — спросил он.

— Конечно. Ведь вы мужчина. И вы свободны.— И она пылко добавила: — Как бы я хотела быть на вашем месте, чтобы попробовать свои силы в такой борьбе!

— Только могу ли я назвать себя настоящим мужчиной,— промолвил Хупдрайвер, думая вслух.— Если бы еще не эти восемь лет! — добавил он, уже обращаясь к ней.

— Но вы можете наверстать их. Кто-кто, а вы, конечно, можете. Те, кого вы называете образованными, они ведь не развиваются дальше. Вы можете догнать их. Они всем довольны. Играют в гольф, думают о том, что бы сказать такое умное дамам, вроде моей мачехи, и ходят на обеды. А в одном вы уже и сейчас впереди них. Они думают, будто все знают. А вы так не думаете. А знают они очень мало. К тому же вы такой решительный, быстрый...

— Господи! — сказал Хупдрайвер.— Как вы можете ободрить человека!

— Вам мешает ваша скромность. Если бы я только могла вам помочь...— сказала она и многозначительно умолкла. Он снова задумался.

— Значит, вы все-таки не очень высокого мнения о работе приказчика? — спросил он вдруг.

— Для вас это, пожалуй, не место,— сказала она.— Но сотни великих людей вышли из самых низов. Бёрнс был пахарем; Хью Миллер — каменщиком, и многие другие... Додсли был даже лакеем...

— Но не приказчиком! Слишком мы... Слишком много в нас убогого аристократизма, который мешает нам выбиться в люди. Глядишь, как бы, упаси боже, не помять пиджак или манжеты...

— А по-моему, был один писатель — теолог по фамилии Кларк, который раньше был приказчиком.

— Был один, который открыл швейную фабрику — о других я не слышал.

— Вы читали «Восставшие сердца»?

— Нет,— сказал мистер Хупдрайвер. И не дожидаясь, пока она объяснит, к чему клонился ее вопрос, поспешил поведать ей о своем литературном багаже.—Правду сказать, я очень мало читал. В моем положении много и не почитаешь. Есть у нас в магазине библиотека, так я всю ее прочитал. Много книг Безанта, а потом еще миссис Брэддон, и Райдара Хаггарда, и Мэри Корелли, и роман-другой Уйды. Это все, конечно, интересно, и писатели первоклассные, только меня все это мало волнует. Но, конечно, много есть на свете книг, про которые я слышал, а читать не читал.

— Вы ничего не читаете, кроме романов?

— Очень редко. Устаешь после работы, да и книг не достать. Я, конечно, ходил на популярные лекции; слушал курс «Драматурги-елизаветинцы», но это было слишком уж мудрено, и я занялся резьбой по дереву. Но из этого ничего не вышло, я порезал себе палец и бросил.

Он являл собою зрелище весьма непривлекательное: лицо растерянное, руки повисли. На мгновение уверенность ее поколебалась. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, что этот самый человек, словно разъяренный лев, выступил против хулиганов! Да еще считал, будто это сущие пустяки. До чего же непостижимы мужчины!

— Тошно подумать,— продолжал он,— как меня дурачили. Моего школьного учителя надо было бы выдрать

как следует. Ведь он же вор. Обещал сделать из меня человека и украл двадцать три года моей жизни — набил мне голову всякой дребеденью. Вот он я перед вами. Ничего не знаю и ничего не умею, а время учиться уже прошло.

— Прошло? — повторила она.— Почему прошло?

Но он, казалось, не слышал ее.

— Мои старики не нашли ничего лучшего, как заплатить тридцать фунтов за мое обучение в магазине — выложили тридцать фунтов наличными, чтобы сделать меня тем, что я есть,— приказчиком. Управляющий обещал научить меня ремеслу, а сделал из меня подручного. Так всегда бывает с учениками в магазинах. Если бы всех жуликов упрятали в тюрьму, вам не у кого было бы купить ленту или нитки. Очень хорошо, конечно, вспомнить про Бёрнса и прочих, но я не из таких. А ведь и я не такая уж дрянь, чтобы из меня ничего не вышло, если бы меня поучили. Интересно, кем были бы те, кто смеется и потешается надо мной, если бы их так же одурачили. Начинать сначала в двадцать три года, не поздно ли?

Он поднял на нее глаза с грустной усмешкой — перед нею был Хупдрайвер более печальный и мудрый, чем он рисовал себя в самых смелых своих мечтах.

— Все это сделали со мною *вы*,— сказал он.— Вы настоящий человек. И вы заставили меня задуматься над тем, что же я такое и чем я мог бы стать. Представьте себе, что все сложилось бы иначе...

Она подумала, что его скромность может быть превратно истолкована всеми, кто понимал его не так хорошо, как она, и сказала:

— Ну и *сделайте* так, чтобы все сложилось иначе.

— Как?

— Работайте. Перестаньте плыть по течению. Вы уже доказали, что у вас есть смелость, решительность. Начинайте!

— Ах! — сказал Хупдрайвер, искоса взглянув на нее.— Но даже и тогда... Нет! Ничего из этого не выйдет. Слишком поздно начинать.

Наступило задумчивое молчание, и разговор на этом окончился.

СНОВА В ЛЕСУ

XXXVII

В Рингвуде они позавтракали, а после завтрака Джесси ожидало разочарование. На почте для нее не оказалось письма. Напротив гостиницы «Клетчатый жеребец» помещался велосипедный магазин, в витрине которого был выставлен весьма и весьма подержанный трехколесный тандем марки «Марлборо клуб», а также объявление о том, что здесь можно взять напрокат велосипеды и тандемы. Заведение это запомнилось мистеру Хупдрайверу из-за странного его хозяина, который, перейдя через дорогу, принялся внимательно изучать их машины. Этот поступок вызвал у мистера Хупдрайвера ряд весьма неприятных мыслей, но, к счастью, ничего не повлек за собой.

Пока они завтракали, в комнату вошел высокий священник с раскрасневшимся лицом и сел за соседний столик. Одет он был по-своему празднично: его застегивающийся сзади, несколько пострадавший от жары воротничок был выше обычного, а вместо длиннополого сюртука на нем был черный, на редкость короткий, пиджак. На ногах у него красовались тусклые коричневые ботинки, брюки посерели от пыли, а на голове вместо обычной мягкой фетровой шляпы возвышалась пегая соломенная. Он был явно общительного десятка.

— До чего же чудесный день, сэр!— промолвил он звучным тенором.

— Чудесный,— повторил мистер Хупдрайвер, не отрываясь от пирога.

— Насколько я понимаю, вы совершаете поездку на велосипеде по этому дивному краю,— сказал священник.

— Катаемся,— пояснил мистер Хупдрайвер.

— Могу себе представить: если машина хорошо смазана, то нет более приятного и легкого способа ознакомиться с местностью.

— Совершенно верно,— согласился мистер Хупдрайвер.— Неплохой способ передвижения.

— Я думаю, велосипед-тандем должен быть особенно приятен для молодой супружеской пары: он допускает такую восхитительную близость.

— Правильно,— согласился мистер Хупдрайвер, слегка покраснев.

— А у вас тандем?

— Нет, мы едем порознь, — сказал мистер Хупдрайвер.

— Движение на воздухе, бесспорно, способствует возвышенному настроению.— И, изрекши эту истину, священник повернулся и твердым, решительным голосом заказал официанту: чашку чаю, две желатиновых таблетки, хлеб с маслом, салат и в довершение всего пирог.— Желатин совершенно необходим. Он способствует выделению танина из чая,— заметил он, не обращаясь ни к кому в частности, и, сложив руки, упершись в них подбородком, уставился на картинку, висевшую над головой мистера Хупдрайвера.

— Я сам велосипедист,— произнес священник, внезапно опуская взор на мистера Хупдрайвера.— Все мы теперь велосипедисты.— И он широко улыбнулся.

— Вот как! — сказал мистер Хупдрайвер и схватился за усы.— А какая, позволю себе спросить, будет у вас машина?

— Я недавно приобрел трехколесную. Двухколесный велосипед, к сожалению, как бы это сказать... мои прихожане считают слишком несолидным. А ведь надо принимать в расчет и мнение малых сих, особенно в наши дни, когда церковь нуждается в помощи каждого. Поэтому я и завел себе трехколесный велосипед. Я как раз приволок его сюда.

— Приволокли?! — повторила удивленная Джесси.

— На шнурке от ботинка. А часть пути тащил его на спине.

Все вдруг замолчали. Джесси не в то горло крошка попала. На лице мистера Хупдрайвера отразились попеременно все стадии недоумения. Потом он догадался:

— Произошла авария?

— Едва ли это можно назвать аварией. Просто колеса внезапно перестали вертеться. И я оказался в пяти милях отсюда с совершенно неподвижной машиной.

— Вот как! — произнес мистер Хупдрайвер с понимающим видом, а Джесси только бросила взгляд на этого безумца.

— Оказалось,— продолжал священник, довольный тем впечатлением, какое он произвел,— что мой слуга тщательно промыл подшипники парафином, дал машине высохнуть, а смазать маслом потом забыл. В результате они основательно нагрелись, и колеса перестали вращаться. Уже вначале велосипед шел тяжело и со скрипом, а я приписал это тому, что плохо работаю ногами и просто удвоил усилия.

— Жарко вам пришлось, не меньше, чем им,— заметил мистер Хупдрайвер.

— Трудно точнее выразиться. Такое уж у меня в жизни правило: что бы я ни делал, стараться изо всех сил. А подшипники, по-моему, раскалились докрасна. В конце концов одно колесо совсем остановилось. Это было боковое колесо, и остановка его неизбежно привела к тому, что вся машина перекувырнулась и я вместе с ней.

— Вы хотите сказать, что слетели с нее? — спросил мистер Хупдрайвер, внезапно оживившись.

— Вот именно. А так как я не желал признать себя побежденным, то летал не раз. Возможно, вы поймете меня: такой уж у меня характер. Я принялся увещевать велосипед — в шутку, конечно. К счастью, на дороге никого не было. Но под конец заело все оси, и я решил прекратить неравное сражение. Мой трехколесный велосипед стал ничуть не лучше тяжелого кресла без колесиков. Надо было либо тащить его, либо нести.

В дверях показалась еда священника.

— Целых пять миль,— произнес он. И начал поглощать хлеб с маслом.

— К счастью,— сказал он,— у меня хорошее пищеварение, и человек я энергичный — принципиально энергичный. Хорошо было бы, если б все люди были такими.

— Самое было бы правильное,— согласился мистер Хупдрайвер.

И священник прекратил разговор, отдав предпочтение хлебу с маслом.

— Желатин,— произнес вдруг священник, задумчиво помешивая ложечкой чай,—способствует выделению танина из чая и таким образом облегчает его усвоение.

— Очень полезные сведения, — заметил мистер Хупдрайвер.

— Пожалуйста, пользуйтесь ими,— сказал свя-

щенник, откусывая большой кусок от двух бутербродов, сложенных вместе.

Под вечер наши путешественники не спеша поехали дальше, в направлении Стони-Кросса. Разговор не клеился, поскольку тему Южной Африки лучше было не трогать. Мистер Хупдрайвер молчал, обуреваемый неприятными мыслями. В Рингвуде он разменял последний соверен и осознал это обстоятельство только теперь. Только теперь, когда было уже поздно, задумался он над своими ресурсами. В сберегательной кассе на почте в Путни у него лежало фунтов двадцать, а то и больше, но его книжка была заперта в сундучке в заведении господ Энтробус, иначе этот влюбленный безумец тихонько вынул бы всю сумму, чтобы хоть на несколько дней продлить поездку. А теперь тень конца нависала над его счастьем. Как ни странно, но, несмотря на снедавшую его тревогу и утреннее недомогание, настроение у него было отнюдь не мрачное. Он забыл о своем притворстве и своих выдумках, вообще забыл о себе и все больше восхищался своей спутницей. Единственно, что сейчас его по-настоящему тревожило,— это необходимость обо всем рассказать ей.

Долгий подъем в гору утомил их, и, не доехав до Стони-Кросса, они слезли с велосипедов и присели в тени невысокого дуба. Близ вершины дорога делала петлю и, если посмотреть назад, уходила вниз, вправо от них, и снова возвращалась к ним слева. Вокруг все было покрыто буйно разросшимся вереском, а вдоль канавы, окаймлявшей дорогу, стояли дубы; дорога была песчаная, но под откосом она казалась серой, перерезанной тенью от высоких густых деревьев. Мистер Хупдрайвер нашарил сигареты.

— Мне нужно кое-что вам сказать,— заявил он, стараясь соблюдать возможно большее спокойствие.

— Да? — откликнулась она.

— Мне хотелось бы, понимаете ли, поговорить о ваших планах.

— Они очень неопределенны,— сказала Джесси.

— Вы собираетесь писать книги?

— Или заняться журналистикой, или преподавать, или делать что-нибудь в этом роде.

— И хотите стать независимой от мачехи?

— Да.

— Ну и сколько времени вам потребуется, чтобы, так сказать, пристроиться к делу?

— Право, не знаю. По-моему, на свете очень много женщин-журналисток, санитарных инспекторов, художниц-графиков. Но, наверно, на это требуется время. Знаете, Джордж Эджертон пишет, что редакторами в большинстве журналов теперь сидят женщины. Мне, наверно, надо связаться с каким-нибудь литературным агентством.

— Конечно, это вполне подходящая работа,— сказал Хупдрайвер,— не то, что служить в магазине тканей.

— Умственный труд, учтите, тоже не такое легкое дело.

— Только не для вас,— любезно сказал мистер Хупдрайвер.

— Видите ли,— помолчав, продолжал он,— чертовски неприятно, конечно, говорить о таких вещах, но... у нас осталось очень мало денег.

Он почувствовал, как вздрогнула Джесси, хотя и не смотрел на нее.

— Я, конечно, рассчитывал, что ваша подруга откликнется и что вы сумеете предпринять сегодня какие-то шаги.— Выражение «предпринять какие-то шаги» он подслушал, когда последний раз менял деньги.

— Мало денег,— промолвила Джесси.— Я как-то не думала о деньгах.

— Глядите-ка! Вон едет велосипед-тандем!— воскликнул вдруг мистер Хупдрайвер и ткнул вниз сигаретой.

Она посмотрела и увидела две фигуры, появившиеся среди деревьев у подножия горы. Велосипедисты согнулись в три погибели и сосредоточенно трудились, героически, но безуспешно пытаясь взять подъем. Машина была явно не приспособлена для езды по горам, а потому задний седок вскоре привстал на педалях и соскочил с велосипеда, предоставив своего товарища его судьбе. Передний седок, видимо, не был знаком с такими машинами и явно не знал, как с них слезают. Он пропетлял несколько ярдов в гору, и хвост машины вилял за ним. Наконец он попытался соскочить, как соскакивают

с обычного велосипеда, задел сапогом за заднюю раму и грохнулся боком на землю.

Джесси вскочила.

— Боже мой! — воскликнула она.— Надеюсь, он не расшибся.

Второй седок поспешил на помощь упавшему.

Хупдрайвер тоже встал.

Длинная неустойчивая машина была поднята и отведена в сторону, затем была оказана помощь упавшему ездоку, который медленно встал на ноги и принялся потирать ушибленное плечо. Никаких серьезных увечий у человека этого, видимо, не было, и пара вскоре занялась велосипедом, лежавшим у дороги. Хупдрайвер заметил, что оба они не в велосипедных костюмах. На одном было нелепое одеяние, за которое косвенную ответственность несут обитатели Ист-энда, открывшие игру в гольф. Даже на таком расстоянии видна была большая кепка, ярко-рыжие кожаные гетры и клетчатые носки. Второй, тот, что ехал сзади, был человек невысокий, худой, в сером костюме.

— Любители,— изрек мистер Хупдрайвер.

Джесси внимательно смотрела прямо перед собой и думала о чем-то своем. Она уже не глядела на тех двоих, возившихся теперь у подножия горы с велосипедом.

— Сколько у вас денег? — спросила она.

Он сунул руку в карман, вытащил шесть монет, пересчитал их левым указательным пальцем и протянул ей.

— Тринадцать шиллингов и четыре пенса,— сказал мистер Хупдрайвер.— И больше ни гроша.

— У меня есть полсоверена,— сказала она.

— Где бы мы ни остановились, наш счет в гостинице...

Молчание его было красноречивее всяких слов.

— Вот уж никогда не думала, что деньги могут воздвигнуть такое препятствие на нашем пути,— сказала Джесси.

— Чертовски неприятно.

— Деньги! — воскликнула Джесси.— Неужели?.. Ну конечно же! Условности! Неужели только люди состоятельные могут жить так, как хотят? Как по-новому поворачивается...

Пауза.

— Смотрите, еще велосипедисты едут,— сказал мистер Хупдрайвер.

Двое мужчин все еще возились со своим велосипедом, когда среди деревьев показался массивный тандем марки «Марлборо клуб», на котором ехала стройная дама в сером и плотный мужчина в спортивной куртке. Следом за ними появилась высокая черная фигура в пегой соломенной шляпе, восседавшая на трехколесном велосипеде допотопного образца, с двумя большими колесами впереди. Человек в сером продолжал стоять, согнувшись над поломанным велосипедом, упершись животом в седло, но его спутник выпрямился и обменялся несколькими словами с ехавшими на велосипеде-тандеме. При этом он вроде бы показал на вершину холма, где стояли рядом мистер Хупдрайвер и его спутница. Вслед за тем произошло нечто еще более удивительное: дама в сером вынула носовой платок, взмахнула им раз-другой и вроде бы по знаку ее спутника тут же его спрятала.

— Да ведь это...— промолвила Джесси, из-под руки всматриваясь вдаль.— Вот уж никогда бы...

Велосипед-тандем начал взбираться на гору, усиленно петляя, чтобы облегчить подъем. По тому, как вздымались плечи плотного мужчины и как низко он наклонил голову, видно было, что он старается изо всех сил. Священник на трехколесном велосипеде изогнулся в вопросительный знак. Завершала эту процессию двуколка, в которой сидел мужчина в котелке, правивший экипажем, и дама в темно-зеленом платье.

— Похоже, вроде бы экскурсия,— заметил Хупдрайвер.

Джесси молчала. Она все еще смотрела вниз из-под руки.

— Так и есть,— сказала она.

Священник дергался, словно его сводили конвульсии. Трехколесный велосипед, на котором он ехал, вдруг как-то смешно подпрыгнул и круто повернул вбок, а священное лицо не то соскочило, не то просто вывалилось из седла. Однако он тотчас снова повернул машину и принялся карабкаться с ней в гору. Затем с тандема слез плотный джентльмен и галантно помог сойти даме в сером. Они немного поспорили, ибо дама непре-

менно хотела помочь ему и подтолкнуть машину. Наконец дама уступила, и плотный джентльмен принялся собственными силами, без чьей-либо помощи, продвигать машину вверх по склону. Лицо его выделялось ярким пятном среди серых и зеленых тонов у подножия горы. К тому времени двое мужчин, видимо, починили свой велосипед-тандем, и он примкнул к процессии — джентльмены катили его, шагая за двуколкой вместе с дамой в темно-зеленом платье и ее спутником, которые теперь тоже шли пешком.

— Мистер Хупдрайвер,— промолвила Джесси.— Эти люди... я почти убеждена...

— А, черт! — вырвалось у мистера Хупдрайвера, ибо то, чего она не досказала, он прочел на ее лице, и он кинулся поднимать свой велосипед. Но тут же бросил его и поспешил помочь Джесси сесть в седло.

При виде силуэта Джесси, отчетливо обрисовавшегося на гребне горы, компания, поднимавшаяся по склону, вдруг пришла в необычайное волнение, тем самым сразу положив конец сомнениям Джесси. Два носовых платка взлетели в воздух, кто-то крикнул. Джентльмены с велосипедом-тандемом бегом покатили его в гору, обгоняя остальных. Но наши молодые люди не стали дожидаться дальнейшего развития событий. Через минуту они уже скрылись из виду, быстро мчась вниз, под уклон, в направлении Стони-Кросса.

На опушке рощи, которая должна была скрыть их от преследователей, Джесси обернулась и увидела появившийся над гребнем тандем, на заднее сиденье которого как раз карабкался один из седоков.

— Они нагоняют нас! — воскликнула она и как профессиональная гонщица, пригнулась к рулю.

Они с быстротою урагана спустились в долину, перелетели через белый мост и увидели впереди косматых пони, прыгавших по дороге. Оба невольно притормозили.

— Кыш! — произнес мистер Хупдрайвер, но пони только насмешливо взбрыкнули копытами.

Тогда мистер Хупдрайвер, потеряв над собою власть, ринулся прямо на них и чуть не наехал на одного, зато весь табун пустился наутек и, попрыгав через канаву, скрылся среди папоротников, под деревьями. Путь перед Джесси был таким образом расчищен.

Затем дорога не круто, но неуклонно снова пошла в гору, стало тяжело вращать педали, и дыхание с таким свистом вырывалось из груди мистера Хупдрайвера, словно у него была там пила. Когда внизу благодаря героическим усилиям ездоков показался тандем, преследуемые еще не одолели подъема. Наконец — благодарение небесам! — вот и вершина и впереди — большой отрезок дороги с пологими подъемами и спусками, но только совершенно без тени, в которой можно было бы укрыться от нещадного полуденного солнца. Джентльмены, ехавшие на тандеме, очевидно, не выдержали и в гору катили свою машину, ибо очертания их появились на фоне раскаленного синего неба, лишь когда беглецы уже отъехали на добрую милю и достигли небольшой купы деревьев.

— Мы уходим от них,— проговорил мистер Хупдрайвер, чувствуя, как пот Ниагарой стекает с его лба на щеку.— Этот подъем...

Но то был лишь мираж успеха. Оба находились почти при последнем издыхании. А Хупдрайвер — и вовсе при последнем, и лишь чувство стыда поддерживало его слабые силы. С этой минуты тандем стал неуклонно нагонять их. Когда они добрались до гостиницы «Рыжий камень», тандем был всего в какой-нибудь сотне ярдов от них. Еще одно отчаянное усилие — и беглецы выбрались на дорогу, шедшую под гору среди густого соснового бора. А когда дорога идет под гору, ничто не может сравниться с хорошо смазанным велосипедом-тандемом. Мистер Хупдрайвер машинально поставил ноги на подножки, и Джесси сбавила ход. Через какую-нибудь минуту они услышали позади шуршание толстых резиновых шин, тандем пронесся мимо Хупдрайвера и поравнялся с Джесси. Когда эта гнусная машина проезжала мимо, у Хупдрайвера возникло было безумное желание налететь на нее и устроить крушение. Утешало его только то, что джентльмены были не менее растерзаны, чем он, и с головы до ног покрыты белой пылью.

Джесси вдруг остановилась и спрыгнула на землю, и те, кто ехал на тандеме, промчались мимо них под уклон.

— Тормозите! — завопил Дэнгл, ехавший сзади, и приподнялся на педалях.

Скорость лишь увеличилась, а потом из-под переднего колеса, прижатого тормозом, взметнулась фонтаном пыль. Правая нога Дэнгла взлетела в воздух, и он упал на дорогу. Тандем завилял из стороны в сторону.

— Задержите меня!—крикнул через плечо Фиппс, мчась с горы.— Задержите, не то мне не сойти.

Он так нажал на тормоз, что машина остановилась как вкопанная, но, почувствовав, что она потеряла всякую устойчивость, снова заработал педалями.

— Да опустите же ногу на землю! — крикнул вслед ему Дэнгл.

Таким образом тандем и его седоки укатили на добрую сотню ярдов от своей добычи. Наконец Фиппс понял, что надо делать, приспустил тормоз и, когда машина накренилась, опустил на землю правую ногу. Все еще держа левую ногу на педали и сжимая руками руль, он обернулся и принялся в весьма нелестных выражениях распекать Дэнгла.

— Вы только о себе думаете,— заявил раскрасневшийся Фиппс.

— А о нас они и забыли,— заметила Джесси, поворачивая свой велосипед.

— Там, на вершине горы, была дорога на Линдхерст,— сказал Хупдрайвер, следуя ее примеру.

— Это уже не имеет значения. Все равно у нас денег нет. Значит, придется сдаться. Давайте вернемся в гостиницу «Рыжий камень». Я не хочу, чтобы нас привели туда как пленников.

И вот на глазах у двух остолбеневших преследователей Джесси и ее спутник сели на свои велосипеды и спокойно поехали обратно в гору. Когда они слезали с велосипедов у входа в гостиницу, тандем догнал их, а вслед за тем показалась и двуколка. Дэнгл спрыгнул на землю.

— Мисс Милтон, если не ошибаюсь,— произнес он, с трудом переводя дух, и приподнял промокшую кепку, обнажив спутанные влажные волосы.

— Послушайте,— окликнул его Фиппс, не в силах остановиться.— Опять вы за свое, Дэнгл? Помогите сначала человеку!

— Одну минутку,— сказал Дэнгл и побежал за своим коллегой.

Джесси прислонила велосипед к стене и вошла в гостиницу. Хупдрайвер остался у дверей, еле держась на ногах, но исполненный боевого духа.

В «РЫЖЕМ КАМНЕ»

XXXVIII

Он скрестил на груди руки и стал ждать направлявшихся к нему Дэнгла и Фиппса. Фиппс был совершенно подавлен своей неспособностью сладить с тандемом, который он сейчас вел за руль, но Дэнгл был настроен воинственно.

— Это мисс Милтон? — кратко осведомился он.

Мистер Хупдрайвер наклонил голову, не меняя позы.

— Мисс Милтон там, внутри? — спросил Дэнгл.

— И не желает, чтобы ее беспокоили,— заявил мистер Хупдрайвер.

— Вы подлец, сэр,— сказал мистер Дэнгл.

— К вашим услугам,— сказал мистер Хупдрайвер.— Она ждет свою мачеху, сэр.

Мистер Дэнгл заколебался.

— Она с минуты на минуту будет здесь,— сказал он.— А вот и ее приятельница, мисс Mергл.

Мистер Хупдрайвер медленно рознял руки и с величайшим спокойствием сунул их в карманы брюк. Тут роковая неуверенность в себе заставила его усомниться, не слишком ли вульгарно-вызывающа такая поза, и он вынул обе руки, затем снова сунул одну из них в карман, а другой стал дергать свои жиденькие усики. Мисс Мергл застала его в полной растерянности чувств.

— Это и есть тот человек? — спросила она у Дэнгла и тут же возопила: — Да как вы смеете, сэр? Как вы смеете смотреть мне в лицо? Несчастная девушка!

— Быть может, вы разрешите мне заметить...— начал было мистер Хупдрайвер, лихо растягивая слова и впервые видя себя в роли романтического злодея.

— Фу! — сказала мисс Мергл и вдруг с силой ткнула его под ложечку. Он покачнулся и влетел прямо в вестибюль гостиницы.

— Пропустите меня! — кипя от негодования, воскликнула мисс Мергл.— Как вы смеете загораживать мне дорогу!— И, пройдя мимо него, она направилась прямо в столовую, где укрылась Джесси.

Пока мистер Хупдрайвер пытался удержаться на ногах, ухватившись за подставку для зонтов, Дэнгл и Фиппс, следуя примеру мисс Мергл, в свою очередь, ворвались в вестибюль, причем Фиппс шел первым.

— Как вы смели не пускать эту даму? — спросил Фиппс.

Физиономия у мистера Хупдрайвера, по мнению Дэнгла, была упрямая и даже опасная, но он промолчал. В конце коридора появился пышущий здоровьем слуга и стал настороже.

— Такие люди, как вы, сэр,— сказал Фиппс,— позорят человеческий род.

Мистер Хупдрайвер сунул руки в карманы.

— Да кто вы такие, черт вас возьми? — свирепо воскликнул он.

— А кто вы такой, сэр?—ответствовал ему Фиппс.— Кто вы такой? Вот в чем вопрос. Что вы собой представляете и чем занимаетесь, странствуя с молоденькой несовершеннолетней девушкой?

— Не разговаривайте вы с ним,— сказал Дэнгл.

— Я вовсе не намерен раскрывать все свои секреты первому встречному,— сказал Хупдрайвер.— Этого вы от меня не дождетесь.— И со злостью добавил:— Я говорю это вам, сэр.

Они с Фиппсом стояли, расставив ноги, и крайне свирепо глядели друг на друга, и одному богу известно, до чего бы тут дошло, если бы в дверях не появился раскрасневшийся, но вполне спокойный, долговязый священник.

— Ох уж эта анахроническая юбка,— буркнул долговязый священник в дверях, по-прежнему являя собой жертву предрассудков, требующих, чтобы особа духовного сана ездила только на трехколесном велосипеде и только в черном. С минуту он смотрел на Фиппса и Хупдрайвера, затем протянул руку, несколько раз повел пальцем перед лицом Хупдрайвера и сокрушенно произнес:— Ай-яй-яй!..— Потом еще сказал:— Фу! — и, фыркнув с отвращением, скрылся в дверях столовой, откуда

отчетливо доносился голос мисс Мергл, говорившей, что она просто не может этого понять.

Такое крайнее неодобрение сильно подорвало твердость духа мистера Хупдрайвера, а тут еще появился массивный Уиджери, и Хупдрайвер совсем сник.

— Это и есть тот человек? — мрачно вопросил Уиджери особо предназначенным для такого случая голосом, исходящим откуда-то изнутри.

— Не делайте ему больно! — сжав руки, взмолилась миссис Милтон.— Как бы он с ней ни обошелся... Никакого насилия!

— Сколько вас еще там? — вызывающе осведомился Хупдрайвер, притиснутый к подставке для зонтов.

— Где же она? Что он с ней сделал?— спросила миссис Милтон.

— Не желаю я стоять здесь и слушать, как меня оскорбляют совершенно незнакомые мне люди,— заявил мистер Хупдрайвер.— И не думайте, что я стану это терпеть. Послушать вас, так я съел эту вашу мисс Милтон.

— Я здесь, мама,— послышался голос Джесси, внезапно появившейся на пороге столовой. Лицо ее было белым, как мел.

Миссис Милтон пробормотала что-то насчет родного ребенка и в порыве чувств бросилась к Джесси. Они, обнявшись, исчезли в столовой. Уиджери хотел было последовать за ними, но остановился.

— Убирайтесь-ка лучше подобру-поздорову,— сказал он, обращаясь к мистеру Хупдрайверу,— а то придется вам отвечать на весьма малоприятные вопросы.

— И не подумаю,— сказал мистер Хупдрайвер, и от такой смелости у него даже дух захватило.— Я здесь для того, чтобы защищать эту юную леди.

— Думается, вы уже достаточно причинили ей зла,— сказал Уиджери.

— Ясное дело!— угрожающе поддакнул Фиппс.

— Я выйду в сад и посижу там,— с достоинством заявил мистер Хупдрайвер.— Там я и буду.

— Не ссорьтесь вы с ним,— сказал Дэнгл.

На пороге столовой показался священник, он вышел, прикрыв за собой дверь.

Мистер Хупдрайвер с минуту вызывающе смотрел вокруг, затем направился в сад. Но за этой внешней храб-

ростью таилась буря тревожных опасений. За кого они его приняли? Могут ли они ему что-нибудь сделать? Ведь он же не причинил никакого зла! Не под опекой же она находится! Во всяком случае, он надеялся услышать от ее мачехи благодарность.

XXXIX

Реальный мир снова обступил нас, и наше сентиментальное путешествие окончено. Представьте себе перед гостиницей «Рыжий камень» целую выставку различных средств передвижения на колесах, возле которой с важным и внушительным видом стоят Дэнгл и Фиппс, а также владелец изысканной двуколки из Рингвуда. Уиджери и священник маячат в вестибюле гостиницы, видимо, прислушиваясь к приглушенным звукам, доносящимся изнутри. В саду за домом на скамейке в состоянии нервной прострации сидит мистер Хупдрайвер. Сквозь открытое окно одного из номеров доносятся женские голоса, они звучат то громче, то слабее, словно там идет совещание. Время от времени слышится что-то похожее на девичье всхлипывание.

— Ума не приложу, где, черт возьми, она могла его подцепить! — с возмущением говорит Фиппс, обращаясь к Дэнглу.

— Но кто же этот человек в коричневом костюме? — спрашивает священник, обращаясь к Уиджери. — Что-то я не пойму.

И тот же самый вопрос задают в гостинице.

Дама в темно-зеленом, да будет вам известно, — это мисс Мергл, школьная учительница Джесси, которая прежде всего разослала во все стороны множество коротких телеграмм и таким образом ускорила поимку беглянки. Священник по счастливому стечению обстоятельств был знаком с мисс Мергл и встретился им, когда они сошли с поезда в Рингвуде. Едва ли нужно добавлять, что гениальная мысль воспользоваться услугами велосипедного магазина родилась в наполеоновском мозгу Дэнгла.

Миссис Милтон склонна была закатить чувствительную сцену, однако Джесси мягко, но решительно от-

клонила изъявление чувств с ее стороны и открыла полемику.

— Почему это за мной устроили такую нелепую погоню? — спросила она, когда священник направился к выходу.

— А почему ты вела себя так нелепо? — спросила мисс Мергл.

— Джесси,— трепетным голосом воззвала к ней миссис Милтон.— Скажи мне...

— До чего дойдут нынешние девушки,— перебила ее мисс Мергл,— просто трудно себе представить. И откуда только они набираются таких сумасбродных идей? Все это хорошо в романах...

— Скажи, кто этот человек? — продолжала миссис Милтон.— Где ты с ним познакомилась? Почему ты вдруг убежала с ним?

— В жизни не видела, чтобы так нелепо и странно переиначивали все, чему я учила,—сказала мисс Мергл.— Просто не представляю себе, какое можно найти оправдание...

— Он выглядит таким простым, таким вульгарным...

— Разъезжать вот так по всей стране...

— Неужели тебе *нечего* сказать?

— Если бы,— сказала Джесси,— вы дали мне хоть слово выговорить...

— Говори же!— приказала миссис Милтон.

— Это так ужасно! — воскликнула мисс Мергл.

— Этот молодой человек,— начала Джесси,— один из самых храбрых, самых бескорыстных, самых деликатных...

— Конечно, конечно,— сказала миссис Милтон. — Но где ты все же могла познакомиться с таким человеком?

— С этим образцом совершенства? — добавила мисс Мергл.

— Он спас меня.

— Скажите пожалуйста!

— От вашего друга мистера Бичемела!— Тут нервы у Джесси не выдержали, и она расплакалась.

— Мистера Бичемела?! — воскликнула миссис Милтон, сразу предположив самое ужасное.— О!

— Что такое? — спросила мисс Мергл.—Уж конечно этот ужасный человек...

— Мистер Бичемел догадался, что я недовольна была своей жизнью дома. И он уговорил меня... наболтал мне всякой чепухи...— Джесси замялась.

— Ну и что же?

— Женщины пишут в книгах насчет свободы, и чтобы жить так, как хочется, и тому подобное. Но такой свободы не существует, человек должен работать для того, чтобы жить, если он не хочет жить за счет кого-то другого. Я обо всем этом не подумала. Мне хотелось чего-то добиться в жизни, стать кем-то, что-то делать — самоотверженное, благородное.

— Точка зрения в высшей степени эгоистическая,— прервала ее мисс Мергл,— все о себе, о своих мечтах...

— А мистер Бичемел? — с расстановкой повторила миссис Милтон.

— Он давал мне читать книги, настраивал меня против праздной жизни, которую я вела, уговаривал уехать с ним. Он говорил, что поможет мне занять свое место в жизни.

Она умолкла.

— Ну и что же дальше?

— Он хотел заставить меня выйти за него замуж!

— Господи помилуй! — воскликнула мисс Мергл.— Как же так? Это же двоеженство!

— Продолжай же,— сказала миссис Милтон, теребя носовой платок.— Продолжай. Расскажи нам, что же все-таки *было*... Он бросил тебя?

— Мы путешествовали, как брат и сестра.

— Так, так!

— Но... этот вульгарный молодой человек, как вы его назвали, который сидит сейчас на улице, увидел нас и кое о чем догадался.

— Ну и что же?

— И когда мне уже казалось, что... я попала в западню, он вмешался. Если бы вы знали, как мужественно, как решительно, как скромно он себя вел!.. Совсем по-рыцарски!

— Ну, а мистер Бичемел...— начала было миссис Милтон.

— Почему же ты не вернулась домой? Почему он не

привез тебя сразу домой,— спросила мисс Мергл,— после того, как избавил от этого... человека?

— Наверно, потому, что мне было... очень стыдно. Потому, что мне не хотелось возвращаться домой после поражения. Я как-то всего этого не сознавала. Мне казалось, что я все-таки смогу жить независимо...

— Но он-то знал, что это не так, этот твой герой из мастеровых,— возразила мисс Мергл.— Уж он-то, конечно, знал. И не говори мне...

— Он изучал меня.

— Должно быть, он какой-то удивительно слабовольный молодой человек, если позволил своенравной девчонке, едва достигшей семнадцати лет, таскать себя по всем дорогам...

— Ничего не понимаю!—простонала миссис Милтон.

— Какая дичь! Какое нелепое поведение! — негодовала мисс Мергл.— Я могу приписать твои действия только духу беспокойства...

— Я все сделала, чтобы уберечь тебя, Джесси,— сказала миссис Милтон.

— Уберечь меня! Что вы хотите этим сказать?— спросила Джесси.

— Я всем говорила, что ты отправилась в гости... к друзьям, которые живут далеко отсюда. Ни одна живая душа в Сэрбитоне...

— ... этому духу беспокойства,— продолжала мисс Мергл,— который охватил стольких женщин в наше суетно-праздное время...

— Но почему надо лгать? — спросила Джесси.— Почему люди не должны знать правду обо мне и о том, что я сделала? Я не вижу тут ничего такого...

— Дорогая моя! — воскликнула миссис Милтон.— Твоя репутация будет *погублена!*

— Но *почему?*

— Прочти «Сезам и лилии»,— посоветовала мисс Мергл.— Почитай Шекспира... или Кристину Росетти. Там по крайней мере ты найдешь возвышенные идеалы...

Однако ни мачеха, ни падчерица не обратили ни малейшего внимания на ее слова.

— Почему моя репутация будет погублена? И что это значит?

— Никто в Сэрбитоне никогда больше не пригласит тебя к себе! — сказала миссис Милтон.— Ты станешь парией. Перед тобой закроются все двери...

— Но я же не сделала ничего плохого! — сказала Джесси.— Все это только условности...

— А все будут считать, что сделала.

— Неужели я должна лгать из-за того, что кто-то может не так подумать? Глупо! И потом, кому нужны люди, которые так думают?

— Милое мое дитя, ты просто не понимаешь...

А мисс Мергл тем временем, нимало не заботясь, слушают ее или нет, продолжала пространные рассуждения об Идеалах, Истинной Женственности, Необходимости блюсти сословные границы, о Здоровой Литературе и тому подобном.

— Простая, здоровая, честная жизнь...— говорила она.

— Вот и мисс Мергл скажет тебе то же самое,— воззвала к ее поддержке миссис Милтон, и мисс Мергл тотчас прервала свои излияния и подтвердила, как важно держать в тайне поездку Джесси.

— Люди считают, что ты уехала в гости,— сказала мисс Мергл,— и если не возбудить их подозрений, они никогда не станут расспрашивать тебя. Нет ни одного довода за то, чтобы люди это знали, и все за то, чтобы они ничего не знали...

— И это значит жить безбоязненно и честно!

— Если ты в самом деле хочешь жить безбоязненно и честно, ты не должна так безрассудно поступать,— изрекла мисс Мергл, озаренная блестящим наитием.

Тем временем мистер Хупдрайвер с грустным видом сидел в саду на солнышке. Кончилось его чудесное путешествие — во всяком случае, путешествие с ней; познав удар судьбы, разъединивший их, он понял, что значили для него эти дни. Он попытался угадать, каково же ее общественное положение. Конечно, ее вернут в тот мир, к которому она принадлежит, на недоступные ему светские высоты. И она снова станет неприступной Юной Леди.

Позволят ли ему проститься с ней?

Как необыкновенно все было! Ему вспомнилось, как он впервые увидел ее: она ехала по дороге вдоль реки, освещенная сзади солнцем; вспомнилась ему и чудесная ночь в Богноре, и ему казалось, что все произошло потому, что он этого хотел. Здорово он тогда себя показал. «Какой вы храбрый, какой храбрый!» — сказала она ему. А потом, когда она утром спустилась к нему — такая милая, такая уравновешенная,— она все время была уравновешенная. Но быть может, ему следовало уговорить ее вернуться домой? Он вспомнил, что такое намерение у него было. А теперь эти люди отобрали ее у него, словно он не имеет права жить с ней на одной планете. А ведь и в самом деле! Он чувствовал, что воспользовался ее незнанием жизни, иначе она не путешествовала бы с ним столько дней. Она была так изысканна, так мила, так спокойна. Он стал вспоминать выражение ее лица, блеск ее глаз, поворот головы.

К черту! Недостоин он даже того, чтобы идти по одной с ней дороге. И никто недостоин. Предположим, ему позволят проститься с ней. Что он ей скажет? *Это?* Да, скажет. Но они, конечно, не разрешат ему говорить с ней наедине. Тут будет ее мачеха в качестве — как это называется? — дуэньи. Сколько возможностей он упустил! А ведь ему еще ни разу не довелось признаваться в своих чувствах, да, собственно, только сейчас он начал понимать, что он чувствовал. Любовь! Нет, он никогда не посмеет произнести это слово. Скорее это—обожание. Если бы только ему представился хотя бы еще один случай! И этот случай должен представиться когда-нибудь, где-нибудь. Тогда он сумеет излить перед ней душу и будет красноречив. Он чувствовал, что будет красноречив и сумеет найти слова. Хоть он и пыль под ее ногами...

Размышления его были прерваны звуком открываемой двери. Дверь под балконом открылась, и в тени его показалась Джесси.

— Пойдемте отсюда,— сказала она Хупдрайверу, поднявшемуся ей навстречу.— Я возвращаюсь с ними домой. Придется нам проститься.

Мистер Хупдрайвер открыл было рот, закрыл его и молча последовал за ней.

XL

Сначала они шли молча в сторону от гостиницы. Он услышал, как она вздохнула, искоса взглянул на нее и увидел, что губы у нее плотно сжаты, а по щеке катится слеза. Лицо у нее пылало. Она смотрела прямо перед собой. Не в силах придумать, что бы сказать, он засунул руки в карманы и намеренно не смотрел на нее. Через некоторое время заговорила она. Сначала сказала что-то бессвязное насчет пейзажа, потом насчет самообразования. Она взяла его адрес, вернее, адрес компании «Энтробус», и обещала прислать книги. И все же Хупдрайвер чувствовал, что разговор получается какой-то пустой, натянутый, боевой дух Джесси угас. Ему казалось, что она поглощена думами о последнем, проигранном, сражении, и это причиняло ему боль.

«Вот и все,— подумал он.— Она покончила с тобой, Хупдрайвер, старина».

Они спустились в лощину, затем пошли вверх по покатому, поросшему лесом склону и наконец вышли на высокое открытое место, откуда было видно все вокруг. Там, будто сговорившись, они остановились. Они смотрели на лес, расстилавшийся, словно волнистое море, у их ног,— один лесистый холм за другим терялся в синеватой дымке.

Она стояла чуть выше него, и потому, когда она наконец заговорила, ему пришлось смотреть на нее снизу вверх. Она стояла, озаренная солнечным светом, в сером платье, легкая и изящная, заложив за спину руки. Казалось, что она смотрит на него немного свысока. «Так оно и есть,— подумал он,— иначе и быть не может».

— Ну вот,— сказала она,— настала пора прощаться.

С полминуты он молчал. Затем набрался решимости. Кашлянул.

— Я должен сказать вам кое-что.

И умолк.

— Что же? — удивленно спросила она.

— Я ничего не жду. Но...

И снова умолк. Взгляды их встретились.

— Нет, ничего я не скажу. Ни к чему это. Сейчас это прозвучало бы нелепо. Я ничего не хотел вам сказать. Прощайте.

Она смотрела на него, в глазах ее читался испуг.

— Нет,— мягко сказала она.— И не забудьте, что надо работать. А также помните, братец Крис, что вы мой друг. Вы будете работать... Кем вы станете... чего может достичь человек за шесть лет?

Он упорно смотрел прямо перед собой; что-то в нем шевельнулось, и очертания его слабовольного рта словно бы стали тверже. Он знал: она поняла то, чего он не смог высказать. И эти ее слова насчет шести лет равносильны обещанию.

— Я буду работать,— сказал он только.

С минуту они стояли рядом. Потом, кивнув головой в направлении гостиницы, он сказал:

— Я не вернусь к ним туда. Можно? Вы дойдете одна?

Она подумала секунд десять.

— Да,— сказала она и, закусив нижнюю губу, протянула ему руку.

— До свидания,— прошептала она.

Он побелел, повернулся, посмотрел ей в глаза, нерешительно взял ее руку и вдруг, послушный внезапному порыву, поднес ее к губам. Она хотела было вырвать руку, но его пальцы только крепче сжали ее запястье. Она почувствовала прикосновение его губ, но он тотчас выпустил ее руку, отвернулся и зашагал вниз. Шагов через десять нога его попала в заячью нору, он споткнулся и чуть не упал.

Ни разу он не оглянулся назад. Она смотрела ему вслед, пока его фигура там, внизу, не стала совсем маленькой, затем, крепко сжав заложенные за спину руки, медленно пошла к Стони-Кроссу.

— А я и не знала,— шептали ее побелевшие губы,— не догадывалась. Даже сейчас... Нет, я ничего не понимаю.

ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ ПОЭМЫ

XLI

Итак, рассказу нашему, дорогие читатели, пришел конец. Пусть мистер Хупдрайвер лежит в папоротниках, не будем больше за ним подглядывать и прислушиваться, ровно ли он дышит. А о том, что из всего этого

получилось, что произошло по истечении шести лет и дальше, здесь не место рассказывать. Собственно говоря, мы и не можем об этом рассказать, ибо, сопоставив даты, вы быстро убедитесь, что эти годы еще впереди. Но если вы увидели, как простой приказчик, неотесанный малый и к тому же еще дурак, может вдруг дойти до осознания некоторого несовершенства нашей жизни, и в какой-то мере посочувствовали ему,— цель моя достигнута. (Если же мне не удалось ее достигнуть, да простит нам обоим небо!) Не станем мы следовать и за безрассудной юной дамой его сердца в Сэрбитон, где ей предстоит снова сражаться против объединенных усилий Уиджери и миссис Милтон. Ибо, как она вскоре услышит, этот преданный поклонник получил свою награду. Давайте посочувствуем ей тоже.

Описание конца этого великого отпуска — а осталось еще пять дней — тоже лежит за пределами нашего повествования. Можете представить себе тощую, одинокую фигуру в пыльном коричневом костюме, пестрых носках и коричневых ботинках, не предназначенных для езды на велосипеде, мчащуюся в направлении Лондона через Хемпшир и Беркшир и Сэррей. Человек этот в дороге экономен по многим основательным причинам. День за днем продвигается он, и с каждым днем чуточку дальше, на северо-восток. У этого человека узкие плечи, загорелый и обветренный нос и смуглые, с покрасневшими суставами руки. Вы заметите, что лицо его хранит задумчивое выражение. Время от времени он беззвучно посвистывает, а порой громко восклицает: «А все-таки чертовски здорово все получилось!»,— но порой, по-моему, слишком часто он выглядит раздраженным и отчаявшимся.

— Я знаю,— говорит он,— знаю, что все кончено. Куда мне! Разве ты мужчина, Хупдрайвер? Посмотри на свои дурацкие руки! О господи!— И, охваченный внезапной яростью, он какое-то время мчится во весь дух.

А потом лицо его снова проясняется. «Даже если я ее не увижу,— думает он,— она ведь обещала прислать мне книги». И мысль эта приносит ему некоторое облегчение. Потом приходит другая мысль: «Книги?! Ну что значат книги?» А иной раз воспоминания о пережитых приключениях оживляют его взор.

— А все-таки я сорвал его игру,— произносит он вслух.— Сорвал!

В такие минуты его можно даже назвать счастливым. Но бывают у него и минуты сомнений.

— А что, если человек будет стараться изо всех сил, что это ему даст?

Словом, в уме у этого человека царит полный хаос, и одному небу известно, что из всего этого получится. Слишком много в голове у него теснится всяких дум, а потому он больше не позирует и лишь редко заговаривает с теми, кто встречается ему на пути. Машина его, заметьте, выкрашена серой эмалевой краской и снабжена звучным звонком.

Человек этот проезжает через Бейзингсток, Бэгшот, Стейнз, Хэмптон и Ричмонд. И наконец на Главной улице Путни, освещенной последними лучами теплого августовского солнца, в толпе учеников, деловито запирающих лавки, девушек-мастериц, возвращающихся после работы домой, служащих, покидающих свои конторы, среди белых автобусов, везущих запоздалых клерков и дельцов из Сити домой обедать, мы прощаемся с нашим героем. Он вернулся к себе. Завтра надо рано вставать, вытирать пыль, заниматься все той же обыденщиной, начинать все сначала, с той лишь разницей, что теперь появились чудесные воспоминания и еще более чудесные мечты, а на смену противоречивым желаниям пришли честолюбивые планы.

На углу Главной улицы он повернул, со вздохом слез с велосипеда и повел машину к воротам фирмы «Энтробус», которые распахнул перед ним ученик в высоком воротничке. Послышались слова приветствия. Вы слышите: «Южное побережье» и «Погода стояла великолепная — просто великолепная». Он вздыхает: «Да, обменял за два соверена. Чертовски хорошая машина. Жаль только, какой-то идиот выкрасил ее...»

Ворота за ним с грохотом захлопнулись, и он исчез с наших глаз.

1896

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том VIII.

Редакторы тома
Н. Георгиевская и И. Бернштейн.

Иллюстрации художника
С. Бродского.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 28/VIII 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1700. Зак. 1806. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 18,5 + 4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 30,75. Уч.-изд. л. 32,65.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.